

Михаил  
Осоргин

---







*Hubert*

Михаил  
ОСОБОРГИН

---

Заметки старого  
книгоеда

Воспоминания

---

Москва  
НПК «Интелвак»  
2007



УДК 821.161.1  
ББК 84 (2Рос=Рус)6  
О-75

*Издано при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  
в рамках  
Федеральной целевой программы «Культура России»*

*Составление и примечания О.Ю. Авдеевой*

*Художник В.М. Мельников*

*Руководитель проекта В.Н. Кеменов  
Зам. руководителя проекта И.И. Изюмов*

ISBN 978-5-93264-056-2

© НПК «Интелвак», 2007  
© О.Ю. Авдеева, составление и  
примечания, 2007

Заметки  
старого  
книгоеда





## ВОЗЛЮБЛЕННОЙ (ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО)

С детских лет — и сейчас — и так будет до конца жизни — она была единственной и незаменимой: самой преданной и самой равнодушной, самой красноречивой и безмолвной. Люди уходили, приходили, проходили, — она, с годами меняясь, но все та же, шла за мной и со мной всюду: из города в деревню, со свободы в тюрьму, с родины в чужие станы, участница дней работы и часов отдыха, утеха бессонных ночей. То старая, то вчера родившись, мудрая, глупая, капризная, пустая, красивая и безобразная, — раскрывающая объятья всякому, по первому его зову.

Есть два подобия целомудренных и страстных объятий: море и раскрытая книга; их оценить может всякий возраст. Но море однообразнее книги и быстрее утомляет; книга держит в объятиях часами, годами, всю жизнь, и любовные выдумки ее безграничны. Прочитанная, она остается в памяти — и снова рождается, опять влекущая и еще раз полная тайны. В море мы плаваем на поверхности — в книгу уходим с головой, и чем глубже, тем слаще и чудеснее.

Чаще всего ее называют другом. Она бывает Учителем, ласковой матерью, детищем и злым врагом. Но, конечно, она — возлюбленная, неподражаемая в постоянстве и вечном равнодушии. Ничто не дало миру столько добра и столько зла, как книга, и никто другой не пользовался таким почетом в памяти далеких поколений. Самым невозможным кажется исчезновение книги, замена ее иной человеческой выдумкой. Это, конечно,

случится, — но к тому времени люди переродятся, и не будет больше ни любви, ни вымысла, ни наивной веры, украшающей нашу жизнь. С жалостью думается о таких людях будущего.

Первая прочитанная книга называлась «Умей сосчитать»: десять негритенков, каждый на особой картинке, а под картинкой подписи. За почти полвека запомнился только один черный человек: у него вытягивали изо рта целую цепь сосисок, которыми он объелся. Думается — неважная была книжка, хотя и учила вычитанию. Потом, ребенком, я утаскивал в детскую большой том в переплете — не иначе как «Ниву» — и цветными карандашами рисовал усы всем безусым: женщинам, английским генералам и коровам. Гарибальди был бородатый, ничего не пририсуеть. Лермонтову чернилами прибавил эспаньолку — очень шло. А встретив домик, пускал над его трубой дымок штопором — в самое небо. Затем научился читать без картинок, молча, подобрав под себя ноги и не желая идти обедать. Так попала душа в сладкий плен. Так она и пребывает в нем поныне.

Как сосиски изо рта негритенка — тянутся книги нескончаемой цепью, всего окутали, замучили, заласкали, обманули и спасли от невозможности сторговаться и помириться с жизнью и со смертью. И сейчас они перед глазами — громоздятся до потолка на полках, отвоевывают каждый кусочек стола, беспокоят, утешают, реже волнуют, чаще заставляют улыбаться, — глупой выдумке, красивой обложке, знакомому запаху типографской краски. Новорожденная брошюра — и старый том, дамское творчество — и Библия, словарь — и муки стихотворца. Люди приходят, уходят, проходят — книги остаются.

Первая напечатанная книга... Свое в прошлом, но как завидно наблюдать автора, получившего свою первую корректуру, еще не умеющего ставить значки и выносить их на поля (особенно, когда нужно пометить выпуск вьющейся змейкой). Он необычайно серьезен и деловит, он хочет казаться спокойным и равнодушным, — а ведь сердце у него прыгает и дрожат кончики губ.

Одна молодая поэтесса принесла мне посмотреть первый отпечатанный лист своей книги, еще не сброшюрованной,— первой книги стихов, издать которую было нелегко; это было в России, в провинции, в дни революции, когда было трудно достать бумагу, а краска была совсем бледна и плоха. Все-таки она достала.

Я поздравил ее:

— А внимательно просмотрели корректуру?

— Да.

Я взял тетрадочку, — а она смотрит с тревогой, точно вот чужой человек взял покачать ее ребенка. И я прочитал:

Схоронили мою робкую радость  
Под каменными большими плитами,  
И ненужно тело слабое никнет,  
Как травинка в поле, от тяжести.

Это так у нее было. А наборщик ошибся, корректор недо-  
смотрел, автор неопытен,— и вместо «никнет» стояло «пикнет»:

И ненужно тело слабое пикнет...

Сколько было горя! А лист напечатан весь, уже не исправишь. Так и вышла книга. Потом она часами сидела и тонким пером исправляла на букве перекладинку, — чтобы тело не пикало, а никло.

Ей — горе, а мне завидно! Я бы на этой перекладинке покачался, перевернулся, прыгнул: хорошо издать первую книгу! Дальше — проще, а еще дальше только скучно.

Много радости может дать первая книга — и немало горя. Когда она выходит из печати и появляется в окне и на столах книжной лавки, рядом с другими, то этих других, собственно, нет, как нет на свете ни Шекспира, ни Гомера, ни Льва Толстого, ни сказок Шахразады, а есть только эта книжка. По городу делается большой крюк, чтобы пройти мимо лавки и увидеть

свою обложку: так она и смотрит в глаза. Если автору смотрит, значит, и читателю глянет. Читатель купит, разрежет ножичком, прочтет:

И ненужно тело слабое...

Вот тут начинается горе! Повесить бы наборщика на этой самой перекладине. Поистине — убийца! Нет, чтобы в другом месте — как раз тут.

В газетах и в журналах исчезают все страницы, кроме тех, где может оказаться отзыв о книжке; да все почему-то не печатают. Черт его знает о чем пишут, а о новой книжке ни звука. Потом вдруг напишут, — и, конечно, не поняли и не оценили. Перекладинки не заметили, но зато и вообще ничего самого главного не заметили. Нужно было вчитаться, почувствовать, а он так, перелистал и написал. Эх вы, критики!

Ну, а писатель старый и бывалый знает, что и как нужно делать. И к новой своей книге он относится спокойно, строго и с великой аккуратностью.

Завистников много, и хорошо их поразить: пусть почувствуют.

Так, в годы революции издал покойный М.О. Гершензон боевую книгу «Мудрость Пушкина». Изучая рукописи Пушкина, он открыл ненапечатанные строки великого поэта, и в этих строках оказался весь ключ к пониманию Пушкина, к *настоящему* его пониманию.

Другой бы сейчас разблаговестил, а Гершензон поступил осторожно, потому что пушкинисты ревнивы и чутки. Он отдал в набор всю свою книгу, кроме странички предисловия, где целиком приводится отрывок из Пушкина. Когда же все было набрано, — он дал и эти две странички и велел немедленно печатать, да поскорее.

Все будут поражены: найден «ключ к пониманию Пушкина»! И предисловие называлось «Скрижаль Пушкина». И было ска-

зано в предисловии: «Самую поразительную из страниц, написанных Пушкиным, постигла и судьба поразительная: ее никто не знает... И не случайно эта страница открылась мне, от юных лет познавшему на земле одну эту правду: правду о лучшем мире».

Так писал М.О. Гершензон — о Пушкине и о себе. Но написанного никому не показал и не открыл, а только всем говорил: «Вот вы узнаете, когда выйдет книга! А до выхода — и не просите, не расскажу!»

И книга, наконец, вышла — в издательстве московских писателей. Все друзья и скрытые враги получили авторские экземпляры с посвящением. И Сакулин получил, и Шпет получил.

Автор пишет: «Дорогому такому-то», а про себя думает: «На, выкуси!»

И вот тут нечаянно оказалось (Сакулин и догадался), что отрывок хоть и писан пушкинской рукой, а написан Жуковским; и не только написан, а и напечатан в полном собрании его сочинений. Всего не уследишь.

Вот так «ключ к пониманию Пушкина»!

Два мальчика в издательстве два дня вырезывали первый листок с «ключом». Вырезки принимал, пересчитывал и забирал с собой автор. Сам обошел друзей и скрытых врагов, которым послал книгу: отбирал обратно, вырезывал. Успели вернуть с почты часть пакетов, адресованных книжным магазинам. Сколько хлопот!

Но за всем не доглядишь, а мальчики — жулики. И книжка продавалась:

С вырезанной страницей — 37 рублей на тогдашние деньги.

С невырезанной страницей — 370 рублей.

Это — для любителей. До чего люди злы! И как страдал бедный Михаил Осипович!

А из авторских дареных экземпляров не захотел отдать своего Густав Густавович Шпет, философ, злюка, остроумный и милый человек; Гершензона он недолюбливал.



— Зачем же, М.О., книгу портить? Пусть она останется у меня в девственном виде: это — «ключ к пониманию Пушкина».

Так и не отдал. Сам вслух читал и другим охотно показывал.

И бывает еще *последняя* книга. Пишется долго, больше ночами, когда оживают тени прошлого, которые боятся дневного шума. Пишется со всей силой правды, последней, нужной для душевного покоя — при прощанье с жизнью. И пишущий не знает, что все равно — «слово сказанное есть ложь».

Хочется оставить по себе добрую память, чтобы и дети знали, и все потомки. Может быть, слезы текут из глаз пишущего — на бумаге бледные кляксы. Ведь это вроде завещания.

Когда же книга написана, листы рукописи аккуратненько подшиты и сданы в типографию,— типограф раздирает ее по листкам и раздает наборщикам. На чистых страницах (чистых, как совесть писавшего) — следы грязных пальцев и небрежные пометки. А что там написано — не все ли это равно! Отливаются строчки, странствуют матрицы вверх и вниз, скользят по бесконечному винту, падают в свои отделения и снова, повинуясь клавишам, бегут на отливку. Мысли нет, а есть только строчки литого металла. После, тиснув первый лист, бессвязный, страница через страницу, те так, а те вверх ногами,— машинист отшвыривает его как брак и подправляет доску с металлом. Ни автора нет, ни его последних дум, ни его сокровенного, а есть бумага такого-то веса, валы машины да масло для смазки.

И когда переплетчик зажимает в тисках сброшюрованную книгу, ему не выжать из нее ни правды, ни лжи и волнение автора его не волнует. Его волнует, если, например, корешок напечатан на обложке на полсантиметра ближе, чем надо.

Пусты теперь дни и ночи автора, написавшего последнюю книгу. Не поторопись он — многое бы прибавил или исправил.

Аромат книги... Их два.

Один — горьковатый, масляный, скипидарный. Перегибы свежи, клей бумаги потрескивает, при разрезе осыпаются бахропки. Новую книгу лучше всего читать, сидя на мягком, ноги вытянув, поигрывая костяным ножом.

И еще есть другой аромат, не всем знакомый: запах легкого тления, свиной кожи и книжного червяка. Он не сравним ни с какими духами Герлена, его ни на что не променяешь.

В буквах, неровных и шатких, чарующая деревянность. Русское «т» в три палочки, над «й» не всегда есть дужка, твердый знак высок, и просветы букв широки, как ворота; в конце страницы — особо напечатана половина того слова, каким начнется следующая страница. На бумаге, тряпичной и живучей, желтизна времени, и на полях подтеки. Титул — целая повесть, где все прописано, что будет в тексте. И выпреннее посвящение «Его Сиятельству, кавалеру таких-то орденов. Милостивому моему Государю». А имя автора посвящения — в конце странички, на краешке, мелким бисером.

Аромат старой книги уносит в прошлое, где тоже кипели страсти. Только сердце еще не было мотором, а мозг не блестел шлифовкой и штампом. Автор в длинном кафтане или в высоком жабо и туфлях с пряжками. И писал он не на машинке, а гусиным пером, скрипя и брызгая по бумаге. Иной же старик и мастер рисовал начальную букву кисточкой.

Страницы старых и новых книг — как душистый сад: они засеяны цветами любви, тревоги, откровенности и лицемерия. Иные поросли репейником злых чувств, другие благоухают наивностью и чистотой веры. Кладбище лучшего, что жило и умерло в веках. Каждая строчка — напряженная мысль, каждая запятая — сомнение, каждая точка — удовлетворенность.

Когда вы стоите перед книжными полками — помните, что перед вами останки чувств и знаний, оттиски самых сложных душевных движений, неслышный горячий спор идей, мнений и взглядов на мир, попыток оправдать жизнь и оттянуть минуту

окончательного с ней расчета. Люди пишут для того, чтобы заговорить в себе тоску по вечному и чтобы шуршаньем пера отогнать самый страшный из вопросов. У каждой книги свое лицо. Мы поправляем их на полках, чтобы они стояли прямо, не валились трупам на сторону в сознании бесполезности в них написанного. Когда книги стоят бодро и прямо — как-то легче. Мы любим красивые переплеты потому же, почему и гроб украшается позументом. Книга растрепанная, разбитая — страшна. Обрывки корешка — как клочья мяса или пряди рано поседевших волос. Бог знает, на каких словах разорвана страничка, — может быть, на важнейших, за которые писавший был готов пойти на костер или биться до потери сил. А может быть, эти слова ничего не стоят — и не стоили ему. Есть книги уже по одной внешности гордые, смешливые, пошлые, скромные, порочные, больные и никакие. Те, что покрепче и поярче, — мы часто выставляем на вид, а книги худенькие и больные прячем. Раньше всего погибают журналы, изданные в срок и на срок. Бог с ними, их не так жалко!

А вот лежит маленький, очень старый том, может быть, итальянских стихов времени Петрарки. Лежит, не шелохнется, темный, читанный, побитый на уголках. Спи с миром! Слишком сжатый в корешке, он полураскрылся и дышит воздухом нашего времени: гарью, бензином и потом спешащих на биржу. А раскрой — и он заговорит прежним языком, прекрасным и смешным:

*La bella Donna, che cotanto amavi,  
Subitamente s'è da noi partita...*

Вся земля принадлежит человеку; по крайней мере, он убежден, что она вся ему принадлежит. Он летит к полюсам и ищет, нет ли и там земли, еще не открытой. И если находит — вооружает разноцветную тряпочку на шесте — знамя своего государства.

Но хоть и вся земля принадлежит человеку, а каждому хочется иметь ее клочок в своем безраздельном распоряжении. Если удастся — он ставит ограду, вывешивает дощечку с надписью: «Частное владение, проезд и проход воспрещается»; он навешивает замок на входной калитке, устраивает на своем участке волчьи ямы — на случай, что сюда заберется незваный чужой человек. В основе всех исторических трагедий — спор о земле.

И хотя много есть огромных библиотек, где можно взять и прочитать любую книгу, но каждому книголюбу мило и дорого иметь свой книжный шкаф, чтобы стоял он всегда перед глазами и красовался редкостью названий или изысканностью переплетов. У меня есть, а у других нет! Даже в школе мальчик пишет на учебнике каракулями свою фамилию; человек постарше ставит синий штампель или аккуратно наклеивает собственный экслибрис.

На книжных знаках чаще всего изображаются символы вечности и культа смерти: песочные часы, череп, треножник с курением, урна, развалина храма. «Все преходяще — мысль бессмертна». Это, конечно, неверно, потому что и мысль преходящая: она также подвержена тлену, как гусиное или стальное перо, как бумага или как гранит с высеченной надписью — и он выветривается временем. Но мы так краткосрочны, что сотни лет для нас равны вечности.

И вот на полях книги перекликаются предок и потомок. Тот написал порыжевшими чернилами свое имя или свое замечанье — этот читает и улыбается: как наивен был его предок! Рядом с его книжным знаком он лепит свой.

Иметь книгу только для себя — страсть непоборимая. У нас были в России старые букинисты, которые иную книгу нипочем не хотели продавать. Держали ее в секретном шкафу или на квартире, обозначали в каталогах, показывали любителю, а как дойдет до продажи — хмурились, ввали, вертелись — не хочется расстаться. Выгодно, — а не хочу; товар, — а не дам! А уж если продаст, — значит, только надежному человеку,

такому же собственнику-скупердяю, цепкому до редкости. И, продав, ненавидит купившего, завидует ему, никак не может простить.

Чувство собственности у книжного любителя крепче, чем у родового помещика. Потому и писали крепким пером с завитушками:

— Господь того проклянет, у кого окажется сия книга, принадлежащая...

Или же:

— Сия книга украдена у...

Иной приписывал и стишок, после использованный гимназистами:

Кто возьмет ее без спросу,  
Тот останется без носу.

Возлюбленная! Тебе, незаменимой спутнице, обязан всем, что было в жизни особенного и святого.

Первой тягой вдаль — желаньем убежать в неисследованные страны и сделаться следопытом, курить с краснолицыми братьями трубку мира, носить за плечами ружье, но лишь для защиты, а не для напрасного убийства зверей, с которыми жил бы в дружбе и взаимном понимании.

И первыми положительными знаниями: если развести в воде селитру и написать раствором что-нибудь на бумаге, а высушив, приложить уголек спички, то бегущий уголек будет писать на бумаге то же слово.

Первыми сомнениями: если мир сотворен многомилостивым Богом, то почему же в мире так много зла и несправедливости (урок учил хорошо, а по греческому — двойка).

И первой любовью: я любил и сейчас не забыл тургеневскую Асю.

Первыми достижениями: то была книжка журнала, и в ней рассказ, подписанный моим именем. Я был тогда счастливейшим из гимназистов.

И первым уходом в мир несчастных, не имеющих пристанища, голодных, страдающих по притонам и по тюрьмам,

попавших под колесо жизни,— маленьких героев высококчтимого Диккенса.

Чувством бунтарства, святейшим из чувств, родившимся от пустяковой подпольной брошюрки. И позднейшим сознанием, почерпнутым в Библии, что все — суета сует.

Тихим покоем, спускающимся с книжных полок на спинку кресла и изголовье постели. Складной музыкой слов родного языка, собранных в толстые томы. Очарованьем чужого творчества, которое всегда наше, потому что читающей творит заново — по образу своему и подобию. И попытками самому овладеть чужим сознанием, занять его мысль своей беседой.

Тем, что можно встречаться и говорить с людьми, которых уже давно нет; а они были не хуже теперь живущих. И тем, что умереть совсем, без остатка, нельзя; что хоть на завтрашний денек останешься в печатной строчке, написанной вот этим пером.

Из многих творимых идолов, которым мы молимся и подчиняемся, книга — самый благородный. Нет божка, которого не надо бы иногда посечь: все они обманщики. Но этот так откровенен и так многолик, что на него нельзя долго сердиться. Сегодня он учит, завтра развлекает, а то скромненько стоит на своем месте, как будто не он смущал, лгал и вещал истины. Посердишься на него немного — и опять друзья-приятели. Иногда же он поистине заслуживает признанья и уваженья. А вечные книги — как «Дон Кихот», «Божественная комедия», «Декамерон», Библия, русские сказки, «Путешествие Гулливера», «Тысяча и одна ночь» — это уже не божки, а настоящие боги. Из новых — все написанное величайшими Диккенсом и Толстым, перед которыми люди — людишки, а писатели — писцы.

Но прежде, чем идол, — возлюбленная, чаровница, радость, успокоительница в печали, предстательница за нас пред вратами вечности, куда нас не пустят, но посмотреть бы в щелочку, как там и что.

Ей, возлюбленной книге, — похвальное слово!

*[Париж, 10 апреля 1930 г.]*

## I. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ

Если изволите помнить в Москве книжную торговлю Шибанова, то жил я тут же за углом и даже одно время полагал устроиться при лавке вроде приказчика, но очень был малосведущ, так что Шибанов, на просьбу мою, сказал мне:

— Лучше уж ходи так, любуйся, а о службе поговорим, как присмотришься. Книга, милый мой, не посуду продавать. Да мне и не нужно никого.

Живя же по соседству, заходил я в лавку каждый день, особенно когда знал про новые полочки, — и тогда присутствовал при их разборке, очень наслаждаясь новостями. Хозяин со мной не стеснялся, отчасти сам с собой разговаривая, я же внимательно слушал. Иные книжки, если, например, очень изорваны или невысокой цены, а мне понравились, не раз мне дарил или продавал задешево, а и маменька не стесняла меня в деньгах и даже гордились, считая меня за ученого и что это лучше, чем иные с малых лет пьянствуют и скандалят, я же все вечера, бывало, сижу за книжкой; часто брал у Шибанова просто почитать, и он давал без препятствия, вполне мне доверяя.

Вот так я и полюбил старую книгу. После, когда вышел в люди, оставаясь, конечно, при скромных средствах, отказанных мне покойной маменькой, имел я в Москве не то чтобы настоящую книжную торговлю, а так, малую закуту при старом нашем посудном деле. Товар это был неподходящий, и надо мной даже посмеивались — какой книголюб! — но я больше держал

книгу для себя, закупаю при случае; однако и люди заходили порыться в моем мусоре, иной раз чего и находили. Был однажды такой праздник: попался мне случайно, от одной вдовы, а уж как к ней попал — не знаю, «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник», комедия будто бы Кальдерона де ла Барка и переведенная с гишпанского на русский (1794), а на самом деле оригинальное сочинение Якова Петровича Чаадаева с намеком на тогдашнего нижегородского экономии директора Прокудина, — книжица редчайшая и попавшая мне в очень хорошем виде, так что даже сам Шибанов мне завидовал и помог продать известному Юдину, проживавшему в Сибири. Сейчас ихняя вся библиотека находится в Соединенных Американских Штатах, значит, там же и моя книжица, вот куда попала!

Все это я рассказываю к тому, что читателю надобно знать, кто с ним дерзает разговаривать. Жизнеописания своего в подробности приводить не стану, и человек я обыкновенный, но по любви к старой книге скажу, что даже ныне, когда и книг настоящих при мне мало и только в памяти, да в выписях сохранил много замечательного, я считаю так, что старая книга, без сомнения, нынешних позанимательнее и стоит ее вспомнить как источник мудрости в делах житейских и забавы в досуге, не говоря уже о прелести старых слов, которыми чувства выражаются гораздо лучше, чем если писать по-нынешнему. Мракобесом я не бывал, против новшеств не восстаю, даже на многое согласен хоть сейчас, но только не удивляюсь, как другие удивляются, потому что вижу ясно и имею в многих книгах доказательство, что жизнь наша идет как бы по кругу, откуда начали, туда и опять возвращаемся, а потом снова. И вот свои разные на этот предмет мнения, какие иногда приходят, хочу записывать, а доведется — и напечатать, если где примут.

А как Шибанов, равно как и маменька моя, называл меня книгоедом, то под этим именем и укроюсь. Фамилия моя неизвестная, так что читателю все равно, а мне так даже удобнее.



## Образец сравнения с прошлым

Как человек грамотный и книголюб с малолетства, читаю, конечно, и нынешние произведения, хотя прямо сознаюсь — без любви и никакого увлечения. И романы, и повести, и рассказы, и книги стихотворений, последние по большей части малопонятные и ни к чему, а также и книги, писанные людьми серьезными, т. е. научного содержания.

И вот, например, пишут сейчас рассказы позамысловатее, как бы надрываясь и все придумывая всякие неожиданности для читателя, а ведь дело не в этом одном, а в естественной приятности изложения и милых слов и чтобы книга меня, читателя, брала высотой изображенных чувств, даже и вызывая попутные слезы, которых стыдиться нечего, но физически никогда не утомляя.

Бабушки же наши, да даже и дедушки в бытность молодыми, над книгой проливали слезы, и иные повести так зачитывали, что и отыскать их теперь невозможно. Для примера и для начала расскажу про одну замечательную книжку, которую храню в качестве святыни по чрезвычайной ее редкости и ненаходимости, так что слыхали про нее только настоящие любители нашей породы, а видали совсем немногие. Барышням же и сейчас хорошо бы прочесть ее, ввиду занятности и прелести содержания; нынче так писатель не изобретет и не найдет нужных слов, могущих трогать за самое сердце.

Издана эта книжечка в Санкт-Петербурге в 1841 году под названием «Райская птичка. Мечтание» и снабжена рисунками известного В. Тимма, резанными на дереве бароном К. Клодтом. Формата самого удивительного, а именно как бы для жилетного кармана, так что в ширину вот в таком газетном столбике, как этот, уложатся почти две страницы текста. Если разрешите, то позвольте изобразить здесь одну страничку из этой книжечки целиком, в ее величину, хотя буквы в ней, разумеется, более старинны:

«Теперь понимаю все!»  
сказал он тихо, с выражением глубочайшей грусти. «Но, Наташа, вы плачете! Неужели я могу назваться счастливым, неужели вы разделяете мою любовь?»

Наташа зарыдала и не была в состоянии отвечать. Собрав все силы, она наконец взглянула на Василия, вновь зали-

И вот, не упуская выражений, данной книжке присущих, позвольте рассказать ее содержание, что некоторым может показаться любопытным и занимательным.

### **«Райская птичка. Мечтание»**

Начинается наша книжка рассказом о народном поверии, господствующем в главном городе плодоносной Бразилии Рио-де-Жанейро, будто бы в окрестных лесах скрывается красивая райская птичка и вылетает лишь раз в год, около дня св. Надежды, всегда вылетом своим предвещая о какой-нибудь важной перемене или событии, так что все, особенно девушки, с любопытством ее ожидают.

Почему же она вылетает, эта птичка?

Потому что очень давно некто молодой граф Сан-Франческо вел в этих местах войну с мужественными индейцами и был однажды сражен почти замертво. Он лежал в жестоких страданиях с другими павшими, между тем как индейские женщины, считая их умершими, предались вокруг них неистовым пляскам, пока не пали в изнеможении. И тогда одна из индейнок, взволнованная более других, не будучи в состоянии заснуть, увидела несчастного раненого португальца, которого внезапно

полюбила и укрыла в своей тростниковой хижине, так что никто ничего не подозревал.

Но граф оказался достаточно неблагодарным и однажды, узнав о приближении своих отрядов, хотел покинуть хижину, хотя сострадательная индейка, упав перед ним на колени, убеждала его остаться ввиду неминуемой опасности и ее к нему любви. Не тут-то было, и португалец, в порыве юношеского нетерпения, пронзил грудь своей спасительницы и убежал в лес.

Но судьба не дремала, и скоро широкие листья бананов и дикого плюща обвились змеями вокруг шеи, ног и рук неблагодарного, который пал от усталости, лишился чувств и обмер. Растения же составили вокруг него гнездо, из которого по весне вылетела райская птичка, предвестница судьбы. Ей определено было летать по лесам, доколе справедливым, чистосердечным поступком, совершенным в ее присутствии, не выкупится неблагодарность португальца.

Так, в ожидании искупительного поступка, райская птичка летала триста лет, по истечении которых произошли события, далее рассказанные в нашей книжке, а именно (излагаю вкратце).

Однажды капитан красивого французского фрегата «Эмилия» послал матросов наловить птиц в девственных лесах Бразилии. Наловили чрезвычайно много, причем один молодой негр, за подарок красного кушака, обещал поймать первую и голосистую, которая покажется из лесу. Действительно, послышалось пенье, и появилась наша райская птичка. Негр испугался, но когда ему обещали золотую монету, то он петлей поймал птицу, упавшую без чувств. В ту же минуту негра ужалила в ногу дремавшая раньше змея, после чего с быстротой молнии опять скрылась в сухих листьях, а матросы со смехом доставили птичку на пароход.

После некоторых приключений корабль «Эмилия» приходит в гавань Гавр, имевшую постоянное сообщение с Санкт-Петербургом. Здесь райская птичка была перенесена в лавку

разных редкостей, после чего она досталась отъезжавшей в Россию миловидной француженке небольшого роста, с огненными, пронизательными глазками. Муж этой француженки занимался преподаванием уроков французского языка, жена же, по прибытии в Россию, находила утешение, постоянно слушая пенье чудной птички, пока муж не стал по-настоящему, хотя и без всяких оснований ревновать жену свою к этой птичке, говоря, что она только ею и занимается. Огорченная молодая женщина решила расстаться с любимой птичкой и действительно подарила ее самой доброй и снисходительной из всех девиц, с которыми успела до того познакомиться. Таким образом птичка наша стала любимицей Наталии Сергеевны А\*\*, влюбленной в молодого, но бедного человека Василия Федоровича Т\*\*.

Прежде чем Наташа сама поняла свое чувство, ее мать уже приготовила ей жениха, соответствующего семейному достоинству, а о благородном и бедном Василии нечего было и думать. Именно в те минуты, когда Наташа, поняв свою любовь и ее безысходность, предавалась грусти, ей принесли райскую птичку, предвестницу судьбы. Но до того ли ей было, до забот ли о птичке, хотя она, в минуты горя, и находила утешение в нежных перекатах ее голоса, то меланхолических, то веселых. Напрасно, однако, райская птичка своим пением умоляла Наташу совершить справедливый и чистосердечный поступок и не пренебрегать пламенной любовью к Васе ради светских расчетов. Однажды, когда молодой человек грустно выходил из дома Наташи, в ту же минуту в переднюю вбежал опрометью высокий лакей в богатой ливрее и спросил:

— У себя барыня?

— У себя,— отвечал швейцар.

— Приехал действительный статский советник М\*\*.

И действительно, у крыльца стояла карета, в которой, развалившись на мягких подушках, восседал какой-то старичок в звездах и крестах. Это был жених Наташи, в скором времени сделавшийся ее мужем.

Пока шли приготовления к свадьбе, про птичку забыли; у нее не было ни зернышка корма, и ей не меняли воды и только приливали, когда она совсем высохнет.

Только несчастный сиротка Ваня, исполнявший в доме самые тяжелые работы, позаботился о птичке, стал менять ей воду и уделять ей часть черствой корки, своей обычной пищи. Когда же хозяйка дома увидела это, она воскликнула:

— Так вот как ты работаешь, негодный мальчишка? Розог!

И бедного мальчика нещадно высекли розгами. И на другой же день несчастная птичка была найдена без дыханья. Один из лакеев украл ее трупик и продал содержателью магазина страусовых и других перьев у Казанского моста, в доме Энгельгардта. Птичку там выпотрошили и поставили за стекло на продажу.

В самый день жалкой кончины несчастной райской птички на двор одной из лучших гостиниц Петербурга въехал дорожный экипаж, и вышедший из него молодой красавец, ни слова не говоривший по-русски, заявил, что он португальский граф Сан-Франческо. В скором времени все в Петербурге стали приглашать его на балы, вечера и обеды; но он не веселился нигде, почти всегда вздыхал, и на лице его выражалось страдание.

Однажды, когда граф, погруженный в мечтания, вышел с Невского на Адмиралтейскую площадь, он увидел вышедшую из магазина молодую даму, на прелестной шляпке которой была райская птичка редкой красоты. Забывшись от восторга, граф подбежал к карете и хотел заговорить с дамой, но та прервала его несвязную речь, и голос португальца замер. Но все же он успел сказать ей, что райская птичка, приколотая к ее шляпке, пробудила в нем невыразимые воспоминания. Когда, наконец, графу удалось узнать имя молодой красавицы и с нею познакомиться, к прежней его любезности присоединился веселый характер, которым он и победил сердце неприступной женщины.

Когда молодые поехали делать свадебные визиты своим знакомым, то на графине была шляпка с восхитительной райской птичкой, а на запятках их колясочки сидел в костюме английского грума наш старый знакомый, бедный сирота Ваня, которого граф Сан-Франческо, встретив нечаянно на улице, взял к себе в услужение.

Так кончается эта занимательная и редкая книжка.

### **Выводы личного мнения**

Прошу читателя извинить меня за достаточную подробность изложения книжечки, которую зачитывались наши предки в 40-е годы минувшего столетия.

И вот я спрашиваю всякого беспристрастного человека: разве этот рассказ не полон замысловатости, неожиданных происшествий и вместе с тем грустной легкости, возбуждающей прекрасное душевное расположение? При этом он ничем не оскорбляет наших благородных чувств.

Между тем как если прочитать самые, например, отличные рассказы и повести современных писателей, хотя бы «Солнечный удар» писателя Ивана Алексеевича Бунина, или их же «Дело корнета Елагина», или полный начатых и еще не законченных приключений роман «Ключ» М. Алданова, то, читая их, хотя бы и с увлечением, не мыслим ли невольно о безумствах человеческой плоти и не приходим ли к печальному убеждению о господстве зла, будучи по окончании чтения совершенно измученными? И то же самое у других писателей. Нужно ли это? Хорошо ли это? Не поощряет ли это неудобных телесных предрасположений молодежи, вместо того чтобы действовать благотворно и возвышающе?

В «Райской птичке» же этого нет, и предмет любви, как и страдания птички, создает возвышенное настроение и вызывает ряд чувств благородных, но и не беспокоящих длительным впечатлением. Замысловатость же та же и не меньшая,

притом украшенная прелестными и чувствительными словами.

Поэтому я и предполагаю, что лучшие и наиболее занимательные книги уже все написаны и перечтение их может нам доставить более удовольствия, нежели прочтение новых, только что вышедших из-под пера. К сожалению, многие из лучших старинных книг, подобно «Райской птичке», стали до чрезвычайности редкостны и ненаходимы не только в продаже, но и в старинных книжных собраниях.

В дальнейшем, ежели доведется, позволю себе описать и рассказать еще некоторые редчайшие книжки, ознакомление с которыми может оказаться занятным для читающего поколения.

*[24 октября 1928 г.]*

## II. ЧИТАТЕЛЯМ ОТВЕТ ПО НЕОБХОДИМОСТИ

После напечатания первой моей заметки, где изложил я содержание изящной книжечки 40-х годов, «Райская птичка», получил письма от читателей, что нельзя ли где ее достать или не могу ли им дать почитать свою.

А как писали мне дамы, то спрошу попросту: если есть у вас бриллиантовые подвески высокой цены и если придет человек и попросит: разрешите поносить, — ну разве же вы можете согласиться? Для нас же, книголюбов, редкая книжка дороже жемчуга и бриллианта, да еще и непрочная, может быть легко повреждена в обложке неопытной рукой, или же страницу вырвут и употребят. Нельзя судить нас строго за это, потому что любовь к старой книге есть благородная страсть, заменяющая человеку и семью, и общество...

Интересовались некоторые и любопытным малым форматом книжечки. На это скажу, что есть одна книжка много любопытнее и уже совсем необыкновенная, а именно размера малой почтовой марки.

Книжечка эта — «Басни Крылова», издания 1855 года, в 86 страниц, с гравированной обложечкой. Печатана в 256-ю долю листа, по желанию г. Рейхеля, славного нумизмата, бывшего директором Экспедиции заготовления государственных бумаг. Набрана она ручным микроскопическим шрифтом, различимым лишь для весьма крепких глаз, но с полной четкостью и правильностью набора... Описана многими книголюба-



ми, так что повторять излишне. Высшего типографского искусства никто не знал, так что даже известная книжечка сочинений Данте, такого же размера, прославленная на всю Европу, менее замечательна, включая на странице всего 17 строчек, тогда как в нашей все 20 строк.

И еще одна есть, размера почти того же, едва поболее, в большую почтовую марку, и тоже редкости необычайной, под названием «Месяцеслов на 1774 год», в 62 страницы, все гравированные. Один ее экземпляр был известен Василию Сопикову в библиотеке Сулакадзева, да другой экземпляр счастливо приобрел известный книголюб А.Е. Бурцев. А больше неизвестно.

Вот теперь обойдите все парижские типографии, и русские, и французские, и пусть вам что-нибудь подобное покажут или хотя бы вроде. Ляпают линотипом и монотипом на бумаге, от которой в четверть века одна труха. Я даже удивляюсь писателям — как они не думают о своем будущем; гонятся за нынешней славой, а о потомках и не помышляют.

Жизнь пошла на дешевку, прежней заботливости нет и в помине. Нам, книголюбам, это очень грустно, хотя читателю, может быть, и незаметно.

Так ответив, позвольте теперь рассказать об одном собственном моем сокровище, хотя многие могут и смеяться, сказав: вот так книжка! Я же, будучи, думаю, единственным ее обладателем, так как нет ее больше ни у кого во всей России и никто ее не описал, действительно очень горжусь. А впрочем, содержание ее небезлюбопытно для дам и девиц, обладающих недостатками лица, как то: вялая кожа, веснушки, прыщи и пр. Называется книжечка «Щеголеватая аптека, или Туалетные препараты», издана в 8-ю долю листа в г. Костроме, в Вольной типографии Н.С., в 1796 году. Упомянута у Сопикова и у Смирдина, однако не совсем верно, потому что вряд ли кто ее видал; названа же «редким провинциальным изданием», каковым и была даже 123 года тому назад, когда Сопиков напечатал свой знаменитый «Опыт Российской библиографии».

**«Щеголеватая аптека»**

Нынешний сочинитель, даже и романов, не всегда представляется читателям в предисловии, как того требует вежливость; раньше же было это обязательным, и всякий старался сделать это с изящным поклоном и в отборнейших словах. Обычай тот был прекрасен, в чем удостоверяемся, например, прочтением нижеследующего обращения составителя нашей «Щеголеватой аптеки».

Прекрасному полу!

Примите сию книжку. Она Вам приносится от всей моей искренности. Она хотя и мала, но важность ее кажется для меня великою, потому что служит некоторым образом к сохранению красоты Вашей. Желая, чтоб успешные опыты произвели ее достойною приятного воззрения Вашего. Тогда б была она драгоценна, а я бы остался с совершенным удовольствием.

Автор.

Далее же начинаются советы, как составлять разные воды и притирания, каковые рецепты мне всех не изложить, но некоторые отмечу в точности с подлинником. Напечатаны они приятным шрифтом, где буква «т» еще в три палочки, на манер нынешнего «ш», а каждая страничка окружена рамкой из звездочек, чем достигается старинная красота.

Бабушки наши не менее нынешних правнучек дорожили прекрасной мягкостью кожи, хотя не было тогда нынешних институтов красоты, никто не резал кожи близ уха, чтобы подтянуть морщины, свойственные возрасту, и лица утюгами гладить не умели. Надеялись же на чудное последствие правильно составленных притираний, каковые, однако, смывали поутру, а не оставляли на лице на позор. Не красили и губ жирным и весьма вредным составом, так что издали все молоды и свежи, вблизи же здорового человека берут ужас и тошнота.

Что до мазей, притираний и душистых вод, то делали их не из нынешних нечистот, а дома из настоящих трав с прибавлением того, что указано старым опытом и советами хороших аптекарей. Вот например: «Личная датцкая вода, называемая голубиной водою.

Возьми следующих вод, известных в аптеках: воды травы нюфаровой, воды бобовой, воды дынной, воды огурешной и соку лимонного, каждого по одному унцу. Прибавь к тому травы брионии, дикой цикории, цветов лилейных и цветов бобовых по горьсти. Потом заколи семь или восемь белых голубей, отдели головы и папоротки; прочее все изруби весьма мелко и положи в кубик вместе с вышеописанными вещами. Закрывши кубик, оставь на четыре недели настаиваться.

По прошествии же сего времени перегони обыкновенным образом, воду же от перегонки храни в удобных сосудах для употребления. Прежде употребления сей воды должно притираться следующим: возьми горячего мякиша ячменного хлеба четверть фунта, четыре яишных белка и бутылку уксусу, смешай хорошенько и прожми сквозь редкую холстину. Употребление обоих сих притираньев чрезвычайно очищает кожу, делает нежною, белит и противляется морщинам».

И замечательно, как не жалели затраты труда, причем требовалась большая точность при немалом и расходе. Восемь белых голубей достать еще нетрудно. В иных же советах предписывалось взять «речной воды, той, которая с мельничных колес падает» или же сделать щелок из ста пчел, вымоченных в бутылке французского вина, и держать настой в горячем лошадином навозе. Была такая личная помада, для которой было приказано в нашей книжечке:

«Возьми тринадцать бараньих ног и шесть говяжьих, мясо с оных очисти хорошенько, выбери одни только длинные позвонки, а прочее брось, положи в новый глиняный горшок, налей воды и вари, нечистоту и накипь снимай бережно се-

ребряною ложкою. Прибавь к сему равное количество сала с кож молодых козлят» и пр.

Требовалось иной раз припасти майского молока от черной коровы, молодых виноградных побегов, приятных и пахучих трав и всяких специй <...>, а иной раз даже «тертого хрусталу».

Из всего этого изготовлялась для бабушек наших пудра для волос, помада от морщин и губная, «помада для рощения волосов» и для «згоняния волосов излишних», порошок «чистить весьма черные зубы», «небесная вода», «лавенделевская вода для напрыскивания», «ангельская вода, имеющая благовонный запах», курительные свечки, разные мыла, «английский пластырь» и всевозможные притирания для лица, «изстребляющие на оном разные пятна».

Как и ныне, нелегко было тогдашней женщине сохранять всегдашнюю красоту и свежесть. Нужно было и кожу иметь белой, и руки нежными, и пахнуть приятно. О табачном дыме и думать не могли дамы и девицы — никто бы замуж не взял и жить с такою не стал. В книжечке нашей есть и такой краткий рецепт:

«От дурного запаху во рту. Ложась спать, положи в рот с орех величиною мирры, и чтоб она в роту распустилась».

Перед текстом заставка — куст живых цветов, а по тексте концовка — рог изобилия в виде как бы вазы, а кругом виноградные грозди, оглавление же заключается малым букетом.

Книжечку эту храню бережно у себя, но придет время — сам ли отвезу, либо отвезти завещаю обратно на родину, чтобы не пропала такая ценность. Пока же тянется здесь, на чужбине, одинокая жизнь старого книгоеда, пусть побудет близ меня в сохранности картонной крышки, перевязанная ленточкой, потому что нет у меня ни детей, ни имущества, ни лучшей привязанности, как старая русская книга.

Иной имеет счастье гулять в садах за пределами города; мне же, сидя в комнате и вдыхая городскую пыль, пропитан-

ную бензином, все же иной раз представляется, будто тянет ко мне от малой книжечки «Щеголеватой аптеки» и цветком розмарина... и алойным деревом, и ладаном росным, и гвоздичным стебельком.

Так что уж не посетуйте за подробное книжечки описание.

### Чувствительность в титуле

А какая приятность в названии — «Щеголеватая аптека»! И вот относительно названий позвольте высказать, что нынешние титулы книг уступают и недостаточно выразительны. В ином романе есть и тонкость чувств, а на обложке читаем неподходящее, даже без упоминания о чувстве любви. Раньше же наименовывали книгу правильнее и привлекая заманчивостью титула. В доказательство слов моих приведу:

«Героическая любовь, или Примеры чрезвычайного в любви постоянства», издана в Москве 1805 года, в двух частях, а рисунки с подписью:

1. «Как, графиня, вы сделали это сами?»
2. «Эта шпилька единственное мое оружие».
3. «Прежде должен ты меня умертвить».

Или же книжечка, тоже с рисунками: «Лолота, или Жертва любви и коварства» (1816). Или же: «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца» (1769) и при том гравюры со словами;

«Степь — жизнь, змей — грех», — на другой же изображен ангел, ведущий человека к скале с сиянием.

Или же еще: «Монах, или Пагубные следствия пылких страстей», «Чувствительная Юлия, или Редкой образец нежной любви», сочинение г. Фейта (1803) с рисуночками:

1. «Будь счастливее меня».
2. «Один плачевный голос...»
3. «О промысл, — вскричал я».

Иной же раз книжечка так названа, что удержаться от прочтения совершенно невозможно, как то: «Не для женщин, но для мужчин, или Тиами в сокровенных покоях моего дяди» (1805), или же «Неведомые Теодор и Розалия, или Высочайшее наслаждение в браке», сочинение г. Фоминского, а на приложенной гравюре изображены Купидон и Психея в отличной позе. Или же, например, сочинение г. Шписа «Самоубийцы, или Ужасные следствия страстей» с приложением картины, как женщину зарубают топором. Хотелось бы посмотреть, как удержится хладнокровный читатель хотя бы перелистать подобную книжку... Хотя по совести скажу, не всегда прилично для семейного человека.

Заглавие, нужно полагать, придумывать нелегко. Прежний сочинитель старался изложить подробно, нынешний спешит выразить коротким словом. Жизнь стала много быстрее, и каждый старается блеснуть легко читаемой вывеской, уже не заботясь о том, чтобы объяснить содержимое спокойно и обстоятельно. Читаешь иной раз: «Ангел смерти», а вместо ангела в романе нехорошая малолетняя девица; а то читаешь: «Король, дама...» — а про карты ни слова. А. Ремизов озаглавит книжку: «Кукха», либо «Ахру», да так и не поймешь, что это означает. Неудобно так поступать с доверчивым читателем, и распространению книги вредит без всякого сомнения. «Олю» ихнюю я купил свободно, а от «Кукхи» воздержался.

Хотя о новых книгах, привыкши к старинным, обстоятельно судить не решаюсь.

*[6 ноября 1928 г.]*

### III. О СТЕПЕНИ ИНТЕРЕСА

Многие нас, книголюбов, считают за людей узкого интереса, каковы, например, собиратели марок или играющие в шахматы. Но это неправильно, потому что настоящего книголюбителя интересует всякая область, лишь бы была книга замечательна. И уж тогда нас от книжки не оторвешь: и читаем от доски до доски, и старую печать нюхаем, и обложку гладим любовно, и если что написано прежним ее читателем на полях, и какой экслибрис, — всё нам дорого и поистине умиляет. Иной раз даже осторожно вскроешь ножичком картон переплета, нет ли там чего, какой старой рукописи, пущенной на выделку корешка, и обязательно смотришь на свет водяные знаки.

Но конечно, не ищем в книжке политики или борьбы пред-рассудков, и самое направление нам безразлично, совершенно не в этом интерес. Главное — искусство печатания и редкость. Тут уж смотришь, какая у книги была история и что в ней занимало современников. И потому никакой предмет нам не чужд и не низок, о чем бы в книжке не содержалось.

Так, например, расскажу содержание трех книжек великой редкости, а именно: «История блохи», «Описание вши», а также «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека», очень при том сожалея, что нельзя приложить воспроизведения любопытных рисунков.

## История блохи

Книжечка «История блохи, содержащая в себе весьма любопытные наблюдения над сим насекомым», написанная г. Бертолотто, знаменитым блох дрессировщиком, отличается исключительной редкостью и ненаходимостью в продаже и библиотеках, а, казалось бы, между тем необходимо переиздать, по близкой важности для всякого, главное для женщин и детей, особенно охотно кусаемых данным животным, о чем свидетельствует автор нашей книги, знаток несомненный.

Мы узнаём не только о талантливости блох, искусство которых, при правильном воспитании, передается из поколения в поколение, но и о своеобразной, присущей им красоте. В то время как самец черного цвета, с волосатыми ногами и в микроскоп довольно отвратителен, — самочки ихние, по свидетельству автора книги, «...цветом, красую форм и стройностью сложения по справедливости заслуживают названия прекрасного пола». О чем дамам, полагаю, услышать очень приятно <...>

## Описание вши

Не без справедливого основания говорит автор этой книжечки, переведенной с французского на русский язык Ф. Каржавиным в 1789 году:

«Люди, учением просвещенные, не довольствуются описанием слона или носорога, но, исследуя с помощью увеличительных стекол самые тайности естества, находят и в тех насекомых, которых мы гнусными почитаем, неоспоримые доказательства силы, премудрости и величества Создателя всего мира».

И не без сожаления о грубости человеческой упоминает он далее, что «простой народ бьет беспощадно сие удивления нашего достойное творение, к которому император Иулиан был



настолько милостив, что он впускал вошь себе в бороду из жалости, когда она сваливалась с его головы».

Такое историческое напоминание лишний раз нам свидетельствует о грубости, происшедшей с тех пор в человеческих нравах, так как несомненно, что в наше время ни один из остающихся у дел императоров и даже президентов республик ничего подобного не сделает не только с вредным насекомым, но даже и с любым из подданных.

Узнаем мы из той же книжечки, что вошь, называемая полатыни Педикулус, а по-французски Пу, отнюдь не всем внушает отвращение, у некоторых же, напротив, пробуждает аппетит. Так, например, «не только обезьяны, но и арапы, также и многие индейские и другие простые народы американские, которых я 12 лет видел, охотно вшей кладут на зуб и едят». В каком свидетельстве автору можно вполне довериться, раз многие кушают с удовольствием и с лимоном устриц и эскаргонов, животных значительно большего размера и очень склизких, запивая вином Анжу и даже похваливая за вкус.

В той же книжечке есть, между прочим, кошачий ус в разрезе и изображение под микроскопом волос человеческого тела, как мужских, так и женских, как у народов, просвещенных парламентом, так и у простых арапов.

Сама же описанная книжечка чрезвычайно редка и ценна, хоть в ней всего 20 страниц печати, а стоила она до революции от 100 до 300 рублей, и самим Сопиковым названа «предкой».

### **Описание курицы**

И вот, наконец, позвольте любителям книжной редкости порекомендовать еще книжечку профессора Фишера, изданную им в 1815 году под названием «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека, с присовокуплением некоторых наблюдений и ея изображения».

Подлинная курица найдена была в Тульской губернии в Белевском округе и прислана в императорский Московский университет его превосходительством г-ном тульским гражданским губернатором, тайным советником, ордена святыя Анны 1-го класса и разных других кавалером Николаем Ивановичем Богдановым. Книга же о ней посвящена людям, «которые любят размышлять об уклонениях природы», к каковым решаюсь причислить и читателей.

Скажу прямо: судя по рисунку — страшен и непонятен вид сей курицы, имевшей нос, подбородок с бородой, бакены, ушки и даже высунутый язык, — клюва же совсем не имевшей!

Больше всего эта курица любила есть белый хлеб со сливками, но не отказывалась и от сыра. «Будучи в комнате на окне, — говорит описатель, — и видя летящих ворон, при каждом их движении курица нагибается и от страха разевает рот».

До изумительности курица походила на человеческую старуху и «сходство сие становилось тем поразительнее, чем пристальнее и в продолжение нескольких секунд смотришь на сию странную профиль, особливо когда курица жует».

Описатель курицы, предчувствуя, что образованный человек может обидеться на такое сходство с ним курицы, предупреждает, что подобные явления часто случаются и обижаться не на что. Так, например, существует выражение «орлиный нос», которое «означает сходство носа с клювом, чем никто не оскорбляется». У данной же курицы нос, в сущности, даже и не настоящий нос, как у нас, сосцекормящих, а только протяжение головного гребня, хотя и с ноздрями; впрочем, ноздри поменьше, а правая как бы и совсем закрыта. Другие же от нас отличия заключаются у курицы в том, что на правой ноге у нее один палец без ногтя, а на левой совсем нет двух ногтей.

«Особенная фигура этой курицы не предзнаменует ли чего-нибудь сверхъестественного?» — спрашивает профессор Фишер. И отвечает справедливо: «Совсем ничего». Ибо такие

случаи бывали и раньше, как даже цыпленок о четырех лапах и с признаками четырех крыльев, доставленный его превосходительством Николаем Сергеевичем Всеволожским; другого такого же прислал его превосходительство Павел Иванович Голенищев-Кутузов.

Настоящие примеры, по-моему, достаточно убедительны, так как нельзя предположить участие сверхъестественной силы наряду с действиями тульского гражданского губернатора и других особ четвертого класса и кавалеров разных орденов...

При книжечке имеются приложения изображения курицы в профиль, в фас, а также зевающей, как бы при чтении газетной статьи, чем достигается полное сходство ее с интеллигентным читателем.

Книжка сия редка и любителям недоступна; поэтому и позволил себе с нею ознакомить любителей размышлять об уклонениях природы.

### **О приличествующем слоге**

Упомянутые книжечки никаким особым слогом не отличаются, будучи писаны почти нашим нынешним языком. Любителям же хорошего старинного стиля, а кстати и по поводу недавних литературных событий, приведу здесь найденные мною примеры, как изъявлять преданность и благодарность высоким особам по случаю оказанной ими милости. Читая же подобные изъявления чувств в местной газете, думал я, насколько забыта прежняя изысканность и не удастся нынешнему писателю подняться на должную высоту. Пишут просто, что вы-де наш покровитель литературы и что цвета ленты пожалованных нам орденов нам вполне нравятся; между тем можно бы выразить это словами, более к случаю подходящими и отвечающими высокому положению адресата, как то и делали Василий Тредьяковский, в особен-

ности же известный переводчик Сергей Волчков, секретарь канцелярии Академии наук, стараниями которого увидали свет такие книги, как «Грациан придворный человек» (редчайшая, обладанием которой горжусь), «Флоринова экономия», «Житие и дела Марка Аврелия Антонина» и многие другие, времен императрицы Анны Иоанновны и последующего царствования.

Тоже и ему приходилось испытать одобрение особ высоких, и вот как писал он, отчасти принося благодарность, отчасти же уповая и на продолжение высочайших милостей, в предисловии к книге «Грациан...»:

«С каким глубочайшим респектом сей убогий труд... мною нижайшим в прошлом 1735 году поднесен, с тем же самым и еще более преискреннейшим благоговением приемлю дерзновение и к Вашего Императорского Величества стопам во вседолжнейшем подобострастии оною нисположить, а ко оным и самого себя повергая, всенижайше прошу сие раболепнейшее мое приношение с природным Вашего Императорского Величества милосердием, всемилостивейше воспрять, что за неизреченную радость и за крайнее благополучие своей жизни, со всеглубочайшим подобострастием почитать не перестану, Вашего Императорского Величества всеподданнейший последний раб Сергей Волчков».

Ежели же писатель, не довольствуясь оказанными знаками высокого внимания, рассчитывает на милость и в дальнейшем, то прилично, послав полное собрание своих сочинений, в посвящении к нему прибавлять намек, что, дескать, «...всем усердием служащий, но в непрерывной нищете пресмыкающийся сирой дворянин, с семерыми детьми (из того числа трое сыновей все на службе), самого себя и с робятишки своими к монаршим Вашего Императорского Величества стопам всераболепно повергает всеподданнейший, всеуниженный раб»,— и дальше подпись и указание библиографии напечатанных трудов <...>

Настоящие же цитаты привожу лишь к примеру, на случай, что могут быть использованы в дальнейших статьях лиц, кавалерами разных орденов состоящих.

Ибо, как ни далеко зашел наш современный прогресс стиля и благородных чувств, — все же есть чему поучиться у авторов старых, опытных в приличествующем слоге! Я же, по книголюбью моему, всегда готов помочь нуждающимся примерами из книг скромной моей библиотеки, в чем прошу не стесняться и даже обращаться с прямым требованием, удовлетворить которое сочтет приятнейшим своим долгом всенужайший и всеуниженный раб читателя, преисполненный смирения и лучших чувств, вышестоящих строк писатель.

*[4 декабря 1928 г.]*

## V. НЫНЕ И ТОГДА

Некоторое время не писал своих заметок: нужны ли кому? Любителей старой книги и прелестного слога осталось мало, больше в ходу книжка новая, свежая, на соломенной бумаге, разок прочитать — да и бросить, а лет через двадцать и следа от нее не останется: краска слезет и бумага прахом.

Читаю, конечно, и я нынешние произведения..., как, например, «Современные записки». Иной раз встретишь и в них чувствительные и приятные строки разных авторов — описания природы, или же о любви, или трогательные воспоминания. И однако, — если говорить по совести, — в старину писали не хуже и не всякую вещь можно узнать, когда она написана: ныне ли или тому назад свыше ста лет? Так что если, например, послать нынешнему редактору журнала старинную вещь восемнадцатого столетия, подписав ее хорошей и известной современной фамилией, то, вероятно, напечатают за новое, а критики будут разбирать и доказывать, что вот, мол, какие достижения новейшего нашего времени.

Вот потому-то, отдав дань талантливым современникам, все же возвращаюсь я к запыленным полкам и беру томик, пощаженный временем.

Г-жа Хвостова, Александра Петровна, женщина редкой красоты (ихний портрет приложен к знаменитому «Словарию» Д. Ровинского) и большой душевной мягкости, не раз сживала в тихой грусти у камина или же на берегу ручейка в селе Вейне. На исхо-

де запрошлого столетия, в месяце марте 1795 года, эта прекрасная писательница занесла свои мысли у камина на бумагу, а в месяце мае следующего года записала и свою беседу с ручейком.

Прочитать эти ее отличные и чувствительные записи, названные «Отрывками» («Камин» и «Ручеек»), можно в книжечке такого названия, изданной в 1796 году в Санкт-Петербурге, в типографии Государственной медицинской коллегии, с дозволения управы благочиния. Одно горе — книжечки этой нигде ныне не разыскать, стала она величайшей редкостью. Была позже не раз переиздана, но и те издания весьма редки, так как очень зачитывались от хорошего чувства. А как одну книжечку, по любви моей к старине, сумел я сберечь, то и поделюсь охотно с читателями прекрасными строками, писанными ни мало ни много, а все же 135 лет тому назад.

### **Из статеечки «Камин»**

«Полночь — часы ударили двенадцать — и сердце томно сказало: Еще день лишний в прошедшем, еще днем меньше жить и скитаться в мире сем! — Все вокруг меня тихо и спокойно, все молчит, и природа сама дремлет.— Сижу одна у потухающего огня; смотрю на светлые уголья, один за другим угасающие; слушаю унылый вой ветра, в трубе шумящего; обращаюсь мыслями на прошедшее время жизни моей, и сравнивая горести с радостями, печали с удовольствиями, те минуты, в которые благодарила Бога за бытие свое, с теми, которые тяжким бременем угнетали душу мою. — Радости! — Где они? — В одном воображении, исчезли, как тонкий дым, и только иногда, как легкие привидения, мечтаются. — Печали! — Печали тут-тут, со мной, глубоко в сердце, и вместе с кровью текут в жилах моих.— Удовольствия! — были одна минута, одно мгновение. — Горести! — вечность, неизмеримость,

степь дикая, необозримая, где бедный странник не находит ни сени для отдохновения, ни капли воды для утоления несласной тоски своей. Жизнь, как ты тягостна, когда сердце милой ему мечты лишится! Часы, как медленно вы течете! Как медленно приближается тот час, который обозначен природой быть последним скучного бытия».

### Из статеечки «Ручеек»

«Ручеек студеный, излучистая Веенка! Скажи, куда мчишь ты струи твои чистые? — Куда так быстро стремишь твою воду серебристую? — Или берега твои не довольно пологи и зелены? Или песок, по которому ты катишься, не довольно мелок, рассыпчатый?

Теки, Веенка прозрачная! Теки, стремись и размывай камни, препятствующие тебе соединиться с милым тебе ручейком твоим. Я люблю твои воды ясные, люблю песочек белый, на котором ты так нежно покоишься... И мнится, будто ива кудрявая, которая, смотрясь в струи твои, сама своей зеленью любитя, помахивая нежно гибкими ветками, шепчет тихо милое имя сердцу моему.

Теки, Веенка чистая, теки и катись по мелкому песку белому. — Ах! когда усну я крепким сном друга моего на зеленом берегу твоём?»

Вот отрывки из книжечки г-жи Хвостовой. Читая их, вспоминаешь невольню и произведения авторов современных, несомненно, искусных в писании, но все же нельзя сказать, чтобы за последние 135 лет ушли особенно далеко. А кое-кто, пожалуй, даже и поотстал.

### Любопытная поэма про обед

Как бы в подтверждение изложенной выше мысли, взял я журнал «Современные записки», самую последнюю книжку, и



прочитал там отличное стихотворение наилучшего поэта В. Ходасевича «Веселье».

На случай, что не всякому этот журнал доступен, хотя редкости в нем пока нет (лет 20 бумага продержится), выпишу из ихнего стиха восемь строчек — как раз половину:

Полузабытая отрада,  
Ночной попойки благодать:  
Хлебнешь — и ничего не надо,  
Хлебнешь — и хочется опять.  
.....  
Смеется легкое созданье,  
А мне отраднo сочетать  
Неутешительное знанье  
С блаженством ничего не знать.

Тому назад годов хоть и не сто, а ровно девяносто два вышла в Санкт-Петербурге, в типографии Снегирева, книжечка в восьмую долю листа под названием «Обед». Поэма В. Филимонова. Разделена поэма на пять отделов под названиями:

1. История обеда,
2. Обед нашего века — злопамятство желудка,
3. Обеденный устав,
4. Обеденные воспоминания: обед семейный,
5. Большой обед, или пир.

В предисловии к поэме сказано:

«Наш долг: стараться быть полезным во всяком положении. Делаем, что возможно. Наука, поучающая человека обедать, в уровень с его достоинством и достоинством его века, стоит по крайней мере тех наук, которые мешают ему обедать. Нарва, 1832 года».

И далее стихотворение В. Филимонова, написанное совершенно тем же размером, как и приведенное нами выше, и содержащее, между прочим, такие строки:

Нам от стихов водяных скушно,  
От музы уголовной душно,  
Уж надоел и сатана,  
Мила людская мне беседа!  
Я славлю идеал обеда  
И философию вина.

.....

Хотя кубарь с детьми гоняю,  
Сказал мудрец минувших дней,  
Все весело — ведь я играю:  
В Nil admire нет, ей-ей,  
Большого счастья для людей.

### Необходимое пособие

И хотя, само собой разумеется, что выпить человеку нужно во всякую историческую эпоху, однако, для воспевания данной способности в поэзии особыми словами нелишне иметь научные руководства, из коих, например, позволю себе указать на ставшую ныне большой редкостью книжечку соч. П. Тихонова «Криптогlossарий. Отрывок. [Представление глагола «выпить»]. СПб., типогр. Балашева» (год изд. не указан).

В этой книжечке имеются бесценные запасы слов, расположенные в порядке строго алфавитном. Сама книжечка издана на правах корректуры и не для продажи и оттиснута в малом количестве экземпляров.

В качестве друга читателя моего искренне готов сообщить ему из книжечки выпивательные слова и выражения на любую букву русского алфавита. В особенности большой запас слов имеется на букву «д», как то:

Двинуть от всех скорбей,  
Дербануть,  
Дербалызнуть,  
Дернуть,  
Дерябнуть,  
Долбануть и т.д.

Не меньше слов, впрочем, и на букву «н», как то:

Набусаться (с английского),  
Нагрузиться,  
На дорожку,  
Надрызгаться,  
Накачаться,  
Нализаться,  
Налимониться,  
Нарезаться,  
Насандалиться,  
Насвистаться,  
Натрескаться,  
Нахлестаться и т.д.

В числе прочих выражений имеются, конечно, «пройтись по маленькой», «раздавить баночку», «пропустить собачку», «царапнуть», «полешко подложить», а также «сообразить выпивон с закусоном», каковое выражение явно французского происхождения, почему и произносится слегка в нос, а в книжке даже напечатано смешанным русско-французским шрифтом.

Имеются в книжечке и примеры грамматических спряжений:

Я напился,  
Ты нализался,  
Он насвистался,  
Мы налимонились,  
Вы насюкались,  
Они, оне назююкались.

Для будущих поэтов, умеющих писать стихи на ту же тему, настоящая любопытная книжечка может служить полезным и приятным руководством. Произведение это — ученое и снабжено обильными ссылками на источники.

## Об английской мастерице

Для заключения настоящих записок, хотя и не в связи с вышесказанным, позвольте ознакомить читающую публику и любителей старого слога с нижеследующим отрывком театральной афиши XVIII века, весьма редкой, как и все подобного рода печатные произведения:

«Всякаго чина персонал, какие потешные дивотворствии и протчия забавныя действия в государствах презентованы: а именно в Цесарии, Пруссии, Франции, Польше и других княжениях; а какие, о том ниже сего следуют некоторые позитуры с переменными виды и действияи, а именно:

Вначале наша в свете похвальная английская мастерица, опрокинься назад ногами, наплочь прострется.

Обе ноги круг шеи обвивает, подобно галстуху.

Закладывает свою левую ногу на правое плечо и приводит ледвею к лопадке и станет на другой ноге, в равной линии.

Поставя два стула разстояние на семь футов и станет на оных ногами и раздвиганием оных стулов туловищем до земли досяжет.

На пирамиде или двух стулах стоящая, головою спустясь на два фута ниже ног своих и вздымая монету или рюмку вина, пиёт за здравие всей компании.

Еще же будет колебимое явление от француза, а именно лестница семь футов, на оной младенец; потом поставя оную на чело, танцует фоли д-ишпань.

Протчия действия не суть описуемы».

[20 января 1929 г.]

## V. КНИЖКИ, ПРИВОДИМЫЕ ЗА ПОЛЕЗНОСТЬ

По случаю всеобщих заболеваний лучше всего из дому не выходить, разве что уж очень нужно, а читать с прилежанием старую книжку, у кого какая имеется, в надежде найти в ней утеху и пользу. Месяц февраль чрезвычайно опасен для здоровья, что и доказано телеграммами со всего мира о болезни грипп, на русском языке не имеющейся.

В превесьма старинной и редкостной книжке «Календарь, или Месяцеслов исторический и генеалогический», напечатанной в Санкт-Петербурге, в типографии Академии наук, в 1731 году, прямо так и читаешь:

### Февраль

Блюда здоровье: многих побил Марс  
сердитой,  
буде так драгои вещи, как из меди слитой  
Болван; не побережешь, то слово не ложно,  
На тебе все сбудется мое неотложно.

Таковыми прогностиками наши предки всегда руководились. Что же касается болезни грипп, если она уже приключилась, то и для нее можно в старых книжках найти подходящее лечение, много попроще нынешних способов. По-старому этот грипп, в числе еще некоторых подобных болезней, назывался «заразительной горячкой». И вот мы находим следующую подходящую книжечку:

«Аптека домашняя и дорожная, лекарями пересмотренная, вместе с полным списком белью для хозяйств и путешествующих, также и с таблицею доходов и расходов и с всегдашним календарем. Издание оригинальное для воровского перепечатания с печатью моего имени замеченное. Лейпциг, у К.Г.Е. Арндта; в время ярмонок на площади в лавке близко верхняго фонаря на среднем торговом ряду». (Издание приблизительно около 1816 г.) Заглавие переписываю ввиду прекрасного его звучания для уха любителей старины; для лиц же больных в книжечке имеется рецепт под номером 3 и титлом «Средство от заразительных горячек», а именно:

«Очень полезно часто брать в рот и жевать кусочек ревеня корня, особливо по утрам. Также и пить несколько хорошаго винного уксуса или взять в рот и часто мыть им руки и лицо, особливо по утрам. Кардамон также, когда возьмешь в рот и жуешь, есть лекарство от заражения. Наипаче при таких болезнях надобно не приближаться к больному натошак или неевши прежде того лекарства, ежели возможно убежать таких посещений».

Между тем как у нас часто ходят по гостям, почему настоящий рецепт и привожу.

### **Как себя вести**

Говоря о разных редких старинных книжках, и чтобы читателю было поинтереснее, стараюсь наблюдать и пользу от таковых сообщений. Конечно, нынешние критики поступают иначе, думая лишь об удовольствии чтения и выставляя себя всезнающими и чрезвычайно умными. В старину же пустая книжка, бесполезная для человека, не была в почете, как ее ни расхваливай. Сам государь Петр Великий повелел издать для юношества особую книжку, весьма знаменитую и ныне редкостную, под названием «Юности честное зеркало, или Показание к житейскому обхождению» (1719). Имеются в ней

советы и указания, весьма полезные и для нас, как вынужденно живущих в европейских городах, где необходим хороший тон поведения в обществе.

Тут можно найти про многое. И про то, что юноши должны уметь говорить на иностранных языках, «чтоб можно их (отроков) от других болванов распознать», и про то, как быть благочестивым кавалером, как стричь ногти, «да не явится якобы оныя бархатом обшиты», и даже о потуплении глаз настоящей хорошей и стыдливой девицею. Нам же всего нужнее правила благорастойности в обществе, например, на случай нашего приглашения к обеду в знакомое французское семейство.

На сей случай имеется такое руководство:

«Рыгать, кашлять и подобныя такія грубыя действия в лице другого не чини, иль чтоб другой дыхание и мокроту желудка, которая встанет, мог чувствовать, но всегда либо рукой закрой, или отвори рот на сторону, или скатертию или полотенцем прикрой, чтоб никого не коснуться тем загадить. И сия есть не малая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чихает, будто кричит, и тем в прибытии других людей пужает и устрашает. Еще же зело не пристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях».

За столом в гостях рекомендовано «сидеть благочинно, не жрать, как свиния, и не дуть в ушное, чтоб везде брызгало».

Что же касается до молодых девиц и поведения таковых на писательских, адвокатских, галлиполийских и прочих благотворительных балах, то и для них находим подходящее руководство. Для стыдливого цвета лица им указывается пить немного вареного вина с корицею и сахаром, про коктейль же и иные подобные напитки ничего не сказано. И при этом объяснено, что «непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегаёт по причинным местам и улицам разиня пазухи, садится к другим молодцам и мужикам, толкает локтями,

а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится и напиивается пьяна. Скачет по столам и скамьям, дает себя по всем углам таскать и волочить, яко стерва».

Ибо в старые времена это считалось не соответствующим воспитанию, хотя ныне правила и переменялись, не говоря уже о танцевальных забавах — танго и фокстротах.

### **Гораздо лучше, чем в Ницце!**

Начинается в Париже «время маскарадное, и, хотя наша Масленица поотстала на пять недель, однако, считаю не лишним указать, что в старое время люди были гораздо выдумчивее на маски, как о том и находим в посвященных сему книгах.

Нынче что? Нынче изображают из себя Евгения Онегина, либо баядерку, либо газетную прессу, либо — кто поспособнее — пакт Келлога и тому подобную современность. Раньше же изображали отвлеченные понятия, как пороки и добродетели, и для фантазии было места больше.

Так, имеется у меня книга «Торжествующая Минерва. Общественное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве 1763 года, генваря 30 дня». Приложен к книжке портрет знаменитого актера Волкова, гравированный пунктиром, предисловие к книге написал в стихах М. Херасков, а хоровые в ней песни составлены Сумароковым, хотя имя его и не обозначено. И как подумаю: ну может ли с этим московским маскарадом, времени Великой Екатерины, сравниться нынешний жалкий рекламный карнавал в городе Ницце! Даже и сравнивать нельзя, очень обидно для прошлого.

Впереди шел Момус, или пересмешник, на нем куклы и колокольчики, а также надпись: «Упражнение малоумных». Дальше — всего не перечислишь даже в сотой доле. И театры кукольные, и Родомант, забияка, храбрый дурак, и служители Панталоновы, и скоромуши, и книгохранильница безумного враля, и дикари, и арлекин, и барабанщики в кольчугах. Или,



например, идут два человека и несут быка с приделанными на груди рогами, на нем сидящий человек «имеет на грудях оконницу и держит модель кругом вертящегося дома, пред ним 12 человек в шутовском платье с дудками и погремущками».

Но главное дело — изображение пороков, из которых упоминаем:

*Несогласие.* — Изображены ястреб, терзающий голубя, паук опускается на жабу, кошачья голова с мышью, лисица давит курицу. И надпись: «Действие злых сердец».

*Обман.* — Вверху маска, а кругом змеи, кроющиеся в розах. И надпись: «Пагубная прелесть»

*Невежество.* — Нетопырь, черные сети и ослова голова, и опять надпись: «Вред и непотребство».

*Превратный свет.* — Летающие четвероногие звери и в них обращенное человеческое лицо: «Непросвещенные разумы».

А дальше пьянство, мздоимство, спесь, мотовство. Потом идет Вулкан с кузнецами, колесница Юпитера, Златой Век, Парнас, Мир и еще и еще разные добродетели. И на конце хоры с песнями.

Вот это маскарад! Правда — устраивал его великий русский актер Ф. Волков в сотрудничестве с отличными пиитами.

Это вам не то чтобы надеть на туловище носовой платок, отделанный крепдешинном, — узнавай, кто такая. Человек повернется, посмотрит туда и сюда и сразу: «Ясное дело — Мариванна, по родинке видно».

## К предстоящей Масленой

И уж кстати, в приближении указанных праздников, порекомендую старую книжку по масленой части. Называется она «Маловременные владетели, или Блестящая Масленица». Год и место печати не указаны, книжечка же очень редка. Описано в ней, в выражениях шуточных и весьма картинных, сражение зимнего мясоеда с блестящей Масленой. Сражаются они ухватами, ско-

вородами, лопатами и помелами, а армия состоит из бычков, барашков, свинок, поросенков, гуськов, уточек, индеечек, курочек и пр. Побеждает Масленица, и тогда ей хором поют приветствия:

Масленицу с радостью нашею встречаем,  
С веселием и кочерги в руки принимаем.  
В готовности уж пред вами строим  
Ухватами и кочергами честь отдать.  
Все уже у наших баб все будет исправно,  
И сковородниками пойдем регулярно  
Блины, оладьи печь. Давно уже чтимся  
И о Масленице весьма веселимся.

Тут один запеваёт:

Пожалуй меня, послушай,  
Сию рюмку водки кушай!  
Есть, видишь, чем и закусить:  
Блины, оладьи стоят,  
Которых ныне едят.

Все же отвечают:

Довольны и так, довольны!  
Что утробы стали полны!  
А сердца так развеселились,  
Что все со стульев посвалились.

Каковые стихи, может быть, ныне могли бы сочинить и лучше, но уж веселья того, конечно, больше не найти, как умели наши предки. А то в русском ресторане с французской вывеской спросят пять блинов и едят со сметаной, после чего подают, как обычно, каждодневное кушанье «мутон-де-баран» и «пом-фри». Прежде же такое и для Великого поста считалось мало.

Настоящими полезными сведениями старых книжек полагаю закончить сегодняшнее мое изложение.

[10 февраля 1929 г.]

## VI. ДОЛЯ ПИСАТЕЛЯ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА

Всякий раз, как приношу в редакцию газеты нижеследующие свои строчки о старой книге, испытываю немалое смущение, вообще свойственное характеру, как бы «чего пристаешь с рухлядью и старьем, между тем как нет отбою и от новых произведений искусства выдающихся авторов современности?».

Да разве же я препятствую кому писать! Была бы моя воля — я бы и о новых писателях пропечатывал здесь сочувственные строки уважения, хотя скажу прямо — не без опаски по поводу легко возможных и нежелательных обид. Так, например, про одного напишешь: «Произведение ваше превосходно по форме изложения», и он немедленно письмо в редакцию, что «некий критик позволил себе намекать на ничтожность внутреннего содержания». А про другого, наоборот, скажешь: «Чрезвычайно занимательный сюжет», и он тоже перестает раскланиваться с противоположной стороны рю де Пасси, разве что столкнешься носом, после чего скажет: «Я, скажет, не настолько мелочен, чтобы обижаться на отрицающих художественный стиль в моих произведениях». Вот тут и вертись. Притом нужно знать, кто с кем в каких личных отношениях, потому что иных рядом в критике и упоминать нельзя — примут за намек, что жены их вторую неделю в ссоре.

Бывают, конечно, и минуты сладкого удовлетворения, когда те же самые, якобы обиженные, оставляют напрасное злопамятство и, посылая вам следующую свою книжку, пишут на ней про-

сто и ласково: «Чуткому критику и милому человеку — от дружески бескорыстного автора». И если эту книжечку долго задерживать без отзыва, то иной раз и пневматички шлют: «Здоровы ли вы, милый друг? Что-то давно не вижу в газете ваших блестящих строк. Берегите себя, вы нужны России».

И вот тут, позвольте вам сказать, стоит заглянуть в старые журналы и убедиться, что неприятности у авторов с критиками были всегда, и иной раз такая была ругань, что сейчас такую не везде даже печатают. Уж на что серьезный был человек Николай Иванович Новиков, издатель журнала «Труть», а и он допускал в своем журнале вот такие, к примеру, отзывы о стихотворениях и стихотворцах:

Возможно ли, чтоб тот разумно написал,  
Кто вместе с молоком невежество сосал,  
И кто в поэзии аза в глаза не знает  
Уже поэмы вдруг писати начинает.  
По мненью моему, писатель сей таков,  
Как вздел бы кто кафтан, не вздев  
сперва чулков.

И если это так,  
Конечно, он дурак.

Стихотворец же имелся тут в виду определенный, фамилия которого и в самом критическом стихотворении тайно названа: Чулков, Михаил Дмитриевич, издатель журнала «И то и сию», тоже человек серьезный, первый наш собиратель этнографических материалов. Конечно, и он умел вовремя пустить дурака по адресу товарища по перу и просвещенью.

Или, например, обижаются нынешние молодые авторы (т.е. которым еще нет пятидесяти), что относятся к ним с недостаточным вниманием и уважением. А между тем вот как писали о начинающих в прежние времена (журнал «Пустомеля», 1770 г.):

«Ежели посмотреть на молодых нынешних писцов, то подумать можно, что труднее быть посредственным сапож-

ником, нежели автором; все обучаются тому ремеслу, в котором хотят упражняться, но безграмотные писцы учиться и знать правила почитают за стыд. Не всякий может быть хорошим писателем, кто только писать имеет охоту <...> надобно быть или хорошим писателем, и быть из зависти поминутно критиковану; или скверным, и быть посмешищем всего города, слыть ругателем или дураком. Вот два награждения, которые авторы получают за свои труды».

Как видно из сего, огорчения в писательской доле были всегда, и были иной раз весьма непереносны. Уж на что возвеличен и прославлен был писатель Александр Сумароков, почитавшийся в свое время величайшим русским поэтом, какому равного нет и во всем мире, — а сколь грустное стихотворение поместил он в последней книжке «Трудолюбивой Пчелы» (1759):

Для множества причин  
Противно имя мне писателя и чин;  
С Парнаса нисхожу, схожу противу воли,  
Во время пушего я жара моево.  
И не взойду, по смерть, я больше на нево.  
Судьбы моей то доля.  
Прощайте, Музы, навсегда.  
Я более писать не буду никогда!

Откуда была грусть Сумарокова? — Оттуда ж, откуда приходит грусть и в наше время: потребовала от него канцелярия Академии наук уплатить за типографские работы «двести пятьдесят девять рублей, сорок восемь копеек, об уплате которых денег вашему Высокородию сим покорно представлено: ибо без получения денег оных журналов отпущать не велено». Что было делать бригадиру Александру Сумарокову, поэту и издателю «Трудолюбивой Пчелы»? На последней странице недопечатанного журнала поместил он эти стихи, подписал под ними: «Трудолюбивой Пчеле конец», а особо приложил в перепечатке счет типографии, им не оплоченный, и приписочку:

«Я отдаю сие на суд общества и на размышление моих сограждан, могут ли на таком основании быть у нас писатели?»

Сколь труднее быть писателем в наше время, когда существуют еще подоходные и квартирные налоги и счетчики электричества потребленного!

## О Париже

Разные старые книжечки перебирая, наткнешься иной раз на любопытные описания или замечания, так что кажется: точно вчера человек писал. А поглядишь титульную страницу — прошли все сто годов, а то и много больше.

Есть такая книга «Журнал путешествия его высокородия господина статского советника и ордена святого Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова». Писан этот журнал в 1771—1773 годах, а издан в Москве в 1786 году.

Никита Акинфиевич Демидов поехал за границу по причине болезни супруги его, Александры Евтиховны. Как и в наши времена, «господа медики, ее пользовавшие, употребив многие способы своего знания, напоследок отозвались, что к ее исцелению другого средства они не находят, кроме как ехать к водам, в Спа находящимся». Кроме курорта, посетили Демидовы также много городов, прожив некоторое время и в Париже. Что видели — то записывалось, отчасти рукою самого Никиты Акинфиевича, а затем было издано «...для его фамилии в единственно напамятование тех мест, коих в чужих краях по возможности видеть случилось».

О Париже записал Никита Акинфиевич следующее:

«Здесь от излишнего оказания дружбы беспрестанно обнищаются; а некоторые друг друга терпеть не могут. Народ по большей части занимается операми и другими позорищами».

«Красота женского пола в Париже подобна часовой пружине, которая сходит каждые сутки, равным образом и прелесть их заводится всякое утро; она подобна цветку, который

рождается и умирает в один день. Все сие делается притиранием, окроплением, убелением, промыванием. Потом прогоняют бледность и совсем закрывают черный и грубый цвет; напоследок доходит очередь и до помады для намазывания губ и порошка для чищения зубов. Наконец, являются губки, щетки, ухвертки и в заключение — лоделаванд, разные духи, эссенции и благоухания; и всякий из сих чистительных составов и сосудов разное имеет свое свойство: надлежит сделать белую кожу, придать себе хорошую тень, загладить морщины на лбу, дать блеск глазам, розовыми учинить губы; словом, надобно до основания переиначить лицо и из старого произвести новое».

«А другие, которые хотят прослыть нежно воспитанными, выключая Аббеев, те питаются супом алоаньюном, оливками, зеленым горохом, произрастениями и другим полуядением, дабы не получить индигестии».

### «Отрада в скуке»

По правде сказать — во все времена к женщине относились не с должным уважением, особенно осмеивая кокетство всякого рода. И в очень многих старинных книжках, рассчитанных на увеселение от легкого чтения, встречаем насмешки на эту тему.

Так вот в книжечке, весьма редкостной, под титулом «Отрада в скуке, или Книга веселия и размышления» (2 части, 1788 г.), читаем на стр. 48 о кокетках, вроде как и в книге предыдущей:

«Кокетка есть искусственная машина, движущаяся, прикрытая белилами, румянами, лентами, кружевами и дорогими камнями, перетянутая китовыми усами, кои на зло природы делают стан ее хорошим. Сей механический состав имеет говорящие глаза; рот, открывающийся для показания маленьких слоновых косточек, кои поутру в оный вставляются, а к вечеру

кладутся в уборный столик. По снятии строения, поставленного на голове, к ночи убывает ее более четвертой доли».

И уж в заключение позвольте из той же книжечки «Отрада в скуке» привести вам преостроумнейший рассказ, способный увеселить и современную аудиторию, как то:

«Очень неприятно иметь злую жену, знают про то бедные мужья, которые мучаются век свой. Один из таковых, наскучив ему безпрестанный шум и брань своей супруги, заказал сделать колыбель в рост жены своей и повесил оную к потолку, посреди комнаты. Сообщив свое намерение двум друзьям своим, он позвал их к себе обедать.

Когда жена его зашумела и зачала по обыкновению бранить его, то он, взяв ее с помощью своих приятелей, спеленал и положил в люльку так, что не могла она пошевелиться, потом стали качать ее. Она кричала изо всей мочи, — но от того сильнее ее баюкали. Напоследок она замолчала. Качальщики остановились. А как она опять начала кричать, то опять ее стали качать. И всякий раз, когда она начинала шуметь, муж нянчил ее помянутым образом. Она исправилась наконец от бранчливого своего обычая».

И хотя, конечно, по просвещенному нашему времени, подобное обращение с лицом женского пола было бы неуместным, однако, с точки зрения чистой литературной простоты, нельзя не усмотреть в приведенном рассказе прекрасную наивность изложения и поучительность общей идеи.

Каковым отрывком и закончим нашу заметку.

*[18 апреля 1929 г.]*



## VII

Прошедшей зимой позволил я себе неоднократно обращать внимание любезного читателя на разные старые книжки, отличные редкостью, а также высоким стилем при забавном содержании, в ответ на что получил письма или на словах мне передано было не раз:

«Что же Вы все про старинное, между тем как на рынке много книг новых, каковыми наиболее и интересуется читатель, как изображающими нынешний день?»

Старому книгоеду это известно, — да область-то не наша! Тут нужно — чтобы по чистой совести отзываться — особый вкус к современности, и как бы попутно не обидеть откровенным словом живущего и пишущего автора, и чтобы всем было приятно, — а это трудно! И притом не раз уже высказано мною, в приличных случаях заметках, что нам, книголюбам, иная книжка прелестна не содержанием изложенных в ней событий, а старинной ее внешностью либо предшествующей иной главе заставкою и сопутствующей концовкой. Новую книгу читатель разрежет костяным ножиком и исследует любопытствующим глазом, вкушая лишь смысл содержания; мы же, книголюбы, иную книжку, извините, нюхаем, обоняя жадною ноздрей аромат протекших годин и, так сказать, пыль, вздыбленную колесницей времени.

И слезы наши — если льем — отличны от слез чувствительной читательницы современного романа: не жалость к

такой-то Ирине, напрасно обманутой соответствующим героем Игорем во время совместной их стоянки на курорте Канны или Биарриц, а скорбь о том, что соломенной трухой сменилась прежняя тряпичная бумага, буквы же шлепаются машинным линотипом, экономя место на странице, не думая ни о приличествующих полях, ни о подобающей рамке, ни о глаз ласкающей красе титульного листа, ни о прочности переплета, коим могли бы любоваться и потомки. Ведь вот как мы различны! И оттого так трудно стало писать о старой книге — не всякий склонен оценить и понять.

И однако, стремясь приблизиться к интересу господствующей современности, позвольте пробудить любопытство хотя бы сравнением прежних и нынешних танцев, имея в виду наступление зимних балов, как то: адвокатский, лекарский или же предстоящий бал писателей и ученых города Парижа и его русских окрестностей.

### «Танцевальной учитель»

Настоящим позвольте ознакомить со старинной книжицей «Танцевальной учитель», указывающей, насколько почтенною считалась наука танцевания, не допуская легкомыслия поз и неприличия жестов.

Тут сначала отступлю и приведу отзыв о теперешнем танце танго высокой духовной особы, господина монсиньора Дюшеня, наблюдавшего воочию танцующую пару на семейном вечере. И как слова его были произнесены на французском языке, то лучше так их и оставить: — *Sans doute, cette danse nouvelle me parait fort agreable a regarder. Mais je me demande pourquoi elle se danse debout?*

В старину же танцы служили иному, как то и видно из книжечек, изданных в Санкт-Петербурге и Москве в годы 1790-й и 1794-й, одна под названием «Танцевальный словарь», другая же под титулом «Танцевальной учитель, заключающий в себе

правила и основания сего искусства к пользе обоюго пола, со многими гравированными фигурами и частию музыки. Выбраны из славнейших о сем искусстве писателей и собственными примечаниями дополнены императорского шляхетскаго сухопутнаго кадетскаго корпуса и императорской Академии художеств учителем И.К.».

Узнаём мы из этих книжечек, что «танцование, которое философы определяют наукою телодвижений, есть без прекословия одно наидревнейшее из преизящных искусств», что «любовь к танцам была так сильна у греков, что и важнейшие философы оным не гнушались». И действительно, если на нынешних балах можно видеть танцующими даже опытных хирургов и бывших послов... то оправданием им да послужат слова Сократа, сказанные им друзьям своим: «Вы смеетесь, когда я пляшу наподобие молодых юношей; но достоин ли я сего смеха; если я делаю весьма нужное упражнение для моего здоровья? Делаю ли я какую погрешность, когда танцую и привожу в движение мое тело?..» О каковых словах Сократа поведал нам историк Ксенофонт.

В первой главе упомянутого руководства изложены правила: «Каким образом ставить тело и производить разные положения ногами». Во второй главе — «Способ хорошо ступать или ходить». В третьей — «О разных поклонах». В четвертой — «Каким образом должно складывать и надевать шляпу». Далее же излагаются весьма сложные правила знаменитого танца менуэта. И тут сказано: «Иной, обходя вокруг зала и производя весьма худо составленные шаги, думает уже, что знает танцевать менуэт, который, может быть, выучил в две недели или в месяц», что явное заблуждение, так как «сей танец самый благородный и важный, а следовательно, и труднейший, и которому, чтобы танцевать его с потребной приятностью и во всей точности, надобно учиться долгое время». И много еще разных наставлений в этой любопытной и редкостной книге, касающихся того, «каким

образом входить в зал», «как держать руки женскому полу во время танцевания, отводить плеча в разные стороны и о употребляемых в сем танце оборотах головы», а также наставление мужчинам — «как подавать руку женскому полу», чтобы делать это не кое-как, по-нынешнему, а со старинной и чинной «благоприятностью».

И уж на одни рисуночки, на дереве резанные и приложенные к помянутой книжке Ивана Кускова, достаточно взглянуть, чтобы понять, что прежний танец, доставляя обществу должное удовольствие, в то же время был и важным делом, наущая изяществу телодвижений и выделяя благородством осанки. Поистине — не нынешняя трясучка противоестественных отношений, как бы в целях возможно близкого касания. И то сказать: при современных мужеских штанах, достигающих каблука, как и при нагих ногах, едва лишь прикрытых крепдешинном дамского воображения, — никакой танец менуэт более не достигим. Вспомним, пожалеем и пройдем мимо!

И опять же, пытаюсь сблизить любопытство к старине с интересом чисто современным, позвольте поговорить об образе поэта, как он прежде представлялся и ныне представляться нам продолжает, препровождая указанные портреты стихами.

### О стихотворце

Выходил в 1763 году, только недолго, всего шесть месяцев, небезлюбопытный журнал — «Свободные часы», издаваемый тогдашним куратором Московского университета М.М. Херасковым, в сотрудниках же состоял и А.П. Сумароков. Так вот там, в журнальчике, печатались «Остатки или отрывки Зопирины», будто бы найденные на греческом языке, но только это, конечно, остроумная выдумка русского сочинителя. В первой главе означенной Зопириной книги имеется такое изображение стихотворца:

«Если встретится человек, имеющий одни кости и кожу, который так прозрачен, как Пунический фонарь, и так сух, что на

солнце можно видеть его внутренняя, который сильно ворчит, скребет рукою в голове, грызет ногти и т.п., то бегите, бедные встречные, бегите! ибо ежели кто еще помедлит хотя мало, то едва жив останется. Кто не угадает, что такой человек стихотворец?»

В наше время иным стал стихотворец, деля волосы пробором при помощи жирных составов помады, а ногти не только чисты, а и отпущены без явной надобности, согласно словам Пушкина о возможности этого и для дельного человека. И между тем в плодах музыки особой разницы нет, и иной поэт в дни наши занесет в альбом обожаемой девицы стихотворение, малым отличное от нижеследующего, найденного нами в старой книжке «Тысяча и одна песня, для удовольствия песенников и песенниц, исходит в свет. Тетрадь первая. В Санктпетербурге, 1778»:

Ей мою любовь открою,  
Внемлен буду от нея,  
Очи к ней свои устрою,  
И она воззрит на мя.

Или же — это уж из другой старой книжечки — «Олинька, или Первоначальная любовь», 1796 года:

Любовию пылают  
И мошки на цветах,  
И рыбки воздыхают,  
И тает слон в лесах.

И если нам укажут, что современный стихотворец пишет по-новому, позволяя себе порою выразиться даже языком непонятным, называемым заумным, и что, мол, раньше этого никогда не бывало, то попрошу извинения, что это не совсем правильно, потому что и прежние поэты, когда никаких футуристов и в помине не было, позволяли себе подобное же. И вот для примера, хотя бы из той же «Олиньки», четыре стиха:

Премудрость и перефразис! трам, трам, трам!  
И ты ляпис-инферналис, трам!  
О деньги! деньги, Вавилон! трам!  
Гистерика и Купидон! Трам!

А ведь писано в конце XVIII века! А то бывало и еще помене здравого смысла, как найдено мною в другой книге («Торжествующая Минерва», 1763 года, — значит, еще раньше):

Гордость и тщеславие выдумал бес:

Шерин даберин лис тра фа,  
Фар, фар, фар, люди ер арцы,  
Шинда шипдара,  
Транду трандара.

Это уже, правда, должно быть удивительно для читателя, что даже и настоящая глупость — и то не нынче придумана! И выходит на поверку, что разница только в проборе да в чистых ногтях — и то не всегда. А пишут ныне — как и прежде писали, нового же ничего выдумать невозможно.

### Сорный язык

Хочу в заключение сказать насчет сорного языка, на который сейчас у нас жалуются. Что правда — то правда, особенно среди беженства, где каждый вносит в речь русскую из чужого языка, так что не всегда и разберешь.

Так вот и это не новость, и раньше на то же жаловались и даже примеры приводили. Так, например, в знаменитой книге Курганова (хотя автор на обложке и не значится) — «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие», изданной «во граде Святаго Петра» в 1769 году, находим мы горестный упрек засорителям русского языка, а именно пишет Курганов, Николай Гаврилыч:

«Всего смешнее,— пишет он,— иной, как попугай, переняв несколько чужих слов, за честь почитает по «бесовски» вводить вновь, мешая их с русскими так: «Я в дистракции и дезеспере; аманта моя зделала мне инфиделите, а я, а ку сюр против риваля своего буду реванжироваться».

И очень сердится, что ввели такие противные слова, как «лорнет» и «имитация», да еще и мамку произвели в «гувернанта».

И подлинно, словно бы фразу, что я привел, услышал Николай Гаврилович не во граде святого Петра и не 160 лет тому назад, а в наши дни в Пасси либо на Мозаре — одним словом, в русских поселениях Парижа. И что греха таить — проникает этот сорный язык и в российскую литературу, и в тамошнюю, и в изгнании сущую.

Бди же, о русский писатель! и помни прекрасный стих первой «Эпистолы» знаменитого пиита Сумарокова:

Довольно наш язык в себе имеет слов;  
Но нет довольнаго числа на нем писцов.

[5 ноября 1929 г.]

## VIII. СКОЛЬ МНОГО НЫНЕ ИЗДАЕТСЯ!

В неделю дважды, а то и более обхожу русские книжные лавки, любопытствуя пыльными полочками, на которые другой и не заглянет. Но только больше попусту, потому что настоящей старинной книжки, сердцу близкой, найти не удастся. Нынче стали называть антиквариатом не только девятнадцатый, а и текущий век, особенно довоенное. «Вот,— говорит,— глазуновский Тургенев!» — или же: «Пожалуйте — Грабаря пять томов, а один сгорел», — так разве это антиквариат или какая редкость?

Конечно, у нас взгляд особый. Но иной раз, походя, заглянем и на стол с новыми произведениями. До чего много печатают в нынешнем году! И романы, и повести, и по вопросам, и даже журналы казачий и морской. Выдался год очень плодovitый, если судить по началу, и немало авторов и авторш совершенно новых.

Конечно, о дамских книжках пишут в газетах хорошо и вежливо, чтобы не обидеть и сделать приятное; ну, а с мужчинами, особенно молодыми, построже и с нужным внушением.

У нас же, говорю, взгляд особый: какова внешность, любовно издана книжка или только коммерчески? И наши впечатления, нужно сознаться, полны грусти и обиды. В Белграде, например, издают русских писателей в весьма неряшливых обложках, где синим по белому напутано шесть шриф-



тов, друг к другу не подошедших, верхнее поле зарезано, а букв заглавных, ни обложке, ни титулу не полагающихся, наставлено столько, что вся книга переваливается на левый бок. Или, например, в почтенном новом издательстве... ставят на обложке краску странной бледности, о которой через годик не останется и памяти, иной же раз, например на книжке молодой авторши Галины Кузнецовой, не проставлены внизу обложки вторые кавычки. Нам, книголюбам, это весьма заметно и большой удар. А также нельзя с рисованным клише соединять непохожий шрифт набора, тем портя титул. Отчего бы не последить?

Да, в нынешнем году любителю нового есть что почитать!

И вот невольно мы задумываемся: а каково было сто лет назад? Или каково двести? Или же — триста? Переберешь в памяти юбилейные даты — и нарисуешь себе картину, к какой и приступим.

### **Четыреста и триста лет назад**

По-нашему, сто лет для книги — давность незаметная; двести — уже много; а триста лет для русской книги — прямо седая древность или же, наоборот, невинное младенчество.

В лето по Христе 1630 вышло на русском, конечно церковном, языке ни мало ни много — семь книг: «Антидот», «Имнология», «Верше», «Служебник», «Апостол» да два «Октоиха», — в Киеве, во Львове и в Москве. Из них истинным праздником было появление «Октоиха, сиречь осьмогласника», потому что был он отпечатан в новой типографии, выстроенной во Львове, взамен типографии сгоревшей. Так и сказано: «Сподвигохомся на дело сие честное, дабы огнем падающую типографию паки воздвигнути, еже и со мнозем трудом и иждивением сосуд сей, яко многочестный возставихом». Но книга была не нова, так как за тридцать пять лет перед этим был напечатан в Москве «Октоих» Андроником Тимо-

феевым, сыном Невежею. Зато эта книга была «с фигурами».

Не нова была и книга «Апостол» с лицевыми фигурами, изданная в Москве в 1630 году. А вот первый «Апостол», переведенный с вулгаты (с латинского языка) доктором Франциском Скориною из Полоцка, был действительно замечателен. Издан он был в Вильне четыреста пять лет тому назад (1525), и только два экземпляра его имеются на свете.

Эта книга была прекрасна! Первый ее лист начат и закончен был червлеными буквами, и перед каждым деянием и посланием, перед каждой главой изложено содержание прекрасными словами. Тоже и в конце глав знаменитый переводчик, «в лекарстве и в науках вызволенных (свободных) доктор», непременно от себя прибавлял, что книга эта «в славном месте Виленском выложена и вытиснена. Працею и великою пильностью, доктора Франциска Скорины, с Полоцка». И читателю сделаны все указания: «Иметь пак всей книзе мой любимый приятелю, хтож будеши ея чести. Зачала каждого послания чорным вызнаменованы», а также: «Ктому и светки по страницах, яко одно писмо на другое свидетельствует и воедино ся згожают, чорным исправлены роздельне узириши».

Конечно, нынешний типограф (только никак не русский в Париже!) может издать книгу во сколько хочешь красок и любого размера, но той любви, как вкладывали ране в друкарное дело, более уже нет, и никогда та любовь не вернется; была она делом жизни и залогом вечного спасения и прощения человеческих грехов. И счастьем жизни самого друкаря, и радостью читателя!

### Двести лет назад

Ровно двести лет тому назад, в апреле месяце 1730 года, получил усердный подписчик 36-ю книжку «Камерфурьерскаго журнала», как ...получил сегодня номер «Последних но-

востей» с настоящими строчками. Этот номер «Камерфурь-ерскаго журнала» был в своем роде замечателен, так как было в нем не только 72 страницы описания коронации Анны Иоанновны, но и приложен был ценнейший альбом гравюр, исполненных отличными художниками и мастерами. Из всех номеров этот был, пожалуй, самый ценный; сейчас его не найти ни за какие деньги.

Вообще же в те годы литература была скучновата, на любителя. Еще можно было для развлечения читать «Календарь», либо «исторический и генеалогический», вышедший в том же году в Санкт-Петербурге, либо изданный Корвеном-Квасовским в Кенигсберге. Первый был, пожалуй, интереснее; в нем можно было прочесть, что, «когда воздух легок становится, тогда комары высоко летать не могут», и «когда ластовицы купаются, тогда дождь или мрачная погода будут последовать». Что же касается предсказаний политических, то от них тогдашний календарь, не в пример изданиям нынешним, прямо отказался, признав их невозможными. Стоил такой календарь в простом переплете 12 копеек, а с прокладной бумагой — 18. Были к нему приложены картинки: катанье по льду реки Невы на коньках и на санях с лошадей без дуги, а на второй — та же Нева, но только с кораблями.

Что касается других книг тех времен, то были они не по нашему серьезны. Например, «Флоринова экономия» в девяти книгах, либо же приятная тогдашним вольным каменщикам книга — «Химическая псалтырь, или Философические правила о камне мудрых», написанная Фил. Авр. Феофрастом Парцельсом, чтобы «...показать не столько глупцам, сколько разумным любителям истинной природы основные правила, посредством которых они могли бы построить замки прочные и вернее воздушных».

В те же годы вышел «Указ сената о волшебниках» — книга прередкая.

**Полтора ста лет назад**

Но вот прошло еще пятьдесят лет — и стала литература гораздо веселее. Вошел в моду господин Вольтер, и вышла его книга «Набат для разбужения королей». Под статью скептическому времени оказалась и философия китайская, отраженная в юбилейной для нас книге (1780) «Описание жизни Конфуция, китайских философов начальника». Из нее прилежный читатель почерпал, что «добродетель состоит в посредственности или середине употребления оной» и что «подлый народ и женщины удобопреклонны к неистовству». В те же годы распевали песенки из комических опер, в том числе из оперы «Февей», лишь к этому времени напечатанной, где были строки:

Как взору ты предстала,  
Ах, что я ощущал!  
Ты сердцем обладала,  
Я взор твой обожал;  
Я в сладком упованьи  
Любил и воздыхал  
И страстные желанья  
В надежду обращал.  
Умились, согласись  
И сама любить склонись!

Но шутки шутками, а тогда же (1780) вышла и книга, имевшая на долгие времена впредь весьма заметное влияние и укрепившая уважение к английской конституции, а именно: «Истолкования аглинских законов Г. Блакстона», напечатанная в типографии Новикова. И было ее влияние настолько сильно, что даже ста годами позже пел Николай Александрович Добролюбов устами поэта Конрада Лилиеншвагера в журнале «Свисток»:

Я подумал о том, как в Британии  
Уважаются свято законы,

И в груди закипели рыдания,  
Раздались мои громкие стоны...

Да, что греха таить — и в наши дни немало есть правдо-мыслящих, кои, читая об аглинском парламенте, складывают ручки наподобие молящегося дитяти. Таково великое влияние вышеуказанной юбилейной книжки!

### Поближе к нам — сто лет

Тут стало выходить книг столь много, а газетного пространства у меня осталось так мало, что не знаю что и упомянуть. Иные, конечно, назовут произведения А. Пушкина, мы же, ценя в книге редкость, упомянем писателя и поэта, мало кому ведомого, Николая Павлова, книжечка которого была сожжена и запрещена к обращению, а называлась она «Три повести». В одной повести («Ятаган») было рассказано про офицера, нанесшего оскорбление действием своему начальнику, — чего потерпеть цензура никак не могла. И было той книжке предпослано посвяtitельное (Н.В. Чичерину) стихотворение в четыре строчки:

Тебе понятна лжи печать,  
Тебе понятна правды краска.  
Я не умел ни разу отгадать,  
Что в жизни было, что в жизни сказка.

Такой был странный писатель! Ну, вот его и научили, сжегши его книжку, отличать что от чего полагается.

Детки же в то время могли читать новую книжку «Черная курица, или Подземные жители».

Настоящим заканчивая сей краткий юбилейный обзор, вновь повторим, что у нас, книголюбов, взгляд и подход особенный. Нам то и интересно, чего другие не замечают. Так, например, любовно и в предвкушении будущей великой биб-

диографической ценности (в содержание, по совести, плохо вникая) поглаживаем мы страницы вышедшего за последние два месяца (номера 1—4) странного и таинственного издания «Математическая идеография». И не в знак какого внутреннего сочувствия, а больше за то, что это издание — автобиографическое, издается же на французском языке в Париже русским автором Яковом Линцбахом. И много в нем значков и рисуночков таких, что приятно смотреть, читать же мудро, потому что это — фигуральная алгебра и этюд философического языка. Другой и не подозревает, — а старый книгоед такого издания не пропустит, отметит в памяти, сохранит в целости все вышедшие листочки, в будущем же — не сам, так сын либо внук — преподнесет музею книжных редкостей.

Так-то вот собирали люди меню царских обедов и ростопчинские афиши. Дело — пустяк, а на нем построена книжная культура!

*[3 марта 1930 г.]*

## IX. ЖЕЛАЯ ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ

В заметках моих, любезно печатаемых, стараюсь, конечно, приводить любопытное и легкое для чтения, отчасти сопоставляя с современностью. Долгих рассуждений читатель не любит, а охотно смотрит, нет ли стишка, над которым можно посмеяться, или еще что позамысловатее. Однако хочется порою отдать долг и авторам высокоблагородных статей, ныне ставших редкостью, или же, наоборот, отметить затемнителей совести и дурных советчиков, также оставивших немало книг редкостных и ненаходимых в обычных библиотеках.

И в том еще отношении полезно, что указывает, как топчемся мы на одном месте, как проходят иногда сотни лет, а благородная мысль опять и опять возникает, и люди пишут, а все остается по-старому, а то и хуже старого. И хочется тогда спросить такого борца: «Чего ждешь и на что надеешься? Или не видишь, что отклик идеям твоим гаснет и заглушается злобой, в мире царящей? Не напрасен ли ты, как напрасна твоя жертвенность?»

Был, например, достаточно известный публицист и даже поэт Иван Петрович Пнин, незаконнорожденный сын Репнина, служивший как в артиллерии, так и по народному просвещению. И тем был замечателен, что веровал в человека и в торжество нравственности. О нем написано в словарях и в истории, но мало кто мог видеть и читать его книжку «Опыт о просвещении относительно к России», вышедшую в Санкт-Петербурге в

1804 году и, однако, отобранную в свое время во всех книжных лавках по случаю новости и смелости предмета рассуждения, почему и стала величайшей редкостью, никогда не будучи перепечатана. И однако, текст ее имею перед собой и охотно делюсь с читателем благородством ее мыслей. На изнанке титульного ее листа напечатано: «Блаженны те государи и те страны, где гражданин, имея свободу мыслить, может безбоязненно сообщать истины, заключающие в себе благо общественное».

Чем же это провинился упомянутый И.П. Пнин, что уничтожили его книгу, и даже сам он скончался в следующем по ее изданию году?

Он не считал, что человек по природе своей рождается прекрасным, а совсем наоборот: в качестве естественного человека он — дик, и нельзя его наделять правами, пока он не ощутил в себе гражданина. Начальство же и правительство могут достигнуть всего хорошим законодательством, озарив его моральную сферу. И поскольку русский народ состоит из земледельцев, мещан, дворян и духовенства, постольку каждое из этих сословий нужно образовывать и воспитывать особым образом. Так, крестьянство нужно обучать земледелию и трудолюбию, непременно наделив его собственностью. Предметами преподавания должны быть: сельская механика, обрабатывание земель, воспитание скота, арифметика и познание о государстве и начальствующих властях. Мещан обучать чтению, чистописанию, физике, частному познанию Российской империи, бухгалтерии, познанию товаров и сокращению всего человеческого познания и диететики. Дворян обучать не только военному делу, но и юриспруденции, внушая им уважение также и к статской службе. Духовенство же следует обеспечить, чтобы оно не зависело от трев, а обучать не древним языкам, а языку простому, русскому, а также декламации. Вообще же следует поощрять наградами способности всех сословий. И еще советует Пнин заботиться о театрах, платя артистам русского происхождения не менее жа-



лованья, чем иностранцам. Таким образом, все «главнейшие государственные части будут приведены в надлежащий порядок».

И вот за такие-то благородные мысли книжечку отобрали и сожгли!

Правда, в одах своих Иван Петрович огорчился тяжелым положением крепостных, потому что он хотел возвысить человека и освободить его от постыдного звания «червя», каковое было дано человеку поэтом Державиным.

Какой ум слабый, униженный  
Тебе дать имя червя смел? —

вопрошает Иван Петрович и возглашает наоборот:

Ты царь земли — ты царь вселенной,  
Хотя ничто в сравненьи с ней.  
Хотя ты прах один возженный,  
Но мыслию велик своей.

Ну, а за этикие слова по головке, конечно, не гладят!

Хороший был человек и талантливый писатель — и вот пострадал.

### **Против предрассудков**

Насчет правильности воспитания сомневался также и иностранец г. Сальг, книга которого была переведена на русский язык, отпечатана и стала большой редкостью. Ее титул: «О заблуждениях и предрассудках, господствующих в различных сословиях общества» (1836).

Откуда предрассудки? От изучения древних басен. Плиний, например, писал, что есть род морской миноги, называемой четоча, которая одарена такой необычайной силою в зубах, что может одна остановить целый корабль. А между тем миноги довольно вкусны и их самих может остановить рука любого повара. Следует поэтому разьяснять учащимся, что

при попутном ветре любой корабль может утащить за собой миногу, как бы она ни вцеплялась в него зубами.

Или, например, греческие писатели уверяют, будто бы лев боится пения петуха. И что же говорит нам опыт? Опыт говорит, что если петух посадить в клетку льва, то сколько петух ни распевай, а лев его скушает. Неправда также, что есть люди с собачьими и оленьими головами или с одной ногой, на которой они и скачут. Или что крот слеп, а лебедь поет перед смертью, а олени, карпы и попугаи живут почти столько же, сколько жил Мафусаил. Или что Аннибал рассек Альпы с помощью укуса, или что трупы мужчин плывут спиной вниз, а трупы женщин — спиною вверх. А сколько об этом написали Геродот, Ксенофонт, Плутарх, Тит Ливий и другие писатели древности! К предрассудкам относятся также рассуждения об атомистической философии и о действиях симпатии.

Нужно читать книги людей, писавших против заблуждений, и изучать науку естественную историю. Помогают также опыты. Например, крестьяне утверждают, что овцы чуют присутствие волка. И вот знаменитый ученый Кирхер взял да и повесил волчье сердце на шею овце. И что же? А то, что овца продолжала преспокойно щипать травку на прекрасном лугу.

Настоящую книжку, написанную просвещенным человеком, полагаю полезной для тех лиц дамского пола, которые носят и посейчас амулеточки или ходят гадать на картах ко многочисленным Тухолкам и Падалкам, желая от них узнать, любит ли их любимый ими господин...

### **Тут взволнуется и старый книгоед**

К благородным же книжным редкостям отнесу и записку «Об уничтожении телесных наказаний в Российской империи и Царстве Польском», написанную князем П.А. Орловым в 1861 году; у книголюбов она встречается в оттиске из журнала «Русская старина».

Мы очень любим вспоминать о нашем «добром старом времени». И правда, к тому времени уже перестали в России врать ноздри, каковая мера наказания незадолго перед тем еще включалась в карательную систему. Однако драть — драли, и даже говорит князь Орлов: «...У нас бьют всякого, кто только дает себя бить». Сам же он, князь и автор статьи, держался того мнения, что «в России можно обойтись и без плетей и без смертной казни». И считал, что такие меры не только вредны и безнравственны, но и унижительны для нашей страны <...>

Сколько господ профессоров защищают смертную казнь? Не во всей ли Европе убивают по суду человека? Не вы ли, читатель, выносили свой протест «против безсудных казней», тем самым как бы утверждая возможность казней по суду? Нет, рано нам забывать благородных мыслителей и смелых писателей!

Нам, книжникам, волноваться не годится; мы с мудрым спокойствием подходим к старой книге, стараясь забыть о злобах дня сего. Но бывает, что невозможно удержаться.

Главное — что нам грустно? Вот писали люди в разные времена хорошие мысли и слова, и ценилось это, и читалось, — а мир все на том же месте топчется, и скучно нашей совести — томится она и покрывается ржавчиной.

Извиняясь за отступление, постараюсь закончить мои заметки более веселым и общедоступным, как бы имея в виду всякому человеку необходимый дивертисмент.

### **Как нужно нюхать?**

По поводу слова «табак» выше вспомнилась мне редкая книжка конца позапрошлого века (1788) «Отрада в скуке, или Книга веселия и «размышления». В ее предисловии сказано: «Книга эта из числа таковых, которые по разнообразию и приятному содержанию научают, увеселяют и даже смешат. Она

похожа на английский сад, в котором сверх чаяния встречаются поразительнейшие предметы».

И вот в этой книге, на странице 47, напечатано наставление по части «табачной экзерциции», касающееся, впрочем, не папиросы или сигары или же трубки, а нюханья, по тем временам очень распространенного, ныне же почему-то забытого, хотя, при наличии хорошей табакерки и если положить внутрь «малинку», приятности, по нашему мнению, не утратило. И дает автор книги такие советы нюхательщикам:

1. Возьми табакерку в правую руку;
2. Переложи в левую;
3. Постучи по табакерке;
4. Открой табакерку;
5. Потчевай из табакерки;
6. Прими табакерку назад;
7. Сровни табак в табакерке, постучав по ней;
8. Понюхай табаку правой рукой;
9. Держи табак несколько времени в перстах, ненося его к носу;
10. Поднеси табак к носу;
11. Нюхни вдруг обеими ноздрями, не кривляясь;
12. Закрой табакерку, утирайся, харкай, плюй, сморкайся в красный платок.

Вот так двенадцать заповедей! А про то, чтобы чихнуть, — забыто!

*[21 марта 1930 г.]*

## **Х. ПОЗДРАВЛЯЮ!**

Чсть имею поздравить редакцию газеты с десятилетием! Вот как раз и старый книгоед печатает у вас свою десятую статейку о старых книгах — как бы тоже юбилей.

Между книгой и газетой разница большая. Книга на десятый год еще совсем молода, даже говорить о ней не приходится, для нес и сто лет — не старость. А газетный лист иной раз и назавтра стар.

Пусть читатель попробует порыться у себя и отыскать прошлогодний номер за тот же день. Где его найдешь? Давным-давно на что-нибудь употреблен, и памяти не осталось. Уж на что в библиотеках — и то не всегда можно найти; только очень большие любители сохраняют...

Так вот...

### **Когда это завелось?**

В сей юбилейный день позвольте поговорить, кто и когда изобрел газету. Впервые о том рассказано на русском языке в «Исторических, генеалогических и географических примечаниях в Ведомостях на 1729 год», которые издавались при Академии наук в Санкт-Петербурге. И рассказано так:

«Ежели по нынешнему определению говорить, то не находится во оном древнейшего следу, нигде как у италианцов в 16 секуле (веке). Звание газетов (ведомостей) тогда такожде

от оных произошло, а то от некоторой малой монеты, которая от них газета именовалась, и всегда за чтение оных ведомостей плачена бывала. И так должны мы италианцам первое благодарение за вымышление так полезного и приятного дела отдавать».

Позже моду на газеты завели французы, и первым издателем был «славный Ронодо, бывший медикус в Монтпельере». Затем появились «месячные писма» в Голландии и в Германии, а в 1703 году, заботами Петра Великого, вышла первая газета и у нас в России.

Петровская газетка была неважная и не всякому удобопонятна; печатались в ней только официальные сведения. Когда же печатание «Ведомостей» перешло из Москвы в Петербург, а редакцию взял в свои руки историограф Г.Ф. Миллер, стало поинтереснее, даже и для широкой публики. Стала газета выходить дважды в неделю, по вторникам и пятницам, появились разные сообщения из-за границы, так что, например, в ном[ере] 20 от 12 февраля 1729 года можно прочесть следующее:

«Из Лондона. Некоторый из здешних купцов получил из Александрии из Египта некоторую презрядную египетскую мумию (мертвое тело), которая по рассуждению Академии наук с 3000 лет лежала; и сия мумия телом некоторой королевы быть имеет».

Вон еще с каких пор начали англичане заниматься этим делом!

Или, например, пишут из Парижа 28 дня генваря: «О чреватстве королевы чинят обнадеживание с подлинными обстоятельствами, о котором при дворе боле не сомневаются». И есть также рассказ о загробном явлении, начинающийся так: «Некоторая дамская персона имела здесь на сих днях с духом некоторого кавалера, некоторой особливой случаи, как она с некоторыми добрыми приятелями при ломберном столе сидела, и со оными приятелями в ломбр играла, вызвана она в другои покои, где она помянутого духа ей довольно зна-

емого кавалера нашла; но она то не за такого духа, но за самого оного кавалера признавала, понеже она о преставлении его еще весьма неизвестна была, и зело удивилась она, что он в лице так зело бледен и применен быть казался».

И дальше все случилось совершенно так, как случается и у нынешних спиритов под начальством писателя Конан-Дойля, о чем и посейчас в газетах иногда сообщается.

Можно также найти и о театре, так как был и этот отдел. «В среду 17 дня сего месяца (сентября), ради щастливого рождения тамошнего Принца, здешние французские комедианты безденежно играть будут и к тому всех охотников призывают. Во оной комедии будет представлен: ле-Педан скрупулес, или совестный школьный мастер».

С того же 1729 года стали при газете печататься и статьи совсем как ныне, но только как бы особо, в виде «Примечаний»: описания торжеств, легкие статьи, стихотворения и всякий иной материал. Писали их больше академики, конечно — немцы, а переводили на русский язык Адодуров, Третьяковский и другие.

### Доброхотному читателю

Я считаю так, что уж, наверное, в сей день юбилея поместят «Последние новости» свое обращение к читателю...

Этот обычай тоже стар и неизменен. И раньше, такую статью начиная, вперед нее ставили слова:

«Доброхотному российскому читателю радоваться!» или же просто: «Благосклонному читателю!»

И дальше писал сам редактор:

«При сем подается тебе паки начатие некоторых новых трудов, которые токмо ради увеселения тебя и ради твоей пользы и восприяты. Ко исполнению сего намерения собрались разные персоны, из которых всякий трудиться будет, к пользе и к удовольствию читателей нечто сообщать».

И тут рассказывалось, о чем будут впредь сообщения. Но, осведомляя читателя и даже поучая его, тогдашняя редакция предупреждала, что каких-нибудь особенных идей она распространять не собирается. «Сие наперед себе выговариваем, чтобы от нас так имянуемые резонемнты или рассуждения не ожидать. Сие есть нашему намерению противно, которое токмо туды склоняется, чтобы оными публичные ведомости нашим читателям толь лутче и вразумительнее изъяснить».

Неуспешности или плохого тиража тогдашний издатель не боялся, ибо «...есть дело о ведомостях, бесспорно, в такой великой моде, как оное никогда не бывало». А уж дело самого читателя решать, для чего ему потребна газета. Потому и писалось: «Любезный читатель, ты будешь оные употреблять по твоему соизволению, изволишь ли оные того удостоить, чтобы тебе оными несколько праздных окомгновений препровождать, или ты оные к чему последнейшему употреблять изволишь»:

В конце же издатель вручал себя «любви и склонности» любезного читателя, прибавляя: «А в протчем ничего более не желаем, как всякому угодным быть. Благосклонного читателя к службе охотнейший слуга издатель».

Времена, конечно, переменялись, и нынешняя газета не только рассказывает о мумиях и чреватстве высокопоставленных дам, а позволяет себе также и резонемнты. Иной раз из-за этих резонемнтов выходят между разными газетами большие неприятности или, по-нынешнему, полемика: ты, мол, левый, а я правый, — вот и получи на свою голову по двадцатое число! А тот со своей стороны тоже старается сказать неприятность. Но общее намерение остается прежним: сделать удовольствие читателю. Для чего, например, пишет свои заметки старый книгоед? Для того лишь, чтобы мог благосклонный читатель «...оными несколько праздных окомгновений препровождать...». Пробежит глазками, зевнет,



потянется, — и вот тебе, писатель, награда за усердный твой труд! А из дому выходя, завернет в номер газеты старые башмаки, намереваясь отдать таковые в починку.

И кто же, однако, не скажет, что труд наш есть благородный!

### **Нам-то хорошо!**

В заключение же позвольте взаимно порадоваться, что мысли свои и наилучшие думы мы здесь печатаем без особой оглядки и с достаточной свободой. Такое благо, ох, как велико!.. И в нынешней, и в предыдущей истории нашей страны газета весьма страдала от неприятностей, проистекавших обильно от цензурного ведомства, так что приходилось говорить не то, что по совести думаешь, и не так, как сказать хочется. То же и с книжками, иные из которых выходить выходили, конечно, по недоглядке, а потом сожигались с последствиями для авторов.

Таковой случай был, например, с редкой ныне книжкой «Двенадцать спящих будочников», довольно поучительной балладой, написанной в подражание Жуковскому писателем Елистратом Фитюлькиным, хотя и предполагаю, что это не подлинная его фамилия. Издана книжка в университетской типографии в Москве в 1833 году, тексту же ее предпослано стихотворное предисловие, которое является наилучшим доказательством, что лаской можно задобрить и жестокого цензора, хотя после все равно придется отвечать за неслыханную свою смелость:

Цензурушка,  
Голубушка,  
Нельзя ли пропустить?  
Я Господа  
О здравии  
Твоем буду молить.

Свободу я  
Тиснения  
Всегда буду бранить.  
Цензурушка,  
Голубушка,  
Нельзя ли пропустить?

Пропустить-то она пропустила, вняв поэтическому молению. А после вся книжка в магазинах была отобрана, правда, не за эти слова, а за насмешку над полицией, в тексте ее властями усмотренную.

И уж действительно: если и полицию не уважать — что же святого останется!

*[26 апреля 1930 г.]*

## XI. ОЦЕНИВАЮ ЧЕЛОВЕКА

Сразу поймешь человека, когда он стоит перед вашими книжными полочками! Приходит к вам: «здрасьте — здрасте», сядет в кресло около самых книг, глазом покосится и начнет разговор про то, что читали ли нынче, какая вышла катастрофа в метро и нордсюде, и что Дон-Аминадо пишет по индийскому вопросу свои стихи. Разговариваем, а мне удивительно, как это, около самых книг сидя, человек не взглянет пристально на редкости. У меня, например, в первом издании сказки Афанасьева, и в отличных переплетах, на уровне самого его носа, и хоть бы чихнул!

И вижу — человек не настоящий. То есть, конечно, хороший человек и в своих интересах весьма обстоятельный, при синем галстуке, носки с должной просинью и пробор на волосах, все отлично, — но не нашего полета, не из книголюбов. Иной раз стараюсь занять разговором, что вот у Березина-Ширяева неправильно указан год издания, — и сразу человек начинает как бы внутренне позевывать, зачем пришел; я, говорит, очень тороплюсь домой, извините. Ну что же — до свиданья!

Другой же человек, только вошел — сразу ко мне спиной — и прилип к полкам. «Неужто, — говорит, — у вас есть третий том словаря Геннади?» И тут я весь как бы в сиянье счастья, потому что этого человека я скоро не отпущу, дам ему понюхать и Губерти, и Бурцева, и Сопикова, и Обольянинова, и какая

у меня грамматика издания Академии, и стопочка песенников от Ильинских ворот, и найдется гравюрка великого Уткина, и снегиревское писанье о лубочных картинках, и кое-что по части книжного знака, а в заключение развяжу бантики самодельной папочки и поражу человека моей гордостью — «Щеголевой аптекой».

Мало у меня, сущие пустяки — но обвешано любовью и скреплено в корешочках душевною привязанностью, потому что рождено до нас и нас переживет, а радости в мире так мало. Показываю книжку за книжкой, а в горле моем дрожит комочек нервных переживаний, — и, ясно вижу, он тоже волнуется, спешит рассказать, какая у него была редкость в бытность его в Москве, когда посещал книготорговлю Шибанова. И ему хочется больше порассказать, и я тороплюсь выложить свое, — и не можем наговориться, так что в дверь мне тихо постукивают и спрашивают: «Что же он, гость-то, останется обедать или как?» Но даже и такое предупреждение не может сразу облагородить.

Вот это, значит, попался свой человек, книголюб сумасбродный!

Так и расцениваю человека.

### Опечаточка

Но, конечно, таких спецов, пронырливых и пролазливых, как были в Москве, здесь не найдешь. Вымирает благородное племя! Народились изучатели, книжники с образованием, — а самородкам, пламенным, догадливым и дотошным, истинным нюхателям старой книжки, пришел конец.

Помню, однажды довелось мне продавать с аукциона собрание библиографических книг и прочих ценностей этого порядка. По зову собрались серые люди: степенные, задумчивые, плохие со стороны туалета, но своего дела артисты. В душе буря — на лице ничего не прочтешь.

Мое дело простое: называл титул, год издания да постукивал молоточком. Сидят, понутив головы, кое-что без особого восторга берут, друг у друга не перебивая. Все сидели за большим столом, поближе ко мне — старичок в поддевке, с краю — молодой человек, к остальным почтительный. Скольکو у кого в кармане денег — неизвестно.

Скажешь: «Сопиков, “Опыт российской библиографии”, тринадцатого года, все томы в наличности, страницы тож». Старик погладит бороду, тихо спрашивает:

— А двести пятьдесятая есть?

— Двести пятьдесятая страничка, извините, пустая!

Молчат. Взять взяли, цены не вздымая. На упомянутой же странице, как известно, сняла цензура «Путешествие...» Радищева, и осталось лишь в редких экземплярах.

— Журнал «Библиофил», полностью, все года, все номера!

Никакого внимания. Двое набавили по десятке, досталось молодому. А журнал хороший.

— «Фелица» Державина, первое печатание; в том же переплете рукописное, без особой ценности.

О «Фелице» поспорили, тщательно книгу посмотрев. Но чтобы буря вышла — этого нет. Купил старик.

Тогда говорю:

— Номерок газеты «Правительственный вестник», со сведениям о пребывании императорских величеств. Желаящие могут посмотреть. Старый номерок.

Все головы подняли. Вижу только, что молодой обеспокоен: ничего не понимает, чем номерок замечателен.

Старичок погладил газету, одним глазом глянул — как раз куда следует. Но виду никто не подает.

Старик небрежно спрашивает:

— Какова оценка?

— А как, говорю, полагаете возможным?

— Да что же, я полтинник предложить готов.

— Так, — говорю. — Однако торг начнем с четвертного билета.

Молодой так и вспыхнул: все знают, а он не знает!

И вот тут пошло. Обычно букинисты уступают друг другу, ну а тут стали набивать — и набили цену до семидесяти пяти рублей. За стариком и остался старый газетный номер.

Читателю, конечно, вряд ли понятно, я же подробно объяснить не могу ввиду колебания нравственности. Скажу только, что вышла одна знаменитая опечатка, и не опечатка даже, а просто у одной буквы отпала палочка, а остался кружочек — и вышло такое дело, что полиция отбирала номера, чем и прославилась сию опечатку, — а то бы иные не заметили. А весь Питер от хохота корчился!

Любят эти вещи собиратели редкостей, до страсти обожают! По совести же говоря, этот интерес не настоящий: не истинная любовь к печатному изданию, а просто коллекционерство, вроде марочного либо же в рассуждении кармана: чтобы перепродать с прибылью.

Но в том дело, что приятно смотреть на знающих людей: эти не ошибутся! И страничку помнят, и где какая буква не вполне вышла, и все прочее знают назубок. И когда промеж себя беседуют — постороннему человеку не понять: почему люди на прекрасные темы не обращают должного внимания, а из-за иной плохонькой брошюрки готовы лезть на стену? И уж тогда друг с другом бьются — как лютые враги.

### «Радищевская»

Упомянуто мною выше, что в «Опыте...» Сопикова осталась чистой страница двести пятидесятая, заполнена же лишь в весьма немногих экземплярах. Самая книжка всем теперь известна: «Путешествие из Петербурга в Москву», сочинение коллежского советника Александра Радищева. И эпиграф к ней: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя». Печатана она

в 1790 году. В первом издании книжка эта прередка: вышло в свет не более 30 экземпляров, а остались известными меньше пятнадцати. И однако, здесь, в городе Париже, держал я в руках сей редкий экземпляр, происхождением из личной библиотеки знаменитого книголюба Остроглазова, перешедший в другие руки и вывезенный за границу. Ныне этот прелестный томик находится в библиотеке покойного С. Дягилева, каковая, если верны наши сведения, к слезам и горю всякого ценителя книги, скоро пойдет в розницу с молотка. А редкостей в этой библиотеке очень много, есть даже книги русские колыбельные, по ученому — инкунабулы, вплоть до самого первопечатника Ивана Федорова.

Что же выбросила цензура у Сопикова со знаменитой страницы?

Смешно сказать: милые и безвинные строки, каковые для удовольствия читателя и ввиду трогательной их нежности позволю себе здесь полностью привести с вышеназванной изъятной «радищевской» страницы:

*Приписание*

*А. М. К.*

*Любезнейшему другу*

«Что бы разум и сердце произвести ни хотели, тебе оно, о! сочувственник мой! посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг. Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала; обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят от человека, — и часто от того только, что он взирает не прямо на окружающие его предметы. Ужели, вешал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину на веки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтобы чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку

нашел утешителя в нем самом. Отъими завесу от очей природного чувствования — и блажен буду.

Сей глас природы раздавался громко в сложении моем; воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению, и — веселие неизреченное! я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть в благоденствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, — говорил я сам себе, — я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей; кто в шествии моем меня подкрепит; не сугубой ли плод произойдет от подъятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь и имя твое да озарит сие начало».

Посвящение сие сделано было Алексею Михайловичу Кутузову.

### Устрицы

Как известно, в «Путешествии...», в шестой главе, Радищев не только осыпал благородным негодованием Потемкина, любимца императрицы Екатерины, но и о самой государыне позволил себе заикнуться, чем вызвал ее гнев и снискал себе самому погибель.

И вот какую критику написала сама гордая императрица на книгу злосчастного сочинителя:

«Намерение сей книги на всяком листе видно; сочинитель оной исполнен и заражен французским заблуждением, ищет и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народу в негодование противу начальников и начальству.

Он же едва ль не мартинист или чего подобное знание имеет довольно и многих книг читал. Сложение унылого и



все видит в темном виде, следовательно черножелтого вида. Воображение имеет довольно, и на письме довольно дерзок».

Очевидно — весьма изволили разгневаться, потому что обычно изволили писать гораздо грамотнее!

И из-за чего все вышло? Лишь из-за того, что сказано про Потемкина, будто «пристрастился он к устрицам, как брюхатая баба: спит и видит, чтобы устрицы кушать; когда приходит пора, то нет никому покою».

Из-за подобного пустяка — погиб человек! Вы же, любезный читатель, эти устрицы кушаете, и никто вас не осуждает, и никто через это не может жестоко пострадать.

Откуда следует, что времена переменялись много к лучшему.

*[3 мая 1930 г.]*

## ХІІ. СО ВСЯКИМ СЛУЧАЕТСЯ

Со всяким любителем старины могут случиться ошибочки. Вот ныне англичане увлекаются гробницей Александра Македонского — очень хотят найти ее. И на днях в Лондон телеграфировали из Каира, а из Лондона в Париж, по всем газетам, также и русским, что гробницу великого полководца надеются отыскать по указаниям Геродота, который в своих сочинениях упоминает о «богатой колеснице», влекомой несколькими десятками волов вдоль реки Евфрата и двигавшейся по направлению к западу, — в колеснице же и было, по-видимому, тело Александра, когда везли его хоронить в Александрию.

Вот как помогает чтение старых книжек! Хотя, конечно, если читать их спокойнее и внимательнее, то нельзя не удивиться, как это догадался историк Геродот, в бозе почивший лет за сто до Александра Македонского, описать его похороны? Пожалуй, такую телеграмму по всему миру посылать не следовало. И было бы лучше, книжечку Геродота поставивши обратно на полку, почитать на сон грядущий историка Диодора, который относительно похорон был вполне осведомлен, так что даже и догадываться не о чем.

Это так, к слову. Поговорить же подробнее полагаю сегодня о том, как уважал старую книгу Иван Сергеевич Тургенев, хотя обозначал титулы книжек не всегда с подобающей точностью.

**«Символы и эмблематика»**

Рассказывается в «Дворянском гнезде», как воспитывали Федю Лаврецкого. «По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием «Символы и Эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под заглавием «Шафраны и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка» означали: «Мало-помалу».

Здесь Иван Сергеевич Тургенев рассказал по памяти о знаменитейшей книге, ставшей ныне даже в последующих изданиях великой редкостью. Но ошибочки знаменитый писатель все же не избежал.

Автор книги не Максимович-Амбодик, а составлена она из сочинений Катса, Гейнзия, Ремера Фишера и многих других. Издана была в Амстердаме по приказу Петра Великого в 1705 году с подлинника, там же изданного в 1691-м. В заглавии находится портрет Петра работы Готфрида Кнеллера, нарисованный им в 1698 году «с окружающими его приличными емвлемами и символами». Из этих эмблем некоторые были Петром использованы для собственных печатей. Подлинник книги издан был на восьми языках. О петровском издании рассказано в «Деле» 1718 года, что найдено этой книги в польском приказе 775 экземпляров, из которых сгнили от сырости 165, а остальные пущены в продажу. Но надо думать, что и из остальных много сгнило, потому что книга эта в России и в Голландии прередка.

Но не это издание видел Тургенев и читал его герой Лаврецкий, а либо второе, либо третье русское ее издание, исправленное Нестором Максимовичем-Амбодиком, доктором и профессором медицины, и всего на пяти языках. Было в нем 840 эмблем с текстом и 23 виньета. Второе издание — 1788 года, а третье — 1811-го, с посвящением Александру I. Смысл же этой книги был таков: «Как тело и душа, будучи воедино сопряжены, соделывают естественную связь человека, так известные образы и слова, вместе сложены будучи, составляют совершенный смысл и человеческим очам представляют вразумительные емвлемы и символы».

И были в книге не одни купидоны, а и лучезарное солнце, и гора, окруженная морем, и лев, грызущий собаку, и рука, выказывающаяся из облаков, обутая в латы и держащая меч и масличную ветвь, и Геркулес с земным шаром за плечами, и человек с лопатой, и кричащий петух, и сова у дерева, и аллеи деревьев, и много любопытного, чем мог насладиться мальчик Федя Лаврецкий.

Скажем даже так: читал Федя, несомненно, третье издание, озаглавленное «Емвлемы и символы избранные»; так и по времени выходит. Потому что первого, амстердамского быть не могло, а второе в такой семье, да еще при допущении его в детскую, давно бы истрепалось. Третье же и по сорту бумаги, и по оттискам изображений было много похуже, так что не так жалко давать для забавы детям.

Для любопытствующих добавим, что первое и знаменитое издание «Символов...» значится в списке книг библиотеки покойного Сергея Дягилева, назначенной к продаже в Париже.

### **Еще книжки Ивана Сергеевича**

Любил наш писатель хорошие старые книжки и о многих упоминал в своих сочинениях.

Вот, например, Мартын Петрович («Степной король Лир»), когда находила на него меланхолия, запирался в комнате и при-

казывал казачку Максимке читать вслух томик новиковского «Покоящегося трудолюбца», и Максимка жарил по складам: «Но человек страстный выводит из сего пустого места, которое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, сказывает он, не сильна сделать меня счастливым».

Взято это место Тургеневым из части 3-й «Трудолюбца» 1785 года со страницы 23, строка сверху 11-я. А самое издание носило такой титул: «Покоящийся трудолюбец, заключающий в себе богословские, философические, нравоучительные, исторические и всякого рода как важные, так и забавные материи, и проч., служащий третьим продолжением «Утреннего света», Москва, 1784—85». Первой и второй части у Мартына Петровича не было, а были только разрозненные номера третьей и четвертой. И читал ему Максимка, следовательно, статьи гг. Антона и Михаила Прокопович-Антонских, Василия Подшивалова, Павла Сохацкого, Карпа Мисловского, Росинского, Келембета и многих других. Вышла книга без пометки об указном дозволении, и впоследствии, вместе с другими книгами, была отобрана у издателя в его имении. И однако, как мы видим, Мартын Петрович ею обладал, хотя по рассказу не видно, чтобы имел принадлежность к свободным каменщикам.

Или, например, в романе Тургенева «Новь» — чем занимались Фома Лаврентьевич и Евфимия Павловна Субочевы, старинные обитатели города С. Вставали поздно, кушали утром шоколад, а потом «...садились друг перед другом — и либо беседовали (и всегда находили о чем), либо читали из «Приятного препровождения времени», «Зеркала света» или «Аонид».

Названия совершенно точны. «Приятное препровождение времени» — это была такая книжечка, переведенная с французского Петром Шварцем и изданная в Москве в 1799 году. Потом тот же Шварц издал и другую, размером поменьше, назвав ее: «Приятное препровождение вечернего времени». Но Фомочка и Фимочка читали, по-видимому, первую, так как читали по утрам. Был еще и журнал, по названию схожий («При-

ятное и полезное препровождение времени»), выходявший с 1794 по 1798 год, а писали в нем те же писатели (Подшивалов, Сохацкий и пр.), сочинения которых Мартыну Петровичу читал вслух по складам казачок Максимка. Выходил журнал как приложение к «Московским ведомостям».

Что касается «Зеркала света», то этот журнал выходил несколько раньше, в конце 80-х годов, а издавали его Федор Туманский и Петр Богданович; выходил еженедельно, и всего за два года вышло 104 номера, или шесть частей. Эту книжку Фимочка с Фомочкой, вероятно, читали-перечитали. Третья же, «Аониды», была для них поновее, так как издана она Карамзиным в 1796—97—98 годах в трех частях малого размера под названием «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений». Заплатили за нее господа Субочевы десять рублей.

Вот как приятно точно знать, какие книжки были в руках героев великого нашего писателя!

А то, например, в рассказе «Три портрета» сказано, что «русские девицы начали почитать романы вроде «Похождений маркиза Глаголя», «Фанфана и Лолотты», «Алексея, или Хижины в лесу». Тут разобраться гораздо труднее, потому что точные титулы книжек писатель наш запомнил. Нужно было сказать про первую книгу: «Приключения Маркиза Г., или Жизнь благородного человека, оставившего свет». Такая книжка сочинена аббатом Прево и переведена И. Елагиным и Вл. Лукиным в 1756—1765 годах, издана же в 6 томах в Санкт-Петербурге.

Как была фамилия маркиза, не сказано, по-русски же, по значению буквы Г., называли его действительно Глаголем. Позже вышли еще два тома, и там была описана история кавалера Грие и Манон Леско.

Переводчик Елагин, Иван Перфильевич, был при Екатерине министром, потом сенатором и директором придворной музыки и театра, а еще известен как виднейший петербургский масон. А Лукин, Владимир Игнатьевич, был при Елагине секретарем, вообще же был писатель очень интересный. Это он

вел борьбу против Сумарокова, предлагал переделывать французские пьесы на русские нравы и первый дал мысль о народном русском театре. Очень его тогда за это бранили и осмеивали в печати.

Две другие книжечки, названные Тургеневым, хотя и неточно обозначены, а разысканы быть могут. Первая — «Лолотта и Фанфан, или Приключения двух младенцев, оставленных на не-обитаемом острове» (1791). При ней картинки: «Батюшка, ах батюшка — Как я, любезные мои дети...» и вторая: «Провидение есть их кормчий». Гравюры довольно грубые. А другая книжка озаглавлена: «Алексис, или Домик в лесу...» изданный в свет сочинителем «Лолотты и Фанфана», и тоже картинки с надписями: «Смотри, видишь ли ты домик?», «Поверь своей Клеретте», «Ах, государь мой» и «Родитель мой, опусти нам мост». Тоже — плохи гравюры, а сама книжка переведена с французского.

Думается мне при этом, что «Хижину в лесу» Иван Сергеевич назвал напрасно. Была, правда, и такая книга, но вышла она на сорок лет позже (1833) под названием «Хижина в лесу, или Добрые дети, соч. г-жи Г.» — с пятнадцатью плохими картинками. Но эта книжка для барышень не так интересна, больше детская. И прибавил ее Иван Сергеевич лишь по случайному созвучью, спутавши два названия. Утверждать, однако, не возьмусь.

В романе «Дым» упоминает Тургенев сборник Кирши Данилова, а в «Нови» говорит о рукописном «Кандиде» Вольтера. Еще в «Дыме» встречаются старые альманахи «Шаривари» и «Тентамарра», а в рассказе «Несчастливая» — книжка Де-Жерандо «О вреде страстей», мною не разысканная.

По всему этому видно, что мимо старой книги Иван Сергеевич равнодушно не проходил; а кто будет сомневаться, тому нужно прочитать в рассказе «Пунин и Бабурин», как сам рассказчик, Петр Петрович Б., читал книги под руководством Пунина; стоит это место здесь привести:

«Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынный или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным, кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать. И вот удалось нам уйти незамеченными, вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек, вот мы уже сидим рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и “старья”».

И подлинно: только тот и книголюб, кто книгу чувствует не только глазами, а и носом. Понимал это Иван Сергеевич Тургенев!

Там же, подальше, рассказано, как читали они с Пуниным «Россиаду» Хераскова. Жаль, не сказано, какое издание; если первое или третье — хорошо, потому что эти издания (1779 и 1801 гг.) приятны и изящны; по времени же выходит как будто четвертое, которое плоховато и настоящего запаха плесени и старья иметь не должно. В этой поэме действует одна мужественная татарка, великанша-героиня, и вот о ней очень любил читать Пунин, как и вообще любил он Хераскова.

«Да,— говаривал, бывало, Пунин, значительно кивая головою,— Херасков — тот спуску не дает. Иной раз такой выдвинет стишок — просто зашибет... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а уж он — вон где! и трубит, трубит, аки кимвалом! За то уж и имя ему дано! Одно слово: Херррасков!..»

По малости места настоящим отрывочком закончу. И о любимых тургеневских книжках приятно было вспомнить, и самого его хорошо почитать. Нам, книголюбам, Иван Сергеевич — истинный друг!

[11 мая 1930 г.]



### ХІІІ. «ПРИГОЖАЯ ПОВАРИХА»

Такова уже привычка книголюбца: читаешь произведения писателя и, как встретится упоминание о какой старой книге, так на этом месте и застрянешь, задумаешься. Один курильщик рассказывал мне, что как только он прочитает в романе про героя, что тот, мол, закурил папиросу, — так и хочется самому закурить. Это я, хоть и не курящий, легко понимаю.

Так вот, читал я на днях роман А.С. Пушкина «Дубровский». Стихов я никаких не люблю (смешно стихи читать), а прозу, да еще такую замечательную, хорошо почитать. У Кирилы Петровича Троекурова, — описывает Пушкин, — была огромная библиотека, больше из французских писателей, но сам он никогда не читал ничего, кроме «Совершенной поварихи». И вот на этом месте я остановился.

Книги с таким названием не было, ошибся Александр Сергеевич. А была знаменитая книга, теперь ставшая великой редкостью, под титулом «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины». О ней, конечно, Пушкин и говорит, только позабыл название. Написана она М. Чулковым, и только первая часть, а дальше он не написал, хотя книга очень хорошо разошлась. Издана была в Санкт-Петербурге в 1770 году. Редкой стала потому, что зачитывали и трепали ее все читатели до полной ветхости. Роману своему Чулков (хотя имени его на книге не значится) предпослал стихи с такими начальными строчками:

Ни звери, ни скоты наук не разумеют,  
Ни рыбы, ни гады читати не умеют.  
Не спорят о стихах между собою мухи  
И все летающие духи...

Содержание же рассказать очень трудно — сложно оно и запутано. Хотя действие происходит в России, но героиню зовут Мартоной, а обожатели ее именуются Светоном, Ахалем и Свидалем.

Мартоне 19 лет; она сирота и уже вдова, а проживает в Киве. Сначала водит дружбу с дворецким богатого барина, а потом с самим барином Светоном.

Но так как жена Светона, обо всем проведая, ее жестоко избивала, то едет она в Москву и устраивается там поварихой у взяточника-секретаря; отсюда тоже вышибает ее ревнивая секретарева жена. Тогда она переходит ко вдовому полковнику, который задаривает ее и очень ревнует. И вот тут подвертывается офицер Ахаль; переодевшись женщиной, он, по соглашению с Мартоной, забирается в дом полковника под видом ее сестры, а потом сманивает Мартону бежать с ним. Но он обманул ее, забрал ее вещи, а сам скрылся. Она было вернулась к полковнику, а тот успел с горя по ней помереть. Тут ее арестуют, но Ахаль с другим офицером, Свидалем, ее освобождают. Оба они пользуются ее милостями, но, перессорившись, дерутся на дуэли, и Ахаль убивает Свидаля и скрывается. Тут является мнимо убитый Свидаля (он только притворился мертвым) — и очень они с Мартоной друг другу рады.

Однажды познакомилась Мартона с купчихой, в доме которой собирались писатели и происходили свиданья любовников. Эта купчиха подговорила слугу убить ее мужа, а слуга рассказал про то Мартоне. И вот купчиха ведет всех к своему купцу в комнату, думая, что купец умирает. А купец вскочил здоровехонек и побил ее. Тогда Мартона рассказала всем, как было дело, и поэтому купец разошелся с женой. А в скором времени Ахаль написал Мартоне, что решил покончить с собой, так как

убил своего друга Свидалея (он не знал, что тот жив). Мартона со Свидалем спешат к Ахалю в деревню, но поздно: он и вправду отравился и умирает на их руках.

Тут первой части романа конец, а второй части автор не написал,— вот какая досада!

Эту самую книжку купил Кирила Петрович Троекуров и ее единственную читал, хотя была у него наследственная библиотека из французских писателей 18-го столетия. И за книгу он заплатил сорок копеек.

### **Письмовник Курганова**

А вот в «Истории села Горюхина» Пушкин очень хорошо и много говорит о поистине замечательной книге Курганова — «Новейший письмовник». «Чтение письмовника, — говорит автор “Истории...”, — долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть, и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые, незамеченные красоты. После генерала Н.Н., у которого батюшка некогда был адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех — и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично... Мрак неизвестности окружал его, как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования... Наконец, я решил, что должен он походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка, с красным носом и сверкающими глазами».

Позже автор «Истории...», приехав в свою деревню, нашел старый «Письмовник» между рухлядью в жалком состоянии. «Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть. Я прочел его еще раз и больше уже не открывал».

Эти строки Пушкина относятся к 1810—1820-м годам. И любопытно знать, какое издание «Письмовника» было в руках автора «Истории села Горюхина»?

Нужно сказать, что и тут Александр Сергеевич Пушкин опять допустил неточность, назвав книгу «Новейшим письмовником». Под таким названием было несколько книг, содержавших образцы писем («Новейший полный письмовник, или Всеобщий календарь» и др.), но не кургановские, хотя как раз того же времени. А кургановская книга, в ее современных автору «Истории ...» изданиях, называлась просто «Книга Письмовник», хотя ее первое издание (1769) носило длинный титул: «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с семью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных вещей». Дальше по-латински и дата. После название было упрощено, и известно множество изданий вплоть до 1840 года.

В руках же мальчика, восхищенного «Письмовником» Курганова, могло быть одно из первых восьми изданий, а вернее всего, именно восьмое (1809), как только что купленное для него родителями.

Сама же по себе книга Курганова была, действительно, до поразительности интересна и занимательна. Грамматике в ней отведено только 100 страниц из 430, а остальное состоит из весьма любопытных и хорошо написанных «присовокуплений». Сначала идут 960 пословиц и поговорок, как, например, «Бабка скачет и задом и передом, а дело идет своим чередом». Дальше следуют «Краткие замысловатые повести», и вот из них для образчика:

«Поп, поссорясь с одной бабой на пиру, грозил ее за то поколотить. Но она, ударяя себя по бедре, сказала: дай Боже ей здравье, я тебя нисколько не боюсь. Поп... поди, ну к черту плеха! а она закричала: извольте, господа, прислушать; он открыл мою исповедь» (стр. 142).

«Некто женился на девушке, которая вскоре родила другую, и, по разнесшемуся слуху, иные новобрачному смеялись, что женился он на кобыле с жеребенком. Другие говорили, что плод еще очень рано поспел. Но один сказал ему: не прогневайтесь, сударь, вы очень поздно сыграли свадьбу» (стр. 154).

А дальше идут «Различные шутки» и «Достопамятные речи», как, например: «Четыре вещи невозвратимы: младость, время, выговоренное слово и девство». Или же: «Говорил некто, что рыжева италианца, белокурого ишпанца и черного немца весьма надобно опасаться». Много в книге стихотворений, нравоучительных слов, философских разговоров, статей по мифологии, сведений о «знании и науках», астрономических, физических, медицинских, филологических, и все изложено занятно и легко, хотя подчас не вполне пристойно, особенно в соображении детей. Особенно много места отведено рассуждениям о чистоте русского языка и насмешкам над теми, кто вводит в него иностранщину. Так, например, приводит Курганов такую речь:

«Некто кандидат говорил полуросски так: служил-де я сорок лет, а капиталу нет; и я-де о том юристов просил, но они-де не азардируют ныне на аксиденцию (взятку), точию-де по новомодной поведенции очень политично екскузуясь (извиняясь), завтрянят (обещают завтра) и проч.»

А другой говорит: «Я в дистракции и дезеспере; аманта моя сделала мне инфиделите, а я, а ку сюр против риваля своего буду реванжироваться».

«Надлежало бы, — говорит Курганов, — стараться оные слова истреблять, и в лучшее приращение приводить отеческий язык, и не вводить в него чужого ничего, но собственной своей красотой украшаться».

Всего, что имелось в «Письмовнике», невозможно и перечислить. Он был и вправду одной из лучших и занимательнейших книг, а зачитаться им можно и сейчас. Так много в нем всяких сведений и разнообразного материала, что недаром он закончен следующими словами:

«Все тут. Нет больше. Только».

Вот какую книжку держал в руках мальчик, описанный Пушкиным. Ну, как же было не увлечься, если кроме нее ему пришлось видеть еще только азбуку да несколько календарей!

### Что за календари?

И вот, кстати сказать, заинтересовало меня, на каких таких календарях записана была «История села Горюхина»? Про них пишет Пушкин, что принесли его герою «...целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете. Это было собрание старых календарей. <...> Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, т.е. ровно 55 лет».

Если бы я стал здесь подробно излагать, какие по тем временам печатались календари и месяцесловы, то читатель меня забранил бы, потому что разобраться в этом очень мудрено. О календарях осьмнадцатого века существует в библиографии целая наука. Знаменитейший календарь был Брюсов, о котором как-нибудь стоит поговорить; но здесь речь не о нем. Из любопытных месяцесловов еще назову один (1774), весь гравированный, в 256-ю долю листа. Из обычных же календарей, имевшихся за указанные года, ни один в течение всего времени не продолжался. Значит, были календари разных изданий, и полагаю, что в основе были календари «Санкт-Петербургский» и, может быть, «Придворный» или «Месяцеслов на лето...», а с 70-х годов мог быть издания Академии наук. Для удобства эти календари сплетались с чистыми листами бумаги, для семейных и хозяйственных надобностей, чтобы записывать. На этих листах, да еще на обороте страниц и могла быть записана «История села Горюхина».

Но одно нужно сказать: такой коллекции календарей, погодно за пятьдесят пять лет подряд, не было и нет ни в одном русском книгохранилище. И не знал автор «Истории...», что в его руках такое сокровище, на которое невозможно наглядеться и за которое иной библиоман отдал бы и все состояние, и на придачу жену, если уже немолода.

В заключение позвольте, ради любопытства, привести здесь из стариннейшего Брюсова (1726) календаря, сорокасемилистого, предсказание лицам, кои между 12 мая и 12 июня будут справлять свое рождение.

## **Брюсово предсказание**

«...Черноволок и очи черные, долгий лоб, шия и нос, явного лица, малая на щеке ямочка. Егда смеется, великие зубы, иметь будет знак на ногтях и на груди, слаб телом, тонок, изряден языком, искусно глаголет и хвалу сам себе ведет; чудными подражаниями, во гневе много говорит, будет празднoлюбeц, охотно гулять, скоро седеет, непостоянен, будет вельми богат и жена принесет много богатства ему, много приобретает друзей, но обаче мало счастья имеет от них, скорoлюбив женам, три супружества покажется ему, первая вдова, от двема имети будет сопротивности».

*[21 мая 1930 г.]*

## XIV

Тут меня спрашивали знакомые: «Откуда вы, господин старый книгоед, берете свои сведения, что и всякую книжку проверяете, и описываете в ней картинки, и печатаете отрывочки из редких изданий?» А чего же удивительного: кто что любит, тот то всегда разыщет! Иной обегает весь Париж, чтобы достать воблы или мятных пряников, — чем же книжка хуже? Это уж такая страсть! Конечно, кое-что имею при себе — сохранил от хороших времен, а другое знаю по описаниям, хотя, конечно, случается и ошибиться, а иной раз не разыщешь.

Нынешний день, например, читал роман «Княгиня Лиговская», сочинение Лермонтова, как Печорин посетил господина Красинского, а застал его матушку и стал с ней разговаривать о книжке под названием «Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым», сочинение Н.П., Москва, в типографии И. Глазунова, цена 25 копеек. Указание точное, а все же, по отсутствию надлежащих о новых книгах справочников (книг то не больше ста лет), разыскать не мог. Я думаю так: за такую цену много не дашь и, вероятно, издатель выбрал и издал кусочки из известной книги «Истинный способ быть здоровым, долговечным и богатым, открытие особых, редких, удобоисполнительных, испытанных и весьма дешевых секретов, посредством которых всякий может доставить себе прочное здоровье и обогатиться честным образом в кратчайшее время».



Такую книгу в 1809—1810 годах издал Панкратий Платонович Сумароков в трех частях, а в 1833 году была она перепечатана. А ведь что любопытно: значит, Михаил Юрьевич Лермонтов интересовался, как стать богатым и счастливым, если такие книжки читал и даже знал, что стоит им помянутая 25 копеек! Если бы не прочитал, не мог бы рассказать содержания, а у него Печорин говорит, что книжка эта была «резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную сущность». Старушка же, мать чиновника Красинского, со своей стороны заметила, что в книжке этой «ничего нет», — верно, тоже не нашла, чего искала.

Должен также признать, что и благосклонный читатель иной раз мне помогает, описывая свои книжки, а иной даже присылает от чистого сердца, я же отдариваю справочкой. И до чего любопытно, как разошлась русская книжка по всем странам! Пишут мне о своих редкостях и из Каира, и из Америки, и с Балканского полуострова, а ныне прислали из Палестины, где оказалась у любителя книжка «Пестрые сказки с красным словом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкой, изданные В. Безгласным». А ведь это псевдонимы князя В.Ф. Одоевского, и в книжке есть три сказки, не вошедшие в собрание его сочинений. И вот такая книжка попала в город Тель-Авив, который и сам-то моложе молодой книжки!

А то зашел ко мне один читатель, принес амстердамское издание, а между прочим прибавляет:

— Купил, — говорит, — я на Марше-о-пюс немножко книжного мусора, да только вот это любопытно, а остальное пустяк: какая-то рукопись 18 века с описанием инвентаря турецкого посольства...

А знает ли благосклонный читатель, как ценно все, что описывает старый быт, и уж не говорю о рукописях, а и печатное! Так вот высоко ценим мы, книголюбы, редчайшую книжицу «Аптека домашняя и дорожная, лекарями пересмотренная, вместе с полным списком белья для хозяйств и путешествующих... Из-

дание оригинальное, для воровского перепечатания с печатью моего имени замеченное. Лейпциг, у К.Г.Е. Арндта; во время ярмонок на площади в лавке близко верхнего фонаря на среднем главном ряду». Издана в Лейпциге около 1816 года. И тем ценна, что имеются в ней не только средства от мозолей, от колики, от ветров в брюхе, от бородавок, от глистов, от клопов, от досадования и страха, от моли, ознобления, ожогов и прочего, но еще и совершенный реестр для белья по букварному порядку. А в реестре записаны из белья мужского, ныне не в употреблении, как то:

Жасо  
Жилеты (камзольчики)  
Камзолы  
Карпетки  
Колпаки спальные  
Платки шейные разноцветные  
Полусорочки  
Шлафроки.

А из белья женского, детского и домашнего:

Епанчи  
Исподницы  
Камзолы спальные  
Чепчики  
Обвязки  
Юпки (длинные кафтаны)  
Юпочки  
Шапки  
Платки на покрывание  
Наволочки на одну особу  
— “ — на оконешные подушки  
— “ — на стулья и на канапеи  
Занавесы постельные  
— “ — подъемные (катки).

А при книжке аспидный грифель на аспидном, в стороне находящемся пергаменте.

Что же касается средства от блох, то вот оно:

«В домах и комнатах чищение полу песком самым лучшим средством будет. Но кто сам от блох беспокоится, тот лучше сделает вытрясать все свое платье в окошко направо и налево, так убежит труда ловить их и убить».

А про других насекомых, по части головной, просто сказано: «Хотя опрятность есть лучшим способом от вшей, но и самому опрятному человеку случается нередко».

### Модный журнал

О старом быте вспомнив, расскажу попутно для любезных читательниц о русском модном журнале, выходившем в Москве ежемесячно в 1791 году под титулом «Магазин аглинских, французских и немецких новых мод».

Как раз в этом году в Париже стали дамы носить «...чепец или наколки на манер цилиндра, вышиною равняющиеся настоящей голове сахару, так что по причине высоты прически в залах собрания все люстры и жирандоли повешены гораздо выше прежнего, для предупреждения пожару на головах красавиц». Но и наши русские дамы не отставали, и вот что они носили:

1. Для балов в торжественные дни и для выездов:

«Русские платья из обьерей, двойных тафт и из разных как аглинских, так и французских материй, шитые шелками, или камнями, или другого цвету; рукава бывают одинакового цвету с юпкою; пояса носят по корсету шитые шелками или камнями, по приличию платья; на шее носят околки, или род косынок на вздержке, или с складками из блонд или из кружева; на грудь надевают закладку или рубашечку из итальянского или из простого флеру на вздержке, а ко вздержке пришивают блонды или кружева; рукавчики в два ряда, из блонд или из кружева складками, перевязываются лентами по пристойности к платью; голова причесывается буклями, большими и маленькими, по желанию, виски же отбираются и подрезываются на-

равне с ушами; шиньон гладкий, и конец его завивается буклею; на волоса накалывают ленты с перьями же и цветами, также гирлянды из цветов; ленты же и перья употребляются по приличию к цвету платья».

2. Для выездов на партикулярные балы:

«Сюртуки без фраков, флеровые и тафтяные полосатые с цветочками и одинаких тафт разных цветов с белыми флеровыми юпками, как с шитыми, так и с простыми, и с наклейкой белой и цветною с фалбалами; на шее платки и рубашечки с мужскими воротниками, флеровые, и линовые белые, и шитые цветными шелками; рукавчики такие ж, как и к русскому платью; пояса из лент с концами и с бантами и пряжки к поясам стальные или с камнями; голова убирается также буклями, а на оной носят тюрбаны разных цветов, из цветных флеров, как полосатых, так и одинаких, с перьями и цветами, также и разные наколки».

Вот как тогда было сложно одеваться! Еще требовались туркезы, лацканы и шемизы с фалбалами и с рубцами и по кисее печатные кушаки, а на выездах — шляпки а-ля Клош, т.е. наподобие колокола, либо а-ля Бержер — по-пастушечьи, на один бок, с лентами и гирляндами цветов.

А нынче — и на бал, и на прием, и на вокзал, и в клуб, и просто к добрым знакомым — надевают дамы подниз ничего, а сверху и того половинку.

А впрочем, тогдашний модный журнал давал дамам такое наставление:

Красавица, не тщитесь  
За модой вслед бежать,  
Искусством не учитесь  
Натуру украшать.  
Поверьте, и без шляпок,  
Без тафт и без парчей,  
Без лент, цветов и касок,  
Без толстых обручей,  
Она в простом наряде

Умеет дух пленять,  
В приятном, скромном взгляде  
Всю прелесть сохранять.

Мужчинам же предписывалось:

«Прическа обыкновенная есть: в три букли на стороне, одна возле другой, и широкий алавержет. Шляпы к фракам круглые, остроконечные, перевязанные лентами. Шелковые половинчатые чулки, наподобие сапожков, до половины икры темного цвета, а от икры до колена белые».

### Письмо Кутузова

Таков был тех времен обиход и таковы одежды.

А вот каков был тех времен приятный стиль писем. Один любезный читатель переписал и прислал мне документ, им хранимый, а именно письмо генерал-фельдмаршала М. Кутузова к графу Александру Ивановичу Рибопьеру, обер-камергеру и члену Государственного совета, которого Кутузов именовал своим племянником. С разрешения владельца подлинника этого письма, Ив.Дм. Федоровского, проживающего в Праге, позволю себе к удовольствию любителей старого стиля впервые это письмо здесь опубликовать:

«Любезный и очень милой Александр Иванович. Я обрадован несказанно, получа письмо ваше, зная Катерину Михайловну еще дитятию и видая ее иногда уже взрослой, а более всего наслышась о ней; уверяю вас, что мои седые волосы не могли мне помешать завидовать вашему счастью, а все, что бы мог я еще вам сказать, увидите из письма моего к Катерине Михайловне, примите мое пророчество: вы оба будете непременно счастливы. Остаюсь верный и покорный слуга Михаила Г[оленищев-]Кутузов. Вильна, 22 августа».

Екатерина Михайловна Потемкина была невестой Рибопьера, и письмо писано по случаю помолвки в 1809 году.

## XV. ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ

В заголовке сего проставляю римскую цифру XV, не всякому читателю понятную; ею обозначается, что настоящие скромные заметки были печатаемы и в прошедшие годы и что, пока не все старые книги истреблены временем, червем и человеческим небрежением, — неизбежен и возврат к их забаве и мудрости.

Прошедшие годы... и невольно тянется рука старого книгоеда, чтобы перелистать назад не одну-две, а полтора-два и двести страниц книги жизни человеческой. Может быть, там, в далах ушедших, найдем отдохновение от современных тревог и ожиданий новой человеческой бойни? Может быть, тогда жили иным и не помышляли об орудиях смерти и взаимоистребления?

И вот, раскрыв справочник, нахожу под юбилейной датой 1732 года лишь одну значительную и приметную книгу, вышедшую в России в дни Анны Иоанновны, хотя и предположенную к изданию еще Великим Петром:

«Мемории, или записки артиллерийские, в которых описаны мортиры, петарды, доппельгакены, мушкеты, фузеи и все, что принадлежит ко всем сим оружием; бомбы, каркасы и гранаты и проч.; литье пушек, дело селитры и пороху; мосты, мины, карры и телеги; и лошади, и генерально все, что касается до артиллерии, так на море, как на сухом пути».

Сия книга, написанная «чрез г. Сюрирей де Сен Реми», а переведенная наполовину Тредьяковским, весьма была бы

любопытна книголюбу (в заглавии иные слова печатаны киноварью, да портрет Анны Иоанновны, да 122 листа гравированных таблиц!), если бы не наводила она на грустные размышления: орудия за двести лет, конечно, изменились, да не изменился за долгие годы тот, кто этими орудиями орудует! Не дает нам утехи юбилейная книга!..

И вот, не нашедши достаточного удовлетворения в книгах давности двухсотлетней, беру со своей полочки журнал «Вечерняя заря», издававшийся изумительным человеком, Николаем Ивановичем Новиковым, знаменитым издателем и просвещенным масоном. Выходила «Вечерняя заря» в 1782 году, ровно полтора года тому назад, и была продолжением его же журналов «Утренний свет» и «Московское ежемесячное издание». Сколь приятны эти старинные томики — и сколь утешительны!

<...>Тогдашний журнал о читателе заботился, с первой же статьи уверяя его, что «ничто не могло равняться с веселием и удовольствием, которое ощущали разумнейшие и мудрейшие между язычников, веря, что душа, по своей природе, бессмертна». А потом ряд маленьких рассказов о «благотворительном дворянине», о «нежных друзьях», «рассудительном отроке» и «награжденной сыновней любовью», — и редкий из сих рассказов не вызовет слезы умиления и раскаяния в собственных пороках! Так, например, поранили преждевременно отца и сына, отца полегче, а сына потяжеле. Но сын не прежде допустил лекаря до своей раны, как уже увязана была рана его отца; потом, умирая, этот сын во втором часу ночи послал за лекарем и полумертвым голосом спросил его: «Жив ли?.. — Кто, г. мой? — Родитель мой нежный... — Жив, жив, государь мой, и не имеет никакой опасности. — Слава богу, я умираю теперь спокойно. — И, извинившись потом перед лекарем, что он его так рано разбудил, умер». А потом доходит очередь и до стишков о природе, храбрости и свободе, и на закуску загадка — и опять с нравственным содержанием:

Читатель, отгадай,  
О чем задумал я,  
Что значит, мне скажи,  
Загадочка моя?  
Четыре букв она  
В себе содержит гласных  
И шесть согласных,  
Безгласная одна,  
Всех позади стоит она.  
Загадка заключает  
Такое существо,  
Что свет весь почитает.  
И само божество.

В наше время никто бы не отгадал такой загадки, а тогда всякий знал, что плохого журнал не загадает и зря, без поучения, не станет тратить бумаги. И действительно, дальше видим:

Отгадка

Что ты в загадке загадал,  
Мне то приятнее всего:  
Вить это добродетель!

А в иной книжке рассуждение о темпераментах, в виде беседы между сангвиником, холериком, флегматиком и меланхоликом, да статейка в осуждение поединков, да о начале и происхождении малороссийских казаков: одних — от россиян, других — от татар, о чем нынче и заикаться нельзя, во избежание неприятностей от украинского правительства, проживающего в Париже и других европейских столицах.

Допустим, однако, и незлобные шуточки и эпиграммы:

Муж к жене

Жена, не уверяй меня, что ты верна,  
Вить я не позабыл, что очень ты дурна.

Или же «К пеняющему Велоксу», а кто он такой, того я откровенно говоря, разобрать не мог:



Я кратко все пишу; а ты и ничего,  
Так это кажется короче моего.

Вероятно, по тому времени было довольно ядовито! Нынче бы, конечно, такими двумя строками полемика не ограничилась, а один пустил бы свинью, другой же расписался небольшим газетным доносцем селедочного духа.

Роясь на полочках в поисках книг и журналов юбилейных, с удивлением усмотрел, что если полтора-два года назад выходили журналы и книги поучительного и нравственного направления, то семьдесят пять лет тому назад преобладали журналы легкомысленные; года 1857—1859-й до странности урожайны на юмористические листки! Было, конечно, много и другого, но старому книгоеду мила вещь редкая и более ненаходимая, а из таких изданий того времени всех реже и ценнее именно эти уличные листочки.

Рассказывать о них нечего: сами говорят о себе и названием, и замечочками от редакции. Для забавы я их в заключение и приведу.

«Весельчак» — журнал всяких разных странностей, светских, литературных, художественных и иных. Цель издания: «Приходите смеяться с нами, смеяться над нами, над собой, над всем и обо всем смеяться, лишь бы только не скучать».

«Говорун». Был такой уличный листок, а вот из него и стишки:

#### К КРАСАВИЦЕ

Колико солнце не блесит  
Всех очи смертных поражая,  
Но взор твой разум наш слепит,  
А никого не убивая.

В том же Петербурге выходил журнальчик длинного названия: «Дядя шут гороховый со племянники чепухой и дребеденью — жалкотворный журнал, без никого и ничего появляется

на свет как мать родила! В трех отделах (только вы нас не отделайте за эти отделы)».

В те же года и там же выходила «Искра» с отличным заголовком, сложенным из восьми человеческих фигурок весьма искусно и художественно. А направления сатирического.

И был еще «Листок без названия», так и называвшийся. В заголовке значилось: «Выходит ежедневно, кроме праздников и будничных дней. — Подписка принимается в конторе редакции, редакция находится там же, где принимается подписка». И вышел только один номер — 7581-й; читай наоборот — и будет год издания. Сотрудник был, кажется, только один — сам редактор-издатель, по фамилии Татаринов.

Затем выходил в течение всего года очень неплохой журнал карикатур «Листок знакомых Н.А. Степанова», обложку к которому рисовал М. Зичи.

И еще — «Моим трутням совет», карикатурный листок со стихами в таком роде:

О, богатый, хлыщеватый,  
Бородатый и косматый  
Евстигнеич — полный дум,  
Замолчишь ли ты, мой кум!

Вышел было ядовитый и передовой летучий листок «Муха», да осекся на номере А. В заголовке стояло: «Барона А.Б... — без сотрудников».

Несколько позже выходил журнал «Петербургская клубничка для не детей», где значилось в предисловии: «О сущности нашего направления мы считаем неудобным говорить пред публикой. Название и виньетка нашего издания немного намекают на наше направление, а дух и содержание наших статей разовьет его в подробностях». На виньетке две девицы чокались бокалами, а между ними разбросаны были сочинения Поль де Кока и славного нашего Баркова. Содержание же разрешите не излагать, хотя и много скромнее недавно

прославленной английской книги, переведенной с французского на русский язык, про которую говорят, что она очень художественна, почему и читается любителями этой самой «клубнички».

И еще — «Потеха. Учено-литературный листок?! Выходит в свое время, №?». Цена листку 5 копеек. В нем такое остроумие: «Кто вздумает жениться, тот должен выбирать жену малого роста, чтобы меньше выходило материи для платьев и потому что всякое малое зло лучше великого».

Был также журнал «Пустозвон. Карикатурные бредни», с девизом: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай».

И такой же листок «Раек», хотя и печатался в типографии Главного штаба его величества (но, по тому времени, без громных надобностей). Издавал его мещанин Тарас Заиграев. Ничего, грамотно писал, хоть и раешным штилем.

А в 1859 году стал выходить в Москве и журнал «Развлечение», основанный Федором Богдановичем Миллером. Первый год его считается ныне немалой редкостью.

А вот «Рододендрон, листок, возникший случайно». В нем рассказано, как члены одной врачебной управы послали стихи ветеринару Быкову:

Совет коров  
 Молил богов,  
 Чтоб врач быков  
 Был всем здоров.  
 И врач Быков  
 Совсем здоров  
 И сам готов  
 Доить коров.

А чтобы было это понятнее, то тут же пояснено, что это — каламбур.

Еще был тогда «Смех. Потешный листок без подписчиков и сотрудников». В первых строках издатель особо сообщает:

«По случаю внезапной болезни дяди Пахома (а именно: бурчанию в животе), он до благополучного облегчения не может явиться лично к почтеннейшей публике». А дальше недурной рассказец:

«Интересный разговор двух приятелей после долгой разлуки.

— А! здравствуй, Миша.— А! здравствуй! — Как здоров? — Кто? — Ты! — Я? — Да.— Ничего, здоров... а ты? — Что? Здоров? — Кто? — Ты! — Я? — Да.— Ничего, слава богу! (Молчание.) — Да ты женат? — Кто? — Ты! — Я? — Да. — Женат. — А!»

И еще (чтобы закончить, хотя и не исчерпав) были журнальчики и листки: «Смех и горе», «Смех (под хреном)», «Смех Смехович» (с прибавкой: «Аз — не выколи себе глаз»), «Сплетни. Всесветное великосветское карманное издание, для всех карманов, больших и малых, мужских и дамских...», «Сплетник. Листок, возникший вследствие литературной промышленности. Цена знакома. Редакция дома», «Фантазер. Листок смеха и колоссального успеха. Листок простой, незнаком с тоской, а только веселит да смешит», «Фонарь», «Шутник. Редактор листка за занавеской скрывается, а потому контора редакции нигде не открывается. Листок будет выходить в лирическом беспорядке, то есть в неопределенном порядке», «Юморист. Выходит неопределенно в свет, а потому и редакции нигде нет. Цена листку 5 копеек сер., без всякой льготы, вредить никому не имеет охоты».

Из сего последнего проза:

«Издателя от читателя можно отличить тем, что первый издает журнал, а второй издает неодобрительные звуки».

И поэзия:

Стоял у кузницы тоскуя  
Кузнец, железный таз куя.  
И понял ту его тоску я,  
И задал ему таску я.

Правда, в те же года зачалось «Русское слово», ежемесячник Кушелева-Безбородко, пострадавший за статью Писарева «Бедная русская мысль» и закрытый после покушения Каракозова. Выходил «Современник». Как раз сейчас можно праздновать юбилей рождения газеты «Сын Отечества». И еще многое появлялось в свет, до чего мало дела старому книгоеду, любителю редчайших летучих листков и забавной чепухи, о которой забыли историки литературы, да которую они вряд ли когда и знали.

От сих шуточных пустяков дозволейте вернуться к мыслям серьезным, с коих и начали. Что есть — прошедшие годы? Что есть — старость?

Читаешь эти «юмористические» листочки, — и будто составлены они совсем на днях перышком потасканного остроумия в скудной беженской типографии, потому что ведь есть и творить человеку надобно! Тот же слог и та же жалобная улыбка голодного самоиздателя: «Вот, я тебе протанцую голый, обмазанный дегтем и вываленный в пуху, — а уж ты кинь мне франчишко лишний, залежалый!» Это не прошедшие годы, это — нынешнее! А с другой стороны, возьмешь книгу, которая еще и краской пахнуть не перестала, которой едва стукнуло пятнадцать — двадцать лет, — и ужаснешься ее древности! Исполосана и измызгана тяжким колесом недавних судеб, и уже нет в ней души, и плоть ее ветха, и смешны ее несбывшиеся пророчества, и титульный лист — бескровная, мертвая маска. Страшна и странна судьба книг! Есть такие, что из веков приходят в нетронутой коже — и блистают красотой бессмертия; и есть такие, словно бы на днях владевшие умами, которые за три пятка лет скрутила собачья старость: их презирает тот, кто их прославлял, их не дарит и рассеянным взглядом человеческая молодежь.

И только иной старый книголюб, член малочисленной семьи таких же чудаков, — только он любовно бродит среди живых и трупов, к тем и другим равно внимательный, готовый и

при солнце, и при лампе листать сананицы и щупать переплет, спасая из-под обвала идей и зданий и пышный том, и мяту жалкую страничку. Кем ты был при жизни? Великим трибуном? Жалким ничтожеством? Не все ли равно! На полке книголюба нет чинов и местничества! Первый может стать последним, и тонкая брошюрка в бóльшем почете, чем ряд томов золотого обреза.

Пушистой метелкой и мягкой тряпочкой снимает он слой пыли — недельной ли или вековой — и матерински, равно ласково голубит и красавца, и уродливое дитя человеческой мысли. Стойте, книжки, стойте мирно и бестревожно на полках, не боясь забвения! Люди проходят, идеи гаснут и линяют, — книги остаются!

*[2 апреля 1932 г.]*

## XVI. НАВОДНЕНИЕ 1824 ГОДА

По улице неспешно проходя, и как не могу не вперять глаз в выставки книжных лавочек, особливо антикварных, то увидел малую брошюрку, в изрыжа-розовой обертке с нижеследующим басурманским титулом:

‘Inondazione di Pietroburgo assaduta il giorno 18 Novembre 1824. Lettere di Ferdinando Pasquinoli. Prezzo Cent. 50 Austr. Milano, 1825’.

Учась на медные гроши, понять, не то чтобы понял, а есть у старого книгоеда некий нюх, трудно словами объяснимый, по причине которого, прозвенев в кармане монетой и в меру поторговавшись, ту книжечку поспешил приобрести в собственность. А оттоле прямым путем на конке к книжному и личному моему другу, писателю Мих. Осоргину, на итальянском языке съевшему зубы в силу долгого пребывания в тех краях, так что знает и макароны сварить с разной подливой, и свободно по-ихнему может написать адрес на конверте. И точно, немедленно и без запинки перевел:

«Наводнение в Ленинграде, произошедшее в день 18 ноября 1824 года. Письма Фердинанда Пасколини. Цена пятьдесят австрийских чентезимов. Милан, 1825».

Пробовал осторожно возразить, что в те времена, пожалуй, города Ленинграда не было, но он с твердостью заметил, что по-буржуазному выражаться вовсе не намерен и которое,

говорит, было когда-то, того уже не вернешь. Однако, друг на дружку поглядевши, одновременно догадались, что в книжке описано то самое наводнение, про которое Александр Сергеевич Пушкин написал своего «Медного всадника», так что должно быть до чрезвычайности занимательно. Что касается до австрийских чензимов, то по тем временам никак иначе итальянцам считать было невозможно, не будучи еще самостоятельными.

Сев рядком, ту книжечку перевели, он — свободно толкуя, а я — карандашиком записывая собственным присушим стилем.

Своровать у Пушкина автор не мог, потому что «Медный всадник» написан только в 1833 году. Но и лично автор наводнения не видал, писал же его по рассказу «...одного петербургского синьора, каковой там находился в те роковые дни и даже прискорбно утратил супругу и сына, сверх части своего благо-состояния». Нужно, однако, сказать, что и наш великий поэт лично наводнения не видал, будучи в то время, надо полагать, в селе Михайловском, описывал же по тогдашним журналам. И небезлюбопытно, что и другой поэт, Мицкевич, также не был личным свидетелем и совсем напрасно покрыл реку Неву льдом и посыпал Петербург снегом,— а ни льду, ни снегу в те дни не было. Видал же и с натуры описал только Его светлость граф Хвостов, «поэт, любимый небесами», каковой и воспел «бессмертными стихами несчастье невских берегов».

Так вот означенный итальянский описатель, с присушим ихней нации жаром и увлечением, так начинает свое повествование:

«Ночь была звездной, и луна почти закончила свой бег в тот час, когда все сотворенное предавалось покою. И в час предрассветный смертные друзья зари, встав ото сна, услышали необычный шум весьма дюжего ветра, заставившего их опасаться некоего несчастья. Была осенняя пора, стоял месяц ноябрь, уже отсчитавший восемнадцать ден, год же был 1824 вуль-



гарной христианской эры, когда, как сказано, страшнейший ветер, порывистый и бурный, налетел со стороны Англии и, с другими ветрами повстречавшись, совокупился с ними как бы в ураган, каковой, заревев, надул и взбучил поверхность моря. Отсюда он быстро прынул к берегам Швеции, невероятно ее повредивши, выдрал тысячи и тысячи деревьев в ее густейших лесах, затем пронесся над Балтикой, дальше ринулся к Петербургу, задувши с такой силой, что в меньший срок, чем я сие рассказываю, беспримерные волны ворвались в течение Невы. Река вспухла ужасным образом и, не вместив толикой воды, вышла из берегов, сорвала мосты и в один миг залила весь Петербург и Кронштадт, равно как и соседние деревни кругом, быть может, на двенадцать миль, причинив огромный вред агрокультуре, огородам и коммерции. И при сем ураган не удовольствовался бушевать лишь восемнадцатое число, а пожелал с еще большей силой продолжать свою деятельность и на следующий день».

В данном месте, оторвавшись от итальянской книжки, без сговора протянули мы руку к полке, чтобы, взявши томик Пушкина, прочитать:

Но силой ветров от залива  
 Перегражденная Нева  
 Обратно шла, гневна, бурлива,  
 И затопляла острова,  
 Погода пуще свирепела,  
 Нева вздувалась и ревела,  
 Котлом клокоча и клубясь,  
 И вдруг, как зверь остервенясь,  
 На город кинулась.

И уж дальше все время сравнивали описание итальянца с поэтическими словами.

Однако карандашик мой литературный друг у меня отобрал, сказав, что запись моя недостаточно современна по стилю, так что в дальнейшем переводил и писал сам, а именно:

«Множество домов обрушилось или было затоплено, и те, что остались, были с пробоинами, обвалившейся штукатуркой, трещинами — нужны годы, чтобы их поправить. Наводнение ничего не пощадило и повергло все: дома, дворцы, церкви, часовни, больницы, торговые ряды и даже дворец императора. Буря так неистовствовала, что выбросила на площадь Кронштадта военное судно с восьмидесятью пушками, а один паровой катер упал на княжеский дом. Целый кавалерийский полк оказался запертым в казармах, и солдаты, чтобы избежать смерти, хотели спастись на крыше. Они уже поднялись по лестнице, уже достигли крыши, — и тут вода так ударила в казарму, что здание обрушилось, и все кавалеристы погибли в бушующей стихии. Ни один не спасся — все потонули в волнах, и казарма растаяла, как рассеянный солнцем туман.

О, боже! Как описать мне вам все, что со слезами на глазах рассказал мне несчастный синьор? Какой разгром, какое разрушение! Какие убытки, сколько преждевременных смертей! О, как карает твоя божественная рука, Создатель! А мы — мы продолжаем погрязать во грехе! — Почти на всех улицах были видны только нагромождения камней, обрушившиеся стены, кучи осколков всякого рода, разодранные и обратившиеся в тряпье одежды, трупы быков, лошадей, собак, кошек и домашней птицы».

И опять, отдыха для, беремся за томик Пушкина:

Осада! приступ! злые волны,  
Как воры, лезут в окна. Челны  
С разбега стекла бьют кормой.  
Лотки под мокрой пеленой,  
Обломки хижин, бревна, кровли,  
Товар запасливой торговли,  
Пожитки бледной нищеты,  
Грозой снесенные мосты...

.....

Скривились домики, другие  
Совсем обрушились, иные  
Волнами сдвинуты; кругом,  
Как будто в поле боевом,  
Тела валяются...

«Но все это — ничто, когда представишь себе, что тридцать тысяч человек обоего пола, всех возрастов и всех положений утонули, умерли от горя, от ужаса, погибли от голода! В этом плачевном смешении уже никто не мог отличить отца от сына, слуги от господина, нищего от богача, молодого от старика, красавца от уроды — все были так обезображены, что можно было только лить слезы, чувствовать, как черным обволакивается душа и как дрожит сердце — а разум тускнеет!»

И не видал сам человек — а пишет, истинно, со слезой. Конечно — итальянец! Они и в австрийском владычестве намучены, и сейчас не сладко! И дале с тем же чувством описывает:

«Какое страшное зрелище, какой ужас, какая нищета в тысячах жилищ! Ах, при одном пересказе меня душат слезы, — не могу их сдерживать! Какая жалость видеть, как вода несет не только изящнейшую, элегантнейшую мебель из сотни домов, не только тончайшую утварь священного культа, драгоценные туалеты стольких дам, мужское и женское платье, всякого рода белье, фарфор, фаянс, стекло, кристалл; оружие и тысячу подобных вещей, которых не увидеть уже боле, не только огромное количество мертвого скота... все это еще было не столь жалко видеть, как иное, ни с чем не сравнимое: трупы мужчин, женщин и детей, тела тонущих, которые вот-вот исчезнут под водой, тех, что еще дышат — и сейчас погрузятся в волны, без надежды на спасение. Превечный Боже! Но ведь это Твои дети, те, что погибли в дни рокового наводнения? Только Ты мог спасти их жизнь... Но что я осмеливаюсь говорить, жалкий профан! О нет! Прости меня! Униженно чту Твою божественную волю!»

Возроптал итальянец, но удержался вовремя! Описано же все с такой живостью, что даже фарфор, фаянс, стекло и оружие, качающиеся на волнах, кажутся живыми, при всей их возможной тяжести.

И еще много описано: и как горючими слезами плакал император, и как оказывала помощь их августейшая родительница, и как бросились генералы, жизни не щадя, спасать из воды живых, мертвых, фаянс, фарфор и оружие. Сказано и у Пушкина:

В опасный путь средь бурных вод  
Его пустились генералы...

Мы же знаем, что были это граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф.

Однако не заметил описатель — Медного Всадника! В этом у него с Пушкиным большое расхождение.

«Вот, дорогой друг, печальный рассказ о несчастьи, которое хоть и уступает Лиссабонскому землетрясению, происшедшему в 55 году прошлого века, а все же приближается к нему ужасом обстоятельств, делая его если не во всем, то во многом равным. Ваш верный друг Алессандро».

Мы же, любопытный документ изложив в малых кусочках перевода, подпишемся по обычаю — старый книгоед.

*[15 апреля 1932 г.]*

## XVII. «НАСТОЯЩИЙ РЕВИЗОР»

Девяносто шесть лет спустя случилось со мной то ж, что с Антоном Антоновичем Сквозник-Дмухановским: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!»

Разбирая книжечки в Тургеневской библиотеке, куда, зная мою страсть, допускают беспрепятственно, усмотрел на корешке переплета: «Гоголь. Ревизор», год же издания 1836-й. Памятуя, что именно в сей год Николай Васильевич впервые поставил на сцене свою пьесу, и как раз в апреле месяце, подумал: пожалуй, первое издание, и выдавать таковое публике на трепку и растерзание не годится! И книжечку извлек и отложил до рассмотрения.

И что же оказалось? Самозванец! Чистой воды Иван Александрович Хлестаков!

Другой бы загрустил, а старому книгоеду — нечаянная радость! Порылся, справился — нет такой книжки в каталогах; в свое время не сочли нужным, а по прошествии времени, за ее ничтожеством, забыли. И стала самозванная книжка через одно это редкостью, так что теперь, по полному праву, убрана в особый, почетный шкаф.

Издана действительно в 1836 году, и в титуле ловко крупными литерами выделены нужные слова, чтобы привлечь внимание. А называется полностью так:

«Настоящий РЕВИЗОР, комедия в трех днях или действиях, служащая продолжением комедии «РЕВИЗОР», сочиненной г. ГОГОЛЕМ».

Автор, имени своего не выставив, вдохновился чужим произведением, написал свое того же размера и с теми же действующими лицами и пустил гулять: раскупят по случаю всеобщего интереса!

И хоть таланта не заметно, а разрешите кратко изложить содержание ради простого курьеза.

Оказалось, видите ли, что настоящий ревизор, по причине которого вышла у Гоголя в конце знаменитая немая сцена, проживал в городе инкогнито целый месяц, прикрывшись именем Рулева, соляного пристава, а подлинное имя — Алексей Петрович Проводов, действительный статский советник. И такая еще выдумка: будто этот ревизор, под видом соляного пристава, влюбился в городничеву дочку Марью Антоновну, а она в него. Как Рулев, он всюду показывался и бывал, а как Проводов будто бы притворился больным и городничего с другими чиновниками громил при посредстве своего секретаря. Интрижка сложная!

Иван же Александрович Хлестаков, в Питер вернувшись, наболтал всем про свое приключение, так что дошло и до генерала. Конечно, Хлестакова на цугундер, дали ему встряску и послали его обратно в тот городок, в распоряжение настоящего ревизора, для выяснения дел.

Вернувшись, застал Хлестаков всеобщий перепуг и смятение. Однако остановился опять у городничего как лицо, близкое к настоящему ревизору, которого сам еще и не видел. И тут разные сценки. Одураченные чиновники требуют с него обратно деньги, которые он у них «занял», а он их застрашивает, кого дуэлями и пистолетами, кого иным, и со всех берет расписки, что не только не должен, а еще они ему должны. Узнав же, что дочка городничего выходит замуж за соляного пристава, с этим он соглашается, а сам приухлестывает за маменькой.

Тут, по его и по Рулева совету, городничий устраивает званный обед, по случаю помолвки Рулева с Марьей Антоновной, а

на тот обед зовет и настоящего ревизора, генерала. Генерал ничего, согласен, а сам все не показывается. Пришел день, все собрались на обед, и вот тут-то и оказалось, что Рулев, дочкин жених, и есть не кто иной, как настоящий ревизор, Алексей Петрович Проводов, обо всех делах прекрасно осведомленный (еще бы!) и до чрезвычайности строгий, но благородный. И тут, объявившись, начал он их чесать громовой речью!

«Господа, — говорит, — я тот самый, которому поручено от высшего начальства восстановить в здешнем городе порядок, ниспровергнутый гнусным злоупотреблением власти. Благодаря счастливому случаю, мне удалось сделать то, что не удавалось еще никому: узнать все, не трогаясь с места. Вы, — говорит, — заслужили примерное наказание, но, к счастью вашему, я люблю смягчать приговор законов, не ослабляя правосудия».

И объяснил им обстоятельно, что под суд отдает только одного Землянику, остальных в отставку, а Хлестакова — в подпрапорщики в дальний армейский полк.

Однако Марью Антоновну он действительно любил, а она его, и даже еще раньше, до приезда Хлестакова. А потому, как будущий зять городничего, он своего тестя хотя от должности и отрешил, однако всего на пять лет, пока же отправил его вместе с дочкой, а своей женой, в свое имение, в глушь, в Бессарабию (она ведь тогда была нашей), «...где, — говорит, — вам не с кого будет брать взятки, а ей не с кем кокетничать». И так свою речь заключил:

«Дабы собственным опытом удостовериться в вашем исправлении, я поручаю вам заведывать этим имением. Таким образом, я буду иметь беспрерывное за вами наблюдение. Приготовьтесь, — говорит, — к отъезду в Бессарабию на другой день после нашей свадьбы».

Вот как занятно распорядился! Можно себе представить, что там, в его имении, бывший городничий потом накрутил! Но об этом в пьесе «Настоящий ревизор» ничего не сказано.

В общем — пьеса занимательная, на выдумку автор очень горазд. Хоть и не Гоголь-Яновский, а все же вроде как Брешко-Брешковский!

Сию курьезную книжечку решаюсь зачислить в книжные редкости, потому что, уж наверное, ее никто по тому времени не хранил, да вряд ли и бойко продавалась. Верно, пошла бабам на обертку селедок. А вот попал-таки экземплярчик, чистый и нетронутый, в секретный шкаф Тургеневской общественной библиотеки!

### По части розог

И в том же шкафчике еще одна книжка, нужно сказать — редчайшая и как будто никому не известная. На книжке знак: «Из библиотеки С. В. Ешевского». И на пустой страничке пером, весьма каллиграфически, посвятельная надпись подарившего: «Степану. Васильевичу. Ешевскому. На. Память. Безнравственного. Лганья. И. Позорного. С. Моей. Стороны. Несдержанного. Слова. Сию. Библиографическую. **Редкость.** Усерднейше. Приносит. Н. Буличь. Казань. 31 марта. МДСССLVI».

С.В. Ешевский был профессором русской истории Московского университета (р. 1829, ум. 1865); в 1854—1858 годах он был в Казани, где, очевидно, и получил книжечку в подарок; а после, по болезни, долго жил за границей; потому, надо полагать, и попала книжка, после разных странствий, в Тургеневскую библиотеку. А Булич, Николай Никитич, был профессором истории русской литературы и ректором Казанского университета (р. 1824, ум. 1895). В словаре Брокгауза он неправильно назван Николаем Николаевичем, а его автобиография, очень любопытная, есть в шестом томе «Словаря» Венгерова. И там он рассказывает, как увлекался книголюбием и покупал редкости на разных толкучках и как были у него шкапы книг, «изъятых цензурой». И уж если он называл книжку ред-



костью, значит, так и было, а теперь, семьдесят пять лет спустя, — тем более.

А написана та книжка неким Леоном Рогальским, секретарем Совета народного просвещения и, надо полагать, таким зубром, светогасильником и, по выражению славного Шишкова, задпятом (ретроградом), каких и позже было мало. Титул книжечки таков:

«Изложение причин, побудивших к дополнению постановлений относительно школьной дисциплины, с присовокуплением наставления для училищного начальства и правил для учеников. Варшава, 1835».

Издана книжка на двух языках, русском и французском, левая страничка — русская, правая — французская. И по стилю видно, что на русский переведена.

Была ли то записка по начальству или готовый устав к обязательному исполнению — сказать не могу. Господин Леон Рогальский обращает внимание правительства и начальства на то, что «...отродие детей от 12-ти до 15-летнею возраста, известных во Франции под названием *gamins* (мальчишки), стало и в нашей земле возмутительным и развращенным» и что поэтому «...не должно колебаться в выборе, обратиться ли к прежним правилам, или оставаться при новых, коль скоро сии последние очевидно обращаются ко вреду и к пагубе юношества». Ибо в последнее время «...вкралось ложное, но для нынешних понятий лакомое мнение, что с детьми надобно обходиться как можно ласковее и что особливо не должно употреблять противу их телесного наказания как средства уничижительного и постыдного».

Между тем сей секретарь Совета народного просвещения полагает, что «опыты многих веков удостоверяют, что одна только розга, разумеется, с рассудком отеческою рукою употребляемая, может содержать детей в спасительном страхе» и что нужно бороться с детской резвостью в невинном возрасте. «Это есть злое семя, заключающее в себе часто заро-

дыш страстей самых гибельных, подобно тому как при первых весенних отпрысках крапива под нежной оболочкою скрывает жгучее свое свойство, на том же стебле впоследствии раскрывающееся».

Прямо — поэт! А сверх того, любитель священного писания: «Вот что сказано в книге Премудрости Иисуса сына Сирахова, главе 30-й: — Ласкай чадо и устрашит тя, играй с ним и опечалит тя; любяй сына участит ему раны, да возвеселится в последняя своя. Конь не укрощен, свиреп бывает, и сын самовольный продерз будет. Сляцы выю его в юности и сокруши ребра его дондеже млад есть, да некогда ожестев не покорится».

Надлежит посему принять меру против «скороспелого отродья» и драть его нещадно, что подробно, в тринадцати пунктах правил, и изложено, как нужно поступать. Особенно же обстоятельно изложен пункт пятый, а именно:

«Дабы телесное наказание чуждо было всяких мер самопроизвольных и не сопровождалось последствиями вредными для здоровья, не дозволяется употреблять для сего ничего другого, кроме пучка розог из березовых сырых или размоченных в воде прутьев с необрезанными концами. Пучок в связке должен иметь около дюйма толщины и длиною быть от 5 до 6 четвертей локтя. Биение должно производиться по... [тут разрешите воспользоваться текстом французским, где значит: *il faut frapper sur le derrière*] и не иначе, как по голому телу».

Дальше описана целая последовательность наказаний, а в приложении помещены «Правила для учеников, Советом народного просвещения утвержденные», каковые хорошо знакомы каждому, кто был в классических гимназиях доброго старого времени, так как выдавали нам, гимназистам, особые книжечки, где все эти правила были пропечатаны, — даже вспомнить противно!

Так вот такой был гусь этот секретарь Совета! Вероятно, сделал неплохую карьеру на детских дерриерах!

А что книжка издана в Варшаве — тоже понятно. Там особенно старались деятели просвещения, и хуже всего те, которые сами носили польскую фамилию. Старались, старались, да и достарались.

А все от того, что своевременно не задрали секретарские штанишки и не всыпали ему на французском языке: «Verges de bouleau fraiches ou trempées dans l'eau, les bouts non coupés».

[4 мая 1932 г.]

## ХVIII. О ВЕЛИКОМ ЛЮБИТЕЛЕ КНИГИ

Очень часто вот так сижу у стола, вооружившись перышком, а глазом вожу по книжным полкам, где любимец стоит, прислонившись плечом к другому любимцу, — и ласково на меня смотрят.

— Ну как? Живем?

Отвечают:

— Да ведь что ж! Жить можно. Года идут, века бегут, люди рождаются и опять уходят в землю, а наше дело простое: стоим себе на полочках и глядим, из-за чего вся суета.

И приходит в голову соображение. Старый книгоед — человек маленький, но ведь так же, в окружении любимых книг, сживали и работали люди великие, знаменитые писатели, и Шекспир, и Ломоносов, и Брешко-Брешковский. У кого застекленный шкаф, у кого простые полочки, и помыслить писателя без окружающих книг невозможно!

Лев Николаевич Толстой к старой книге был словно бы довольно равнодушен; в его сочинениях они почти и не упоминаются. Вот только в «Войне и мире» старый князь Николай Андреевич Болконский говорит княжне Марье:

— Вот еще какой-то «Ключ таинства» тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь... Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай.

И дал ей, как сказано, «новую неразрезанную книгу». Что верно — то верно; дело происходило в 1805 году, а в год пред-

шествовавший вышло действительно замечательное произведение Эккартсгаузена «Ключ к тайнам природы», впоследствии запрещенное. Но есть тут недоразумение: почему же старый князь дал дочери одну книжку, когда сочинение это вышло в четырех томах с отличными гравюрами Ухтомского, Галактионова и Сандерса? И каждый том свыше трехсот страниц! И как можно такую книгу, больше чем в тысячу страниц, просмотреть, не разрезавши, — очень странно и непонятно! Не очень уважал старую книгу Лев Николаевич!

Скажем, просмотрел он только предисловие, как и ныне делают литературные критики. А в предисловии прямо сказано: «Не спеши заключением о книге по одной какой главе без связи с предыдущею и последующею и не набивай себе только понятия из понятий автора, а считай оные с самою вещию и ищи истины с чистым сердцем», и еще сказано, что «сия книга не для тех острых голов, которые с одного взгляда все знают и разумеют, а для истинно ищущих истины, которые допускают вести себя, дабы после итти самим».

Если же просмотреть только картинки, а их в книге восемь, то понять было еще труднее. Вот, например, «Творец миров» с объяснением: «Глава старца представляет творца миров, все сотворшего единицу. Три пламя, главу его окружающие, суть символ совершенства: в телесном мире означают они долготу, широту и глубину; в духовном мысль, ум, душу, в отношении к телам число, меру, вес; в отношении к душе разум, память, волю... Сим иероглифом выражается вся натура, т.е. существо, свойство, множественность и движение».

Где же понять это простым просмотром!

Еще упоминает Лев Толстой в «Детстве» журнал «Северную пчелу», стоявшую на полочке у Карла Ивановича; будто тот только ее и читал, да еще курс гидростатики и брошюру об унавожении огородов. Дело происходит в 30-х годах, а журнал вышел в 1807-м, и вышла только одна книжка, вместо обещанных двенадцати, и издали ее петербургские гимнази-

сты. Зачем она попала на полочку к Карлу Ивановичу — как-то не очень понятно. А попади она на нашу полочку — была бы радость, потому что даже знаменитый библиограф Геннадии еще в 70-х годах писал: «Мне не случилось ее видеть; полагаю, что ее трудно достать». И никто ее не описал. И до чего же обидно: о такой редчайшей книжке упомянуть — и ничего не прибавить! Расскажи Лев Николаевич — мы бы знали!

А вот Пушкин — это был настоящий книголюб! И его легко представить себе перед книжными шкалами. Книг у него было множество; сколько раскрадено, сколько растащено и зачитано, — а и посейчас сохранилось около 4000 томов, 1522 названия! И много редкостей замечательных. И все читаны-перечитаны, и на многих пометочки поэта:

То кратким словом, то крестом,  
То вопросительным крючком...

Бегал по букинистам, искал, шарил, радовался, огорчался. Писал жене в 1836 году: «Что-то дети мои и книги мои?» Как и мы, грешные, часто справлялся о старых книжках в «Опыте российской библиографии» бессмертного Сопикова.

Будучи в Калуге, написал памятку:

«Александр Пушкин с чувством живейшей благодарности принимает знак лестного внимания почтенных своих соотечественников Ивана Фомича Антипина и Фаддея Ивановича Абакумова. 27 мая 1830. П<олотняный> Завод».

Кому это написал? — Двум калужским букинистам, которые, узнав об его проезде, пришли почтительно приветствовать знаменитого поэта и книголюба!

Понимал автографы, собирал их и сам умел писать!

Я себе так представляю. Сидит этот кудрявый и необыкновенный человек, с лицом серьезным и ласковым, и любовно смотрит на полочки. Были у него полки длинные и покороче. (Однажды писал он жене: «Пришли мне, если можно, «Essays de M. Montaigne»,

4 синих книги на длинных моих полках».) И стоят на этих полках рядом и вразбивку:

«Еней. Героическая Поэма Публия Виргилия Марона. Переведена с латинского г-ном Петровым». — Возил с собой и в ссылку, и в путешествия:

Люблю с моим Мароном  
Под ясным небосклоном  
Близ озера сидеть.

«Ложный Петр III, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева». — Эта книжечка, запрещенная и редкая, была у Пушкина в двух экземплярах. Одним пользовался, на другой посматривал.

«История, в ней же пишет о разорении града Трои Фригийского Царства». — Название длинное-предлинное, одно заглавие — целая повесть, а издана при Петре Великом, книжка весьма редкая!

И еще такие же, все кряду. А любимейшая из них подмигивает ему красным сафьяном и золотым обрезаем: Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». И вообще-то она редчайшая (была сожжена), а у Александра Сергеевича был экземпляр особый: добытый из Тайной канцелярии с отметками цензора. Так и написано рукой Пушкина:

«Экземпляр, бывший в Тайной канцелярии. Заплачено двести рублей».

Больших денег не пожалел! Об этой книге он писал сам:

«Книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке бродячего разносчика».

Запретные книги он называл «сочиненья, презревшие печать». — «В час утренний досуга я часто друг от друга люблю их отрывать».

И вот еще из его заветных книжек:

«Переписка моды, содержащая письма безруких Мод, размышления неодушевленных нарядов, бессловесных чепцов, чувствования мебели, карет, записных книжек, пуговиц старозаветных манек, кунташей, шлафоров, телогрей и пр.»

Об этой книжке мало кто знает. Автор (Н.И. Страхов) в ней пишет:

«С тех пор как правда, или по-ученому истина, сделалась для глаз неприятнее едкого дыма, то она должна, чтобы не быть узнанною, являться в свет не иначе как инкогнито или в платье навыворот».

И наворачивает разных рассуждений и разговоров! Идет переписка между «Модой», «Непостоянством», «Дурачеством», а то письма «от Бюро к Комоде» и «от Комоды к Бюро», и в них нарисованы «Молодой Вертопрах», «Бездарный Писец», «Прелестница», «Корыстолюбивый Судья». И еще письма в редакцию от Кокошника с перепелами, Собольей бархатной шапочки корабликом, Рогатой шапки. Чепца бармотика и других. Над такими старичками Мода посмеивается и отвечает им: «Ваша бономи и семплисите заставили меня так смеяться, что я едва от того не лопнула. Фуй, фуй! Как вы меня уморили! Сюр мон онер, вы, видно, презабавные твари! Ну! Совершенно интересуюсь вас видеть и узнать персонально!»

Книжечка интересная, и будь читатель на такие книжки полакомее — не преминул бы я многое из нее выписать. Да ведь где ж! Пушкин такими книжками интересовался, а ныне они в загоне. Нынче читателю подай «актуальное», да еще с перчиком, чтобы она его любила, а он ее — не поймешь, а у каждого еще есть на стороне, да все встретились и заново перетасовались, так что и не разберешь толком, где у кого голова, а где ноги... Такую книжку купил, разрезал, прочитал, отшвырнул — и нет ее. И хранить такую не к чему, и любоваться на нее не приходится.

Александра Сергеевича Пушкина мы, книголюбы, считаем как бы нашим святым и единомышленником, память



его чтя с радостным душевным дрожанием. Среди великих он нам ближайший, страстью нашей горевший, чувств наших истолкователь, перстом божественным отмеченный книгоед. Мимо лотка не проходил, не порывшись, пыли не боялся, книжного червя не презирал, страницы листал с любовью, умел поторговаться, а купивши — писал на чистом листе покупки: «Куплено там-то и тогда-то».

А когда пришел его последний и слишком — ох, слишком! — ранний час и лежал он раненый, с печальным взглядом, теряя жизненные силы, и когда спросили его: «Не желаете ли видеть кого из ваших близких?» — он сказал, обратив глаза на свою библиотеку:

— Прощайте, друзья!

То было 27 января 1837 года. А после трех часов пополудни числа 29-го уже умиравший Пушкин, в последний миг просветления, опять обвел свои шкапы и полочки потухавшим взором и опять чуть внятно прошептал:

— Прощайте, прощайте!

Так рассказали нам о нем его близкие люди. Но ближе людей были Пушкину книги — друзья верные, нельстивые, не предатели, не клеветники, не завистники. Друзья, с которыми он проводил лучшие минуты жизни — и среди которых скончался, завещав и нам любить их всего превыше и им одним верить свободно и до конца!

Чувство, сим трогательным рассказом в душе пробужденное, век буду нести в полной до краев чаше, осторожно и бережно, чтобы и капли не пролить, запнувшись за привязанности временные и случайные!

Тебе, книга, наша любовь и низкий наш поклон! Тебе, дарящей сладкие минуты и радостные дни и великому и пигмею, и поэту и простому человеку, и тому, чье имя проживет века, и тому, кто, лишь на полчаса памятный, скромно подписывает эти строки.

## **XIX. «МОПС БЕЗ ОШЕЙНИКА»**

По летнему времени, может бы, и не след говорить о старых книжках, да и новыми не всякий интересуется; приходит в свой цветущий палисадник, располагается в соответствующем гамаке с романом в руках, — а мысли уходят в туманные дали, попросту говоря, дремлет.

В нашем же возрасте и при неизбежной нашей страстишке к дарам прекрасной старины — книжная пыль слаще той, коей опыляются цветы в целях продолжения рода. И вот, прогуливаясь по садам российской словесности, забрел старый книгоед в тенистую аллею осьмнадцатого века, где в числе прочих любопытных диковинок приобрел в собственность большую редкость под титулом:

«Мопс без ошейника и без цепи, или Свободное и точное открытие таинств общества, именующегося Мопсами. — В Санкт-Петербурге 1784 года. Печатано с дозволения указного у Христофора Геннинга».

Лицо, к истории прилежное, сразу отметит дату расцвета в России масонских тайных обществ, вначале свободных от гонений, а позже привлечших гнев богоподобной Фелицы. Много есть весьма ныне искомых книг, изданных Новиковым и типографической компанией московских мартинистов. Однако означенная книга не из их числа, а как раз наоборот: издавна, надо полагать, с благословения Екатерины для насмешки над просвещенным увлечением; знаем, что ею внушено изда-

ние «Тайны противунелепого общества», а может быть, ее ручкой и писано, а также книжки «Масон без маски», переведенной с французского языка.

Книжечка о Мопсе также переведена, и очень плохо, с французского языка, а автором ее был аббат Ларюдан. Аббат пишет: «*Ils dressèrent des Statuts*», а у переводчика выходит: «Они поставили статуи». В том же роде и все — и, однако, книжечка любопытна и заслуживает внимания.

Что это было за общество Мопсов — послушаем самого автора:

«Сей Орден имеет свое начало от беспокойной совести. Климент второйнадесять, наложив проклятие на франкмасонов в 1736 году, принудил великое множество католиков-немцев, уstraшенных папским его указом, отстать от своего общества. Но они, не зная, что делать, и видя себя лишенных увеселений, которыми пользовались, предприняли учредить другое, которое, будучи свободно от досмотра Ватиканского, доставило им те же забавы, что и первое».

Хотя на деле было не совсем так, однако действительно вошло в моду за границей тайное общество веселых забавников и забавниц, как бы на манер масонского, но в целях развлечения и игры. Тоже — и устав, и слова, и знаки, и будто бы символы, и должности, и ритуал посвящения, но лишь в одну степень. «А как верность и любовь, которые они себе обещают, делают существо их общества, то они взяли для эмблемы собаку и дали себе имя Мопса, которое на немецком языке значит небольшую английскую собаку, косматую и кудрявую, которая из всего рода собак почитается за вернейшую».

В отличие от масонов, Мопсы допустили в свою среду женщин, будто бы чтобы их задобрить доверием. «Слышны крики, которыми они противу масонов всю Европу наполнили. Мопсы по причине боятся привлечь на себя столь страшных неприятелей». И даже в должности Мастера Ложи допущена женщина: «Ложею управляют шесть месяцев мужчина, а

шесть женщина, и когда принимают женщину, всегда великая Мопса, смотрительница и другие чиновницы, исправляют должность принятия».

И дальше разоблачитель подробно описывает весь ритуал принятия лиц обоего пола в тайное общество Мопсов, являющийся насмешливым искажением масонского.

Когда посвящаемого подводят к двери храма, то он не стучит ни рукой, ни ногой, а «...скребет в оные, как собака: сие делает он трижды; и когда ему не отворяют, он опять начинает скресть пуще, и изо всей своей силы, и воет точно так, как собака». Затем новичка вводят, налагают ему на руки цепь, а на шею ошейник и десять раз обводят вокруг назначенного места. В это время все прочие стучат тростями и шпагами, воют по-собачьи и кричат: «Мemento мори», то есть помни, что надобно умереть. Многие при этом пугаются, так как глаза их завязаны. Так, описывает аббат случай, когда одна женщина даже упала от страху в обморок. Однако «надобно, — говорит он, — согласиться, что есть много мужчин, которые себя показывают женщинами в этом случае: не могут на ногах держаться, другие всем телом потеют. Все сие представляет чудное позорище для собрания».

Дальше говорит великий Мастер, а за приемлемого отвечает первый Смотритель:

*В. М.* — Что значит шум, который был теперь только слышен?

*Смотр.* — Вошла сюда собака, которая не есть Мопс, и Мопсы хотят ее кусать.

*В. М.* — Спроси у него, что он хочет.

*Смотр.* — Он хочет быть Мопсом.

*В. М.* — Как может сделаться сие превращение?

*Смотр.* — Сдружась с нами.

*В. М.* — Не любопытство ли его побуждает сюда войти?

*Смотр.* — Нет, великий Мопс, польза соединиться с собранием, в котором члены суть препочтенные.

*В. М.* — Спроси у него, боится ли он дьявола?

Тут отвечают «да» или «нет». А затем приемлемому приказывают высунуть язык, сколь может, берут его за язык пальцами и осматривают со всех сторон, «как бы хотели вытянуть и посмотреть язык свиньи, не поросная ли она». И в то же время два брата будто бы серьезно между собою разговаривают поблизости, чтобы посвящаемый слышал:

— Над меру жарко, над меру жарко, пусти его немного прохладиться!

— Теплота умеренна, поверьте мне, что не жарко; надобно, чтобы он мог сделать знак.

А тот слушает и дрожит от страха. «Я видел, — пишет аббат, — что некоторые, крича от ужаса, скоростижно прыгали назад и приносили руки ко рту, как бы действительно дотронуты были раскаленным железом».

Затем опять разговор:

*Смотр.* — Великий Мопс, все уже имеет он, что надобно иметь, дабы быть Мопсом.

*В. М.* — Я радуюсь тому. Однако спроси его, хочет ли он целовать братьев.

*Смотр.* — Так, великий Мопс!

*В. М.* — Спроси у него, хочет ли он целовать... Мопса или великого Мастера?

Тут, где поставлены точки, у автора книжки тоже точки, и он просит прощения, что «не может переменить употребительны слова».

Происходит, конечно, недоразумение и большое замешательство. Принимаемый жалуется, что больше никогда в такой компании играть не придет. Особенно женщины не соглашались. Однако Смотритель убеждает сделать выбор: либо Мопса, либо великого Мастера поцеловать в указанное место. И наконец, Смотритель «берет вышепоказанную собаку, сделанную из штофу или из другой какой подобной материи, у которой хвост загнут, как держат все собаки сего рода; он его прилагает ко рту приемлемого и таким образом насильно велит ему целовать».

По выполнении сего берут с новичка торжественное обещание, что он не выдаст никому тайн общества, иначе «да почтут меня за бесчестного человека» или же «почтут за бесчестную женщину, и да не почтут меня ни красивою, ни разумною, ни достойною любви никакого мужчины, и да откажутся от меня все приятности, которые жены получают от уборного своего столика». Потому что мужчины клянутся на шпаге, а женщины — на уборном столике.

Потом посвящаемому «дают свет», снимают с глаз повязку, и он видит всю компанию Мопсов, мужчин со шпагами, а женщин, «имеющих в одной руке нечто из своего уборного столика», а в другой мопсовое чучело.

Тайный же знак у Мопсов таков: крепко прижать средним пальцем кончик носа, два другие пальца по краям рта, а большой палец под подбородок, мизинец отставить в сторону, а высунутый кончик языка скосить направо. «Не можно вообразить большей шалости той, которая бывает в собрании мужчин и женщин, когда учатся делать сей знак! Вообразите заботливое состояние женщин, принужденных исказить прелести свои таковым гнусным знаком, и мужчин, старающихся показать себя тут как возможно страшнее и безобразнее».

В заключение же всех сих шуточек устраивается обед, и все охотно выпивают и закусывают. Автор описывает это с видимым удовольствием: «Собрание, состоящее из самых молодых мужчин и женщин или, по крайней мере, из таких, которые еще в состоянии веселиться, ествы нежные, вина отборные! веселость, искренняя любовь и дружеское обхождение. Однако, — прибавляет он, — пристойность там наблюдается. Любятя между собою, но обыкновенно только глазами! Объявление словами, сделанное при полном столе, почтено бы было за нескромность и грубость; но имеют случай и на самом месте изъясняться откровеннее и самопроизвольно».

Ему, аббату Ларюдану, это тайное общество все же кажется гораздо приятнее и лучше масонского. У масонов есть присяга, признанная папой Климентом действием безбожным, между тем как Мопсы довольствуются одним торжественным обещанием и, таким образом, законов не нарушают.

И вот — чтобы закончить — еще кусочек из катехизиса Мопсов, который дается им для изучения.

Вопрос: — Мопс ли ты?

Ответ: — Я не был тем, уже тридцать лет.

В. — Чем же ты был, чрез тридцать лет?

О. — Я был собакою, однако недомашнею собакою.

В. — Когда ты стал домашнею?

О. — Когда мой провожатый начал скресть и лаять у дверей.

В. — Откуда идет ветер?

О. — От востока.

В. — Который час?

О. — Еще рано.

В. — Как ходят Мопсы?

О. — Ведут их цепью от запада к востоку.

В. — Как они пьют?

Но об этом уже рассказано: пьют они хорошее вино и ведут себя достаточно благопристойно, если только все тайны были доступны аббату Ларюдану и от нас он ничего не скрыл.

Сей занятный рассказ об обществе Мопсов великая русская императрица благословила пропечатать, чтобы противопоставить деятельности московских мартинистов, Новикова, Шварца, Лопухина и других, двинувших русское просвещение, впервые поставивших на высоту печатное дело, основавших Дружеское ученое общество, посылавших молодежь учиться за границу, а дома открывших училища, приюты, больницы, аптеки и во дни неурожая и голодухи на личные средства кормивших хлебом голодные деревни и целые округа. А затем,

когда книжка не подействовала, — посадила в узилище замечательнейшего из деятелей конца осемнадцатого века, Николая Ивановича Новикова.

Однако, по летнему времени, книжка изложена мною не в поучение, а лишь для невинной забавы.

*[7 июля 1932 г.]*



## XX. ЖИЗНЬ ВАНЬКИ КАИНА

Сколько пишется уголовных и приключенческих романов, сколько их печатается в газетных приложениях! И все-таки, думается мне, лучше «Жизни Ваньки Каина» ничего не написано. Всякий, любящий русский язык, слышал про эту книжку, а вот читали ее, вероятно, немногие.

Говорю про нынешних. В прежнее время она читалась тысячами людей и выдержала до 17 изданий. Но конечно, читал ее простой народ, а человек образованный читал больше Платона и Плотина да Гегеля и Гоголя, а таким вздором не интересовался. По прошествии же ста лет со дня ее написания ею занялись ученые Геннади, Бартенев, Мордовцев, Есипов. Порылись в документах сыскного приказа и архива М. Ю. камер-коллегии: подлинно ли жил на свете разбойник и сыщик Иван Каин? Оказывается — был такой. И Николай Васильевич Губерти, великий сих вопросов знаток, признал, что жизнь свою Ванька Каин либо описал сам, либо кому-нибудь продиктовал. Наряду с незабвенным произведением протопопы Аввакума, Каинова жизнь — драгоценнейший памятник русского говора и рассказа.

И вот — эта книжечка передо мной, и даже, пожалуй, в ее наилучшем тексте, под таким заголовком:

«Жизнь и похождения российского Картуша, именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей сыщика, за раскаяние в злодействе подучившего от казны свободу, но за обращение в прежний промысел сосланного вечно на катор-

жную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, писанная им самим, при Балтийском порте, в 1764 году».

Автор — Иван Осипович Каин, крестьянин Ростовского уезда села Иванова, принадлежавшего гостиной сотни купцу Петру Дмитриевичу Филатьеву. Родился в 1714 году — а кончил плохо.

Жизнь же его, где можно, изложу подлинными его словами.

Служил Каин в Москве у своего хозяина Филатьева и должность свою отправлял с усердием, а в награду получал неслучайные бои. «Чего ради вздумал встать поране и шагнуть от двора его подале», а кстати, прихватил и его ларец, и платье. Выйдя со двора, подписал на воротах: «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай черт, а не я». На улице его поджидал товарищ, по прозванию Камчатка.

Как вышли — так сразу за дело. Дорогой не большой, а проселочной (через забор) забрались к попу, пристукнули церковного сторожа, утащили сарафан попадьи да длиннополый поповский кафтан — и легко пробрались через московские рогатки, будто поп и дьячок. Так и явились под каменный мост, где был воровской притон. Приняты были хорошо, со словами: «Ты будешь, брат, нашего сукна епанча; поживи здесь в нашем доме, в котором всего довольно: наготы и босоты изнавешаны шесты, а голоду и холоду анбары стоят. Пыль да копоть, притом нечего и лопать».

Однако в тот же день поймали Ивана и привели обратно на двор к помещику. На дворе был медведь, близ которого его и приковали и два дня держали без пищи. Кормить медведя приходила девка, которая потихоньку уделяла корму и прикованному. От этой девки Иван узнал новость: помещик отодрал палками ландмилицкого солдата, а тот и помер; тогда этого солдата бросили в колодец, где тело его и пребывает. Это Иван запомнил.

Когда же стал его помещик, раздевши донага, драть, запел Иван «старую песню»: сказал «слово и дело».

Кто кричал «слово и дело», тех обязаны были отправлять в «Стукалов монастырь, сиречь в Тайную, где тихонько говорят» — на пытку.

Здесь отвели Ивана в «...немшоную баню, то есть в застенки, где людей весют, сколько кто потянет». Секретарю, Ивана пытавшему, он ничего не рассказал, чтобы тот «левой рукой к Филатьеву не отписал», а самому графу Семену Андреевичу Салтыкову, начальнику Тайной, рассказал про ландмилицкого солдата в колодце. Дали Ивану конвой, явились с ним к помещику, нашли тело солдата, увезли Филатьева в «Стукалов монастырь», а Иван Каин получил от Тайной канцелярии за услугу вольное для житья письмо.

Так началась его вольная жизнь, которую он хорошо использовал. Первым делом собрал шайку головорезов — и начал работу. Забрались в дом доктора Елвиха и «...увидели того доктора с женой под тем окном спящих; принужден я был в том же окне разуться и влезть в ту спальню; видя их разметавшихся неопрятно, накрыл одеялом, которое сбито было ими в ноги» (попросту — связал); подвернулась докторова девка — связали и ее и положили на ту же кровать «...в середину того доктора и докторши, а сами говорили: бей во все, колоти во все и того не забудь, что и в кашу кладут», — т. е. чтобы все забирали начисто. Забрали серебро и свезли на продажу дворнику в Данилов монастырь. Тем же вечером ограбили дворцового закройщика, а случайного того дела свидетеля положили, связавши, в лодку и отпихнули ту лодку от берега.

И пошел крутить Ванька Каин со товарищи — всего не расскажешь. Поймает курицу, пустит на чужой двор через забор, — а сам просится ловить; тем временем осмотрит затворы и замки, — а той же ночью с визитом. В помощь себе сманили с Филатьевского двора ту девку, что Ивана кормила, одевали ее барыней и с ее помощью делали разные дела. За это Иван одаривал ее деньгами и крадеными драгоценными камнями: «Вот тебе луковка попава! облуплена готова! знай почитай, а умру — поминай!»

Потом поехали на Макарьевскую ярмарку, а по дороге вели разбой. Случалось и попадаться. Тогда Ванька Каин пел свою песню «слово и дело», лупили его батогами и железной сутугой, налагали на шею монастырские четки (т. е. стул) и запирали в каменный мешок Редькиной канцелярии. Выручал товарищ Камчатка с приятелями, подпавая драгунов «товаром из безумного ряду» (вином). Удерет из тюрьмы — и за новую работу. Ограбили даже татарского мурзу. «Я привязал того татарина ногу к стоящей при его кибитке на аркане лошади, ударил ту лошадь колом, которая оного татарина потащила во всю прыть; а я, схватя тот подголовок, который был полон монет, сказал: неужели татарских денег на Руси брать не будут? — Пришед к товарищам своим, говорил: «На одной неделе четверга четыре, а деревенский месяц с неделей десять», т. е. везде нас погоня ищет».

Нет числа и разбоям и побегам Ваньки Каина; обычно товарищи выручали его подкупами подьячих и стражи. Пришлют в тюрьму старуху спросить его: «У. Ивана в лавке по два гроша лапти» (т. е. нельзя ли из-под караула уйти?). А он отвечает: «Чай примечай, куды чайки летят» (т. е. я и сам время выбираю). Сунут подьячему «муки фунта два с походом» (кафтан с камзолом) — и, глядишь, исчез Иван, и уже разбойничает в городе Кашире, в Ямской слободе, во Фролищевой пустыни, в Шелковом Затоне, у Макарья, на Волге. Шайка растет, — у всех теперь ружья, но больше работали гостинцем (кистенем). Иногда же отдыхали в каком-нибудь селе «в смирном образе», себя же величали донскими казаками, только особенными: «Как увидим деньги, так не подержут их никакие замки». Поразбойничав вдоволь, повернули обратно на Москву и тут временно разбрелись.

С откровенностью рассказывает Ванька Каин, как решил он заняться иным делом: ловить московских воров. Сначала обошел всех, узнал, где кого искать, затем заявился к набольшему московскому командиру, к сенатору князю Кропоткину,

«объявив за собой важность». На службу его приняли с радостью, и воров он переловил множество. Так он начал свою карьеру знаменитого московского сыщика Каина. Все дела ему были прощены, жил богатым домом и еще оттого богател, что брал с воров и разбойников немалые взятки. Решил жениться, — да его избранница не хотела за него идти. «Почему она взята была в тот приказ, где, по приводе, под жестоким битьем плетьюми, спрашивается; однако, по правости своей, ничего на себя показать не могла, после чего я прислал к ней женщину сказать: ежели она пойдет за меня замуж, то в то же время освобождена на волю будет». Так как та не соглашалась, то Каин попросил наказать ее кнутом и выпустить на его поруки, потому что «сколоченная посуда два века живет», а после отдал ее на излечение одной просвирне. И таки победил ее Каин: согласилась! Тогда он арестовал попа на улице и приказал обвенчать себя с нею в церкви. Жили мирно и хорошо.

Зарвался Ванька Каин главным образом на великих поборах с купцов-мошенников. Затем стал сам подсылать воров — и за хорошую награду возвращал обкраденным, якобы разыскав. А сильно заскучавши, и сам снова тайно заразбойничал. Окончательно попал, когда увез у подъячего Будаева его жену. Тут не помогла ему и команда, бывшая у него под началом, которая не раз его отбивала и избавляла от ареста. В заключение попал Ванька Каин в тайную Шуваловскую канцелярию, «где помирнее говорят», под пыткой выдал всех своих товарищей, но себя не спас. В 1755 году он был приговорен к смертной казни: «...колесовав, отрубить голову», но, по указу Сената, очевидно, в память великих заслуг сыщика, был наказан кнутом, подвергся вырыванию ноздрей и клеймению на лбу и на щеках (буквы В.О.Р.) и ссылке в «тяжкую работу». Об этом он в своей автобиографии уже не рассказывает, а просто говорит, что «был отправлен я в Рогервик, или Балтийский порт, то есть на холодные воды, от Москвы за семь верст с походом, где и ныне нахожусь».

Только малые кусочки из его рассказа здесь приведены; а рассказ его так красочен, так обильно пересыпан словечками и говорком тогдашней воровской Москвы, так непрерывен в действии, что читается как занятнейший роман. Для историка — клад, для любителя языка — истинное наслаждение!

Что же это был за Ванька Каин? Простой жулик и разбойник, обычный негодяй и преступник? Нет, — побольше! Историк С. Соловьев называет Каина «исторической личностью, типической в своем роде». Геннади называет его «своеобразным героем». Мордовцев говорит, что имя Ваньки Каина самим народом внесено в список имен исторических, «и если народный голос имеет какой-либо вес в русской истории, то голос этот присуждает Каину историческое бессмертие». «Каин, — говорит он, — это громадный рефрактор, в котором отразилась вся подпочвенная историческая Русь, доселе не выбравшаяся еще на божий свет».

А нынешнему читателю нетрудно догадаться: Ванька Каин — <...> это соединение разгула, свободолюбия, сознательного отрицания законов и порядка с отсутствием всякой морали, придуманной и предложенной; образчик нерабочей, развращенной «широкой русской природы» — при исключительной природной даровитости.

Не одна эта книжка осталась от Ваньки Каина; есть еще другая: «Песни Ваньки Каина». Никто точно не скажет, был ли он автором хоть части этих песен, хотя, например, в одной из них рассказана его женитьба, в других — его похождения. Из числа этих песен одна, любимая народная, всегда носила название песни «каиновой», хотя образами и выражениями она как будто старше его времени; это знаменитая песня:

Не шуми, мати зеленая дубравушка,  
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати!

[8 октября 1932 г.]

## XXI

Причиною дурных настроений чаще всего является у нас сравнение настоящего с прошлым, к полной первого невыгоде. И так в этом отношении увлекаются, что прошлое кажется сплошным сиянием, без чуточной тени, без единого пятнышка: и люди были лучше, и учреждения прекраснее, и личная жизнь уж до чего хороша! Подумать только: запекали к празднику цельный окорок, варенье заготавливали огромными банками, к обеду ждали ежедневно пять человек. И у каждого было свое дело: этот вел торговлю, тот был прокурором, другой, напротив, защитником, а кто просто наклеивал в альбом редчайшие почтовые марки. Деточки все говорили по-русски и получали двойки по арифметике. А вверху надо всем стояло первоклассного качества правительство, с доброй улыбкою смотревшее, как весело резвятся граждане. Не говоря уже, конечно, о климате: куда было меньше дождей, больше дней солнечных! Население росло неустанно, умирали более от старости и несварения, оставляя завещание родственникам и просветительным заведениям. За границей же нас так уважали, что было даже неловко и хотелось сказать: «Не беспокойтесь, пожалуйста, а заверните в бумагу весь ваш магазин и пришлите мне в гостиницу при счете; а вот это вам за услуги». И бывало, на наш славный русский рубль можно было купить весь Лувр, а за десятку — Вестминстерское аббатство!..

К прошлому имеет неизбывную страстишку и старый книгоед. Поздно вечером, когда замолкают у соседей граммофоны и теесефы, берет он старый русский журнал и любовно листает его. И ах! — сколь много в сем журнале занимательного, чего ныне в жизни уже не отыскать.

Так, например, позвольте извлечь из «Русского архива забытый документ, возрастом в сто тридцать лет, свидетельствующий о том, как покойно и весело жило под добрым и мудрым начальственным попечением.

### О лошади в очках

В номере 36 «Московских ведомостей» 1802 года было помещено следующее сообщение:

«Мая 1 числа, на гулянье, между чрезвычайного множества экипажей, была лошадь, довольно странно убранная. Молодой поселянин держал за узду молодую, 3-х лет, чалую лошадь, на которой были очки, величиною вершка в 4 в диаметре и обделанные в широких полосах жести. Между очками, по переносью, на красном сафьяне, подписано крупными литерам: «А только 3-х лет». Лошадь в очках возбудила и общий смех, и общее любопытство, и, кто ни спрашивал у поселянина, он всем постоянно отвечал, что в его селе все лошади видят, а молодые все непременно смотрят в очки. Правду или нет сказал мужик, остается решить молодым знатокам в деле окулярном».

По поводу такого известия в делах Московской управы благочиния в архиве старых дел, за номером 381 от 5 мая 1802 года, находится отпуск следующего письма от Московского военного губернатора графа И.П. Салтыкова к тогдашнему директору Московского университета Тургеневу:

«Милостивый государь мой

Иван Петрович!

Помещенное в смеси прошлой субботы Московских публичных ведомостей известие о бывшей мая 1 числа на гуля-



ные лошади в очках подало мне причину покорнейше просить ваше превосходительство уведомить меня, от кого оное для внесения в ведомости доставлено и, каким правилом руководствуясь, поместила типография в газеты происшествие, в самой Москве почти случившееся, без ведома и согласия начальства сей столицы, ибо хотя в нем и не означено места, но то вообще уже известно, и самое издание в печать упадет, как услышу, насчет данного от сего начальства позволения. Не сомневаюсь, что вы согласитесь в том, что подобные известия, до высочайше вверенной мне столицы и губернии относящиеся, следовало бы доводимы быть до сведения моего прежде, нежели сдадутся в печать, я присовокупляю мою просьбу, чтобы вы, милостивый государь мой, в предупреждение могущих иногда быть каковых-либо насчет сего объяснений, приказали не оставлять впредь о таковых предварительно со мною сноситься. Пребываю, впрочем, с моим истинным и проч. Граф Салтыков».

Столь просто и столь великодушно, в выражениях хотя и строгих, но справедливых, высший московский начальник доброго старого времени поставил на вид директору университета крайнее неудобство появления лошади в очках без предварительного на то разрешения властей!.. Между тем как странно даже помыслить, что было бы в той же Москве в наше время, когда бы мог в ней подобный факт произойти?! Могло бы кончиться не только высшей мерой социальной защиты, но и исключением из партии.

### **Об изяществе нравов**

Во дни, от наших времен удаленные, было этакое особое изящество нравов. То есть, конечно, и секли, и четвертовали, и вымогательствовали, но в этом не было большой разницы со временами настоящими, потому что голове-то все равно, рубят ли ее топором на бревне, или же отчикивают точным на-

учным инструментом. И нечего греха таить — таскали жен за волосы и младенцев учили битием нещадно. Но зато ежели накатывала на человека голубая волна любви, то внешне он проявлял это в выражениях, супротив нынешних гораздо тончайших.

Современных поэтов читаешь — и диву даешься, до чего их чувства открыто неумеренны. Чуть что — сейчас ему нужно совлекать нежно-журчащий шелк ее одежд, и, лба не перекрестивши, немедленно физически изнуряться, и все это публично описывать. Я, — говорит, — от страсти изнемогаю, и наши, — говорит, — потрескавшиеся от жара губы потребовали соединения. А прилично ли таковое обнародовать?

Между тем старинный молодой человек, естественно воспылав, сдерживался и старался действовать уместным тонким комплиментом. Как раз я нашел в старом журнале стихотворение, автор которого неизвестен, но предположительно это — поэт Шаликов, ибо его стиль. И вот какие прекрасные по изящной умеренности строки восхищения:

В окне за стеклами у вас алела роза,  
Я думал, это вы, и поклонился ей.

Лучше не скажешь! Как бы: «Разрешите лишь мимоходом и издали поддаться невольному восхищению несказанными прелестями». А не то чтобы тут же броситься на предмет любви и проявить непохвальную несдержанность натуры, что на женщин воспитанных производит отталкивающее впечатление, хотя иногда и завершается победой.

Другая человеческая черта — искренняя признательность и благодарность. И она в наше время встречается реже: норовят использовать, ничем не отблагодаривши. Уснуло чувство признательности, обуяла человека ненасытимая жадность!

И вот, очень кстати, в памятках записной книжки кн. П. Вяземского нахожу отмеченным пример человеческой полной

удовлетворенности и признательности, а именно: слова одной старушки, довольной своей участью, которая с умилением говорила:

«Да будет Господь Бог **вознагражден** за все его милости ко мне!»

И кажется мне, что дальше в человеческой благожелательности идти некуда.

### Ошибки всегда возможны

Единственное, в чем особой разницы между прошлым и настоящим не проявилось, — это в склонности русского человека к употреблению в домашнем обиходе выражений на иностранных языках. В особой чести всегда был у нас французский. Известно, что не все русские говорят на нем отчетливо и безошибочно; иной брякнет даме с красивыми губками:

— Vos éponges sont belles!

Другой попросит в аптеке:

— Donnez-moi du purgatoir...

Третий пожалуется на больную свою ногу:

— J'ai mal an jambon.

Так вот то же самое случалось и в те времена, когда российское просвещенное общество только по-французски и говорило, а по-русски даже стыдилось. Об этом, старые анекдоты в журналах перебирая, находим указания на небезлюбопытные примеры.

Барон Мальтиц, зять поэта Тютчева, рассказывает, как он впервые в своей жизни получил знак отличия — орден св. равноапостольного князя Владимира, четвертой (последней) степени, о чем рассказывал охотно в обществе, говоря, что имел счастье получить:

— L'ordre du grand-duc. Saint Wladimir, ègal aux apôtres, de la quatrième classe: c'est la dernière.

Писатель Гнедич, любитель пофранцузить, приняв участие в светском обсуждении наружности одной девицы, громко возгласил:

— Ce n'est pas un bel visage, mais comme disent les français, c'est une jolie figurlette.

Один русский ученый путешественник, побывавши в Париже в 1814 году, очень живо и восхищенно перечислял достоинства:

— De l'illustre coupable du triomphe d'aujourd'hui.

А венецианский дипломат, не отставая от русских коллег, галантно заявил императрице:

— J'ai le bonheur d'être jusqu'à la mort attaché à la grande potence de votre majesté.

Хотя по-итальянски «потенца» значит — держава, но по-французски «потанс» больше означает — виселица.

Всех же превзошла русская дама, впервые попавшая ко двору, которая, зная, что государя следует звать «сир», августейшую его супругу называла в разговоре «сирен». И еще другая, быв представлена в Риме папе, поразила его почтительным обращением:

— Mon pere!

Так что нам смущаться нечего, ошибки всегда возможны, и нет ничего плохого, когда русский человек, позвонивши и услышав за дверью оклик «кто там», достойно и кратко отвечает:

— Je!

[27 октября 1932 г.]

## XXII. СУДЬБА РЕДКОСТЕЙ

Любителям старой книги, не оставляющим мысли о ней и в тяжкие дни, под любыми широтами и долготами, задам загадку:

— Делается ли от течения времени редкая книга еще более редкой, или же случается и наоборот?

Для всего мира ответ прост, для нашей страны — весьма спорен и сложен.

Кажется — о чем говорить? По-настоящему редкой книжицы все экземпляры на счету, а время — самый страшный книжный червь. Иная погибнет в пожаре, другую уничтожит наводнение, третью — случай, четвертую — злая воля, а еще иная просто истлеет от времени, хотя бы и в наилучшем шкапу.

Переиздание ценной книги, хотя бы самое любовное и фотолитографическое, как преискусно было переиздано «Остромирово Евангелие» спустя восемь с половиной веков, — ничего не убавляет в ценности и редкости оригинала.

Но вот что случается и что случилось у нас.

В бурные российские дни погибло много редких и драгоценных книг. Сам слышал и видал, как плавали такие книги в затопленных погребках и как по былым помещичьим деревням мальчишки играли в бабки, взяв вместо битка гладкий кожаный томик осьмнадцатого века. И было еще такое учреждение «Правбум», которое перемалывало что угодно на бумагу, будь то макулатура или будь то великая книжная драгоцен-

ность. Синодик погибших славных библиотек, начатый С.Р. Минцловым, продолженный Ленинградским обществом библиофилов, и по сию пору не закончен.

И в то же самое время выплыло на свет божий и на рынок, сначала на вольный, потом — на казенный, столько чудес, покоившихся по городам и весям, неописанных и неопикуемых, что убыль покрылась с избытком.

Все прежние подсчеты книголюбов и книгоедов оказались неверными. Потянулись книги с чердаков и с полочек, из усадеб и домов, из городов и весей, в солидной коже и в трепаном виде, с невиданным раньше экслибрисом и рыжей чернильной пометкой, кому «сея книга принадлежит».

И случилось, что иная редкость, сущий уникум, отыскала своего брата, а то и целую семейку близнецов. Часть пошла в большие книгохранилища, другая часть поступила на предмет нового разбазаривания. И теперь, в превосходных каталогах «Международной книги», выходящих еженедельно, мы находим то, о чем раньше и не мечтали. Теперь это все идет для продажи за границу; но книге все равно где быть, только бы не теряться в забвенье, не гнить от незнания и небреженья. Долетает и сюда к нам иная бывшая великая редкость, ищет любителя, слоняется из рук в руки, заглядывает на публичные продажи и успокаивается на полочках истинных книголюбов. Может быть, здесь и останется, а может быть, со временем вернется домой.

Как на самый яркий пример, укажу на книги мистические и масонские времен Екатерины и Александра Первого. Казалось раньше, что все они были на счету и редкостны вне сомненья. Редкими они остались и теперь, но счет их сильно изменился. Сейчас любитель, при достаточных средствах, может за один год собрать их столько, сколько раньше не собрал бы и за двадцать лет.

Укажу для примера на книгу «Магазин свободно-каменщицкой, содержащий в себе: Речи, говоренные в собрани-

ях; песни, письма, разговоры и другие разные краткие писания, стихами и прозою». Изданная всего в 600 экземплярах, она в продаже никогда не была: раздавалась только вступившим в братство в некоторых ложах. Роздано было немного, а все остатки были конфискованы и сожжены. Больше ста лет тому назад славной памяти Василий Сопиков, наших библиографов отец и дядька, называл ее книгой редкой; позднейшие исследования в один голос называли редчайшей.

Стоя около книги пять лет уже в советские времена, пропустив мимо себя десятки, а то и сотни тысяч книг всякого рода, ни разу этой книги я не видал, хотя хорошо знал ее по описаниям и Губерти, и Геннади, и Лонгинова, и Бурцева, и Березина-Ширяева.

И вот года два тому назад увидел я эту книгу в каталоге одного европейского торговца, воспылал, подсчитал в кармане — и выписал. А в ответ получил: «Книга продана; постараюсь найти другой экземпляр». Поплакал: где же другой достанешь! А месяца через два книгу действительно получил, за цену весьма почтенную, и подумал: «Ты же самую, разбойник, перекупил и продал мне втридорога!» А с той поры ту же книгу, из редких редкую, уже дважды вновь видел в разных каталогах. Вот тебе и великая редкость!

Менее редка книга «Апология»; однако радовался, купив ее за пятнадцать долларов наличной монетой. Ныне частенько вижу в советских каталогах, и цена ей в десять раз меньше; опять — обида!.. Правда, моя печатана в типографии Н. Рассказова, а не в опухинской, как у других; но ведь мы-то, старые волки, знаем, как это делалось; все же горжусь хоть этим.

За пять рублей, конечно валютой, идут «Братские увещания» Седдага, за грош — «Хризомандер». До чего же это дойдет, товарищи! А почему у вас мыло? Пареная репа почему на базаре? Ведь этак, пожалуй, отыщется и книга «Магикон», кой-кем серьезно отмеченная, но никогда печати не издававшая, отыщется — и пойдет за полпары башмаков в лучшем случае.

Смотрю на свои малые полочки, считаю сдачу на прачкином счете и думаю: если бы да я не курил, да если бы не ел досыта, да если бы не мировой кризис, да если бы не термы, да еще бы разные «если бы», — полок бы не хватило, и стен бы не было видно, и пришел бы казенный инженер и сказал: «Господин, освободите квартиру, а то пол провалится».

### «Масон без маски»

Среди книг мистических, масонских и противумасонских, имевших столь много любителей и собирателей, редкими считались и остались, между прочими, две, на которые имею счастье дома у себя любоваться.

Одна — нынешнему читателю малоинтересная: «Святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа константинопольского книга о девстве», купленная мною в Париже по случаю по цене бросовой — два месяца подписки на «Возрождение», ежели, конечно, кому хочется подписываться. В сей книге показывается, что не всякая дева есть дева. Так, например, «еретических дев я никогда девами именовать не могу; во-первых, яко оне не суть чисти, второе, яко оне, гнушаяся супружеством, удаляются от брака: почему беззаконным оное поставляя быти делом, упредительно сами себе девства мзду отъемлют. Ибо от злых дел уклоняющимся не достойно есть увенчаваемым быти, но точию от казни освободитися могут таковые».

Как попала такая книга в Париж — уму непостижимо. Издана она в 1783 году Н. Новиковым, а в 1816 году ее купил неизвестный мне Марк Морозов, тут же и подписавший чернилами, что книге возраст 33 года! Очевидно, это мистическое число его очень поразило.

Другая же прелюбопытная книжечка противумасонская называется «Масон без маски, или Подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями, точно и беспристрастно. Спб., 1784».



О ней только и известно, что перевел ее с английского некий Иван Иванович Соц, но английского такого издания мы пока не знаем. Она издана в самую пору расцвета просветительной деятельности той общественной группы, которую неправильно называли «мартинистами». Екатерина их недолюбливала, писала против них книжки и комедии и другим то же поручала. Возможно, что и книга «Масон без маски» была издана с ее благословения, хотя любопытно, что предатель масонских тайн выставляет себя в этой книжке в весьма невыгодном свете, а самые «тайны» излагает старательно и без особого вздора, так что книга могла не только вызвать интерес к масонству, но и служить некоторым пособием для прозелитов.

А вот и его предисловие:

«Господа масоны! Я беглец, оставивший братство ваше и вашу работу, дабы быть по-прежнему профаном. Свет, коим вы меня озарили, не должен быть всегда под спудом и в рассуждении прочих ближних наших, но время уже просветить оным и их очи. Позвольте мне, государи мои, разогнать ныне густой их мрак и представить им в ясности ваши таинства. Не взропщите на меня за сие и одобрите сами мое намерение, ибо я хочу оказать услугу многим благонамеренным сочленам вашего общества и тем, кои оному не причастны. Добродетели ваши, государи мои, должны быть известны всем, и вы не имеете никакого на оные исключительного права. Пороки же, произведенные злоупотреблением странных таинств ваших, могут навсегда остаться в сердцах ревностных членов вашего вольнокаменщичьего общества. Многие из вас станут, может быть, порицать меня в вероломстве, несоблюдении торжественного обета своего и нарушении священной клятвы своей, но в том и совесть моя и все добродушные люди совершенно меня оправдают. Обязательство свободное есть поистине священное, но учиненное при обнаженных мечях и посреди храма ужаса есть не что иное, как поругание клятвы и

жертва единого только коварства и легковерия. Я есмь, государи мои, усердный таинств ваших предатель Н.Н.»

Однако в дальнейшем «предатель тайны» обстоятельно описывает ритуал принятия его «аппрантивом», называя его шуткой и пустяками; это не помешало ему пройти три степени масонства с полной серьезностью, а уйдя, он жалел больше всего о десяти гинях, взятых с него в благотворительный фонд. Всего он пробыл в братстве четырнадцать лет (во Франции, Англии и Голландии), причем ничего дурного видеть не удосужился, в чем и признается: «Больше ничего не видел, как то, что тут описал, естли бы видел больше, то бы также объявил».

То, что он описал, ныне общеизвестно и можно найти в общей литературе, да и раньше никакой особой тайны не представляло. Что же касается самого масонского учения, то «предатель тайны» откровенно признается:

«Ничего нет лучше масонской системы, и основатель оной заслуживает бессмертную славу. Я думаю, что он был англичанин; по крайней мере, он должен быть англичанин для того, что никому так не свойственно, как сему народу, поставлять человека в равенстве с человеком и отдавать человечеству достоподобное почтение...» «Он усмотрел, что все люди равны и что ничего недостает к их благополучию, как токмо чтобы они сами хотели оного достигнуть чрез взаимную и искреннюю любовь». «Сей человек, коему должно приписывать по справедливости бессмертие, имел просвещенный разум и чистое сердце».

Таким образом, «предатель тайны» протестует только против того, что братство вольных каменщиков остается тайным, в то время как нет в этом никакой надобности «...в земле, какова есть Англия и почти вся северная часть Европы, где представлена всем полная и совершенная свобода ко изъяснению мыслей своих и где давно уже не страждет никто за произвольную игру слов, устами его произнесенных».

А спустя два года по выходе в Москве сей книжечки, волею императрицы, издание ее благословившей, христианнейшие писания русских «мартинистов» были сожжены и Новиков заключен в Шлиссельбургскую крепость. Так что автор «Масона без маски» мог почесать затылок и сообразить:

— Это тебе, брат, не Англия!

[20 декабря 1932 г.]

## XXIII. ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Приятель, дорогой и любезнейший, забежал с улыбочкой и говорит:

— Вот Вы разного барахла любитель, так я и прихватил вам книжечку, может быть, вас заинтересует. Купил по случаю, а мне ни к чему.

И, щедрюю руку простерев, подал мне кожаный томик, проеденный червяком, да и кожа сама от времени стала рябой и поистерлась. Однако все в порядке, бумага не по-нынешнему хороша, на титульном листе гравюрка, на гравюрке слева солнце заходит за скалу, а справа стоймя стоит месяц, внизу же дерево и два амура собирают в корзину цветочки. На белой странице рыжими чернилами размашисто написано: «Ном. 225. Казенная», а если перевернуть, то между строчками можно прочесть помельче: «а моя».

Солнце и луна вместе — это я очень уважаю! Это и на петровских книгах встречается (хоть бы на книге «География Генеральная, или Повсюдная»), а уж, главное, на мистических рубежах двух веков: и небесные светила, и треугольники, и пеликан, мясом своим птенцов кормящий, и лучезарная дельта. Но данная книжка, мне подаренная, оказалась просто «Полезным увеселением» за 1760 год.

Легко сказать «просто»! Книжка редчайшая! Этот журнал издавал Михайла Херасков, Михаил Матвеевич, знаменитый писатель и стихотворец, родившийся ровно двести лет тому назад — в 1733 году. За долгую свою жизнь воспевал он Елиза-

вету и Екатерину, был сам прославлен «величайшим поэтом», написал тьму од и поэм, в том числе «Россиаду», был куратором Московского университета в течение почти сорока лет, был другом и сподвижником Н.И. Новикова, членом «Дружеского ученого общества», видным масоном-розенкрейцером, человеком изумительнейшим по кротости и душевной доброте — и был, наконец, крепко-накрепко забыт потомством.

Это он, «быв уже украшен сединами, с юношескою пылкостью играл на златострунной лире своей». И это он сказал: «Человек может состариться, но сердце его состариться не может». Это он считал, что счастье не во внешних условиях жизни, а в нас самих, и что выше свободы политической — свобода духовная. И это он больше всякого другого заслужил отзыв: «Ни словом единым бессмертной души не унижил».

Иные, читая его «Россиаду», уверяли, что прогуливаясь «в прекрасном саду, где природа и искусство истощили дары свои»; другие (и их было гораздо больше) зевали от великой скучности сей поэмы, но неизменно уважали и любили ее автора, человека отличнейшей души и во многих отношениях замечательного.

Так вот этот самый писатель, будучи от роду 27 лет (а в 22 он был ассессором конференции Московского университета!), начал с другими молодыми людьми издавать журнал «Полезное увеселение», передо мной лежащий. Кое-кто из сотрудников журнала позже вышел в большие люди, как, например, Алексей Андреевич Ржевский, автор многих притчей, од, стансов, эклог, писем сатирических, загадок и эпиграмм, а впоследствии крупный масон-розенкрейцер, вельможа, сенатор и кавалер. Этот написал и трагедию «Смердий и Прелеста», — а кто ее помнит?

## О читателе

Из первого номера сего журнала беру самую в нем первую статью, потому что она касается читателя. Написана же, вероятно, самим Михайлой Матвеевичем: она передовая в журнале.

«Чтение книг есть великая польза роду человеческому, и гораздо большая, нежели все врачеванья неискusstных медиков. О сем можно сомневаться тому, кто книг не читывал; однако великая разность читать и быть читателем. Несмысленный подъячий с охотой читает книги, которые писаны без мыслей, купец удивляется, по их наречию, виршам, сочиненным таким же невежею, каков сам он; однако они не читатели».

И тут сразу автор начинает сердиться на плохих читателей, сравнивая их со столь же плохими сочинителями:

«Сколько есть неискusstных сочинителей, гораздо большее число безумных чтецов; но сочинитель, написав дурную книгу, делает бесчестие себе, а глупый чтец, читая оную, и себе и другим вред делает; омраченные мысли, погрузнув в мраке глупого сочинения, вдвое тупее становятся, и, не прочистив настоящим образом свету к познанию прямого содержания хорошей или дурной книги, сообщает свое безумие другому невеже».

Вот как худо читать плохие книжки! Да к тому же еще и небезопасно:

«Сии знатоки, или чтецы по просторечию, весьма досадно, что грамоте учены; они пользы иной чрез то не приносят, как только что от чтения или, лучше сказать, от непонятности и тупости своей, наконец, с ума сойдут или ослепнут».

И действительно, ладно ли у нас и по сие время выбирают и читают книги, взятые, скажем, в Тургеневской библиотеке?

«Романы для того читают, чтоб искуснее любиться, и часто отмечают красными знаками нежные самые речи».

Ну, а как же читать? А вот как:

«Читать книги много наблюдать надлежит; первое — испытать себя: на что я хочу читать? Что я хочу читать? И как я буду читать? Что за книгу я читать берусь? Всякую ли материю толковать или скорей книгу кончить? Но это непохвально для книг хорошего содержания».

Выбор нелегок! Ну, а если только для развлечения?

«Ежели стану читать для того, что дома скушно, а гости не едут, то есть чтоб прогнать как-нибудь время, так я советую читать все, что захочется и что попадется, для того что это для таких людей неопасно; гости приехали, материя из головы уехала, да и век назад не возвратится».

По-моему, все эти соображения, 70 лет тому назад писанные, и до наших дней не утратили свежести и важности. Плохой читатель «на дурную книгу походит, которая ни мысли, ни складу не имеет»!

Каковые мысли, по случаю 200-летия дня рождения издателя и пииты Михайлы Хераскова, счел уместным здесь привести.

Все же остальное в журнальчике сильно поустарело, хотя для старого книжника и любопытно. Из стихотворных творений можно привести его юношеские стансы в том же издании:

Все на свете сем проходит,  
Постоянного в нем нет.  
Солнце утром хоть восходит,  
Вечером опять зайдет.  
Ничего нам вечность люта  
Не оставит никогда,  
И с минутою минута  
Истребляется всегда.  
Естьли жизнь я вображаю,  
Ту минуту жизни чту,  
Я в котору пребываю,  
А не ту, котору жду.

По нынешнему времени с такими виршами не примут ни в один журнал, ни даже в парижский Союз поэтов! За подобные стишки нынче засмеют человека, скажут: ну, братец, ты уж лучше бы шел в литературные критики, а поэзию оставил! По тому же времени все это очень свободно и не без удовольствия потреблялось...

[13 января 1933 г.]

## XXIV. «КАРТИНКИ РУССКИХ ПРАВОВ»

Может быть и старое прекрасным — и новое ему не уступать. Порою искренне радуюсь, держа в руках современную русскую книжку, изданную старательно и любовно. Таковы некоторые книжки советского издательства «Academia», также Издательства писателей в Ленинграде, на достойной бумаге и с отличными иллюстрациями. Часть из этих книг надолго останется, и будет цениться собирателями, — правда, небольшая часть, потому что все же сказывается на качестве массовое производство... Еще новенькая книжка уже шатается в корешке, материал переплета дешев, золото тиснения рыже и тускло, обрез неровен. И еще одно плохо в нынешних книгах, набираемых машинами: бегают по страницам белые змейки слившихся пропусков и выправить это невозможно; раньше, при наборе ручном, в дорогом издании за этим следили, не допуская лакун и пятен, чтобы глаз на странице отдыхал и не обижался.

Хорошему новому — привет! Но сколь же ласкает душу и глаз старое изданище 40-х годов, когда в иллюстрацию вкладывали всю любовь и внимание! Сама книжка — пустяк, и роскоши в ней нет; а развернешь — и с первой до последней страницы любишь и удивляешься!

Таковы, например, шесть малых книжечек, в 16-ю долю листа, под общим титулом «Картинки русских нравов», все с политипажами по рисункам В. Тимма, резанными бар. Клод-



том, Неттельгорстом и другими. Тексты неважны: уже и по тому времени старые рассказы Греча, Булгарина, Мятлева, звезд третьей величины. Но нет странички без рисунка и нет начальной буквы без прекрасного украшения. Простенькое и в своей простоте воистину прелестное издание. К нему предисловие, не от издателя, а от самого издания, текст которого в кусочках позвольте привести, так как эти книжечки исключительно редки и давно уже в антикварной продаже ненаходимы.

### От издания

«Я не книга! Литераторы не ломали головы, чтоб составить меня, книгопродавцы не издерживались на мое издание, следовательно, я — не книга. Что же я? Издание художественное, предпринятое артистами для опыта, могут ли у нас существовать иллюстрированные издания, и для доказательства, что и у нас можно иллюстрировать (т. е. прилагать к книге политипажи) хорошо и дешево! Сравните эти издания с парижскими книжечками в этом же роде, выходящими в свет под заглавием физиологии (т. е. очерков нравов) разных лиц, и вы удостоверитесь, что петербургское издание не только не уступает парижским, но во многом превосходит их. С лишком сто картинок, отлично оттиснутых на сатинированной веленовой бумаге — «за один рубль серебром». Дешевле этого невозможно иметь в целом мире!»

И знаете, что тут сказано, есть факт, а не реклама! Некоторое подражание парижским изданиям того времени, конечно, заметно, но ученик превзошел учителя тщательностью и изяществом.

«Но как же вы не называетесь книгою, спросят у этого издания, когда у вас есть печатный текст? Правда, есть тут статьи, но они здесь служат полем, на котором помещена миниатюрная картинная галерея! Статьи эти были уже несколько раз напечатаны, переведены на чужеземные языки, прочтены

многими тысячами и обруганы несколькими противниками, словом, все совершилось в надлежащем беспорядке, как водится в литературе и журналистике, которых чуждается это артистическое издание... У артистов золотые таланты не закопаны в земле, на хранение, и они, в начале своего предприятия, ничем не могут поделиться с литераторами, как только любовь свою к изящному».

Что поругивали литераторов, особенно Греча и Булгарина, в том сомнения нет. Но, по правде сказать, на текст как-то и внимания не обращаешь — так хороши сопровождающие его картинки. И автор предисловия кончает:

«Итак, ступайте в свет, “Картинки русских нравов”, и разведайте хорошенько: любит ли наша публика иллюстрированные дешевые издания! Тогда можно будет предпринять много хорошего и сочетать русские художества с русскою литературою! — Ступайте в свет, “Картинки”, не бойтесь критиков! На одного черновзглядного найдется пять добрых, которые вас утешат и призрят вашу юность!»

Книжки пошли гулять — и так загулялись, что сейчас редкий книголюб может похвалиться, что есть в его распоряжении все шесть книжек: «Салопница», «Корнет», «Петергофский праздник», «Невский пароход», «Находчивое поколение» и «Преферанс». Описаны они не раз, а мало кто их видал. И с грустью должен признаться старый книгоед, что и он каждодневно любит только «Салопницей» Булгарина, его же «Корнетом» и «Невским пароходом» А. Греча, сплетенными в единый томик.

### «Корнет»

А чтобы дать хоть малое представление, с каким усердием книжка расцвечена прекрасными гравюрами на дереве, позвольте привести здесь отрывок из «Корнета» с описанием иллюстраций.

Отрывок начинается буквой «М», к которой прислонена детская постелька:

*«Младенец при рождении плачет, потому что следует внушению природы, а природа — философка и, зная, что такое жизнь в существе своем, не может внушить младенцу радости. Но если б младенец (разумеется мужского пола) мог предвидеть, сколько пред ним в жизни шампанского,*

И тут гравюрок на полстранички: две бутылки зажаты в пальцах лакея; кроме руки видны только пуговицы одежды.

*мазурок и кадрилей,*

Опять гравюрок: склонила голову девушка, в бальном платье, а перед ней в почтительной позе молодой корнет — приглашает ее на танец.

*красавиц,*

И вслед за словом — на всю страницу рисунок: девушка молодая и большеглазая, с личиком воплощенной невинности, с чертами тонкими, бочком сидит на солидном кресле. Что за тонкость пера и резца! Что за прелесть легкого туалета и прически 40-х годов!

*дуэлей, арестов,*

И снова рисунок на страницу. Попал молодой корнет за решетку! Ничего себе, стоит к нам спиной, а лицом к оконцу камеры, покуривает из длинного чубука — стройненький в своем мундире.

*любовных объяснений, любовных похищений,*

Верно, увозит дамочку из какого-нибудь маскараду! Белые рейтузы, парадная треуголка, плащ; а она в маске и костюме пейзажки — гравюра опять на всю страницу, только в начале строчка текста.

*обедов и ужинов,*

С приятелем где-нибудь в ресторане. Друг дружке рассказывают любовные дела, покуривают, пьют кофе — а

под столом три порожние бутылки. Гравюрка на полстранички, а нижняя половина с одним словечком:

*пуль,*

— тут черкес в мохнатой шапке, за поясом кинжал, целится в кого-то — может быть, в нашего корнета!

*бессонных ночей,*

Загрустил корнет! А вернее — проигрался. Сидит, локтем головку подпер, у стола, а на столе едва заметными штришочками разбросаны карты. И чубук не веселит — прислонен к стенке.

*и прочего, и прочего, и прочего, то этот младенец хохотал бы при рождении во все горло,*

И правда, на другой полстраничке валяется в люльке кривоногий младенец и хохочет. А над ним видна рука нянюшки — вот, должно быть, удивлена его ранней резвостью!

*хотя бы неуклюжая повивальная бабка или мамка сжала его в лапах своих, как приказные жмут богатого просителя.*

И тотчас же изображен плут приказный, перо за ухом, нос пропойцы, поза раболепная, в руках документах — из жуликов жулик!

Так и идет книжка: текста на вершок, иллюстраций к нему восемь страниц. Всего же их в каждом тоненьком рассказе до пятидесяти. И уж так мне жаль, что приходится описывать то, что так хотелось бы посмотреть вместе с читателем. Да не воссоздашь! Нет той прекрасной черноты краски, нужной для деревянной гравюры, и не может газетная бумага сохранить тонкость и красоту линий.

Кто видал иллюстрации Гаварни, тот знает, как все это делается. Но по тонкости и изяществу издания, при всей нарочитой простоте, при всей действительной дешевизне, — эта милая работа Тимма и дружественных ему граверов далеко обо-

гнала и Гаварни, и других! Любуешься, удивляешься и сожалешь: почему нынче нет таких изданий? Это при нынешнем-то богатстве техники, при бесконечных возможностях и великих тиражах! Чего нам не хватает? Знание — есть. Техника — огромная. Как будто и вкус в людях не иссяк. Чего же нет?

И отвечаю: нет прежней любви! Чистой и бескорыстной!

### Волшебный фонарь

Плодовитого и искусного художника и техника академика В. Тимма знают больше по его замечательному изданию «Художественный листок»; оно выходило в 50-х годах и в полном виде продолжает весьма цениться. По тому времени его литографии были редкостью. Но это было, так сказать, промышленное издание, огромное и доходное. Не то наши книжечки — сама молодость и красота, любовная затея группы настоящих артистов.

И тут — для заключения — будет, кстати, припомнить другое прелюбопытное издание, тоже великую редкость в полном виде, характера иного, далеко не столь художественного, — и, однако, она сыграла немалую роль в истории русских иллюстраций. Это — «Волшебный фонарь», ежемесячное издание на 1817 год, из двенадцати номеров, в четвертку листа, а в нем 40 гравюр да одна литография, едва ли не первая по времени в России («Народный праздник под Невским»). Называется издание длинно:

«Волшебный фонарь, или Зрелище С.-Петербургских расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистию в настоящем их наряде и представленных разговаривающими друг с другом соответственно каждому лицу и званию».

Рисунки хороши и забавны, да и текст — весь из разговоров — сейчас прочитать приятно. Тут и разносчица календарей и журналов с покупателем, и молочница с прачкой, кон-

фетчик с парикмахерским учеником, торговка с евреем, грбенщик с девкой, шарлатан со школьником, саешник со своим лотком, кухарка с фонарщиком, кучер с блинником, торговка со щегольком,— и кого только нет! Для изучателя старого быта — истинный клад!

«Сахарны конфеты!

Коврижки голландски!

Жемочки медовые!

Патрончики, леденчики!

— Што стоит коврижка?

— Полтина.

— Возьми, брат, грош.

— Не приходится, эдаких цен нет.

— А жемочки почем?

— Пятак штука.

— Возьми, брат, грош.

— Не вороши, не вороши, как руки не хороши!»

*[6 февраля 1933 г.]*

## XXV. «НИЩИЕ НА СВЯТОЙ РУСИ»

Время от времени, робко у дверей позвонив, вползает на тонких ножках и, ни слова не говоря, укладывается на полку какая-нибудь забавная и редкая книжка. Прежде так случилось часто, ныне же, по случаю кризиса, реже радуют старого книжника; тем радость сильнее, тем больше им привета.

Вот так и сегодня явилась такая, не высокой древности, сединами не убранная, червяком не точенная, лишь солидного человеческого возраста, когда, земное презрев, начинают подумывать о душе. Типографии московской, пера господина И. Прыжова, некогда весьма прошумевшая за смелый образ мысли и яркое письмо, под титлом «Нищие на святой Руси». Любителями была быстро раскуплена, книговедами запомнена и включена в почетную семью книжных редкостей.

Нет в ней никакого для наших дней срочного интереса, и рассказываю про нее только для тех, кто любит и ценит недавнюю русскую старину. Глаза закроешь и видишь перед собой явственно московскую улицу, либо проезжую дорогу, либо церковную паперть, а то ярмарку, крестный ход, иное какое народное скопление, или же двор богатого купца-ханжи, искупающего плутню жизни щедрым подаянием. Всюду — нищий и убогий человек, уродец и жулик, престарелый и потаскуха, красноносый пропойца и собиратель на новый храм взамен никогда не горевшего и не бывшего, истинно бедный, удрученный боле-

зью и немощью, здоровяга, хитрец, юродивый и богобоязненный слепец с мальчиком-поводырем, шарманщик, сирота, карманник, богомолец и подлинный землепроход. Кто безрук-безног, кто поистине обижен матерью-природой, а кто так наделен здоровьем, что не берет его никакая водка и не свалит кулачный боец. Такова была на святой Руси нищая братия по профессии, армия без команды, плодимаемая обычаем копеечной милостыни...

«Нищие на святой Руси» были не «продуктом социального неравенства», как полагается говорить, и не «последствием экономического кризиса», а совершенно особым словом «ничего не делающих и промысляющих подаянием Христа ради». Земля была достаточно обильна, безработицы не знали, из-за куска хлеба еще не дрались. Но нищенство было выгодной профессией и поддерживалось обычаем богатых людей спасать душу милостыней.

Были в нищенстве свои классы, от высокопочтенных до презренных, и на всех хватало доброхотного гроша дающих. Вышим классом были певцы, народные поэты, отрицавшие собственность и имущество, истинные мудрецы, чаще всего слепые. Пониже их стояли калики переходные, «удалые и дородные молодцы», бродившие партиями, иногда по «сорок калик с каликою», не чуждавшиеся и разбоя; эти особым народным расположением уже не пользовались, и про них сложено немало печальных сказаний. Дальше шла остальная нищая братия, вольные нищие, лазари, в Бога богатеющие, богомольцы за мир, церковные люди, богаделенные, кладбищенские, дворцовые, монастырские, гулящие и леженки, и «никто из них с голоду не помирал». Иные числились «в штате», даже имели форму, другие по воле шатались во имя Божие одиночками и толпами по папертям, по домам благодетелей, по свадьбам и похоронам, по кабакам и святым местам. Общий их идеал — дармоедство, а по способам извлечения из карманов доброхотной копейки они делились на добрую сотню «школ» и «специальностей». Их и описывает книжечка Прыжова.



Вот идут бабы с грудными детьми и с поленами вместо детей; добыть себе живого младенца было предметом особого старания. Детей покупали, брали внаем, платя хорошие деньги родителям. Для большей жалости детей калечили, дробили им ноги, растревляли язвы.

А вот особое сословие — «выписавшиеся из больниц», с бледностью и в повязках. А то собиратели на похороны — чаще старухи, с крышкой от детского гробика, а то и с целым гробом под мышкой. Иные собирают на приданое невесте — тоже нужна сноровка и умелый рассказ. Мужички просят на «угнанную лошадь», — будто их разорили злые конокрады и пустили по ветру все их крестьянское хозяйство. А то подходит солдат, в настоящей форме, просит «на разбитое стекло в фонаре», — будто его жестоко накажут штрафом и отсидкой. Черной вереницей идут монахи и монахини, собирающие на построение обители, степенные мужички — на построение церквей, с тарелками и книжками, обернутыми в пелену с крестом, — и у каждого в запасе документ, выданный в неведомом селе неведомым церковным причтом или полицейским начальством, и не всегда поддельный, за деньги все делалось. Странники и странницы собирают себе на дорогу ко Гробу Господню, к Соловецким, к Тихону Преподобному, на Афон, к Николе в Бари. Целыми выводками идут бездомные сироты, мальцы и девочки, — а родители тут же где-нибудь ждут за углом, отбирают у них денежки. И целый особый класс, отличный наглостью и нахальством — благородные отставные чиновники и военные, красноносые, с орденами в петличках.

Особо описывает наш автор приметных нищих, по своему знаменитых, больше — московских, скромно означая их имена только инициалами; по другим книгам (например, по отличной книге М. Пыляева «Старое житье») можно иные имена восстановить.

Вот, например, знаменитый попрошайка, московский мещанин Ф.Н.Н., изобретатель вечного движения и химик. Изве-

стен тем, что легко производит шампанское из капустных кочерыжек. Продает и книжку своего сочинения под названием «Издание Ф.Н.Н... Изобретателя разных машин. М., 1861. В типографии Серикова». В книжке всего три страницы. Сейчас за его книжку много дал бы собиратель книжных редкостей; но и раньше с ее помощью зарабатывал этот «химик» немало, больше иных писателей. Ф.Н.Н. блуждал обычно по торговым рядам, тешил купцов, кормился копеечками; за ним целой толпой бегали мальчишки, дергали его за полы, звали «беспашпортным» и «верхом на кобыле». Для него — реклама; зарабатывал недурно.

Тащится и другой писатель, вечно пьяненький крестьянский поэт С. За копеечку читает свои стихи нараспев и очень жалостно.

А за ним новая знаменитость, под кличкой Рассказ Петрович: этот мастер говорить притчи в гостинодворском вкусе. Известно и его изречение: «Жизнь человеческая — сказка, гроб — коляска, ехать в ней не тряско».

А то старичок Торцов. У этого прием прост: под мышкой всегда палка, и палку эту все у него отнимают, а он ругается лишь одним крепким словом, повторяя его без устали, — и за это ему перепадает от благодетелей.

Вот бывший приказчик, А.И.П. Из приказчиков попал в хористы театра, потом в певческий хор, потом стал ходить по рядам и читать за три копейки (такса!) из «Аскольдовой могилы» — все, что запомнил. И не без успеха. Ростом велик, голос огромен, но от трезвости отстал навсегда — видный купеческий шут.

Иной же, никаких стихов не зная, избрал себе призванием лаять собакой, кричать петухом, мычать коровой — очень искусно. Такого приглашают по домам — позабавить жен и дочерей. Купцы его нанимают — прокричать «павлинчиком» под окном соперника, что считалось большим оскорблением. У кого закричит под окном — тот спешит откупиться.

Был еще такой — «студент», фигура грозная, истинный геркулес. На нем фуражка студента и байковый зеленый халат. Меньше штофа в день не пил. Упившись, шел на Ильинку, становился поблизости городского и потрясал основы пением: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего», скоро переходя на веселый напев: «Я цыган-удалец». Или же произносил ужасную ересь в стихах: «Вот так были чудеса, сотворены небеса, семь тысяч лет стоят, а ничего не говорят». Забирали его в участок, но за храбрость от любителей получал щедрое даяние. По вечерам же поджидал в глухих переулках запоздалого путника и сам брал серебром, часами и чем попало.

Красочная фигура — бывший кондуктор железной дороги, прогнанный за пьянство, но именующий себя капитаном в отставке. Просит так: «Капитану, отечества защитнику, на семи сраженьях бывшему, победоносным российским воинством управляющему, пожалуйста на штоф пострижения, на косушку сооружения!»

Или поручик в форменной фуражке, в сером пальто, с лентой в петлице, рожа красная: «Доне муа маршанд две копейки серебром». Дают, чтобы избавиться, потому что человек заведомо буйный.

Офицеров немало, а то и сам «бывший блюститель порядка», в огромной папахе, почему и называет себя кавказским полковником. У иных — ленточки в петлице, «шестнадцать ран» и подбитый глаз в недавней борьбе с кабацким неприятелем. Получают и эти за храбрость и живописный вид.

Дьякон, сразу видно духовного человека! Просит басом: «Бывшему московскому диакону для обогрения плоти и подкрепления духа!» — «А за что тебя уволили?» — «За чрезмерное осушение стеклянной посуды». — С ним бродит служка, и оба собираются на Афон, да все не могут собраться.

Женщины с заплаканным платочком, девицы-сироты со смазливый личиком, целое сословие «обедневших благородных дам», главным образом титулярные советницы, овдовевшие или бро-

шенные мужьями. Кто помоложе — собирают «на похороны дорогой мамашы» — так и хоронят мамашу из года в год.

Такова была московская улица, и по подсчету вся эта пестрая нищая братия собирала в год свыше трех миллионов рублей с половиной. Большая часть этих денег уходила в ведомство московского откупа — на зеленого змия. В одной Москве по счету 60-х годов таких прочных и оседлых попрошайек было свыше сорока тысяч человек. А сколько их ходило по дорогам «ко святым местам», на ярмарки, просто по деревням, по монастырским и церковным праздникам. И сколько жило по богатым купчихам и богобоязненным помещицам.

Не одни купцы и барыни жаловали профессиональное нищее сословие; были русские ученые и исследователи, больше из славянофилов, которые считали нищенство положительным явлением народной жизни, видели в нем настоящий «народный элемент», особо прикосновенный к вере христианской, «вступившей в неразрывную связь с религиозной и народной жизнью русского человека» (Снегирев. «Моск[овские] нищие в XVII веке»). Однако не все такой взгляд разделяли; иным такое толкование представлялось злой клеветой на русский народ. И казалось им, что российская копеечная помощь, легкий и дешевый способ спасения души, служит источником разврата. К последним принадлежал и автор нашей книжечки «Нищие на святой Руси».

Для тех времен, для начала 60-х годов, его особый взгляд был новостью и немалой смелостью. Он стоял за запрет нищенства и за организованную общественную помощь, — чтобы те же копеечки, собранные вместе, создавали странноприимные и просветительные учреждения под государственным контролем. Его не прельщала «древнерусский обычай» подавать копеечку на двоих, никому не отказывая, и ожидать за это Царствия Небесного. И он возмущенно писал:

«У нас темно, мрачно, тупо, безобразно. Мы считаемся просвещенными, наши барышни учатся по-французски и на форте-

пианах, но вот Шамиль, не имеющий никакого понятия о милостыне, а имеющий одно сердце, способное к благотворению, он дикарь и все-таки никак не может понять, чтоб человеку можно было подать копейку, и подает нищему по десятки рублей серебром».

Сравнил с Шамилем — и осудил! Это, конечно, понравилось, и сразу книжка Прыжова была замечена и скоренько раскуплена. Переиздать ее не пришлось, цензура вторично одобрить не могла бы; и в скором времени по выходе она стала большой искомой редкостью.

И вот попала случайно на полку проживающего в Париже старого книгоеда, который почел справедливым ознакомить с нею любителя российской старины.

*[28 апреля 1933 г.]*

## XXVI. ВСТРЕЧА С ЖЕЛАННОЙ

В день дождливый и безрадостный, когда ожидать доброго, в сущности, даже и не приходится, вошел я в книжный магазин, зонтик поставил у двери, шляпу положил на стул, чтобы ненароком книжки какой не замочить, и думаю: придется перелистать журнальчики, потому что на полках все мне давно ведомо. И вижу вдруг, что хозяин горд и важен, почти и смотреть на меня не хочет, хотя со всеми книжниками я старый приятель.

Отчего бы? Уж не получил ли полный комплект «Старых годов» или свиток толстовских иллюстраций к «Душеньке» Богдановича, или попала какая уткинская гравюра? Последнюю полюбовался бы охотно, имея у себя дома лишь бессмертные профили работы Уткина в первом издании Гнедичева перевода «Илиады». А может быть, раздобыл хитрый человек старинную повесть, из зачитанных вчистую, и хочет помучить меня нетерпением?

Он же лишь левого глаза уголком метнул в сторону полки, где у него в почете и мрачной красоте стоит десяток кожаных переплетов. И вижу — как будто один прибыл, мне неизвестный. И как протянул я к нему руку — точно электрическая искра уколола палец: издали почувствовал. А когда, отогнув переплет прекрасной сохранности, с черной бегущей линией по краешку, времени не старого — всего годов сто, увидел знакомый заглавный лист, с младым Петром, в латах и чернобровым, в окружении медальонов со львом, орлом, ска-

лой, атлантом и другими эмблемами,— тут я как был, так и сел на стул от волнения и приступа сердечного биения! Ибо прямо скажу — мечта жизни!

И знаю, и читывал о ней, и сам писал, даже в этих своих заметках, но видеть не сподоблялся. Видал, конечно, переиздания позднейших лет, в частности времен новиковских, но знаменитого первенца, амстердамского, восьмизычного, 1705 года, шестой петровской книги, печатанной еще до гражданского шрифта, в руках иметь не приходилось.

«Символы и эмблемата»! Для иного, равнодушного, звук пустой, для меня же — райская песня. Первый лист — гравюра, второй — красно-черный амстердамский титул, а с третьей страницы до конца — в полной целости все 840 кружочков гравированных символов и эмблем, вся мудрость веков, весь катехизис человеческих добра и зла, вся прелестная наивность ушедших времен, вся фантазия и бывших, и будущих художников!

Об истории этой книги и говорить много не стоит: достаточно писано. Издана по велению Петра, пролежала долго зря в польском приказе, 165 штук сгнило от сырости, 610 пущены в продажу — и следа их почти не осталось. Петр Великий, портрет работы Готфрида Кнеллера, 1698 года, изображен младым и прекрасным рыцарем. Переиздана в конце осьмнадцатого века и вновь в начале девятнадцатого, последнее — с посвящением Александру I. И тогда прибавлено объяснительное слово:

«Как тело и душа, будучи воедино сопряжены, соделывают естественную связь человека, так известные образы и слова, вместе сложены будучи, составляют совершенный смысл и человеческим очам представляют вразумительные эмблемы и символы».

В сем последнем издании, по счастливому розыску старого книгоеда, читал эту книгу в детские годы Федя Лаврецкий, герой «Дворянского гнезда». Ныне, по случаю юбилея Ивана Сергеевича Тургенева, могу прибавить, что только одна картинка упомянута им правильно, а именно под номером 788 мед-

ведица, лижущая медвежонка, с надписью: «Помалу» (а не «мало-помалу»), остальные же картинки хоть и имеются в книге, но надписи совсем иные. Так, например, летящая с веткой птичка объяснена: «Подожде благополучная погода». При надписях же: «Мало-помалу» — изображена в одном медальоне черепаха, а в другом неразумный купидон верхом на привязанном быке. А там, где радуга, надпись гласит: «Мое благовоние приятнее оттого». Откуда и заключаю, что Федя Лаврецкий, придя в возраст зрелости, картинки позабыл и, желая посмеяться, надписания прибавил от себя, хотя и с большим остроумием.

Сочинителю все простительно, нам же того делать не подобает. И так как история книги известна, а описания самих символов и эмблем нигде не было, то и позволю себе о некоторых рассказать.

Так, например, лежит на земле исхудалый человек, одну ножку задравши, а рядом вырытая яма в его рост, и еще сбоку что-то вроде пасхального кулича, и написано:

«Зде надлежит остановитесь».

Или висит над землей под облаком чаша, идут от нее пары, и дано надлежащее объяснение:

«Надобно и приятно».

Столь же замечателен большой барабан без палочек, на боку лежащий:

«Непотребен без грому».

Вылез из земли медведь и приналег на улей, из которого во все стороны вылетают пчелы. Морда у него очень добродушная, и дается ему совет:

«Удаляйся средней точки».

На высокой виселице среди холмов висит за живот привязанный лев, а на лице страдание. Потому «на лице», что у всех зверей в книге лица почти человеческие, да и солнце рисуется с носом и усиками. Подо львом же написано на восьми языках:



«Да знет правительствовать».

Ну, это, пожалуй, даже и слишком дерзновенно! Нынче таких символов печатать не позволено. На все же времена правильно изречение при картинке, где стоит в воротах юный купидон:

«Врата любви суть, про приятелей, а не про неприятелей».

Трудящему человеку, особенно писателю, пригодится изображение паука, раскинувшего сеть среди развалин:

«Аз и справляю лучше оставленную свою работу».

И многим невредно увидеть потрепанную ворону на холмике:

«Не всякому птицею прилично быть».

Весьма убедительно изображен проливной дождик над селением:

«Излишек вредителен есть».

Но не сразу угадаешь, почему пустая сеть, вытянутая из воды рукою, от локтя ушедшею в облако, препровождена надписью:

«Не всегда треногу» (Non semper tripodem).

Иной раз, конечно, не доищешься соответствия изображения с надписью. Не во всяком символе может разобраться непосвященный человек. Не картинки для детей — загадки для мудрых. Скачет, например, бравый козерог, с рыбьим хвостом, над ним рог изобилия, под ним не поймешь какая лопата с шариком на рукоятке. И оказывается, что это означает:

«Благодеяние преодолевает все».

Или, например, изображен удирающий лев, а ему что-то кричит петух, сидящий на скале, и значить это должно:

«Приехал, видел и победил».

Но понятно, когда гуляет свинья по клумбам и нюхает цветочки:

«Не твоим ноздрям дух».

А иной, может быть, догадается, почему изображен голый бородатый старец, на берегу реки, всем телом изогнутый, из-

за спины же его льется вода, откуда и почему неизвестно, с пояснением:

«Всяк свое дело знай».

И чтобы уж кончить, расскажу еще про муху, которая ползет по зеркалу, и порядочно эта муха на стекле понаследила, ей же все, видимо, мало, почему и написано:

«Лучше бы к нему прицепилась. Есть ли б нетоль гладко было».

Минуты летели, часы шли, пора и магазин закрывать, — а старый книгоед сидел на стуле, уткнувшись в книжку и глазами поедая гравюру за гравюрой. Рассказал их пятнадцать, а всех их, как сказано, восемьсот сорок! Разве же может времени хватить насладиться, хотя бы прочитав по разу? Нужно и в стеклышко посмотреть, разобрать гравюрную крупку, пальцем осторожно погладить, вдохнуть аромат старинной бумаги, отдохнуть — и опять приняться листать с первой страницы. Был бы дом, продал бы дом, уплатил, сколько полагается полностью, взял книжку под мышку — до свидания! Но нет дома у старого книгоеда.

И вот, вернувшись в свою конуру и сидя среди милого, ставшего немилым, думаю и гадаю: почему понравилась такая книга Великому Петру, так понравилась, что повелел издать ее немедленно?

Известно, что с этих эмблем Петр заказывал себе печати. Поразило его, что всякая мысль может быть выражена образом и прочтена хотя бы и неграмотным человеком. Слово забудется, но глаз дольше держит в памяти изображенное. То, что вырезал художник на гладкой доске и тиснул на бумаге, — прочтает человек любого языка, старый и малый, ученый и несведущий. И когда придет случай — всплывет в его памяти изображение: то любовь в виде сердца и амура, то коварство змеи, то прозорливость орла, который, летая под облаками, «зрит даже добездны». И никаких длинных речей и толкований не нужно.

Может быть, Петр Великий, во многом первый, был у нас первым и в понимании великого смысла символов как путей познания. Среди кружочков с искусными изображениями не все первобытны и наивны, многие пришли из глубины веков — и остались до наших дней, как закусившая свой хвост змея («Конец от начала происходит»), как пеликан, кормящий птенцов своим мясом («Живот в середине смерти»), незатянутый коринфский узел («Смерть едина мя развяжет») и многое множество иных известнейших символов. Что Петрову сердцу была близка такая символика, о том говорит большинство книг, изданных по его приказу и украшенных на титульных гравюрах многочисленными символическими изображениями, преимущественно клейнодами строительного и военного искусства. И если всмотреться в эти рисунки, а также в позднейшие книжные виньетки, заставки, концовки, опытный глаз не упустит влияния на них первой русской книги высокого художественного значения, конечно не самостоятельной, а целиком заимствованной у тогдашней Европы; ее голландский подлинник вышел шестью годами раньше, в 1691 году, в том же Амстердаме.

Все же эти рассужденья нужны старому книгоеду больше для того, чтобы в серьезных размышлениях успокоиться и от волнующей радости свиданья с желанной, и от горечи разлуки с нею. И сколь счастлив будет тот, в чьем жилище найдет она новый временный приют после двухсот тридцати лет блуждания по сокровищницам русских книголюбов!

*[28 июня 1933 г.]*

## XXVII

Будучи с молодых лет поклонником книжки старой и старинной, однако, присоединяюсь и ко всеобщей скорби, что новой русской книге трудно стало издаваться в свет, несмотря на день русской культуры и другие принятые меры. Единственным утешением может служить, что все необходимейшее уже раньше написано и издано, так что, порывшись на пыльных полках, можно найти для любого интереса и на каждый вкус. И сверх того, раньше выходили такие книги, где сразу объяснялись всевозможные предметы и уж только очень взыскательный человек не находил ничего по своей части; и издавала такие необходимые книги сама Академия наук, так что ошибки в них могли быть только самые маленькие.

Лично под рукой такой книгой не располагаю, но удовольствием сочту предать свету выписочки, присланные мне из города Ковно собратом по книголюбию, М.В. Добужинским, коему и приношу благодарность.

В годы 1784—1813-й иждивением императорской Академии наук вышли в Санкт-Петербурге 10 томов капитального издания «Зрелище природы и художеств с присовокуплением 490 гравированных изображений», по 49 на каждую часть. Для чтения семейного книга по назидательности незаменимая и содержания занятнейшего. Так, например, в порядке прекрасной последовательности, сообщались в ней сведения о таких предметах, как Переплетчик, Слон, Магнит, Снег, Дуб, Батавская слеза. Якорь, Сальные свечи, Обезьяна, Система мира Птолемея, Коперни-

кова и Тихобрагова, Крокодил, Огнедышащие горы, Олень Лапландский, Пирамиды, Цветы, Дождь, Календарь, Пиво, Орден Архитектуры, Манеж, Сикера, или Яблочный сок, и т.д.

Часть сведений, приведенных в «Зрелище природы и художеств», современного читателя не очень поразит, так как ему более или менее известна. Так, например, сообщение, что «рыбы суть животные, живущие в воде и плавающие с помощью перьев, которые служат им вместо ног». Или же, что «из усов кита вырезаются так называемые китовые усы; сей род рыбы мечет из себя детей живых и вскармливает их титькою». Или еще, что «Тихо Браг, датский Кавалер, выдумал систему мира, которая по тому называется Тихобраговой; умер он по причине, происшедшей от чрезмерной его стыдливости, в Праге в 1601 г.»

Более же подробно и обстоятельно узнаем о таких разнообразных предметах, как Слон, Гиена, Монета и Республика, каковые и позволю себе здесь привести.

### *Слон*

«Слон хотя и спит, как все прочие звери, однако по большей части стоя и не прислонясь ни к чему. Во время сна кладет он конец хобота своего в рот, дабы не заползла в оный какая ни есть мошка, которая тревожит его чрезвычайно. Слон имеет чрезвычайную склонность к тем, которые его кормят, врожденную любовь к обезьянам и великое отвращение от кур, тигров и крокодилов».

От себя же прибавлю: не удивительно ли устроено в мире, что малая мошка может изводить огромное животное, что случается наблюдать также и среди людей!

### *Гиена*

«К уловлению сего зверя не требуется иного оружия, кроме музыкальных инструментов, ниже других охотников, кроме му-

зыкантив. Одна песенка обыкновенного напева укрощает люто-сть этого зверя, ибо как скоро услышит Гиена голос у своей норы, тотчас подходит к ее отверстию, и тогда стараются соединить музыку с пением. Гиена же, будучи согласна сим чрезвычайно тронута, подходит к охотникам, ластится около них и дает им себя ластить; а между тем накидывают на нее петлю и нарыльник, и тогда уже вся музыка ни к чему более не служит, как к ликованию охотников о победе, над люто-стью сего зверя одержанной».

И опять прибавлю: хорошо ли так поступать, обманывая до-верие музыкальным искусством! Поют, например, из Евгения Онегина: «Куда, куда вы удалились?», одновременно держа на-готове нарыльник, что в наш просвещенный век является, по-моему, совершенно недопустимым.

### *Монета*

«Повествователь Иосиф приписывает изобретение оной Ка-ину, другие же почитают изобретателем оной Тубалкаина. По нынешнему состоянию монеты можно оную разделить на дей-ствительную, или ходячую, и на мнимую монету. Действитель-ною называют всякую ту, которая в самом деле находится, как то: цехины, червонцы, луидоры, гинеи, ефимки, рубли, импера-лы. Мнимая, или воображаемая, есть та, которая в самом деле не находится, но выдумана для облегчения счета, как то: лив-ры, франки, стерлинги, алтыны».

Обращаю внимание читателя, что о долларе совсем не упо-мянуто, так что его, как и ныне, неизвестно куда причислить: к действительным или к мнимым. Про франк же сказано прямо, что он «не находится», в чем многие и в наше время могут убедиться, пошаривши у себя в кармане.

Еще же приведу из книги весьма мудрое рассуждение о республике, напечатанное в царствование Екатерины Вто-рой.

*Республика*

«Поелику главнейший предмет установления республик есть тот, чтобы сохранить равенство между всеми членами государства и воспрепятствовать притеснению естественные человеческие вольности, а поелику каждый гражданин может также уповать, что будет когда-нибудь иметь участие в Правлении своего Отечества, то кажется, что образ правления республиканского всех справедливее. Да и в самом деле государства, коих правление было республиканское, или общественное, наиболее процветали. Однако и в республиках граждан угнетали, знатнейшие из них ужасным образом употребляли во зло вверенную им власть, и также между республиканскими гражданами случались пагубные возмущения; сей плачевный опыт довольно показывает, что и республиканское правление не может называться более всех прочих совершенным».

Сколь мудро вышеизложенное — видит каждый! Высказано же 130 лет назад, за каковой срок новых материалов по данному вопросу не прибыло. Не прав ли старый книгоед, утверждая, что в добрых старых книгах все уж высказано и современному писателю ничего не остается прибавить?

Другая обстоятельная и назидательная книга тех же времен, много раз изданная и переизданная, носит название «Зрелище вселенная». Издана была «для употребления в народных училищах» с фигурами на языках французском, немецком и российском, а встречается и с текстом латинским. Первое издание (по Геннади, год 1788, а по Сопикову, 1787) стоило 1 рубль, а позднейшее (1808) — 4 рубля. Картинки хорошей мысли, но неважного исполнения, работы иностранной. Тексты же собственной и даже стихотворной работы: гравюра, а над нею ее истолкование, как, например:

Комета.— «Где звезды видим мы, сияет и она, // Как солнце в красный день, как в ясну ночь луна».

А на картинке — раскинулся по всему небу хвост кометы, внизу же, на площади, хорошо одетые люди указуют на нее перстами.

Глад. — «Всегда спутьшествует войне свирепый глад. И пожирает труп, производящий смрад».

Сильное стихотворение! Нынче так не напишут.

Насекомое. — «Как пруги, так и червь прекрасный губят цвет, Но творческа рука произвела их в свет».

Луг. — «Жизнь смертных, как трава, подвержена косе, // Днесь полон луг цветов, наутро вянут все».

Козел. — «Имеет гнусный вид, не красен бороною, // Куда не идет он — смрад носит за собою».

И тут, как и под другими картинками, еще написано разъяснительное нравоучение, потому что ведь не для забавы печатаются картинки, а для пользы подрастающих поколений. Поэтому под козлом изьяснено:

«Коз и целого стада муж, сладострастный козел, гордясь брадою, шествует с важностью перед стадом. Однако, при всей оной важности, которую на себя приемлет, делает он, подобно отроку, козы свои скачки, кичится, ожесточается, паки оказывается смешным. Его боятся цветы, листья и древесна, коим он наносит заразу и смерть... Стихотворцы и живописцы означают нецеломудрие через Козла, на котором Простонародная Венера едущую верхом представляется».

И сентенция, сиречь поучение:

«Почто развратный любовник носит с собой балсамы, воды и всякие одеры, когда приближается он к своей Повелительнице? Или не ведает он, что козлий смрад все прочее заглушает?»

В прошедший либо в позапрошлый раз ознакомил я любезного читателя с тремя книжечками из знаменитой серии «Картинки русских нравов», издания 40-х годов, с текстами Булгарина и других, а с рисунками несравненного Василия Федоровича Тимма («Корнет, «Салопница» и «Невский пароход»). Полностью, т.е. все шесть книжек, эта серия встречается очень редко, и вот ныне сообщили мне о пятой книжке, «Находчивое поколение» Казака Луганского (В. Даля), и прислали из нее два кусочка текста. В книжке рассказывается о приключениях в России



меся Петитома (родом из Лозанны или Женевы), который не только выучился русскому языку, но впоследствии писал в стихах и прозе поучительные басни. Двумя его баснями и позволю себе закончить настоящие мои заметки.

1. Собачка и собака

Один маленький собачка с великий злость

Грыз кость.

Большой собака проходил

И маленький собачка спросил:

— Маленький собачка, зачем ты с великий злость

Грызешь кость?

Маленький собачка отвечал:

— Мне хозяин давал.

Нравоучение: следовательно, ничего не должно делать без позволения.

2. Великодушие

Один молодой козел пошел себя немножко прогуливает; вдруг навстречу ему попадался городской. Городовой, по должность свой, спросил: — Господин молодой козел, вы пьян? — Нет, — отвечал молодой козел, — я не пьян, я только немножко себя прогуливает. Городовой, по должность свой, обратился к другой прохожий.

Эта басня показывает, что один был великодушнее другого, а другой великодушнее одного.

По летнему времени, как в день жаркий, так равно и в дождик, чтение подобных произведений должно быть порекомендовано вперед современных романов, в особенности же писанных под Пруста, а потому требующих неослабного напряжения внимания и прочих умственных потуг. В то же время приведенные отрывки исполнены поучительности, так что могут с немалой пользой быть прочитаны вслух в лоне семьи и добрых знакомых, вызвав улыбку одобрения и тихой радости.

## XXVIII. ПОЛТОРА ВЕКА

Сто пятьдесят лет — много это или мало? Сто пятьдесят лет — это как раз срок, прожитый нами в благодетельном сиянии европейской культуры. Вот передо мной книжечки, помеченные 1783, 1784 и близкими годами, первые наши заправские книжки содержания философского, религиозного, нравственного, мистического, напечатанные в первых наших частных, «вольных» типографиях, увлекавшие людей полетом мысли в неведомые светлые области, в храмы познания высоких тайн; книжечки, заботливо хранившиеся в те времена и жадно искомые в наше время книголюбями.

А между тем, что такое сто пятьдесят лет? Нынешнего старого человека в детстве гладил по головке такой же старик, которому в его детстве могла свободно дать подшлепник по голому месту Екатерина Вторая, — вот и вся старина!

Полтора века тому назад молодого человека волновали книжки, какими сейчас не взволнуешь, хоть изложи их языком современности. Ждали не повести и не собрания забавных стихотворений; ждали выхода такой книги, чтобы в душу, жаждущую познания тайны, низверглась с манящих высот философическая мудрость и чтобы в малопонятном и странном, как в сладостной паутине, запуталась мысль и пронизалась священными догадками. И се звучит речь:

«Скоро — скоро — скоро бьется полунощный пульс возвращающейся Натуры! Се приближается обремененная зна-

чением сеунда, последняя от двенадцати великих часов долгого дня годового. Се вступает солнце, сей огня исполненный перст Всесильной руки, в ту точку, с которой оно, яко золотой указатель на беспредельных часах тверди, покатится в новое кругообращение времени».

Вот какие слова,— чтобы только сказать, что наступает новый год. И сразу человек чувствует, что не зря уходят дни и что на счету минуты бытия нашего в круговороте времен. А что такое «время»?

«Время! сколь страшный образ того, что мы были, есмь и будем. Движимо всегда волнующеюся душою мира, свергается оно ежегодно вниз и паки вспять, подобно приливу и отливу. А мы, мы носимся купно с ним, яко малые капли морские; наконец, извергает оно нас на мрачный берег смерти — куда ж?»

Может ли быть вопрос страшнее и сложнее? Склонился над книжкой взволнованный человек и пьет слова, впервые ему поднесенные, и ищет в них ответа на вопрос, впервые перед ним вставший:

«Ужасная мысль! куда? туда, где во множестве уже сочтенных и еще будущих столетий ни единого не находится числа, где должайшая эпоха есть только быстрый бег блистающих молний. — Либо поля Елисейские, либо все поглощающий ад, либо среднее состояние между допросом и приговором Судии. — Смейся, вольнодумец, и скрежещи, и шатайся, и сопрядай себе из ядовитых Волтеровых ниток утешение; но незадолго пред смертью воскурятся совесть твоя».

Может быть, и не напугаешь человека «тем светом», но уж об этом-то свете ему подумать непременно придется! А ведь до сей поры жил, думая, что бытие наше не имеет цели: жил себе изо дня в день, не замечая, как юность сменяется мужеством, а там — придет незамеченной и старость. А теперь невольно задумается над словами:

«Что суть летописи жизни человеческой? Детство есть бездейственный, во сне провожденный рассвет; юношество

подобно смеющейся утренней заре и смеющемся, яко чада весны; мужские лета — знойный полдень в жару кипящих страстей; потом вечер, исполненный заботы, и, наконец, страшная, все сияние мирских радостей закрывающая ночь».

Так полтора века тому назад говорил неведомый нам вдохновенный оратор, и речь его напечатана в редчайшей в наши дни книге «Магазин свободно-каменщический», в томе первом, а больше и не выходило, хотя задумано было семь томов по три части в каждом. Раздавалась книга только братьям, а остатки были сожжены, как ныне сжигаются книги на площади в Берлине. А было это в просвещенное правление Екатерины. В списке же книг, отобранных у истинного просветителя того времени Николая Ивановича Новикова, эта значится под номером первым, как наиболее вредная и опасная, хоть и изданная «с указного дозволения, в типографии И. Лопухина в 1784 году».

Кто же мог выражаться столь высоким и поэтическим слогом? Чья речь заставляла замирать сердца слушателей и многократно перечитывалась в книге? Не могут определить это ни книголюбы, ни историки екатерининского масонства. Похоже на то, что сказана речь либо в ложе «Девкальона», либо в «Светоносном Триугольнике», и скорее всего, не оратором, а мастером стула, — значит, С.И. Гамалеей или А.М. Кутузовым. Но Кутузов был человеком ученым, хорошим управителем, деловым и влиятельным, от поэтической выпренности, казалось бы, далеким; а Семен Иванович Гамалея, «божий человек», больше действовал личным очарованием, чем даром слова и письма. Так мы и не знаем, кто автор одного из замечательнейших по тому времени, по высоте и образности стиля, произведений.

И обидно, что крайняя редкость названной книги делает это произведение мало кому доступным. Тем слаще старому книгоеду ласкать рукой ее зеленый переплет, любоваться виньетом с купидонами, нежно воркующими о своих делишках, склонившись над круглым жертвенником с шестиконечной

звездой, и, наудачу книгу раскрывши, прочитать стихотворное размышление:

Покрыты мраком, развлеченны,  
 О чувства! миром ослепленны,  
 Сберитесь купно вокруг меня,  
 Мне нужно ныне знать себя.

«Знать себя» — дело непростое. А главное, по тому времени редко кому и в голову приходило заниматься таким как будто малополезным делом. Но вот появились люди почтенных фамилий, видного общественного положения, солидного образования и стали проповедовать самопознание и самосовершенство, и уж не как прежде, бичуя пороки в сатирических журналах, а языком торжественным и негодующим, грозя духовной гибелью и указуя пути спасения. Среди разных о том речей и поучений есть в вышеназванном «Магазине...» прелюбопытные строки о Любовласте, о Решеуме и о Красе.

Любовласт — родившийся от знатных родителей, воспитанный в пышности и великолепии, приобикший быть от всех поклоняемым. «Се в великолепнейшем убранстве, вздымая главу свою, шествует он гордыми шагами и мнит, что как скоро появится в собрании нашем — все падут перед ним и признают его своим предводителем». И вдруг этому Любовласту толкуют о совершенном равенстве! «Бедный и сожаления достойный Любовласт, подобно пораженному громовым ударом, выходит из святилища нашего с твердым намерением не вступать более в оное».

Решеум, по нынешним временам, был бы по меньшей мере лисансье-эс-летр, человек высокого профанского образования и в себе чрезмерно уверенный. «Решеум составляет душу всех обществ, в которых он находится. Начнет ли он говорить, все слушают его со вниманием, удивляются остроумию его, и всякое слово, из уст его испущенное, сопровождается рукоплесканием. Одним словом, Решеум есть единый нелож-

ный ценовщик всех достоинств и недостатков». И вот является такой человек, привыкший блистать и всех поучать, воображая, что только раскроет он свой рот — и все падут перед ним ниц. Но не таковы новые люди, поставившие себе целью постигнуть тайну Натуры путем самопознания и просвещения, — и самовлюбленный Решеум получает приказ «пробывать в безмолвии» и отречься от своих пустых и мнимых знаний. О, несчастный Решеум, слепой и нечувствительный, не желающий «приподнять толстое покрывало, висящее на глазах твоих»!

А вот Крас, воспитанный в роскоши и обилии, «в сладострастии и невоздержании утопающий и не терпящий никакого принуждения». Является такой Крас ко дверям людей, спасающихся в братстве вольных каменщиков, и слышит речи, ему чуждые и недоступные: «Несчастный и слез достойный юноша! Ведай, что веселие твое и радость суть единая мечта! Розами и миртами устланные постели, на которых ты возлежишь, окружен твоими Мессалинами; сладостные гласы мусикийские, усугубляющие в тебе пламя порочных страстей твоих; одним словом, все предметы, окружающие тебя и ложным своим блеском и слух и зрение твое чарующие, суть ничто иное, как огонь, пожирающий мало-помалу существо твое». Вместо мягких пуховиков предстоит ему свирепый огонь, пожирающий совесть, вместо Мессалин — злые и страшные фурии, вместо мусикийских гласов — скрежет зубов ему подобных.

Ясное дело, обычно все трое, и Любовласт, и Решеум, и Крас, немедленно заворачивали оглобли и удалялись из общества столь строгих и требовательных людей. А уж если оставались и слушались, то превращались в людей самого первого сорта.

Так веровали свободные каменщики екатерининских дней, и вера их была цельна и прекрасна. А всего прекраснее были их дела: издательства, школы, больницы, аптеки, чуткая взаимопомощь. Ими заложена основа рос-

сийской культуры, гранит которой устоял прочно в неоднократных гонениях...

Среди многих старых книжек полуторавековой ценности — как «Карманная книжка», «Братские увещания», «Хризомандер», «Апология», «Крата Репоа», всех этих детищ тайной масонской типографии, иногда выходявших и явно, — на первом месте стоит «Магазин свободно-каменщический», полный важных мыслей и мудрых увещаний и полный поэзии, которую мы разучились понимать и ценить по-настоящему.

Дни наивной веры, тотчас же перелавившейся в дела! Дни детских мудрствований, являвших истинную мудрость! Дни подлинной и многосторонней общественности, во главе с немногими, но прекрасными людьми! Никакая история нам об этих днях не расскажет так, как повествуют старые книжицы в коже и прочных цветных картонах, печатанные шрифтом крупным и явственным, с буквой «т», похожей на букву «ш», с высокими мягким и твердым знаками, еще не исчезнувшим в курсиве старинным «в», похожим на ребяческой рукой начертанный домик, с простотой и изяществом типографских украшений, с забавными виньетами из травки, купидонов и осколков колонны.

Лаская глаз любителя, стоят они рядком на книжной полке, днем дремлют, а как сойдет ночь, шепчутся о том, как было полтора века назад — и как стало теперь! Редкая из них не переменила пятерых, а то и больше владельцев, начертавших на белом листе и на титульном свои фамилии или налепивших фигурный книжный знак. Иной же книжный хозяин расписался и подробнее. Так и мой книгоедов знак, рисованный и резанный на дереве гравером Павловым, соседствует мирно с надписью гусиным пером и рыжими чернилами на книжке «О девстве» Иоанна Златоустого, книжке также редчайшей и занимательной: «Сия книга глаголемая о девстве пинегской округи карпогорской волости крестьянина якова верещагина своя собственная куплена в архангельском сыном моим васильем ве-

рещагиным мца генваря 8 дня 1811 года подписал я яков верещагин». Иным же почерком пониже прибавлено: «Своеручно», «проба пера», «Сия книга».

И читал крестьянин Яков Верещагин строгие слова Златоуста: «Девства похвалу Иудеи презирают: и недивно, яко они и самому от девы рожденному Иисусу Христу поругались: чудятся же оному Еллини, и изумляются; ибо еретических дев я никогда девами именовати не могу. Во-первых, яко они не суть чисты, не единому же мужу обречены суть»...

Зачем-нибудь да купил эту книгу в Архангельске Верещагин — сын Василий. На титульном листе изображена роза о двух бутонах, большом и малом, и печатана книга иждивением Н. Новикова и Компании в 1783 году в университетской типографии.

Если бы не жаль было чернилами портить пожелтевший лист, прибавил бы и я надпись: «Сия книга о девстве старого книгоеда своя собственная куплена мною на распродаже в зале Друо, на каковую кроме меня иного покупателя не нашлось во французском городе Париже 1933 года подписал своеручно — старый книгоед».

*[21 ноября 1933 г.]*



## XXIX. СТАРЫЕ КАЛЕНДАРИ

Для нынешнего человека переменить календарь, стенной или настольный, простой или отрывной, ничего не стоит; и нет в этом никакого события: старый в печку или в помойку — новый на стенку. Нынче календарь только для того, чтобы не забыть, в какой день заседание, а в какой звали в гости да кто именинник. А читать в календаре нечего.

Совсем иначе было раньше, и календарь был книгой важнейшей: и для постоянного занятнейшего чтения, и для нужных записей; он заменял всякую книгу и отражал человеческую жизнь во всех бытовых мелочах. В библиографической науке календари-месяцесловы — обширная и труднейшая область, которой мы здесь лучше и касаться не будем: запутаемся!

Есть календари знаменитые; среди них лучше других знают брюсовский, много раз и подробно описанный. В Париже мне удалось повидать его в самых первых изданиях, напечатанным с отличных досок, сохранившихся в достойном виде, в 47 гравированных на меди листах. Он издавался «повелением его царского величества, во гражданской типографии под надзрением его превосходительства господина генерала-лейтенанта Якова Велимовича Брюса», тщанием граверов Василия Киприянова, Нехорошевского и, вероятно, еще других. Старейшему из известных — больше 225 лет.

И есть месяцеслов, знаменитый своей малостью, тоже весь гравированный, на 62 страницах, в 256-ю долю листа, значит,

книжкой в большую почтовую марку величиной. Издан был в Петербурге в 1774 году. Этого издания сохранялось только два экземпляра, и оба у частных лиц, так что неизвестно даже, целы они сейчас или погибли.

Но это — курьезы среди множества других обычных календарей, выходивших погодно в Москве и в Петербурге, и лучшие из них — при Академии наук.

Каждый год — новая картинка! Одну эту картинку можно разглядывать каждый день по часу — и не нагладишься.

То изображена река Нева с плывущим судном, а в отдалении Адмиралтейство и Петропавловская крепость. Рамка из четырех гениев; один гений сидит у курящегося жертвенника, другой держит чашу с плодами, третий склонил колена и держит на плечах сноп и серп, четвертый парит в воздухе с корзиной цветов. И тут же в облаках — зефир дует, распучив щеки, и внизу щит, увитый цветочной гирляндой (1775).

А то сидит в фигурной рамке императрица Екатерина Вторая в образе Минервы, в одной руке длинное копье, в другой весы правосудия, а у ног ее тот самый рог изобилия, который современные наши дети принимают за рупор граммофона. И еще разная военная арматура, дующие ветры и стихи на развернутой хартии. Иной раз прибавлены еще фигуры, изображающие просвещение, и от них спешит укрыться и исчезнуть невежество в виде брадатого и крылатого существа.

Рог изобилия, парящие гении, лучи сияния, песочные часы и другие подобные символы и эмблемы на редком календаре не изображались. Но кроме заглавной, титульной картинке бывали в календарной книжке и многие другие, а из них особенно хороши рисунки времен года — календарный обычай, сохранившийся и по сию пору. Но только раньше это изображалось прекрасными, на особых листах, гравюрами, ради которых календари и покупались любителями.

Зима. — Богато убранная комната с пылающим камином, перед которым сидят два человека, курят длинные трубки, иг-

рают в шахматы и потягивают вино; а в окно видно поле, запорошенное снегом, и тот самый пушкинский крестьянин, который будто бы торжествует, обновляя путь на дровнях, — хотя дело происходит в 1728 году.

Весна. — Великолепный сад, на манер версальского, с фонтанами и стриженными деревцами, а по аллеям гуляют щеголь со щеголихой и разговаривают промежду собой.

Лето.— Идиллия крестьянская. Вовремя успели убратся с поля! Изображена деревня, окруженная лугами и нивами, и едет воз со снопами: впереди крестьянин с косой, его разодетая жена сидит верхом на лошади, на возу голый младенец и надо всем этим тучи на небе, а из туч извергается молния.

Осень. — Картинка простая, тоже сельская: кто молотит, а кто слаживает на зиму сани.

Такие рисунки были в отличном «Календаре, или Месяцеслове историческом на 1729 год», с указанием солнечных затмений, месячных рождений, полного месяца с четвертями, времен солнечного и лунного восхождения и захождения, долгоденствия и течения луны в зодиаках на каждый день. Сейчас мы на все это особого внимания не обращаем, а раньше это считалось очень важным, потому что приходилось по зодиакам и другим отметкам справляться и соображать не только предстоящую погоду, а и благоприятное время для стрижки волос и рожечного и жильного кровопусканья. В медицинских целях помещался также «рудомет» — человеческая фигура с обнаженными внутренностями, окруженная зодиакальными знаками, с проведенными от них линиями к разным частям тела и с надписями: gut, mit, bos.

А сколько еще было важных и интересных сведений в тогдашних календарях! Например: 1. Как боевые и карманные часы ставить исправно? 2. Уведомления об ожидаемых кометах и затмениях солнца и луны. 3. Состояние здоровья на целый год с астрологическими заметками. 4. Способ приготовить полезную краску из яичной скорлупы, венскими белилами называемую, изобретенную бароном Мадруци. 5. Руководство моржового промыс-

ла — и еще, конечно, подневные перечни замечательных событий предыдущего года, которые именуются «приключениями».

Ради этих приключений календари охотно покупались и некоторыми сохранялись, потому что представляли прекраснейшую хронику, весьма важную для справок.

Вот вам, например, календарь, которому исполнилось 160 лет: «Месяцеслов на лето от Рождества Христова 1794, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской империи». И в нем читаем о происшествиях двух лет предшествовавших, а именно:

1792 год. Август 22. — В Париже народ ворвался в темницы и умерщвлял всех в них заключенных, не исключая и тех самых, кои за долги в темницах содержались.

23. — Начался в Народном Совете незаконный суд над королем французским.

Декабрь 15. — Принужден был злополучный французский монарх предстать пред Народный Совет и защищался пред оным достаточнейшим образом. Число прибывших за прошедший год в С.-Петербург кораблей простиралось до 996. Браком сочеталось 1587 пар.

1793 год. Генварь 4. — В парижском Народном Совете по великому большинству голосов объявлен был Людовик XVI виновным противу вольности народа.

5—6. — Осудил Народный Совет по большинству 11 токмо голосов короля к смерти.

10. — Предан был Людовик XVI, король французский, в Париже, на прежде называемой площади Людовика XV, к неизгладимому стыду всех тех, кои в сем варварском деянии участвовали, всенародно смерти. Сей добродетельный монарх после столь многих оказанных противу его дерзновенных наглостей, после многих возобновлявшихся убийственных нападений, по полугодичном заключении, учинился наконец, на 38 году от своего рождения, жертвою злобы, каковой при подобных обстоятельствах примера в бытописании не находится.

Февраль 14. — Разграбил народ в Париже все лавки.

В следующем календаре, на 1795 год, читаем и продолжение сих достопамятнейших происшествий:

1793 год. Сентябрь 28. — Народный Совет определил город Лион, противившийся признать республиканское правление во Франции, разорить до основания.

Октябрь 5. — Королева французская Мария Антония, на 38 году своего рождения, по приказанию так называемого судилища перемены, предана смерти на том же месте, где лишился несчастный ее супруг своей жизни, сносив долгое время всевозможные ругательства, каковые всякому чувствительному сердцу наводят ужас и омерзение.

Декабрь 7. — Посажены в Швеции под стражу многие знатные особы, по причине открытого заговора.

1794 год. Февраль 15. — Посажены в Неаполе под стражу многие знатные особы, по причине благополучно открытого там заговора.

Май 11. — В Британском департаменте по причине открывшегося заговора отменено на время постановление о праве каждого британского гражданина.

27. — Открыт в Турине заговор.

Июнь 4. — Последовало страшное извержение горы Везувия.

Но лишь про чужие страны рассказывалось в календарях со всей откровенностью — про свою страну только отрадное: об отменном великолепии обручения высочеств, о занятии российскими войсками крепости Каменец-Подольский, о присоединении к российским владениям «сопредельной части Польши, прежнего России достояния». И нет в календарях упоминания ни об ущемлении Радищева, ни о заключении в Шлиссельбургскую крепость Новикова. Может быть, потому и говорили, что «все врут календари».

В московских календарях исторических сведений сообщалось меньше, но зато при каждом месяце печатались «рассуждения,

наставления и увещания», почерпнутые из текстов Св.Писания, стихами и прозою, причем оставлялись четыре порожные страницы для записей. На этих страницах поденно предлагалось записывать «о добрых и худых делах наших» на каждый день, а за месяц составлять сводку дел «для рассмотрения и изыскания причин, по которым мы сделали доброе или худое дело». Последние страницы предназначались для отметки дней рождения и именин родни, друзей и благодетелей, а также для краткой записи всяких семейных и местных событий. Вспомните, как автор недописанной истории села Горюхина нашел на чердаке собрание старых календарей с записями всяких родовых событий за целых пятьдесят пять лет; Пушкин и года указывает: «...от 1744 до 1799». Однако, по всей видимости, это были календари санктпетербургские, издания Академии наук, которые — для любителей — тоже переплетались пополам с чистой бумагой и, будучи исписаны главой семьи, делались ценным в той семье сокровищем. И можно было в них, как в «Истории села Горюхина», прочитывать:

«4 мая. Снег. Тришка за грубость бит.

6-е — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит...

9-е — дождь и снег. Тришка бит по погоде...»

Стоил такой календарь: без переплета — 1 руб.; во французском переплете — 130 коп.; на белой бумаге — 120 коп.; в переплете — 150 коп.

А чтобы закончить, приведем обстоятельное и высоколитературное объяснение примет о погоде из старинного месящеслова на 1730 год. И приметы правильные и очень приятно прочитывать:

«Когда воздух легок становится, тогда комары высоко летать не могут, но бывают всегда близ земли или над водою, а понеже ластовицы тех комаров видят, того ради они зело низко летают, и так, что иногда крыльями до воды достают, и, когда оные ластовицы купаются, тогда дождь или мрачная погода будут последовать (понеже воздух легчайший бывает), противным

образом когда ластовицы летают высоко, то тяжкий воздух знаменует последовательно изрядную погоду.

Случается такожде и в ясные дни, что вода, которая на воздухе аки невидимый некий пар содержится, совокупляется и опускается на землю, отчего бывает, что многие сухие вещи сыреют, например соль, такожде сажа на сковороде, которую последовательно огонь не так скоро поядати может, нежели когда бы она не была сыра, того ради, когда оные сковороды краснеют; то не без пути деревенские мужики сказывают имущее быти погоды пременение».

Так обстоятельно русский человек не говорит, и сразу чувствуется многоученый немец, который, по указу Академии наук, сей календарь на пользу русским неучам составлял. То ли это был профессор Мейер, в 1729 году умерший, то ли его заместитель профессор Георг Вольфганг Крафт, после него весьма потрудившийся над нашим просвещением. Сим труженикам немецким — почтительная наша благодарность.

*[12 января 1934 г.]*

# Воспоминания







## ПЛАН ПРЕДИСЛОВИЯ

Рано или поздно придется начать большую книгу воспоминаний. Для этого нужно окончательно убедиться, что будущего не существует и что есть серьезный риск опоздать и не дописать двенадцатого тома. И еще для этого необходимо чрезвычайно удобное кресло, не слишком мягкое, но и не очень твердое, чтобы не усыплять памяти, но и не придавать событиям и людям не принадлежавшего им значения. Нужно, вероятно, и еще многое, чего сейчас нет ни в душе, ни в жизненной обстановке: полное умиротворение, сравнительное довольство и партнер для шахматной партии по вечерам. И еще — забыл! — будет нужен самоотверженный и все равно близкий к гибели издатель.

Предисловия к книгам обычно пишутся позже основного текста, когда страницы подсчитаны, перенумерованы и переплетены в цветную обложку с криво написанным авторской рукой заголовком: «Дела и дни», «Мои встречи» или «Что видел я на жизненном пути», — хотя последнее слишком длинно. Но меня соблазняет именно предисловие, ради которого я готов написать будущие двенадцать томов. Не в пример прочим предисловиям, мое будет без малейшего налета печали, бодрым и радостно приемлющим все этапы жизни и все события. Сейчас я набрасываю план такого редкостного по тону предисловия.

И как оно может не быть радостным, когда я видел большой мир и жил в его истории! Это началось в русской провинции, где зарождалось и выстаивалось все, что было в нашей жизни и истории поистине замечательного. В столицы привозился иностранный башмак, не по мерке и не по подъему, а в губерниях и уездах плелись лапти и шились яловые сапоги крепости необычайной и как раз по ноге любому. Именно здесь производилось национальное приспособление заграничных идей. В русских сказках иногда солдат ездит на санях в Париж на предмет обольщения королевской дочери, но обычно потом ее бросает и подыскивает себе Матрену помягче и поскладнее. Все здоровое и цельное в нашей литературе глубоко провинциально: Гоголь, Толстой, даже Пушкин, такой же ненастоящий петербуржец, как и ненастоящий арап. Русская культура, это — Звенигород, Волга, Урал и Сибирь, с небольшой примесью южных кавунов. И вот в детстве я много раз видал ледоход на Каме, пограничный столб «Европа — Азия», беглых арестантов в безграничных хвойных лесах, выгонку дегтя и пихтового масла, — и это было залогом жизненного счастья. На большой реке у меня была совсем крохотная плоскодонка, и десяти лет, в столько же минут, с одним кормовым веслом я пересекал полутораверстную ширину реки, чтобы высадиться на том берегу, где было много ядовитых змей и начиналось неизвестное. Можно ли после этого бояться пространств, людей и революций?

Затем появилась архитектура: Василий Блаженный, Университет на Моховой, приземистые особнячки на Сивцевом Вражке. Нужно непременно пройти через уважение к прошлому и к науке, чтобы оценить настоящее и природу. Очаровательно знать, что по римскому гражданскому праву собственнику земли принадлежал и столб воздуха над его участком! Когда таких знаний накопилось достаточно для диплома, и был построен из них карточный домик, — мы решили его разрушить, чтобы выстроить огромный замок, прочный и вечный.

До сих пор не могу понять, зачем нам понадобилось создавать именно вечное земное блаженство и, притом, непременно для всех, за исключением самих себя, потому что собой нужно было пожертвовать, — в этом вся красота подвига! Но все-таки радостно и приятно, что на меньшее мы не соглашались. Попутно с выполнением этой высокой задачи мы не забывали, что в жизни весна бывает только раз, и успевали общественное соединять с личным. Это кончилось прекрасным бунтом, за которым, к счастью для нас, не последовало победы: иначе мы, победители, превратились бы в жестоких чиновников нового режима совершенной свободы, как это позже случилось с другими. И тогда об этих днях не пришлось бы вспоминать, как о счастливейших. Одним словом — девятьсот пятый год.

Дальше, из ласковой нянюшки, жизнь делается заботливой и просвещенной воспитательницей, — не даром в представлении хорошего русского человека, и не только интеллигента, тюрьма не позорит, а возвышает достоинство личности. Она способствует выработке цельного мирозерцания, она уничтожает вреднейшую иллюзию совместимости права и свободы, она закаляет в разумной личности здоровый и бодрый скептицизм, без которого нельзя прожить жизнь оптимистом. Тюрьмам при двух режимах я обязан тем, что никогда не позволял себе одному из них отдавать предпочтение перед другим, не украшал прошлого розами прощения и забвения и не оказывал настоящему незаслуженного им признания.

Потом распахнулся мир, сначала показавшийся необычайно обширным. Этому ошибочному представлению, впрочем, простительному, способствует разнообразие архитектурных стилей и иноземных языков; должно пройти некоторое время, пока глаз привыкнет мудро путать готику с ренессансом и Колизей с недавно разрушенной церковкой, а ухо — носовую певучесть Франции с ужасным английским говором. Затем огромность мира постепенно суживается до размера вечернего выпуска

политической газеты, одинакового на всех языках; и только иногда какой-нибудь непонятный Парагвай поражает своим полным несходством с непонятным Уругваем.

И все-таки должен признать, что это большое счастье — перевидать много стран и множество людей, как мне довелось увидеть их еще до великой войны и победной русской революции. Смею уверить, что даже в Европе много очень красивых местностей, северных и южных, в частности, норвежские фьорды и два залива: Каторский и Неаполитанский; но я не хотел бы обижать ни Шварцвальда, ни Тироля, ни Савойи, ни болгарских розовых долин.

Что касается людей, то счастливые обстоятельства (как все складывалось счастливо в моей жизни) помогли мне перевидать и узнать в личных встречах и беседах множество самых замечательных, особенно в годы разъездного газетного корреспондентства, начать большую книгу воспоминаний: королей, министров, парламентариев, послов, главнокомандующих, ученых и вождей повстанцев. Но я не встретил никого замечательнее одной старухи, с которой беседовал в горах восточной итальянской Ривьеры. Ей было за восемьдесят лет, и она всю жизнь прожила в своем крохотном горном местечке и ни разу не удосужилась побывать в Генуе, до которой всего тридцать километров и в последние годы ходит автобус. Старуха угостила меня вином собственного виноградника, и мы обстоятельно поговорили, наблюдая, как бесстрашно солнце погружается в море. Я не мог сообщить ей ничего любопытного, она же, с итальянской словоохотливостью и откровенностью, поведала мне, что жизнь прожила прекрасно, полезно и очень счастливо и что хотела бы прожить еще столько же.

Из времен последующих — возвращение на родину через шесть воюющих и нейтральных стран — в памяти моей особенно ярко запечатлелись два выражения: французское, имевшееся и на других языках, «*taisez — vous, méfiez — vous*», висевшее в трамвайных вагонах, и русское — «темная безответственная сила», на-

мекавшее на диктатуру мужика с окладистой бородой и белыми глазами. Печальный Париж, уверенный Лондон и благоденствовавшие северные страны как-то позабылись, — а вот это помнится. «Méfiez — vous» стало всеобщим благородным лозунгом вперед на двадцать лет, а «темная безответственная сила» так и осталась жить в разных образах по разным странам.

За десять лет привыкнув к деловому укладу европейской жизни, даже в военное время, и, в особенности, к «taisez — vous», я был вначале оглушен российским многоглаголаньем, впрочем, только в двух наших столицах. Даже вспомнить страшно, сколько слов извергалось в стране равнинной, не украшенной водопадами. По-видимому, правы некоторые историки, полагающие, что именно эта болезнь явилась причиной неисполнения некоторых надежд предшествовавшего периода. Но когда, испугавшись столиц, я совершил первую после долгого отсутствия поездку по провинциальной России, по самой любимой — Ярославль, Вологда, Вятка, Пермь, Уфа, Самара, Казань, Нижний, — и по самой настоящей, — вот тут впервые я был счастлив понять самое главное, что с той поры и до настоящего времени отличает Россию от остального мира: ее народу смертельно и раз навсегда надоело все, что до той поры с ним было. Надоело все, и надоели все, и враги, и благодетели: толкучка идей, патриотические речи, грабеж, популярные брошюры по сельскому хозяйству, законы, беззаконие, тьма, просвещение, безбожие и мощи угодников, — одним словом, все сразу и раз навсегда. Так надоедают слепни в жару и мухи осенью, — но положительной политической программы на таком настроении никак не построишь. Поэтому было крайне любопытно увидеть, чем это окончится, и мы, конечно, увидели. Многие таким концом не довольны, мне же он представляется разумным и, главное, естественным: начинать лучше с самого начала, а не с сомнительной середины. Впрочем, здесь уж вопрос личных оценок и веры в будущее, с которой, как сказано в первых строках предисловия, я не расстался.

Последние шесть томов воспоминаний, поскольку материал не исчерпан в другой форме, можно посвятить 18-му и 19-му годам, — годам смерти одного и рождения другого человека; дальнейшее — развитие быта, хотя оно почему-то и называется революционным. Но революция кончилась, пора готовить новую. Что касается до нового периода жизни заграничной, также почти десятилетнего, то для него достаточно в книге полстранички.

Таков приблизительно план книги воспоминаний, то есть не самой книги, а предисловия к ней, в котором нужно же отметить основные этапы. К тому же еще неизвестно, будет ли самая книга написана. Дух умиротворения придаст изложению событий оттенок благополучия и счастья.

Мир вообще прекрасен, и в его статике, и в его полете в тартарары. Но в тартарары летит только временное, заменяясь таким же временным и непрочным. Большая удача, когда человеку довелось принять личное участие в полете, — описания не могут передать всей силы впечатлений. Поэтому нет смысла ни проклинать прошлое, ни мечтать о его возврате, и нельзя не радоваться, что родился именно в таком-то году, а не двадцатью годами раньше или позже. С другой стороны, я вполне понимаю и старуху, никогда не бывавшую в Генуе, так как может ли быть кругозор обширнее и чудеснее, чем вид с горы на море? Морщины воды, внизу принимаемых за огромные волны, совсем не видно, а лазурь Средиземного моря несказуемо прекрасна! Труден выбор между этими двумя отношениями к жизни, людям и событиям, и я предпочел бы, живя на горе, иногда спускаться в Геную в шумный рыночный день, чтобы нагуляться там до головной боли и надолго закаяться. Именно так, по собственному побуждению и при любезной помощи со стороны, и пришлось жить, накапливая воспоминания для еще не начатой книги.

А впрочем, стоит ли писать самую книгу воспоминаний? Не лучше ли ограничиться предисловием или даже планом предисловия?

## РЕКИ

Завернув с оживленной улицы в коротенький пустой переулок, вдруг наткнулся на струю свежести, впутавшуюся в волосы и закатившуюся за воротник. И тотчас на лбу разгладилась морщина, в которой обычно прячутся и сидят с упорством самые невеселые мысли: их тоже смыло воздухом. Действительно, в конце переулок отсекался набережной. Я подошел к низкой каменной ограде и, поставив локти, голову устроил удобнее. По благоустроенной, то есть обращенной в каменную канаву, реке плыл пароход и кланялся трубами под каждым мостом. Ни ила, ни песку, ни травинки, ни тростника, ни загиба, ни затона, ни стрекозы, ни плывущей ветки, ни всплеска рыбы. И все-таки это — река. И все-таки — немножко простора для глаз и для дыхания, встреча неба с водой.

На заре культуры люди знали, что нельзя жить без близости реки. Благодаря этому даже большой современный город носит на брюхе светлую опояску. Есть своя быстрая речка у горного жителя; без реки не обойдется и поселок приморский. Река должна быть в каждой биографии; без нее серо детство и не благословенна молодость; старость без нее наступает раньше, и еще раньше мысль делается сухой и не свободной. В преддверии любой веры должен быть свой Иордан. Море приносит человеку больше соленых слез, чем счастья, — светлые гении рождаются при слиянии рек в широком и спокойном водном просторе. Многие нежные цветы не выдержива-



ют морского климата, — но все пышно цветут при поливке речной водой.

Хотелось бы окунуться во все красивейшие и полноводнейшие реки мира и пройти по их берегам, пусть даже топким и населенным гадами. Только такое крещение и такая прогулка вернут человеку светлое лицо и зазеленят в его сердце настоящую, а не вымученную надежду на то, что нависшие скалы не обрушатся и не разверзнется земля, превратив наше бытие в пустыню — до полного отдыха земли и до новых засевов.

Европейские реки забавны и симпатичны, российские прекрасны, сибирские велики. И у каждой реки свое лицо.

Темза — от поверхности до дна англичанка, солидная, практичная, хорошо одетая, тяжеловатая. В будни работает, по праздникам отдыхает. Любит туманы, не способна на неблагодарумие, зажиточна и скучновата. Сена — образец легкомыслия и малой опрятности, и это, главным образом, от ее свободолюбия; где можно, она старается быть пейзажкой, одеваться в зелень, живописничать, забавляться рыбой. Даже в Париже она не всегда сдержанна и причиняет хлопоты, — но немедленно подчиняется окрику, будучи от природы законопослушной. Парус ей почти неведом, ее лодки нелепы и бессмысленны, как все, что делается во Франции из дерева, — за исключением фигурной мебели. Хотя она — ручеек, но не прочь казаться стихией. От старых времен осталась способность ее берегов смотреться в воду. Шпре — не река, а недоумение; никто никогда ее не видал, хотя берлинцы слышали ее название. За отсутствием реки в Берлине, немцам дарован Рейн, превосходно обсаженный городками и протекающий между рядами цветных открыток. Настоящее призвание Рейна — вино, но ему приходится служить по части пограничной, и это — единственный чиновник Германии, не поражающий грубостью. В Рейне водятся осетры, и почти нет коробок из-под сардин, так как пикникующее население

приучено бросать их в специальные мусорные корзинки. Вообще же Рейн — настоящая река, бесспорная, заслуживающая лучшей участи. И еще есть в Европе река Дунай, о которой нельзя говорить иначе, как серьезно и почтительно: она использована тремя столицами и семью государствами, что лишает ее цельности и самостоятельного значения; ее прошлое печально, будущее неясно. Об Эльбе и Висле не принято говорить, да, в сущности, и нечего сказать, если не заниматься историей. Не говорят и о Западной Двине, так как Рига стоит не столько на ней, сколько на море. Зато нельзя не говорить о Тибре, вода которого напоминает борщ и не менее сложна по составу. Итальянцы, за исключением живущих по течению Арно, считают Тибр рекой величественной (их сбивает история). И действительно — его нигде нельзя перешагнуть, хотя не стоит переплывать; но, как все в Италии, он по-своему живописен, смугл и хочет быть современным. Говорят, что некогда в нем жил ерш; сейчас не попадаются на удочку даже макароны. Тибр давно был бы уничтожен декретом, если бы без него была мыслима затибрская сторона, — Трастевере, — без которой, в свою очередь, немислим Рим.

На этом заканчивается список рек юмористических и начинается федеративная республика.

Кама впадает в Каспийское море. В Каму близ Казани впадает Волга. Но так как у Волги, протекавшей по более цивилизованным губерниям, оказалось больше нужных связей в учено-географическом мире, то ее именем названо и течение Камы от впадения Волги до Астрахани.

По крайней мере, для нас, патриотов Прикамья, в этом не было никогда сомнения. Каким образом полноводнейшая река, берущая начало в отрогах Уральского хребта, может быть притоком реки сравнительно мелководной, родившейся в болотах Тверской губернии? При этом несправедливая версия уменьшает длину величайшей реки Европы.

Но водный патриотизм хорош тем, что он облакает своей любовью каждую светлую речку, большую или малую, и каждую ее струйку. Кама, Волга, Ока, Белая, как и Днепр, и Урал, и Вятка, и Москва-река, и Дёма, и тысяча (а не сотня) других, — одинаково милы русскому сердцу. И десятки тысяч (а не тысячи) озер и прудов. С улыбкой снисхожденья сибиряк поставит во главе нескончаемого списка, — по праву и по склонности, — Лену, Обь, Енисей, Амур.

И тут память рисует правый — гористый и левый — луговой берега, острова, перекааты, затоны, голубые и зелёные дали, превращающие большой приречный город в случайную картинку, которой могло бы и не быть, но которая тоже радует взор. Связь с миром существ сухопутных дают плавучие пристани, где толпятся жители тутошние, пришедшие показать себя и посмотреть людей проезжих, непоседливых, выдавших виды. Весной на проезжий народ нападают девочки с цветами, летом бабы с плетушками лесной земляники, малины, смородины, к осени — с брусникой, грибами, в Сибири — желтой морошкой. Местные плюшки и калачики, берестяные бураки и бурачки, казанское мыло, расписные татарские туфли и сафьяновые сапожки, шарфы, деревянные игрушки, кустарные чудеса, мужичок из еловых шишек, медведь и кузнец, матрешка, филигрань, чугунный чертик, слюдяная пепельница, книжечка из каменной соли со старообрядческим крестом. На больших пристанях берег завален горами ящиков, чайных цибиков, под Астраханью — зелеными холмами арбузов. Все это погружает на пароходы народ босяцкий, грузчики с мягкими стегаными спинами, с большим крюком на короткой веревке, которым они взмахивают без промаха, подставляя спину под кладь. Пахнет водой, свежим деревом, навозом и ситным хлебом. Разом — богатство и беднота, культура и непролазная грязь.

Только большая река дает понятие о настоящей свободе и просторе, какого никогда не даст море, отрывающее от живой жизни и земли. Этот простор так захватывает, что делается

понятным и не кажется смешным гигантское преувеличение Гоголя, влюбленного в свою реку: «Редкая птица долетит до середины Днепра», — так сказать о птицах, перелетающих океаны! «Без меры в длину, без конца в ширину», — потому что нет меры для мысли, скользящей свободно по водной глади. Мало кто знает верховья Камы, за Пермью, прямо к северу. Там сближаются лесистые берега, и кажется, что река внедряется в суровую бесконечность, что время останавливается и возврата нет. Стальная вода чистоты изумительной кажется бездонной, и мир навсегда уходит в первобытность. Там каждый шаг вглубь — тайна, и ее не хочется разгадывать, она ничего не скажет уму, но держит пленником своей красоты и великой важности. А если выйдешь на берег, чтобы заблудиться среди первой сотни пихт и елей, и если пробьешь среди них неведомую дорогу, то она когда-нибудь, скоро или не скоро (потому что там времени нет), выведет к затерянному в лесах озеру, окруженному топью, никогда ничего не выдававшему, кроме неба и ближних деревьев, еще ни разу не оцарапанному лодкой; оно полно рыбой, не знавшей ни сети, ни крючка, ни человеческой жестокости, — как не знал ее и житель тех мест, добродушный медведь.

В реки великие впадают малые речки и речонки, их соперницы по красоте и мистике: луговые, лесные, горные. Еще много таких, берега которых не рублены и не заселены, вода которых на всем протяжении не видала мельницы и запруды. По берегам забудки и болотные купавки, на воде тростник, в заводях водяные лилии. Мир комаров, мошкар и хищных стрекоз, то стоящих в воздухе с мертвой неподвижностью, то мелькающих стрелой. Мир птичек, высматривающих рыбу, музыкальных лягушек, водяных крыс. Мир спящих на припеке щук, нарисованных черточками на отмели пескариков, гуляющих голавлей, выходящих на разбой шересперов, под корягой уютящихся налимов и беззаботных серебряных уклек. Густо населенный живой мир, о каком и отдаленного представления

не имеют европейские речки в самых глухих углах. Потому что им легендарной покажется щука в малой речонке, с трудом повернувшая в берегах, или рыболовный крючок, на котором попавший голавлик тут же схвачен окунем, на ходу проглоченным другим жадным хищником, или целое стадо раков, выползших на свет костра, или сом, утянувший селезня за перепончатую лапу.

И вот если пойти вниз по течению этой речушки, путаясь в прибрежных кустах, отдыхая под ивами и осокорями, опять пробираясь по кочкам, крутя, как крутит и вьется река, без внимания минуя селенья, — доберешься до широкого разлива, где она впадает в другую, а та в еще новую, шире и привольней, с новым именем и иной красой берегов, с лодками и плотами, если дело по весне, — пока, наконец, призрачный путь, на который не хватит пары болотных сапогов, не выведет к речному морю, вроде того, на котором стоит Нижний Новгород. Тут воду покроеет нефть, и идти дальше не потянет. Тут проще издали любоваться беляной, самым изумительным по красоте и художественности деревянным созданием человеческих рук. Водяной замок из свежепиленого и струганого дерева, из золотого смоляного кружева, плавучая фантазия, с которой, — если подплыть к ней ближе в лодке, — можно услышать отборнейшую российскую брань. Все это, конечно, было, и возможно, что кружевных замков больше нет, а если и есть, то отборное русское слово заменилось готовыми плакатами. Но это и неважно: в памяти живет прежнее. Вода в реке течет и меняется, и для каждого времени своя поэзия. Кто-нибудь напишет о нынешнем с той же любовью, с какой мы пишем о минувшем. В Каме перестанут садиться на мель многопудовые белуги, — как вымерли мамонты и пещерные медведи. В Волгу, загрязненную и замасленную, перестанут смотреться Жигули. Народятся певцы гранитных берегов, — воспел же Пушкин петербургскую Неву! Поют же современники славу каналам и искусственным водным системам! Не спилены

ли по течению Белой столетние буки, стволы которых когда-то я измерял детскими объятиями? Осталось ли что-нибудь от заповедного леса на берегу реки Москвы близ деревни Барвихи, где не было прохода и лежали стволы выше человеческого роста в поперечнике? Водятся ли по-прежнему змеи на отлогом берегу Камы под Пермью, куда уносила меня легкая лодочка? Стоят ли огромные коряги в самом устье аксаковской Дёмы, на которых ночью мы зажигали костры? Жив ли еще судак, порвавший струнный поводок на безымянной речке в Тульской губернии? И заколол ли, наконец, мой приятель-фабричный шереспера в солнечный день прямо с берега самодельной острогой под местечком Пушкино на реке Уче? И так же ли прекрасна и девственна на Урале река Чусовая? «Тихий Дон» не стал ли только литературой? Не найдено ли, наконец, подлинное устье Лены в безграничном лабиринте течений и островов?

В реке порабощенной и приобщенной к цивилизации первыми вымирают русалки, за ними водяные лилии, за ними ясность струй. Их заменяют моторной лодкой, береговым гранитом и перекидными мостами. В роли бескорыстного созерцателя в дальнейшем выступает фотограф-любитель. Речка незавоеванная фотографии не поддается: мешает ее подлинная одежда.

С чего мы начали? С того, что река должна быть в каждой биографии и что в преддверии каждой веры есть свой Иордан. Так оно и остается, — только история жизней проще штампуется, а Иорданы становятся водопроводами. Так кажется поклоннику живой природы, — но он может и ошибаться.

## КАМА

Уходящие годы — как столбы верстовые с цифровыми отметинами: знаешь, сколько верст пройдено, да не точно знаешь, сколько еще пройдет. А, право, хотелось бы идти еще долго и не слишком опираться на палочку.

За спиной багаж не тяжел. Все равно всего с собой не унесешь. Это только сначала кажется, что необходимо тащить, надрываясь, весь груз пережитого; после же привычный путник догадывается, что никакой в том необходимости нет, что груз тревожащих воспоминаний — лишняя обуза, что довольно — на прокорм души — сохранить в сумке за плечами только самое ценное, самое такое, с чем расстаться уж никак нельзя, без чего дальний путь немил и не приветлив.

Когда тикают часы, а шумы за окном затихают, — улица ли в городе, ветер ли в деревне, — мысль, утомленная дневными делами и разговорами, ищет спокойного течения, чтобы ни веслами больше не взмахивать, ни рулем не править, чтобы сама несла сонная сила реки мимо берегов надежных, знакомых и крепко памятных.

В такие часы, тихие и незлобные, я не помню и не хочу вспоминать ни разных стран, в которых бывал и живал, ни красочных чудес, ни жизненных бурь, которыми и мою лодчонку носило и ударяло о скалы, ни малых радостей, выпавших на долю нашего поколения, ни всех этих страхов за свою страну и свой народ, понятных русскому с не совсем очерствевшим серд-

цем. И обиды, и горечи, и надежды — пусть подождут утреннего делового часа, того тоже нужного часа, когда человек, выпив чашку кофе, делается чиновником, рабочим, публицистом, мужем жены, отцом детей, гражданином.

В тихие часы отдыха дум и пробуждения теней — легче и лучше вспоминается детство, и образы его яснее и чище.

Потому хорошо о нем вспоминать, — про себя или на бумаге, — что не нужно для этого особенных слов, восклицаний, иронии, выгнутых и расцветченных фраз. Как просты и отчетливы были его картины, — так просто и помнится оно с ласковостью, и только с легким смущением взрослого человека. Но даже и это смущение как-то приятно. И вообще — спасибо детству за то, что оно было.

В меня стреляли из пушки, а я отстреливался из револьвера-бульдожки. Происходило это на берегах Камы.

В этом месте Кама шириной в версту с четвертью; левый берег гористый, правый отлогий. Вода цвета стали, к берегам зеленее, к середине молочнее.

Мы, прикамские, относимся к Волге с ласковой снисходительностью: приток, как всякий другой; течет себе от Твери до Казани; Кама же — от Урала до Каспия. Кама — матушка, Волга — дочь. Ни камских глубин, ни могучести камской нет у обмелевшей, глинистой, пропахнувшей нефтью Волги. Чтобы сделать Волгу красивой, понадобились живописные берега; в Каме же красива сама вода и расписной рамки ей не требуется. По Волге едет человек, посмеиваясь, обычно под хмельком. На Каме же все серьезны, она сама — хмель. Вода камская пахнет водой и живой белужиной, а не вяленой воблой и не жильем Человеческим, — как водой, а не портом пахнет открытый океан.

Лодочка моя называлась «Ася» — в честь Аси тургеневской. Сам вывел это имя синей краской по серому фону на носовой части борта. Лодочка-плюскодонка, вертлявая и легкая, как листок серебристого тополя. Можно плыть на ней и вдво-



ем, но тогда рулевой должен сесть на дно и вытянуть ноги, иначе лодка может перевернуться. Легкие весла устойчиво надеются на уключины, и ручки рассчитаны так, чтобы кулак о кулак не ударялся. Лавочка одна, для гребца, да еще низкое сиденье на корме, нужное, когда гонишь лодку на одном кормовом весле. Руля же на таких лодочках не полагается.

На этом тополевом листочке, с одним кормовым веслом в руках, переплывал я Каму еще мальчиком, от берега до берега, минут в восемь, в десять.

Сам плавать умел плохо, а на лодке в любую волну чувствовал себя, как дома. Часто бывало, что беляки забрасывали в лодку свой гребешок, и тогда наливали ее водой до половины. Но со мной всегда было ведерышко для вычерпывания воды, а досок на дне не было, — только крепкий упор для ног. Лодочка перекачивается с волны на волну, любая ее подбрасывает, только вот гребешки иногда хлопают через низкий борт. Всегда весело, лишь держи равновесие и не теряйся. С берега смотрят и думают: ну, пропал пловец! А пловец с одной волны скатился — а на другой вынырнул, немного бочком, чтобы не зарылся нос.

Был у нас обычай: как завидишь пароход — плыть ему наперерез и задержать лодку у самых колес, под углом в полпрямого. Пароход просвистит, пробежит мимо, а волнами крутыми и ровными начнет подымать на сажень и швырять в пропасть. Такого удовольствия я никогда не упускал. При этом садишься на корму с одним веслом в руке, чтобы нос поднялся как можно выше: и тогда волна поднимает лодку торчком, как палочку, а залить не может.

Рекордным же номером я считал — проплыть на веслах, что есть силы, между могучим камским грузовым пароходом и огромной баржей, которую он тянет на предлинном канате, — так проплыть, чтобы не удариться случайно о канат: тогда — гибель! Тут дорого каждое мгновение, глазомер должен быть точен, рука верна; пароход же идет по самой середине реки, где дна не измеришь.

Много раз порывался я на такой речной подвиг, — и отступал в страхе. Но один раз решился. И когда, гребя быстро и сильно по высоким пароходным валам, увидел я надвинувшуюся на меня громаду баржи, острым носом рассекавшей волны, — помню, тут отхлынула от лица к сердцу вся кровь, и внезапно высох я, как щепочка. Однако пролетел между Сциллой и Харибдой, ныряя из пропасти в пропасть и ужасаясь своей малости. Пролетев же, успел увидеть, как на пароходе и на барже столпились у борта люди и спешно отвязывали спасательные круги; а с кормы баржи матрос зычно послал мне хорошее слово, эхом отскочившее от далекого крутого берега.

Почему стреляли в меня из пушки? А потому, что на том, на городском берегу — от города четыре версты, был пушечный завод. Пробуя новые орудия, стреляли не снарядами (да снарядов, кажется, тогда еще и не было, в девяностые годы!), а ядрами.

Стреляли через Каму, в леса, где на несколько верст вглубь были сшиблены деревья и вырыты ядрами глубокие рвы. Ходить в тех местах не полагалось, да и некому было, — разве по воскресеньям, когда завод молчал, а через реку малыми паучками плыли в лодках люди из города и с завода на закамскую погулянку.

Мне же нравилось сидеть на том берегу, против пробы пушечного завода, и слушать, как сотрясается воздух от летящего над моей головой ядра и как долго потом идет гул по лесу. «Ася» смирененько ждала у берега, упершись носом в песок.

Бывали недолеты: ядро попадало в воду, и подымался фонтан брызг и пара. Ни пушек, ни людей за далью не видно на том берегу: только по дыму от залпов знаешь, откуда стреляют. Было однажды, что ядро ударилось прямо в берег, где я перед тем сидел и где отдыхала моя «Ася». Это тоже жутко и приятно: было о чем рассказать товарищам-гимназистам. Но обычно ядра пролетали высоко и искали в лесу красный дощаный щит, прикрепленный повыше верхушек деревьев.

Река гудела, воздух дрожал, и настроение рождалось военное. Вынув из кармана револьвер-бульдожку, куцей, шестипульный, без дула, я участвовал в сражении, отстреливаясь от невидимого врага. Пули хлюпали в воду, а звук от выстрела казался ничтожным, как звук хлопушки, которою бьют на стене мух.

Но все-таки приятно, что не просто торчишь перед пушками, как непрошенная мишень, а отстреливаешься. Много позже мне пришлось, тоже в одиночестве, выдержать на открытом месте шальной шрапнельный обстрел с турецких батарей (на Балканах, в 12-м году, под Адрианополем), — и тогда в руках моих был только карандаш для записи впечатлений. А какие же впечатления? Жутко и глупо — вот и все. И я вспомнил тогда, как в детские годы весело было отстреливаться, и очень пожалел, что нет со мной бульдожки.

Наляжешь на весла — и опять выплыла «Ася» на середину великой нашей реки, на зеркальную крышу бездонной пропасти. Тут хорошо лечь на дно лодки и плыть по течению, смотря в небо; там тоже легкими лодочками плывут в лазури белые барашки. Хорошо и задремать; если нагонит пароход, то стук его колес гулко отдастся в днище лодочки и разбудит вовремя, чтобы взять весло и отплыть в сторону. Лежа на дне, руки перекинешь через борт, чтобы ласкала пальцы камская вода.

А в ветреную погоду я брал с собой большой дождевой зонт о четырнадцати спицах: лучше всякого паруса. С ним «Ася» летела стрелой и против течения и наперерез Каме. Часто так катался, пока, однажды, ветер не вырвал у меня из рук тяжелый зонтик и не унес его парашютом. Тут уж весла не помогли: едва догнал, как зонт, повернувшись кверху ручкой, погрузился в воду; только я его и видел. Пришлось сделать из старой простыни прямой парус; с таким расчетом, чтобы при сильном порыве ветра можно было отпускать его трепаться по воздуху свободно, а то мигом перевернет лодку. С косым парусом ходить плоскодонка не могла. На самодель-

ном своем парусе плавал я вверх по Каме до зеленого острова, верстах в пяти от города. На островке же, где жилья не было, только густой кустарник да птичьи гнезда, — чувствовал я себя Робинзоном, хотя и без Пятницы.

И Майн Рида, и Купера, и Жюль Верна я, конечно, читал, и с немалым увлечением. Но бежать в Америку, охотиться на бизонов никогда не приходило мне в голову. Мальчику столичному — ну, это понятно. А у нас тут же, рядом, за окраиной города, начинались свои девственные леса, да еще была в придачу могучая река; нам Америка была ни к чему, — своя Америка под боком. Гораздо больше я увлекался русской детской книжкой, автора которой не помню, а называлась которая «Робинзон в русском лесу».

Как два мальчика убежали в лес — и поздно раскаялись: хотели вернуться, да заплутались, и прожили в лесу три-четыре года. Снаряжаясь, захватили с собой по ружью, тележку с плотничьими инструментами, немного съестных припасов. И как они, живя в лесу, научились все делать сами, — и жилище построили, и вырастили из зернышка поле ржи, и кузницу соорудили, и выделывали стекло, и не только оборонялись от волков, но сумели обратить оленей в домашних животных. Все им пришлось изобретать и открывать самим, с малыми знаниями, — и все нужное нашлось для них в изумительном русском лесу.

Какая увлекательная книжка! Как хотелось бы разыскать ее теперь и снова прочитать.

Ей я благодарен тем, что полюбил дело плотницкое, столярное и слесарное, что умею владеть рубанком, стамеской, пилой и не боюсь жизни: не прокормит литература — буду чинить замки, водопроводы, перебивать мебель и проводить электрические звонки. С малых лет у меня был набор инструментов, и мой отец, судья по профессии, плотник, слесарь, рыболов, кустарь, садовод по призванию, учил меня покрывать лаком ручки и ножки кресел, направлять пилу, делать

полочку, выращивать лимон в теплой комнате, за стенами которой трещал мороз в сорок градусов по Реомюру. И башмак починить — не велика штука; и калоши залить; и уху сварю не хуже средней кухарки. А уж рыбы для нее наловить — первая специальность (только не в Сене!). Такими склонностями и талантами похвастаться приятно; а как они пригодились в России в девятнадцатом году! Какую чудесную сухостойную сосну, на три сажени дров, спилил и вывез я в Погоно-Лосином острове, какие замки привинчивал к дверям амбарчика в воровское время, какие фабриковал масляные лампы, когда не было керосину и не действовало электричество. И сколько перепортил зажигалок и карманных часов на своем веку.

Нет, Америка не прельщала нас, у которых рядом были леса, переходившие в тайгу по ту сторону Урала.

Кама, леса прикамские... Пароходы, лодочки, водяная гладь... Белужина, стерлядь кольчиком, пьяноборские раки... И глазу, и легким, и сердцу, и желудку.

Встречные пароходы свистками пожимают друг другу руки. Мой увозит меня в Москву, из гимназистов в студенты. На каникулы — везет обратно. Потом — в последний раз. Потом моря, чужие страны, возврат ненадолго (был и на Каме), — и опять чужие моря, чужие жалкие лесочки, дрянные европейские речушки (Тибры, Темзы, Сены, Шпре), всему пять сантимов цена, — вернулась бы Кама хоть ценой половины уже считанных лет!

Там, в верховьях, есть холодные и чистые озера, где судак никогда не видал рыболовной дорожки и смело цапает оловянную ложку с кое-как припаянным грубым крючком. Там щука, схватив наживку, долго возит рыбака вместе с лодкой по водному простору, и кто из них победит — неизвестно. Мелюзгу, на которую здесь зарятся охотничьи общества (и журнальчики издают об этом), там мальчишка черпает худым решетом, зайдя в воду до полбрюха. Там запасливая и прощающая судьба накопила для будущего России, для по-

правки и богатства, соляные, угольные, железные, золотые клады, горы топазов, аметистов, малахита, многоцветной яшмы, костей мамонта, — всего, чего требует ненасытная человеческая душа. Сундук наследства, в котором только верхние тряпки расшарены и расшвырены. И там, еще подалее, найдутся Бог их знает как попавшие в леса поселки людей, до которых вряд ли успел дойти слух об Японской войне и которым ни глаголица, ни кириллица, к счастью их большому, не знакомы.

Прикамье, Урал, неисхоженный север...

Телом здесь — мыслью там. С легких бы мостков — вниз головой; или бы в плоскодонке на кормовом весле; или бы в ближний лес по рыжики; или бы с удочкой в камышах, где гоняет щука уклеек. На родном бы берегу, — пусть с другого берега палят в тебя пушки хоть шрапнелью.

Но далек *тот берег*. Как детство, как «Ася», как рябь нехитрых воспоминаний.

## ЕГОШИХА

Речка Егошиха — ничтожнее всех речек в мире.

Она зарождается в лесном овражке, верстах в двадцати от Камы, виляет светлой струйкой по низине между лесом и деревней Загарье, а в Каму впадает совсем не почётно: где-то на фабричных задворках, где никто не считает ее речкой, а все думают, что это — фабричный сток.

В речке Егошихе, от истока до устья, жило десятка два ук-леек, пяток плотичек и один усатый соменок, обычно стоявший в неглубоком омутке на среднем течении.

Единственный мост через Егошиху, длиной в полторы сажени, перекинут был близ деревни Загарье. Через мост ходили пешком за грибами и ягодами; а если нужно было ехать, то ехали не по мосту, а вброд, и колесо телеги до половины уходило в воду.

На низине, под деревней, у самой речки росла смородина: черная, немного терпкая, красная, от которой розовеют пальцы, и белая, поспевающая раньше других. Худенький мальчик Вася, в синей с горошинами рубашке, подпоясанный белым шнурочком, предпринял огромное путешествие: из дому, через огород, по склону холма, вниз по тропинке — к речке Егошихе по смородину. Васе было пять лет. Белокурые волосы стрижены в кружок. Лоб папин, глаза мамины, нос пока свой собственный, не очень значительный, но забавный.

С пригорка Вася спускался осторожно и молча. Иногда приседал на корточки и питался ароматной полевой клубникой,

предпочитая не очень зрелую, потому что она кисленькая и освежающая, и есть ее не советуют в соображении животика.

По ту сторону речки стоял высокий хвойный лес. Начинаясь здесь, а уходил за большие сотни верст неизвестно куда — очень далеко. По опушке леса бродили, а вглубь редко кто и заглядывал: нечего там делать. Все, что нужно, найдется и на первой версте: и дрова, и ягоды, и грибы, и зайцы, и волки, и медведь.

Вася спускался по смородину отсюда, а с той стороны, из лесу, тоже с горки, спускался к речке напиться воды беглый арестант, рваный, усталый, обросший волосами. За спиной нес тяжкую жизнь, подлинно каторжную, а не только по названию: преступление, тюрьмы, этапы, голод, страх, сотню пройденных верст, очень многое, чего за него не выдумаешь и не расскажешь.

Ни Вася его не видел, ни он Васи. Вася маленький, в траве и кустарнике — как василек; а арестант (по-нашему, по-тамошнему — варнак) не столько шел, сколько полз, чтобы не увидели его из деревни. И только у самой Егошихи, когда арестант хотел нагнуться к воде, а Вася сорвать кисточку смородины, — встретились на двух берегах — в двух саженьях друг от дружки.

Только одну минуту смотрели друг на друга: мальчик на варнака, варнак на мальчика. Вася — разинув рот, а тот — широко открыв опухшие глаза. Маленький — и большой; беленький — и черный; чистенький — и весь грязный и засаленный.

И только Вася приготовился бежать, — как варнак, сгорбившись, тоже повернул оглобли, сжался, принизился и побежал к лесу.

Бежал варнак широкими скачками, приплюснув на голове шапку. Вася же бежал, помогая себе руками, плотно топя ножками по тропинке и молча, замерев от страха.

Васе казалось, что варнак за ним гонится, хотя он и видел, что тот побежал к лесу. Варнак же спешил в глубь леса, чтобы мужики не успели сделать на него облаву, если мальчонок расскажет, что видел на речке беглого арестанта.



Конечно, Вася рассказал маме, подробно, захлебываясь от ужаса и восторга: такое пережил! Варнак свое проклятье поведал елке, пихте и зверью: напиться захотелось, а тут принесла нелегкая мальчонку. Теперь, не пимши, шагай в самую глубь и сиди там, пока будут искать. Раньше, чем через неделю, нечего и думать подойти к жилому месту, чтобы промыслить себе какую ни на есть одежонку или хоть рубаху со штанами. В арестантском в город не явишься, — а убежал варнак прямо с пути, из партии, которую гнали по Сибирскому тракту. И полголовы обрито — знак, что убийца.

Вася рассказал маме, которая подумала:

— Как опасно жить с детьми в деревне; а в городе им вредно летом.

И задумалась о хлопотливости семейной жизни. Мама была молодая.

У варнака тоже была семья, только далеко, в Тульской губернии. Была жена и вот такой же мальчонка. Бог их знает, что с ними случилось.

На варнака была сделана облава, так как мужики, узнав, проговорились. Дошло до урядника, и их же погнали шарить по лесу с топорами за поясом, а иные с вилами. Однако никого не нашли — и не хотелось. Так, для обычая, по приказу. На ночь же бабы стали выставлять на крыльцо горшки с гречневой кашей, — чтобы варнак, если зайдет в деревню, поел и убрался миром, никакого зла не сделавши.

Шли годы и прошли года.

Беглого арестанта позже все же поймали; в общей сложности он погулял на воле ну, скажем, месяца четыре, вряд ли больше, и все по лесам, впроголодь, впрохолодь, в полусон, в вечном страхе, что поймают и окончится такая прекрасная жизнь на свободе. Поймав, его заковали, заново побрили полголовы и отправили на каторгу; во второй раз убежать не довелось.

На каторге он, туго шевеля отупевшей памятью, думал о своей тульской деревне, о жене и сынишке. Сын его давно вырос, но каторжник вспоминал о нем, как о маленьком. И в памяти своей он спутал его с мальчонкой, которого встретил на речке, — белокурым Васей в синей рубашке с белыми горошинами и белым шнурочком вместо пояса. Так о нем всегда и думал: узенькая речка, к ней тропинка от деревни, а на тропинке, в мелком кустарнике, малыш тянется к смородине. Будто бы это и есть его сын. С ним он порой говорил, поглаживая по шелковой головке:

— Эх, паря, далеко твой тятка. Никогда ты его не увидишь.

У Васи же встреча на речке Егошихе с арестантом врезалась в память прочно, навсегда, как на белой доске выжженная картина.

Сначала арестант был для него как бы зверем: вышел из лесу медведь и пошел навстречу. После, когда стал Вася думать не одними глазами, а и всей головой, — медведь стал человеком. Почему человек живет в лесу? Почему такой большой испугался его, малыша? И почему его ловят?

— Мама, почему его ловят?

— Он арестант, Вася, он из тюрьмы убежал.

Все могут ходить свободно, а арестанту нельзя. Людей сажают в тюрьму за преступление. Арестанты — дурные люди.

— Мама, дурные люди все сидят в тюрьме?

Мама не такая, чтобы обманывать.

— Нет, Вася, есть и на воле дурные люди.

Непонятно. Которых же садят, а которых нет? И еще непонятно, почему в деревнях выставляют ночью на крыльцо горшок с кашей для беглых.

— Мама, почему?

— Ну, жалеют их. Чтобы они поели.

Ох, как это сложно! Дурных жалеют. И их же ловят, чтобы опять посадить. Злой убийца боится маленького мальчишка.

Воля, тюрьма, преступление, человек, который ловит человека, и боится его, и жалеет его, и в тюрьму садит, и кормит кашей...

Шли годы, Вася подрастал, Вася вырос, — и все было больше мыслей, странных и путаных, и хватило их ему на всю жизнь.

Светлой ленточкой между лесом и деревней вьется и сейчас речка Егошиха; может быть, цел и прежний мост, — а то новый такой же перекинули для пешеходов; а на телеге все вброд ездят.

В неглубоком омутке шевелит усами соменок, а уклеики ловят на поверхности намочившую крылышки муху. И смородина белеет, краснеет и чернеет ягодами.

Вот тут, полее моста, вышла встреча арестанта с Васей. Одному оставила для памяти и утешения образ белокурого мальчика, будто бы сынишки, а другому задала на всю жизнь урок мысли. Для иного человека все это просто и понятно, а для другого — всегдашняя трудная дума.

В наших краях, в Прикамье, на отрогах Урала, речушки светлы, леса богаты и безграничны, зверья без счета, дети белокуры, люди задумчивы, строги и жалостливы.

У нас там прекрасная, долгая весна, и лето прекрасное, и осень, а зима долгая, холодная и прекрасная. Все по-особенному, не пустяшно, а богато: цветы идут ни за что, пихта стелет широкие лапы, много лиственницы и есть кедр. Кама широкая, вода в ней зеленая, глубокая, берега в лесах. В тех лесах живут Пилы и Сысойки, и, как прежде, так и посейчас, как будто ничего не случилось, забивают еловый кол в беспокойных покойников. Они же жалеют несчастеньких варнаков и выставляют для них ночью горшок гречневой каши: чтобы поели и ушли с миром, зла не причинивши.

## СЕСТРА

Мое первое воспоминание о любимой сестре соединено с преступлением и наказанием.

Я совершил преступление, и должно быть тяжкое, хотя я его и не помню. Только в совершенно крайних случаях неповиновения и каприза мать моя прибегала к высшей мере наказания: к чулану. Даже странно — чем мог я заслужить такую кару.

Насколько помню себя, я не был в детстве ни большим шалуном, ни озорником, ни революционером; эти черты развились только в зрелом возрасте. Был худеньким, белесоватым, способным и чувствительным мальчиком; любил то же, что люблю и сейчас: красную смородину, книжки и ласку.

Самым сильным и преступным переживанием моего пятилетнего возраста была игра в бабки на дворе, особенно первый крупный проигрыш — сразу десяти гнезд и битка, что стоило не меньше трех копеек. Не за эту ли игорную страсть посадила меня мама в чулан? Если да, — то вот лишнее подтверждение бесполезности исправительных наказаний: я на всю жизнь остался и останусь азартным игроком; мало того — считаю азарт благороднейшей страстью, возвышающей человеческую душу.

Одним словом — мама посадила меня в чулан. Чулан был отличный, теплый, просторный, только темный. В нем стоял большой сундук, на котором было можно сидеть, а на сунду-

ке одеяло, чтобы сидеть было мягче. А чтобы не было страшно, со мной посадили Олю, мою старшую сестру, — ей было тогда уже лет тринадцать. Мы сидели с ней на сундуке и плакали.

Я плакал от обиды, а не от страха. Взрослые люди всегда несправедливы, даже отцы и матери, даже лучшие из отцов и матерей. Если я виноват — накажите, но не оскорбляйте. Чулан же считался величайшим позором и оскорблением.

Никогда в жизни я не стоял в углу. Когда в гимназии, во втором классе, глупый учитель хотел меня поставить — я почувствовал, что сердце у меня сжалось, побледнел, вышел из класса, не слушая окрика, надел пальто и ушел из гимназии; я вернулся в гимназию только через несколько дней, когда мать, переговорив с директором, получила обещание, что никогда никто не позволит себе применить ко мне подобное наказание. Таким я был с самых ранних детских лет.

Чулан дома был, конечно, меньшим оскорблением (карала рука родная!), чем позже — попытка глупого учителя, но все же тяжелым и непереносимым. Поэтому я ревел во весь голос, чтобы этот единственный доступный мне способ протеста был известен всему дому.

Сестра же плакала, кажется, потому, что ей в чулане было страшно (она боялась темноты), а главное — непонятно, почему она должна делить со мной наказание. А может быть, ей было жалко меня, а утешить не было никакой возможности: я рвался и бил по сундуку башмаками.

Думаю, что именно тогда родились между нами близость и взаимное понимание, позже спаявшие нас крепкой и нерушимой дружбой.

Сестра моя была очень красивой — или, может быть, мне такой казалась. Она была бела, высока, черноволоса. А глаза черные, с каким-то особым, необыкновенным красным искристым отливом. Над глазами тонкие дуги бровей, и от этого лицо ее было открытым и вопрошающим. Удивительно приветливое лицо — только губы крупноваты и слишком ярки; в

те времена это бросалось в глаза, так как женщины порядочной семьи еще не пакостили губ жирной красной грязью. Волосы прямые, гладко зачесанные назад, где связывались в тугой узел. Сестра казалась и была здоровой и крепкой женщиной.

Она вышла замуж очень рано — в год окончания гимназии, по семнадцатой весне. Мне только что пошел девятый год, когда у нас в доме стал часто бывать красивый белокурый инженер, лет тридцати пяти, обруселый швед, с отличным положением и достаточным состоянием. Для провинциального города — жених исключительный, тем более, что он только что бросил службу на приуральском заводе и собирался начать свое дело в Москве. Все это я, мальчик, знал из разговоров старших и пересуд прислуги. В моих глазах швед был человек необыкновенный уже одним тем, что швед; и я немедленно в него влюбился, и притом искренно, очаровавшись им самим, а не замечательными его подарками — ружьем и набором отличных столярных инструментов. Впрочем, раз любила его любимая сестра — как же мог не полюбить его и я?

Шли приготовления к свадьбе, и это было интересно. По вечерам жених сестры часто у нас ужинал, а когда меня отправляли спать, — из столовой доносились смех и разговоры. И еще помню, как однажды в комнату, где я спал, пришла сестра с женихом, как они сели на стулья против моей постели и будто бы смотрели на меня. Если бы смотрели — заметили бы, что я проснулся и все вижу, — и как он обнял сестру, и как она встала и поцеловала его в лоб. Вообще я видел, что им не сидится покойно и что сестра от него и отстраняется, а сама, вероятно, довольна. Так как мною они не занимались, то я, посмотрев, действительно заснул очень крепко.

Потом была свадьба, но в общем сумбуре тех дней я плохо ее помню. Золотую монету в туфлю сестры клал я, и я же ехал впереди с иконой; но дальше помню только по рассказам, что на

розовый шелк первым вступил он — Оля нарочно задержалась. И затем долго мы, брат, сестры и я, напевали: «Гряди, гряди, голубица моя»; вся наша семья была певучей — всегда что-нибудь мурлыкали.

Сначала молодые уехали, потом скоро вернулись и поселились у нас во флигеле, куда поставили большой рояль; в Москву решили переселиться только через год, когда дело там будет основано и пущено в ход. Оле с нами, с семьей, расставаться не хотелось, она была еще совсем девочкой, сейчас из-под родительского крыла. Мама учила ее хозяйству и даже уступила ей на время нашу кухарку Савельевну, умевшую снимать с зайца семь шкурок и подавать его под свекольным соусом. Она и пломбир умела готовить, а уж про пельмени, национальное наше блюдо, и говорить излишне. Муж же сестры был страстным охотником и погостить в наших краях подольше ему нравилось.

О том, что такое «наши края», я бы как-нибудь с удовольствием рассказал особо, — про Каму, про леса, про удивительную нашу природу. Или, еще лучше, встретивши нашего, тамошнего, человека — поговорил бы с ним обо всем этом часок-другой, без лишних свидетелей, без южных людей, которые ничего этого не знают и не понимают. Очень обидно мне, что в коротком и связном рассказе нельзя, как-то не принято делать большие отступления, длинные описания природы; жалко это, потому что нет для меня ничего дороже и приятнее разговоров про наши приуральские края.

Одним словом, имея в семье такого охотника, не раз ели мы оленину и однажды, помню, медвежью ногу. Ружей и рогов в кабинете было без числа, да еще сколько было отправлено в ящиках в Москву.

Туда, в Москву, муж сестры ездил часто, хотя зимой это было сложным путешествием, так как прямого железнодорожного пути не было, а приходилось ехать через Екатеринбург, из Европы — в Азию, а потом опять в Европу, дважды

перевалив Уральский хребет. Летом проще — по Каме и Волге до Нижнего. Когда муж уезжал в Москву, сестра приходила ночевать к нам и спала на большой постели с матерью, а отец мой у себя в кабинете, на диване. Я спал в комнате рядом со спальней и по ночам слышал, как мать и сестра долго говорят вполголоса; это мама учила Олю жить.

Особенно много шептались они перед тем, как я стал дядей; к этому дню, памятного мне тревогой и торжественностью, муж Оли, бывший в отъезде, приехал по телеграмме. Он не один волновался: я волновался не меньше. Стать дядей в девять лет — не менее важно, чем стать отцом в тридцать пять.

Как это происходит, я не знал, но точно знал, что вот сегодня это должно случиться, что во флигель ходить нельзя, хотя мама там все время, туда же вызвали доктора Виноградова, туда же ушла вся наша прислуга. Знал еще, что отец будет обедать в клубе, а нам чего-нибудь дадут холодного, вероятно, вчерашней телятины и компоту.

Точно помню, как я в одиночестве пытался протянуть время, развешивая на коврике над постелью монтекристо, лобзик для выпиливания и столярные инструменты. Готовясь стать дядей, я приводил в порядок свою комнату, придавая ей взрослый вид. Кроме того, учился подписывать свое имя с росчерком и солидно ходить по комнате, держа руки за спиной.

Действительно, в этот день к вечеру я стал дядей. Мне сказала это Савельевна, забежавшая и поздравившая меня с рождением племянника. Потом сестра уехала в Москву, и мои воспоминания о ней переносятся сразу на годы студенчества.

Они жили в небольшом двухэтажном особняке, рядом с фабрикой, где целый день стучал мотор. За огромным двором был сад, сильно запущенный, богатый смородиной и малиной. Улица тихая, а для дальних прогулок был к услугам Сокольничий парк.



Детей было двое — мальчик и девочка, и занималась ими главным образом няня, которую звали по имени и отчеству, так как она перешла к сестре из очень почтенного и сиятельного дома, умела разговаривать и обедала хотя и в кухне, но отдельно, с салфеткой и на особых тарелках для каждого блюда.

К тому времени вышла замуж и другая моя сестра и тоже жила в Москве, так что мне, студенту, было, где пообедать, а в случае длительного безденежья — и пожить. У каждой из сестер была для меня комната, и если бы не жажда полной свободы и самостоятельности, — я мог бы оставаться в их семьях; но я предпочитал жить на Бронной, бедствовать, и лишь изредка отправлялся на кормежку к сестрам — на неделю, редко на месяц, когда совсем уже нечем было платить за комнату. Откормившись и отдохнув — опять пускался в плаванье по забавному студенческому житейскому морю.

Младшая сестра жила очень счастливо. Женщина добрая, наивная и простодушная, она отлично приспособилась к тому укладу жизни, который был создан ее мужем, человеком уже немолодым, лысым, тоже простодушным, приветливым, работающим и страстно в нее влюбленным. Он был маленьким фабрикантом, из рижских немцев, говорил по-русски со смешным акцентом, хотя всю жизнь с малых лет прожил в Москве на Садовой улице. Было много вышитых салфеточек, свадебное серебро, часы с кукушкой, библиотека немецких и русских классиков, дочка, собачка, вечерний чай с самоваром, пиво на леднике, тетя Эмма, бабушка Августа Карловна, отличный жирный стол и ни малейшей зависти к людям. Да и завидовать было некому и нечему: не было недостатка в довольстве и взаимном счастье. Я у сестры отдыхал душой, начинал зевать сейчас же после ужина, рано засыпал и поздно просыпался, не торопясь на лекции. Кофе сестра приносила мне в постель и говорила:

— Лей больше сливок, тебе нужно поправляться.

Жить у младшей сестры было так хорошо и уютно, что на вторую неделю у меня, как у Счастливецва в «Лесе», появлялась неотвязная мысль:

— «А не повеситься ли?»

Еще через неделю я укладывал свой чемоданчик, закутывал в газету главную свою движимость — керосиновую лампу — и переселялся в Гирши, в Палашы, в Романовку, в комнатешку с клопами, грязноподолой хозяйкой и беспокойными соседями.

Из буржуазного довольства и благополучия — прямо в царство свободы, богемы, недоедания. Разумеется, все мое белье оказывалось перештопанным заботливыми руками сестры.

Совсем иначе сложилась жизнь сестры старшей, Оли, к которой я также попадал иногда на отдых от житейских недоумоганий. Хотя она жила гораздо богаче, но ни радости, ни довольства в доме ее не чувствовалось. Не было главного — не было семьи. Сын ее, уже гимназист, обедал в гимназии, маленькой дочурке не ставили к обеду высокого стула: ее кормила в детской няня.

Когда на фабрике раздавался короткий гудок, прислуга приносила суп, мы с сестрой спускались в столовую, а через минуту приходил инженер, муж сестры, целовал ее в лоб, подавал мне руку, садился за свой прибор, положив справа кучку корреспонденции и газет, наливал себе и мне по маленькой рюмочке, полулюбезно-полунебрежно спрашивал: «Ну, как, скоро ли будут студенты бунтовать?» — и затем воцарялось молчание.

Мы с сестрой никогда при нем не разговаривали, ему было не о чем беседовать с нами. Сладкое приносила няня, неодобрительно смотрела на сестру, подобострастно на инженера, после чего, забрав распечатанные за обедом письма, он удалялся вздремнуть на полчаса в свой огромный, полный книг, приборов и охотничьих трофеев кабинет, — святилище, где он проводил все свободное время и где всегда спал. В этот кабинет даже сестра заходила редко.

Не было семьи у женщины с отличным сердцем и любящей матери. Был муж, были дети, был дом, было хозяйство — и не было семьи.

Я не знаю, как и когда случилось, что стала одинокой мать детей и хозяйка дома. Я застал уже этот холодок отчуждения и ту странную тишину в доме, когда все прислушиваются и никто не окликает другого через комнаты. Шла жизнь, как заведенные часы, и как часы — могла в любую минуту остановиться из-за порчи малого колесика.

Оля любила своих детей и пользовалась их обожанием. Но это обожание было молчаливым, точно дети понимали, что им нельзя проявлять свою любовь к матери открыто, что они должны быть нейтральными. Отец обращался с детьми с особой, присущей ему вежливостью, никогда не шутил, в каждое слово свое вкладывал воспитательное и образовательное значение. Мать старалась быть им товарищем, участником их интересов и игр. Но стены холодного дома строго следили, чтобы не было в доме ни чрезмерной ласки, ни шутливого беспутства, — ничего, что не входило бы в систему воспитания, выдержанную и преднамеренную. Кривая улыбка инженера и неодобрительный взгляд няни пресекали и шалость, и излишек чувствительности.

В доме, в огромном кабинете, жил бог и царь. Его бодрствование, его сон, его настроение духа сообщались стенам, и эти стены отдавали приказ о бодрствовании, о тишине, об умеренном веселье, о часах и минутах обеда, приемов, прогулок, работы и отдыха.

Но в этом маленьком государстве жила — в напрасном звании хозяйки — очень молодая и очень непокорная душа, соблюдавшая все эти законы, но внутренне сгоравшая в бунтарстве. Только она знала, что бог, царь и законодатель имеет два существа, одно — выдержанное и степенное, другое — маленькое и лживое, живущее на стороне и только для себя. За годы жизни Оля знала мужа насквозь, со всей его интимной жизнью сухого

эгоиста, позволявшего себе вне дома все то, что строго осуждалось в стенах дома точными и безжалостными сентенциями или молчаливой кривой улыбкой. Поняв — отошла от него, оставаясь ради детей, но сердцем уже очень далеко и в полном духовном одиночестве.

Она была очень молода, Оля, и очень независима душою. Но в те времена, теперь уже далекие, отделенные от нас вечностью, уделом женщины и матери было жить при муже, хотя бы это значило — больше не жить. Она отвоевала себе право не отдавать никому отчета в своей жизни вне дома, — но скрывать ей было нечего, и нечем жизнь заполнить, потому что создана она была для семьи, и светская жизнь ее не тянула.

Мы были дружны — я, безусый студентик, не увлеченный наукой и игравший в разочарованность, и она, которой все завидовали, и которая могла завидовать всем. В холодном доме мы не могли вести долгих бесед, да Оля и не любила жаловаться на судьбу. Но понимали мы друг друга с полуслова. Я любил в ней скрытый огонь, она нуждалась в моем раннем, может быть, и напускнутом равнодушии к людям и вещам.

Дружба наша выражалась странно. Иногда мы ласкались друг к другу, и тогда инженер криво и немного брезгливо хмурился; няня смотрела неодобрительно, точно мы — заговорщики и преступники противу нравственности. Порой увлекались музыкой, которую оба плохо знали и сильно чувствовали. Оля играла, я подпевал ей своим никудышным голосом. Ей нравилось, когда я перебирал клавиши рояля, обязательно прижав ногой правую педаль и фантазируя, совершенно беспомощный сыграть что-нибудь по нотам. Затем мы приступали к постройке волшебных замков: уезжали вдвоем в невероятные страны, населяли их призрачным бытием и думали, кого мы пригласили бы туда делить наше одиночество; но таковых не оказывалось. Тогда мы отправлялись в прекрасный и не призрачный Сокольничий парк, близ которого жили, и там бродили, выкрики-

вая вздор и пугая встречных своим возбужденным видом. Скучать вдвоем вошло у нас в привычку. В разговорах никогда не касались инженера, но часто обсуждали характеры и будущее Олиных детей, моих племянников; в сущности, я сам был еще мальчиком, да и сестру трудно было назвать взрослой; но мы умели быть серьезнее стариков в наших практических беседах.

Так тянулся день, пока не наступало наше лучшее время — ужин вдвоем. Инженер каждый вечер уезжал в Москву (они жили на окраине). Поужинав, мы усаживались за маленький столик и играли в карты. Оба мы были азартны до самозабвения, типичные и беспардонные игроки. Если кто-нибудь к нам приезжал — почти всегда с ночевкой — мы играли в винт и преферанс. Вдвоем играли в скучнейшую из игр — шестьдесят шесть, но играли так, как нормальные люди не играют. Сдавая карты, беря взятки, мы произносили бессмысленные слова, говорили на каком-то собственном сумбурном жаргоне, угрожали друг другу, давали клятвы и лихорадочно ждали полосы счастья. Играли всегда на деньги, которых у меня не было и которые сестре не были нужны; и все же волновались при проигрыше и ликовали, выиграв рубль. Играли мы настолько ровно и так много, что не приходилось почти расплачиваться, да и не это нас занимало. Мы записывали результат, чтобы продолжать игру на другой день.

Часу в первом ночи возвращался инженер и, не заглянув к нам, уходил к себе. На момент его возвращения мы остывали и сидели смущенно. Когда же наверху щелкал ключ его кабинета, игра разгоралась.

Мы играли ночи напролет. Отлично понимали, что это — безумие и бессмыслица, но в этом и был соблазн. Если бы не были братом и сестрой, мы были бы, вероятно, страстными любовниками. Теперь мы только отрицали мир и уходили в свой собственный, искусственно заполненный нелепостью и азартом. Мы вполне заслуживали в эти часы глубокое пре-

зрение инженера и няньки. Растрепанные и бледные от волнения, мы быстрым механическим движением сдавали и разбирали карты, неустанно произнося условную чепуху. Часы мелькали, но нам не было до них дела. Иногда ночью просыпался голод, знакомый всем картежникам, и тогда сестра тихо проникала в кухню, отыскивала остатки ужина, и мы спешно ели, не переставая играть и жалея о затраченных на малый перерыв минутах. Я пил пиво и помню, как пролитые на пол капли привлекали маленькое стадо черных тараканов, которых никак не могли вывести в этом старом доме. Тараканы шевелили усами и с изумлением смотрели на нас — но нам было некогда ими заниматься. Мы сдавали, ходили, отмечали, бормотали слова и не замечали времени.

Случалось, что в доме начинали просыпаться, а мы все еще не могли бросить игры. Первой вставала няня и шлепала туфлями мимо нашей притворенной двери; тогда наша бессвязная речь переходила в шепот. Но прислуга уже привыкла к нашему ночному беспутству; мы боялись только, чтобы не застали нас дети, главное, Петя, сын сестры, рано уезжавший в гимназию. Заслышав шаги наверху, мы спешно собирали карты и — если было лето — через балконную дверь убегали в сад, в запущенную его часть, где был круглый зеленый столик и скамейка. Там еще недолго продолжалась игра, недолго, потому что мог зайти сюда кто-нибудь из рабочих фабрики, бывшей рядом. И притом свежий воздух нас трезвил, и тогда сказывалось крайнее ночное утомление. Нужно было только дождаться гудка и начала работ; инженер уходил на фабрику, а мы, смущенно улыбаясь, с опухшими глазами, прокрадывались обратно в дом и расходились по своим комнатам. Во сне нам мерещились карты и самые небывалые комбинации. Вставали к обеду усталыми, вялыми, давая про себя слово не проводить больше таких бессмысленных ночей, удерживать друг друга и быть серьезными. После обеда я садился за курс лекций, сестра занималась шитьем, и мы мало разговаривали.

К вечеру оживлялись, ужинали с аппетитом и садились сыграть «только час», самое большое «до двенадцати»; но что стоит слово азартных игроков!

— Давай обсудим!

Этой фразой начиналось иногда наше похмелье. Действительно, я был не крепок здоровьем, а сестра, которая была на семь лет меня старше, лучше меня понимала, что нужно создать в жизни настоящий интерес, что без этого мы пропадем незаметно и нечаянно.

Мы обсуждали. Я признавался, что юридические науки меня не увлекают, что настоящая моя дорога — литература. Сестра говорила, что время, свободное от домашних забот, она могла бы употребить с пользой и интересом, что ее влечет к жизни самостоятельной, хотя бы материально, что она чувствует в себе большие способности и силы. Возможно, что мы друг другу мешаем. Лучше будет, если я вернусь на Бронную в студенческую среду, а она — ну хоть поступит на архитектурные курсы, недавно открытые для женщин, или серьезно займется музыкой, или, наконец, изучит какое-нибудь ремесло, потому что все может случиться в жизни. Или, может быть...

И скоро разговор, деловой и серьезный, переходил в фантастику. Я совершал маленькое турне по Европе, запасался впечатлениями, знакомился с движением европейской мысли, слушал тех профессоров, которых хотел, и дышал временно воздухом свободы. Сестра делалась художницей, устраивала выставку своих картин под мужским, непременно мужским псевдонимом, имела собственную студию, где и у меня была комната для занятий, выступала в концертах, строила дома. Мой первый роман, начатый в Европе и законченный в Москве, имел немалый успех. Сестра прославилась постройкой здания нового Большого Театра, Биржи и Обсерватории, не считая нескольких образцовых жилых домов, с семейными квартирами, каждая из двух самостоятельных половин — мужа и жены, с отдельными входами. Я мог бы, конечно, и

жениться, но не слишком рано. Мир мы завоевали бы вдвоем, идя рука об руку, помогая друг другу.

Но иногда разговоры наши имели и последствия. С приближением экзаменов я и впрямь переселялся в Латинский квартал Москвы или в одну из студенческих трущоб на окраине. Изредка, под праздник, навещая сестру, я заставлял ее за роялем, за тяжкими и бесконечными упражнениями, усталою и довольною. А однажды ноты сменились чертежами, — сестра действительно поступила на архитектурные курсы.

В характере ее было много настойчивости и выдержки. Так, например, она никогда не позволяла себе уныния или нервности при своих детях. Время от времени она подтягивала дом, углублялась в хозяйство и даже подчиняла себе няню, заставляя ее исполнять в точности свои распоряжения. Она умела быть — когда требовалось — любезной и внимательной к гостям, своим и мужа, устраивала образцовые приемы, поражала вкусом своих туалетов и изысканностью стола. Инженер, при посторонних, был с ней не только галантен, но и нежен, подчеркивая семейственность, которой в обычное время не было и тени. В такие дни я искренне ею восхищался и кротко выслушивал ее упреки и выговоры за плохой вид, за равнодушие к людям и напускное чайльд-гарольдство. Но для меня она была хороша и мила всегда, и в дни ее благоразумия, и в ночи нашего бессмысленного картежничества.

Архитектура увлекла сестру, и в два года она окончила курс — одна из первых русских женщин. Талантливая во всем, она сразу выделилась. В то время вряд ли могла женщина сделать карьеру на таком «мужском» поприще, но если могла, то первой кандидаткой могла бы быть Оля. Этого, однако, не случилось.

Она показала мне полученный диплом и лестное письмо от старого архитектора, приглашавшего ее в помощники. Я в то время кончал университет. Была самая подходящая минута развить одну из наших самых фантастических жизненных программ.



— Что ты ответишь?

— Не знаю

— Нужно соглашаться. Начнешь, а там пойдет.

— А если я опоздала...

Она сказала это тихо, и глаза ее ушли далеко.

— Не то что опоздала, а боюсь, что это не то... понимаешь?

Не то, что мне нужно.

— А что тебе нужно, Оля?

— Не знаю. Знаю только, что было нужно когда-то, а теперь — все равно. Теперь у меня дети, которые скоро станут взрослыми. Петя переходит в четвертый класс, Катюша в институте.

— А что же тебе было нужно, Оля? Почему ты никогда об этом не говорила?

Она не сказала мне и в тот раз. Я же был таким мальчишкой и так не умел видеть в ней женщину. Это была моя сестра, мой товарищ, спутник безумств и фантазерства. Но я совершенно не думал о том, что моя сестра молодая женщина с неудачно сложившейся личной жизнью, что у нее могут быть свои женские желанья, мне неизвестные, что сказать о них она не может никому и менее всего — такому мальчику, брату, хоть и другу.

У нее не было семьи — лишь тень семьи; но у нее не было и любви — лишь в прошлом тень любви, рано обманутой и быстро прошедшей. Этого я долго не знал и не понимал.

Понял я это позже, даже не знаю точно, когда: в последние ли годы нашей дружбы, или сегодня, за этими строкам воспоминания.

Встало в памяти моей много мелочей нашей совместной жизни. Все же не всегда мы сидели дома, фантазировали или картежничали за полночь. Иногда мы с сестрой «выезжали в свет», иногда она навещала меня в моих, более чем скромных, вернее — бедных, вечно менявшихся студенческих комнатешках.

Мы были одного роста и любили ходить под ручку. По взглядам прохожих я видел, что они завидуют мне, бледному

и безумному студенту в достаточно выцветшей фуражке. На балах и в конвертах на нас оглядывались, и так как нам обоим это доставляло удовольствие, то мы часто дурачились и изображали из себя влюбленную пару. Я был блондин, сестра — яркая брюнетка; что общее внимание привлекает она, а не моя довольно жалкая фигура, я, конечно, не сомневался и тем более гордился ею. Но плохо сознавал, что внимание толпы действует на женщину, что красота как бы обязывает ее не быть слишком недоступной, дарить от своих щедрот и своего богатства. Не потому ли сестра так и держалась за меня, никуда меня не отпуская, почти ни с кем не знакомясь, что она боялась людей, смотревших на нее с жадным любопытством? Одевалась она прекрасно, но всегда немного вызывающе; никогда не подчинялась своим портнихам, сама перекраивала принесенные ими платья и умела каким-то ей одной ведомым художественным броском делать свой туалет оригинальным и непохожим на все другие. Она уверяла, что тратит на свои костюмы до смешного мало, но все считали ее транжиркой и франтихой.

Она страстно любила танцы, но танцевала только со мной. Ее изящество и моя нелепость неизменно привлекали общее внимание, и часто в танцах мы оставались одной парой, — остальные расступались и смотрели на нас, — с восхищением на нее, с насмешливой улыбкой на меня. В то время вошли в моду такие фигурные танцы, как миньон, па-д-эспань, па-де-патинер, и усердно еще отплясывали мазурку. К Оле подходили и приглашали, но она соглашалась редко и очень смущалась, танцую гораздо хуже, чем со мной. Ни один бал не проходил без маленьких приключений; какой-нибудь кавалер с энергичным профилем добивался, чтобы его представили Оле, суетливо ее преследовал, с ненавистью смотрел на меня и проявлял такую настойчивость в ухаживании, что нам приходилось незаметно скрываться и уезжать. Мы хохотали, изображали друг перед другом его лучшие позы и его горящие взгляды, и Оля уверяла меня, что при первой случайной встрече этот господин вызовет меня на дуэль.

Часто нас окружала толпа студентов — моих приятелей. Оля была с ними мила и любезна, они были поголовно в нее влюблены, — но все это были мальчишки, такие же, как я, и не среди них мог найтись человек, к которому она могла бы отнестись серьезно. Я видел все-таки, что ей нравился «студенческий хвост» и такое явное обожанье. Нечего и говорить, что в присутствии приятелей я был с ней особенно нежен и даже немного небрежен: приятно быть братом и другом такой женщины.

Иногда она навещала меня в моей студенческой берлоге. В день ее визита я созывал своих приятелей, и мы, до приезда ее, успевали фантастически украсить мою комнату. Пускалась в ход рогожа, заменявшая ковры и гобелены, на лампу делался изумительный абажур с карикатурами, входную дверь мы обращали в триумфальную арку, обив косяки цветными моими носками со штопаной пяткой, навесив галстуков и сделав над входом вензель Оли из карандашей, ручек и перьев зеленого лука. Мы встречали ее торжественным маршем, исполненным на гребенках и окарине, и усаживали на стул, обращенный в престол. Вишневая наливка и пиво были угощеньем; закуской для нас была вобла, для гостыи — пирожное от Филиппова; впрочем, Оля редко приезжала без корзины фруктов или большого торта.

Она была нашей царицей. После лакомств и чаю мы играли в винт и обычно обыгрывали царицу по маленькой; но если выигрывала она, мы проигрыш наш записывали на бумажку.

Я думаю, что ей, Оле, было с нами весело; во всяком случае, она забывала на время свое невеселое.

Однажды мы с сестрой «выехали в свет» — отправились слушать цыганский концерт. Едва разыскали мы свои стулья и сели, как мимо нас в передние ряды прошел улыбающийся инженер с полной, несколько вульгарной дамой. Я взглянул на Олю и увидал, как она покраснела и сжалась. Я спросил:

— С кем он?

Она ответила, принужденно смеясь:

— С ней; с этой дамой. Я не думала, что он так долго будет ей верен, — кажется, уже второй год.

Это был единственный раз, когда сестра моя так откровенно высказалась о муже; мы о нем почти никогда не говорили. В голосе ее не было и тени ревности — только некоторая смущенная брезгливость. В первый антракт мы уехали; я сам предложил Оле, сказав, что концерт, по-моему, скучен, и она согласилась с радостью. Инженер не видел нас.

При всей напускнутой разочарованности, я не был чужд некоторых увлечений, свойственных возрасту. Не помню, как дошло до сестры о каком-то моем маленьком любовном походе; может быть, разболтали осведомленные и нескромные мои приятели.

Она была поражена.

— Как странно это, — сказала она мне. — Мне как-то не приходило в голову, что ты уже мужчина; мне все еще казалось, что ты мальчик. Понимаю, что ты мог влюбиться, но я не представляла себе, что ты такой же, как все... по отношению к женщинам.

В сущности, по студенческим понятиям, я не совершил ничего неладного, скорее даже мог назваться молодцом. Любовное приключение без наличности любви — чего же тут дурного? Но слова сестры очень меня смутили. А она продолжала:

— Да, вы все одинаковы, даже ты. Вероятно, это естественно. Впрочем, это естественно, кажется, и для женщин, хотя я никогда не пойму, как это возможно.

Подумавши, прибавила:

— Теперь ты стал для меня совсем другой, взрослый, что ли. Пожалуй, я могу тебя больше уважать; но только ужасно странно.

И правда, с той поры сестра стала относиться ко мне как бы серьезнее, почтительнее; часто на меня смотрела с любопытством. Но уже не обнимала и не ласкала меня по-прежнему, — и я чувствовал, что не имею на это права.

Оля была до изумительности моложава; не верилось, что она мать семейства; ее скорее принимали за старшую сестру гимназиста, ее сына. И не только моложава, а столь же и молодая. Жизненности был в ней непочатый край, а радости природной хватило бы на нескольких девушек. Но ежедневно и ежечасно радость эта наталкивалась на великолепную холодность и скуку дома, на отзвук однажды разыгравшейся драмы, подробностей которой я не знал. Что-то когда-то она решила — и решению своему никогда не изменяла. Мужу своему она продиктовала договор, пункты которого были священны и нерушимы; может быть, он сожалел и надеялся на силу времени, — но время оказалось бессильным, и ему пришлось примириться. Жертвой же этой твердости оказался не он, а она: мужчина легче и проще умеет приспособиться в любых условиях. Оля, цельная и прямая, брезгливая к компромиссам, приспособляться не умела так же, как и забывать.

Кажется, я понимаю ее мысль, бросившую ее к детям:

— Неужели и они, Петя и маленькая Катюша, вырастут и станут такими же?

Как-то вдруг случилось, что она перестала выезжать, не появлялась царствовать в моей берлоге, забросила музыку, чертежи, модные выкройки, даже не с прежней охотой играла со мной в шестьдесят шесть и никогда не засиживалась:

— Я хочу завтра пораньше встать, чтобы напоить Петю кофе перед гимназией.

Теперь, навещая сестру, я часто заставлял ее за беседой с детьми, с которыми у нее завязалась какая-то особая, серьезная дружба, в особенности с Петей, гимназистом; иногда к Пете приходили товарищи, и сестра подолгу разговаривала с ними о гимназии, о книжках, не как старшая, а как равная, вспоминая своих учителей и разные мелочи своей гимназической жизни. С ними она ходила в сад стрелять в цель из монтекристо и обсуждать возможность путешествия в Америку. С девочкой же она больше занималась рукоде-

лием и хозяйственными вопросами, и странно было мне видеть их обеих озабоченными и серьезными за разборкой белья, принесенного прачкой, за проверкой счетов мясной и булочной, за вышиванием меток и подрубаньем носовых платков.

Когда я предлагал сестре сыграть в карты или пойти погулять в парк, она с удивлением подымала глаза от работы и говорила:

— Сейчас гулять? Да у меня половина белья не перештопана, и вообще множество дел; мы с Катей торопимся кончить к завтраму.

— Няня это лучше вас сделает.

— У няни болят глаза, да и нельзя же все на нее сваливать.

— Скучища у вас!

— А ты бы что-нибудь почитал нам вслух; или иди, погуляй один, а мы тем временем кончим вот эту кучу белья.

Наедине я говорил сестре:

— Ты стала домовитой; так ты себя совсем замаринуешь.

Она отвечала:

— Я этого и хочу. Я уже не молода, и пора мне принадлежать детям. Я так подружилась с ними за последнее время. Петя рассказывает мне про все свои недоумения, — у мальчиков так много мыслей и сомнений. Вчера мы говорили о религии, это так интересно; он говорит, что не верит в Бога. Я пробовала Бога защищать, но ведь я тоже не очень верующая. И мы с ним решили заменить Бога разумом, но так, чтобы не мешать другим верить, как им хочется. Петя снял со своей кровати образочки и отдал их Кате, которая, наоборот, очень усердно молится. Но он над нею не смеется и ее ни в чем не разубеждает.

— К чему ты их готовишь?

— Ни к чему не готовлю. Пусть они сами додумаются, я им мешать не стану. Мне хотелось бы только, чтобы они смотрели на жизнь просто, без особых надежд и напрасных очарований. И знаешь, — они уже многое понимают так, как мне

в их возрасте и не снилось. Мне кажется, что они будут счастливее меня. И метаться не будут — сразу найдут свою дорогу.

Но случалось, что я заставал сестру в ее комнате, без работы, без книжки, лежащей на кушетке, вялой, с опухшими глазами. Она говорила, что ей нездоровится, но я знал, что болит у нее душа, что у нее припадок той тоски, которую раньше она лечила нашим смешным карточным азартом, или танцами, или своими занятиями архитектурой и музыкой. Теперь все это уже не действовало, а других средств гнать тоску не было.

Однажды, подойдя к зеркалу, она сказала:

— Хочешь посмотреть?

Вырвала волос и показала мне — мертвый и белый.

— Ты думаешь, это — первый? Нет, у меня их много.

— И все-таки ты, Оля, еще очень молоденькая.

— Нет. Лицом, пожалуй, хотя тоже... Но вообще я — старуха, старше няни. Так мне и надо, так и надо.

— Почему?

Но она повторяла:

— Так и надо. И давно пора. В сущности, я даже уже привыкла.

Я взглянул на нее внимательно. Она была очень молода и очень красива. Но я не решился сказать ей сейчас об этом. Она могла спросить: «А зачем мне это?» — и мне было нечего ей ответить.

Жизнь завертела меня в кругах, куда Оле доступа не было, да она и не увлеклась бы моими новыми знакомствами и новыми интересами: ее никогда не увлекали утопии, она жаждала жизни реальной.

А завертев — жизнь отбросила меня далеко от Москвы и даже от России. С сестрой я переписывался очень редко. Мы и раньше, расставаясь надолго, как бы забывали друг о друге, несмотря на давнюю близость и дружбу. Чаше писал мне ее

сын, уже ставший студентом и немного влюбленный в меня, как «политического страдальца». Из его писем я знал, что никаких перемен в жизни их семьи нет, что Катюша кончает институт, нянька все еще жива, а мама по целым дням читает и редко выходит из дому. В одном из писем он прибавил, что у мамы, по-видимому, рак и что ей будут делать операцию.

Я тогда жил в сказочной обстановке, у южного моря, в старой вилле, утонувшей в зелени огромного сада. Была у меня своя сложная личная жизнь и начиналась та жизнь творческая, о которой я мечтал когда-то в разговорах с сестрой и для которой всегда было достаточно серьезных препятствий. С годами я стал работником, с трудом выколачивал свой хлеб, и счастье легкой жизни в искусстве, только в искусстве, не стало моим делом, — да будет оно суждено другим, более балованным жизнью. Но нельзя, живя среди красоты, не быть ее пламенным поклонником, — и я урывал у подневольной и скучной работы минутки для себя.

Здесь получил я известие о смерти сестры, моего лучшего и единственного в жизни друга: она умерла от рака, после долгих, многомесячных страданий. Письмо было кратко, и бумага была окружена черной полоской.

Я уже давно потерял мать, еще более давно отца, незадолго перед тем брата — и очень многих близких друзей, совсем молодых, погибших в расцвете сил и здоровья, в прекрасной и наивной мечте сделать счастливым все человечество. Вести о смертях так часто получались в моем земном раю, среди роз, лилий, пальм и кипарисов, что я к ним привык — да не оскорбит это слово более чуткие сердца. Наши тогдашние сердца загрубели и покрылись мозолями от частых прикосновений смерти; где-то в глубине откладывалось горе, но наружу не выходило. Трудно это объяснить, — поймут только те, кто тоже испытал в дни бурь позднейших.

Траурное письмо из Москвы меня ударило, но не поразило. Мне странно и как-то страшно вспомнить, что в тот день я



купался, бродил по террасам сада с блокнотом и карандашом и искал лучших слов для лучших мыслей. Только ночью, оставшись один в заброшенной домашней капелле, где был у меня стол и где я до света работал, — я ясно вспомнил, чем была для меня сестра, эта прекрасная женщина, жаждавшая жизни и не нашедшая ее до минуты ранней мучительной смерти.

Ночь была лунная. Я вышел в сад, сорвал несколько высоких белых лилий и, вернувшись в капеллу, положил их перед статуэткой каменной напрестольной Мадонны, рядом с которой лежали мои тетради и рукописи. Но этого было мало — это было только воздаянием памяти сестры и друга. Я вышел снова и спустился к скалам.

Там, на скалах, были заросли тростника у маленького источника, вытекавшего из камней. Если раздвинуть руками тростник — можно было пробраться к ручейку холодной воды.

Вода сочилась из ниши, промытой годами, и в нише росла всегда влажная мелколистная трава — зеленые листики на тонких прочных нитях, растущие веером. Итальянцы зовут эту траву *Capelvenere*; за ними и мы называем ее — Волосами Венеры.

Вот эту траву я принес в капеллу, где над моим столом была вделана в стену каменная раковина для святой воды, служившая мне складом для разных мелочей — карандашей, перьев, сломанных вещиц, которых некуда и жаль бросить. Все это я вынул и налил в урну свежей воды. Сюда положил я траву, сорванную у источника, — и это было священной данью памяти женщины.

Появлялись лилии, высохли Волосы Венеры. Есть свой срок для больших чувств и даже для красивых слов. Не всякий, рожденный для любви, любовь свою находит, потому что время не ждет, а усталость подкрадывается к нам незаметно.

## КУЗИНЫ

### I

Из письма, пришедшего из невероятной дали, опоясавшего полземли, прежде всего выпала пожелтевшая фотографическая карточка молодого человека, с очень знакомыми чертами лица и с отличной копной шелковистых волос. В шестидесятых годах носили длинный сюртук при светлых штанах в мелкую клетку, а жилет кончался на талии. На обороте карточки помечено «1863». Молодому человеку на вид лет тридцать, значит, он родился приблизительно сто лет тому назад. Несмотря на устрашающую дату, я тотчас догадался, что это — мой отец. Письмо подписано неизвестной мне фамилией, но и это разъяснилось: я просто не знал мужней фамилии двоюродной сестры, с которой не видался и не переписывался ровно сорок лет. За это время в мире и наших личных жизнях кое-что произошло.

Вслед за тем из уголков памяти начали выплывать старомодные тени, притворяющиеся молодыми: целая плеяда девиц, и хорошеньких и некрасивых, под общим названием «кузины»; за молодежью — несколько пожилых лиц, за ними две очень ветхие старушки. Потом я увидел столь же ветхий дом, другой посвежее, глубоко провинциальный город на большой реке, — и еще другую реку, поменьше, но быструю и удивительно красивую. Какой-то молодой пианист играет собствен-

ные композиции; потом кузины поют хором, а я стараюсь подтягивать. Ночь у костра на берегу реки. Кладбище. Сам я — в летней гимназической блузе, подпоясанной кушаком, а волосы вихрятся — как на карточке, которая давно утеряна, но в памяти осталась.

Река — Белая; поменьше — Дёма; город — Уфа; время — рубеж восьмидесятых и девяностых годов. Нет гравюрной отчетливости, скорее — прозрачные акварели. Вероятно, многое, многое стерлось и спуталось в памяти, остались не факты, а впечатления. Конечно, они мне очень дороги.

Но начать нужно с другой реки, полноводной и немного мрачной. По ней сверху бежит пароход, и не легко увести меня с палубы в рубку обедать. Впрочем, и отец наслаждается воздухом и речным простором: выветривает из себя пыль канцелярий и судебных зал. Мы по рождению степняки, лесняки и рыболовы — все сразу; вообще — люди земли, а не комнат; люди снега и высоких берегов. После первой книжки, «Робинзона в русском лесу», моей второй любимой и затрепанной были «Детские годы Багрова-внука» и того же автора «Записки об уженье рыбы». А в его «Семейной хронике», к девяти годам также прочитанной, отец пояснял мне каждую страницу, а про имена говорил: «Вот этого я знал, а эти были нашими соседями». А главное, говорил: «На Дёме мы с тобой побываем и рыбку половим!» И тогда Кама казалась мне уже не самым важным, а самое важное — впереди.

В Пьяном Бору пересели на маленький и плоскодонный пароходик, но и он застрял было на перекате. Пришлось пассажирам версты полторы идти по берегу, где были такие буки и вязы, каких я, привыкший к лесу хвойному, никогда не видывал: раздвину руки, обниму ствол в три-пять приемов и кричу отцу: «Папа, пять больших обхватов!» А он: «И побольше увидим!» Сам он будто бы спокоен и равнодушен, а в действительности радостен и горд за лес, за реку и за нас обоих, потому что все ближе к Уфе, а Уфа — его родина.

Но, конечно, я не ожидал, что бабушки бывают такими маленькими, почти одного со мной роста! Когда звали в столовую обедать, я вел бабушку под руку — и мы были отличной парой. Я считал, что бабушке лет сто, но немного ошибался. Спина ее выгнулась в дугу, а с креслом она совсем сливалась. Все, что было в ее доме, было низеньким, круглым и пухлым. В комнатах было темновато и очень тесно от мебели. А больше ничего и не помню в этот первый приезд в Уфу. Однако множество кузин было уже и тогда — только разбирался я в них еще туго, и был им совсем неинтересен. И побыли мы, кажется, недолго.

А вот года три спустя, при вторичной поездке, я считал себя уже опытным путешественником, — к тому же я успел перейти в четвертый класс, так что какой же я мальчик, самое меньшее — юноша! Теперь не отец вез меня, а я вез отца, тем более что он очень постарел и ослабел после тяжелой болезни. В Пьяном Бору, при пересадке на бельский пароход, пришлось долго ждать на пристани, почти сутки: я успел набегаться, даже побывал в лесу, на самой круче, откуда виден целый прекрасный мир. С пристани опускал в воду нитку с простым булавочным крючком — и рыбы бросались такой толпой на крупную муху, что, мне казалось, выставляли головы из воды. По жестокости малого возраста, я их вытаскивал, а потом отпускал на волю. Отец, наверное, пожурил бы меня за это, но он был сейчас ко всему безучастен; в дороге простудился и об одном мечтал — скорее бы доехать! Пошел дождь — стало сыро. Насилу дождались парохода, и матрос, перетащив наши вещи, помог мне отвести отца в каюту.

Опять ехали по Белой — а в это время цветет сирень. Люди садов, оранжерей и букетов знают запах цветов, но еще не знают, что воздух может быть пропитан им от земли до облаков на сотни верст. Многого не знают люди города. Отцу стало лучше, он выходил на палубу, смотрел на берега и говорил: «Непременно поскорее съездим в наше имение; вот увидишь!» В первый приезд мы не собрались, — да, кажется, и смотреть

там было нечего; в этот ему захотелось. Накануне рокового дня тянет человека к своей земле.

Может быть, и бабушку тянуло — теперь ее уже не было. И не было старого городского дома; кажется, он сгорел после ее смерти. Остановились мы у сестры отца, на улице, поразившей меня названием: Старо-Жандармская! Отец был либералом и юристом, и слово «жандарм» у нас в доме считалось неприличным.

Ни в какое имение поехать не удалось: отец опять слег. «Своей» земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а «своих» бывших крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку — няню, которая жила в семье другой тетки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала. И еще приехал из деревни старый повар невероятных лет и свертел нам мороженое. Меня он поцеловал в плечо — и я был так изумлен, что не знал, что мне делать. В наших краях, в Приуралье, не было ни помещиков, ни крепостных, так что и следов прежних отношений не могло сохраниться. В доме же нашем, хотя и чиновничьем, считалось праздником 19-ое февраля, конечно потому, что отец в молодости много работал над проведением крестьянской реформы и судебных уставов. И потому мне в двенадцать лет крепостничество казалось древнейшей историей, от которой остались два креста в футляре, лежавшие в левом ящике отцовского письменного стола. Чудно было теперь видеть живых ископаемых! Мне велели подать повару руку и поцеловать его. Он пробыл день и уехал, — только посмотреть на нас и приезжал.

Вообще же я с увлечением читал Надсона, книжку которого нашел в домашней библиотеке. Мне одинаково нравились его стихи «Глухо стонет вьюга, стонет и рыдает» и шуточное «Пр-чтя только что твое посланье, я пр-ник в значенье беглых строк» или «И по ним гуляют дрофы, чутко уши настр-жа». Впрочем, в то время не было книги, к которой немедленно не прилипали бы мои глаза. С книгой я уходил в сад, появляясь к

обеду и ужину. Не понимаю, как случилось, что я не догадывался о тяжелом положении отца. Он лежал недели две, тут же дома его оперировали, и однажды кузина Тоня позвала меня:

— Миша, ты пошел бы к папе!

Я пошел, сел у постели и продолжал читать Надсона, который меня трогал своей чувствительностью почти до слез. И опять кузина шепнула мне: «Посмотри на папу!» Я посмотрел — и встретился с его глазами, обращенными ко мне. Говорить он не мог, только смотрел, то на меня, то на родных, окруживших постель. Больше я уже не отрывался от его лица. А когда на лице появилось синее пятно и глаза полузакрылись, я протянул к ним руку, не знаю зачем: чтобы их открыть или чтобы закрыть. И тогда меня увели. Кругом плакали, а я замер в первой встрече со смертью. И двух дней до похорон я не помню. Только слабо помню, как я проснулся на рассвете, открыл глаза и увидел рядом отца в его большой постели — как обычно. Но едва я привстал, — постель исчезла. Мне было очень страшно.

На похоронах было много народу, но мне запомнился только один очень старый и почтенный человек, который подошел ко мне, вежливо раскланялся и подал руку. Так с мальчиками не кланяются, — ведь я не знал, что люди старого воспитания одинаково изысканно вежливы и с взрослыми, и с детьми. Мне сказали, что это старый друг отца, сам бездетный и очень богатый, и что он будет просить мою мать меня усыновить и сделать своим наследником. Его фамилия была мне знакома по «Семейной хронике» — как еще несколько фамилий, которые и теперь назывались. Но я не понял, как можно стать чьим-то сыном, когда умер отец?

Не поняла этого и моя мать, которая приехала лишь на другой день после похорон — ее задержали три дня пути. О смерти отца она еще не знала. Мы выехали ей навстречу и, опоздав к пароходу, повстречались с ней на тогда еще не застроенной дороге, близ самого кладбища. Мы сошли с извозчиков — и мать все поняла по нашим лицам. Нельзя рассказывать, как

это было. Вместо дома мы, оставив экипажи, прошли на кладбище на могилу отца, покрытую венками.

## II

Мать оставила меня на лето в Уфе; к осени вернусь один, что тоже замечательно и указывает на признание моей самостоятельности.

Горе в юности проходит быстро: к тому же тысяча кузин окружила меня заботами. Действительно, их было так много, что я путался в именах. Может быть, и не все были кузинами, а часть только их подругами. Во всяком случае, среди них были Маня, Манечка и Маруся, причем Маня очень обижалась, если ее называли Машей; так и поступали, когда хотели над ней подшутить. У Мани были прекрасные волосы, и она их не стригла; но Женя, например, была уже стриженной, так как была студенткой-медичкой, то есть, по-тогдашнему, нигилисткой. Хотя я не уверен, что все кузины и их приятели и приятельницы были нигилистами, но кто-то мне об этом сказал; и в своем представлении я тогда же отметил, что нигилисты — молодые, веселые и очень приветливые люди, любители хорошего пения, катания на лодках и дружеской болтовни. Так как я был значительно моложе всех, попросту — мальчишкой, то имел надобность в покровительстве. Покровительниц я нашел несколько, держаться же старался ближе к Мане, в которую влюбился.

Делаю в памяти огромный скачок вперед, — в тридцать лет. Москва 1921 года, жизнь голодная, кошмарная и опасная. В доме далеких родственников спрашивают, хочу ли я повидаться с моей кузиной Маней. Конечно, хочу, я никогда ее не забывал! Входит очень пожилая, полуседая, но все еще красивая женщина. Целуемся, говорим на «ты». Я недавно выпущен из чекистского тюремного приюта, она постоянно жи-

вет в Кремле, — жена высокого сановника. Оба стесняемся. Она спрашивает:

— Ты нас не наведишь?

Я отвечаю:

— Мне всегда приятно тебя видеть, хочешь — здесь, хочешь — у меня. Но ты понимаешь, что в Кремль я не приеду.

— Ты нас отрицаешь?

— Родных я не отрицаю, а с «вами» у меня нет общего.

Мы вместе выходим, и она спрашивает:

— Но подвезти тебя можно?

Мы садимся в прекрасный автомобиль и едем из Казенного переулка в мой милый Чернышевский. Тут прощаемся, и я выхожу.

— Так как же, увидимся?

— Как хочешь, я всегда рад и всегда дома

Увидеться не удалось, — скоро я был опять арестован и выслан в Казань, потом за границу. В Берлине получил открытку: «Мы здесь проездом, хочешь ли повидаться?» Открытка пролежала в редакции газеты, и мы не увидались. Уж очень различны были наши судьбы.

Но в то время, в Уфе, Мане было лет семнадцать, мне — двенадцать, и мы еще не стали ровесниками. О влюбленности моей она, вероятно, не подозревала.

На нескольких лодках поднимаемся вверх по Белой. Течение настолько быстро, что и при сильных гребцах лодки почти стоят на месте. В нашей гребец особенный — силач, каких мало; он умеет подымать за переднюю ножку старинное мягкое кресло, а меня держит в воздухе на вытянутой руке. И мы, наконец, достигаем устья Дёмы.

Тут замирает мое сердце, воспитанное Аксаковым. Наизусть помню: «Величавая, полноводная Дёма, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенной красотой, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так



и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске рыбы, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой». И как потом Сережа — Сергей Тимофеевич — поймал свою первую плотичку: «Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости». А потом мать не хотела его отпустить, — уж слишком он волнуется: «Я не знаю, что бы случилось со мной, если бы меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал от горя».

И, нужно сказать, действительно прекрасна была река Дёма! Лодки мы оставили под крутым берегом, а так как уже темнело, то разложили костер прямо под могучим буком, так что получилась как бы освещенная пещера, — огонь костра едва достигал до нижних веток.

Тут провели теплую ночь. Спускались на воду, в лодке подъезжали к огромной коряге, застрявшей в течении Дёмы, и высаживались на ее корявые корни и ветви, — сразу человек десять. При луне это было удивительно. А с берега бросали в Дёму большие головешки; они крутились в воздухе, сыпали огонь и с шипеньем хлюпали в воду.

С нами и молодой «композитор». Он раздобыл где-то двух старых киргизов, привел их к костру и заставил петь, — а сам записывал мотивы. Киргизы, зашурив глаза, тонкими голосами тянули свои рулады, — и вот до сего дня, спустя сорок лет, я помню не только мотив, а и слова, смешные и непонятные, одной их песни. Окончив куплет, они открывали глаза, изменяли лицо, смотрели как бы изумленно и опять зашуривались.

Потом мы, конечно, пели хором и песни веселые, и песни «гражданской скорби»:

Прогремела труба, повалила толпа...  
Впереди идет поп, а за ним несут гроб...  
Где ж преступник? А вот, он за гробом идет...  
И топор заблестал, и палач показал  
Ту головушку неповинную...

Домой едем утром, и, конечно, я в лодке сплю. Так пахнет цветущей липой, что кружится голова.

Что вы сделали с мальчиком! Навек отравили его речным и липовым духом, а жить ему придется в больших городах.

Нет, отравка вошла раньше — в самом первом детстве. Улица, на которой я родился, одним концом упиралась в Каму, другим в лесную опушку. И жизни настоящей, прекрасной и значительной, я никогда, ни прежде, ни теперь, не мыслил без реки, полей и лесов. Это не «вкус» и не «поэзия»; это — человеческая природа, которой не переборешь, — да и не нужно. Годы, прожитые в окружении памятников древности и красот Возрождения или в центрах европейской культуры, со всем, что они дали и могут дать дальше, — эти годы из жизни все-таки похищены, след их в морщинках лба, а не в сердце. Люди говорят на разных языках, — законное их право; но противен язык моторов и граммофонов, и мертва кинолента, мчащая волжанина по Миссисипи, не потому, что это чужая река, а потому, что не река, а картина. И только Слово, художественное слово может иногда, и лишь в некоторой мере, быть заменой живого видения.

Книги я пожирал; прямо от Аксакова перебросился к Тургеневу, тоже охотнику и священнику в храме Природы. Но уфимские кузины на прощание подарили мне толстую книгу в желтой обертке, которую, для важности, я брал с собой на палубу парохода, — да так до самого дома и не мог одолеть первых страниц. Эта книга была «История цивилизации в Англии» Бокля. Я должен был ее читать, чтобы развиваться и направить Мысль на разумные пути. Но пришлось лет пять побродить по путям окольным, пока Бокль показался мне достаточно занятым, и я проглотил его, не разжевывая и без надежды вполне переварить.

Пока же ждали грибная осень и зимний каток. И еще — траур и грусть. Свертывалась жизнь из большой в маленькую, из легкой — в полную забот и лишений. Через три года, еще мальчик, я уже бегал по домам «репетировать» других мальчиков, еще через два читал печатные строки и глазам не верил: «неужели это я написал так замечательно? а неужели

миллионы это сейчас читают?» Меньше, чем на миллионы, соглашаться не хотелось, потому что журнал был петербургский, а редактор писал мне:

«Милостивый Государь! (это мне, гимназисту!), Ваш рассказ напечатан в майской книжке, что же касается гонорара, то, к сожалению, не можем предложить Вам больше одной копейки за строку, каковую сумму и переведет в ближайшее время наша контора».

Контора, правда, не перевела, но слава дороже денег.

Все это было после, — воспоминания всегда забегают вперед; а пока дома меня встретила печаль. Мать, необычайно моложавая женщина, сразу постарела; и все стали взрослее — и брат, и сестры, и я сам.

При переезде в маленькую квартиру разбирали отцовский письменный стол, теперь бесхозный, о некоторых секретах и сокровищах которого я и раньше знал. Например, о книжном ящике, где в плоской железной коробке было так много чудес, — мне отец не однажды их показывал. В нем были какие-то станицы и анны, которых он никогда не надевал, облупившаяся табакерка, серебряный портсигар, несколько пенковых трубок, медаль в коробочке, старинные монеты, палочки сургуча, бисерная закладка, небольшой дагерротип (сняты дед и бабушка), целая коллекция печатей и печаток, — малая на золоте, большая на уральском топазе, крупная почка малахита, оправа очков, — одним словом, множество интереснейших предметов, которые мы с отцом, тайно ото всех, рассматривали и которые представлялись мне всегда бесценным сокровищем. Теперь все это вышло на свет, но глаз уже не веселило, а только печалило. А инструменты, слесарные, плотницкие, столярные, которыми я был рано обучен владеть, прямо перешли в мою новую комнатку и полное распоряжение; раньше мы наслаждались ими вместе с отцом по праздникам, когда он не открывал своих деловых папок, а пилил, строгал, подкрашивал, да еще пересаживал цветы нашего «зимнего сада», поме-

щавшегося в светлых и теплых сенях. Я в отце потерял друга и товарища, в будни — взрослого и даже старого, а в праздники — большого мальчишка, энтузиаста всяких домашних работ и дельных развлечений.

То, что называют наследственностью, не есть ли часто с детства усвоенные привычки и вкусы, а также следы подражания тому, чью память чтить? Вот я сижу за письменным столом. В нижнем его ящике большая жестяная коробка, в ней — всякий милый вздор, никому не нужный, но усердно сохраняемый. Есть у меня и набор слесарных и других инструментов, без которых отдых немислим: чиню кран водопровода, испортившийся выключатель, подпиливаю и подымаю на кольцо освещую дверь, покрываю белую книжную полку ореховой протравкой, заново обтягиваю материей мягкое кресло: всё — отцовская наука. А уж цветы, — и говорить нечего! Только бы скорее наступила весна, пусть парижская, дурного качества, — ничто не удержит в городе, буду смотреть, как растет трава, и буду сам выращивать цветы и злаки, подстригать земляничный ус, подвязывать розы, высыпать из зрелой маковой коробочки семена в заготовленный пакет. И это уж навсегда, — от этого не уйдешь, и уходить не хочется. Все остальное — своим порядком: бумаги, письма, книги, газеты, всякое обязательное, радости не дающее, как не дают ее сон и пища, без которых тоже никак не обойтись.

Так завещал мне, не на письме, не на словах, а в моей памяти, молодой человек в сюртуке и штанах в мелкую клетку, родившийся сто лет тому назад, фотография которого выпала из только что полученного письма. И этим заветам никогда я не изменял и не изменю; и если бы хотел, — не мог бы!

Тому назад лет пятнадцать, после долгой заграничной жизни, я объезжал в России знакомые губернии и города, связанные течением рек Камы, Волги и Белой. Люди ушли, города выросли, берега не переменились. Какие-то обрывки прежних связей все-таки остались: мумии прежних людей и их благо-

получные потомки. Из тысячи уфимских кузин осталась одна, но и та была во временной отлучке. Дёмы не повидал; говорят, что ее течение стало медленнее, берега оголились, рыба помельчала и вывелась. Но ведь это обычно говорится про все реки и про все леса: «Ах, как было прежде и как стало сейчас!» Я же на всем пути по северу и востоку видел прежние лесные богатства, все еще неистощимые. Может быть, после их повырубили и извели нерадением, глупостью и «принудительным трудом»?

В двадцать втором году, когда был в Казани, Волга текла по прежнему руслу. Усохла ли — ведрами не мерил. Но на детей и внуков воды, как будто, должно хватить, а там увидится.

И вот я думаю: происшедшее не так уж страшно. Земля наша велика и обильна. Пока медведь не перевелся — ничто еще не погибло; а про медведей говорят, что они даже расплодились. Вот это хорошо! Природа чинит прорехи и восстанавливает ущербы. И поля, как известно, во многих местах отдыхают под паром, пока ржавеют поломанные тракторы. Жаль напрасных усилий, но слава вольному произрастанию не сеянных злаков и не саженных деревьев. Так рассуждаем мы, приречные, лесняки, охотники, рыболовы. И не препятствуем другим рассуждать совершенно иначе.

И все это оттого, что уфимские кузины не вовремя мне подарили «Историю цивилизации в Англии» в желтой обложке. Немало над ней потрудившись, я поставил ее на дальнюю полку, а с ближней взял перечитать, в который раз, отцом подаренные томики Аксакова: «Семейную хронику» и «Записки об уженье рыбы».

## ПЯТЕРКА

Каждому специалисту по выдумке небывших событий и неживших людей время от времени необходимо убегать из толпы им созданных марионеток и петрушек, из холода мастерской в теплую маленькую комнату личных воспоминаний. И чем сам он становится старше, тем он моложе в своей памяти, тем глубже мысль уходит к годам детства. Я непочтительно представляю себе нашу память в виде доски, заляпанной событиями. Когда в жизни личной уже нечему слушаться, эта житейская накипь начинает обваливаться сухими корочками, открывая слои предыдущие, пока не останется прежняя *tabula rasa* и не запутается язык в старческом шамканье — детском лепете; обратный ход кинематографической ленты. И потому сегодня на очереди воспоминанье об обществе «Пятерка».

Пятым был я, гимназист седьмого класса, а до меня мои одноклассники: Володя Шаров, сын жандармского генерала, братья-близнецы Черных (Митя и Алеша) и тихий и умный Константин Лукин, мыслитель и революционер. Фон — северо-восточная провинция, затрапезная гимназия, привольная река, городской сад под названьем «Козий загон», мирный быт, поверхность которого изредка волнуется слухами о севшей на мель стопудовой белуге, рождением двухголового цыпленка и болезнью английской королевы Виктории, с которой, однако,

ни у кого нет общих знакомых. Однажды, впрочем, должен был проехать через город какой-то великий князь, но раскаялся и не проехал. Уже на моей студенческой памяти внезапно на главной улице, на Сибирской, земский начальник опознал приехавшего Николая Константиновича Михайловского — и тем прославил свое имя. Земского начальника, конечно, уволили.

В пятерку вошла элита седьмого класса — поклонники классической литературы, не вошедшей в круг преподавания словесности. Нас учили только «до Гоголя», а дальше шло неизвестное и зловердное: Достоевский, Толстой и прочая молодежь. Но нам случайно удалось проведать о существовании Шекспира, который будто был даже и не Шекспир, а просто английский актер, о романах Диккенса, поэмах Байрона и преступлениях Белинского и Писарева. Оказалось, кстати, что кроме оперы «Фауст», шедшей в нашем городском театре с необычайно толстой артисткой в роли Маргариты и местным зубным врачом Черномордиком в роли Мефистофеля, — есть еще на ту же тему написанное произведение немца Гете. Потом обнаружили и еще писатели, иностранные и русские, Щедрин, Золя, Мопассан, Златовратский, Анатоль Франс, — и так мы докопались даже до только что вышедших «Пестрых рассказов» Чехова.

Всех этих писателей мы читали вслух, не всегда в составе всей пятерки, так как братья-близнецы Черных были хронически влюблены всегда в одну и ту же гимназистку, а у Константина Лукина были какие-то тайны, и он часто пропускал литературные собрания. Неизменным упорством и постоянством отличались только мы с Володей Шаровым, у которого всегда и происходили чтения. Что его отец был жандармским генералом — это не беда; генерал редко бывал дома, матери у Володи не было, и Володя, имевший прекрасную большую комнату, был юношей самостоятельным и обходившимся без отцовской опеки. Был у него и старший брат, студент, но тот с отцом порвал отношения и жил в Москве. Итак, частью в пол-

ном составе пятерки, а чаще всего вдвоем с Володей, мы прочитали вслух всех русских классиков и критиков и все, что считали лучшим в иностранной, имевшейся в переводе, литературе.

Затем, совершенно случайно, пришла очередь для литературы, о существовании которой мы еще не знали; она была обнаружена Володей на отцовском столе. В генеральском кабинете были очень удобные кресла, и когда он был в отъезде, мы предпочитали читать у него. Уж не вспомню сейчас, какая самодельная гектографированная брошюра привлекла наше внимание; несомненно, она была отобрана при каком-то обыске. Начав ее читать, мы не пожалели ночных часов и бродили наутро с головами, отуманенными не только недостаточным сном. Жандармский генерал помог нам довершить образование литературное и начать революционное. От красот поэзии мы перешли к обманам прекрасных идей, к такому «раскрытию глаз», какого генерал никак не мог желать. Нашлось в его личной библиотеке и еще кое-что, нас заинтересовавшее, а когда иссяк и этот источник, Володя взял на себя грех нарушения неприкосновенности отцовского письменного стола — и мы не только открыли клады, но и узнали, что в нашей губернии, и даже в нашем тихом городе, живут таинственные люди, желающие пересоздать мир и во имя этого готовые на всякую жертву, и что преследованием и изничтожением этих героев занимается Володин отец.

Володя довольно легко пережил раскрытие этой тайны: любознательность и авантюра ослабили впечатление от краха сыновних чувств; с ним произошло то же, что уже случилось с его старшим братом и о чем, хотя и без особого интереса, он немного догадывался и раньше. Тайну, открытую нами двоими, мы не вынесли на обсуждение пятерки, а решили лишь слегка приоткрыть Константину Лукину, которого мы сразу заподозрили в связи с неведомыми героями. Ему мы рассказали о брошюре, случайно попавшей в наши руки, и прият-



но поразили его некоторыми вычитанными фразами и буйными мыслями. Лукин сознался, что он кое-что подобное читал и слышал. От братьев-близнецов все было скрыто, не потому, что мы им не доверяли, а просто ввиду их явного легкомыслия: в это время один из них, Алеша, разочаровавшись в гимназистке, с которой ежедневно катался на катке, уступил ее брату Мите так, что она об этом даже не догадалась: они были похожи друг на друга вплоть до родинки на левой щеке; затем, пожалев о своей жертве, он опять вытеснил брата и продолжил роман с того места, на котором тот его кончил. Таких проделок классическая литература не одобряла, а революционная совсем не предусматривала, и мы братьев-близнецов от своей тайны отставили.

Скоро наша тайна осложнилась тем, что мы нашли в столе генерала подозрительный список и телеграфный шифр. И то, и другое для себя переписали — вдруг зачем-нибудь пригодится! Шифр действительно пригодился для чтения телеграмм, а в телеграммах встретилось упоминание и фамилий, значившихся в списке. Как раз в то же время к генералу стал часто приезжать прокурор, а Володя и раньше знал, что их свиданья предшествовали долгим ночным отлучкам отца или его отъездам в уездные города.

Было совершенно естественно, заманчиво и крайне интересно противопоставить тайнам жандармским — тайну нашу. К столу был подобран ключ, а в маленькой домашней канцелярии генерала столы вообще не запирались. Разбираться в делах было нелегко, но кое-что мы все-таки постигли сразу. Так, например, мы догадались, что телеграфный приказ, в связи с приездом прокурора, означал близость действий. Тогда мы вызывали Костю Лукина и тоже устраивали совещание. После расшифровки фамилий Костя отправлялся известить кого-то из «главных» о нашем открытии, — и после ночной отлучки генерал за обедом уже не был, как прежде, веселым, а хмурился и бранил прислугу: мы явно портили ему карьеру.

Должен сказать, что нас это занимало больше как опасная игра и как «ужасная тайна», и потому, несмотря на все просьбы Кости Лунина допустить его к нашим «документам», — вероятно, он имел прямые поручения, — мы решительно ему в этом отказывали: тайна и организация наши, Костя — лишь необходимая связь с потусторонним миром. В нужную минуту мы всегда окажемся на высоте!

И мы это доказали. Дело шло о нелегальной типографии в нашем городе, точнее — о листках, печатанных на гектографе. Генерал получил точнейшие сведения с адресом и готовил неожиданный налет. Разумеется, это заинтересовало и нас с Володей. Срочно предупрежденный Лукин, на этот раз оказавшийся совершенно не осведомленным, получил от нас адрес и отправился действовать. Мы предупредили, что обыск будет в эту же ночь. Там, куда мы отправили Костю, произошел переполох, и испуганные типографы, доверившись Косте, тут же нагрузили его коробками желатиновой массы, чернилами, ворохом отпечатанных листков и всем, что могло выдать их работу. Не смея тащить это к себе домой, Костя добросовестно доставил все в квартиру жандармского генерала и отдал нам, — целый объемистый багаж. То был вечер торжества и страха. В чистенькой комнате Володи было негде скрыть этот революционный ворох, и мы, опасаясь раскрытия нашей тайны, когда, по уходе Володи в гимназию, будут прибирать его комнату, догадались использовать темную спальню генерала, где небольшими пачками засунули за платяной шкаф всю типографию, которую он так жаждал обнаружить. Может быть, это было не особенно благоразумно, но зато в духе самых занимательных романов, хотя еще не детективных, потому что таких в наше время еще не писали и не читали.

Обыск, в ту же ночь произведенный генералом, имел скандальный неуспех: даже пятен от гектографических чернил не было обнаружено, и руки хозяев оказались чистыми. После Лукин говорил нам, что кто-то все же был арестован, одна-

ко скоро выпущен: не было никаких решительно улик. Несмотря на воскресенье, генерал в день после обыска вызывал в свою личную канцелярию и громил на чем свет стоит разных людей, а Володя, прислушиваясь, замирал в восторге и ужасе. Говоря по совести, мы были напуганы своей собственной проделкой и только спустя несколько дней решились извлечь из-за шкапа и вынести из дому нелегальную типографию. Под вечер в двух пакетах мы унесли ее за город и закопали в глубокий снег среди первых деревьев леса, подходившего почти к самому городу. Бумаги мы догадались сжечь в печке дома. Подвиг был закончен — и наступило успокоенье.

Что было дальше? Дальше мы кончили гимназию, то есть литературу «до Гоголя» и историю до освобождения крестьян. Володя стал инженером, я — адвокатом, братья Черных врачами, уже меньше похожими и не замещавшими друг друга у постели больных. С Константином Лукиным мы жили вместе в Москве на Бронной в Гиршах, но только до второго курса, когда я впервые был сослан на родину, а он гораздо дальше, я вернулся, а он умер от тифа на сибирском этапе. Вообще дальше была жизнь, не вполне предусмотренная классической литературой и гектографированными листками, но и не столь уж неожиданная для прятавших типографию за шкап жандармского генерала.

## КАТЕНЬКА

Вот один из снов, которые повторяются:

Нужно отыскать переулок и дом в очень знакомом городе; от главной улицы либо два, либо три квартала (точно не помню), да квартала четыре налево. У нас всегда считали на кварталы. И вот я иду сначала спокойно, потом с легким сомнением, а к концу — бегом, волнуясь и с растущей уверенностью, что ни улицы, ни знакомого дома мне не найти. Потемнело, и горят фонари, и пустынно, до странности. Все обещал, всю округу, — а дома нет и нет нужной улицы. Вернуться как-то безнадежно, а если идти вперед, — там начнется лес и родятся страхи: если начнется этот лес — ему конца нет, и в нем навсегда потеряешься. А если бы найти этот домик (низенький, угловой, вход в него не с улицы, а через ворота), — найти бы его — и все бы стало ясно: в этом домике теплее и ласковее, чем во всех других домах и во всех городах.

Просыпаюсь (или только кажется) с большой тоской, а опять заснув — снова ищу понапрасному низенький домик в шесть окон по фасаду — и нет его.

Вот этот сон повторяется чаще, чем другие (чем полет с обрыва или наводнение, застигнувшее на острове). Интересен он тем, что и город, и улица, и домик, — все это из детства и из юности. Такой домик действительно был, принадлежал чиновнику казенной палаты, нетрезвому человеку Чикину, и жила в том доме Катенька, друг моего детства, моя несчастлившаяся невеста.

Ее нужно описать с нежностью. Катенька красивой не была, но была лучше, чем красивой: миловидной, тоненькой, нежной. Природа отдала ей в пожизненное пользование самые добрые глаза на свете и самые трогательные ручки, о которых я вспоминаю, как о необыкновенной прелести. Как все Катеньки, она была светлой блондинкой, светлейшей — моточком светлого льна. Лучше всего она произносила слова: «Ну что это, ну!» Она часто говорила мне колкости и дерзости; получалось же так, что колкость и дерзость летят прямо в лицо, а как долетят — рассыпаются одуванчиком и только щекочут: это потому, что она одновременно посмотрит самыми добрыми на свете глазками и улыбнется. А на лице вопрос, очень осторожный: «Ну, разве вы не видите, что немножко...» Я, по молодости, ничего не понимал, хотя Катенька мне очень нравилась. Лет нам было поровну, но Катеньки еще в гимназии делаются женщинами, мы же и в университете — недогадливые мальчишки; а я долго был, по-видимому, желторотым.

Мне так казалось, что для романа нужна неведомая женщина со жгучими загадочными глазами, а человека должна сжигать страсть. Никакая меня страсть не сжигала, ни прежде, ни потом, такая досада. Катенька же ничего общего с огнем не имела, была вроде снегурочки, только теплая; но у нас на севере снег вообще теплый, мягкий и ласковый, — южане этого не понимают. Если бы Катеньку сжечь, от нее остался бы не пепел, а ложечка воды, что-нибудь вроде росы; сама же она была незажженной белой восковой Божьей свечкой.

Еще нужно прибавить, что была Катенька умной и по-своему хитрой; я думаю, что она меня очень любила, — а вот ничего мне об этом не сказала. Под ручку мы ходили часто и, у ее ворот подолгу прощались (когда я ее провожал с катка). Но как прощались? Она заранее снимала перчатку (руки в муфте), я тоже снимал, и мы, прощаясь, шутивно раскачивали руки, чтобы подольше не отнимать. Но чтобы пожимать по-особенному — этого не было. Другим девушкам я пожи-

мал, вкладывая в пожатые целые фразы, — настоящая азбука Морзе; и они тоже пользовались таким телеграфом, — а Катенька никогда. Потом скажет: «Ну, будет, холодно», — а сама уходить не торопится. Так постоим — и опять прощаться.

Только один раз случилось — хотя отчетливо я не помню, — что я как-то забаловался с ее рукой. Это было дома у нее. Щечкой приложился или как. Катенька все смеялась, а тут замолчала. И я в тот момент подумал, что — вот, как странно и хорошо. Но больше, право же, ничего не было.

Сначала годы гимназические, потом я приезжал студентом, а Катенька стала изящной барышней. И опять я ее провожал домой, болтал и важничал (я уже курил и носил пенсне). И хотя были мы очень дружны, часто виделись, хорошо говорили (только редко — по-серьезному, больше в шутку, всякую чепуху), — но романа между нами никакого не было. На Пасху целовались — но это не считается. Да и не целовались, а христосовались. У меня нос большой, а у нее маленький, и она говорила: «Ну, вас, неудобно». Глаза же ее, самые добрые на свете, говорили что-то другое, да я не понимал, и некогда было: на мне был отличный студенческий сюртук, и я важничал.

Когда я стал писать рассказы и думать, что такое любовь, — вот тогда мне впервые пришло в голову, что Катенька меня, кажется, любила, да и я, пожалуй, любил ее, только, по мальчишеству своему, не понимал этого. Оттого и не понимал, что считал любовь раскаленной печкой и безводной Сахарой и что должны быть всякие мучения и события, одним словом — беллетристика. Поняв же, я с тех пор часто стал вспоминать Катеньку и думать, что вот шли наши пути рядом — и не пересекались. Где она теперь?

Во всяком случае — она была далеко. Я в ту пору уже шагнул по морям, карабкался на скалы, за вихор вытягивал себя из болот, — делал свою биографию. Все больше по разным столицам и государствам и на разных языках. Травертины, да мра-

моры, да билеты Кука; а то — пляжи, гроты, на лице ирония, на груди крахмал, в кармане пусто. Переживал разные штуки, — и скорее записывал, чтобы не пропало для человечества. Иной раз старая дева писала: «Не могу отогнать впечатления от прочтения»... — ну, мне и приятно. Ишиас завел, издал несколько книжек, вышел из партии, играл в винт с прикупкой, пересыпкой и гвоздем. Вообще стал фигурой, и человек пятьдесят мне завидовало: считали меня выше себя.

Почему это человек не сидит на месте, а слоняется по белому свету? Помню вот, села на географическую карту крохотная летучая таракашка и начала ползать: то на океан заползет, то в Италию, то сядет на Бриенцское озеро и сидит, крылышки чистит. И опять — на Монблан, перелезет во Францию, крылышки приподымет — и засеменит ножками к северу, в Норвегию, словно ее гонит ветер. Долго я наблюдал однажды такую путешествующую насекомую — и сравнил с нашей жизнью: много сходства! И зачем я бросал окурок в кратер Везувия, когда есть для этого пепельница в том самом родном городе, где родила меня матушка, не зная, что из меня получится. Странная вообще наша жизнь!

Так прослонялся я, курая разные папиросы, немало лет. Сначала носил бороду, потом стал ее брить, а то появились в ней седые волосы.

В городе, где я жил мальчиком, замостили боковые улицы и поставили электрические столбы: впрочем, книжный магазин остался, где был, и колбасная Ковальского тоже. Сам город очень разросся вдоль реки, так что подумывали о трамвае, — верно, теперь уже давно проведен.

Как бывало студентом — подплыл я к нему на пароходе, вышел с чемоданом, — а в чемодане лишний груз в двадцать лет, не то чтобы тяжелый, а все-таки. Извозчику было безразлично: кого везти, зачем человек приехал; лошади — тоже. Мне же было немножко сладостно — вернуться в родные края на краткую побывку, по делам общественным. Родных здесь давно

никого не было, знакомых имен не помнил. Одно помнил — имя Катеньки. И имя, и фамилию. И задумал: попробую я Катеньку разыскать, а как — увидится.

Был ненастный вечер, а я отсчитывал: два квартала прямо — три квартала налево, а может быть, и все четыре; а может быть, прямо не два, а тоже три. Поищем.

Вот тут немецкая кирка, а дальше забор, помню хорошо, — но на какой же это улице? Если теперь повернуть... где-то здесь и будет. Никак я не предполагал, что все дома похожи один на другой; раньше у каждого было свое лицо, ошибиться было невозможно. Теперь все старенькие, приземистые, в шесть окон по фасаду, вход со двора.

На одном повороте, много проблуждав, вдруг остановился. Двадцать лет назад стоял здесь, держал ручку, вынутую из муфты, маленькую и приятную:

— Ну, будет, холодно!

На сгибе другой руки висели коньки. А на моем пальто светлые пуговицы. Это было здесь, у самой этой калитки.

Спичку задувало ветром, но все же прочел: «Дом Чикина». Был такой чиновник, человек нетрезвый. Была у него жена, женщина молчаливая, добрая, неслышная. А Катенька была их дочкой.

Дальше, за калиткой, все знал твердо: и три ступеньки, и звонок слева, и в двери дырочку, через которую смотрят: кто пришел. Шаги же приблизились, как будто незнакомые:

— Позвольте спросить, здесь живет...

А мальчик ответил очень приветливо:

— Мама дома, я ее сейчас позову. Вы войдите.

Как трудно рассказывать, боюсь — не выйдет. Для нас, мужчин, годы — не такая тягость. Было двадцать — стало сорок; возмужал, может быть, немножко постарел, что называется, — успокоился, посолиднел. А для женщины...



Когда люди так встречаются — смотрят пристально, улыбаются, сразу разговориться трудно. Минутку смотрят на другого с любопытством (каков стал?) и сейчас же снова на него с тревогой (а какую нашел меня?). Очень странно так встречаться — после многих прошедших лет. Когда мальчик сказал: «мама дома» — я подумал: «Разве был у Катеньки братишка?» А тут вышла и сама Катенька... или это ее мать... нет, это Катенька сама.

Она сразу меня узнала и сказала:

— Ну вот, никогда бы не узнала, если бы встретила.

— А узнали же!

— Потому что слышала, что вы приедете. А то бы ни за что. Усы отрастил, и вообще. Столичный какой-то. А уж сама я... молчите, пожалуйста.

Потом торопливо прибавила:

— А это мой сын, тоже Мишка. Одним словом, садитесь, потому что тут темно. Я сейчас принесу другую лампу. Ну, наговорила вам сразу глупостей.

Тогда я протянул ей снова руку, и мы стали качать руку, как бывало. А Катенька взглянула на меня самыми добрыми на свете глазами, только очень смущенными. Вот тут она была уж совсем прежней, может быть, потому, что и правда — было в комнате темно. Но только совсем, совсем прежней.

Потом вошла с лампой другая женщина, и полнее, и солиднее, и много старше, — и все-таки это была она же, ошибиться было невозможно. Очень трудно рассказать, и очень досадно, что все мы с годами изменяемся и стареем, — лучше бы остаться, какими были. Неостроумно все это придумано.

И мы стали понемногу разговаривать. Говорим, а голова думает о другом, и глаза смотрят и смотрят, рассматривают с жадностью, — что жизнь с нами наделала. Сознаться же, что смотришь, нельзя, нужно скрывать, будто бы и смотреть нечего: ничего особенного не случилось.

Нет, мне этого не рассказать. Очень уж трудно.

Катенька овдовела. Когда рассказала об этом, слышно было по ее тону; что она мужа не любила. Потом я узнал, что он был плохим человеком.

— Мишку моего видели? Он ничего себе, не совсем дрянной мальчишка. А Мишка он потому, что в вашу честь.

— Уж будто бы, Катенька?

Она сказала поспешно:

— Ей-богу, ну правда же! — И, смеясь, перекрестилась.

Хоть и смеялась, а по глазам я увидел, что, может быть, и вправду в память обо мне она дала имя своему сыну. Не поймешь женщин — странные они.

Умер и чиновник, нетрезвый человек, ее отец. И мать умерла. Как прежде — поселилась Катенька в угловом доме, низеньком, старом, по фасаду шесть окон, вход со двора.

В первый вечер мы засиделись у нее поздно, говоря о пустяках и не очень оживленно. Больше друг к другу присматривались. Я про нее так скажу: конечно, — сильно изменилась Катенька, попросту говоря — постарела. И те же черты лица — и не те же: где припухлость, где морщинка, подбородок стал иным. Была в ней очаровательная свежесть — а уж теперь какая же? Но стоило закрыть глаза и слушать голос — возвращалась прежняя Катенька, мой друг детства, ужасная злючка и придира с добрейшими в мире глазками. И те же маленькие и теплые ручки (если их взявши — закрыть глаза).

Не знаю, что она обо мне думала. Что-нибудь такое же, не хуже. Мужчину года не так меняют, и я не был старым.

Если тут, в рассказе, сделать пропуск дня в три, то окажется, что опять мы сидим вечером на диване и тихо говорим, — я к ней приходил каждый день. Теперь мы говорим с откровенностью людей зрелых и на свете поживших. Говорим о том, почему так вышло, почему раньше (когда имело это смысл) линии жизней наших не встретились и не переплелись? Она мне прямо сказала, что любила меня по-настоящему, очень долго, даже когда выходила замуж. А я рассказал

ей, что вспоминал о ней, когда вброд переходил моря и вперелет — горы.

Надо было нам во всем этом признаться раньше, когда стояли у ворот зимой и студили руки без перчаток. Тогда бы — ох, как хорошо было! Теперь же как будто поздновато...

В тот, в третий вечер случилось, что оба мы про себя подумали: а может быть, не поздно еще? Большая была в душе у нас обоих нежность, даже до жути. Стоял домик на тихой улице, темной, непроездной; был в комнате полумрак, скрывавший борозды времени. И будто мы вернулись к тем дням, к началу нашей молодой жизни. Мы еще не были стариками — отчего бы не стать молодыми, не наверстать ушедшего времени, не поправить ошибки?

Признаюсь, — был такой момент. Тикали стенные часы, а мы переживали свои минуты и все хотели обмануть и часы, и минуты. И тут, неслышно, в одних чулках, вошел мальчик Миша проститься перед сном с матерью. Посмотрел на меня умными и застенчивыми глазами, потом матери на шею — прощай. И сразу мы отрезвели: на лицах морщины, на сердцах морщины, за плечами годы.

— Мне тоже пора. Завтра утром дела, а вечером — в дорогу.

Она мне ничего не сказала. Только: «Счастливого пути». Я сказал: «Не забываете». А она: «Я и не забывала».

С тех пор я часто вижу сон: будто я ищу улицу и дом в родном городе и все не могу найти, сбиваюсь. Сначала ищу спокойно, потом с растущим сомнением, потом непомерно волнуясь, — не найти мне его! А если выйти за круг — там начнется лес и начнутся страхи. И лесу этому нет конца — поте-ряешься в нем навсегда.

Из многих повторных снов — этот самый частый. Хоть и привык я к нему, как и к другим снам привык, — все же, проснувшись, долго чувствую большую тоску и беспокойство.

## ПРОХОДЯЩИЕ МИМО

Одни люди встречаются нам на жизненном пути, берут нас под руку — да так и идем, либо до перекрестка, а то и до самого конца: это — герои и героини нашего романа. А другие люди проходят мимо или обгоняют на боковой тропочке, ни локтем, ни взглядом не зацепивши.

Без первых не было бы у нас биографии, а зачем вторые — не знаю. Иной художник пишет картину, и все главное в ней понятно, а еще зачем-то поставлено близ угла красочное пятнышко; зачем — неизвестно, а нужно, с ним лучше. Это — как завитушка при подписи или как цветок в петличке серого пиджака.

Проходя мимо антикварной лавочки, видим за стеклом фарфоровые фигурки: пастушка, болванчик, музыкант, поп с крестьянской девушкой, мальчик делает в посудину детскую неприличность, барыня держит веер весь в дырочках, еще что-нибудь. Так и люди, мимо нас прошедшие, — никакой нет у них общей истории, и с нами не связаны ничем, а заметались случайно и по временам всплывают в памяти: покажутся и исчезнут.

Например — почтовый чиновник Нагорничных, которого я знал давно в провинции, и еще некоторые.

Нагорничных, Валентин Трифионович, был известен не только редкостной фамилией. Станных фамилий у нас было немало; был, например, газетный сотрудник Неузсихин, который так и подписывался под статьями; другие газеты ух-

мылялись и писали: «Скажите, пожалуйста, — писали, — даже г. Неузсихин не одобряет последних мероприятий правительства!» Но господин Нагорничных, при совершенно невероятном росте (он был раз навсегда выше всех), имел на плечах маленькую круглую розовую голову с голубыми глазами и вечной улыбкой, очень приятной, и не заметить его было невозможно. Он служил на почте, но не у окошечка (пришлось бы ставить окошечко много повыше), а кем-то внутри, не на публике. На публике же он выступал с чтением стихов, потому считал себя самородком по части декламации.

И когда он читал стихи, то вытягивал свои губы в трубочку, точно сейчас засвистит; а вместо свиста говорил:

Украшают тебя добродэт-тели,  
До которых другим далеко, —  
И беру небеса во свидэт-тели —  
Уважаю тебя глубоко!

Он считал это лучшим произведением Некрасова. Но когда хотел (на бис) поразить и вызвать слезы, то сгонял с лица улыбку и тонким, но мощным голосом, вытаращив голубенькие глазные яблоки из их щелок, кидал с чувством:

Но не лучше ли, прежде чем брос-сим  
Ей в лицо приговор-р-р-роковой,  
Подзовем-ка ее да расспрос-с-сим...

И тут действительно рывкал:

Как (*пауза!*) дошла ты до жизни такой?

Очень большое производил впечатление. Главное — человек огромный, точно с потолка говорит. На афишах он именовался буквой «Н» со звездочками, а не полностью. Но уж мы знали, если «Н» со звездочками — значит, господин Нагорничных.

Вот и все о нем: прошел и ушел. Но тут попутно сейчас же вспоминается бас Ташентух из мехового магазина, солист.

В любительских концертах они выступали часто один за другим — и до чего же были непохожи! Бас Ташентух, несостоявшийся великий артист, был роста неудобного для мужчины; так, господину Нагорничных он приходился до грудобрюшной преграды. Правда, он надевал каблуки и причесывал волосы дыбом вверх, — но не помогало. И был он очень черен от волос, даже в бритом виде. Когда же открывал рот для пенья, то весь как-то исчезал, а рот оставался. Голос же у него был невероятно громкий и такой, что в груди не задерживался, а весь сразу выходил наружу, заполняя даже большую залу.

Незаметно работая по меховому делу, бас Ташентух сразу делался заметнейшей величиной, когда в город приезжал крупный музыкант, певец или же опера. Он тогда появлялся всюду с таким видом, что казалось, будто это он и приехал давать концерт. К нему обращались с расспросами и даже за скидочными билетами, и он все мог рассказать и все сделать. Очень уж он любил музыку, и, я думаю, отлично ее знал. Если бы не неудобная наружность да не меховая помеха, он мог бы очень выдвинуться на музыкальном поприще. Так в провинции пропадают таланты!

Сам он выступал у нас главным образом с двумя любимыми ариями: Сусанина из «Жизни за царя» и Гремина из «Евгения Онегина»; а на бис пел Мельника из «Русалки».

Нужно сказать, что Шаляпина тогда еще не было, а ведь это Шаляпин ввел, что Сусанин слова «Чуют правду» цедит сквозь зубы, негромко и из глубины. Раньше же эти два первые слова певцы грохотали во все легкие. Бас Ташентух тоже так делал: сразу потрясал залу, так что казалось, что дальше и говорить не о чем. А он, дойдя до слов «про царя», — дальше переходил в нежное мычанье, напирая на букву «у»:

Ту-у-взуйдешь-у-муя-у-зуря...  
Взгляну-у-в лицу-у-у твоему...

А как он пел слова: «В мой смертный час, в последний час», — этого я просто не могу передать! Было в его голосе некоторое дребезжанье, единственный недостаток, и потому на слове «смертный» зала раскалывалась пополам, и было очень трудно сидеть на стуле, а с потолка падали чешуйки высохших белил.

В нашей газете рецензент, который подписывался под статьями о драме «Маска», а под статьями об опере и концертах «Диэз», писал:

— «Г. Ташентух, незаменимый любимец публики, дал незабываемый образ Ивана Сусанина».

Теперь, без всякой связи с предыдущими, расскажу еще о чете Акулишиных, тоже из нашего города.

Акулишин был нотариусом; человек почтенный, в городе всеми уважаемый, лет пятидесяти пяти. Со своей женой, Еленой Пахомовной, он разошелся по причинам мне не известным. Она, правда, выпивала, особенно любила рябиновую, но, кажется, начала выпивать уже после того, как они разошлись. Она была на вид, а может быть, и действительно, много его старше. И не жили они вместе уже лет пятнадцать.

Город наш маленький, не встречаться нельзя. Знакомые приглашали их порознь, чтобы не вышло неприятности, но на улице, особенно на главной, которой, куда ни иди, никак не минуешь, им приходилось часто встречаться.

Госпожа Акулишина была ядовитой женщиной — при всей своей бедности. Чем она жила — не умею сказать; то ли шила белье и платья, то ли имела от мужа какую-нибудь условленную пенсию. О нем она говорила всегда с крайним негодованием, называя его «выдающимся мерзавцем». Это, однако, несправедливо и пристрастно, потому что нотариус был хорошим человеком, дурного о нем никто другой сказать не мог. Он же про нее разговаривать не любил, только презрительно фыркал: «А ну ее!»

Но почему я о них рассказываю — это из-за обычной сценки при их случайных встречах на улице. Сотню раз они встретились — и сцена всегда была одна; точно они разучили ее нарочно для публики и, ввиду успеха, неизменно повторяли. И мы, хотя очень привыкли, а невольно останавливались и смотрели, как это происходит.

Увидав бывшую свою жену, нотариус Акулишин выпрямлялся, становился моложе и бодрее, поправлял галстук, застегивал пуговицы пальто и, поравнявшись с нею, приподымал вежливо шляпу и галантно спрашивал:

— Еще не изволили издохнуть?

На что она, так же любезно, с достойным поклоном, на ходу отвечала ему отчетливо и раздельно:

— Не хо-чу и не ум-ру!

И все это с достаточно приветливыми улыбками и громко, проходящих несколько не стесняясь.

Иные у нас были на его стороне, другие на ее, а в общем, все привыкли и к обоим Акулишиным относились хорошо и спокойно. Действительно — живут люди, и никому жить не мешают, даже и друг другу. Что же до личных их не совсем правильных отношений — тут уж ничего не поделаешь.

Еще был у нас один человек, земский статистик, который ходил боком. То есть, конечно, не совсем боком, а так казалось. Я думаю, что он просто ссиделся от постоянных занятий, и когда выходил, то совершенно расправиться не мог. Шел он всегда правым боком вперед, а под левой мышкой держал много книг. И вот почему-то казалось, что правая нога, вместе с калошей, у него побольше, а левая поменьше, и то же с руками. Может быть, это от перспективы, и называется, кажется, в «ракурсе», хотя точно не знаю.

И вот, бывало, встретишься с ним так, что нужно, чтобы разойтись, посторониться; у нас тротуары на боковых улицах были деревянные, и иногда доски не хватало, проход оставался узкий. Казалось, ему бы, при привычке ходить боком,



так и нужно остаться, чтобы занимать меньше места; а он, наоборот, именно тут как бы расправлялся, повертывался к вам либо всей грудью, либо всей спиной, смотря по тому, с какой стороны попадешь. И получалось неудобно.

После того, что я о нем рассказал, вы легко поймете, как мы удивились, узнавши, что этот человек, ходящий боком, написал книгу, и про книгу его пошел большой разговор не только у нас в городе (у нас-то меньше), а по столичным газетам. В первый же день, как я об этом узнал, я нарочно в начале пятого часа вышел на улицу, которая вела к Земской управе, и по которой он всегда возвращался домой. Меня заинтересовало, неужели он и сейчас, так прославившись, пойдет боком?

Сразу издали увидал: идет! И идет, как всегда, — правое плечо вперед. Судьбе же было угодно, чтобы мы как раз столкнулись на трудном и узком месте, так что я мог очень близко его рассмотреть. Когда он ко мне повернулся, то я увидал над плохой белокурой бородкой и обыкновенным носом — очень красивые и очень грустные глаза. От славы — ничего: ни гордости, ни радостного выраженья! Меня это, признаюсь, очень поразило. С тех пор я стал думать, что известность сладости не дает, и перестал к ней стремиться, хотя шел в гимназии третьим учеником (первым был заика, а вторым сын городского головы).

Прибавлю, что впоследствии, как я узнал, этот боковой человек был в нашем городе во главе революции. Вот уж нельзя было предположить! Где он сейчас — ничего не знаю.

Можно было, напрягши память, рассказать и еще о многих людях, в жизни прошедших мимо, прямо ли, боком ли, но от-лично от других, оставив в памяти след. Насейчас будет пока и об этих.

## «ИЗВЕСТНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ»

Перебирая в памяти встречи с замечательными и не очень замечательными людьми, отступая для этого во времена достаточно давние, я ловлю себя на нечаянной мысли:

— Что значит, собственно, «замечательный человек»? Имя которого общеизвестно? Который попал в энциклопедический словарь? Совершил подвиги? Полвершком перерос современников? Оскандалился на весь мир? Позабавил два поколения?

В семидесятые годы и в русской деревне слыхали про «га-рибалку», в наши дни славилась «атаман Маруся». Вспыхивают имена и сейчас — может быть, скоро забудутся, а то — войдут прочно в историю.

Это дает право вспоминать о замечательных людях, имен которых не слыхали нигде, кроме того провинциального городка, в котором протекло мое детство, да и там их за сорок лет забыли начисто. Иных из них знал весь город, других только наша улица.

У нас, например, было в городе сразу два барона, — это на уральских-то отрогах! Один был председателем, другой членом окружного суда. Один барон, по фамилии Зальца (ударение на конце), был тем замечателен, что курил великолепные сигары — единственный в городе. По знакомству, сигарные ящики доставались мне, и я выпиливал из них рамки, палочки, коробки, ножи для разрезывания бумаги, туфельки для

карманных часов и еще разные полезные и изящные вещи. Из-под лобзика ароматная пыльца летела в нос, и случалось, что я пропиливал палец; мать обкладывала мне порез паутинной и перевязывала, как куколку. Барон Зальца был огромен, лыс и очень шумен — человек совсем особой породы. Он любил играть в херсонский вист, оглушал и закуривал всю квартиру и предсказывал мне блестящую адвокатскую деятельность, которая осуществилась, но современниками не оценена. Садясь в извозчичы санки, барон их раздавливал, и не один я считал его самым видным и замечательным человеком в городе. Потом его перевели председателем палаты в Казань — вот и все. В городе сразу опустело.

Другой барон, по фамилии Медем, имел рыжие бакенбарды, каких в наших краях ни у кого не было. Был высок и худ, многодетен, тих и порядочен. И опять-таки — больше ничего. Но он был барон, и это делало его человеком исключительным, хотя и уступавшим по значению главному барону — Зальца.

Кроме двух баронов, еще была Марья Павловна Керен, с фамилией немецкой, но женщина руссейшая, игравшая в городе роль толстовской Марьи Дмитриевны Ахросимовой. Подобно ей, она «держалась прямо, говорила так же прямо, громко и решительно всем свое мнение и всем своим существом как бы упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала». Она была богата, но жила одиноко: с кухаркой Анфисой и ее мужем, кучером. Была природной помещицей в нашей непоместной губернии, имела кусок леса, поле и большую избу — дачу, где и проводила лето. Не было скандала и события, в которые бы не вмешалась Марья Павловна и за которые бы не намылила головы виновным, — и все ее слушались. Больше всех она любила мою мать, женщину кроткую, которую журить было не за что, — и все-таки она постоянно журила. Мне же она приходилась крестной матерью, дарила на именины

три рубля и однажды прямо сказала, что в ее духовном завещании помянуто и мое имя. Я понял так, что достанется мне после ее смерти рублей сто; суммы выше еще не было тогда в моем детском представлении. Но, не будучи корыстным, не размышлял над возможным сроком моего обогащения. Случилось, что к старости Марья Павловна, сохраняя власть и влияние в городе, подпала в собственном своем доме под свирепую и самодержавную опеку Анфисы и кучера, без которых не могла обходиться. Им она еще при жизни отказала свои дома, а по ее смерти не нашли ни денег, ни завещания. Родственников у нее не было, и ее очень скромно похоронили. Будто бы тут была какая-то уголовщина, но очень ловко прикрытая, я же своих ста рублей так и не получил. Имя ее осталось неизвестно историкам, наш же город потерял еще одного, поистине замечательного человека, и все это ясно ощутили.

Или, например, извозчик Корнила. Ручаюсь, что его знал весь город! Он был первым и лучшим извозчиком, и не из тех, которых можно нанять на углу или поманить рукой. Он подавал только самым выдающимся людям, и тот, кого он вез, делался предметом общего внимания и уважения, если не пользовался ими раньше. Ему приходилось возить даже губернатора и всегда — приезжих уральских богачей. У него была синяя суконная полость, отороченная мехом, и настоящий кучерский наряд, как у московских лихачей. Лицо его было красно от вечного пьянства, в брюхе его лошади громко хлюпала печенка; по крайней мере, он так объяснял — и этим гордился. Когда он гнал по Сибирской улице, — городские останавливали движение возов с дровами и сеном, так как знали, что едет кто-нибудь влиятельный. В дни Пасхи и Нового года на Корниле делал визиты самый модный человек, и на этом можно было создать карьеру. Заполучить его было нелегко — приходилось сговориться с ним загодя, перегнав других, менее предусмотрительных. В нашем городе мало кто мог слышать о Корнеле, но имя Корнилы знал каждый грамотный и даже неграмотный.

К дням моего студенчества Корнила был уже в упадке, как и его лошадь с печенкой, как и его полость, и весь его наряд. Появились извозчики более блестящие, но не известные по имени. Знатные иностранцы предпочитали пользоваться ими, но мы, местные жители, все же отдавали предпочтение ему. И когда приезжал домой на праздники, а в Новый год ехал делать визиты в сюртуке и при шпаге, я обеспечивал себе Корнилу на весь день — и прямо скажу без излишней скромности, что не только гимназистки, но и молодые дамы разговаривали со мной иначе, чем с другими, а один городовик по ошибке отдал мне честь.

Из числа замечательных людей помню еще Симановича, владельца музыкального магазина на главной улице. Он был тем замечателен, что никогда не сидел в магазине, а всегда находился у его порога, и летом, и зимой. И никогда не был в покое, а всегда в движении. Движение состояло в том, что он пожимал руки проходящим, — знал же его, конечно, весь город. Пожимая руку, он дарил улыбкой и словом каждого, причем руку закруглял и еще шаркал ножкой. И как бы ни была кратка сказанная им фраза, она содержала что-нибудь музыкальное: будете ли в концерте? слышали ли о новой опере? любите ли цыганские романсы? учитесь ли играть на рояле? Иной человек только и знал по музыкальной части, что «Под вечер осени ненастной», а что-нибудь отвечать Симановичу приходилось, ну хоть «благодарю вас!». А кончилось тем, что наш город прославился как самый музыкальный на всей Каме, и даже городское управление пригласило на свой счет оперную труппу на весь зимний сезон. Я считаю — да и все считали, — что именно Симанович развил в нас страсть к музыке улыбками и рукопожатьем, избежать которых, проходя по его стороне улицы, было невозможно; на другую сторону улицы он только кивал и махал ручкой.

Я упоминаю только о людях вечных, старожилах; что толку, если появится в городе заезжий человек, блеснет и исчезнет; таких бывало много, особенно летом, при пароход-

ном движении. Высадится, пройдет по Сибирской улице, возбудит внимание, — а потом окажется, что это был знаменитый казанский фельетонист Зоил, или адвокат из Екатеринбурга, бывавший и за границей, или даже сам путешественник Миклуха-Маклай! Ну, — поговорим, поволнуемся и успокоимся. Но ради таких случайных выскочек мы не изменяли своим великим людям, которых было все-таки немало. Так, был у нас свой фельетонист, по фамилии Кричевский, по псевдониму Кри-Кри. Как он писал! Сколько яду он вкладывал в свои короткие строчки в неофициальном отделе «Губернских ведомостей»! Начальства, правда, не трогал, но отцы города только зубами бессильно скрипели. Ни одна лужа на главной улице, ни одна у забора скончавшаяся кошка не ускользали от его внимания и обличения, — а ведь сколько было луж и покойных кошек!

Писателей своих у нас, правда, не было. Писатели рождаются преимущественно в Московской и Саратовской губерниях, реже в Орловской, иногда в городе Лебедяни (Замятин, Ляшко). Но был поэт из кантонистов, учитель чистописания Михаил Афанасьевич, ходивший зимой в дамской кацавейке мехом наружу. Иногда я читаю произведения нынешних поэтов (когда присылают) и думаю, что по части размера, ритма и рифмы Михаил Афанасьевич был все-таки посвободнее, посмелее. Писать под Тютчева — не велика мудрость, только ставь неправильные ударения; Михаил же Афанасьевич писал ни под кого — под самого себя! Две строчки ровные, а третья как разбежится — раз в десять длиннее, и ничего невозможно понять, как и сейчас. Он писал так не по неумению, а по убеждению и вдохновению, разумно отрицая каноны казенной поэтики. Так что это не сейчас придумано — было и раньше. Он начал писать стихи десяти лет, кончил девяносто двух, в день смерти. Я не шучу — его знали за пределами нашей губернии, и в день одного из его юбилеев был выпущен сборник приветственных писем и статей его учеников, то

есть не поэтов, а обученных им чистописанию. Его произведения не печатались, а ходили в списках и заучивались наизусть, а его рукописи съели мыши и сожгла неразумная квартирная хозяйка, уже после его смерти.

Захотев и располагая местом, я бы мог назвать еще многих замечательных людей, которых знал лично и о которых и не было и не осталось памяти ни у кого, кроме моих земляков. Но я опасаюсь несерьезного отношения читателей, больше всего — предубеждения, что замечательные люди должны быть общеизвестны и отмечены историей и словарями. А так ли? Никому не известного нашего поэта Михаил Афанасьевича, по фамилии Афанасьев, ни Брокгауз, ни Ефрон, ни Гранат, ни даже популярный Павленков не отметили, ни даже словарь русских писателей Венгерова, в котором названо пятьдесят других писателей Афанасьевых, а нашего так-таки и нет!

В словаре Даля приводится такое объяснение:

«Слава — как кто-либо слывет, прослыл в людях; молва, общее мнение о ком, о чем-либо, известность по качеству».

Итак — известность по качеству человека, а не по количеству его знающих. Запомним это твердо! И уж что касается до качества людей, о которых я здесь писал, то будьте покойны!

## ПОЭТ

Учителя чистописания женской гимназии звали Михал Афанасьич Афанасьев.

Учителя чистописания мужской гимназии звали Африкан Сидорыч Сидоров, а по кличке Африкашка.

Судя по тому, что отчества у обоих совпадали с фамилиями, а также по другим признакам и по преданию, было несомненным, что оба они выросли из кантонистских детей; первого крестил отец Афанасий, второго отец Сидор, или же имена эти носили их приемные отцы. В городе нашем таких кантонистских детей было много, и все они были уже стариками.

Африкашка был человек серьезный и положительный; учил он писать палочки и загогулины и марать тушевкой кубы и шары. Отметки ставил всегда с плюсом или минусом. Три с плюсом и еще три с плюсом давали в выводе полных четыре балла, потому что:

— Плюс значит половина. Плюс да плюс, — один. Сосчитай — и поймешь, как это получается!

Мы ничего против не имели и Африкашку любили. Он был косой. Когда он грозно смотрел на одного ученика, его сосед в страхе подымался. Тогда Африкашка переводил глаза на него, — и сейчас же в испуге подымался следующий. Так Африкашка и не мог никогда попасть глазами на того, к кому действительно обращался.



Порицание и одобрение Африкан Сидорыч выражал одним словом, только с разными окончаниями. Слово это начиналось на букву «г», а кончалось на «няк» (порицание) или на «нячок» (одобрение). Я, например, получал обычно четыре с плюсом (в выводе пять), и потому именовался «г...чком». Это было ласково и очень приятно.

Михал же Афанасьич таких слов не употреблял, так как, во-первых, учил девочек, а во-вторых, был поэтом. О нем я и хочу рассказать, а Африкашка мне припомнился только кста-ти, в параллель. Впрочем, они между собою дружили.

Михал Афанасьич, достопримечательнейшая в нашем городе личность, был ростом мал, лицом кругл, брит и улыбчив. Брился он иногда, не часто, и потому был повсеместно щетинист с сильной проседью. Носил длинный старый сюртук, под которым не было видно, целы ли панталоны, и какого они, приблизительно, были раньше цвета. В зимнее время он носил не то шубку, не то дамскую теплую кацавейку, рыжеватым мехом наружу и с буфами на плечах. На каждом рукаве было нашито по меховой же, только другого цвета, манжетке, вроде муфты, и слиянием этих муфт он грел себе руки. Шапка круглая, вязаная, отороченная мехом, но с козырьком-наглазником, а шею он закутывал высоко шарфом очень сложного цвета.

На ходу Михал Афанасьич мелко перебирал ногами и часто останавливался, поворачивался всем туловищем и смотрел по сторонам, не видно ли знакомых. Знаком же ему был весь город, от мала до велика, от пригостишки до вице-губернатора. Все ему кланялись, и всем он кивал и посылал неизменную улыбку, вроде улыбки Моны Лизы, но только подобнее и поуловимее.

Потому все знали Михал Афанасьича, что он не появился откуда-нибудь, как это бывает с другими, а существовал всегда, до начала города и появления первого человека. Вероятно, он именно и был этим первым человеком. Это не значит,

что он был стариком. Ни определенного возраста, ни определенного пола у Михал Афанасьича не было, — по крайней мере, он не казался слишком старым и не предполагался мужчиной. Не было у него и биографии, то есть какого-нибудь прошлого. Повторяю, он существовал, на памяти старожиллов, всегда, в том же возрасте и в той же дамской шубке мехом наружу, которую он неохотно снимал и летом.

Жил Михал Афанасьич в маленькой чердачной комнатке старого деревянного дома. Никто у него не бывал, сам же он бывал у всех и всюду, везде встречал привет и ласку, так как он не засиживался, а, погостив четверть часа, шел еще к кому-нибудь. Ни одно праздничное собрание, ни одно театральное представление, ни один концерт не обходились без присутствия Михал Афанасьича, хотя никогда в своей долгой жизни он не покупал (да и не мог купить) входного билета и не получал приглашения. Он просто приходил и присутствовал. В театре он заходил в ложу и говорил:

— Здравствуйте.

— А, Михал Афанасьевич. А где вы сидите, Михал Афанасьевич?

— У вас в ложе.

На следующий же акт переходил в другую ложу или садился в партере на свободный стул.

Михал Афанасьич обучил чистописанию не менее двух-трех тысяч девочек, потом их дочерей и их внучек. Но не в чистописании дело: всех своих учениц и вообще всех в городе он научил любить поэзию, потому что сам он был прежде всего поэтом.

Неизвестно, читал ли он когда-нибудь Пушкина или Лермонтова, хотя имена их знал и произносил с восхищением, считая их равными себе. На уроках чистописания он заставлял учениц писать стихи, — но только свои собственные. При встречах, при разговорах он говорил стихами, — но своими собственными, тут же сочиненными. Многим он преподносил стихи, отлично переписанные, — но лишь свои собственные.

Ни одно событие в мире, в России или в знакомой семье не оставалось не отраженным и не отмеченным музой Михал Афанасьича Афанасьева. Атмосфера поэзии так же неизменно окружала его и всюду за ним следовала, как окружал Африкана Сидорыча и следовал за ним крепкий аромат нюхательного табаку с малинкой.

Поэзия Михал Афанасьича (будем говорить просто) была потрясающая и ужасна. Над его стихами смеялись, но редко кто не знал наизусть хотя бы пяток его стихотворений и экспромтов на случай.

Стихи лились из закутанного шарфом рта Михал Афанасьича свободным потоком, без задержки и во вполне законченной форме. Всегда окруженный детьми и взрослыми, он осыпал их блестящими своего дарования. Идя в их толпе из гимназии, он чеканил:

Вы дети прекрасной природы,  
На вас любовались народы.  
Вы домой обедать идете  
И в сумках отметки несете.

Это было правдиво, подходяще к случаю и вызывало неподдельный восторг.

Самому себе Михал Афанасьич дал оценку в двух незабвенных строчках:

О ты, поэт, Пушкину подобный,  
Твой талант пригодный!

Так как я еще гимназистом начал писать и даже напечатал рассказ, то пользовался любовью и лестным вниманием Михал Афанасьича, который не был ни горд, ни заносчив, ни завистлив и считал меня таким же собратом по перу, как и Пушкина. Однажды он мне посвятил, каллиграфически переписал и поднес стихи, в которых, по-моему, лишь одна строчка неожиданно растянулась не в меру:

О, милый друг, о, друг бесценный,  
Ты бескорыстный, неизменный,  
Прими мой дар, он дар священный  
Для меня должен быть и для тебя, если только  
не ошибаюсь,  
Как им, так тобой восхищаюсь.

И еще помню, как в театре, на опере «Демон», Михал Афанасьич поймал меня за пуговицу и, улыбаясь слезящимися глазками, подарил экспромтом по поводу пения провинциального баритона:

Елезаров в «Демоне» прекрасен,  
Горд, силен и ужасен,  
Над бездной адской он пролетал  
И проклятья всем посылал.  
Но добрый ангел прилетел  
И другую песню запел:  
Благословения всем посылал  
И демон в бездну упал.  
Итак, наш Елезаров  
Блестит светлее всяких алмазов!

Это было уже совсем недурно, и я попросил разрешения тут же записать чудесный экспромт, который на другой день стал известен всему городу.

Вполне допускаю, что Пушкин писал лучше, чем Михал Афанасьич. Но не допускаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог усомниться в искренней любви старого учителя чистописания к чистой поэзии. Этот человек, никому в жизни не причинивший зла, не завидовавший славе Гёте и лаврам Шекспира (он и имен их, вероятно, не знал), — всем, от мала до велика, примером жизни и опытом любви незаметно внушал, что выше жизненных благ и личных страстей — бескорыстное творческое горение, что в нем — истинный смысл бытия, в нем — утеха мизерного провинциального учителя чистописания, живущего на чердаке, не имеющего запасных панталон.

Оно возвышает его над толпой людей значительных и судьбою устроенных. Оно роднит его с великими, оно изъемлет его из быта и возносит к облакам. Червь ползущий, — но с крыльями Пегаса и лирой Аполлона! Конечно, директор гимназии, или даже учитель географии, или даже писец управления акцизных сборов — выше, почтеннее, значительнее, устроеннее в жизни, чем учитель чистописания женской гимназии. Но никто директора не любит, учителя географии боятся, писца не знают, — и все любят, все приветствуют, все знают поэта.

Ему дарит свою улыбку  
Дитя, протягивая лапку.  
И приветствует также взрослый  
И очень высокий, и низкорослый.  
Все в одинаковой мере  
Оказали ему доверье.

И, правда, так это и было. Ярко же проявилось по случаю юбилея Михал Афанасьича.

Какого юбилея — точно я не вспомню. То ли семидесятипятилетия его жизни (хотя вряд ли он знал день своего рождения), то ли — вернее всего — пятидесятилетия чистописательной деятельности.

Вдруг почему-то оказалось, что предстоит его юбилей. Это так всем понравилось, что начали готовиться. Гимназистки вышивали закладки, гимназисты купили в складчину пресспапье с запасной тетрадкой промокашки, учителя, тоже в складчину, решили устроить попойку, а все видные горожане подписались под адресом, отпечатанным в губернской типографии. Метранпаж типографии, человек опытный, нашел подходящую виньетку, служившую для музыкальных афиш: лира, венок и дудочка, вроде кларнета. Сбоку пустили амура, перерисованного с клише объявления о свадебных подарках. Текст адреса составил присяжный поверенный, а подписи пришлось

перенести сначала на один добавочный лист, потом на другой, на третий,— получилась целая тетрадка. И отовсюду посыпались поздравительные, письма, — изо всех уездов нашей губернии, из Сибири, из столиц и даже из-за границы, хотя, правда, из Финляндии. По всей России рассеялись ученицы Михал Афанасьича, и среди них, их мужей и детей оказалось немало людей с литературными и общественными именами, потому что приуральская наша губерния не скудна была талантами.

Ко дню своего юбилея и сам поэт заготовил ответное на все приветствия стихотворение, такое замечательное, что весь город потом повторял его отдельные строки, сопровождая невольную веселость самыми искренними словами симпатии.

Учителя обеих гимназий, прогимназий и епархиального училища так перепились в складчину, что директор побил свою кухарку, инспектор (по кличке «Савоська — грязный нос») заперся в комнате и пил один, не выходя, целую неделю, а Африкан Сидорыч, растрогавшись, назвал начальницу гимназии любимым словом, приделав к нему женское окончание. Сам Михал Афанасьич ничего не пил, слушал речи, улыбался, вытирал глаза очень серым носовым платком и сочинял экспромт за экспромтом, из них один весьма удачный:

Благодарю всех почитателей,  
Учеников, учителей и читателей,  
Пью их поздравления, при этом,  
Сияя внутренним светом.

Да, это был праздник любви, признания и поэзии. Сверх того, купец Болдырев, дочери которого учились в гимназии и который вообще был меценатом, прислал Михал Афанасьичу большой отрез бумази в клеточку и три высоких крахмальных воротничка на два номера уже, чем самая тонкая человеческая шея. Вышитых же закладок от учениц гимназии поэт получил свыше тридцати.

День юбилея был воистину светлым днем жизни Михал Афанасьича Афанасьева, поэта и незлобивого человека. В этот день его оценили, он думал — как поэта, а я думаю — как превосходного чудака, за всю свою долгую жизнь не догадавшегося причинить кому-нибудь неприятность, оклеветать, подставить ножку, даже просто — использовать в личных своих надобностях. Со дня юбилея поэт Михал Афанасьич воистину просиял внутренним светом, и сияние это проносил в душе и на лице до самой могилы. В кармане же костюма, сшитого им из бумазеи в клеточку, он с того дня неизменно носил свернутый в трубочку адрес и пачку самых избранных писем с приветствиями.

Умер поэт совершенно неожиданно и без подготовки. Правда, никто никогда не знал, здоров ли Михал Афанасьич или болен, крепок или непрочен, ест или голоден, в тепле живет или в холоде. Просто случилось однажды, что он умер и потому не пришел в гимназию.

Сначала удивились тому, что он не пришел на урок, потом — тому, что он умер: как-то раньше не случалось с ним ни того, ни другого. Так как и на другой день он не пришел на урок, то приятель его, Африкан Сидорыч, проведая об этом, решил к нему пойти. Придя же на чердак, Африкан Сидорыч увидал, что его коллега, учитель чистописания женской гимназии, лежит на постели бочком и ничком, свесивши одну ногу, уже одетую, в башмак с дырочкой.

Африкан Сидорыч потрогал его, смотря косыми глазами будто бы на лицо, а в действительности на спинку кровати. Оба, и живой, и мертвый, помолчали, а затем Африкан Сидорыч сказал:

— Эх, г... чок! Кажется, скапустился.

На похоронах Михал Афанасьича было много малышей, приведенных парами. По пути следования печальной процессии — по тамошнему обычаю — набросали веток пихты, а на крест повесили венок из той же пихты с бумажными розами и с лентой, на которой было написано:

*«Спи спокойный прах от любящих учениц.  
М.Ж.Г.»*

Я был тогда студентом в Москве, и смерть поэта случилась незадолго до приезда моего на каникулы. Очень меня заинтересовало, что случилось с бумагами Михал Афанасьича, кто ими распорядился. Оказалось, что «имущество» его описано и отдано под охрану заведующего канцелярией губернатора; я этого чиновника знал.

— Да какое же имущество! Старый сюртук, да меховая кофта, да еще бумазейная пара, вот и все.

— А книги и рукописи?

— Книг никаких не было. А рукописи были, целый ящик. Не рукописи, а отдельные листочки со стихами. Так их в ящике и оставили; простой ящик из-под сахара, либо из-под мыла, в углу стоял.

— Можно их достать?

— Бумажки? Конечно, можно. Ящик остался на чердаке в комнатке, и никто там не живет, очень комната прокисла. Если вам нужно — берите их себе, наследников нет. Только на что вам такой хлам?

Я все-таки пошел по адресу. Встретила меня старушка-хозяйка. Долго не могла понять, чего я добиваюсь:

— Ежели наследник вы, так костюмчика ихнего уж нету, татарин купил.

— А ящик цел ли?

— Какой ящик? Простой деревянный? Этот стоит, только плохой ящик, не обрадуетесь. Коли надобно — берите, мне он ни к чему. Ящик его был.

— А бумажки в ящике целы?

— Бумажки понадобились! Я, батюшка, бумажки повыгребла, там мыши гнезд навили, нечистота была.

— Куда же вы бумажки дели?

— Сожгла, батюшка, все пожгла. Аль не ладно сделала?



Я подумал и сказал:

— Ничего, бабушка, не беда. Ну, будьте здоровы, бабушка.

К чему, правда, ворошить бумажки поэта? Поиздевались над ним при жизни — и будет. Да и вся его сила была не в писанных стихах, а в обильных экспромтах на разные случаи жизни. Правда, догадливые поэты сочиняют свои экспромты накануне и заучивают их перед зеркалом. Но Михаил Афанасьич был слишком для этого бесхитроsten и слишком уверен, что всегда в нужный момент придет к нему вдохновение.

Я посетил и его могилу в дешевой, больничной части кладбища, но зато в целом лесочке пихт и молодых елок. Там у нас очень хорошо быть покойником: прекрасный воздух, много места, лесок. Холмик и крест над прахом поэта как сейчас перед собой вижу.

Я, грешным делом, думаю, что именно этот никчемный и неудачливый стихотворец — и был настоящим поэтом, в отличие от тех, кто искусно стряпает строчки, но в ком нет чистой души и доверчивого расположения и к ребенку, и к взрослому, «очень высокому и низкорослому».

Да будет же почтена память того, кто, всей душой любя поэзию и стихотворство, — ни единой печатной строчкой не засорил русской литературы!

## ПРОФЕССОРА

Там, где Никитская впадает в Моховую, высятся две желто-розовые крепости московской учености. Московский студент, рожденный романтик, до старости улыбается, вспоминая свои улицы, свои аудитории, свою пивнушку и своих профессоров. Это питерцы оценивают, определяют и отдают должное, а мы просто любили и любим.

Профессор Мрочек-Дроздовский, голосом тусклым и старческим, стараясь сделать страшное лицо и проявить игривость, говорил:

— И вот пришли скифы: рожа черная, скулы торчат, бороды косматые, — ну, черти, совершенные черти!

У самого борода тоже косматая, а пенсне свисает на верхнюю губу.

Русское право и его историю читали два профессора, Мрочек-Дроздовский и Самоквасов, и приват-доцент Числов. Кто читал право, а кто его историю, понять трудно. Мрочек читал скучно, Самоквасов томительно, а Числов безнадежно; он был молод, но ничего особенного от жизни не ждал.

Проф<ессор> Самоквасов, большой старик с отлично сделанной из плотной осмоленной пакли бородой, в длинном сюртуке, выдавшем виды, также любил скифов, но говорил преимущественно о курганах. В своей жизни он раскопал бесчисленное количество курганов. Рассказывал он о них подробно, о каждом особо, и это имело какое-то отношение к рус-

скому праву. Его главным козырем была коробочка с мелкими угольками, которая хранилась в одной из витрин Исторического музея. Раз в течение курса он вел нас туда, то есть, собственно, не «нас», не всю тысячу юристов-первокурсников, а десяток-другой любопытствующих. Здесь, склонившись над витриной грузным корпусом и вынув коробочку, он с необычным оживлением говорил:

— Эта находка в корне меняет все прежние представления о наших предках. Что это за угольки? Посмотрите, но не касайтесь пальцами. Они найдены в погребальной урне. Это, милостивые государи, обгорелые зерна ржи! Значит, наши предки не были только дикими звероловами; они занимались и хлебопашеством. Значит, уже в те времена культура была достаточно высокой... и так далее.

Мы заглядывали в коробочку и чувствовали умиление и гордость за предков. Профессор Самоквасов вырастал в наших глазах, и на студенческих балах мы танцевали с его племянницей, занимая ее разговором о коробочке с обгорелыми зернами ржи.

Но невозможно было с полной серьезностью относиться к русскому праву при наличии права римского, важнейшего предмета, который преподавали профессора Хвостов и Соколовский.

Хвостов, в начале своей профессорской карьеры, был грозой первокурсников. Римское право училось назубок, а экзамен «переживался». Хвостов был ядовит и резал безжалостно. Благодаря этому я отлично знаю, что столб воздуха над недвижимостью принадлежит ее собственнику, и прихожу в бешенство, когда над моим клочком земли имеет дерзость пролетать аэроплан. Знаю также, что из двух тонущих братьев раньше тонет младший, так что наследство получают дети старшего, и остров делится на две части линией, проходящей по середине течения реки. Весной, перед экзаменами, мы свистали Хвостову, но это на него мало действовало. Потом вдруг он пе-

ременился, стал большим либералом, заинтересовался женским вопросом, читал о нем публичные лекции, а на экзаменах ставил пятерки. К тому времени я уже кончил университет.

Другой «римский» профессор, Соколовский, был особенно знаменит тем, что в суровую зиму носил легкое пальто нараспашку. Он был красив, здоров, спортсмен и неплохой оратор. Его слушали без скуки и не боялись. Прекрасна была его стройная фигура на Тверском бульваре, где все проходившие женщины на него заглядывались, а на нас, молокососов, уже не обращали внимания. По нынешним временам он, конечно, брил бы усы, но по тем временам брил только бороду, а усы были его главной красотой. Слушали Соколовского немногие, но он не особенно и гнался за полнотой аудитории; у него была какая-то своя жизнь и свои интересы, нам неизвестные.

Но аудитория была полна, сидели даже на окнах и висели на колоннах, когда читал гражданское право превосходный лектор, а позже — печальной памяти министр, проф<ессор> Кассо. Здоровенный, черный, отлично одетый, авторитетный, подавляющий. Студенты чутки к живому и дельному слову, и Кассо был любимцем, пока не стал злым врагом и науки и студентов.

Ушел в министры и другой наш профессор — Зверев, раз в год собиравший большую аудиторию: когда он говорил о свободе воли. Маленький, живой, щуплый, бойкий на язык, но большого доверия не внушавший. Энциклопедия права — предмет интересный, и он умел его оживить. Полгода его слушали, во второй половине он наскучивал. Расстались с ним без особых слез.

С полной несерьезностью мы относились к графу Комаровскому, а может быть, к его предмету — международному праву. Вероятно, в те времена — в годы рубежа двух веков, — международное право считалось таким же зрящим придатком к науке, как и богословие, которое читал о. Елеонский. Чтобы о. Елеонский мог его читать, устанавливалась очередь — при-

ходили двое. На экзаменах о. Елеонский боязливо спрашивал студента:

- О чем вы могли бы ответить?
- О доказательствах бытия Божия.
- Ну, и например?

Студент бормотал, профессор любовно поправлял и ставил пять тем, кто отвечал, и четыре тем, кто откровенно признавался в полном невежестве.

Но был предмет и был лектор, для которых открывалась актовая зала в старом здании, потому что никакая другая аудитория не могла вместить валившую студенческую толпу. Первая осенняя лекция Александра Ивановича Чупрова считалась событием и праздником. На нее собирались не одни юристы — приходили студенты всех факультетов. Под гром рукоплесканий всходил на кафедру студенческий кумир, большим и указательным пальцем поправлял очки, мягким баритоном произносил:

— Милостивые государи!

Милостивые государи замирали от удовольствия и гордости. Эти два слова А.И. выговаривал по-особенному, с понижением в октаву. А затем читал свою вступительную лекцию, приблизительно одну и ту же все года. Он был отличным профессором, но его любили, главным образом, за то, что он был отличным человеком, мягким, душевным, своим. У него был непрерывный роман со студенчеством, он был с ним слит, в нем никто и никогда не усомнился. Он был настоящий русский интеллигент в положительном смысле слова, а не в нынешнем — искаженном. Чупров, университет, автономия, свобода, «Русские ведомости» — все это были синонимы. Жить без любви невозможно — и мы любили Чупрова.

Много позже, за границей, я познакомился с его сыном, проф<ессором> Александром Александровичем, талантливым ученым-статистиком, портретом своего отца, недавно умер-

шим. Очаровательность была в их семье наследственной. Когда я думаю о прекрасных людях — я думаю о Чупровых. И не я один, — многие! Большое счастье знать таких людей. Как безвременно угас А.А. в проклятой эмиграции!

Большую аудиторию собирали Янжул и Новгородцев. Янжул при мне читал последний год. Его сменил Озеров, почтительно и робко заявивший на первой лекции, что не считает себя достойным продолжить дело своего и нашего учителя. Позже он стал более уверенным. А Павла Ивановича Новгородцева любили и за его предмет, и за спокойный вдохновенный голос, и за удивительную красоту лица; в мое время он был еще молод и чернобород; глаза выразительные до святости. Его философия права была для нас богословием, а он — пророком.

Был у нас еще один любимец, в то время еще прозектор — Минаков; он читал судебную медицину, курс второстепенный, им возвышенный до важности. В то время юристы не знали никаких семинариев и вне обычной часовой лекции с профессорами почти и не встречались; живого разговора с ними не было, их легко мог бы заменить граммофон. Минаков приносил с собой всякие интересные штуки, вроде сломанного ребра старухи, тут же это ребро ломал на кусочки, доказывая его хрупкость, или рассказывал любопытнейший судебный процесс, в котором он выступал экспертом, а то с таким жаром и такими знаниями излагал строение волоса, что заслушаешься. Разумеется, этот волос оказывался уликой в следственном производстве. Он любил вопросы и порой обращал лекцию в живую беседу. Это нас привлекало — и Минаков пользовался неизменным успехом.

Было в обычае — и обычай этот почтенен — блуждать по лекциям популярных профессоров других факультетов. Помню Тимирязева, не очень похожего на свой нынешний памятник у Никитских ворот, на месте сгоревшей студенческой столовой отличной дамы Троицкой, которая за сорок копеек кормила по

первому разряду (хлеб вволю, чудесный квас). От него я узнал, что растение потому будто бы тянется к свету, что быстрее растет с теневой стороны. Чудовищные и препротивные вещи рассказывал и показывал знаменитый Пospelов в своей клинике. Приятно знакомил с птичьей жизнью столь же знаменитый проф<ессор> Мензбир.

Воспоминание более позднее — двадцатью годами. В голодную пору победы пролетариата выпала мне удача везти домой два пуда яблок; была зима, московская мостовая вся в сугробах, даже валенки проваливались. На углу Тверской и Чернышевского встретился старенький Мензбир.

— Что это везете?

— Сподобился яблоки получить.

— Ну, это действительно удача! Не гниль?

— Яблочко к яблочку, профессор! Зайдемте ко мне попробовать.

Сначала посидели на ящике, пока я отдыхал, потом вдвоем живо докатили санки до дому. Я сиял за себя, он сиял за меня — добрый человек. А как, ящик вскрывши, закусили зубами по шутке и зубы сладко заныли от холода и сласти, — тут совсем размечтался профессор.

— Ведь вот бывает же иногда счастье — точно с неба свалится. Я вчера сидел и мечтал... Мне очень хочется издать свою книгу, двадцатилетний труд. А где ее издашь? Ни бумаги, ни типографий, и никому она не нужна. Тут как-то дошел до меня случайно номерок английского журнала, по орнитологии. И в журнале пишут обо мне, да так почтительно. А я так и умру, этой книги не издав, и даже собрать ее — нет времени. И вот размечтался — если бы найти место дворника! Один у нас нашел, отлично живет. Подмести, да дров принести — пустяк, сейчас все сами всё делают, дворники только для порядку, для прописки. Жил бы я мирно и кончал книгу. Может быть, удалось бы хоть за границей издать — хотя очень хочется по-русски. А хорошо бы дворником!

Помечтали, погрустили, съели еще по яблочку. В то время он продавал книжка по книжке свою библиотеку, замечательное собрание. На это кое-как жил, голодал наравне со всеми, а может быть, больше многих.

Кончается моя страница, вырванная из студенческой памяти. Мало кто жив из тех, о ком вспомнилось. Легкой земли ушедшим! Пишу о них с улыбкой, а думаю с глубоким уважением, и о бывших наших любимцах, и о прошедших незаметно. Все они, каждый по мере сил, создавали и умножали славу двух старых зданий, стоявших и поныне стоящих там, где Большая Никитская улица впадает в Моховую.



## ТА ЖИЗНЬ

С маленьким доктором Володей мы жили в двух смежных комнатах в «Романовке», на углу Тверского и Бронной. Он был «маленьким доктором» в двух смыслах: по росту и по положению. Трехлетним его уронила няня, и он стал горбат: на длинных ногах — маленькое тело, голова слегка вдавлена в плечи. Но душа его при падении не пострадала, — он был веселым, жизнерадостным, остроумным, приятнейшим человеком, любил красивых, никому не завидовал и пользовался успехом у женщин. А так как он только что окончил университет, то маленьким был и по своей практике.

Тело его не выросло, а практика стала подрастать, и скоро Володя снял квартиру; я же остался верен «Романовке», номерам мрачным и грязным, но не хуже других; я тогда кончал университет, и был беднее, чем это допустимо в юности, когда бедность переносится легко и просто. Я редко обедал, никогда не ужинал, а папиросы курил Володиные. С его переездом стало хуже. Между прочим — в нужде очень мало поэзии; она унижительна и непочтенна. Даже богатство почтеннее нужды, хотя от него люди легче скотинеют.

Утром в воскресный день зашел Володя в отличной новой паре; он всегда заказывал у портного, потому что на его фигуру готового платья не найти.

— Вставай и пойдем. Оденься почище. Завтрак в двенадцать, обед в четыре, ужин в девять.

— Это где?

— У Гусаровых, в Замоскворечье. Я там домашним врачом, а ты приглашен бывать по воскресеньям. Там поешь, как никогда не едал; даже советую тебе сдерживаться.

— Недоставало, чтобы я ходил по купцам!

— Голова! Это мои друзья, я им про тебя рассказывал. Они миллионщики, но люди интеллигентные. В опере абонемент, Леонида Андреева читают, играют в винт. У них своя биллиардная комната в доме!

— Не врешь?

— Чудак! Они торгуют жмыхами со всей Европой. Этими жмыхами там кормят свиней. Вот кажется ерунда — жмых, а люди лопатой деньги гребут! Правда, хорошие люди, тебе понравятся. Жаль, что ты плохо играешь в винт.

— Я — плохо?!

— Ты — плохо! Рискуешь зря и садишься. А на биллиарде ты — молодец, глаз верный. Будешь играть с Мишей, по рублику, я тебе дам на случай, но наверное выиграешь.

— С каким Мишей?

— Миша — сын и наследник. Я тебе по дороге расскажу.

И рассказал, что семейство Гусаровых состоит из Анны Тихоновны, вдовы за сорок лет, ее сестры, тоже вдовы, ее сына Миши, огромного парня с розовым лицом, и управляющего, который Мише за отца, а Анне Тихоновне тоже за кого-то, дело не наше. И еще живет в доме человек двенадцать не то родственников, не то так — вообще. Мише восемнадцать лет, к нему ходят обучать его московские профессора, готовят в университет. Миша на ходу заденет плечом косяк — и вся дверь вон.

— У нас на днях был, знаешь, семейный совет о Мише, как с ним быть. Анна Тихоновна, управляющий и я, как доктор. Они боятся за Мишу, что пришел он в возраст, а женить его рано, так вот — как быть. И порешили... после тебе доскажу, мы пришли: это вот их дом и есть. Домик, как видишь, ничего себе!

Всю зиму по воскресеньям, а иногда по особому приглашению в дни рождений и именин, я бывал в доме Гусаровых, где Володя был своим человеком и общим любимцем. Привыкли и ко мне — и я к ним привык.

Такой жизни больше нет, и хочется о ней рассказать. Рассказать, собственно, о том, как в этом доме ели.

В полдень не завтракали, а только пили чай. К чаю на стол подавалась паюсная и свежая икра на больших блюдах, фунтов по десять каждой. За столом нас сидело человек шесть. Я сначала стеснялся, брал ломтиком и ложечкой, но, на других глядя, внезапно озверел, и скоро мне икра отошла. Кроме нее подавался холодный гусь, расстегаи с подливкой, сибирская рыба: сырок (а по именинам и нельма!) и еще разные пустяки: грибки, холодная телятина, сладкий брусничный салат, заливной поросенок, и уж как всегда и всюду: колбаса разная, ветчина, осетрина. Мы пили водку с пиконом, рюмок по пяти, холоднущую, и не белую, а красную головку. Пили мы трое: хозяйка, Володя и я. Управляющий пил какую-то минеральную воду, рекомендованную ему Володей, а Миша пил чай и молоко.

После первого такого завтрака я думал, что так и умру, не кончив университета. Володя увел меня в отдаленную комнату, уложил на диван и сказал с упреком, но ласково:

— Это, брат, моя вина, не предупредил! Тут нужна осторожность и привычка. Полежи полчаса, а потом, если способен, поиграй на биллиарде, разомнись. Дело в том, что в четыре часа будет обед, а это не шутка!

— Уж какой там обед!

— А вот увидишь, здесь воздух особенный, скоро снова аппетит появится. А Анна Тихоновна обижается, когда едят плохо.

И я выдержал обед, выдержал и ужин. Володя дал мне с собой капли, довез меня на извозчике и обещал утром навесить. Но ничего не случилось. А после я привык и приспособился: гуся ел только крылышко, осетрину обезвреживал хреном и все запивал чаем. И к весне, к экзаменам, я пополнил.

Но были дни, когда никто не выдерживал, — да и не принято было в такие дни рассчитывать. Это были дни рождения и именин Анны Тихоновны, Миши и управляющего. Страдные дни!

Завтрак — без перемены, разве что какая-нибудь особенная кулебяка. Но к обеду и ужину приглашались человек сорок—пятьдесят, длинный стол в огромной зале заворачивал ребра и становился покоем, вина переливали радугой, лакеи вереницей вносили блюда — и какие блюда! Если гусь — то стадо гусей, начиненных вагоном яблоков, и каждый гусь — с высоко поднятой головой, и незаметно, что он разрезан на куски. Однажды подали рыбу, которую на огромнейшем блюде внесли четыре лакея, и был для нее заготовлен особый стол, и была она украшена, как восточная красавица, всем, что есть в мире растительном и в мире пряностей. Когда же подавали мороженое и пломбиры, то за столом умолкали разговоры. Так был, помню, внесен пятиэтажный дом, розовый с белым, в котором окна были освещены, и внутри играла музыка; были лебеди, были стога зеленого сена, снопы ржи, швейцарские горы, был паровоз, из трубы которого вырывалось пламя, пахнувшее ромом. Все это заливалось шампанским, которое не пригубливали, а пили по бокалу на глоток, и бокал не мог просохнуть, потому что за этим следил сам управляющий, пивший только минеральную воду и командовавший десятком лакеев, вооруженных бутылками. В те времена даже и в таком «интеллигентном» купеческом доме считалось неприличным откупоривать бутылки тихим манером, глуша звук салфеткой: пробки выпрыгивали сами, и беспрерывная канонада сливалась с громом тостов и разговоров.

Это было бы непереносимым, если бы в дни таких торжеств не считалось законным, справедливым и вполне приличным напиваться до полного бесчувствия, — что гости и делали. В отдаленных комнатах были для слабых постели, и два мальчика откупоривали бутылочки с зельтерской водой. Но тут подробности не любопытны.

Случалось, что нас с Володей, как своих людей, приглашали и на черствые именины — на другой день. Завтракали, как полагается, остальной день проводили вяло, больше за винтом. Анна Тихоновна позевывала и говорила:

— Слава Богу — сбыла именинный день; теперь отдохнем до Мишиного рождения. Не люблю я шуму, вот так посидеть лучше. Два без козыря.

Володя участливо спрашивал:

— Капли принимаете?

— Приняла.

— А никто из вчерашних не пострадал?

— С Егор Иванычем не совсем ладно, вы его навестите.

— Навещу. А у тетушки вашей я утром был, оправилась.

Практика у Володи росла.

Володя рассказывал:

— Вот, знаешь, относительно Миши... Посовещались мы и решили, что как-нибудь надо его устроить. Я не возражал, потому что у них так уж принято, а может быть, это и разумно. Мне, как врачу, пришлось с Мишей поговорить, а уж остальным ведал управляющий. Но курьезно, что мать во все это вникает, и Миша знает об этом. Прямо при нем не говорят, но перемигиваются, а он краснеет.

— Так что же придумали?

— Придумали ему знакомство. У них своя ложа в опере, и взяли соседнюю. В эту соседнюю пригласили одну девушку с мамашей, то есть, собственно, не девушку, и не с мамашей, а вроде этого, очень милую, молоденькую, однако Миши постарше. И все поехали в театр, — Анна Тихоновна, управляющий, я и Миша. Миша, конечно, знал. Ну и ему очень та понравилась, такая красивая, полная и скромная.

— Что за гадость!

— По-нашему, — гадость, а по-ихнему так лучше, чем ему болтаться. Он, нужно тебе сказать, еще ничего не понимает

толком, я с ним говорил. Даже странно, что он такая красная девушка — в косую сажень! Значит, как он одобрил и Анна Тихоновна тоже...

— Да она при чем?

— Ну, все-таки — мать. И, значит, управляющий переговорил и заключил писанный контракт, сколько будет получать и все остальное. И чтобы о женитьбе, конечно, и думать не могла. Затем управляющий снял квартиру в три комнаты, обставил, а недели три тому назад мы их познакомили, устроили ужин в кабинете ресторана; мы двое, Миша и она. Преуморительно было! Однако она — умница, хотя и молода. Потом доставили их на квартиру, и уж сколько было смеху на другой день! Миша краснеет, а Анна Тихоновна будто бы ничего не понимает, хотя улыбается. И еще родственники были за завтраком — тоже намеки делали. И паршиво, и забавно. Конечно, я, как врач, расспросил его наедине, как да что. Все в порядке. И все-таки все мы просчитались.

— А что? Жениться на ней захотел?

— Кто? Миша? Ну, что ты! Он хоть и мальчик, а понимает: будущий купец все-таки. Не в том дело, а хуже. Это уж касается меня, как врача. На днях Миша сам ко мне приехал и объясняет. «Да каким же образом?» — «Нет, — говорит, — она тут ни при чем, это другая». — «Как другая? Зачем другая?» — «А мне, — говорит, — стало интересно...» — Ну, выругал я его, а теперь с ним вожусь. Вот каналья, мальчишка!

— Мать знает?

— Теперь знает. Она ему сказала, не сдержалась: «Дурак ты после этого!» — А он ей: «Сами же, маменька, научили!» И прав, конечно.

Володя умел заразительно хохотать. Так и тут — залился звонким смехом, вспомнив одну подробность этой истории:

— Действительно — дурак! Ты подумай, как о нем заботились — на две недели освободили его от уроков с профессорами! Это на первые две недели, когда их познакомили. А профессорам платили за потерянное время полностью. Вот как

все обставили любовно! А мать, Анна Тихоновна, сама купила ему халат с кисточками для его квартирки и туда отправила. Это где же видано подобное!

— Тебе — практика.

— Мне-то, конечно, практика. Однако скажу тебе, хоть они и хорошие люди, а все-таки свиньи! И смешно — и противно. А все жмыхи и миллионы.

Пришла весна, подошли экзамены. С маленьким доктором я видался, а в купеческий дом больше не ходил, питался воблой и мочеными яблоками.

Где-нибудь, может быть, и есть еще такая жизнь, но, конечно, не в Москве. А может быть, и нигде нет: чтобы к чаю гусь и икра пудами, чтобы подавали мороженое с музыкой и чтобы так заботились о сыне и наследнике. Был я бедным студентом, и было это мне чудно и забавно. После — очень злило, а сейчас — занятно вспомнить и рассказать.

## ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА АСТРОВА

На днях мы прочитали в газетной заметке: умерла Юлия Михайловна Астрова в Москве, 83 лет от роду. Кто из старых москвичей не знал семьи Астровых, кто не помнит Юлии Михайловны? Мне было бы даже совестно выступать с личными о ней воспоминаниями, настолько встречи с ней были давни и коротки, — если бы не исключительная сила и отчетливость этих воспоминаний, не убитая и не стусеванная множеством последующих ярчайших, огромных, радостных, тяжелых, всякого цвета и всякого рода событий, и если бы еще не особая личная важность для меня знакомства с Юлией Михайловной, — как, конечно, и для многих молодых людей того времени.

Как и для них, — для меня домик в Большом Казенном переулке был первой школой общественности. Не помню, как и почему я стал частым гостем этого деревянного московского особняка, порог которого перешагнул впервые в тот самый год, когда в последний раз перешагнул и порог университета, чтобы вступить, наконец, в «самостоятельную жизнь». Но прекрасно помню столовую Астровых, вечно кипящий самовар, толпу молодежи, вовлеченную Юлией Михайловной в ее разнообразнейшие общественные дела, ту самую простоту и приветливость, ту милую суетливость, которых нигде уже в мире не встретишь.



Юлия Михайловна была одним из руководителей попечительства о бедных своего района; мы ей помогали. Это значило — обходы всех квартир района, подписные листы, книжки с талонами, концерты, приглашения артистов, бесконечное число малых и больших хлопотливых действий, радость удачи, рассказы о неприятностях, вечная спешка, соревнование, обсуждение проектов, выработка программ. И все это — дружно, весело и с той уверенностью, которою давало участие Юлии Михайловны, не командира, а опытного и авторитетного товарища и вдохновителя. Как будто все делалось само собой, а она только наблюдала и подписывала всевозможные удостоверения сборщикам и ходатаям по делам; в действительности — незаметно подталкивала и направляла, приучая нас к самостоятельности и вселяя в нас уверенность, что все это мы придумали и мы осуществляем.

Одно время я был сборщиком пожертвований и с квитанционной книжкой обходил отведенный мне участок, не из богатых. И вот тогда в первый раз в жизни я увидел, что такое нужда, как люди с нею справляются и как отзываются на чужое горе. Я и сам знал — будучи студентом, что такое голод; но наш студенческий голод был «ерундой», обязательной обстановкой быта, своеобразной поэзией. Если уж очень голодно — можно завернуть к знакомым, покормиться, а тем временем набегут деньги за урок или за статейку в газете. Ни рваной тужурки, ни слишком большого аппетита студенту стыдиться не приходилось, — ему полагалось быть бедняком, это было его стилем. Презирали франтов и белоподкладочников, а стоптанный башмак почитался как отрицание буржуазности, как диогенова философия. Совсем с иной бедностью и нищетой пришлось знакомиться на работе попечительства — и эта прекрасная наука пригодилась в жизни.

С книжкой сборщика, придевшись получше, я звонил у парадных дверей. Прислуге передавал удостоверение на бланке, подписанное Юлией Михайловной. Редки были люди, ко-

торые отказывали: имя Астровой знали все. Но случалось, что лепту свою высылали с прислугой, не оказывая сборщику внимания. Грубостей почти не помню, — то ли люди были тогда мягче, то ли вечный стук чужой нужды в двери их еще не ожесточал. Была Москва богата, помощь бедному считалась естественной повинностью.

Но приходилось, обходя квартиры, попадать в семьи, где сами люди знали голод. И вот там я встречал ту исключительную отзывчивость, на которую только бедный человек и способен в полной мере. Давали копейки, но копейки драгоценные, и давали их со смущением и с открытой душой, расспрашивали, обласкивали, волновались и благодарили, что не обошли квартиру и что дали им возможность участвовать в общем деле помощи. С особенной охотой записывались в «постоянные благотворители», обязываясь ежемесячно вносить свой двугривенный. И когда в условленный день я заходил за этим двугривенным, — он лежал приготовленным рядом с чашкой чаю, которую непременно приходилось выпить чуть ли не в каждой квартире, чтобы не обидеть любезного гостеприимства.

Как будто все это — пустяки, а какое огромное значение и какое благотворное влияние это имело и оказывало на нас, молодых людей, в жизнь вступавших. Как учились различать людей, какие открывали в них кладези добра, как это потом пригодилось, когда пришли времена кажущегося всеобщего озверения, — и какое счастье, что я могу смело называть его только «кажущимся». Беднота сурова внешне, и это часто обманывает; но если в жизни приходилось встречать настоящих зверей, то жили они не на чердаках, а в бельэтажах.

Мы, молодежь, посылались сборщиками, но не помню, чтобы нас посылали благотворителями; думаю, что в этом сказывалась мудрость Юлии Михайловны. Не следовало ставить людей молодых и неопытных на роли благотворителей за чужой счет.

Иногда столовая Юлии Михайловны превращалась в кустарную мастерскую: шили бантики, банты, распорядительские

значки, стряпали плакаты. Готовились к очередному вечеру попечительства, а это было — по московским масштабам — делом очень сложным: на наш концерт-бал ожидалась, конечно, «вся Москва». Программа составлялась образцовая и заманчивая: лучшие артисты, лучшие музыканты и певцы, лучшее помещение.

По положению молодого адвоката, я был обладателем фрака — русской адвокатской тоги; фрак был тогда и утренней, и вечерней парадной одеждой. Поэтому я включался в группу приглашающих, привозящих и выводящих на сцену. Это было очень хлопотно, но приятно: знакомило с кумирами московской публики. Величайшими кумирами были тогда актеры Художественного театра, в их числе — молодая Гедда Габлер — Мария Федоровна Желябужская, выступавшая под фамилией Андреевой, соперница по сцене Книппер. С трепетом я звонил у ее подъезда и поражался, видя очень скромную и «домашнюю» красивую женщину, которая приветливо и благосклонно беседовала, просто соглашалась участвовать в нашем концерте. Потом, когда в назначенный день и час я приезжал за ней в двухместной карете — я находил капризную знаменитость в бальном наряде, едва мне отвечавшую, от всего приходившую в раздражение. Вот они — артисты.

Однажды, приехав за нею и войдя в ее гостиную, я замер от изумления, увидав у камина высокого и нелепого молодого человека в блузе, того самого, портреты которого всюду выставлялись и продавались и не узнать которого было невозможно: *самого* Максима Горького. Он вышел проводить нас на крыльцо без пальто, хотя был мороз, и Андреева, убеждая его уйти, кокетливо ударила его по рукам свертком нот. Ударил всероссийскую знаменитость, писателя, на которого молились. Мне казалось, что я присутствую при исторической сцене, о которой останется память в потомстве, — и поведать о ней потомству могу только я, добросовестный свидетель. Так оно, как видите, и случилось, — но только нет у

рассказчика прежнего священного восторга. Обоих героев я видал позже много раз, в Москве, на Капри, в Берлине, совсем иными, отдавшими дань времени; тридцать лет — не шутка.

Еще помню свое первое знакомство с покойным Артемом, любимцем московского студенчества, высоким талантом. Я знал его по сцене, но ожидал увидеть дома совсем иным. И вдруг на мой звонок отворил дверь пожилой трепаный чиновник ведомства просвещения, в форменном сюртуке, застенчивый, совсем не похожий на знаменитость. Скромнейшая квартирка, продушенная табачком, на столе ученические тетрадки. Мне показалось, что продолжают видения Художественного театра, что Артём вышел в гриме и парике, что сейчас он, понюхав табачку, возьмет гитару и затренькает, как Вафля в «Дяде Ване», или, добавив к гриму седые бакенбарды, превратится в Фирса из «Вишневого сада». Невероятно, чтобы артист в жизни был таким же, как на сцене. Ведь меняет же личины до неузнаваемости М.Ф. Андреева.

Много лет позже я близко узнал многих «художественных знаменитостей», укрепившихся в славе и потерявших молодость; рад, что видел их в расцвете сил и в начале славы, когда мы поклонялись им со всей искренностью, почти без критики, не допуская и мысли, что эти люди, как мы все, когда-нибудь устанут и будут покидать сцену жизни в обычной для всех установленной очереди. Одним из первых ушел А.Р. Артём.

Столовая Юлии Михайловны, действительно, была для нас начальной школой общественности. Здесь создавались навыки и завязывались знакомства; отсюда мы разбредались по другим кружкам и объединениям, и — было бы время — есть что вспомнить, да только вряд ли могут возбудить сейчас интерес воспоминания о культурной соборной работе московских интеллигентов. Не забавно ли, что мы мечтали пересоздать лик деревенской России дешевыми библиотечками,

подбирать и рассылать которые было нелегко при малых средствах и больших полицейских препятствиях. По ночам мы обходили мрачные ночлежки на Хитровке, мечтая о постройке удобных приютов для сирых, нищих и бродяг, вылавливая «погибающих», которых еще можно было спасти «для честной жизни и для общества». Мы издавали популярные брошюры, продавая их через книгоношей по копейке штука, стараясь пересоздать на культурный лад народную листовку и лубочную картину. Делали, казалось бы, все для нас возможное, чтобы путь революции не стал неизбежным и единственным. Может быть, это было наивностью, но во всяком случае прекрасной и оправдываемой самыми добрыми намерениями. И не наша вина, что все подобные попытки встречали на пути несокрушимую стену организованного противодействия, — несокрушимую, конечно, нашими мирными средствами. Тогда пришел конец прекраснодушию — и молодежь уверовала в пути иные.

Все это невольно мне вспомнилось при известии о смерти Юлии Михайловны Астровой, московской либералки и общественной деятельницы, далекой от всяких революционных настроений. Революция разбила ее семью и нанесла ей, старой женщине, удары ужасные и сокрушительные, о которых страшусь здесь говорить, но о которых знают не одни близкие ее семье люди.

Я не смею вторгаться ни рассказом, ни воображением в личную жизнь Юлии Михайловны, ни прежнюю, ни последующую. Эти строки благодарной памяти — все, что я могу сказать, — дань глубокого уважения к ее личности и ее доброй деятельности, заражавшей молодежь человечностью прекрасных общественных порывов. Нельзя, чтобы старые люди уходили — и уход их оставался незамеченным теми, кого они благословляли на жизнь. Мы слишком часто забываем, — а то и не знаем, — что наше настоящее, наши мысли, верования, действия — только продукт разных влияний, полученных в мо-

лодые годы, — как бы ни казалось дальнейшее личной и вполне самостоятельной работой и какие бы позднейшие наслоения не отделили нас от них, чья мысль и слово прежде звучали нам законом. Забыть — не порок, но вспомнить вовремя — большая радость.

## А.К. МАЛИКОВ и В.Г. КОРОЛЕНКО

Наше поколение в чрезвычайно выгодных мемуарных условиях: не успев состариться, мы прожили века. В жизни каждого из нас есть отдел древней истории, — и она, действительно, древняя, не только для нас, а вообще. Так, с точки зрения современных русских Прустов (а их молодость также относительна), вряд ли велика разница во времени между Гомером и Боборыкиным, — я же с одинаковым аппетитом обедал в Париже с Газдановым, в Риме с Боборыкиным, а в Москве даже с Н.Н. Златовратским, который уже, по тому времени, принадлежал если не к древним, то к средним векам русской литературы. Впрочем, он был моложе Боборыкина, дольше цеплявшегося за литературную известность и до конца жизни писавшего романы на темы дня.

Когда-то, тоже в средние века, я завел толстенную тетрадь в переплете, озаглавив ее «Книга встреч»; на первой странице было написано: «Эту тетрадь завещаю “Русским ведомостям”». — Но наследник умер раньше наследодателя: нет ни «Русских ведомостей», ни большинства их последних руководителей: умерли В. Соболевский, А. Мануйлов, В. Розенберг, И. Игнатов, Н. Сперанский, Н. Эфрос. Кому теперь завещать «Книгу встреч»? И вот я вырываю из нее странички.

На днях я читал третий и четвертый тома «Истории моего современника» В. Короленка в новом издании «Академии».

Там он целую главу посвящает Александру Капитоновичу Маликову, известному «предшественнику Толстого», революционеру-богоискателю, участнику процессов «каракозовского» и «193». Два старых друга хотели написать по книге об этом замечательном человеке: В. Короленко и Н. Чайковский; оба не успели. Осталась только плохая и пустая книга Фаресова да ряд отрывочных воспоминаний Короленка, Пругавина, Чайковского и других. Сейчас в России пишется книга о предшественниках Толстого в «теории непротивления», в том числе и о Маликове.

Памятью уходя в прошлое, вижу себя студентом на крошечном хуторе «Маликовка», отделившемся от большого имения А.П. Чарушникова (издателя). Этот хутор А.К. Маликов получил в виде гонорара за свою книгу «На задворках фабрики. Край без будущего» от своих издателей (Чарушникова и Дороватовского). При хуторе десятин восемь земли — поля и лесок. Постоянно здесь живет третья жена А.К., крестьянка, умная и отличная женщина, подарившая его тремя сыновьями. Летом приезжают старшие дочери Маликова, — и все, включая меня — гостя, работают в поле.

Работаем мы, собственно, для того, чтобы прокормить корову и лошадь. В дни покоса встаем в пять часов, косим вику с тимофеевкой, пока не ушла роса, дважды шевелим и ворошим под солнцем, а вечером конь Васька отвозит душистое сено. Питаемся молоком, гречневой кашей и огурцами с огорода.

Распорядитель работ — Александр Капитонович. Высокий, плечистый старик с седой бородой, прекрасным умным лицом и неизменной веселостью. Широко образованный, по-видавший мир (в Америке с Чайковским он устраивал «Прогрессивную коммуну» в Канзасе), свой человек в кругу мужиков и профессоров, по натуре — анархист, по религии — поэт крестьянского православия, изумительный рассказчик, юморист и оратор Божьей милостью, — таких в России было немного. Когда-то близко дружил с Толстым, во многом на него влиял, но разошелся. За плечами огромная жизнь, воз-



раст за шестьдесят, а в люльке последний ребенок. Личность красоты изумительной и побеждающей.

В этом «богоискателе» не было ничего от ханжества, да, вероятно, не было и той непрестанной внутренней борьбы, которая отличала Толстого. Маликов никому ничего не навязывал, — он заражал своим поэтическим даром; я думаю, что религия была для него поэзией. Он крестился широким мужицким крестом, напевал арии из опер, любил начать наш огуречно-молочный обед рюмкой водки, играл в карты, говорил на любую тему, часто и весело смеялся и был полон жизни. В свое время он подсказал Льву Толстому идею непротивления, — но никогда не было в нем того сладенького смирения, которое так неприятно отличает «толстовцев». К существующему строю, как и к официальной церковности, он относился с осуждением и, конечно, никогда не переставал чувствовать себя революционером. Чудесен рассказ о том, как на суде, вместо всяких оправданий, Маликов произнес блестящую речь, в которой доказывал, что «даже в прокуратуре должна быть искра Божия». Любопытно, что Маликов был одно время в оживленной переписке с К. Победоносцевым, своим бывшим профессором московского университета. Переписка началась письмом Маликова по поводу возмутительных приемов администрации в отношении рабочих. Победоносцев ответил, — и между ними возникла интересная полемика; в то время Маликов был судебным следователем. Когда позже явились однажды жандармы для ареста Маликова, в связи с каким-то политическим делом, и, произведя обыск, нашли письма Победоносцева, произошла любопытная сцена: жандармы были совершенно огорошены и ушли с извинениями. К сожалению, эти письма, по-видимому, не сохранились. Их разыскивал Короленко, хотевший их опубликовать; ищут их и сейчас, но безрезультатно. У меня сохранилось письмо Короленка, который говорит, что видел и читал эту переписку «неблагонадежного с Победоносцевым» в Перми, когда жил с Маликовым, и что она представляет большой интерес.

Умер Маликов в Вильно в 1904 году, насколько помню, — в доме своего друга Лопатина, брата Германа Александровича. Из последователей его «религии богочеловечества» два-три человека живы, но уже давно с этой религией расстались.

Всегда было мне жалко, что по тогдашнему моему мальчишеству я не всмотрелся и не вслушался в этого человека достаточно, чтобы теперь рассказать о нем больше; но вижу его и до сих пор ясно: и на покосе, и в конюшне, которую мы вместе чистили, и в лесу, куда ходили по грибы, и на крыльчке хутора за вечерним чаем. И много раз мой маленький фотографический аппарат запечатлел его крупную мужицкую фигуру с лопатой, граблями, на огороде, рядом с деспотом хутора — конем Васькой, крутобоким обжорой, но, впрочем, неплохим работником на себя самого. Эти фотографии должны быть в архиве В. Короленка, которому позже были отправлены.

А вот самого Владимира Галактионовича я видел только раз — в Москве, на вокзале, где мы провели лишь с полчаса за столиком буфета. Но этого было достаточно, чтобы влюбиться в прекрасное лицо и еще неполную седину (по-итальянски — «соль с перцем»!) русского писателя (кажется, на него украинцы прав не предъявляют?). Никогда не видел лица благообразнее и приятнее! Чистота, мягкость и душевность, — как в каждой написанной им строке. Такому человеку можно доверить все, самое дорогое и интимное, — и быть спокойным, и знать, что встретишь полное внимание и чуткую серьезность. Я не уверен, что такие люди еще остались в России.

Для наших дней Короленко стал «скучным»: его относят к разряду отошедших в небытие и забвение народников. При этом, — был ли он чистым художником? Он признавался: «Порою во мне борются бытописатель с художником, и мне приходится отдавать предпочтение бытописателю». Он по необходимости был и публицистом, — оставил книгу «Бытовое явление», прямота, честность и сдержанность которой исключительны. Мог ли он думать, что смертная казнь, став-

шая «бытовым явлением» в те далекие годы (в «средние века»!), еще позже станет в той же России уже не просто бытом, а законным методом воспитания и ходячей монетой политических расчетов? Но в то время его книга производила громадное впечатление и была настоящим писательским и человеческим подвигом. Короленко сам ее ценил. Когда удалось издать ее на итальянском языке (в 1910 г.), он писал мне в Рим: «Ни одна из моих работ, появляясь в переводе, не доставляет мне таким образом удовлетворения, как именно эта».

Не все знают, что в 1921 году, по просьбе злополучного Общественного комитета помощи голодающим, В.Г. Короленко принял звание Почетного председателя комитета. На посланную ему комитетом телеграмму он тогда ответил телеграммой же: «Я болен и слаб, и силы мои уже не те, какие нужны в настоящее время, но, тем не менее, глубоко благодарен товарищам, вспомнившим обо мне в годину небывалого еще бедствия, и постараюсь сделать все, что буду в силах».

Тогда же приезжие из Полтавы рассказали, что местные профсоюзы решили подчеркнуть оригинальностью подношением свое глубокое уважение к старому писателю, который, несмотря на болезни, отдавал все свое время ходатайствам и заступничествам за лиц, преследовавшихся советскими властями. Профсоюзы поднесли ему по три пуда муки и по 80 аршин материи с каждого союза. Все полученное Короленко, сам живший в большой нужде, передал немедленно в фонд помощи голодающим.

При разгроме комитета его, к счастью, не тронули. Но были уже сочтены дни Владимира Галактионовича.

Отвлекусь от личных воспоминаний. Выше я предположил, что украинцы, кажется, не очень претендуют на лишение Короленка звания русского писателя. По этому поводу стоит прочесть страничку в его «Истории моего современника» об ук-

раинских дебатах в Вышневолоцкой политической тюрьме, где содержался Короленко в 1880 году.

Короленко причислял себя к «общеруссам» — и за это подвергался нападкам земляков. Когда же ему указывали на «национальное угнетение украинцев русскими», он любил рассказывать, как ему пришлось встретиться с земляком — жандармским офицером, который изливался по части «ковбасы та варенухи» и общей родины. «Я холодно слушал излияния “земляка”, — пишет В.Г., — и теперь, в спорах, ссылаюсь на этот пример: вопрос не в «варенухах и ковбасе», а в том, чтобы не было жандармов с их деятельностью, будь они украинцы или великороссы. А тогда была полоса, когда именно украинцы охотно вербовались в жандармскую службу». Так упрек в «беспочвенности общеруссов» отражался встречным упреком в беспочвенности национализма. Убежденным «общеруссом» Короленко остался до смерти: всякая духовная узость была чужда этому человеку.

Я соединил в кратких воспоминаниях имена Маликова и Короленка потому, что и в жизни их соединяла давняя дружба и взаимное уважение. Но, кроме того, хотелось сказать: вот образчики людей, каких больше не найдешь! И не только потому, что они обладали талантом и даром обаяния: они, действительно, были обаятельны и необыкновенны. Очаровывала широта и независимость их взглядов, их необычайная последовательность (отказ Короленка от присяги, маликовская «искра Божия в прокуроре»), их юмор и жизнерадостность, — и в то же время всегдашняя готовность к самой настоящей борьбе, а не к пустым словопрениям. Даже мимолетная встреча с ними крепко запечатлевалась, — и заряжала жизненностью. Счастливы те, кому довелось жить в постоянном и близком с ними общении, особенно в годы их зрелости и силы.

Наше поколение с ними только соприкоснулось, — но и за это спасибо судьбе!

## ЛУБОЧНИКИ

Кажется, целиком снесены китайгородские стены, что-то писалось об этом, не уследишь, а справиться нельзя: сейчас не только вся Москва, а и вся Россия за китайской стеной. Раньше, на протяжении от Владимирских до Ильинских ворот и дальше, к Варварке, по внешней стене Китай-города, была прекрасная московская Азия — лотково-балаганный базар, малая толкучка. И как — свет с Востока, то тут же гнездилась и первобытная грамотность в книжных ларях, к дням войны начавших развиваться в большие лавки. Нужно понять: человеку, в грамоте не сильному, страшно заходить в настоящий книжный магазин. Как спросить, да что тебе ответят, да еще станут ли разговаривать? Иное дело, когда книжки на улице, у всех на виду, а хозяин разговорчив и умеет свой товар показать и похвалить. Книжки яркие, обложки говорят за себя сами, по стенам и на прилавке лубки высоконравственного содержания, с императорами, чертями, богатырями и пляшущей бабой, с забавным стишком; на всякий вкус, на всякую цену, на любой спрос.

Лавка Ивана Ивановича Фомина (немножко изменяю фамилию, не знаю, где он и что с ним) помещалась против Ильинских ворот в угловом доме; Иван Иванович торговал не столько в розницу, сколько оптом. Он был сам родом из владимирских офеней, книжных разносчиков, и его отец, тоже Иван Иваныч, как и его дед, — еще носил книги по деревням

всей России, забираясь и в Сибирь. Наш молодой Иван Иванович сохранил бороду, володимерский говорок, деловитость и бойкость, но уже вышел в купцы и походами не занимался, а снабжал книжками пришлых офеней, отчасти издавая книжки и картины сам, отчасти перепродавая издания, чужие, в последнее время преимущественно сытинские, творчества славной памяти Ивана Дмитриевича. Не будучи весьма просвещенным, Иван Иванович Фомин водил знакомство с самыми лучшими лубочными художниками и писателями и мечтал развить свое дело так, чтобы услышал о нем если не Лев Толстой, то хоть Владимир Галактионович Короленко. И было бы несправедливостью сказать, что руководила им жажда наживы, — хотя от доходов он не уклонялся. Нет, это была настоящая деловая страсть и подлинная любовь к книге, унаследованная от предков Иванов Ивановичей. К книге, к картинкам, к читателям, грамотеям, к яркости, к острому слову.

За обширной лавкой, где бывал народ, помещался закоулок, скромная контора, стол, лавка да три стула. Здесь вершились дела, подписывались соглашения и векселя, и сюда же Иван Иванович приглашал почетных посетителей лавки, захожих «интеллигентов», каким-нибудь боком примыкавших к народной литературе. Меня завел сюда доктор Андрей Степанович Б., бывший толстовец (в дневниках Толстого и Софьи Андреевны упоминаются и он, и его брат, профессор-пчеловод), он же — огородник, автор популярных книжек, отец множества детей, а сейчас уже дед легиона внуков. С Андреем Степановичем мы работали в нескольких кружках — составляли народные библиотечки, писали статейки, мечтали об издании дешевых книжек и не одобряли правительство. Это было в 1904 году, в дни войны с Японией, когда народный лубок, преимущественно патриотический, был в большом ходу и спросе, как и газета, которую на всех железнодорожных станциях выпрашивали целые толпы крестьян; вообще — про-

свещенье двинулось. Иван Иванович Фомин это понимал и дорожил знакомством с «просветителями». В их числе был и отец Яков Шестаков, автор многих книжечек и брошюр характера исторического и этнографического, кропатель статей в разных провинциальных газетках, исследователь старины, — один из тех неизвестных, участием которых создавались в городах и городках школы, музейчики, библиотечки, возникли газетки, крошечные издательства. Отец Яков был священником без прихода, пострадавшим за какие-то провинности, о которых никто ничего не знал, а он говорить не любил; был человек с хитрецей, может быть, святой, а вернее грешник, но мы знали и ценили в нем его безграничную, пламенную любовь к книге, вообще — ко всякой книге, его писательскую страстишку и его жадность к жизни, к событиям, к заметным людям, к науке, старине, новизне, — ко всему, в чем проявляется непокойный и любознательный человеческий дух. Признаюсь с откровенностью, что отца Якова, великого русского землепрохода, истинного свидетеля истории, ныне покойного, я пристроил на теплое местечко героя романа, — да простит мне его тень!

Постоянным посетителем лавки и ее закоулка был еще Константин Константинович Суздальцев, фамилия подлинная, один из ранних и убежденнейших наших кооператоров, родом, думаю, старообрядец, душою — новатор, профессией — бухгалтер, написавший книжечку «Копейка рубль бережет», которую издал Иван Иванович, а потом переиздавал многожды и он, и другие издательства в течение многих лет, маленький, болезненный, сухой человек, сухой телом, а душою мягкий и хороший; кооперация была для него как бы прекрасной дамой, и через нее он мечтал спасти мир. Он же, помнится, был и одним из организаторов громадного Союза приказчиков, еще до первой революции, в котором я краткое время был юрисконсульт. С доктором Б. и Суздальцевым, при сочувственном участии отца Якова и активном — писателя Казимира

Ковальского (впоследствии — романист «К. и О.»), мы положили основание издательству дешевой лубочной книжки под титулом «Жизнь и правда». Тираж — 12 тысяч экземпляров, цена — 60 копеек за сто штук, а в розницу копейка книжка. Доход издателя, Фомина, 3 рубля, автора — тоже 3 рубля с 12 тысяч экземпляров. И вот тут исполнилась мечта бескорыстного Ивана Ивановича: сотрудниками этой серии стали и Короленко, и сам старейший народник Златовратский, перед которым Иван Иванович положительно благоговел. Короленко в Москве не было, с ним сговорились по переписке, а Н. Златовратскому издательство, в день выхода его книжки, закатило обед с участием писателей-самоучек, с пельменями и приличным возлиянием, которое старик умел ценить.

Легкое возлияние (водка, селедка и огурцы) полагалось при каждом общем собрании сотрудников издательства в закоулке книжной лавочки у Ильинских ворот. Тарелок не было, и закуска лежала на бумажках, как это полагалось во всякой приличной конторе; для отца Якова, трезвенника, посылали в трактир за парой чаю. Именно тут, в тайнодействии, решили мы издать такой народный песенник, чтобы заткнуть за пояс все прежние, Клюкина и Сытина, и чтобы он был грамотным, художественно подобранным, ярко и красиво изданным, а его «направление» Фомин предоставлял нам, в это дело не вмешиваясь. Редактировать песенник взялись мы с доктором, собирать материал — все сотрудники, ведаться с цензурой — компаньон Ивана Ивановича, человек ловкий, умевший ладить со всяким начальством. Сборник песен проскочил бы в цензуре и так, попросту незамеченным, но наше издательство, лояльное и невинное, было отмечено статейкой «Русской мысли», — и это, вместе с честью, принесло нам ряд неудобств, обратив на нас внимание.

Песенник вышел на славу! И мужик камаринский, и «Песня о рубашке», и «Кинжал», и гражданские вирши Некрасова, и даже кой-какой новый перевод с чужих языков, исполнен-



ный молодыми поэтами, с которыми мы вошли в сношение. Никаких революционных песен, где уж там! Каждая сама по себе — пустяк, попадавшийся и в других сборниках, но подбор столь искусен и тонок, что Иван Иванович, торговавший царскими портретами, и сильно наживший на картине «Макаров под водой», заявил, что он знать ничего не знает, дело не его ума, и он только нашей рукописи покупатель; сам же был доволен, что работает со столь опасными людьми и что его книжки отмечены самим Гольцевым в «Русской мысли». Опытный в этих делах компаньон Фомина нащупал предварительную почву в цензурном ведомстве, — как там относятся к нашим книжкам, — и заявил, что потребуются расход на расстегаи в трактире Тестова с двойной подливкой: обычной и спиртной. Мы обсудили сообща меню; за расстегаями следовал настоящий обед: подливка, кроме водки, — два вина и шампанское. Дело шло не об одном песеннике, а вообще о дальнейшем издательстве, которое предполагалось развить; кроме листовок намечались брошюры, а может быть, и картины в исполнении хороших художников и с хорошим «направлением». Обед на три персоны: компаньон, чиновник цензуры и кто-нибудь не из нас, а со стороны, из добрых знакомых лояльной мысли и с почтенным брюшком. Иван Иванович размахнулся: пятьдесят целковых! Не взятка — взятку давать и трудно, и невыгодно: возбудит подозрение, и пустяком не отделаться; цензор же, по словам компаньона, душевнейший человек и большой любитель покушать в приятной компании. Обед состоялся, и песенник был подписан еще до шампанского, а назавтра утречком, уже в ведомстве, поставлены и нужные печати. «Кинжалом», однако, пришлось пожертвовать.

Но подходили — и подошли веселые и смутные времена, дни мелких дел миновали, закоулок в лавочке опустел, картина «Макаров под водой» перестала пользоваться успехом и прикрывать издательство «Жизнь и правда». При прежней вере

в пути достижения человеческого счастья остался только автор книжки «Копейка рубль бережет»: спасенье мира при помощи кооперации. В пятом году, в декабре, мы с доктором Б. отдались делу изучения быта таганской тюрьмы, откуда сначала он, а потом и я попали за границу. У меня нет ни одной книжечки из числа нами изданных, даже мною написанных нет: ни «Японии и Кореи» с собственноручными рисунками, ни «Русских военачальников» (в общем — не без почтительности), ни «Вознаграждения рабочих за несчастные случаи» (книжка разошлась в неделю по фабрикам, закупалась сотнями). Лубочные издания часто пропадают бесследно, так как никто их не хранит, а в библиотеки они редко попадают.

В 1912 году я был военным корреспондентом на Балканах от «Русских ведомостей». Выжидая разрешения ехать на фронт, зашел в Софии в книжарню — самый большой и лучший книжный магазин; и оказалось, что им заведует старый приятель, московский лубочный торговец, Иван Иванович Фомин, но уж не как хозяин, а как сытинский представитель и, кажется, пайщик. Это — поползла из Москвы в Болгарию русская книжная культура. Было что вспомнить и о чем поговорить, и книжарня стала местом встреч приезжих русских писателей и журналистов, в их числе назову ныне покойных В. Немировича-Данченко и Е. Чирикова; из полупокойных вспомню Льва Троцкого, державшегося в стороне от прочих, хотя и писавшего в весьма буржуазной «Киевской мысли»; на фронте будущий советский главнокомандующий не был, держался тыла и скоро уехал в Белград — бранить болгар, а оттуда дальше — бранить сербов. Но писал отлично — рожденный фельетонист. В книжарне мы его не видали. И было в книжарне, как и у Ильинских ворот, радушное гостеприимство и «общие собрания» по всяким торжественным случаям, но уже не в закоулке, а в светлых и обширных хоромы, за длинным столом, на котором стоял и холодец, и «прасенце печено», и все, что тешит человека в его кочевой жизни.

«Общим собранием» было отмечено, конечно, и перемирие с турками; мы вернулись с фронта, и меня тянуло вернуться в Италию, прямо из балканских снегов — в солнечную Венецию. Было прощанье, и были речи, каких еще нельзя было говорить в России, и я едва не опоздал заехать в свой отель за уложенным чемоданом. Последним болгарским впечатлением была русская книжарня и лица русских друзей, провожавших поезд. В Сербии пришлось задержаться лишь ненадолго; война с турками превращалась в войну братскую двух славянских народов. Под Новый год в совершенно пустом поезде я выехал в Австрию, по пути заглянул в Загреб, скатился к Фьюме и ранним утром, когда волны Адриатики молочны от низкого тумана, различил силуэт башни «мессер сан-Марко»; и прямо с парохода — на единственную в мире площадь, всегда праздничную, даже в будний день. Книжарня была забыта и выплыла в памяти только сегодня — с приятной непоследовательностью, за которую людей нашего звания не судят.

## САМОУЧКИ

В те дни, когда в России общественность существовала и не подозревала, что она может стать когда-нибудь государственной («советской»), у Ильинских ворот Китай-города довольно бойко торговала книжная лавочка лубочных изданий, и в этой лавочке собирались: почтенный врач из бывших толстовцев, молодой кооператор, прославившийся книжкой «Копейка рубль бережет», начинавший романист К.К. и помощник присяжного поверенного, немножко прикосновенный к литературе. Первых не называю, не имея на то права, а последним был я сам. Все мы четверо были редакторами своеобразного издательства книжечек в лист толщиной, продававшихся в розницу по одной копейке, а оптом по шестьдесят копеек за сотню. Книжки печатались по двенадцать тысяч экземпляров и выдерживали по несколько таких изданий. Доход от одного издания был шесть рублей: три рубля издателю, три рубля автору, а редакторский труд бесплатно. По России их разносили офени вместе с яркими лубочными картинками, царскими портретами, «Разбойниками Чуркиными», лентами, пуговицами и прочей ерундой.

Издательство пышно называлось «Жизнь и правда» и было, конечно, идейным: вместо безграмотного песенника мы пускали в обращение сборнички «песен труда», вместо чувствительной чепухи — художественную вещь хорошего

автора или «самообразовательную» листовку. Революции в этом не было, а просветительность присутствовала. Идея была хороша: использовать пути коробейников. Менее счастлива была идея — послать набор наших книжечек для отзыва в газеты и журналы. Нас похвалила «Русская мысль» — и немедленно нами заинтересовалась цензура. Хозяин лавочки, хитрый мужичок, вывернулся, разыграв простака и угостив цензора завтраком; завтраки пришлось повторять по случаю выхода каждой новой книжки, и издательство не выдержало. По нынешним временам всеми позабыто, что даже какая-нибудь «Песня о рубашке» считалась революционной, а подбор невиннейших, но хороших стихотворений именовался тенденциозным, если по грамотности обнаруживал участие редактора-интеллигента. Одно и то же разрешалось в издании дорогим и запрещалось в издании народной листовкой.

Работа в этом издательстве свела меня с интересными людьми: со старыми народниками, как Н.Н. Златовратский, с редакторами, как В.А. Гольцев, с московскими литературными чудаками, как В.Е. Ермилов, и со множеством «писателей-самоучек», поставлявших свой товар лубочным издателям.

О Н.Н. Златовратском вспомнить, пожалуй, нечего. Мы издали одну его повесть (кажется, «Крестьяне присяжные», в большом сокращении, листов до трех), и наш издатель, гордый таким сотрудником, не только заплатил ему «огромный гонорар», но и неоднократно чествовал его обедом. Златовратский был стар, достаточно беден (жил в студенческих «Гиршах») и всеми позабыт; нам было приятно его почтить.

В.А. Гольцева помнят многие — его имя принадлежит истории русской периодики. Я знал его в последние годы его жизни (он умер в 1906 г.) и, немного сотрудничая в «Русской мысли», часто бывал в его кабинете. Помню, как по средам он отправлялся в цензуру «сечься» — и победоносно возвращался, отстояв какую-нибудь статью. Был приветлив к «начинающим» и пользовался уважением «имеющих имя».

Когда-нибудь мемуаристы расскажут и о В.Е. Ермилове, среднем литераторе, страстном театралe, неудачном издателе и изумительном чтеце, особенно стихотворений Некрасова.

Здесь я хочу вспомнить об особой породе писателей — о так называемых «самоучках», или «писателях из народа», предшественниках нынешних «пролетарских», но только бывших в далеко не привилегированном положении.

«Самоучки» — выражение, конечно, не из удачных. Писательских школ и университетов не существует — все самоучки. Разумелось просто, что эти люди не получили образования. Неточно и выражение «из народа», — были среди них мещане, чиновники и даже купцы. «Самоучкой» полагалось считать Ломоносова только потому, что он бежал из деревни; но он был профессором. «Из народа» был Горький, столь чуждый деревне. Дрожжин был мужиком, Белоусов московским портным, — но что общего с «самоучками» у Есенина?

Еще студентом я работал с приват-доцентом Я. над большим исследованием о русских самоучках всякого рода, которое предполагала издать книгой «Русская мысль». Были собраны огромные материалы, среди которых интереснейшими были автобиографии писателей-самоучек. Книга не вышла, часть материалов была опубликована в разных изданиях в разработанном виде, остальные были сданы в Академию наук. Так, по крайней мере, уверял меня пр<иват>-доц<ент> Я., использовавший до пятидесяти моих разработок, печатая их под своей фамилией в разных журналах, когда я был уже за границей, — дело прошлое! Но работа была интересна, жалеть не приходится.

Писатели-самоучки в поисках руководителей обивали пороги писателей «настоящих», и в их автобиографиях и воспоминаниях — много рассказов о таких посещениях. Думаю, что и до сих пор не опубликованы превосходные наброски некоего Ивина о Л. Толстом, которого он знал близко. Про Ивина Л. Толстой говаривал: «Вот Ивина читают в России гораздо больше, чем меня!» Действительно, Ивин работал на лубочных изда-

телей, и его бойкие рассказы и небольшие романы (на манер «Разбойника Чуркина») расходились в миллионах экземпляров. За «роман» он получал гонорар — до пяти рублей или новую пару сапог. Толстого он любил, но писал о нем довольно ядовито: «Иной раз попросишь: Лев Николаевич, не найдется ли у вас трех рублей? — а он: — Откуда у меня быть деньгам? Мне жена даст на баню гривенник — вот и все мои деньги! — Однако потом вынесет: — Вот, мол, выпросил у жены». О Толстом рассказывали многие — к нему было всегда паломничество самоучек. Любили Короленка — он никогда не отказывал в советах, аккуратно читал «произведения», кой-кому помог печататься. Известно, что Короленко «открыл» и Горького.

Среди самоучек весьма известен стихотворец Дрожжин. Я был на каком-то его чествовании — не помню, по какому поводу. Так как Дрожжин был из крестьян, то половых рестораника нарядили в красные кумачовые рубахи, а маленький зал разукрасили рогожами и лаптями. Это было в начале девятисотых годов. Если не ошибаюсь, старика Дрожжина почтили юбилеем в советской России лет пять тому назад, — но, вероятно, уже без лаптей, а как «пролетария».

Московские писатели знали И.А. Белоусова, поэта и детского писателя; он бывал на «средах» и в Литературном кружке, со всеми водил знакомство, гордился дружбой с Чеховым. Был известен как переводчик на русский язык «Кобзаря». Он умер в прошлом году в Москве. Я его знал, когда он еще был портным — имел мастерскую в Фуркасовском переулке и не без кокетства «нес свой крест». Впрочем, это был прекрасный человек, любитель книги и литературных бесед.

Но, конечно, никто не помнит — да мало кто и мог знать — писателя Мони́на, иначе Мони́на-Сибиряка, сибирского маслодела, отличного поэта, настоящего. Однажды он приехал в Москву и привез мне рукопись своих стихотворений и, конечно, автобиографию и все, о чем запрашивали самоучек через газеты, для предпринятого Я-ским издания. Этому

Монину я помог издать книгу стихов, сопроводив ее предисловием. Книга немедленно канула в Лету. Туда же нырнула и другая книга стихов, вышедшая под моим покровительством (мне было двадцать три года, и никто обо мне ничего не слыхал): стихотворения М. Леонова, поэта-самоучки из крестьян. Половину его стихов, заготовленных для печати, я «отшлифовал», другую половину выбросил — книжка вышла на славу! Он был безмерно счастлив. Одно из стихотворений было посвящено «сыну моему Леониду»; я запомнил это потому, что и у Монины-Сибиряка было посвящение «сыну моему Леониду». М. Леонов так и не прославился, — но зато прославился его сын Леонид Максимович Леонов, известный и очень талантливый советский беллетрист, которому было года два-три, когда его отец согрешил сборником стихотворений.

Все поэты-самоучки писали под Некрасова, Кольцова и Никитина. Все они неизменно пели о полях, сивке, тяжелой доле и прочем соответствующем, хотя некоторые были отлично устроены, жили в городах и с немалым достатком; и книги издавали, конечно, за свой счет. По совести говоря, были в большинстве люди хоть и хорошие, но довольно утомительные. Вышеупомянутый В.Е. Ермилов задумал использовать их любовь к славе и их достаток, основав журнал, в котором они приглашались участвовать и который должны были содержать. Это было довольно забавно, и вначале пошло хорошо, по крайней мере, для издателя; если пр<иват>-доц<ент>. Я. считался «отцом» самоучек, то Ермилов с честью занял место их «дяди». Дальнейшей судьбы журнала, за моим отъездом, не знаю, как не помню и его названия. Вероятно, его ликвидировала революция 1905 года или последовавшая за нею реакция; интерес к самоучкам исчерпался.

В писательских кругах относились к самоучкам с иронией и пренебрежением. Можно терпеть Кольцова (можно и не терпеть!), но пишущие под Кольцова с трудом переносимы. Самоучки, поэты и прозаики, ютились по маленьким журналам и



провинциальным газеткам, редко добиваясь чести, попасть в большую печать. И многим ли известно, что именно этими неведомыми поэтами написаны слова множества романсов, которые до сих пор исполняются на концертных эстрадах и каждому знакомы. Для примера — «Я ли в поле да не травушка была» — на слова «поэта из народа» — И. Сурикова. Самоучкой был и Трефилов, автор знаменитого стихотворения о Касьяне, мужике камаринском.

Но было и большее: в самую народную гущу шли произведения русских писателей-самоучек, — туда, куда «Милорд глупый» попадал раньше Пушкина и Гоголя. Не один «Милорд глупый» — вместе с ним много хорошего и дельного, даже очень талантливое, изготовлявшегося по заказу лубочных издателей и распространявшегося по самым глухим углам России в количествах, о каких Пушкины и Гоголи не могли и мечтать. Песни самоучек распевала деревенская Россия, по их тоненьким романам она училась читать. Самоучки-художники малевали яркие картины, — те самые, которые сейчас так ценятся и усердно собираются любителями; самоучки писали к ним текст, не всегда грамотный, но всегда отлично приноровленный ко вкусам и к пониманию деревни. Они же, уже в качестве экспертов и редакторов, дешевых грамотников, собирали песенники, включали в них все, что в поэзии считали лучшим, — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Никитина, своих — Дрожжина и Сурикова, скромно добавляя и одно-два собственных стихотворения. При каждом дешевом издателе — а их были сотни — состояло несколько таких грамотеев, получавших гонорар деньгами и натурой. Некоторых я знал лично, и на их рассказах и записках можно бы построить целую своеобразную «историю лубочной литературы». Ими создано благосостояние и таких издателей, как Сытин, Салаев, Сазонов, Евдокия Коновалова.

Была еще особая область, в которой работали самоучки: летучие листки, выходившие и продававшиеся в больших городах,

а затем проникавшие и в деревни. До сих пор нет их сколько-нибудь полной библиографии (есть опыт собирателя А.Е. Бурцева). И уж совсем нет ни собрания, ни исследования таких «печатных произведений», как гадательные листочки, конфетные анекдоты, рекламы, — произведения неведомых авторов из той же породы самоучек, нашедших мецената и эксплуататора их талантов.

Вот теперь создается целая «пролетарская литература», как бы государственное предприятие. И странно — она едет на запятках литературы большой, старательно к ней приспособливаясь и проявляя беспомощность. Покровительство не создает талантов и, по-видимому, убивает природную оригинальность. И все-таки хорошо, что стена невнимания и презрения к талантам «из народа» пробита, — может быть, из этого что-нибудь и выйдет.

## ОТЕЦ ЯКОВ

Отец Яков, о смерти которого я недавно узнал, был замечателен тем, что страстно и действительно любил жизнь, не личную свою, не свои переживания, а жизнь человеческого муравейника.

О личной жизни отца Якова я знаю очень мало, больше по устным преданиям провинциальных кумушек. Познакомился я с ним уже тогда, когда он стал бесприходным попом и на месте не сидел. Раньше он имел приход в малом городке северо-восточной губернии, имел жену и занимался делами общественными. Из-за дел этих и пострадал. Говорили, что собирал он деньги на голодающих (в <18>91 году), а отчета исчерпывающего не дал. Может быть, правда, а может быть, и неправда. Хитрый был поп, отец Яков, и его моральных качеств я так и не раскусил за долгое знакомство. Знаю также, что устроил он в своих местах, где-то в лесной тиши, женский приют или монастырек для подростков, и также через это пострадал. И опять подробности остались неясными и неизвестными. Точно же известно, что отца Якова, сана не лишив, прихода все же лишили, и стал он простым мирянином в рясе и с наперсным крестом.

Был толст весьма, нос имел достаточно яркий и, однако, не пил ничего, кроме чая; чай же пил ведерными самоварами, вприкуску или с вареньем. Пил, улыбался, слушал, что люди говорят, сам рассказывал мало, о себе — никогда ни единого сло-

ва. Где пил чай, там норовил и заночевать; обедать же не навязывался, но и не отказывался.

Познакомились мы в редакции провинциальной газеты. Газета была большая, сотрудников мало; летом съезжались студенты — я тоже носил тогда синий околыш — и строчили фельетоны, хронику, передовицы; в редакцию приходили актеры (чтобы «упомянуться» в заметке), думские гласные (анонимно кольнуть самих же себя, «отцов города»), чиновники особых поручений (губернаторша благотворительный базар готовит), земцы (хозяйственные передовицы нам писали), маленькие литераторы со стихами, сельские учителя («сейте разумное, доброе, вечное») и много всякого народа. Приходил и отец Яков и приносил хронику, некрологи, этнографические заметочки.

Отец Яков знал всех и вся. Интересы его были разнообразны, сведения любопытны. Собирал зырянские песни, составлял азбуку для «вотяков», описывал неведомые племена, следил за карьерой врагов своих — благочинных, сообщал исторические анекдоты об архиереях, заглядывал в старообрядческие скиты, любовался новоотрытыми серебряными персидскими блюдами времен династии Сасанидов (Пермь и Вятка вели с Персией некогда меновую торговлю), понимал толк в уральских камнях, ведал всю родословную Шуваловых, Строгановых, Абамелек-Лазаревых, Поклевских-Козелл. Мелким неразборчивым почерком строчил заметочки по одной копейке за строчку и не сердился, если половина не шла в печать.

Печатал он и книжки — много книжек, больше все брошюры исторического или этнографического характера, да разные инородческие грамматики и словари. Позже, в Москве, я однажды редактировал его книжку, содержания которой сейчас не упомяну, — что-то о Прикамье. Из перечня его «трудов» на обложке я узнал, что книжка эта — opus 50-й, ни больше, ни меньше. За редакторский труд обещал он мне уплатить не деньгами, а землей в Вятской губернии, по десятине за печатный лист, итого восемь десятин. Земля — строевой лес, девствен-

ный, гигантский. Железной дороги в тех краях еще не было, и стоила там земля 93 копейки за десятину. Купчей мы не сделали, все откладывал отец Яков, да и я не спешил. Прибавить же по 7 копеек за лист и уплатить мне деньгами за 8 листов 8 рублей отец Яков не хотел: не было денег свободных. Тем это дело и кончилось.

Постоянно в городе отец Яков не жил: набегами появлялся. И приезжал он то из Чердыни и Соликамска, то из Сибири, или из Вятки, или из поездки по Каме. Под мышкой старый толстый портфель с бумагами, бумажками, книжками, визитными карточками, плакатами. Все собирал, всем интересовался. Говорил на «о»: «Любо-о-о-пытно, о-о-очень любо-опытно-о! хо-о-рошо!» И ни об одном человеке никогда не говорил плохо. Может быть, и думал, да умалчивал.

Робким отца Якова назвать было нельзя. И не шла робость к его грузной фигуре с иерейским животом и богатой каштановой шевелюрой. Но от неуверенности что-то было; долго присматривался к человеку, прежде чем заговорить с ним благодушно. Очевидно — немного побаивался людей отец Яков особенно местных: на кого попадешь. И все же тянуло его к людям. И в редакцию больше ходил людей повидать, побыть у источника слухов, известий, политических и житейских новостей.

Осталось из тамошних, местных о нем воспоминаний еще одно в моей памяти. Как-то в нашей же газете летом появилось объявление странного содержания. «Жена священника Якова Ш. ищет место кухарки или горничной. Адрес...». Не знал я семейных дел отца Якова, но, несомненно, объявление было умышленно так составлено. Про жену его слышал, что она женщина умная, курсистка. Ничего, прошло месяца полтора, — опять зашел в редакцию отец Яков, заметочку принес. Об объявлении, конечно, ни единого слова.

Должен я все же сказать, что все эти разные слушки про отца Якова так слушками и оставались: ничего положительного и точного никто не знал, и знакомство с ним водили все,

так как был он скромн, приветлив, знающ, по-своему культурен. Епархиальная среда его недолюбливала, — не она ли и наводила тень на его имя? В провинциальном болотце не любят людей, чем-нибудь выдающихся; а отец Яков по интересам своим не был рядовым человеком.

Ближе я узнал отца Якова уже в Москве, когда окончилось мое студенчество и началось адвокатство — в самом начале девятисотых годов. Мы тогда маленькой литературной группочкой издавали листовки для народа: книжечки на плохой бумаге, для цензуры не очень заметные, а с «направлением». Издателем был хитрый и ловкий книгопродавец у Ильинских ворот, сам — из владимирских офеней, хороший человек. Звали его Иван Иванычем, как и отца его, и деда, и прадеда. Фамилии не назову — он жив и здоровехонек, и еще не старый человек. Книжка-листовка стоила в розницу 1 копейку, офени на базарах торговали по 1 1/2 и по 2 копейки. Издатель продавал по 60 копеек за сотню. Доход издателя с 12 тысяч экземпляров был 6 рублей, из которых автору уплачивалась половина: 3 рубля за печатный лист! И, однако, нас заметили и позже стали цензурно угнетать; кажется, повлияла очень одобрительная рецензия сразу о всех наших книжках в гольцевской «Русской мысли». Литературная компания наша была совсем маленькой, незаметной; из «известностей» примыкал только старик Н.Н. Златовратский. Года два все же работали, и приятно вспомнить, что тысяч 200—300 экземпляров хороших книжек-листовок мы пустили в самую народную гущу, в самую деревню. По тому времени это было делом немалым и настоящим, чисто культурным, не партийным. Одна из книжек, нами выпущенных, и до сих пор бесконечно переиздается (К. Суздальцев. «Копейка рубль бережет»). Это была одна из первых народных книжек о кооперации.

Редакция была у меня на квартире, а отделение — в каморке за магазином издателя. Там стоял некрашенный стол, лавка, два стула, и иконка висела. Людей умещалось человек пять-

шесть, с отцом Яковом меньше: был он грузен. А появился он здесь не как мой знакомый, а как давний приятель книжника-лубочника Ивана Иваныча. Обсуждали мы наши дела, в обеденный же час посылали мальчика купить красную головку, огурцов и хлеба. Отец Яков хлеб с огурцами ел, чаем запивал, до водки не дотрагивался. Но очень любил смотреть, как пьют другие, как языки сразу и развязываются, и заплетаются. Нравилось ему с нами. Сидит, слушает, пот клетчатый платком вытирает. Глаза хитрые и умные: хорошо жизнь понимал, и принимал ее радушно и в малом, и во всей полноте.

Хотя никакого отношения к издательству нашему отец Яков не имел, но сделался обычным членом нашей компании. Стал бывать у меня и у других. Квартира у меня была — проходной двор, и всяких людей встречал здесь отец Яков, особенно ближе к дням первой революции. Сам он никогда ни левых, ни правых убеждений не высказывал, отнекивался: «Это дело не мое, не таков мой сан». Но слушал жадно. К нему привыкли и не стеснялись. Иногда говорили такие слова и вещи, что никак священнику нельзя слушать. Ухмылялся поп, краснел иногда, а слушал: «Гово-о-орите, говорите, мое дело сторо-о-о-ннее». К десяти часам вечера клевал носом: привык вставать в седьмом часу, а то и раньше. Часто и ночевал у меня. А утром исчезнет — так и пропадает иной раз на месяц. Потом опять появится с толстым своим портфелем и хлебным узелком.

— Где странствовали, отец Яков?

— Много был. В Вологде был, в Ярославль заезжал тоже. Хорошо-о-о! Люди какие! Хорошие люди там. Адресок оставляю вам, на случай поедете когда.

— Что вы там делали, отец Яков?

— Разное. Дела были малые. Осматривал приют, в храмах бывал. Главное — люди хороши. Любопытно-о! Мне все любопытно.

Иногда подробнее рассказывал, но не слишком словоохотливо. А людей посещал он по всем городам самых известных,

самых общественных. Никогда ни от какого знакомства лишнего не отказывался. И многих я потом встречал, знавших отца Якова. У одного он обедал, у другого ночевал, с тем в музее столкнулся, разговорился. И росла в портфеле отца Якова коллекция визитных карточек и запись адресов. Дарил свои книжки на память с витиеватой надписью с завитушками.

В 1904 году зачастил отец Яков в Петербург. Возвращаясь, рассказывал о разных влиятельных дамах, у которых зачем-то бывал на приемах («Дела были к ним малые»), о Победоносцеве, до которого с трудом добрался («Посмотрел на него, сподобился!»). Сумел и к Плеве проникнуть. Когда появился Гапон — и к Гапону попал отец Яков. Жизнь в те дни закипала котлом, и не сиделось на одном месте любопытному попу: всех хотелось ему видеть, нельзя вблизи — хоть издали, нельзя поговорить — хоть послушать. Больше же всего интересовали его по тому времени «настоящие революционеры». Если бы у меня не было доказательств необыкновенной скромности отца Якова и полной бескорыстности его интереса к людям, — я бы, пожалуй, заподозрил его в том, что не зря он интересовался революционерами. Было много неясного в его прошлом, и в святыне он никогда не лез. Но никто и никогда не мог пожаловаться ни на болтливость его, ни на его нескромную пытливость. Он любил смотреть, узнавать, слушать, но ни о чем не выпрашивал, стусевываясь немедленно, когда чуял конспирацию или видел, что стесняет. Довольствовался тем, что ему говорили, объясняли. Что давали охотно — то брал с пытливой жадностью.

Летом 1905 года я жил на даче в Покровском-Глеbove, под Москвой. В качестве мизерного адвокатика, делами не обремененного, в город я ездил не каждый день, и то больше по революционным, чем по юридическим делам. Из города привозил на дачу шрифт для будущей подпольной типографии, здесь же, на свежем воздухе, варил гектографическую массу, писал пышные воззвания. Ближе жили студенты-петровцы, и бывали у меня на даче разные встречи. Нередко приезжал и жил по два-



три дня отец Яков. А постоянно гостил у меня один крупный террорист, которого усиленно разыскивали.

Это был человек исключительной силы духа, талантливейший, удивительной душевной чистоты и редчайшей выдержки. Он жил у меня и в городе, жил долго, с полгода, и был дружен со мной и с моей семьей. Значит, велика была его революционная выдержка, если я не знал, что он, живя у меня, участвовал лично в террористическом акте, потрясшем всю Россию. Великий князь проехал другими воротами и был убит не им. Спустя час после взрыва он сидел у меня в столовой и пил чай. Только год спустя я понял, почему дрогнуло его лицо, и почему он отвернулся, когда кто-то из пришедших ко мне сказал: «Убит великий князь, и убийца арестован».

Но в частной жизни Николай Иванович\* был приветлив, общителен, остроумен и бесконечно мил. С отцом Яковым он очень сошелся, и они целыми днями подтрунивали друг над другом. Справедливее, впрочем, будет сказать, что подтрунивал Николай Иванович, а отец Яков более или менее удачно парировал удары. У обоих было достаточно такта, чтобы в этих дружеских словесных состязаниях никогда не задевать больно святая святых друг друга: религии революционера и религии православного священника.

Очень мне памятны наши вечера на даче. За окном летняя благодать и прохлада, на лампу летят бабочки, к пузатому самовару стильно подходит красноликий отец Яков, а Николай Иванович — первый за ним в спорте чаепития. Если не было дам, то отец Яков позволял себе и распоясаться; изредка колыхал рясой, чтобы допустить ближе к телу свежий ветерок. Николай Иванович любил декламировать, а отец Яков слушать. Декламировал Николай Иванович удивительно, и сам он, не-

---

\* Это было его условное имя. Я здесь ничьих фамилий не называю, не хочу. Но прибавлю: лишь на днях я прочел в газете, уже здесь, в Берлине, что «Ник. Ив.» убит в Сибири чекистами: убит ударом револьвера по затылку за то, что отказался давать показания.

красивый, немножко тронутый ospой, делался красавцем на загляденье! А иногда пели они вдвоем, тенором и баском: «Господи, воззвах к тебе» и «Чертог твой». И было это удивительно хорошо и благолепно.

В одиннадцатом часу отец Яков зевал, прикрыв рот рукой, и отправлялся спать в свою каморку — вроде чуланчика. Коснувшись головой подушки — засыпал немедленно. Не так скоро туманил сон голову Николая Ивановича. Спал он в нашей столовой, одетым, у открытого в поле окна, с револьвером на стуле, — всегда готовый исчезнуть в темноте ночи. Так он спал уже больше года, с самого побега из восточной Сибири. Сложна была жизнь этого человека и полна приключений. Если бы не был он в этом очерке лишь попутным персонажем, — много листов мог бы я рассказать об этом чистом и пламенном революционере; а знаю я не более, как о сотой части им пережитого.

В ознаменование дружбы своей, а также ввиду совпадавших интересов, поп и террорист решили обменяться обувью. Отцу Якову, по летнему времени, жарко было ходить в сапожках, хотя сапожки его были легки и хороши; Николай же Иванович о сапожках мечтал — удобны они на случай побега, ловчее в них. Ноги оказались одной меры, и произошел торжественный обмен: отец Яков получил ботинки на резине.

Не прошло недели, как Николай Иванович был арестован в Москве, и удобные поповские сапожки помогли ему сделать на глазах конвоя необыкновенный прыжок через забор пречистенского арестного дома, где он был временно заключен и выпускался погулять на двор.

Описанием его побега были полны газеты (хотя и неточно побег изображавшие), а московский градоначальник (знаменитый одесскими погромами) метал громы и молнии, предчувствуя, быть может, от чьей руки ему суждено пасть.

Три дня Николая Ивановича не было; отцу Якову мы сказали, что его друг в отъезде. На четвертый день отец Яков с

Николаем Ивановичем пили чай на крытой террасе, обмениваясь шуточками:

— Где же вы, Николай Иванович, пропадали целых три дня?

— Я, отец Яков, закутил. Натура у меня слабая.

— Наговариваете на себя! Не таков вы человек.

— А каков?

— Вы человек хо-о-роший. Сильный человек, без легкомыслия. А сапожки мои хорошо ли вам служат?

И так хитро смотрел поп, что я невольно думал: «Неужели догадывается?» Никогда ни одним словом никто не намекнул отцу Якову о карьере его приятеля, и даже я по тому времени мало знал о жизни Николая Ивановича, только самое необходимое, без чего невозможно доверчивое общение с человеком: знал о его бегстве из Сибири и, конечно, знал подробности его последнего ареста и побега. Фамилии «Николая Ивановича» газеты не знали (и охранка еще не знала), а если бы знали и опубликовали, то отцу Якову это ничего бы не открыло: подлинное имя и фамилия террориста в нашем доме никогда не произносились. Одно могло навести отца Якова на размышления: были мы сильно озабочены в эти дни и, скрывая горе, заботы скрыть не могли.

И он догадался, только не сказал. А сказал позже, спустя недели две, когда снова пестрели газеты теперь уже подлинным именем виновника новой московской революционной трагедии, а сам наш «Николай Иванович», избитый, полузамученный, готовился заплатить своей жизнью за жизнь, отнятую им у старого врага — московского градоначальника. В страшное то время отец Яков, встретив меня в городе, спросил с усмешкой грустной:

— А в сапогах-то, в сапогах-то каких он был?

— Кто?

— Николай-то Иванович...

И смущенно, но с горящими, любопытными глазами выслушал подробный рассказ. Теперь скрывать было нечего, а

на скромность отца Якова в отношении меня я не напрасно вполне рассчитывал. Приговор был уже произнесен, спасти приговоренного к казни не было надежды. Она явилась позже, дав нам большое счастье. А эти дни были полны хлопот, в успех которых не верилось, тяжелых и печальных столкновений с бестактностью партийного генералитета, забот о доставлении смертнику последней житейской радости: увидеть жену и маленьких детей. Трудные были дни и странные: нити наших жизней пересекались и путались, а кровь любит омываться большей кровью...

Выслушал отец Яков с жадным любопытством. Больше, чем было сказано, не выспрашивал. Однако на дачу ко мне больше не ездил, да и вообще стал показываться реже. Вероятно — опасался все же.

Для скромного и степенного исследователя жизни эксперимент был несколько исключителен по впечатлениям. Наблюдать людей и события отец Яков любил страстно; быть непосредственным участником уклонялся. А тут, наверное, почувствовал, что можно стать участником и помимо своей воли. Это ему не улыбалось: он слишком любил жизнь.

Вскоре колесо жизни так завертелось, что уже не запомнить случайных встреч. Этапами жизни было восстание, тюрьма, бегство, долгая эмиграция. Все же в Италии я получил однажды какой-то новый орис отца Якова с длинной, семинарски-изысканной посвятительной надписью. Но по возвращении в Россию его уже не встречал. Не сомневаюсь, однако, что еще долго продолжал он смотреть людей. Наверное, побывал у Распутина (любопытно-о-о!). Если дожил до большевиков — верно, мечтал повидать Ленина. Но, кажется, не дожил. Он как-то исчез с горизонта прежних своих друзей и знакомых. О смерти же его узнал я сравнительно недавно и без точной даты: «Умер отец Яков, а когда и где — неизвестно».

Кто он такой был, этот поп бесприходный? Несомненно — маленький культуртрегер своего края. Вероятно, порядоч-

ный плут. Думается — семейный деспот. Но одно верно: страстно любил смотреть жизнь! Катал по России в третьеклассном и скотьем вагоне, с портфелем и узелком, чертил ее зигзагами вдоль и поперек, смотрел, изучал, одобрял, прислушивался, укладывал в любознательную поповскую душу. Про портфель свой говорил бывало: «Тут у меня вся история, вся жизнь наложена!» Но так и осталась эта вся история в поповском портфеле, наружу не вышла. И заключалась она в каких-то справочках, адресах, карточках, брошюрах, листках; видно, все главное и важное держалось в памяти для себя, а не для потомства. С ним ушло в последний далекий путь.

Есть — вернее были — в России такие странные люди. Как будто — никчемные; а, может быть, полезные. Заложено в их душу великое любопытство, жадность до жизни великая. В других странах они были бы, возможно, замечательными путешественниками, исследователями. У нас — так, попусту треплются, то есть для других попусту, а для себя — полною жизнью живут. Это люди — пытливые наши глаза, жизненности нашей залог, жажды нашей носители. Я думаю, отец Яков сродни был странникам-землепроходам, искавшим наилучшей веры и земли наитучнейшей. Но интересы его были конкретные, более очерчены, а душа не столь возвышенной. Пытливость же к людям — та же самая.

И вот, когда, по слабости человеческой, я думаю, что недурно бы умереть (простейшее разрешение множества вопросов!), я припоминаю любимое слово жизнелюбивого отца Якова:

— Любо-о-опытно-о! Жизнь-то, она — интересная! Все хочется перевидать!

И, из уважения к памяти покойного, отгоняю соблазнительные мечтания и продолжаю тянуть канитель с того места, на котором остановился в задумчивости.

## НИКОЛАЙ ИВАНЫЧ

Минувшей весной прочел я в зарубежных газетах небольшую заметку о расправе томской чеки с арестованным по политическому делу, отказавшимся давать показания на допросе. Фамилия названа: К у л и к о в с к и й.

В памяти моей встала и выпрямилась во весь рост высокая фигура энергичного, нервного и сдержанного человека с рябоватым лицом, еще молодого. Вернее — молод он был тогда, когда я близко знал его; а с той поры прошло почти двадцать лет. Значит, теперь ему было уже за пятьдесят.

Это был эсер, террорист Петр Александрович Куликовский. Но тогда его звали иначе, по временной партийной кличке, просто «Николай Иваныч».

1904 год. Я — молоденький адвокат. Имею кабинет, в нем — обширный диван, рядом — моя спальня, столовая; первая самостоятельная квартира.

Случается, что бывают и клиенты. Числюсь бесплатным юрисконсультom Общества купеческих приказчиков — советы даю (живо справляясь по разным указателям). Имею звание присяжного стряпчего при коммерческом, опекуна при сиротском суде. Имею небольшие усы, фрак, жену, пишущую машинку, штемпеля: «копировано», «с совершенным почтением». Написал книжку о «вознаграждении рабочих за несчастные случаи». Защищал вора, уплатившего мне гонорар серебряными ложками. Выиграл дело с музыкальной экспертизой

на суд (клиентка пела и доказала, что у нее не меццо, а просто сопрано). У одного лысого клиента, дело которого поправил, начали расти волосы. Артель владимирских каменщиков направила старосту, дядю Акима: «Уж мы к вам завсегда; вы нам заместо Плеваки».

Короче говоря — куча малюсеньких дел, десятирублевых доходов, толстый с вензелем портфель (в нем номер «Права», Устав о наказаниях, «десятый том» и безнадежный исполнительный лист). В общем, не доходно, но весело.

Значок пока университетский, звание пока длинное (помощник при-сяж-ного по-ве-рен-но-го), но на пятый год сократится! Прошло с тех пор добрых десять лет, — так оно и не сократилось, а просто — исчезло.

Одним словом — сижу за столом в кабинете и пишу: «По прилагаемому векселю прошу взыскать в пользу моего доверителя... с судебными и за ведение дела издержками». Звонок, и входит субъект вида необычного.

Не застенчив, не развязен, спокоен и деликатен. Одет очень плохо, более чем бедно, видимо — пешеход. На рябоватом лице — красивые и очень умные глаза. Себя не называет, а протягивает записочку на тонкой бумаге, — такие записочки при внезапном аресте съедаются без всякого вреда для пищеварения.

Добрый знакомый из далекого города, геолог, человек солидный, рекомендует оказать подателю сего всякое содействие и радушие, «как мне самому оказали бы». Читаю и чувствую, что податель рассматривает меня: «что ты, юноша, за птица?»

— Присаживайтесь, очень рад. А чем могу быть вам полезным?

— Мне негде ночевать. В гостинице мне нельзя.

Я и сам вижу, что ему нельзя. Внешний вид — еще не беда, а вот записочка на папиросной бумаге...

— Вот, говорю, вам диван, Пожалуйста. В полном вашем распоряжении на ночь. А днем другие комнаты есть.

И засветились в его лице, суровом и строгом, душевные, веселые такие искорки. Ласково на меня посмотрел. Даже мне самому стало приятно: «Какой, думаю, я хороший! Пришел подозрительный субъект, а я ему сразу: “Вот вам диван, протяните ноги и спите!”»

— А как ваша... а как вас называть?

— Николай Иваныч, только и всего. Просто Николай Иваныч.

Дальше спрашивать мне не подобало. Но он сам — что нужно для знакомства — рассказал.

Биография и сложная, и обычная. Был в Сибири учителем. Никаких идей — так просто. Выпивал, и здорово, потому что тоска была смертная. Выкарабкаться хотелось из глуши. И случилось так, что выкарабкался, уехал в Петербург.

В Петербурге и учился, и учил — сразу. Устроился учителем или классным надзирателем в какой-то военной школе. Сам сел за книги, наверстывать время упущенное. Сошелся с людьми партийными, с эсерами. В ученической библиотеке, в особом шкапу, прятал первые номера зачавшейся тогда «Революционной России». Думал — безопасно: сам этой библиотекой заведовал. Но школьник подсмотрел, догадался и донес.

Вероятно — славный паренек вырос из этого мальчика! Охранник, чекист и т.д., в связи с дальнейшими сменами правительств и наименований.

Отправился в ссылку, весьма отдаленную. Из ссылки бежал.

Шел тайгой; плыл Байкалом. Где — одиночкой, где с арестантской шпанкой. Шел целый год; зимой батрачил за харчи — по беспаспортности. Летом избы конопатил. И на приисках работал. Было всего.

Образ человеческий за год скитаний утратил достаточно, чтобы никто за «политика» не принимал. Бродяга — и бродяга, каких тыщи. Бывало, на пароходе полиция обход делает — ищет беглых «политиков». А он себе — ничего, режется со



шпанкой в «носки», водку пьют. Сволочь — вне всякого подзрения. И всё сходило благополучно.

Добосячил до Воли и, потом и до Москвы. Партийных связей здесь никаких, раньше никогда не живал. Воспользовался адресом, полученным в дороге; вышло удачно. Вещей никаких.

— А дальше что будете делать?

— Хочется в Петербург, но там очень уж легко влететь, а здесь меня не знают. Спишусь, посмотрю.

Вечером залег в кабинете и заснул сном богатырским и праведным на широком диване.

А диван был исторический, достался мне вроде как бы по наследству. В старые времена спал на нем Герман Лопатин, тоже скрываясь от полиции; спал на нем В.Г. Короленко; спал — если не ошибаюсь — и Н. Чайковский и еще кто-то из народовольцев. А самый диван перешел ко мне от Александра Капитоновича Маликова, человека удивительного,

Участника процесса Каракозова и «193-х», боголюбца-революционера, усмотревшего искру Божью в прокуроре, поэта веры православной. О нем глупую книгу написал Фаресов, сердечные слова сказал В.Г. Короленко и собирался, да, кажется, так и не написал книжки его старый друг и сожитель по Америке Н.В. Чайковский. Очень им в свое время интересовался Победоносцев, в переписке был. Любил его и Л. Н. Толстой. Я его знал близко и хорошо, но уже стариком за 60 лет, бодрым, крепким, веселым; в поле работали вместе на хуторе «Маликово» в Калужской губернии. Хутор этот получил он в виде гонорара за книжку свою «На задворках фабрики. Край без будущего». Издатель А.П. Чарушников (тоже — человек любопытный! Умер теперь и он) выделил ему земли из своего имения.

Таков был диван, широкий, покойный и гостеприимный. Только вспомнишь о нем (не то, что лечь!) — и то провалишь в такую мемуарную глубину, что и выбраться трудно!

Стал у меня Николай Иваныч жить. Очень мы сошлись. Дома бывал, впрочем, немного. Ч спал не раздеваясь, всегда готовый и к обороне, и к бегству. Вечером, после чаю, читал нам разные стихи наизусть; великолепно читал, и память имел огромную. Преображался: красавец, глаза горят, голос стальной. Большой пропадал в нем артист. А впрочем — почему же пропадал? Сколько раз пришлось применить ему свое актерское дарование и прежде, и после, в долгих скитаниях, под разными личинами и именами — на огромной, сумбурной, всеглупейшей жизненной сцене!

Что делал Николай Иваныч вне дома — я не знал и не спрашивал. Хотя одним боком я примыкал к партии, но был в ее колеснице спицей самой маленькой; больше — писал и редактировал разные воззвания («Сорок лет прошло с тех пор, как даровали крестьянам волю, — и что же мы видим?.. Самодержавные палачи... Но уже близок час... Долой насильников...»). Шрифт моей пишущей машинки был забит воском: для ротатора работала. Забегали юноши и приносили свои прокламации для редакционных поправок («Мы, ученики старших классов... царящий произвол и деспотизм... забывая мозги... долой... Мы, фармацевты, как часть трудового народа... долой...»). Служила моя квартира для партийных рефератов, и в ней свои первые доклады читали «Непобедимый» (И.И.Ф.), «Жорес» (Н.Д.А.) и другие. Бороться с ними приходили яростные эсдеки и эсдечки («Предыдущий оратор, со свойственным ему красноречивым легкомыслием... мелкобуржуазное мышление...»). Помнится и тов. Ленин, под кличкой Вл. Ильина, оказал честь моей квартире на Садовой улице. Народу набилось больше ста человек, и каждый, разыскивая дом, считал долгом обратиться за указаниями к постовому городовику. Удивительно, как квартира не провалилась и в прямом, и в переносном смысле!

Но Николай Иваныч на таких собраниях никогда не присутствовал. Был великим конспиратором и пустяками не занимался.

Однажды возвращался я домой на извозчике, который и сообщил мне потрясающую новость:

— Взрыв-то, барин, слышали?

— Какой? Не слышал.

— Великого князя Сергея разорвало.

— Где? Когда?

— В Кремле, сказывают. Я там поблизости проезжал.

Событие огромное! Извозчик косится на меня, какой я человек, рад известию или не рад. Видит — не плачу с горя и, глаз хитро прищурив, замечает:

— Сказывают — на клочья.

— Кто же убил его?

— Не могу сказать, не знаю. Надо полагать — мстители, из студентов. Тому назад час, не более.

Дома у меня уже знали об этом: по телефону кто-то известил. Сидим, пьем чай, обсуждаем событие. По-своему обсуждаем: что прибрать, как скорее квартиру почистить, в машинке воск из шрифта выковырять начисто. Ясное дело — обыски пойдут по всему городу. Момент жуткий и любопытный.

Пришел домой и Николай Иванович, сел с нами чай пить. Ни о чем не слышал еще, но как-то не чувствуется в нем нашего возбуждения. Даже не спрашивает. Только одно спросил:

— А этот... который убил его... убежал?

— Нет, арестован. Сильно ранен.

Повернул лицо от света; я взглянул — вижу у Николая Ивановича мускул на лице прыгает. Но ничего, оправился, дальше чай пьет молча, слушает. Неразговорчив был в этот вечер.

И только год спустя я узнал, что сторожили проезд великого князя три террориста — у трех ворот. У первых — Каляев, у вторых — Савинков, у третьих — Петр Александрович Куликовский. Великий князь поехал первыми.

Дни наступили хлопотные. Куда там — чистить машинку! Теперь она стучала беспрерывно. Доставили из тюрьмы за-

щитники Каляева его письма к товарищам, его стихи. Утром все это переписывалось на восковой бумаге, на ночь в углу кабинета моего поднималось в паркете окошечко и туда совалились драгоценные подлинники, писанные рукой этого изумительного человека, поэта души нежнейшей, чуткого и беззлобного убийцы — Ивана Платоновича Каляева. Во всей суматохе Николай Иваныч участия не принимал. Помнится, он на неделю-две уехал из Москвы, как говорил — повидаться с женой. Только тогда и узнали мы, что есть у него жена, где-то под Петербургом.

Пришла весна. Думали — не политическая ли? Тогда от каждой весны ждали чего-нибудь, и каждая обманывала. Не беда — ждали от следующей. Пока что — поехали мы на дачу в Покровское-Глебово, под самой Москвой. Три комнатки, одна общая. С нами жили сестры жены, а Николай Иваныч, по обыкновению, в общей комнате на переехавшем сюда диване. Кухарка, великолепная старушенция, кормила нас непринхотливо огородными благами; дешево и сердито. Пили чай на крылечке, увитом зеленью. За нашей дачей — поле, а там лесок.

Николай Иваныч явно скучал. Наша «революционная работа» его мало занимала. Приходили студенты-петровцы, сельскохозяйственники, приносили тюки отпечатанных на ротаторе воззваний и агитационных листов. Приходила девушка, княжеского звания, складывала всю эту литературу в два, ею изобретенных мешка, один на спине, другой на животе, и отправлялась с ними в Москву — розовая, пополневшая, немного неуклюжая. Приезжал я «из суда» с полпудовым портфелем, а в нем — чистенький, блестящий типографский шрифт, прямо из словолитни, сложенный в плитку; но не брезговал и подержанным — типографщики доставляли. Набралось шрифта семь пудов. Старый — разбирали по буквам, в мешочки складывали. Решили поставить в общежитии петровцев хорошую типографию, чтобы не возиться больше с грязным ротатором и гектографами.

Все это — не то, но живая работа. В минуту большой откровенности признался мне Николай Иванович, что он ждет известий из Питера и, может быть, туда уедет. Но... потеряны важные связи, и тянут там канитель. Здесь же хотелось бы ему пока заняться с рабочими, благо дело это ему знакомо хорошо и очень по душе. Так как связи у него были только с центром, а местных не было, то просил меня свести его с людьми.

Свел. Стал он уезжать на целый день; возвращался только к ночи. Очень был весел и доволен; работа приятная, кружок оказался славным и занятным. Иногда рассказывал о работе.

И вдруг однажды не вернулся домой Николай Иванович. А мы знали, что заночевать ему было негде. Обеспокоились.

На другой день прибегают студенты и рассказывают, что случилось несчастье: провалилась квартира, где происходили занятия с рабочими, и арестован Николай Иванович.

Привыкли мы к нему, полюбили его, и очень огорчило нас это известие. Судьба ему, как беглому из Сибири, грозила тяжкая, да и чувствовалось, что не все он про себя рассказывает, что могут быть за ним другие дела, посерьезнее.

Грустно было — сказать невозможно. Кончились наши вечерние беседы, рассказы про Сибирь, про тайгу, декламация. Загрустил даже мой частый гость, поп-расстрига отец Яков, очень сдружившийся с Николаем Ивановичем и даже поменявшийся с ним, в знак дружбы и взаимной выгоде, обувью: от Николая Ивановича он получил ботинки, а ему дал легкие сапожки\*. Как увидим дальше, сапожки эти свою службу сослужили.

Прошло три дня, вечером на четвертый день сидим, грустим; за день никаких известий о нашем друге. Сидим крепко, разуз-

---

\* Об отце Якове, любопытнейшем типе, я рассказал коротко во второй книжке «На чужой стороне». (Примеч. авт.).

нать ничего невозможно. Знаем только, что взяли его не в квартире, а на улице.

Входит человек — в полумраке не разглядишь. Голосом знакомым и спокойным говорит:

— Здравствуйте. Самоварчик — это хорошо.

— Николай Иваныч? Да как вы?

— Что как?

— Каким же образом?

Обвел нас удивленно глазами, говорит:

— Да ведь амнистия.

Так сказал это, таким убедительным тоном, что мы на минуту поверили нелепости. И вправду, что ли, амнистия? Вот чудеса.

А он уже хохочет, чуть не прыгает от удовольствия.

Расцеловали его, и рассказал он нам много подробнее, чем описан был на другой день в газетах его замечательный, единственный в своем роде побег.

Долгая нелегальная жизнь приучила Николая Иваныча к большой осмотрительности и осторожности. Особое чутье развивалось. И вот, подходя к конспиративной квартире, почувствовал он, что что-то не ладно. То ли торговки с яблоками раньше на углу не было, то ли господин в котелке долго звонит по соседству у двери. Прошел мимо, дошел до угла — ничего особенного, и даже господин исчез. Решил — так показалось. Обогнул квартал — вернулся, прошел в ворота. Однако у ворот двора какая-то личность оказалась. Это уже — хуже, нужно быть начеку.

Поднялся на третий этаж, позвонил. Сразу отперли, но отпер человек незнакомый.

— Вам кого?

Нужно было отвечать условным паролем. Но проклятая подозрительность. И ляпнул Николай Иваныч первое имя, какое пришло в голову:

— Не здесь ли живет Петр Игнатьич?

— Здесь, пожалуйста!

Ага! Здесь! Ну, тогда ясно, что нужно делать! И прыжками через пять ступенек ринулся вниз по лестнице Николай Иванович. А за ним уже слышны шпоры — вся лестница загремела.

Добежал до ворот, выскочил, — а от ворот во все стороны шарахнулись личности. Не ожидали они такой прыти. Одного сшиб с ног — и вдоль улицы к торговой площади. Погоня отстала, но слышна. Свистки, крики.

Идет через площадь трамвай. Вот бы на него успеть, все-таки надежда. Между крестьянскими телегами, мимо балаганов, сжимая в кармане револьвер — к трамваю. И у самого трамвая попала под ноги какая-то старушонка. Сшиб ее, поскользнулся, упал, вскочил, — а уж за левую руку держит сыщик. Выхватил правой револьвер, поднял, обернулся — и повисли сразу двое на правой руке; третий бьет по руке, револьвер выбивает.

Навалились, окрутили, втащили на извозчика.

Но, может, народ пособит? Было то время тревожное, пахло в воздухе соответствующей «свободой», и публика не стеснялась говорить откровенно на улице, в трамваях, в трактирах. Недовольство росло. Не отобьют ли? Конечно — надежда наивная, последняя! Но ведь и гибель — верная!

Повысвободился и, пока усаживались рядом сыщики и городской, — громким голосом закричал:

— Братцы. Не давайте меня полиции в обиду! Я за революцию, за народ!

Заткнули рот, смяли, втиснули под ноги, один сел на него, извозчику велели живо ехать.

Поехали. Дело кончено. Оставалось — готовиться к встрече.

И стал Николай Иванович «готовиться». Лежа под кучей сыщиков, ухитрился вытащить записочки, — хоть и невинные довольно были, — съел их; нащупал в жилетном кармане трехрублевую бумажку — свой капитал наличный — и сунул за голенище поповского сапога. Может быть, и не найдут случай-

но, — а пригодиться может. Первые приготовления окончены. Остальное — будет видно.

Привезли его в Пречистенскую часть. Предварительный опрос.

— Кто вы такой?

— Как же это вы так, арестуете человека, а кто такой и за что — не знаете?

— А вы отвечайте, когда спрашивают!

— Не хочется что-то.

Отвели в комнатку, опять вызвали.

— Мы знаем, кто вы. Лучше сознавайтесь.

— В чем сознаваться?

Лежат перед ними фотографии, целые альбомы. Поискали, нашли кого-то.

— Вы — ... (фамилию называют, конечно, — чужую).

— Все возможно! Может быть, такой, а может быть, иной.

— Так не хотите себя назвать?

— Не хочу.

— Зачем вы приходили в квартиру?

— Я вообще отвечать вам не буду.

— Ах так? Ну, посидите, там увидим.

И отвели в тюрьму при участке. Временно, конечно. Плакала по Николаю Иванычу другая тюрьма, посерьезнее.

Он это, конечно, отлично понимал. Сегодня — личность не установлена, а завтра — могут и установить. Полицейский аппарат работать умеет. А установят, тогда каторга — лучший исход, а возможно, и кое-что похуже. Влететь так глупо из-за провала пропагандистской квартиры! Не к этому готовил себя Николай Иваныч! Никак это не могло входить в его революционные планы!

Но не растерялся. Недаром был он опытным актером сцены житейской.

Первое дело — бодрость духа, энергия и сохранение здоровья. Поэтому, прежде всего, он привел в порядок мысли, затем



заялся гимнастикой тела. Тюремный обед съедал до крошечки. Трехрублевка случайно сохранилась: ее зашил в рукав. А нитка с иглой у такого человека была всегда замотана за отворот пиджака.

Итак — утром холодное обтирание, гимнастика, ориентировка: изучение быта участковой тюрьмы. С сидящими сношений никаких; все равно помочь не могут, а пустые перестукивания — детская забава.

Из окна камеры (была она в верхнем этаже) видна лица и крыши прилегающих домов. Верхушки церквей видны. Но Москву Николай Иванович знал плохо; ориентировка была трудновата.

Внутри же тюрьмы слабое место — двор, на который выводили гулять. От улицы он отделен низеньким забором, лишь в полтора раза выше роста человека; гвоздей на заборе нет. Но худо, что забор выводит на улицу — там не скроешься. Еще хуже у ворот городской, в конце узкого двора — часовой с ружьем, а на прогулку выводит надзиратель или помощник смотрителя и ходит вместе, ни на шаг не отставая. Все-таки это — не тюрьма, не настоящая крепость. Значит, либо бежать отсюда, либо ниоткуда не убежишь.

Логика есть логика. На четвертый-пятый день либо установят личность, либо переведут в Таганскую тюрьму. Следовательно — остается возможно скорее и возможно удачнее выбрать момент для отчаянной попытки спастись. Убежать же можно только с прогулки. Для человека, умеющего рассуждать логически, имеющего для этого достаточно досуга и одинокого покоя и не имеющего иного исхода, — остальное ясно.

Первый день прошел в выработке несложного плана и изучении местности по расположению домовых крыш. Перебежать через улицу, забор, еще забор и, сменяя двор на двор, — выкатиться совсем в другом районе. Прыгать в легких поповских сапожках не так трудно.

На другой день — ожиданье прогулки, а на прогулке — ожидание момента. Помощник смотрителя разговорчив, любезен, шагает рядом, но ворон не считает. Часовой в конце дворика с любопытством смотрит на новичка. Городовой сторожит калитку в воротах, пропускает входящих и выходящих. Прогулка — четверть часа, не много. Придется отложить еще на сутки.

День третий. А вдруг установят, кто такой попал в сети охраны? Тогда — плохо. Откладывать побег больше нельзя.

Опять прогулка с помощником смотрителя, но сегодня Николай Иваныч неразговорчив; понурил голову, шагает медленно, устало; жалуется на слабость и нездоровье. Помощнику скучно, он рассеян: свои думы. Часовой оперся на винтовку, дремлет. Остается городовой; а вот к нему бежит девочка, верно — дочка. Славная девчонка!

И вдруг арестант исчез, — просто исчез, как провалился сквозь землю.

— Как я прыгнул! Другой раз так не прыгнешь! Прямо, с разбегу, едва коснувшись руками, — думал, улечу на небо!

В два прыжка — через улицу — в ворота напротив, — в глубине забор — через него — вихрем в соседний двор — еще забор — стоп!.. на высоком заборе целый частокол из гвоздей

Получилась ловушка! А тут и дворник бежит.

— Ты что тут делаешь? Что вам надобно?

Думал оправдаться как-нибудь:

— У меня, братец, того... живот заболел... где у вас тут капернаум...

Но дворник не глуп:

— Много вас тут шатается, скакуны заборные. Вот сведу участок...

— Молчи, убью!

Выхватил из кармана черный футляр от очков, к самому носу дворника приставил. Тот оробел, конечно.

— Скажи слово!

И к выходным воротам. Вышел — оказался наискосок от участка. А там уж все за воротами высыпали, бегут в разные стороны. Если побежать — догонят, не спасешься.

И логически мыслящий человек, надвинув пониже каскетку, играя футлярном, пошел прямо к воротам участка. Навстречу бежали, свистели; растерянно метался помощник зрителя. Кто в такую минуту обратит внимание на мирно идущего навстречу человека.

Дошел, не торопясь, до угла улицы. Прошел мимо глазающих городских. Трамвай. Сел на ходу, быстро вспорол рукав, вынул трешку, получил билет и сдачу.

На бойкой улице сошел, забрел в монопольку, купил «мерзавчик» с красной головкой, сбил сургуч о стену, — все, как полагается. И дальше, вместо Николая Иваныча, шел с бутылочкой слегка подвыпивший мастеровой. Улицами дальними, за город, по полотну дороги — прямо на дачу к соскучившимся друзьям.

— Откуда вы?

— Амнистия!

Не припомню другого такого счастливого вечера. Сменялся самовар самоваром. Николай Иваныч был весел необычайно, и все мы нервно возбуждены. Заставили два раза подробно рассказать, любовно похлопывали на нем поповские сапоги, хотелось самого его приласкать и расцеловать, — да в те времена нашим стилем революционным была сдержанность чувств.

Разошлись по комнатам. Лег Николай Иваныч спать на диване, рядом с открытым в поле окном. Сегодня даже сапог не снял. Помню — луна в окно светила, и было на душе радостно. Вряд ли скоро мы все заснули.

На другой день я поехал в Москву. В Пречистенской части был приют для душевнобольных, и там у меня был подопечный клиент. Разумеется, я воспользовался случаем посетить его и осмотреть двор, с которого исчез Николай Иваныч.

Подъехал на извозчике, с портфелем под мышкой: адвокат. Какие нынче строгости! Выскочил городской, спрашивает: куда изволите (никогда раньше не спрашивал). На дворике гуляет арестант, чуть не под ручку его водят. Солдат стоит навытяжку, рука на ружье. А в том месте забора, где, по описанию, прыгнул Николай Иваныч, поставлен еще часовой, детина здоровый и «тяжело вооруженный».

Прыгало у меня в груди сердце и весело смеялось.

Привез домой газеты с описанием «дерзкого побега важного политического преступника». Полиция не сомневается, что побег был организован с воли. Она уже напала на следы помогавших побегу. Градоначальник гр<аф> Шувалов (бывший одесский губернатор) лично руководит розысками. И всего любопытнее: «личность преступника, бежавшего из Сибири, установлена».

С маленьким опозданием.

Дальше очень грустны будут мои воспоминания об убитом чекистами друге времен первой революции.

Побыл он с нами недолго. Раз «личность установлена», значит, трудно волку спастись от охотников, значит, кольцо с каждым днем будет стягиваться уже. Николай Иваныч отлично знал, что он обреченный; но еще никто не знал, на что он сам себя обрек.

Целую неделю не выходил из дачи; даже чаепития на террасе мы прекратили: сидели в столовой. Смущала его утрата револьвера — слишком стал беззащитным в такой момент. И нужно было вновь установить кое-какие связи. Как ни был он конспиративен, как ни старался меньше впутывать других в свою судьбу, а без сторонней помощи обойтись теперь не мог.

Помню лес в версте от нашей дачи; мимо леса шло шоссе. В лесу, в глубине, за пригорочком я оставил Николая Иваныча и вышел на шоссе. Теперь в определенный час должен был

прямо из Москвы на извозчике проехать А.Г., человек судьбы тяжелой, революционер непримиримый, и ныне — смертник большевистской тюрьмы.

Завидел его издали. А. Г. ехал, углубившись в чтение газеты («Московского листка», — что может быть невиннее?), по сторонам не глядя, прохожими не интересуясь. Я — случайно гуляющий дачник.

— Алло! Здравствуйте! Куда это вы? Из города возвращаетесь?

— А здравствуйте, гуляете?

— Да, погода хороша. А вы отпустите извозчика, пройдемся пешком по опушке; грибы появились.

Сошел. Извозчик уехал обратно, мы — углубились в лес — к тому месту, где ждал Николай Иваныч. Там я их оставил.

Вернулся Николай Иваныч в сумерки. Спал у нас последнюю ночь; на стул около дивана положил новый браунинг.

На следующий день все мы были грустны и все ласковы друг с другом. Ни единого слова не сказал нам Николай Иваныч о своих планах, только сказал, что к ночи уедет, вероятно, надолго. Но все понимали, что уйдет он от нас, вероятно, навсегда.

Очень было грустно; привыкли к нему и полюбили.

Вечером было прощанье. Выпили по рюмке водки из того самого «мерзавчика», который купил он при побеге, закусили плиткой шоколада. Простился со всеми. Я сказал, что провожу его на вокзал; он не стал спорить.

На вокзале пусто: поезд не в Москву, а из Москвы. Показались в темноте два огромных глаза. Мы обнялись, крепко поцеловались, может быть, прослезились: в темноте не видно было. Подкатил вагон третьего класса, Николай Иваныч вскочил на площадку.

— Ну, прощайте, друг. Не забывайте.

И уехал.

Говорил на прощанье, что едет повидаться с женой. Я знал: он и с нею должен проститься.

Я вернулся на дачу. В столовой открыто окно: луна взошла. И стоит огромный диван пустой.

Николая Иваныча я больше не видал, хотя связь наша не прекратилась сразу.

Впишу сюда то, что узнал много позже от жены Николая Иваныча.

У него была славная, интересная, мужественная подруга жизни, — с которой виделся он за эти два года только один раз — тайком, как с возлюбленной.

У него было двое детей. Мальчику было лет пять, девочке только два; она родилась уже после его ссылки в Сибирь.

Увидаться с женой и девочкой он мог без особой опаски, конечно, не у них дома (жили они на даче под Петербургом), а у ее приятельницы, в месте безопасном. Но повидать пятилетнего сына — дело другое, более опасное.

В пять лет мальчики любопытны и многое понимают. Кому его показывают? Почему мама сегодня особенная? Почему этот незнакомый дядя так ласков? Почему не говорят, кто он такой?

Как мало мы знаем детей. Как они мудры.

Мальчику сказали, что это — дядя, папин брат. Ребенок смотрел внимательно, не отстранялся, ласкался сдержанно, но по лицу мамы читал, как по-печатному, легкое и знакомое слово. Но не спрашивал. «Папин брат» ласкал двухлетнюю девочку, веселую и приветливую. Можно вообразить эту сцену, но разве можно ее рассказать?

Мальчику внушали после: не нужно никому говорить, что ты видел «папиного брата». Наивные взрослые. Разве он кому-нибудь рассказал бы? Разве он не способен иметь собственную «большую тайну», гораздо больше, чем та, которую для него придумали. Эту тайну он скрыл даже от матери, даже ей не поведал о своей догадке. Только «папиному брату» он мог бы ее поведать на ушко, но пока не смел и времени не было. Он поведал ее после, при новом свидании.

И тогда они поняли, кто мудрее: дети или взрослые...

Прошла неделя. Без Николая Иваныча, без его рассказов, без декламации за третьим самоваром было скучно. Жили мы как-то напряженно. Знали, что беглеца ищут; граф Шувалов, очевидно, честь свою видел в поимке политика, так дерзко ускользнувшего среди бела дня из лап охраны. Быть может, у него были предчувствия?

Пока беглеца искали, он сам явился в приемную градоначальника. На нем была хорошая, добротная поддевка, сапоги со скрипом, темно-синяя фуражка в руках, волосы примазаны пахучим маслом, на пальце большое серебряное кольцо. Ожидая в приемной, где было много народа, читал любимый охотнорядский «Московский листок». По внешнему облику — мещанин с достатком. Чиновнику показал заготовленное для вручения его превосходительству прошение об открытии трактира второго разряда без крепких напитков.

Градоначальник вышел, принял первых, дошла очередь до мещанина. Тот протянул прошение, страшное прошение, — моление о чаше.

Шувалов упал, смертельно раненный в упор из браунинга, скрытого под бумагой.

Стрелявшего схватили. Он и не сопротивлялся. Убивая, он сам шел на смерть, без всякой надежды ее избегнуть, может быть, даже желая ее, — он так устал жить загнанным, без семьи, «папиным братом» для собственного сына, вечной мишенью для сыска, угрозой покою всякого, кто протянет ему руку, человеком без имени, затравленным волком.

Его, обезоруженного, долго и жестоко били. На первом вопросе он назвался:

— Петр Александрович Куликовский.

Наконец имя вернулось к нему.

Где-то на таинственной квартире пишущая машинка (нет, не моя) уже отстукивала на восковой бумаге:

— «По постановлению московского комитета партии... убит членом боевой организации...»

И личный героизм растворялся в шаблонной и бездарной партийной прозе...

Известие об убийстве Шувалова добралось до нашей дачи к вечеру, с кем-то из приехавших знакомых. Имя исполнителя не было еще известно; но, конечно, мы не сомневались, что это — «Николай Иваныч». Подтвердили догадку утренние газеты.

Впечатление, которое в те дни производил каждый новый террористический акт, трудно объяснить при нынешней нашей привычке к актам террора — с той и с другой стороны. Сейчас нервы наши притупились, покрылись корой, для многих впечатлений непроницаемой. Тогда каждое убийство потрясало, каждое имя всеми запоминалось.

И справедливо будет отметить, что для большинства акт Куликовского остался непонятым. Шувалов в Москве был новым человеком, и об его одесских делах мало кто знал. В его лице был убит не человек, лично ненавистный, а представитель ненавистной власти. Сам Куликовский (в бесследно теперь пропавших записочках из тюрьмы к товарищам) заявлял себя сторонником террора более расширенного, ударяющего не только по центру, но и по периферии власти. Лично он готовил себя к террору центральному; но выяснилось, что в Петербурге ему работать нельзя, его слишком хорошо знали. И он наметил Шувалова, как раненому волку естественнее всего броситься на ближайшую собаку.

Шувалов искал его, чтобы сокрушить и замучить; он вышел к нему навстречу — и убил его. Пусть это было единоборством, — хотя за спиной Шувалова был весь аппарат власти, а за спиной Куликовского только — смерть.

Акт Куликовского остается образчиком чистого идейного террора, который никогда не может быть целесообразным и «практически полезным», иначе — чем отличать его от простого убийства и от террора белого, правительственного?



Так думал Куликовский. В партии, акт его санкционировавшей, мало кто верно понимал его значение. Куликовский был использован, но не был правильно понят.

Так как по законам христианских государств кровь требует крови, то Куликовский был приговорен к виселице. На суде была его жена. При выходе из суда председатель остановил ее:

— Просите о помиловании. Время сейчас такое... может, и помилуют.

— Не буду.

— Как, то есть, не буду? За своего мужа, отца своих детей не будете просить?

— Он не хочет этого. Я не буду.

— Чудовище вы, а не женщина.

Нет, она не была «чудовищем», жена «Николая Иваныча», эта удивительная женщина, умница, любящая, умеющая поддерживать его бодростью своего духа. Ни перед кем из «власть имущих» она не пролила слезы. К мужу (я буду называть его дальше настоящим именем) она приводила в тюрьму детей, облегчая ему последние минуты.

Дети, конечно, не понимали случившегося, но знали, что папа в тюрьме и его не хотят им вернуть. И вот тут сынишка поведал впервые свою тайну. Ласкаясь к отцу, спросил его:

— Папа, а ведь тогда... это был ты, а не «папин брат»? Я догадался.

С тюремщиками же мальчик был строг, не позволял себя касаться, смотрел исподлобья. Петр Александрович уговаривал его:

— Почему ты с ними неласковый? Они не виноваты ни в чем. Их заставляют.

Обязан ли мальчик понимать такие тонкости?

Двухлетняя дочка Петра Александровича удивила всех. Когда ее вторично подвели к тюрьме, и она увидела лица за решетками, она пролепетала маме, показывая пальчиком:

— Палититики.

Где услышал и как запомнил это слово ребенок?

Но прошение на высочайшее имя было все же подано без ведома о том приговоренного к смерти. Мы, ближайшие друзья Петра Александровича, не без труда убедили его жену сделать это. Среди нас были партийные люди, бравшие лично на себя ответственность за такой нереволуционный шаг.

Я очень кратко расскажу то, что пред памятью Петра Александровича рассказать обязан.

Куликовский смерти не боялся — он доказал это. Он боялся другого: своей старой болезни. Еще в ссылке начались у него страшные, непереносимые припадки нервной головной боли, доводившие его до потери сознания. Он знал, что таким его состоянием могут воспользоваться в тюрьме, чтобы выпытать у него то, чего в ясном сознании он никогда не скажет. Всем нам было известно, что охранники записывают стенографически бред больных террористов (после революции это подтвердилось, и некоторые стенограммы опубликованы). Он известил нас об этом и, зная о неминуемой смерти, просил... ускорить ее. Он не хотел ждать палача.

Первое, что сделал партийный комитет при этом, это — рассыпался в разные стороны. Нужно сказать, что Куликовский знал в Москве, кажется, одного А.Г., да нашу семью, в партии не игравшую большой роли. Нечаянно выдать ему было некого. Мы же были настолько в нем уверены, что считали (пусть это не подобает партийным людям) оскорбительным для него и для нас предпринимать какие-нибудь меры предосторожности, — скрываться, выжидать его казни и т.п. Однако просьба Куликовского ускорить его смерть полуофициально обсуждалась, и был предложен проект отравить его конфетой, которую ему должна передать... его маленькая дочурка на свидании (детей к нему подпускали, жена же ничего передать не могла). Разумеется, требовалось его согласие.

Куликовский согласился, но мы, знавшие и любившие его, решительно воспротивились этому ужасу, правильнее сказать — преступлению, прежде всего, по отношению к ребенку. Я не

уверен, что и строго партийные люди предлагали этот проект вполне сознательно; не было ли это только игрой в трагедию? Во всяком случае, он был отвергнут.

Исполнение приговора затянулось, и Куликовский страшно страдал. Надежда на спасение была: в то время начались «новые веяния», было готово в проекте «народное правительство», общественное настроение было приподнято. Защитники (Н.В. Тесленко и А.Ф. Сталь) убеждали Куликовского просить царя о помиловании. Он решительно отказался. Тогда Сталь убеждал его подать заявление московскому генерал-губернатору, объяснив, что он, Куликовский, боролся за политическую свободу и представительный образ правления, т.е. за то, что уже близко к осуществлению и признано в принципе высшей властью. Можно ли казнить человека, за это боровшегося?

И в минуту слабости Куликовский подписал заявление.

Не нам судить его за эту слабость: он сам себя строго осудил за нее впоследствии. Осудил и наказал.

Одновременно с подачей А. Сталем заявления получена была из Петербурга ответная бумага на прошение жены. Смертная казнь была заменена 20-летней каторгой. Эта бумага была в моих руках. Я помню (не думаю, чтобы ошибался) ее странный номер: № 50 000.

И немедленно в партийных кругах распространился слух, что Куликовский высочайше помилован по прошению, лично им поданному.

Принципиально разница между «заявлением генерал-губернатору» и «прошением на высочайшее имя» не велика. Но фактически осуждавшие Куликовского были не правы: его «заявлению» даже не был дан ход ввиду последовавшей отмены казни.

Теперь несколько иллюстраций.

В тюрьме Куликовский пересылался записочками с другими заключенными. Однажды, послав записку... такой-то (не назову ее), он получил ее обратно с припиской, что с «подобны-

ми субъектами дела не имеют». Это было до помилования, лишь при известии о подаче его адвокатом заявления. «Партийная дама», из известной революционной семьи, сидевшая по пустяковому делу, дама, за которую хлопотали перед всякими начальствами многочисленные очень богатые родственники, — учила смертника революционному пуританизму.

Случай не был единичным. Нам, небольшой кучке близких друзей, отчасти виновников его помилования царем, пришлось защищать честь Куликовского от пуританствующего генералитета партии. Годом или двумя позже значительная часть «пуритан» были за границей, так как, по прошению их самих и их родных, высылкой за границу им заменили ссылку в Сибирь. Но при имени Куликовского они все же делали гримасу: «а, это тот, который...».

Честь его защитил Гершуни и другие, разделившие с ним каторгу и ценившие в нем честного и стойкого товарища. Куликовский, памятуя о своем «грехопадении», уступал всем свою «очередь побега». Это он помог Гершуни бежать; в воспоминаниях Гершуни он не назван (воспоминания печатались, когда П.А. еще был в каторге). Помог он и многим другим. Сам же оставался до конца, наказывая себя за некогда проявленную слабость.

Я обещал быть кратким. Поэтому пропущу детали московских партийных споров по этому поводу. Скажу только, что отношение московского комитета к Куликовскому было одним из мотивов последовавшего в 1905 году раскола, выделившего активные элементы партийной молодежи (В. Мазурин, часть петровцев, некоторые районные пропагандисты и др.) в оппозиционную группу. Никакого программного расхождения, впрочем, не было, и группа (1-я московская группа П.С.Р.) работала в согласии с комитетом, но во многом автономно. Позже противоречия углубились и, на почве оппозиции партийному генералитету, вырос максимализм. Упоминаю об этом потому, что в партийных хрониках упоминания об этом, конечно, не имеется.

Лично для меня и для многих мне близких вся эта история имела поучительный характер. Мы поняли, что такое «принципиальность» (в кавычках) и что такое «политическая партия».

Мне остается добавить очень немного, хотя с описанного момента до смерти Петра Александровича прошло почти двадцать лет. Больше знают о нем другие, я — очень мало, почти ничего. Знаю только, что на каторге Петр Александрович был окружен вниманием и любовью всех, деливших с ним тяжелую участь, и что для них он был образцом стойкости и нравственной выдержки. Все, кого я встречал из его товарищей по каторге, отзывались о нем с глубоким уважением.

Меня жизнь отшвырнула на другой конец света, я бы сказал — в условия максимального счастья, если бы когда-нибудь я мог мыслить счастье вне России. После длительной одиночки в Таганской тюрьме я бежал в Финляндию и оттуда на десять лет попал в Италию. Десять лет — в том возрасте — это почти вся лучшая пора жизни и, конечно, вся настоящая молодость. Рамка этой молодости — море, оливковые и апельсиновые рощи, мрамор, старина и приветливый народ. Судьба была милостива ко мне: спасибо!

Я знаю это теперь; но тогда (как и сейчас) я мечтал только об одном: вернуться в Россию. Судебный процесс, грозивший мне веревкой, был ликвидирован. Оставался только административный приговор к пятилетней ссылке в Нарымский край.

В юбилейный — десятый год своей эмиграции я решил вернуться на родину. В конце концов, для привычного путешественника маршрут Рим — Нарым, через ряд европейских столиц и всю Россию, представлял немало интереса. На третий год мировой войны, зная, что мой возраст скоро будет призван, я выправил себе подобие паспорта и отправился в путь. Мне повезло и тут: после ряда мытарств на границах я оказался в Петербурге «без права выезда» и в ожидании дальнейшей

участи. Ссылка за давностью была отменена, но жить в «местностях на военном положении» мне не разрешалось, — а на военном положении была почти вся европейская Россия. Коротко говоря, при тогдашней политической растерянности кануна революции я не только жил в обеих столицах, но и ездил корреспондентом на Западный фронт. Бумаги о выселении меня медленно плелись мне вдогонку — и опоздали. Революционный февраль застал меня в Москве в пререканиях с полицейскими властями.

Вскоре по приезде в Россию я напечатал в «Русских ведомостях» статью «Дым отечества» и в ответ получил не менее полусотни читательских писем; в то время читатель был особый — отзывчивости исключительной. Последним, с большим опозданием, пришло письмо с далекого севера. Оно не было подписано.

Кто-то карандашом писал мне, что узнал о моем возвращении в Россию от пароходного капитана в пути у берегов Ледовитого океана. «Мы были знакомы очень-очень давно, — прочел я в коротеньком письме. — Скажите, помнят ли в глубине России о нас, живущих вдали от ее жизни, ни на минуту о ней не забывая?»

Я не знал, чье это письмо. В нем описывалась северная ночь, но веяло от него знакомым мне теплом.

Это было единственное письмо, на которое я ответил, — на письмо без подписи и без адреса. Я послал свой ответ в недавно основанный сибирский журнал; в Сибири цензурные условия были много легче. Я благодарил за письмо и за хорошую память, но не скрыл, что «нас в России забыли». «Россия увлечена войной, ей не до нас, далекий товарищ! И мы, и наши прежние дела давно забыты. И не будем обольщать себя напрасными надеждами».

Не знаю, был ли я прав. Через полгода Россия вспомнила о тех, кто делал — что мог и что знал — для ее освобождения, и потянулись в ее центры далекие изгнанники из Сибири и с Запада. Далекие, жившие вне ее жизни, обо многом забывшие,

многого не ждавшие, — строить ее живую жизнь по своим надуманным программам. Это был час расплаты, и каждый платил, чем мог и за что знал.

И когда революционная буря уже кипела котлом, я получил однажды из Петербурга открытку, подписанную Куликовским. «Вы тогда ответили на письмо с далекого севера; я прочел ответ в “Сибирских записках”; это я вам писал».

Нам не удалось встретиться. Я не знаю, какую роль играл Куликовский в последние годы революции. Но ясно, что мечта его о спокойном и свободном труде в освобожденной от деспотизма власти России не осуществилась. Жизнь все еще требует борьбы и крови. Он боролся до конца — и кровью своей заплатил.

И только он в дни общего малодушия и великой трусости мог остаться прежним; отвечать чекистам республики, как он отвечал жандармам царя: отказом давать показания.

Его убили; на этот раз власть обошлась без излишних формальностей: вместо лицемерного суда — ударом револьвера по черепу старого революционера.

И не стало «Николая Иваныча»...

## ВЕНОК ПАМЯТИ МАЛЫХ

Когда почтенные политики, с документами и датами в руках, подытоживают прошлое, я не могу отделаться от грешной и еретической мысли: их ли, полно, стратегией, верной или ошибочной, всегда *post factum* многоумной и многоопытной, создаются и движутся события, именуемые сегодня — жизнью, завтра — историей?

Вы легко представите, какой шум негодования от разума вызывает эта ересь даже в собственном моем благовоспитанном рассудке: и историческая непрерывность, и логика экономики, и доказанная ничтожность роли личности в мировом процессе? Я оглушен криком одним своих возражений и, конечно, давно сдался. В дальнейшем я лишь смиренно приподымаю шапочку и прошу уделить все же внимание малым безумцам, жонглерам бомбами и жизнями, рядовым революции, о которых в моей памяти остались цветные зигзаги.

Они не претендуют на роль в истории, не вписывают в ее, окрашенные кровью масс, страницы своих забытых и незнанных имен. Я не уверен даже, занесли ли их матери на белые листки семейных библий или святцев даты их рождения и смерти: «в муках рожден тогда-то — тогда-то смертью во Господе казнен». В памяти же нашей — немногих и постепенно уходящих за ними друзей — остался аромат побегов древа жизни, под которым в юности кружили мы наш безрассудный, наш благословенный хоровод.



Мы им не судьи — лишь незлобивые зрители и соучастники их светлейшей дерзости. Безрассудные — любили мы их за безрассудство, молодые — за молодость. И теплились рядом с их пламенным горением. Теперь с улыбкой вспоминаем о них, и улыбкой ответим тем, кто память их осудит. А тем из них, кто жив, кидаем через голову читающего — ветку привета: «помню, люблю, откликнись». Жизнь так раскидала всех нас, и так глубоко воронки ее течения...

### **Володя**

Только один из тех, о ком я здесь вспомню, имел кроме имени — еще и фамилию, и только он один поминается в прессе тех дней и в списках революции. Но он не был вождем, и я возвращаю его тем, кому он ближе — толпе героев без имени. Это — Володя Мазурин, казненный в 1906 году в Москве.

Он был очень молод, очень жизнерадостен, нежен, добр и незлобив, — странная характеристика страшного террориста! Низенький, превосходно сделанный, сильный, круглолицый, голубоглазый наш Володя.

Было это в 1905 году, в дни свобод, во время какого-то бесконечного партийного заседания. Мы прослушали больше ораторов, чем могли безвредно выдержать головы, не зашпигованные до дурости программой; и, оставив залу, прочищали мозг чистым воздухом дворика. Володя был в синей рабочей блузе — в студенческой тужурке он редко показывался — и мысль его занята была не партийными делами. Он, крепко прижимая мой локоть, говорил с детской радостью:

— Вы только представьте себе, что это будет! Ведь это значит — конец подпольям, а главное — конец этим ужасам, крови этой. Прямо, при солнечном свете, можно будет работать, и свое ученье доканчивать и, главное, других учить. Не прокламашки, а книга настоящая. Не проклятая эта политика,

а сама госпожа наука. Кто я и что я делаю? Я — рожденный народный учитель. Для меня такая радость заниматься и с ребятами, и со взрослыми... я с рабочими вот много возился... но это не то было. Много ли мы, студенты, знаем — а для них это клад, как уделишь им толику от своего малого знания...

Был вечер, звезды на небе, холодок в воздухе. Володя, могучегрудый, втянул в себя весь воздух дворика. И опять заговорил:

— Вот мне такая радость, не выскажешь этого! Просто не верится! Главное — насилию конец. Это всего было тяжелее, ну — невыносимо! Всякая жизнь святая, всякий человек — человеческое существо. Возьмите хотя бы Каляева. Как он мучился — а пошел и убил! А душа нежнеющая. Террор это — проклятье наше. И вот теперь — конец. В душе радостно — а не верится. Вы как, верите? Ужель, и правда — конец?

Дошли обратно до дверей залы.

— Они там сидят... Я иногда ругаюсь, не могу удержаться; генеральства не терплю. Да и вообще... всю бы политику к черту, не в ней дело. Как только можно будет уйти на спокойную работу, на культурную, самую простую, — сейчас же уйду, и больше — никаких заседаний, никаких партий... все это побоку.

Володя говорит, а я смотрю на его милое лицо, на несмелую его улыбку радости, — еще не совсем верит он в прочность и устойчивость «дней свободы». И Володя, который недавно резко «обличал» в лицо партийных «генералов», кажется мне не столько врожденным народным учителем, сколько милым увлекающимся ребенком, открытой душой, незлобивой и чистой.

И идем обратно в накуренную залу, где спорят о том, допустима ли кооптация в комитет и не нарушит ли это священного принципа выборности, впервые осуществляемой в «дни свободы».

— Нам не нужна каста жрецов, — кричит Володя, примостившись на подоконнике и болтая ногами, как школьник, — Нам нужны исполнители воли периферии, наши выборные, а не

наследственные генералы-комитетчики. Довольно с нас прежнего опыта, сейчас не то время!

Май 1906 года. Вместо свобод — «Дума народного гнева». О, если б гнев народный был так добродушно беспомощен, как его представители!

Сегодня я вышел из одиночки Таганки, в которой провел полгода. Вышел вроде как бы чудом; следователь выпустил под залог, а жандармы хватились поздно; по их ведомству я уже имел приговор к пятилетней ссылке. Но дома меня нет, искать меня негде. Сегодня ночью — у друзей в городе, завтра — на даче, через три дня — Петербург и Финляндия.

В полуподвальном моем пристанище гость маленький, черноватый человек, худой, чахлый, кисти рук исковерканы взрывом; он работал в партийной лаборатории. Рассказывает:

— Пришел я вас проведать прямо из Сокольников. Там у нас было совещание назначено, нарочно на лужайке, между аллеями, на виду — чтобы не заподозрили конспирацию. Сидим, будто пикник у нас. Только смотрим — двое какие-то, словно бы не наши, не максималисты. А был пароль и все такое. Пошептались — кто знает их? Никто не знает. Выходит — шпики. Ну, схватили их, Володя им револьвер к виску, обыскали. И у одного нашли книжечку, где он вел подробный дневник слежки за Володей и другими, а у другого — прошение о переводе его в петербургскую охранку; видно, не ждали они, что мы так распорядимся. Вот мы как чуть было не всыпались! А совещание было серьезное, о новом эксе (экспроприации).

— Что же вы с ними сделали?

— Так ведь что сделаешь... Выпустить их нельзя, слишком много знают, и один — большая птица. К смерти их тут же приговорили. Наши привязали их к деревьям, ну... Кто, товарищи, расстреляет шпионов? Никто не решается, не хочет... В деле стрелять всем случалось, ну, а когда люди связаны... А в аллеях публика не так уже далеко, увидеть может.

— Так и оставили?

— Разве же можно оставить! Володя сказал: «значит, мне». Велел всем живо разойтись в разные стороны, только втроем мы остались. И застрелил, как собак... сам бледный стал. И вот боялись мы публики, а она, как услышала выстрелы — так вся врассыпную. Ушли и мы.

— Как Володя смог застрелить связанных?

— Да... Вы Володю не узнали бы... Загнанный он человек, обреченный. Ловит его вся полиция — да взять трудно, дорого обойдется им. Чуть не каждый день грим и одежду меняет. А уехать не хочет: «Мое место, — говорит, — здесь, в Москве». Сложит он голову, но дешево не сдастся.

В тюрьме я отстал от «событий»; знал только, что Володя устроил «экс» Кредитного общества, — шум был об этом в Москве, и вся тюрьма узнала. Знал и потому, что на часть этих денег подкармливали всех политиков Таганки (цынга у нас была), вносили залогов за попавших под суд, одевали тех, чья одежда от долгого сидения разваливалась, и ежемесячно платили всем сторожам и надзирателям за допускаемые льготы. Вероятно, и в других тюрьмах пустили в ход те же, своей и чужой кровью добытые, средства. Знал я еще, что Володя стал максималистом и с партией разошелся. И только от своего гостя узнал о других делах Володи, уже приобретшего славу страшного террориста, одно имя которого приводило в трепет охранников, и голова которого была оценена. «Дни свободы» давно окончились: не сбылись мечты Володи о «мирной культурной работе»!

А на другой день, сидя на даче у знакомых, я читал в газетах описание страшного происшествия в Сокольниках. Один шпион был найден мертвым, другой (помощник начальника охраны) — не помню его фамилию) — тяжело, но не смертельно раненым.

Вся организация Володи рассыпалась, — спешно скрылись, кто куда мог. Володя остался в Москве.

Финляндия. Гельсингфорс, спустя несколько месяцев. Окна на залив, чистая комната, книги и рукописи. Заглядывают приезжие — сообщение с Россией простое, беспаспортное. Максималисты приезжают закупать динамит, зашивают его в подушечки, обвешивают себя ими под одеждой и уезжают в Петербург. Говорят, у отеля, где у них явка, пахнет горьким миндалем, — и сыщики уже нюхают воздух. Изобретен динамический жилет с электрическим зажигателем в кармане: «человек-бомба». Время от времени читаем в газетах о террористических убийствах — в ответ на казни, и о казнях — в ответ на террор.

Из газет же узнали и об аресте в Москве Володи Мазурина. Суд был недолгий — дела его ясны и несомненны, да и не из тех Володя, кто отрицает и оправдывается. Если бы не было прежних дел — достаточно одного вооруженного сопротивления при аресте. Дешево Володя не мог сдать: отстреливался и сам был ранен. В то время на суд полагалось три дня — на четвертый Володю повесили.

А еще через три дня приехал в Гельсингфорс и зашел ко мне его брат, Сергей, тоже революционер, человек с горящими черными глазами и резким характером, по профессии — учитель. Все четыре брата Мазурины были в революции. Двое казнены, умер не так давно и третий, Сергей, который и рассказал мне, как умирал Володя.

Рассказ его я никогда не забуду. Сергей видел Володю в тюрьме на свидании — за полчаса до казни. Володя, загнанный, озверевший, перед смертью стал прежним, милым и нежным парнем. Он говорил брату, что страшно жалеет о своей неудавшейся жизни. Не кается, нет, а жалеет, что не пришлось ему, как хотелось, — отдаться науке и своей страсти к мирному учительству. Но раз так случилось — умирает спокойно; значит, не судьба! Просил всем друзьям, кто его любит и знает (не назвал имени при посторонних) передать привет и пожелание лучших дней, «чтобы можно было работать культурно, чтобы жить без проклятого террора».

И рассказал мне еще Сергей:

— Он, Володя, так был хорош и так обаятелен, что я не могу передать вам. Что-то особенное у него в глазах было. Ну что я, — я брат его, понятно, — а даже сторожа и жандармы, уж ко всему привыкшие, смотрели на него с изумлением: вот какой, этот страшный террорист! И обращались с ним исключительно, с неуклюжей деликатностью, почти что с лаской. Он, разговаривая со мной, машинально рвал чистую бумажку, что лежала на столе в конторе тюрьмы. И когда мы простились, и он ушел — конвойные поделили кусочки бумаги между собой «на память»:

— Такого, — говорили, — другого не увидеть никогда! Людей убивал, а сам будто ребенок, либо святой. Ни только художого слова не сказал, а даже с нами — что ни скажет, то ласка да улыбка. Такой человек милый и сердечный, что рассказать кому — не поверят!

И бережно спрятали за обшлаг шинели бумажки — память о Володе...

Странный рассказ! Странен всякому, для кого террорист — заведомый зверь. Но понятен всякому, кто лично знал Володю, обаятельного голубоглазого юношу, полного любви к человечеству, ради которого он подымал вооруженную руку на человека. Его портреты, во множестве изданные максималистами, вывешивались как иконы. И с иконы смотрел добродушный, умный, красивый юноша с ясными и прямыми глазами, которым незнакома была ложь, как не был знаком и страх.

## Две Нины

А теперь о тех, у кого не было фамилий. Среди них было немало молодых девушек, и из них я отчетливее всего помню двух Нин.

Одна Нина — дочь врача, скромная и умная девушка, не из типа восторженных, скорее замкнутая. Я знал ее хорошо, всю ее семью знал, — но было в этой Нине что-то, чего до конца,

вероятно, никто не знал. Ей — по складу ума — нужно было быть скептиком. Может быть, она им и была. Но, когда требовалось дело, она шла всюду, не рассуждая, — на все неблагоприятное и все опасное. И трудно было сказать, глядя на Нину за обедом, за спокойным чтением, что она делала полчаса назад: покупала ли нитки, чтобы приметать свой строгий белый воротничок, или передавала бомбу идущему на акт. И книжка в ее руках могла быть трактатом по социологии и стихами графини Ростопчиной. Как будто все в жизни было ей равно интересно. И позже, когда десятилетие миновало с дней первой революции, я не мог понять, почему Нина вышла замуж за того, а не за этого, и почему сошлась с антропософами, а не... с футуристами.

Другая Нина, очень красивая девушка, тоже очень молодая, считалась у нас знатоком военной среды (она была дочерью высокого военного чина), и ей доверялась пропаганда среди офицерской молодежи; но работала она и по другой части, там, где нужна была бодрость, уверенность и веселое спокойствие.

Остался в памяти моей такой случай дней декабрьского восстания в Москве.

У меня была хорошая квартира на Покровке, близ Земляного Вала, во флигеле большого дома. Видным деятелем революции я никогда не был, помогал, чем мог. А так как терпеть не мог партийных дрызг, то мирно уживался со всеми течениями. Поэтому встречались у меня всякие люди, и из центра, и из оппозиции, и приют мой использовался для многочисленных надобностей: читались в квартире рефераты, устраивались явки, хранилась нелегальщина, писались и переписывались воззвания, ночевали всякие граждане, заседал иногда комитет, хранилось порой и оружие.

Одно окно квартиры выходило в сторону дома Фидлера, где было училище, — первый дом в Москве, подвергшийся обстрелу из орудий; инициатива правительства царского, впоследствии

использованная и широко развитая большевиками. В ночь обстрела видно было в окно, как с верхнего этажа летят вниз и синим огонечком вспыхивают бомбы в ответ на выстрелы пушек.

Но ближе я бомб еще не видал. И вот однажды принесли ко мне добрые люди изящную бонбоньерку, накрепко перевязанную. Принесли, оставили на столе, попросили обращаться осторожно.

— Слушайте, — говорю, — у меня в квартире дети, и этаж нижний. Если что случится — весь дом взлетит.

— Ничего, — говорят, — конфеты хорошие. Только не нужно трясти их и очень громко стучать. К вечеру за ними придут.

Стоит коробочка на краю письменного стола. Можно комнату запереть, ... но черт их знает...

Решил переставить на подоконник: он как-то прочнее. Перенести — ровно два шага, а чувствую — страшно. Не то чтобы умирать так уж страшно или других взрывать, а вот боюсь, что могут руки задрожать, ноги подогнуться. Отвратительное состояние, и очень стыдно за себя. Как подумал, что стыдно, — руки перестали дрожать. Взял, аккуратно перенес на подоконник, успокоился, запер дверь — и ключ в карман. Чтобы ребята как-нибудь не забрались.

Пришел вечер, прошла ночь — никто не является. А в городе совсем плохо: картечью жарят по баррикадам и так, в пространство улиц. Уже стреляют у Красных Ворот, могут и до нашего района добраться. Народу же ко мне ходит столько, что никакие «на чай дворнику» не спасут... И все типы, совсем не похожие на обычных адвокатских клиентов: молоды слишком, а иные в папахах; такая была тогда революционная мода среди студентов.

Разозлился, потребовал, чтобы убрали от меня конфетную коробку. И без того в квартире и револьверы, и комплекты «Революционной России»; и еще назначено заседание комитета, так как остальные квартиры уже провалились.



Отвечают:

— Пришлем. Пароль такой-то.

Какой уж там пароль, когда пришла за ними вторая Нина, хорошая приятельница! На дворе мороз, щечки у нее розовые, хорошенькая, веселая — загляденье.

— Где у вас коробочка?

— Вот она, черт бы ее...

— Давайте скорее, я унесу.

— А как же вы, Нина, ничего не случится?

— Нет, я умею. Ее нужно легонько качать, только не трясти.

Пустьяки.

Весь день у меня была легкая мигрень. И только Нина с коробочкой за дверь — мигрень прошла. Удивительное действие. Как-то сразу в квартире просветлело, стало просторно, славно.

С наслаждением сажусь в кресло, закуриваю папироску, напеваю мотивчик, — и вдруг...

Есть минуты, которых не забудешь. Это была — та минута.

Страшный взрыв, и близко, рядом. Стекла задребезжали. Душа замерла — и только виски сжал руками до неистовой боли. Личико Нины мелькнуло со свежим морозным румянцем. И очень в ту минуту захотелось умереть, исчезнуть... или на годы заснуть... до старости, что ли. И больше ничего никогда не знать и не слышать...

Прислуга вбежала.

— Барин, около нас палят!

Я молчу. Она выбежала на улицу. Народ московский любопытен тогда был. Где стреляют — там он высовывает нос из скрещенья улиц, дрожит — а смотрит. Один нос подстрелят шрапнелью, все шарахнутся, — и через минуту опять тянутся поглазеть из-за плеча друг друга.

Сколько я так просидел — не помню. Только опять прибежала прислуга с докладом:

— У Покровских у ворот пушку поставили. Из нее и пальнули. Вот страсть! Дуняша жандармова побежала смотреть. А у меня обед кипит, я не пойду.

Теперь уж я сам выбежал. У наших ворот кучка народу, и дворник объясняет. И правда, — совсем близко поставили орудие. Это его выстрел я принял за взрыв. Ну, какое счастье, ну, Боже мой, какое счастье!

Сиял я радостью. Верно, жильцы удивлялись: чему человек радуется. А у меня радостью сердце до верха полно, пеной через край хлещет.

Когда Нина вышла из двери, изящно держа коробочку, она едва не столкнулась с молодым жандармским офицером, который жил против меня. Офицер — железнодорожный, не политический, — но кто их разберет. И тот галантно бросился отворить входную дверь красивой девушке. Щелкнул шпорами, козырнул, получил в ответ очаровательную улыбку. О, она умела улыбнуться офицеру, наша «военная пропагандистка»!

Легкой походкой вышла за ворота, села на первого извозчика и поехала, держа на весу и слегка покачивая коробочку.

— Пушка? Ну, конечно, слышала. Я даже испугалась сначала. Но мне ехать было в другую сторону. А извозчик всю дорогу ворчал: «Ироды. Нешто на улицах стрелять показано!»

Вечером меня просили съездить по такому-то адресу, вот с этим ключом, и посмотреть, все ли там в порядке.

Приехал. Только всунул ключ — изнутри спокойный голос другой Нины спрашивает:

— Кто там?

— Это я. А вы тут как и зачем?

— У меня второй ключ. Вы напрасно беспокоились, все в порядке.

— А я даже не знаю, что должно быть в порядке.

— Сюда все «игрушки» свезены; и ту, что у вас ночевала, Нина привезла. Вон видите, сколько на столе.

— Ну, а вы что?

— А я сторожу их, на случай передачи. Скучное, конечно, занятие. И главное — бесполезное. Вряд ли теперь все это пригодится. Сейчас нужны бы ружья, а их нет совсем. Но ведь не выбросить же всю эту прелесть.

— А что вы читает?

Нина немножко смутилась:

— Евангелие. Мне очень нравится...

### **Товарищ Павел**

У Фидлера стреляют. Наблюдаем в окно, только забор мешает. Бабахает пушка, в ответ синее в воздухе огонек — взрыв и снова тишина. Однако стекла у нас ничего, целы.

Описывал ли кто-нибудь из участников фидлеровской за-сады, как первый снаряд пробил угол дома, как верх взяли женщины, отказавшиеся сдаться, как папиросами закуривали фитиль македонок и швыряли снаряды через окно? И как, наконец, заключили перемирие на условиях выпуска всех дружинников без оружия, — но и без арестов?

Открылась входная дверь, и фидлеровцы вышли. Войска уведены, полиция стоит поодаль, в темноте не видно. Те, кто были умнее и недоверчивее, воспользовались заборами и ушли раньше через проходные дворы, но главная масса фидлеровцев поверила полицейскому слову. И тут на безоружных напала полиция. Одним все же удалось спастись, другие, измученные, были схвачены и арестованы.

Утром зашел ко мне один из фидлеровских дружинников, молодой рабочий, веселый и довольный тем, что спасся. Кажется, звали его Павлом — товарищ Павел. Рассказывал с жаром и увлечением:

— Тоже и я поверил им, вышел. И как мы вышли — сразу на нас напали и зачали нас крошить. Прижали меня сначала к воротам, да я вытеснился и побежал дальше. Но вижу — не спасешься. Тогда я надавил плечом на нижнее окно в каком-то доме, от вас по соседству, вышиб стекло и раму — и бух к ним на пол. А там семейство, дрожат все. «Будьте милостивы, скройте меня». Они боятся. Я говорю: «Все равно я не уйду». Так и остался у них; ничего, сговорились мы, понрави-

лись. И ужином угощали, а то мы там не евши были. Прямо от них — к вам. Одно вот не знаю — много ли наших уцелело?

За шапку — и уходит.

— Куда вы, товарищ Павел?

— Пойду справиться.

— О чем?

— А вот о наших. В участок пойду.

— Вы в уме ли? Вас арестуют!

— Зачем меня арестовывать; кто там меня знает? Я к вам через час вернусь.

И как ни отговаривали его — ушел. И, конечно, не вернулся, ни через час, ни на другой день.

А на третий вернулся — веселее прежнего:

— Ну, и дела вышли!

— Были в участке?

— А, конечно, был. Говорю: за справкой пришел, о товарище. — А вам зачем? — Как же, говорю, интересно узнать про товарищей. — А вы сами кто? — Ну, тут я соврал, не свое имя сказал, и адрес не мой. — Вы, говорят, посидите пока. И посадили, черти!

— Как же вас все-таки освободили?

— Освободят они! Я сам освободился. Надо им было мою личность установить. Ну, послали меня в другой участок, где я им указал жительство. И городовика со мной. Так, дрянь парень, щупленький, и ружье волочит. Идем улицей — ничего идем переулком — ну, думаю, дальше — шалишь! — Отпусти, — говорю! — Он не хочет. Ну, я и придушил разом.

— Кого?

— Так его придушил, делать было нечего. И вот, думаю, взять винтовку али нет? Нужны вам винтовки. Да уж очень было хлопотно на случай погони. Да и как с ней по городу идти; пальто у меня коротко, а так на виду не понесешь. А я, товарищи, не евши нынче... может, у вас что найдется. Я прямо к вам.

Сидит героем, доволен. А мы молчим, смотрим, как он ест: вот человек, сейчас задушивший человека.

— Как вы так могли, товарищ Павел?

— Да он слабый был, не воин. Иначе нельзя было: по всему видно — убили бы они меня. А вот винтовки, действительно, жаль...

— И не жалко вам его?

Товарищ Павел обвел нас глазами, обтер губы и просто спросил:

— Вас в участках-то бивали? А вот меня бивали.

Ушел. Больше не возвращался. Где он сейчас? Может быть, убит в те же дни декабря. Может быть, позже удобрил своей кровью клочок земли на мировой бойне. Или еще позже — погиб, как «красный» или как «белый». Или он комиссарствует где-нибудь в советах; или эмигрантствует на французском заводе.

Был ли он террористом? Не знаю. Революционером — конечно. Восстание было для него для него не политикой, а войною: либо ты — либо тебя. И трудна, слишком сложна для нашей размягченной, интеллигентской психики его простая, самооправдывающая душа... белокурого зверя.

### Оскар с товарищем

Нина очень кстати унесла от меня «игрушку». На вечер мой кабинет должен был превратиться в спальню.

— А кто придет?

— Так, двое юношей. Но если придут еще трое — приютите и их

— Тюфяки есть. А когда ждать?

— Сейчас же после полуночи.

Дни были жуткие. Решено за предательство в фидлеровском деле ответить террором. И вообще уже загорелась война. Восстание — с этой ночи.

Полночь — никого нет. Я вышел за ворота. Полиция распорядилась держать ворота на запоре и проверять входящих. На улицах пустынно, прохожие редки. Дворник рад поговорить с хорошим, не жалеющим чаевых жильцом. Сам он — довольно либерален, поругивает полицию, полуформу которой носит. На его глазах крошили шашками фидлеровцев, выпущенных из осажденного здания на честное слово.

— Либо там их заберу, либо держи слово. А этак выходит, что обман, нечестное дело.

Холодно, но продолжаю беседу. Вижу — идет юноша в папахе, явный дружинник, одним глазом на номера домов смотрит. Пока я отвлек дворника — тот шмыгнул в ворота. А найдет ли мой подъезд? Не зашел ли по ошибке к моему соседу — жандарму?

Во дворе бродит тень; только от звезд свет, да снег белеет.

— Вам квартира пять?

— Да.

— Идите за мной.

Вошли. Высокий малый, славное лицо, взгляд такой смелый.

— Ночевать будете? Как вас называть, товарищ?

— Меня? Я — Оскар.

— Вы — студент?

— Студент.

— Ну, располагайтесь, как нравится. Устали? Откуда вас принесло?

— От охранки, из Гнездиновского.

— Что там хорошего делается?

— Там... трупы, наверное... А товарищ мой не приходил, с которым мы...

— Никого не было еще. Но ничего, дворник пропустит, если он не очень запоздает; я сказал, что жду приятеля, в карты играть.

Оскар немного возбужден, но доволен.

— Ловко ушли мы! Народу на улицах мало, и охрана у них — дрянь. Повернули с Чернышевского, прошли мимо ворот — двое с ружьями сторожат. А мы прямо к дому, разом фитили папирской — и бац в окна.

— Бомбы?

— Ну, да, македонки; под мышкой пришлось тащить, тяжелы очень — по восемь фунтов. Товарищ мой сразу попал, а моя, с зажженным фитилем, от рамы отскочила прямо мне под ноги. Темно, видно плохо. А те, олухи у ворот, как звон услышали — ну в нас палить. Я все-таки поднял свою, и только успел в окно зашвырнуть — обе сразу взорвались. Ну, мы бежать. Думали, погоня будет — а ничего, тихо. Испугались они, что ли.

— И что же с домом?

— Да разве разберешь! Треск был такой, что и сейчас в ухе звенит. А потом молчание и тишина. Даже не стреляли вдогонку. На Тверской мы разошлись в разные стороны, а здесь должны были встретиться. Да вот нет его; уж не попал ли, патрулей на улицах много.

— Зачем вы, Оскар, в такой папахе пошли? Очень уж заметно.

— Пожалуй, правда. Но ведь сошло же благополучно. Только немножко устал я.

Вынул маузер, положил рядом на стул, лег на диван — и заснул спокойным сном, как праведник или как студент, удачно сдавший экзамен.

Если бы я мог так спать в эти ночи!

Только утром явился второй участок знаменитого взрыва московской охранки. Ему меньше — но тоже посчастливилось. Молодой рабочий лет двадцати, довольно тщедушный. Встретились они с Оскаром радостно.

— Куда ты задевался?

— А я попал на конный патруль. Хорошо — издали заметил, и револьвер успел через забор кинуть. — Руки, — говорят, —

вверх! — Ну, я поднял. Обыскали, конечно, но часов не отобрали. — Откуда? — спрашивают. — Домой иду, ваше благородие. — А почему поздно шляешься? — А я, ваше благородие, в картишки с товарищами заигрался, а потом смотрю — час двенадцатый, бежать надо. Вы уж простите, ваше благородие. — Ничего, отпустили, только по шее дали. — Больше, говорят, не попадайся, забастовщик! — Ну, я и колесил часа два, пока сюда добрался, — патрули везде. А тут у вас ворота на запоре. Всю ночь и пробродил, все думал, ты-то жив ли. И здорово же вышло вчера!

Довольны, улыбаются оба, вспоминают. И весело хохотали, читая за чаем в газете описание их вчерашнего подвига:

«Злоумышленники подъехали на рысаке и, отстреливаясь от стражи, бросили в окна снаряды страшной силы. Немедленно организованной погоне удалось напасть на след...и т.д.».

В дни февральской революции я нашел в бумагах разгромленного охранного отделения письмо жандармского офицера с описанием взрыва; оно опубликовано в «Голосе минувшего» и показывает, как преувеличивали жандармы силу организации восстания, результатом какой сложной стратегии казался им взрыв их темной крепости в Гнезниковском переулке. Видел я и фотографии разрушения внутри здания: шестнадцать фунтов динамита сделали свое дело, как ни примитивны были снаряды (простые жестяные коробки). Не помню, были ли жертвы на совести юных террористов, двух мальчиков, закуривших от папиросы бикфордов шнур под выстрелами стражи.

Да, все это было просто! И просто в молодости поднять и вновь бросить тяжелую бомбу, полуминутный шнур которой уже докуривался.

Оскар умер. Только на днях, уже здесь, в Париже, я узнал об этом, разговорившись со старым другом и соратником о былых делах.



## Гриша-Череподробитель

Если бы я хотел в своих воспоминаниях льстить памяти тех, с кем встречался, и окружить ореолом больших и малых подвижников революции, — я воздержался бы от описания встречи с тем, кого мы называли Гришей-Череподробителем. Кстати, вряд ли кто вспомнит об этом юноше, случайно вошедшем в ряды революционеров и внезапно исчезнувшем: его могли в Москве знать лишь очень немногие. Но он мне нужен так же, как родственник ему «товарищ Павел»; я в нем вижу прообраз революционеров октябрьского призыва, нами не угаданных и не понятых, но широко использованных теми, кто сейчас правят Россией.

Гриша — молодой рабочий, лет восемнадцати, высокий черноглазый красавец, с усмешкой на губах (пожалуй — усмешкой над нами, интеллигентами), приехал в Москву из провинции. Кто и почему направил его ко мне — не помню. В Москве он никого решительно не знал. Было это, кажется, в октябре или ноябре 1905 года. Я заинтересовался, почему Гриша бросил свой родной город.

— Там мне оставаться неудобно было. И делать нечего, да и обидели меня очень. Несознательные у нас.

— А что случилось?

— Завелся у нас на фабрике свой шпик. Рыжий такой, тоже из рабочих; все его знали. Сначала сомневались в нем, а потом и доказательства получили. И все он у нас провалил, всякую работу. Очень разнахалился, даже не скрывал. Ну, я его устранил.

— Как устранился?

— А просто. Сидели мы на лавочке, я его камнем по башке — он скovyрнулся. Конечно, у меня сила в руках большая. И все бы ладно, а только в газетах написали, будто рабочего рыжего черносотенцы убили. Ну, я этой обиды не стерпел — уехал. Невозможно работать в несознательном городе!

— А что вы хотите здесь делать?

— Хотел бы по части террора, по специальности.

Долго я объяснял Грише, что «по части террора» его не примут, что лучше бы ему поучиться в кружках, почитать подумать; что нельзя по собственному выбору и суду бить первого попавшегося камнем по башке, что это не террор, а убийство, и вообще убивать человека — дело страшное и великое несчастье. Он прервал меня:

— Да я же не человека, я — шпиика!

В заключение беседы Гриша обещал мне, что устроится на фабрику и будет посещать кружки, учиться.

— Конечно, мне учиться нужно. Хотя и читал разные произведения, а знаю я мало. Я это понимаю, сознательный все же.

Я познакомил Гришу с кем-то из партийных рабочих, и ему помогли устроиться на фабрике. С месяц я его не видел. И вот, однажды, он опять зашел в праздник «посидеть-поговорить».

— Ну, как, устроились?

— Конечно, устроился. Силы у меня много, на любой фабрике — нужный человек.

— А в кружках бывали?

— Конечно. Но только не по моей части; скушно там очень, и все нам уже известное. Разговоры одни, а настоящего дела никакого.

— А что вы хотите?

— Мне бы вот по части террора, чтобы прямо на дело.

Опять длинный разговор. Кстати, объясняю Грише, что я ему все равно «по его части» не могу быть полезным, что я даже не знаю, есть ли в Москве террористическая организация и, если есть, как в нее войти. Человека неизвестного, неиспытанного никто туда не допустит. Слушает, улыбается, потом откровенно признается:

— Я тут сам устроил одно дело.

— Какое?

— По части террора! Невозможно с ними иначе. Во-первых, шпики нас одолели, а потом еще и полицейские урядники под

Москвой, эти новые, которых по рабочей части назначают. Ну, я все-таки управился с двоими. Уж очень мерзавцы! Одного чай пить в чайную позвал, а с другим ссору затеял. Ну, конечно, я потом обоих уложил. У меня же сила в руках чрезвычайная.

Сидит передо мной спокойный, улыбается. Даже не поверил я ему. Но после навел справки — действительно, рабочие рассказали, что кто-то в их районе убил шпиона и стражника; предполагали, что сделать это мог только Гриша-Череподробитель. Я просил их заняться Гришей, удержать его от таких выступлений, втянуть его в серьезную компанию.

Но, говоря по правде, вряд ли могли и мои, и их доводы подействовать на Гришу в этот момент обострившейся борьбы — перед самым декабрьским восстанием, — когда полиция вооружала банды черносотенцев, нападавших и порознь, и кучками на студентов, интеллигентов и заподозренных в революционности рабочих. Приближались дни страшные. Если в моих глазах Гриша своими сепаратными выступлениями мог опорочить революцию, то в глазах рабочих он был, скорее, героем. И кто из нас был более логичен — не знаю. Знаю только, что Гриша в моем представлении был антиподом тех идейных террористов, каких я знавал и перед страдальчеством которых преклонялся.

В последний раз я видел Гришу в дни восстания. Он зашел ко мне довольный и возбужденный, рассказывал о баррикадах, о столкновении рабочих с отрядом семеновцев, о пресненских делах. Все это было «по его части». Сидел недолго — ушел; под пальто у него висел маузер с прикладом — гордость баррикадиста.

Наводил о нем справки позже, и вот все, что узнал. Гришу видели на улице в схватке дружинников с патрулем солдат. Он отстреливался и успел убежать. Так как за ним гнались, то он, выбрав момент, махнул где-то через невысокий забор — и попал в обширный двор, где скрывался в засаде большой наряд городских. Больше о нем никто ничего не слышал. В тюрьме, куда многие из нас попали в момент ликвидации восстания,

Гриши не было. Людей же, по тому времени, убивали с такой простотой — и в участках, и в охранке, и на улице, — что судьба Гриши мне более или менее ясна. Но возможно, конечно, что каким-нибудь чудом он и уцелел.

Вот и все о Грише. Для революции 1905 года, чисто интеллигентской по характеру, это был новый человек; он родился слишком рано; настоящее место было ему в красных кадрах октябрьской революции — или, может быть, в рядах партизанцев против них. Вряд ли он смог бы разобраться сам, — вернее, был бы с теми, с кем случайно завел дружбу. Гриша-Череподробитель, при всем его личном бескорыстии, при всей его искренней революционности, был по темпераменту — боец, по характеру — авантюрист. Призванием его была «работа по специальности». Из таких людей вербуются с одинаковой легкостью и герои, и бандиты.

### И другие...

Я знал (иных — очень близко) почти всех «вождей» первой, героической революции. Их семья была очень мала, и только общее, почти даже обывательское сочувствие давало силу их делу. Еще слабы были тогда организации рабочих, и большее, на что можно было надеяться со стороны солдат, это — пассивная ненадежность войск в декабрьские дни. И потому, о тех днях вспоминая, я не вижу «битв», — я вижу и помню только лица неопытных еще руководителей и преданных революции рядовых ее борцов. Последние всегда были мне ближе первых, — как малому участнику, никогда не игравшему роли в руководстве событиями, и не жаждавшему власти, и не способному к ней органически.

Потому-то, забыв политические доблести «вождей», «комитетчиков», я помню мелкие выступления иного студента-петровца, умевшего привести в панику и разогнать большую толпу вооруженной черной сотни.

— Если вы честные люди — разойдитесь, если вы черная сотня — сейчас стрелять буду!

Выстрел в воздух — и толпа, сотни в три, шедшая с пением «Боже, царя храни», с охранниками и портретами царя во главе, разбежалась до единого. Оставался один напугавший ее круглолицый студентик Павло с бульдожкой в руках.

Я помню, как десяток юных дружинников, студентов и гимназистов, отбили у солдат оружие на одном из перекрестков Садовой улицы. Отбили — и не знали, что дальше с ним делать. На следующий день их просветили, достав чертеж, объяснив им устройство оружия и научив отвинчивать замок, — но оружие было, разумеется, уже давным-давно отбито обратно; так — наука для будущего времени.

Память о многом, что другие успели почему-то легко позабыть, всегда спасала меня от преувеличений при сравнении двух деспотических режимов, нами пережитых: царского и большевицкого. Количественно белый (а не «красный», ибо правительственный!) террор большевицкой власти превзошел все, известное истории культурных стран; качественно — я не вижу разницы между ним и белым террором царским. Ни в казнях, ни в пытках. В Государственной Думе говорили о «рижских застенках»; почему не говорили о московских?

Был такой юноша Полторацкий, осужденный за покушение на Трепова. В дни свобод он был выпущен, позже опять арестован и, спустя много месяцев после приговора, наконец, повешен. Я с ним сидел в одной тюрьме и, как выборный от одиночек староста, часто подходил к окошечку его камеры. Я видел руки этого уже ненормального юноши: все пальцы на его руках были скручены при допросах в охранке.

Я знал студента Шмидта (фабриканта), которого допрашивали в охранке, выводя его на двор вместе с рабочими его фабрики; всех ставили к стенке, рабочих расстреливали, а его снова вели на допрос. Он рассказывал об этом в тюрьме через фор-

точку, и старые выдержанные революционеры и политики от его рассказа бились в истерике. Сам Шмидт не выдержал и зарезался стеклом.

Я был (позже) в подвальных камерах-клетушках московской охранки и своими руками передал в Исторический музей ручные кандалы, там найденные. Стоны там замученных не попадают в музей, но мы, тогдашние, о них забывать не должны!

Есть муки, пуще железа и огня. В Таганской тюрьме, в моем старостате, сидел в одиночке рабочий-прохоровец, из матросов, взятый в дни восстания на Пресне. Товарищи его думали, что он убит, и следственная власть старалась убедить их в этом. И вот, чтобы смягчить свою участь, они стали валить на него, буквально «как на мертвого», не только все свои деяния, но и всякий вымысел, который подсказывал им следователь. Вряд ли можно строго судить их за это: всем им грозила тогда смертная казнь, и большинство их было из «несознательных». Набрав достаточный материал, следователь предъявил его оговоренному — за подписью всех его товарищей. В этой юридической шуточке больше садизма, чем во вбивании острых колышков под ногти!

Мы сидели на одном этаже. Когда — с первого допроса — мой веселый сосед матрос явился к окошечку моей камеры (к старосте пускали) и, вместо рассказа, грохнулся у двери в тоске, рыданиях и проклятьях, — о! я понял тогда, что пытать умеют не одни охранники, а и почтенные юристы, охранители права.

Тот же самый следователь допрашивал и меня:

— Ваше имя? Сколько лет? Ваши родители? Отец? Умер?  
Когда? Ваша мать?

— Умерла.

— Когда?

— Вчера; я сегодня узнал об этом.

Он отложил перо. Еще бы! Ведь я — не рабочий, я — интеллигент, коллега-юрист, с родственной ему «тонкой» душой.

— Может быть, вам трудно сегодня отвечать? Дело ваше серьезное, вам грозит смертная казнь... важно быть спокойным при ответах...

Я ему ответил резко:

— Делайте свое дело, не стесняйтесь! Мы оба с вами не маленькие!

Он назвал меня потом «закоренелым», хотя и убедился, что процесс мой был дутым и основанном на простом сговоре; объективного материала у него не было. Но он не знал, что «закоренелым» меня сделала тогда исповедь одного из клиентов его тонкой правовой инквизиции.

Но не все пытки были извне. Были пытки и от себя — от личных переживаний. За них некого винить.

В Италии, после мессинского землетрясения, можно было сразу узнавать на улицах, в вагонах, в обществе — людей, приехавших из Мессины, немногих уцелевших от усмешки земной коры. Узнавал и я их по ужасу смерти, навсегда застывшему в зрачках их глаз. А в Париже, на какой-то вечеринке тогдашней эмиграции, тот же ужас угадал я в глазах одной молодой девушки, казалось бы, беззаветно болтавшей с приятельницами. Я спросил, кто она?

— Это та, что швыряла с лихача бомбы в преследовавших во время акта... (мне назвали одно громкое террористическое дело в Петербурге).

Не в одних зрачках застывает смерть; сердце — еще более чувствительная пластинка!

И когда история или людская память призовут на свой суд тех больших и малых «жонглеров бомбами и жизнями», о которых я бегло упоминал в своих очерках, — пусть учтут не только личные мотивы деятельности этих подсудимых, не только их позицию Давидов в борьбе с Голиафами, но и всю сумму уже перенесенных ими возмездий, и от руки торжествующего победителя, и от страшнейшего палача: потрясенной души человека, который убил человека.

---

Вот почему, вспоминая «малых сих» революции, этих малоимянных и безымянных, для одних героев, для других — извергов, — я на братскую могилу уже ушедших кладу братский же, без шипов и терний венок, а живым отвожу те странички памяти, где запись пережитого еще не отравлена ядом сомнения...



## «НЕИЗВЕСТНЫЙ, ПО ПРОЗВИЩУ ВЕРНЕР»

В трагическом своем «Рассказе о семи повешенных» Леонид Андреев нарисовал фигуру «неизвестного, по прозвищу Вернер». Этот портрет, как известно, списан заочно с Кальвино-Лебединцева, одного из пяти террористов, выданных Евно Азефом и повешенных за подготовку покушения на министра Щегловитова.

Мастерское, удивительное перо покойного писателя создало образ революционера, ни сомнений, ни страха не знавшего, стойкого, сухого, непоколебимого фанатика страшной идеи возмездия. Мне неизвестно, знал ли Андреев лично Лебединцева; если знал, то в процессе литературного воплощения он забыл о своей модели: Вернер на Лебединцева совсем не похож. Своей жизнью жил не живший Вернер — своей казненный юноша Всеволод Лебединцев.

Я очень мало знаю о жизни Лебединцева, хотя был период — за год до его гибели — когда мы были близки и часто виделись. Он, помнится, немало рассказывал о себе, своей юности, своих путешествиях; но с тех пор память загромоздилась столькими судьбами, биографиями, событиями, что нужное выплывает только случайно, несвязными обрывками. О Лебединцеве писали и в газетах, и в журналах, русских и итальянских, и, кажется, в «Былом» были его портреты. Линия его жиз-

ни перекрещена с линиями многих, знающих и помнящих больше моего. Мне только твердо запомнилось, что и портреты Лебединцева и его характеристики не казались мне похожими на того милого мечтателя, энтузиаста и поэта, с которым немало виноградных гроздей запили мы виноградным соком в саду старой «Вилла Мария» на средиземном итальянском побережье.

И не фактам жизни его, не о его политической физиономии, не о роковом шаге я хочу рассказывать. Я только попытаюсь, закрыв глаза, представить себе его красивое лицо, и — с полузабытой натуры — нарисовать обстановку наших давних встреч. В этой обстановке есть своя, самодовлеющая ценность, быть может, даже историческая; ибо, конечно, «исторической» была старая вилла в местечке Сори близ Генуи.

Совсем недавно я проезжал по тем местам в автомобиле. Перевалив через перешеек мыса Порто-Фино, миновали мы Камольи внизу и Рэкко на нашем пути. Миновали виллу с зубчатыми башенками, ряд новых — построенных после, пронесли мимо прекрасных срывов в море, закрыли все позади облаком белой пыли, — и вот она при дороге, милая «Вилла Мария»: только мелькнула!

Как мелькнула и жизнь на ней, спокойной полянкой среди бурелома пережитого. Два года жизни. Я живу в четвертом, — и то было лишь во втором воплощении.

1906 год. После полугодовой одиночки — бегство в Финляндию. Ютимся в Гельсингфорсе, гуляем по Эспланаде, обедаем за марку в столовой, коверкаем шведский язык. Хозяйка каждодневно моет пол, трясет ковры, меняет шерстинку, привязанную к люстре, чтобы на нее, а не на люстру садились неопрятные мухи. Встречаемся в библиотеке, толкуем о русских делах. Финляндия — еще не Европа, но уже не Россия. Но властно протягивала сюда Россия полицейскую руку, и однажды финляндские активисты нас известили, что со дня

на день мы можем ждать ареста. Далее — пароход, трехдневная буря, добродушная Дания наперерез, — и мы в подлинной Европе. Гамбург, Франкфурт-на-Майне, передышка в Женеве — и телеграмма из Италии, от энергичного организатора нашей литературной группы: «Снял виллу, приезжайте». Снега Савойи — и скачок в страну солнца и винограда: вот она, «Вилла Мария»!

Выехало нас из Гельсингфорса человек тридцать; сюда доехало пятеро, — остальные разбрелись по Европе. Это было семнадцать лет назад, немногим больше.

Пореволюционным ветром нас тогда унесло с родины и раскидало; таким же ветром носит вне ее пределов и сейчас. Если бы кликнуть клич к прежним спутникам, — вряд ли донесся бы хоть один голос из России. Но, увы — немало голосов уже заглушены землею; им не откликнуться.

Ехали мы и рассуждали: «Месяц-два пробудем здесь, а там можно будет вернуться в «обновленную Россию». И как верили! И как ждали! С гораздо большей верой и, пожалуй, с большими основаниями, чем нынешние эмигранты. И вот... через десять лет я возвращался в Россию, не выдержав дольше отчуждения; и, задержанный на границе, все еще мог рекомендоваться:

— Политический эмигрант. Возвращаюсь по собственной воле.

«Вилла Мария» к морю в четыре этажа, к дороге всего в два; стоит на склоне. В ней двенадцать комнат, жалко меблированных, и сама она стара и напрасно ждет ремонта. Рядом, в нескольких саженьях, флигелек в две комнаты, а внизу под ними неплохое стойло — кладовая. Комнатки флигеля занимал наш «статистический кабинет», в большом доме жили все остальные сотрудники литературного предприятия. Мы писали книги, вместе их редактировали; в России они печатались и, обычно, конфисковались. Книги не агитационные,

а серьезные, по крестьянскому хозяйству, по теоретике народничества; работалось над ними много.

Вокруг виллы — сад, ее главная краса; площадками, одна над другой, он сбегал вниз, к скалам, откуда был обрыв к морю. В саду — фиги, апельсины, лимоны, персики, абрикосы, белые и лиловые сливы, яркие вишни, яблоки с грушами, виноград. А кипарисы, а пальмы (конечно, посаженные, диких здесь нет), а огромный лавр, а тенистое перечное дерево, а заросли акаций, и оливы, оливы, оливы, кудрявые летом, оскуделые к зиме, но вечно зеленые... Розами оплелись стволы деревьев, каменные заборы, решетки окон. И великая красота Средиземного моря — жидкая лазурь, в малахитовой оправе, с оторочкой жемчужной пены... А мы занимались статистикой безлошадных, Лавровым, Михайловским и параллелями между православием и социал-демократией.

По скалам — дорожка вниз, к купанью среди красивых, немного колючих подводных камней. Летом мы были коричневыми, целый день мокли в море, сражаясь с мясистыми листьями агавы (колючками, да по мокрому телу), ели потрясающее количество макарон и почти не выходили за пределы нашего рая. Почта приносила кучи писем, книги — всё из России.

Сначала, недолго, жили впятером, а затем коммуна разрослась, присняли комнатки в соседних домах, дошли численностью человек до двадцати и больше. А с приезжавшими на короткие сроки, по делам и поговорить, — до сотни старых революционеров узнали уют и праздную деловитость «Виллы Мария» в местечке Сори близ Генуи.

Найдется ли когда-нибудь кропотливый и внимательный биограф, который проследит сорийский период жизни многих больших и маленьких людей, игравших роль в обеих русских революциях? Вряд ли! Уже забыты и имена большинства, а о делах давно памяти нет. А когда-то местечко Сори

было заметным гнездом «бессмысленных мечтателей» и очень не нравилось тогдашним правителям России.

Просуществовала наша коммуна два года, затем распалась, частью расселилась по Ривьере; возник новый русский поселок — Кави ди Лаванья, тоже, по преимуществу, литературный, где написано многое множество печатных листов. Великая революция ликвидировала и его. Но тяга русских сюда осталась, и летом на славном кавийском пляже и до сих пор неизменно греются славянские тела...

Невысокого роста, с изумительно правильными и мягкими чертами лица, вообще — очень красив Всеволод Лебединцев. Глаза темного бархата, волнистые волосы, кожа матовой нежности, породистые уши и руки. Одевался он очень смело и вызывающе, — дешево, конечно. Носил плащ, который умел перебрасывать через плечо, широкополую шляпу. Черный анархистский галстук бантом, — среднее между испанским грандом и театральным испанским же бандитом. Испанию, как и Италию, он хорошо знал и любил. Умел закинутой рукой пускать в рот тонкую струю из узконосого испанского сосуда, носил в жару испанскую блузу с прорехами то ли для пояса, то ли для большего удобства ловить блох. Свободно говорил по-испански, по-французски, по-английски, а по-итальянски гораздо лучше итальянских провинциалов и вряд ли хуже рядового природного римлянина. На вилле у нас не жил, но бывал часто. Жил то в Генуе, то в Нерви, — если не путешествовал, чаще — по пешему хождению.

Он был очень молод, на вид старше, но много пережил и везде побывал. По специальности этот будущий террорист был астроном. Ему улыбалась уже кафедра, но девятьсот пятый год нарушил все планы. Впрочем, он и за границей не бросил своих занятий: в Риме работал в обсерватории. Жил же там бедно, в рабочем квартале, в маленькой комнатешке на Via Ottviana; из окна его комнатки был весьма печальный вид: на

противоположной стене шесть прилепившихся к стене, одна над другой, будочек с легким балконом, очень определенного назначения. Позже я, по его рекомендации, в этой комнатке наездом останавливался. Но днем Всеволод все равно спал, — ночью же перед взором его были иные картины, мало кому доступные: звездные дали. Сейчас передо мной, вместе с двумя его портретами и записочками, лежит и листок бумаги с астрономическими записями, сделанными его рукой: мельчайшие черточки и линии, тончайшим пером нанесенные цифры и значки, для меня — китайская грамота, для него — живая запись движения тел небесных. Храню их, как особо трогательную память.

Завалился этот листочек в кучу других, где его же красивым, четким пером записаны римские адреса, набросаны планы кварталов, сделаны пометки, что нужно в Риме осмотреть в первую голову, что — при роскоши во времени. В ту пору я решил изменить Сори и переехать в Рим, которого еще не знал, и он, страстный поклонник Рима, был моим первым ментором.

Он знал и страстно любил музыку, недурно пел мягким баритоном и на всех языках декламировал стихи. Только в его устах английские стихи казались мне музыкальными, а уж об итальянских и речи нет. Прежде, чем одноглазый певец Пиппо (давно уже покойник) пропел мне за долгие годы моей жизни в Риме весь свой репертуар романсов и сторнелли, — добрую половину слышал я от Лебединцева на «Вилле Мария». И мало нового я услышал и позже с эстрады из уст знаменитого неаполитанца Паскарьелло.

Бывали мы вместе в Генуе. Сиживали в портовых кабачках, заедая молодое вино купленными на лотках пиццами — кусочками овощей, печенки, спрутов и прочей чепухи, зажаренной в сухарях. Подсаживались к нам рабочие, матросы, проходимцы. Я был для них явным иностранцем, а Лебединцева в Генуе принимали за итальянца южанина: он умел в разговоре на севере вставлять южные словечки, на юге — север-

ные. Сомневались, из какой он провинции, но считали своим соотечественником. Да и лицом он походил на красивого уроженца итальянского юга, только без резких угловатых черт; славянская кровь смягчала итальяское пламя.

Я помню, как мы бродили ночью с кучей итальянских студентов и анархистов по высоким кварталам Генуи и «эпатировали буржуев» петардами и пением революционных песен. Правда, ночное пение никого в Италии не удивляет; по крайней мере, тогда не удивляло, сейчас нравы «европеизировались». Но невинные, хотя и очень трескучие петарды все же нарушали сон богатых кварталов; и заправилой был всегда Всеволод. И все же больше всего любил он чувствительные серенады под окнами. Тогда только что входила в моду прекрасная неаполитанская мелодия: «Vide u mare quant u bellu...».

О чем говорили мы, сидя в прохладе портового кабака или ночью под звездным небом «Виллы Мария»?

О чем мы все тогда говорили? О России, которая будет свободной, о его будущей ученой дороге, о моей — свободной литературной. Только бы пережить безвременье, только бы покончить с «периодом рабства». Сейчас о себе много думать нельзя, сейчас на первом плане должна быть близкая революция, — для нее все силы. Но жизнь не в этом, жизнь в будущей мирной деятельности в условиях полной свободы личности, слова, печати... О чем еще говорить двум идеалистам за стаканом слабого вина и под куполом неба?

Но могли быть и другие темы — были, конечно. Я знал, что Лебединцев в Риме однажды бросился с моста в Тибр; спас его лодочник. Мечтатель, поэт, страстный человек, он любил итальянскую девушку. Я узнал ее лично позже, когда, исполняя его предсмертную волю, передал ей записку с немногими словами, написанными им перед казнью: «Привет оттуда» — «Saluti dall' altrove!»

Она вспомнила о нем с приязнью, но, как мне показалось, с меньшим чувством, чем заслуживала память погибшего. Она была простая девушка, из семьи средне-интеллигентной, зарабатывала хлеб скрипкой в кинемо, иногда и шитьем. Миловидна — и только. Впрочем, я никогда не знал сути их отношений.

Бывали жаркие ночи, когда в комнатах не спалось. Мы лежали лицом к небу, на садовых столах, и он водил меня по звездному миру, который знал не хуже, чем запутанные улочки Генуи и Рима. А над нами, порою слепя внезапным блеском, проносились, словно метеоры на небе, низколетные, вспыхивающие светлячки июльских ночей. Вся красота и вся поэзия, какая есть в мире, распростирала над нами крылья, пока из темной пасти дверей нашей виллы не выходила чья-нибудь помятая бессонницей фигура:

— Вы все мечтаете? Пойдемте лучше вниз; там фракция неспящих решила готовить «третий ужин».

Мы спускались с небес на землю и шли есть предутренние макароны. Других развлечений на вилле не было.

Лебединцев был искренним и убежденным анархистом. От анархизма пришел к эсерству, — и не через преодоление Маркса, как большинство. Он говорил:

— В Италии я — анархист, а в России пока могу быть эсером.

Я не осведомлен хорошо о степени его участия в делах партии; но о террористических его склонностях знал, и о «самопожертвовании» у нас речь заходила часто. На вилле перебивало немало и бывших, и будущих террористов, и от них Лебединцев отличался отрицанием целесообразности и планомерности террора. Для него террористический акт мог быть лишь следствием «святой любви и святой ненависти». Но и «ненависть» его была только изнанкой его великой любви. Он не раз говорил, что мог бы «отдать свою жизнь за народ», — но я не думал, что это уже близкий план, а не только настро-



ние энтузиаста. Да и знал ли тогда и сам он? Его решения всегда были внезапны. Впрочем, и не принято было в наших тогдашних кругах говорить более конкретно в случайных беседах.

В противоположность нам, которыми итальянская полиция почти не интересовалась, — за Лебединцевым она внимательно следила. Он постоянно вращался в анархических кругах Италии (в общем — довольно мирных и малоактивных), выступал на митингах, был очень заметен и однажды даже едва не был арестован, когда случайно оказался в маленьком городке, куда приехал итальянский король. С тех пор за ним учредили так называемый «тайный надзор».

Для нас, искушенных надзорами любой формы, итальянский «тайный надзор» довольно смехотворен. За Лебединцевым всюду, куда он ни шел, следовали два агента в штатском на расстоянии двух десятков саженей. За агентами толпа мальчишек, объяснявших прохожим:

— Вот там идет русский анархист, а это — полицейские агенты.

Арестовать его не было повода, и было не в правилах либеральной Италии. Его только не упускали из вида. Когда он приезжал или, чаще, приходил к нам погостить, генуэзские газеты услужливо сообщали читателям, что «известный русский анархист пребывает в настоящее время на вилле русских эмигрантов в Сори».

Это доставляло Лебединцеву большую популярность на всем побережье восточной Ривьеры и привлекало к нему всеобщее сочувствие населения поселков. Когда он проходил местечком, то начальники полустанка, стрелочники, содержатели кабачков, мальчишки, завидев его живописную фигуру в черном плаще и широкой шляпе, предупредительно выходили навстречу и докладывали ему, что агент в сером пиджачке уже проехал вперед на велосипеде, а второго еще не было, вероятно, следует позади. Едва мы усаживались пить чай в саду, как по обе стороны огромного сада, наверху

на дороге, выростали две жалкие фигуры провинциальных филеров, старательно изображавших «случайного прохожего». Если филеры слишком надоедали, Лебединцев выходил к ним и говорил:

— Я сегодня останусь здесь ночевать. Идите спать, а завтра в одиннадцать я пойду в Нерви.

Филеры обрадованно и униженно кланялись и просили быть точным, а главное — не исчезнуть без их ведома, так как им за это нагорит.

— Вы однажды ушли ночью третьим выходом из дома, где мы вас сторожили, и мы простояли всю ночь и следующий день. А потом оказалось, что вы в Генуе, и нам здорово досталось.

Лебединцев успокаивал:

— Уж если я говорю, значит, вы можете быть спокойны. Когда я захочу скрыться, я все равно скроюсь, но начальника вашего извещу, что вы в этом неповинны. А теперь ступайте спать.

И он держал слово. Сдержал его и тогда, когда «захотел скрыться». Едва переехав границу Италии, он послал начальнику генуэзской тайной полиции открыточку с картинкой, что-то вроде целующихся голубков, и с извещением, что к обоюдному удовольствию покидает пределы Италии и что талантливым агентам было на этот раз совершенно невозможно за ним уследить.

Было особенно курьезно читать в генуэзском «Lavoro» такого рода сообщения:

«Полиция озабочена приездом русского Великого Князя в город Нерви, обычное место проживания известного русского анархиста Лебединцева».

Великий князь (кто-то из Владимиров) приезжал инкогнито, а «известный русский анархист» проживал под собственным именем. Выходило, как будто великий князь приехал с террористическими целями по адресу анархиста.

Как ни смехотворен был итальянский политический надзор, все же он был, во-первых, надоедлив, а во-вторых, неудобен в тот момент, когда в душе революционера, до тех пор совершенно непричастного к террору, действительно, родился план «отдать свою жизнь за счастье народа». Это могло быть связано с конспиративными свиданиями, подготовительной условной перепиской и разными шагами, которые следовало держать в строгой тайне. В частности, Лебединцев решил запастись для России итальянским паспортом на чужое имя. Как иностранец, он имел больше шансов, по приезду в Петербург, проникнуть в те круги, куда не всякий русский революционер мог найти ход.

Скрылся он с нашей виллы; прожил два дня, и на вторую ночь мы переделывали живописного испанца в местечкового еврея. Надели ему старый котелок, длинное мешковатое пальто, и даже превосходной его бородой пришлось поступиться: из нее состряпали длинную козлиную бородку. На висках выпустили пейсы, поддурмянили ему слишком белый, аристократический, нос, благодетельствовали его рыжими от морской воды ботинками. Заметна была и эта фигура, но, во всяком случае, принять ее за опасного террориста было невозможно.

Перед отъездом устроили «второй ужин», состоявший из огромной миски макарон и фьяски дешевого кианти, и распростились. Осмотр окрестностей установил, что филеры устали и рискнули уйти спать или дежурили у станции.

Прощались... Увидимся?..

Неуклюжий господин в котелке скользнул бочком из калитки и, прижимаясь в тень каменных придорожных оград (ночь была лунная), засеменял в противоположную от местечка сторону, к станции Рэкко, где его вряд ли кто узнал бы.

Он уехал в Рим — переходить на нелегальное положение. Может же великий князь путешествовать по Италии инкогнито; почему же нельзя анархисту?

И скоро Всеволод Лебединцев перестал существовать; зато двойное существование выпало на долю итальянского агронома Кальвино, который очень охотно выправил для Лебединцева заграничный паспорт на свое имя, отлично зная, что его тезка — «опасный русский революционер».

Надо знать, что в то время итальянцы преклонялись перед революционностью русской интеллигенции и, правда, не многим рискуя, охотно оказывали ей любую помощь и — нередко — доброхотную моральную поддержку. Когда Николай II (кажется, в 1906 году) задумал сделать визит итальянскому королю, редкая итальянская газета не напечатала, по собственной инициативе, объявление вроде:

«По случаю приезда в Италию русского царя — продается огромная партия свистков».

Скандал был настолько неизбежен, что визит не мог состояться. Даже перед мировой войной дипломатически необходимый визит Николая Виктору Эммануилу мог произойти только на крайнем севере Италии, в королевском имении Ракониджи, куда от самой границы был проведен барьер военной охраны, — не говоря уже о сыскных мерах (при содействии русских охранников), принятых в отношении нас, русских эмигрантов, по всей Италии. Вряд ли, однако, кто сомневался, что русские не предпримут ничего против царя на территории чужой, столь гостеприимной для них страны; меры эти нужны были в отношении самих итальянцев, считавших визит «русского деспота» оскорбительным для национального достоинства свободнейшей (по тому времени) из демократических стран Европы. И визиту царя пресса придала характер семейного и личного дела Виктора Эммануила.

Итак, синьор Кальвино, по обычной профессии — агроном, по временной — корреспондент итальянской умеренной газеты, уехал из Италии. Другой синьор Кальвино спокойно продолжал заниматься вопросами о борьбе с филлоксерой и о

передвижных агрономических кафедрах, изобретенных и процветавших в Италии.

Я уже сказал, что биографии Лебединцева не пишу, а рассказываю о встречах с ним и об обстановке этих, в общем мимолетных, встреч.

С отъезда его с нашей виллы, я встретил его только раз, в Париже, очень незадолго до его последнего отъезда в Петербург и смерти. Кажется, он приехал в Париж из Петербурга, очевидно — в связи с предполагавшимся актом; мы об этом говорить, конечно, не могли. И — хотя нет у меня здесь источников для проверки — вряд ли ошибусь, предположив, что приезжал он в Париж выяснить некоторые свои сомнения по части заподозренной им провокации в центре партии. Знаю, что ему очень не хотелось возвращаться, так как он предчувствовал провал «дела».

Тем более он был осторожен и конспиративен здесь. Тщательно замечая следы, он однажды ночевал у меня. Это был уже совсем иной Лебединцев — хотя не более года прошло с нашего последнего свидания на вилле. Одетый с иголки, без поэтической шевелюры, без бороды — с эспаньолкой, вылощенный, замкнутый. Даже в его русской речи появился словно бы иностранный акцент; ведь в России ему приходилось быть и казаться иностранцем, и привычка слегка хитрить акцентом сильно в нем укоренилась. Зато петербургский посол Италии ни на минуту не сомневался, что синьор Кальвино — его соотечественник.

На сон грядущий все же вспомнили итальянские мотивы. А последнее, что напевал мне Всеволод, был шопеновский траурный марш, на который я еще в Италии написал и подарил ему слова. Помню их начало:

Братьям родным, кровью спянным, — покой!  
Братьев, сраженных державной рукой,

Праведную тень  
В этот скорбный день  
Люд трудовой чтит молитвой святой...

На тему — «9 января». И он сказал мне:

— Это будет теперь новым похоронным маршем. Я научил нескольких наших максималистов, мы пели, и хорошо выходило. Но только вот тут нужно изменить...

И на прощанье мы редактировали текст, согласуя его ближе с оттенками музыки, — текст, который никем больше не пелся и умер вместе с ним. Забыл его и я.

Наутро он встал рано и прежде всего попросил утюг. Старательно, с полной серьезностью разгладил складку на брюках, надел новый, купленный воротничок, долго приводил в порядок свои густые усы, снимал пушинки с черной пары.

Простились — на этот раз уже навсегда... Сколько я помню таких прощаний... до завтра ли, или навсегда...

Не мне, другому, он писал в Париж, что думает бросить «дела» в России и приехать. Ждали его со дня на день. Но однажды, возвращаясь домой на свою Claude Bernard, я купил вечернюю газету и прочел об аресте в Петербурге группы террористов, среди которых оказался итальянский корреспондент Кальвино. Не помню, называл ли он мне раньше свою новую фамилию, но сомнения в том, что это — Лебединцев, у меня не могло быть.

Это были тяжелые дни... Был только момент просвета, когда мы прочли в газетах, что агроном Кальвино оказался в Риме на агрономическом съезде и что он знать ничего не знает о другом Кальвино. Итальянец не выдал русского революционера. Это было некоторым моральным утешением, ибо нашлись другие в Риме, а может быть, и в Петербурге, оказавшиеся менее сдержанными, и, главное, жил-был, а возможно, и посейчас живет на свете Евно Азеф...

По поводу всего этого несколько позже в Париже и в Италии производилось партийными людьми расследование, положившее конец карьере знаменитого провокатора, шестнадцать лет служившего в департаменте полиции. Одним из главных его разоблачителей оказалась загробная тень его жертвы; но... ведь это не могло уже вернуть нам живого, пылкого поэта, революционера и энтузиаста Всеволода Лебединцева...

Написано у Леонида Андреева:

«Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы... В душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость... По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновенья и экстаза, и минутами чувствовал себя, как безумец, который ищет квадратуры круга в лужах человеческой крови... Гордый и властный от природы...».

Но довольно! Это не он, это не Всеволод Лебединцев, — хотя во внешнем описании есть немало сходных черт, которые можно взять только с натуры или по точному описанию: «Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко, четко бил землю каблуками... Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку — это помогало думать» и т.д.

Но Вернер — не Лебединцев. Всеволод не только был поэтом, — он был им и в своей математике. Астрономия была его поэзией, и не цифры междупланетных расстояний, не отклонение лучей, не анализ спектра звезд манил его, а космос, идея вселенной, самый блеск этих звезд, их мистика, их ответное душе горение в беспредельном.

Он не устал от жизни. Боже мой, но ведь он лишь пригубил юными и жадными устами из ее полной чаши, когда его красивую шею перетянули намыленной веревкой! Не жизненная усталость вела террористов на акт и на плаху. Он был переполнен жизнью до краев, любил ее в ее бескрайности и в слу-

чайных перебоях ее пульса. Не презирал, а безмерно, не по заслугам любил — в с е х людях. И лишь потому безмерно умел ненавидеть тех, кто в его глазах не имел права на имя человека, кому чужда была человечность.

Неужели это непонятно? Ведь не нужно быть террористом, ни оправдывать террор, чтобы понимать, что террорист, политический убийца (но не палач! не тот, в чьих руках власть!), может быть человеком души нежнейшей и изящнейшей. Не к памяти Леонида Андреева я обращаю этот вопрос: в той же трагической повести Андреев не только дал нам изумительный образ террористки Муси, но и в бандите Цыганке сумел увидеть и рассказать человеческое. Но к тем, для кого убийца — всегда зверь, как убитый — всегда праведник. К тем, кто, говоря о революции, не видит различия между террором власти и героизмом Давидов, идущих с пращей против вооруженного до зубов Голиафа, идущих почти всегда на верную смерть.

Когда-то, еще недавно, не нужно было объяснять такие человечески понятные истины: сейчас их приходится отстаивать\*.

Дорогой Б. Каменецкий, прочтите книгу С. Мельгунова «Красный террор» — и, я надеюсь, вы поймете разницу. Впрочем... я не сомневаюсь, что вы ее и так прекрасно понимаете, но... Зачем же так писать? Разве, для достойного опорочения правительственных большевицких зверств, необходимо с их грязью смешивать и чистое в прошлом? Ведь это только им

---

\* В предыдущей книжке «На чужой стороне» я рассказывал об убитом чекистами старом террористе Куликовском, человеке нежной, любящей и измученной души. Судя по отзывам, так и восприняли этот образ большинство читателей-критиков. Но вот в «Руле» Б. Каменецкий, которого я знаю за тонкого литературного критика и не шаблонно мыслящего человека, отметив «свойственный мне юмор» и мои «искусные мазки» (спасибо! но я добивался совсем другого!), души «Николая Иваныча» не увидал, не захотел понять. Увидал же только одно: «Мих. Осоргин писал и редактировал (прокламации), а Николай Иваныч убивал...». «Не ясно ли, что на подобных образчиках чистого идейного террора воспитывались и наши теперешние террористы, большевики...»



приходится смешивать, чтобы тщетно искать себе оправдания. Не в деяниях террористов, а в действиях против них ищите аналогию большевицкого террора. (*Примеч. авт.*)

Ужасно, что в тисках политического бесправия юноша отзывчивый, пылкий, альтруист, не находит иной красоты подвига, как «принесение себя в жертву благу народа» путем убийства и, одновременно, самоубийства. Ужасен строй, делающий это правилом, обыденным явлением. Вот она, «квадратура круга в лужах человеческой крови»! Но когда мы от общих политических рассуждений, от фактов содеянных, обернемся к душе содеявшего, — мы не можем быть беспощадными судьями. Для Лебединцева, как и для андреевской Муси, подруги Вернера, вся красота мира, вся высшая, но все же земная, человеческая красота подвига исчерпана в словах «принести себя в жертву за благо народа». Много сомнений в его мятежной душе, но в правоте самого акта у него сомнений не было, как не было ни у Каляева, ни у Владимира Мазурина, страшного террориста и чистого ребенка душой. Мы вынесем наш суд, строгий, неумолимый, от разума, от уроков истории, и мы можем осудить не одного Лебединцева, а хоть всю революцию, всю ее идеологию, все ее планомерные и случайные акты. Но от этого героизм не делается злодейством, и душа самоотверженная — преступной. Не правота поступка оправдывает человека, а его вера в правоту.

Я отвлекся, хотя и не жалею об этом. Впрочем, мои краткие воспоминания о Лебединцеве окончены; интимное в них не выносится на публику.

Мелочь прибавлю — уже не о нем, а в связи с «пониманием» его. Однажды в Риме, на лотке книгоноши, я нашел и купил трепаную книжку: итальянскую пьесу для народного театра, из русской жизни. Действие первое: заговор террористов. Действующие лица: Лебединцев, Мария «Спиридоновна»

и другие. Подвал, освещенный свечкой, воткнутой в человеческий череп. Лебединцев точит кинжал. Сцена первая:

*Лебединцев.* Карамба! Он достаточно остер, чтобы распороть брюхо гнусного министра!

*Спиридоновна.* Не бойся, если ты промахнешься, эта бомба поправит ошибку.

*Оба (п о т р я с а я о р у ж и е м).* Смерть мучителю народа! Смерть ему!

Как видите, имя Лебединцева приобрело в Италии некоторую популярность. Но каждый народ на свой лад толкует качества мятежной души славянской... Испанский разбойничий возглас «карамба» тоже не лишний для экзотической точности.

Бедный Всеволод! Он так любил, знал и ценил Италию! И так понимал ее пристрастие к картинности и к пышному слову. Как искренне и звонко смеялся бы он, прочтя такие строки!

Поэт и энтузиаст, он был предан человеком расчета и корысти, — самым гнусным предателем, какого знает история революционной борьбы.

Судьбе угодно было, чтобы Лебединцев умер, не окрасив своих рук чужой кровью, свободным даже от этого упрека. Убивать человека — великий грех. Поэтому власть, хранительница высокой морали в христианском государстве, удавила пятерых, замысливших убийство одного. Пришел срок — и эта власть пала; ее сменила другая, продолжающая решать квадратуру круга в лужах человеческой крови. Ей на смену, рано или поздно, придет следующая по счету... но все это уже вне моей темы.

Я знаю одно: как счастлив Лебединцев, что он не дожил до наших дней! Каким страшным испытаниям подвергся бы его революционный дух и его простая, цельная вера!

Быть может, и вправду неизвестный, по прозвищу «Кальвино» превратился бы в «неизвестного, по прозвищу Вернер», и созрело бы в его душе «темное презрение к людям». Эта страшная чаша его миновала.

## ИТАЛЬЯНЦЫ

С милым и очень практичным человеком мы обсуждали проект организации в Париже литературной газеты, скромной, приятной, независимой и нужной: кого привлечем в сотрудники, на какие разобьем отделы, сколько места уделим художественному материалу, сколько отзываю о книгах, как быть с экспедицией, сколько потребуется денег; на последнем пункте остановились, потому что, при очень большом нашем опыте, при отличнейших намерениях, денег у нас не оказалось. Но разговор, сам по себе, оставил приятнейшее впечатление.

И вот мне вспомнилась одна итальянская встреча — знакомство с владельцем и редактором газеты, названия которой сейчас не упомяну.

Это было, когда, в конце первого десятилетия века, ждали войны; войны ждут всегда, но иногда особенно тревожно. В беседе о войне с молодым итальянским литератором я высказал несколько по тому времени еретических мыслей, теперь ставших банальными. Итальянца это очень заинтересовало, и он спросил:

— Почему вы не напишете в этом духе статью в газетах?

— Потому что сомневаюсь, чтобы какая-нибудь газета такую статью напечатала.

— Ну, при нашей полной свободе печати, газету можно найти, я вам это обещаю.

Я и написал, а недели через три получил номер маленькой провинциальной газеты с моей статьей в качестве передовой. Газета оказалась анархистской, очень жалкой, но грамотной и, при всем боевом тоне, некрикливой. Издавалась она в местечке на восточной Ривьере, под Генуей. В один из частых приездов на Ривьеру я решил в этом местечке побывать и познакомиться с редакцией. Так и сделал: написал редактору, получил ответ, и в условленный день и час вышел на станцию, где редактор сразу узнал меня, так как остальные сошедшие пассажиры все до одного были ему известны: незнакомых людей в этом местечке не бывает.

Редактор был моложе, чем это считается приличным и естественным: лет двадцати. Он не был даже адвокатом — редкое явление среди редакторов и депутатов. Он привел меня к себе, в маленький и чистый домик его родителей, познакомил с «баббо» и «мамма» и угостил вермутом со сладкими пирожными, так как был полдень. Папаша и мамаша были очень патриархальны и провинциальны и, вероятно, приоделись к моему приезду, так как баббо был в длинном сюртуке, а мамма в черном шелковом платье с брошью. Сына они звали Джиджи (Луиджи) и были у него в явном подчинении, то есть уважали его не менее, чем он их. В наш разговор они не вступали, только утвердительно кивали головой, что бы он ни сказал и что бы я ни ответил.

Я, естественно, поинтересовался, где редакция, администрация и экспедиция газеты, сколько подписчиков, много ли сотрудников и прочее. Редакция оказалась в соседней комнате с салоном, в комнате самого Джиджи, администрация состояла из баббо, мамма и Джиджи, постоянным сотрудником был Джиджи, более случайным я, а экспедицией заведовали баббо и мамма. Все это было мне рассказано и показано со скромностью, простотой и некоторой гордостью. Подписчиков за полтора года существования газеты было уже 62, тираж до 300 экземпляров, и при этих условиях газе-

та почти окупалась и собиралась из ежемесячной обратиться в еженедельную.

Статьи писал Джиджи; он же извлекал из газет хорошую, несрочную хронику, которую комментировал со свойственным ему жаром; его перо помогало газете не быть скучной: маленький фельетон не без яда, карикатура, им же исполненная (на Джолитти или на папу, конечно, на «римскаго», а не на своего), анекдотец в стиле пасквинаты. Всегда что-нибудь поучительное, популярно изложенное, по части успехов науки и техники, полстолбика о литературе, столбик о положении рабочих в Генуе и за ее пределами, несколько плакатных строчек, вроде «Да здравствует анархия», и даже объявление о продаже вина и сушеной фиго, с указанием адреса редакции: при доме был большой сад и виноградник.

Джиджи с радостью показал мне большую пачку писем от читателей и сочувствующих; ему присылали и корреспонденции «с мест», служившие ему материалом. Я спросил, какой же партии или группе принадлежит этот боевой орган? Оказалось, что именно партии или группе читателей и сочувствующих, вообще же это — единоличное его, Джиджи, предприятие, к которому он привлек баббо и мамма. Джиджи пишет, составляет номер и печатает его в соседнем городке, откуда сам привозит готовые листы. Баббо листы эти складывает, мамма надписывает адреса и ведет кассу, баббо отправляет на почту, Джиджи ведет бухгалтерию, баббо помогает, но больше всего времени занимают ответы на письма читателей, так как ни баббо, ни мамма на это не способны.

Отсель мы с Джиджи бросили наш протест против надвигавшейся войны, авторитетно указали на ее гнусность и безнравственность, на дипломатическое лицемерие, на возможность гибели европейской культуры и на единственный исход для Европы — образовать Соединенные Штаты. В комментариях к моей передовой Джиджи от себя прибавил, что простейшим и целесообразнейшим было бы создать федерацию

общественных групп на началах благотельной анархии. А так как в те дни Муссолини был только социалистом и писал в «Аванти», то никто нас за эти мысли не беспокоил, а количество постоянных подписчиков увеличилось до 65.

Вот горе — не знаю дальнейшей судьбы этой газеты! Наш совет не был принят. Штаты не образовались, и позднейшие события отвлекли меня от сотрудничества с Джиджи, баббо и мама по насаждению в обществе пагубных политических взглядов.

Но кому интересен маленький провинциальный Джиджи, человек без имени, карикатурный редактор уже несуществующего листка! Поэтому я напрягаю память и прихожу в отчаяние, что Габриэле д-Аннунцио я видал только издали и всего один раз: на невысоком балкончике на виа Венето, когда он говорил толпе предвоенную патриотическую речь, а на приветствия махал вынутым из кармана дамским платочком. Вот человек, биографам которого предстоит решить, писать ли о нем в тонах героических или комических. Первое выйдет плоско и неинтересно, второе подавит богатство материала яркого и даже блестящего, но как-то неудобно. Но, чтобы понять и выделить действительно ценное и большое в этом человеке, нужно сначала перетрясти всю театральную труху, горы которой он вокруг себя наворотил. Нужно будет под маской великого «чарлатано» (слово не обидное, принявшее у нас искаженный смысл) обнаружить лицо все же настоящего и большого поэта, прожившего необычную жизнь и до сих пор отрицающего старость.

Божком меньшего калибра одно время сделался драматург Пиранделло, и именно как драматург, уже к старости, тогда как раньше его знали как средней руки, довольно способного новеллиста. Его я встречал в Риме, в салоне синьоры С.

Не пышный и вульгарный светский салон, а семейный дом, куда случайный человек не попадает и где все «продумано» тщательно и со вкусом. В двух комнатах стеклянные шкапы с этрусскими вазами и статуэтками, тонкая любительская кол-

лекция. Бюст лучшего скульптора, картина лучшего художника, и каждый почтенный приглашением писатель может быть уверен, что где-нибудь на старинном столике лежит и его книга в простом и очень изящном переплете; она не нарочно выставлена, но, конечно, и не случайно повернута корешком к свету; рядом с ней книга другого автора, о которой именно сейчас много говорят.

Когда слава приходит поздно, человек не успевает к ней привыкнуть; он настораживается, когда говорят о нем, и подает напрасные реплики, хотя было бы значительнее промолчать. Трудно носить свою известность с достоинством и спокойствием. И Пиранделло показался мне не по возрасту суевливым. Знают ли его и в России? Будут ли переведены его пьесы? Тогда повсюду ставили его «Шесть персонажей», но на советскую сцену он не попал: был признан мистиком. А между тем нет драматурга более умствующего — в ущерб художественности и живости действия! Кажется, он и сам это отчасти сознает, ставя в скобки часть своих рассуждений и рекомендуя их опускать при постановке. Мне кажется, однако, что скобок слишком мало.

Неудобно говорить только об одном из присутствующих и слушать его реплики только о себе, и синьора С., сама писатель, мыслитель и добродетельнейшая жена известного профессора-медика, переводит вопрос на темы общие, даже слишком общие: «чего мы хотим? чего вообще стоит хотеть?» Отвечать на такой вопрос можно только шутливо — иначе выйдет скучно. Так и отвечают двое-трое, без особого успеха, но в тон изяществу интимного салона. И вдруг — ответ неожиданный, который был бы в этой обстановке совершенно неудобным, почти неприличным, если бы не совсем особый голос — настоящей и великой усталости и необыкновенной серьезности:

— Я хотела бы уснуть и долго не просыпаться.

Сразу молчание. На высоком и неудобном кресле с твердой спинкой, с закрытыми глазами сидит Грация Деледда, уже

немолодая писательница, автор прекрасных книг, позже — нобелевская лауреатка. Кажется, это — единственная длинная ее фраза за весь вечер. Такие фразы говорятся часто и им не верят; но она как будто не сказала, а проговорилась, — и отсюда общее невольное молчание.

Из книг Грациа Деледда я люблю ее «Каннэ аль vento» (кажется, нужно перевести «Трость, ветром колеблемая»). Роман быта и настроений — старотипный, вне моды. Итальянцы невысоко ценят свою писательницу и поняли нобелевскую премию как любезность по отношению к Италии. Вероятно, так оно и было: нужно было почтить Италию, но не давать же премии «великому чарлатану»! И почтена была пожилая, очень уставшая женщина, при имени которой все обиженные и обойденные удивленно подняли брови: «Кто? За что? Почему?»

На сладкое следовало бы подать того, кого сложно называют «Эффэ-Ти-Маринетти» (Ф. Т. Маринетти), тоже — знаменитость. Но о нем я как-то уже упоминал. Сейчас мне припомнилась только одна фраза его футуристического манифеста, в которой ясно изложено, что человек старше сорока лет должен выбрасываться за борт. В те дни Маринетти не хватало до этого рокового возраста лет пятнадцати, — легко было говорить! Сейчас ему, вероятно, перевалило за пятьдесят, и Маринетти — фашистский сенатор. Очень любопытно знать, какого он сейчас мнения о предельности человеческой пригодности к жизни?

Куда же последовательнее оказался наш Маяковский!



## МАРИОНЕТКИ

Склады памяти мне представляются реквизитом театра марионеток. Люди — куклы; судьба дергает их за ниточки и заставляет разыгрывать события; фон воспоминаний — декорации, которые можно сложить и свалить в угол до востребования. И это не обидно: так удобнее хранить материал, не очень его истрепывая. В подходящий моментходишь в кладовую, вытаскиваешь на свет фигурку, отряхаешь пыль, расправляешь складки одежды, — и так приятно видеть старого знакомого.

Тому назад лет двадцать с небольшим я бывал в мастерской игрушек у «добротого судьи Майетти», в Риме. Судья Майетти был не только действительно добрый человек, а и великий энтузиаст добра. У него была своя теория и своя практика правосудия по делам детской преступности. Он всем сердцем любил независимых бродяжек и маленьких жуликов, которых приводили в его детский приют. Он исправлял их (действительно исправлял!) неограниченным доверием, предоставлением им свободы оставаться или бежать, но от оставшихся требовал усердной работы, занятий с учителями-добровольцами и опрятности. Он ввел в своем приюте детское самоуправление, которое, таким образом, было изобретено отнюдь не советской школой. Приют содержал на свои личные и выпрошенные у знакомых деньги. Преследовал ку-

рение и жесткое обращение с животными, пропагандировал сберегательные книжки и поручал малолетним карманникам, особенно «неисправимым», относить в сберегательную кассу недельные заработки своих пансионеров, — без всякого сопровождения и надзора. Он так поражал их доверием, что не было случая растраты или побега. В приюте у него была теснота, стулья днем подвешивались на гвоздики, чтобы освободить проходы между койками, весь инвентарь помещался на многоэтажных хитроумных полках. Ни днем, ни ночью дверь не запиралась, приходи и уходи по доброй воле.

Так как решительнейшим средством исправления малолетних добрый судья считал труд, притом непременно занимательный и полезный, то он устроил и в своем приюте, и в тюрьме мастерские игрушек, преимущественно музейных кукол и марионеток. Я бывал довольно часто в обеих мастерских и поставлял судье жестяные коробки из-под табаку, — ценнейший материал — и обрезки материи, которые собирал по знакомым.

В те дни другой итальянский энтузиаст, синьор Витторио Подрекка, молодой чернобородый адвокат, вынашивал идею своего ныне знаменитого и, кажется, лучшего в Европе театра марионеток и Петрушки («Театро деи пикколи»). Было естественно, что Майетти и Подрекка стали добрыми друзьями и соратниками: их объединила любовь к детям и куклам. Впоследствии они оба стали знаменитыми, привлекли внимание богатых англичан и короля Италии, приют Майетти вырос и облагодетельствовался, театрик Подрекки стал модным в Риме, сам он обрил черную бороду, а Майетти стал председателем суда над малолетними. Вообще стало неинтересно и довольно шаблонно. Я очень рад, что знал их обоих до всеобщего их признания, когда Майетти пропагандировал свою идею свободного трудового воспитания, выпуская летучие листочки, которых никто не читал, а Подрекка, с подобной же целью, издавал журнальчик «Примавэра», в котором я печатал детс-

кие сказки. Оба дела были скромными и семейными, — для души и на личные чентезимы.

Я потому вспомнил сейчас этих славных людей, что мы не раз, то в мастерской Майетти, то в только что открытом театре Подреки; любовались марионетками и «бурратини» (Петрушка) работы детей, под наблюдением судьи и по заказу режиссера. Сколько восторгов вызывал бархатный костюм, сфабрикованный из дамской юбки, или длинный нос Петрушки, скомпонованный малолетним талантом. Кукла болтается в руках, — но мы знаем, что она оживет, когда в искусных пальцах заработают ниточки. Она не только будет шагать и прыгать, но и разевать рот, исполняя свою роль в классической опере. Она вихрем пронесется по сцене в балете, — и такого курбета не сделает ни одна балерина и ни один фокусник. Ну, а пока она, конечно, кажется безжизненной, усталой, лишенной воли и вкуса к действию. Полюбовавшись, мы подвешиваем ее на соответствующий гвоздик и переходим к другой.

Как забавен кукольный мир! Как чист и беззлобен! Великий скандалист, сам Петрушка, в сущности, добрейший и милый парень, как и жандарм, который, получив по голове достаточное число ударов дубинкой, в конце концов, все-таки утаскивает Петрушку в узилище. Затем они мирно висят на гвоздиках, рядом с королевой, герцогом и шутком, равноправные и равно безвредные дети судьи, режиссера и малолетних преступников.

Так начав, я не решусь, конечно, продолжать беседу о встречах с людьми известными, попавшими или имеющими попасть в энциклопедические словари. С ними нельзя распорядиться, как с куклами, — хлопать их по плечу и щелкать в лоб. Поэтому на сегодня я предпочитаю вспомнить нескольких неизвестнейших, которых имен и сам не помню, — разве что выдумаю.

Одной из любимых театральных кукол в «Театре малышей» была свирепого вида дама с ридикюлем, участница многих комических сценок. Ее горделивый вид всегда напоминал мне некую жену провинциального нотариуса, которую я знал в детстве. Она была бедна, полна достоинства и приходила к моей матери шить кофточки и подрубать носовые платки. Мать относилась к ней с уважением, не как к портнихе, а как к знакомой, и усаживала ее пить чай с нами в столовой. Ее знал весь город, делившийся на партии: одна партия была на стороне нотариуса, другая на стороне его жены. Нотариус с женой не жил, и, по тем временам, это было огромным скандалом, в котором я никак не мог разобраться. Несомненно, однако, что это было началом женской эмансипации. Жена нотариуса жила самостоятельно, шила по домам и выпивала, а выпив, — позорила бывшего мужа последними словами на всех перекрестках.

И вот однажды мне удалось быть свидетелем их встречи на улице. Я шел из гимназии и тащил по снегу за ремень презираемый ранец с книгами. И вдруг — неожиданная сцена: нотариус столкнулся на перекрестке со своей супругой. Он в хорошей шубе, она в паршивенькой кацавейке, обвязанная шарфами, не совсем трезвая. Столкнувшись, оба приостановились, и нотариус, вежливо приподняв шапку, громко спросил:

— Ты все еще не издохла?

И вдруг ее фигура выросла, выпрямилась, и из комка шарфов раздался гордый, ясный и отчетливый голос:

— Не хочу и не ум-ру!

Затем они уступили друг другу дорогу и разошлись. Я же, по малолетству, был совершенно поражен этими новыми для меня и чрезвычайно своеобразными человеческими отношениями. Должен сказать, что все мои симпатии были на стороне независимой женщины.

Что касается до жандарма, с которым так неистово бился Петрушка, то я никогда не мог забыть об его сходстве с со-

лидным седоусым жандармским генералом, отчаянным бабником, которого я знал в те же юношеские годы. Вероятно, потому, что видел однажды этого генерала на сцене в нашем оперном театре. Генерал пробирался за кулисы ухаживать за балеринами и был там своим человеком. Как-то он не рассчитал момента и, запутавшись в декорациях, при поднятом занавесе, проследовал через сцену, звеня шпорами, в то время как наш отличный актер, вымазавшись коричневой краской, уверял публику, что он — Амонасра, эфиопский царь. В театре хохотали совершенно так же, как дети на представлении Петрушки.

И была еще в реквизите театра Подрекки кукла, одна из самых забавных, которую я считал за моего ожившего знакомца, провинциального певца-любителя, хотя по профессии часовщика. У куклы была совершенно такая же челюсть, страшно разевавшаяся на предмет издания звуков. Это был человек неприлично маленького роста, с неприлично огромным голосом, выкованным из ржавого железа и напоминавшим грохочущую телегу. Когда в любительских концертах он пел «Чуют правду» или «Любви все возрасты покорны» (обе арии он исполнял одинаково), то весь зал замирал от ужаса и нервного состояния. Он открывал рот, — и происходило невероятное: его рот растягивался во всю его фигуру, от взбитого курчавого кока волос, — до незаглаженных брючных коленок и даже несколько ниже. Из этой пасти вырывался шум столичной улицы, лязг завода земледельческих орудий и треск столкнувшихся на полном ходу поездов. Это было особенно замечательно в арии Гремина, в словах: «тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла» и так далее; дело идет, конечно, о Татьяне. Ему неистово аплодировали, потому что подобного голоса не было на протяжении от Урала до истоков Волги. Если бы он не был евреем, то был бы, конечно, протодьяконом и возглашением многолетия приводил в ветхость стены соборов.

Вся прелесть марионеток в том, что они не обязаны считаться с пропорциями роста и частей тела, что они оживляют уродцев из кунсткамеры и банок со спиртом. Они чудесно подчеркивают различия людей и черты их характеров. Царь — так уж царь, с большим животом и трехэтажной зубчатой короной, шут — так уж прыгает до потолка, герой — так грудь колесом и неистово разящий меч, а прелестница — лучше не сыскать: вся в шелках и деревянными ручками посылает поцелуи. У прелестницы есть соперница, вдвое выше ее ростом, худая, как щепка, с челюстью навывкате. И вот такую я тоже знал в жизни.

Она была учительницей прогимназии. Вряд ли была на свете бóльшая страдальца. Гимназисты называли ее цаплей, — но куда цапле до нее! Жирафы же в нашей местности не водились. Вероятно, отличная женщина, — но она достигала прической и шляпой невысоких балконов, а так как она этого стеснялась, то как-то невольно пригибала голову, что делало ее похожей также и на вязальный крючок. Она была отличной преподавательницей, и на кафедре не была смешной. И все-таки учебный округ был вынужден ее уволить за неизмеримость роста, чтобы не портить детей и не приучать их к непочтению. Однажды прошел слух, что она выходит замуж, — кто-нибудь нарочно пустил в насмешку. Стали гадать — за кого? Но не было никого, кто бы мог поцеловать ее, не приставляя лестницы. Грешно смеяться, — но я всегда вспоминал ее, смотря в театрике на соперницу прелестницы.

А несгибающийся любовник в золотом пиджаке и тонконогий! Ведь это же Митрофанчик, наш почтовый чиновник, великий дамский угодник! Все его звали Митрофанчиком, хотя ему было под пятьдесят. Утром — письма и марки, а вечером — салоны прокурорши и пароходчицы Манефы Трифоновны. И тут он читает стихи. Сам он не сгибался, но голос его переливался всеми тонами. Он любил читать «Украшают тебя добродетели» и «Убогая и нарядная». И, читая, он пускал прозрачную слезу из белых глаз, потому что у него зрачок был светлее белка. Он всем надоел, —

но без него не было салона ни у прокурорши, ни у пароходчицы; то, да не то! И только после революции оказалось, что он был маленьким охранным осведомителем на мизерном окладе. Содержал его тот самый жандармский генерал, который участвовал в сцене с царем Амонасрой. Вот тебе и Митрофанчик!

Таковы незамечательные люди, которых напоминали мне римские марионетки. Конечно, я несколько хитрю: говорю только об этих, а в памяти держу многих других, о которых просто стесняюсь упоминать, потому что, по мягкости характера, обижать никого не хочу.

Когда Подрепка привозил в Париж свой театр, мы немного вспоминали прошлое, — но для этого нет времени у деловых людей. Судьи Майетти я давно не встречал; вероятно, его приют стал национальным учреждением, а прежние бродяжки носят френчи с черным галстуком; а впрочем, теория свободного воспитания так мало согласуется с нынешним призывом к созиданию кадров здравомыслящей и кулакоспособной молодежи, все на одну мерку, все одной команды, — не случайные куколки, а люди будущего. Так уж нужно, — ничего не поделаешь и не возразишь.

## МЕСТЕЧКО НА РИВЬЕРЕ

Приезжий из Италии русский человек, между прочим, рассказывал, что он ненадолго останавливался в местечке на восточной Ривьере — в Кави-ди-Лаванья. Впрочем, теперь это уже не просто «местечко», а довольно оживленный морской курорт, конечно — летом, а в зимние месяцы прежняя деревушка; знаю ли я ее? Прежде знал каждый камушек и всех Терез и Антонио всех возрастов; теперь кое-что из памяти начинает убегать. Не помню, например, как звали сына старухи из табачной лавочки. Кстати — старуха еще торгует? Я видел в табачной лавочке женщину, но не очень старую, лет под пятьдесят. Вряд ли это та самая, той было тогда...

Легче вспоминать с пером в руках. Той было тогда много, лет семьдесят, ее сыну около сорока, а его молодой жене двадцать. А познакомились мы ровно тридцать лет тому назад. Значит, старуха уже отдыхает на пригорочке, где есть и русские могилы (например, могила молодого человека, убежавшего из Акатуйской каторги и утонувшего вскоре по приезде в Кави). А в лавочке торгует теперь та, которой было двадцать лет. А пишет о них тот, которому еще не было тридцати. Я упустил из виду, что года идут.

Об этом местечке на Ривьере писали очень многие, и часто его именем помечались книги, предисловия и газетные статьи на русском языке. И эти строки кой-кем прочтутся с улыбкой:



ну, как же, Кави! Неподалеку, в Леванто и посейчас живет открывший Кави А.В. Амфитеатров. Где-то в СССР мается (всю жизнь маялся!) прекрасный человек Евгений Евгеньевич, фамилии не назову, потому что не знаю, где и как он мается; его заботами и призывами заселилось Кави тогдашними эмигрантами. В Белград шлю поклон кавийскому старожилу, славному экономисту К.Р. Качоровскому, единственному, которого и посейчас помнит по фамилии каждый кавийский коренной житель, хотя ни один из них не произнесет ее правильно; двадцать лет прожил Карл Романович в доме на горе, куда нужно подняться по узкой тропинке от табачной лавки, потом налево, и там, в окно последнего дома можно ушвырнуть камушек — и недовольное лицо блеснет очками. Уже не прочитает этих строк частый гость Кави В.И. Немирович-Данченко. Вот на отличной фотографии, снятой старым публицистом В.Е. Поповым (Владимировым), благодушествует Вас<илий> Иван<ович> в компании Германа Лопатина и Григория Петрова, — где-нибудь они сейчас встретились! Герман Лопатин с седой окладистой бородой, с торчащими круглыми белыми манжетами (бедность свою он скрашивал прилежной опрятностью костюма) лежит на приморском камне, на который набегает волна, — и помню я не только этого замечательного старика (его забыть нельзя), но и этот камень. На него набегали волны прибоя за века до нас, будут набегать века после нас; этот камень — граница прекрасного пляжа, на два километра идущего вправо до самой Лаваньи; отсюда хорошо смотреть на домики местечка Кави, которыми поросло подножье прибрежной горы. Досюда доносился голос Ф.И. Шаляпина, когда он пел в доме, неподалеку от станции; молодого Шаляпина! И здесь ночью было хорошо смотреть, как зелено-золотыми искрами вспыхивает вода, можно было, раздевшись, броситься в нее и плыть в расплавленном серебре, кипящем, но холодном. Этого не одобрял Н.С. Тютчев, программный человек, для всех принципиально-строгий, для себя оказавшийся более снисходитель-

ным: послал длинное и неискреннее прошение и отбыл туда, куда нам доступа не было; земля ему пухом: новая революция не проведала про его слабость и похоронила его с почетом, как старого героя. Знали об этом Герман Лопатин и Евгений Евгеньевич, известный в Кави под именем князя Коляри; а был он простой человек, сибиряк, голубоглазый, с калмыцкими скулами, и изучал Михайловского; его трудами изданы последние томы сочинений народника, тогда еще властителя дум. Он же был хранителем всех тайн, архивов, общим советчиком, признанным кавинским старостой. Его сынишка, Пойка, играл с итальянскими ребятишками, которые теперь уже не парни, а степенные люди на возрасте.

Все, жившие в Кави, писали по тысяче писем в год, а некоторые писали книги. Так как у Кармеллы, лавочницы, была только тонкая сероватая бумага, буквы на которой писались сразу с обеих сторон, то каждый, ездивший в Геную, привозил оттуда столько бумаги, конвертов, чернил, перьев и лент для пишущей машинки, сколько осиливали его руки. Почта на три четверти работала на нас, и было время, когда на одну четверть она работала на русскую тайную полицию, внимательную к эмигрантам. Отправляя рукописи, почта возвращала их книгами. В повестях и романах неизменно упоминались Терезы и Антонио, матовые дорожки морской поверхности, солнце и гора св. Анны. Молодой каторжанин-акатуец пробовал перо, путая ели с оливами, тайгу с пляжем, и подписывал свои рассказы — Андрей Соболев; его первый, неудачный, рассказ остался среди моих бумаг, второй был где-то напечатан, и Соболев понемногу протискивался к литературному Олимпу. Борис Зайцев — не колонист, а только турист, занесенный в Кави любовью к Италии, — избрал местечко на Ривьере фоном повести, в которой некоторые из нас себя угадывали. А. Амфитеатров не знал усталости — печатал книжку в месяц, и две переписчицы не имели времени купаться. Вечерами, в домике философа Б.В. Яковенко, читал нескончаемые свои романы украинец В. Винни-

ченко, и мы соображали, можно ли сказать по-русски: «честность с собой». Было много местных жителей, еще больше проезжих, — и мы тогда, живя эмигрантами, хорошо знали все, что делается в России: связь была постоянной. Всех, истреблявших итальянскую бумагу на русские потребности, мне не перечислить: трудами кавийцев питались газеты «Русские ведомости», «Русское слово», журналы «Русское богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы», и только в последнем титуле нет слова «русский».

На взгорье, несколько поодаль от селенья, в кудри серых олив впутались открытые террасы старой виллы, где было двадцать комнат почти без мебели, но был зато виноградный сад, и с террас прекрасный вид. Там жила молодежь, почти исключительно «каторжане», преодолевшие тюремные стены и тайгу, осуществившие мечту каждого арестанта. Являлись сюда после нерасказуемых мытарств, полные энергии, и оседали в бездействии, побежденные солнцем. Они познакомили итальянцев с русскими песнями и с русской тоской. Они плавали в бурных волнах и карабкались по камням отвеса св. Анны. Потом у них стали рождаться дети. Потом они стали исчезать, и вилла каторжан превратилась в дешевый русский пансион со сторожайшей хозяйкой Софьей Павловной, сытно кормившей за гроши, но строго наблюдавшей за нравственностью. Впрочем, в те года было больше аскетов, чем грешников: молодежь питалась не столько котлетами, сколько идеями. Св. Анна, дух которой жил в развалинах церковки ее имени, на старо-римской горной тропинке, возмущалась, слушая, о чем беседуют юноши и девушки, глядя с высоты на полуостровок Сестри Леванте и легкие лодочки рыбаков (как белые мушки!): говорили о марксизме и народничестве, в лучшем случае о Достоевском. Св. Анна благословляла тех, кто являлся сюда при луне, тайком, и догадывался, что есть и другие темы, особенно для беседы вдвоем; но это случалось так редко!

С годами житие устраивалось в быт. Появились старожилы, подрастали дети, писались мемуары. Почтовый чиновник вяло продавал агенту эмигрантские тайны. Почтового чиновника обличили, и он был уволен. Агент оказался, кстати, и военным шпионом, но работавшим не на кормившее его русское правительство. Запрос в палате не состоялся из-за военной тревоги: с будущим союзником не ссорятся; копии бумаг в желтом конверте пора бы послать в пражский архив, они напрасно занимают место среди обломков прошлого. Еще позже война и революция рассеяли кавийскую колонию, оставив на страже теней только Карла Романовича, карманы которого были всегда полны конфет для итальянских ребятишек. Пришло время — уехал и он.

Десять лет я ежегодно бывать в Кави, приезжал сюда из Рима на отдых. Жил и на вилле синьоры Рокка, единственной образованной, но ужасной женщины, легендарной скареды, продавшей дочерей. Жил и на бывшей вилле каторжан под надзором строжайшей Софьи Павловны, жил у превосходнейшей синьоры Луизы, не умещавшейся в объективе моего фотографического аппарата, жил на горе, у ее подножья, посередке, в горах по течению ручейка. На Санта-Анне, прямо над обрывом, висит плоский камень, служивший мне письменным столом, а по течению горного ручья есть каменные затоны, где можно наблюдать водяных паучков, плавунцов, головастиков, живущих очень интересной жизнью, не похожей на нашу. Мимо старые женщины, говорящие только на местном диалекте, носят с гор молоко и в горы вязанки дров, носят всегда на голове, и потому они лысы. У Кармеллы, лавочницы, кредитовавшей всех эмигрантов и нажившей на них состояние, подросла очень красивая дочь, вышла замуж, и скоро начала подрастать ее дочь, будущая красавица. Девочка Терезина, игравшая с русскими детьми и научившаяся языку, замуж не вышла; к дням войны ее уже называли старой девой, а вернувшись из России, я нашел ее настоящей старухой — быстро вя-

нут незамужние итальянки! Сын кабатчика был анархистом, стал социалистом; тому назад десять лет он еще называл себя коммунистом, и мне было любопытно узнать, что теперь он фашист; приятно наблюдать последовательность развития политических взглядов; впрочем, теперь он уже уверенно сидящий кабатчик, строго осуждающий молодежь.

В последний раз я праздновал в Кави двадцатилетие своего знакомства с местечком. От радости или избытка света у меня был легкий солнечный удар. Доктор Капоцци из Сестри Леванте, раньше лечивший всех русских в Кави, бывший убежденнейший социалист, приветствовал меня на улице фашистским жестом; поэтому лечил меня доктор Маффи, депутат-коммунист, впрочем — владелец превосходной виллы. Это преступное знакомство не понравилось маршалу карабиньеров (чин, впрочем, невысокий, вроде унтер-офицера). Он вертел в руках советский паспорт и сомневался в достоинстве моей визы. На столе в его канцелярии лежала пятиконечная звездочка, отпавшая с ворота его форменной одежды — потому что она издавна присвоена форме итальянской полиции. Я спросил его, давно ли он живет и начальствует в этих краях; он ответил, что давно, уже шестой год. — Ну, а меня в Кави знает каждый местный житель уже двадцать лет, следовательно, гораздо лучше, чем вас. — Горделивый ответ, который решил наш спор. Уходя, я — грешный человек — стащил у него со стола на память пентаграмму. Купанье было прекрасным. Вообще — счастливое лето, проведенное в семье друзей, только что приехавших из России в это мною рекомендованное местечко. Темные личности провожали нас при поездках в соседние городки и стояли до позднего вечера близ дома, притворяясь независимыми любителями природы; но не любили, чтобы их фотографировали. На пляже они подглядывали, не купается ли депутат Маффи поблизости от нас. Но Маффи не купался. Осенью приезжие фашисты разгромили его дом и избили хозяина. Теперь он где-нибудь на ост-

ровах. Это был хороший врач, хотя вылечила меня только Франция.

Я помню, как кавийские парнишки писали мелом на заборах: «Еввива ля республика!». В день памяти тысячи героев, отпльвших некогда из местечка на том же берегу залива, они писали: «Вива Гарибальди». В первые дни европейской войны писали: «Вива Витторио Эммануэле». В мой первый приезд из революционной России: «Вива Ленин». В мой последний визит на заборах начал появляться черный штамп портрета Муссолини. Надеюсь еще как-нибудь побывать в Кави-ди-Лаванья. Но дело в том, что лес кудрявых оливок, горный ручей, развалины крепостцы над св. Анной, прекрасный пляж, лазурное, молочное, тихое, бурное Средиземное море — все те же, без перемен. Если стареют и умирают люди, то на их место рождаются новые: Марьеттина становится Марьеттой, Марьетта — Марией, окруженной новыми Марьеттинами. А в горах я встречал стариков, никогда не спускавшихся и не бывавших не только в Генуе, но и в Лаванье. Там очень легкий воздух и тихо-тихо. А уж как красиво! И путь туда ведет по каменной тропинке, выложенной войсками Цезаря (если не легенда — а не все ли равно?). Я пил там виноградный сок, выжатый ногами Марьеттин в огромном чане; после он превращается в плохое вино. Все остальное, что можно бы рассказать, слишком лично и слишком дорого; оно не подлежит бумажному размену.

## ГОЛУБОЙ КОНЬ

Когда я напечатаю этот рассказ, несколько человек вспомнят, что такой случай действительно был, что юношу звали Мишей, но только не очень правильно изображен его характер, и самое событие произошло не совсем так.

Я это знаю. Я жил в том самом местечке и купался на том самом пляже в то самое лето. Я смог бы подробно расспросить кое-кого из старых друзей, собрать материал и точно описать, каков был Миша и как все произошло. Но мне это не кажется нужным и важным — ведь я пишу не о нем, а о том, как странно судьба поступает с людьми: переносит из ада в рай и, едва приотворив двери рая — набрасывает на голову черное покрывало.

Мише было двадцать шесть лет, из которых пять ушло на партийное подполье, тюрьмы, этапы и безнадежность. На торгу он попал за то, что одни называли преступлением, а другие подвигом; сила же была на стороне первых. Здесь я сделаю маленькое и единственное отступление: когда сила перешла ко вторым, то переменялись и названья, и сколько бы ни переходила власть из рук в руки — всегда будет так. Но если бы такую мысль высказать в те времена Мише, он бы страшно возмутился, потому что был настоящим идеалистом и верил в торжество справедливости и права и в самые прекрасные девизы, а жизнь свою считал искупительной жертвой.

Собственно он жизни, конечно, и не знал, некогда было узнать ее, обычную, из сегодня в завтра, тускленькую, рабочую, мирную, какую живут люди, не метящие в герои, а старающиеся как-нибудь так, сторонкой и с оглядкой, добрести от колыбели до гроба, любя умеренно и кушая по потребности. Его завертело с гимназических лет, а студентом — подняло и унесло далеко от домов и домиков, от церквей и церковок, от театров, музеев, манежей, площадей, рынков и тех двух Садовых колец, смотря на которые с Воробьевых гор люди ласково и проникновенно говорили: вон она, наша Москва! Унесло по путям и дорогам, через тайгу, этапами, в те края России, где когда-нибудь будет цвести богатая, деловая, изумительная жизнь, а пока стоит село от села на сотни верст и люди живут не всегда по своей охоте; люди, надо сказать, неплохие — выносливые и сообразительные — сибиряки.

В двадцать шесть лет так жить невозможно; хочется дела, и хочется видеть людей, спорить, воевать, убеждать, слушать, смотреть; особенно нужно много смотреть, потому что мир велик — и не успеется. В каторгу попадал иногда номерок журнала, с запозданием, но такой интересный: описывалось, что вот там-то делается то-то, что в Европу приехали туристы из Америки, что в Берлине ученый съезд, а в Париже выставка, что было маленькое извержение Везувия, и в Мексике, по обыкновению, революция. И еще приходили письма, и оказывалось, что кое-кто из нашей братии переживает погоду за границей, кто в больших городах, а кто и в местечках у моря. Было странно и чудесно, что вот здесь снег и стужа, а там, пожалуй, апельсинный цвет; здесь на сотни верст кругом тайга и пустыня, — а там на каждую версту веселый и светлый городок, и главное — полная свобода.

Однажды дежурные вывезли с тюремного двора бочку с кислой капустой; сомнения никакого: бочка полна доверху и не закрыта крышкой. Конвойный проводил до погребов, и там трое сняли бочку с телеги; была бы забита — можно бы просто



скатить ее в погреб, а теперь пришлось снимать осторожно. Уставив бочку в ряд других, постучали в нее трижды — и бочка трижды ответила. Так как конвойный остался за дверью, то один из рабочих нащупал сбоку бочки небольшое отверстие, наклонился и шепнул:

— Жив, Миша?

— Жив.

— Все в порядке, прощай. Смотри, выжди полчаса, раньше не вылезай.

Дверь хлопнула, и щелкнул замок.

Чтобы не задохнуться, Миша дышал в дырочку, приложив к ней губы. На волосы и за ворот ему капал рассол, и в теплый день было зябко. Минуты тянулись — может быть, и пора вылезать, чтобы успеть, пока конвой обедает. Оторвавшись от дырочки, Миша вынул часы и решил зажечь серничек, а как чиркнул — понял, что сейчас задохнется. Тогда, задержав дыханье, налег руками на верхнюю доску, поднял вместе с ней слой капусты и, держа над головой, вылез из бочки. Помнил, что все нужно положить, как было. В дальнем углу нащупал бревно, толкнул — и стало светло. Тогда, еще раз взглянув на часы, он высунул голову в отверстие, огляделся, тихо выполз и старательно заложил отверстие упавшим бревном. Затем лег в траву и пополз в сторону опушки недалежного леса.

Едва в лесу — зашагал быстро, стараясь не отдаляться от опушки, параллельной дороге. Хотелось бежать, но он себя сдерживал, внимательно смотря под ноги, чтобы не пропустить тропинки. Так шел с полчаса, пока не набрел; если будут зарубки, значит — та самая. И с радостью, свернув на тропинку, увидел на нескольких деревьях свежие насечки. Тогда зашагал прямо и быстро, зная, что на верном пути; идти же было до заката.

Лес был высок и густ, и тропинка вилась в зарослях. Лес был прекрасен, как воля. Миша знал, что до вечерней переключки хватиться его не могут, а на переключке товарищи обе-

щали за него ответить; надо, чтобы не заметили его бегство двое суток — тогда спасен, если не попадетсЯ в пути.

Пока шел, иногда ему казалось, что вот за спиной крики и погоня; невольно пускался бежать — но снова сдерживал себя, потому что нужно было беречь силы. Все равно в лесу не найти, а и найдут, — хуже, чем было, не будет. Страхи напрасны.

Шел без усталости семь часов по неясной тропе, только раз присевши отдохнуть и закусить. В маленьком мешке был хлеб, кусок мяса, соль и отточенный простой кухонный нож; его он обратно не положил, а заткнул за пояс.

Где солнце — в лесу не видно, но стало уже темнеть, а с темнотой опять закралось беспокойство. И вот тут вдруг совсем близко заржала лошадь, и спокойный голос сказал: н-но-о! Миша спрятался за ствол дерева и, взглядевшись, увидел в просвете деревьев крестьянскую лошадь, запряженную в телегу, а в телеге бородатого старика. Это было на полянке, а за полянкой светлела дорога. Тогда, стараясь не хрустеть ветками, он стал тихо приближаться, а подойдя шагов на двадцать, крикнул:

— Федор?

Старик поднял голову и спокойно ответил:

— Он самый. Иди, садись, барин, ехать пора. Вот тут тебе мешок, и пища, и все снаряженье.

Когда Миша уселся, старик прибавил:

— Кланяться приказали. А ты ляг да спи, ничего не опасайся. Езды нам сутки с половиной.

Голос его был спокоен, и на Мишу он смотрел ласково, как на знакомого.

— Молод ты. Ну, молодому-то легче. Коли кого встретим — ты завались мордой в сено. Да некого тут встретить, разве что завтрешной день.

И телега пошла, подпрыгивая на корнях, по заросшей колее.

Сказка началась сразу за воротами тюрьмы. Ночью, лежа на сене и смотря на светлое от луны небо, Миша еще чувствовал капустный запах и морщился, вспоминая о серничке.

Теперь лес сменялся полянками и выжженными пространствами, а каторжная тюрьма была забытым прошлым. Вот так, грюхая в телеге, доехать до итальянской Ривьеры! Но, может быть, конечно, поймают и вернут; тогда он будет думать о новом побеге, гораздо труднейшем. В лесу не найти, а арестуют, как обычно, в городе или на пароходе, или уже в России на какой-нибудь неожиданной станции. Но и Сибирь и Россия так велики — неужели он не затеряется среди людей и пространства? Вот они едут уже часов пять или шесть, а лошадь идет все так ровно и без видимой усталости; луна скоро должна зайти. И когда он подумал об этом, старик, дремавший спиной к нему, сказал:

— Коли не спишь — слезай, хворосту наберем и огонь вздуем.

Когда запылал костер, ночь сразу стала темной. При огне Миша увидал, что старик на один глаз слеп, а на лбу у него глубокий заросший шрам. Закусивши, улеглись спать в телегу, а лошадь пустили кормиться. Миша заснул сразу, а старик несколько раз слезал и подкладывал в костер валежнику. В каждом его движении была старость, и было полное спокойствие.

Едва начало светать, телега опять зашаталась по кочкам и корням заросшей дороги. Миша видел во сне, что его качает на волнах Средиземного моря и что берег еще далек. Он поеживается от сырости и во сне почесывал лоб, искусанный комарами. Когда он проснулся — по верхушкам деревьев скользило солнце.

На рассвете второго дня они доехали до реки, за которой виднелся поселок изб в пять. Проехав вдоль берега еще с полверсты, старик указал Мише:

— Тут, как спустишься, будет тебе лодка. Там и снасти, черпачок приспособлен. Плыть тебе, милый барин, не менее, как десять ден, а то и все две недели, как поедешь. Плыви спокойно, никого не встретишь, да не пропусти села.

Миша сказал:

— Я знаю. Спасибо тебе, Федор.

— Не на чем. Куда теперь, в Расею?

— В Россию.

Старик потерял здоровый глаз и прибавил в раздумье:

— А что в ней, в Расее? Ну, с Богом! Твое дело молодое.

Все же в жилых местах по сторонам поглядывай.

— Спасибо, знаю.

Сколько можно, все было раньше изучено, и была у Миши даже карта, хотя трудно по ней разобраться в такой глуши и бездорожье. Главное — чутье и зоркий глаз. Еще важнее — счастье.

А как, если не счастьем, называется привольная река с зелеными лесными берегами, да грубая, топором тесанная лодка с рыбным ящиком на корме, да немудреные снасти для ловли, четыре каравай хлеба, берестяной коробочек луку, котелок, топор и запас смоленой пакли на случай течи, и рваный брезент, могущий послужить и для палатки. Еще — два весла и свобода.

Миша оттолкнулся веслом — и лодку понесло течение. Сначала держался тени высокого берега, а после выплыл на среднее течение — скорее понесет; веслами помогал без особой спешки.

В берегах, то крутых, то отлогих, потекли дни и таинственные, странные ночи. Об опасности от людей не было времени думать, потому что донимала мошкара; от нее спасался, держась середины реки. Но ночью, если задремлешь, прибывало к берегу, в камыши и заросли. Тогда Миша выходил на берег и раскладывал костер, экономя сернички. Лес становился вокруг костра и смотрел волчьими и совьими глазами на юношу, пустившегося в далекий путь: с востока Сибири в Италию. Когда костер прогорал, Миша сгребал к одному месту головни, ставил палки и вешал котелок. Стол был рыбный: уха на первое и на второе. Рыбы в реке было так много, что не было даже забавы в ее ловле; но зато был выбор.

И казалось Мише, что так он плывет вечность. Главное — всегда было какое-нибудь дело и очередная забота, так что и

много думать было некогда. Дни он отмечал черточками на борту лодки, делая зарубки ножом. Только раза два-три, по явным признакам — по ряду высоких сопок и по двухдневному перегону вдоль выгоревших берегов — сверился с картой. Не пройдено еще и полпути.

И дальше все было, как сон. Затерялся в необъятной Сибири, в местах нежилых, пустынных и неведомых, где никакой помощи быть не может и нужно надеяться на себя. Остаться тут жить было бы невозможно — обомшаешь и станешь зверем. Он уже и теперь был обожжен солнцем и искусан сибирским гнусом, хотя в эти месяцы мошкары сравнительно еще немного.

К концу пути он перестал спать на ходу лодки — боялся пропустить село — и днем шел в тени крутого берега. А когда затревожился — помогла одна примета, нанесенная на самодельную карту. Тогда он выждал заката и высадился пониже села. Продравшись через заросли, потом едва не затонув в болоте, — выбрался и без труда нашел крайнюю избу. За плетнем залаяла собака, и вышедший на крыльцо человек, увидав незнакомого, спросил:

— Какой человек? С реки?

Миша ответил:

— С реки. Свой человек.

Хозяин избы весело приветствовал:

— Ну, так проходите скорей. Бояться здесь нечего, все свои.

Дальше все было опять как будто просто — если просто шагать несчитанные версты по нетоптанным дорогам, голодать, прятаться от случайного человека и доверять зверю. То пешком, то на лошади, то неделями не видя приветливого лица, то ночуя у ссыльного товарища, с которым продолжал спор, начатый в Москве года три назад. Оброс Миша бородой и ничем не отличался от заправской шпаны. Вошло в привычку шагать по дорогам и без дорог, мокнуть под дождем и сушиться на солнце. На последнем перегоне, подходя к городу, почистил-

ся, вымыл сапоги, повязал шею белым мытым платком. Вспомнил, что в пути второй месяц. Теперь дальше ноги отдохнут — есть отсюда железная дорога.

В городе было опасно, но была верная явка. Будет и паспорт. И под вечер, не спрашивая улицы, спокойно и умело разыскал, что нужно. Здесь о его побеге не знали, и пришлось помогать вывести со случайного паспорта чернила марганцем и щавелевой кислотой. Лучше документа в запасе не было; с этим ехать до самой Москвы. С деньгами устроилось.

Когда минуло самое опасное — посадка в поезд — и ровно застучали колеса, Миша лег на верхнюю полку вагона. И только тут впервые подумал о будущем и вспомнил, как разделался с прошлым. Труднейшее сделано, помогли его здоровье и выносливость. Но сколько еще пройдет времени, пока удастся ему перевалить границу — и уж тогда наверное стать свободным? Но, конечно, ненадолго: только отдохнуть, заpastись силами, побывать в Париже, где теперь самый центр, выправить себе самый лучший документ — и тогда опять в Россию, на работу, а может быть, и на скорую смерть. Но непременно, хоть один месяц, прожить в чудесной стране, у моря, купаться, есть апельсины, учиться болтать на чужом языке. Счастье должно быть полным и чудесным, — а что же чудеснее его пути из самой сибирской глуши, с каторги, — в свободную страну, где и зимой тепло и где он встретит старых друзей, слишком долго там загостившихся.

В вагоне дни казались ему особенно долгими и путешествие тяжелым. Усталость прежнего его пути только притаилась — и теперь сказывалась мучительно. А среди людей было страшнее, чем в лесу, — и Миша избегал разговоров, повторяя в памяти — при виде жандарма — свое новое имя, званье, город и год рождения, и придуманный род занятий.

Когда он приехал в Москву, жизнь его сразу завертелась, хотя, из опасения, он жил на даче у друзей и в город заглядывал не часто. Пришлось с неделю ждать, пока соберутся все све-

дения и связи, и еще нужны были деньги. И тут, как в тюрьме, он изучал на память фамилии, клички, условные слова, — все, что было нужно, чтобы перейти границу. Быть арестованным по оплошности — страшнее, чем сразу умереть. Да он живым и не сдался бы. Но тут нужна не смелость, а выдержка, терпение, великая осторожность.

Однажды в Москве он заметил за собой слежку — или ему показалось. Он взял извозчика, заплатил вперед, выпрыгнул у проходного двора и скрылся. Тогда он решил ускорить отъезд, хотя бы и с риском.

В Варшаву он выехал хорошо одетым, немножко под иностранца, с запасным платьем и шляпой в чемодане. Дальше ехал местными поездами — опять настороженный, как в тайге, и опять не думая о будущем и не вспоминая о пройденном пути, потому что об этом думать было некогда.

Ему явно везло, — все случилось, как было условлено, и ни в чем он не сбился. Только одну ночь проспал в пограничном городке, на чьем-то чердаке, а на заре выехали, потом шли не больше часу, потом, расплатившись с провожатым, Миша недолго полз по траве до лесочка, за которым будто была уже не Россия. И странно, что страх обуял его в первый раз только тогда, когда он был уже на чужой земле, на улице чужого городка. Все было заперто и спало — дома, люди, лавочки и кафе. Увидав вывеску на чужом языке, он понял и зашатался от слабости. Не зная, куда идти, присел на лавочку и задремал, — пока его не разбудили голоса просыпавшегося местечка. Тогда, покраснев, и тихим голосом, словно о секретном деле, он спросил по-немецки, как пройти на вокзал, — и мальчик удивленно показал рукой на здание невдалеке. Миша подумал, что и сам мог догадаться, — не нужно было спрашивать. До поезда было часа два, и все это время он просидел в станционном буфете, попивая тепловатый и жидкий кофий и щупая рукой маленький дорожный саквояж.

И только когда тронулся поезд — Миша вдруг понял, что все опасности кончены и что он, беглый каторжанин, занятая дичь для каждого сыщика, — свободен, свободен, свободен.

Со странной быстротой мелькали станции, городки и города Европы. Чудеснее всего было то, что никому не было до Миши никакого дела, и даже таможенные чиновники, не шаря руками, чиркали крест или делали наклейку на его чемоданчике. Еще чудеснее было, что все люди здесь приветливы, вежливы и здоровы на вид, а поезда чисты и аккуратны. Имея денег в обрез, Миша без остановки ехал на юг и с радостью услышал, как немецкий говор сменился речью латинской, хоть и непонятной, а ласкавшей ухо. В Местре, зная, что очень близка Венеция, он жадно смотрел в окно, но видел только невеселый пейзаж. Зато видел красоту мелькнувшего озера Гарда, когда проезжал Дезензано. Рано утром приехал в Геную, где нужно было пересесть на местный поезд, и только вышел из вагона, как попал в объятия старых друзей и соратников, выехавших его встретить. Часом позже были уже в местечке на берегу моря, пили красное кислое вино и таким же закусывали виноградом. Пробовали рассказывать друг другу о приключившемся и испытанном за эти годы, — но ведь мудрено рассказать все в порядке, когда у каждого случилось свое, и невозможно слушать другого, не вставляя ежеминутно о себе. В сумбуре болтовни вспомнили, что Миша, конечно, утомлен дорогой и что пора спать. Перед сном вышли полюбоваться ровным светом звезд на небе и вспышками огоньков среди темной зелени земли: все было полно светлячками. И не нужно было убеждать беглого каторжанина, что он попал в рай: он и сам это чувствовал.

— Жаль только, что море сейчас беспокойно; в пене купаться можно, а плавать нельзя. Слышишь — как шумит?

— Но все-таки пойдем завтра на море.

— Завтра — конечно; а сейчас спать.



Его уложили на широкой постели, на мягких подушках, в комнате, потолок которой был расписан цветами и амурами. И когда он, потушив свет, закрыл глаза, — кровать легко поднялась на воздух и поплыла, покачиваясь, в неизвестном направлении и к неведомым берегам. Едва он успел улыбнуться, как все исчезло. Только под утро вдруг он оказался верхом на высоком голубом коне с белой гривой, несущемся в тумане; он не знал, нужно ли сдерживать коня или дать ему волю, — но конь сразу вонзился передними копытами в землю, и перед Мишей открылась пропасть. Он громко вскрикнул, проснулся — и с радостью увидел настойчивый луч солнца, сверливший ставни. А когда открыл окно — был ослеплен светом, красками и сияньем морской дали. Вряд ли все это могло быть действительностью!

В костюмах и купальных халатах они втроем сбежали вниз, прошли под мостом железной дороги и оказались на мягком песке, который к воде переходил в некрупный гравий. Пляж был вымыт и вылизан, вода и пена очень сильного прибоя заливались далеко и наносили мертвых медуз и какие-то обтесанные деревяшки.

Люди тут превращаются в детей: дразнят волну, обманывают ее злость и, быстро отбежав обратно, катятся в ее обессиленной пене; а когда вскакивают на ноги — обратная вода вымывает ямки под ступнями и щекочет кожу мелким бегущим песком.

— Неужели нельзя поплавать? Я отлично плаваю.

— Не стоит, Миша, успеется; видишь, какие волны иногда набегают.

Отойдя на сухой песок, грелись и сохли, распластавшись медузами и чувствуя свет сквозь закрытые веки. Затем снова шли дразнить набегавшую высокую волну;

Вышло все просто. Миша, пьяный от солнца и соленой пыли, крикнул им:

— А ну вас, разве вы понимаете, что это такое. Ведь это до сумасшествия прекрасно!

И, как опытный пловец, знакомый с шутками волны, бросился не грудью, а головой в ее подножье. Его ударило вихрем камней, — но сильными взмахами рук он выплыл и оказался за чертой прибоя. Повернувшись к берегу — увидал друзей, которые махали ему руками и кричали, но крика не было слышно. Он знал, что они испугались — и уже жалел о своем дерзкой поступке. Но здесь, среди пены, держаться было можно: бросало, качало, подымало щепочкой — и прекрасно, и, конечно, страшно. Все-таки лучше было не делать этого!

Догадался переждать и пропустить несколько высоких волн: но все-таки лучше поторопиться на берег. Когда подумал об опасности даже и для хорошего пловца, то сказал себе отчетливо: «этого не может быть». И ему, действительно, казалось, что этого сегодня не может быть, что так на свете не бывает.

Он осторожно подплыл ближе к черте прибоя и на пути махнул в воздухе рукой, чтобы они знали, что Миша не потерялся и сумеет выйти на берег. Затем, падая и подымаясь к небу так, что щемило сердце, бросил вперед ноги, зная, что так делает опытный пловец. Первой волной его поднесло к берегу, ноги коснулись пляжа — и теперь пена должна вынести его невредимым. Но тут он не совладал с силой обратной воды, очутился как бы под аркой, снова пробил ее головой — и вдруг увидел себя высоко над землей, верхом на голубом коне с седой гривой, несущемся в пропасть. Подбежав к пропасти, голубой конь с разбега уперся копытами, и всадник вылетел из седла. Он взмахнул руками — и кипящая волна бросила его плашмя вниз, на оголившийся пляж, мгновенно придавив многопудовой тяжестью. В тот миг он не успел подумать о том, что так не бывает, потому что так не должно быть, потому что так слишком жестоко.

Те, кто знали близко Мишу, лучше рассказали бы о его побеге и гибели. И еще они рассказали бы, как двое его товарищей, женщина и мужчина, бросились спасти его тело из волн

и едва не погибли сами. Я знаю их имена, и я прошу их извинить меня за неточный мой рассказ — как бы совсем о другом. Так оно и есть — я писал не о нем, а о странной судьбе человека.

Того, настоящего Мишу похоронили тут же, в итальянском местечке на восточной Ривьере, на маленьком кладбище, которое видно с дороги неподалеку от станции. Оно красиво и тенисто, но слишком уж непохоже на наши ненарядные, мирные, заросшие деревьями, травой и простыми луговыми цветами. Но все равно где спать вечным сном — только бы под небом, а не в склепе.

## ГОЛУБОЙ ГРОТ

Смерть — событие настолько серьезное и простое, что нехорошо, как-то не приличествует ему происходить в обстановке слишком красивой, похожей на цветную открытку, да еще самую шаблонную: с лазурным небом, скалами, Мадонной и итальянским лодочником. Было очень приятно избежать такой участи, тем более что это произошло за три года до мировой войны, когда жизнь расценивалась выше нынешнего, и, кроме того, было рано отправляться в такое далекое путешествие.

Основным делением людей я считаю деление их на северян и южан. Не буду характеризовать каждую группу, потому что, в качестве и природного и убежденного северянина, окажусь, конечно, пристрастным. Нам, северянам, море чуждо, мы любим реки и озера, и не лазурного, а стального цвета. Мы любим ель и пихту, а не оливы и фиговое дерево, пальму за дерево не считаем и, отдавая должное итальянской пинии, все-таки предпочитаем ей кедр. Когда же дело доходит до цветов, тут начинается не борьба, а упорное взаимное непонимание. Говоря о летней флоре, мы признаем, конечно, южную пышность цветения, исключительное богатство красок, беспокойную яркость, соблазн персиков, абрикосов, винограда. Но всему этому мы противопологаем свою весну, ни с чем не сравнимую и югу неведомую, до-о-лгую, медлительную, работающую не грубыми и спешными мазками маляра, а сложным подбором кистей и кисточек художника, отделяющего с тщательностью и ве-

ликим искусством каждую мелочь неподражаемой своей картины. И мы имеем смелость самой пышной южной розе противопоставить крошечный лесной майник, белоснежный столбик такого нежного и тонкого аромата, что роза вянет и остаются только шипы. Тогда мы выступаем в поход с тысячами и тьмами очаровательных детей поля и леса, которых никто не воспитывал на особых грядках и которые желали бы посмотреть, кто и что может с ними сравниться. И, наконец, мы захлопываем книгу нашей северной природы перед носом ошарашенного и в прах поверженного юга, воистину богатого только колючками (а у нас — мягкость и привет: бросайся лицом в траву или на перину мхов!).

При таком пристрастии к острию магнитной стрелки я очень охотно отказался от южной рамки для своего последнего часа. Но память о событии храню в том необычайном голубом освещении, какое могли видеть только очень немногие, — так, по крайней мере, уверил меня лодочник Лоренцо, местный житель, который и сам столько раз в жизни сподобился — одновременно с нами — целиком раствориться в лазури.

А дальше — почти страничка из Бедекера, и мне будет стоить труда бороться с ее казенной красотью: Италия, Капри, Голубой грот.

Я пишу «Лоренцо», а сам не уверен, что именно так звали человека, которому я в большой мере, а мой приятель целиком обязаны жизнью. Я забыл его имя и, в наказание за преступность памяти, в этом сознаюсь. Мы преступно забываем многое, что должно быть свято, и заботливо храним в памяти ничтожное. Впрочем, на Лоренцо отчасти падает вина за то, что могло произойти, — хотя он искупил ее дальнейшим. На фотографии мы все трое сняты во взаимном объятии; итальянский лодочник, русский эмигрант и приезжий московский известный педагог.

Мы не могли дольше оставаться на Капри. Моего друга призывали домой, в Москву, дела, меня посылала московская

газета на албанское восстание (еще до всяких Зогу и других фабрикованных королей). Я успел показать приятелю все каприйские достопримечательности, для осмотра которых не требовалось садиться в лодку. Знаменитые фаральоны мы осмотрели при закатном освещении. Тогда же любовались естественной аркой, замечательной, по-моему, тем, что это — единственная арка, под которой не прошел никакой воинственный победитель (будь им земля легка!). Мы выкупались у берега на Ана-Капри и вернулись наверх знакомыми мне тропинками. На необходимый вопрос: «а где живет Горький?» — я указал пальцем дом на склоне, ничем другим не замечательный. Вечером Горький был, конечно, в кинематографе. Мы побывали на Монте Саларо и других возвышенных точках, откуда полагается смотреть на восходы и на закаты. Мы молчали, проходя вечером между апельсиновыми садами в полном цвету... Все те же искусники протанцевали перед нами тарантеллу — мне кажется, что и сейчас ее исполняют они же, хотя по счету годов им пора быть стариками; но на Капри ничто не меняется веками. Может ли быть, чтобы умер знаменитый красавец, румяный седобородый Франческо, изображенный на тысяче портретов и увековеченный миллионами «кодаков»? Кораллы были куплены, у не помню которой по счету дочери каприйской торговки, прославившейся производством изумительных красавиц, каких я нигде больше не встречал. Мы запили «фрутта ди марэ» бледным каприйским белым вином. Одним словом — выполнили обязательную программу — за исключением поездки в Голубой грот.

Но море было в те дни беспокойным, и морякам воспрещено покидать на лодках маленький порт: даже небольшое волнение там быстро переходит в настоящую бурю, и у скалистых берегов мало мест, где можно укрыться и высадиться. Ни один моряк не согласился бы в такую погоду покатать по морю англичан или других иностранцев. Но мы были не иностранцами, а русскими, — огромная разница! Русские жили

на Капри годами и имели официального представителя — Горького; русские были известны бедностью, расточительностью, полуночиством и природным неблагоразумием. И когда я попросил Лоренцо показать нам Голубой грот, он отрицательно помахал пальцем, сказал, что это запрещено и совершенно импоссибиле, и пошел приготовить лодку. В лодку он догадался положить брезент, чтобы предохранить наши костюмы от водяных брызг, потому что был очень заботлив и предусмотрителен. Под брезентом он и вывез нас из порта, — а дальше мы уже свободно качались на волнах, любуясь берегами; было солнечно и по-новому красиво: в бурную погоду Капри кажется скорее крепостью, чем «островом любви».

Единственное, что посоветовал нам Лоренцо, — оставить дома часы и бумажники и не брать фотографического аппарата. Впрочем, он обещал, что мы доедем и вернемся сухими, как провяленная на солнце фи́га; другой моряк нас, конечно, вымочил бы до нитки, но другой бы нас и не повез, а Лоренцо никого и ничего не боится. Ему нельзя было не поверить: он был молод, широкоплеч, весел и силен, как буйвол; мы убедились в этом уже после нашего приключения, когда он обоих нас посадил к себе на плечи и пробежал с нами несколько шагов — в припадке радости и дружеских чувств.

До грота ехали с полчаса по волнам крутым, но благоприятным; мы улыбались и уверяли друг друга, что не знаем морской болезни. Островок Капри также качался на волнах, а горизонт даже нырял. За поворотом нас ждал сильный ветер, на который и Лоренцо, по-видимому, не рассчитывал. Он даже помрачнел, вернее, посерьезнел, но дело шло о самолюбии, притом мы не выказали себя малодушными. У самого въезда в грот пришлось долго выжидать, так как отверстие его было почти все время покрыто волнами и только изредка подмигивало нам узкой щелью. Мы уже знали, конечно, что мы сумасшедшие, но какой же русский человек тех времен сознался бы в этом перед иностранцем! Лоренцо велел

нам улечься на дно лодки под брезент и ждать, головы не поднимая, иначе мы можем недосчитаться черепов. В какой-то момент Лоренцо точно рассчитав набег и отлив частых волн, несколькими чудовищными взмахами весел подвел лодку к щели, ухватился за прикованную к каменной входной воронке цепь и пулей влетел в отверстие.

Во внезапно наступившей тишине нам открылся совершенно иной, малоправдоподобный мир. Я бывал в Голубом гроте не раз, — но таким увидал его впервые — в высокую воду, когда не проникал в него ни единый луч внешнего света: входное отверстие за нами закрылось водой, поднявшейся выше щели. Свет лазури был действительно изумителен, — мы в ней утонули.

Мы проделали, конечно, все, что полагается: опускали руку в воду, разбрызгивали веслом драгоценные камни, смотрели друг на друга — на странную синеву лиц и изменившуюся окраску глаз, непременно хотели раздеться и прыгнуть в воду. Но Лоренцо воспротивился. Сначала он был говорлив и неистово хвастался: кто другой мог бы показать нам лазоревый грот в такую погоду? Лоренцо — да, конечно, ну а еще кто? Но уже скоро он стал нас торопить, говоря, что море может разыгаться, а тогда придется здесь заночевать, а то и остаться несколько дней. Вообще он растревожился, и нам пришлось снова улечься под брезентом.

Помню, что ждать нам пришлось довольно долго. У выхода лодку поднимало и опускало, Лоренцо держался за цепь, всматриваясь в щель, когда она на секунду открывалась: он ждал отхода длинной волны. Затем опять был сильный толчок вперед, затем внезапный холод и тяга вглубь, где уже не было света. И теперь уже каждый думал только о себе — если было время думать.

Что думал я — я помню очень точно и отчетливо, но рассказать могу только бессильными словами. Вертясь и уходя вглубь, я думал, вот это и есть конец всему, очень простой и



очень грустный. Мне казалось, что я спокойно и печально улыбаюсь — вот и все! Потом какой-то вихрь вытолкнул меня к свету, заработали руки, и я, отбросив с глаз прилипшие волосы, увидел летящую ко мне и на лету растущую фигуру желтой женщиной в линялом плаще; подлетев, она с той же быстротой стала удаляться. Рядом со мной вынырнула голова моего друга, и я услышал, как он спрашивает: «кто это?». — Значит, он также видит женщину.

И вдруг вернулась жизнь — и я вцепился в нее судорожно и страстно. С трудом работая ногами, отяжелевшими от башмаков, почти парализованными руками я делал взмахи по направлению к далеко отплывшей, вверх дном перевернувшейся лодке. Ее киль был скользок, но я твердо знал — по практике долгой моей приречной камской жизни, — что лодку нужно перевернуть, чтобы держаться за ее борта. Хватило сил сделать это, — и я обрадовался спокойствию, которое тогда же ощутил: теперь есть шанс остаться жить. Женщина с желтым лицом продолжала подлетать и удаляться, но я уже знал, что это — статуэтка Мадонны над входом в грот, к которой подносят меня волны. Над нами высилась отвесная скала такой высоты, что двое ребятишек, спокойно глядевших на нас с ее откоса, казались мушками. Затем я увидел бледную маску — лицо моего друга с закрытыми глазами, со странным спокойствием лежавшее на воде. У самого входа в грот, на каменной приступочке с перилами, единственной спасительной на протяжении всех видимых скал, выпрямилась фигура Лоренцо, перекрестилась, пустила крепкое ругательство и вниз головой ринулась в воду.

Потом было точное выполнение мгновенно и молчаливо выработанной программы. Не в силах двинуть руками — вероятно, мешали облепившие рукава, — я ударами ног по воде удерживал лодку, которую огромными волнами относило в море. Подплыло морское чудовище,хватило лодку за нос одной рукой, а другой стало пригребаться к плававшей в

морской пене спокойно маске. Затем я повис на одном борту, пока то же чудовище погружало через другой борт очнувшегося моего приятеля. Его усадили в лодку, борта которой скрылись под водой, — и тот же живой мотор, блестящая черная рука Лоренцо, стала подводить груз к каменному уступу и легким перилам, то взлетающим к небу, то низвергавшимся в пропасть. Взлетев несколько раз, я увидел на уступе тело, которое втаскивали на берег; несколько позже — не знаю, как это случилось — я сам карабкался по чуть не отвесной тропинке, иногда теряя сознание. Но через четверть часа усилий в тело хлынула волна теплоты, и я знал, что мы спасены.

Еще была постель, врач, чай пополам с коньяком, счастливая рожа Лоренцо, дружеская фотография, суд над Лоренцо, наша спокойная свидетельская ложь (море было спокойно, а лодку опрокинули мы неосторожным движением»), оправдание, пир горой, благодарственное письмо, золотые часы, отъезд в мирную Москву и восставшую Албанию.

И были еще новые волны, не менее грозные, носившие лодку моей жизни. Мой друг оказался несчастнее или счастливее, уклонившись от долгого плаванья: приключение в Голубом гроте надорвало его слабое и уже не молодое сердце, и, двумя годами позже, он растворился в иной, нами не виденной лазури. Надеюсь, что Лоренцо жив и счастлив.

## УЛЫБКИ ЗЕМЛИ

Когда в Париже было землетрясение, в саду под Парижем происходило следующее: от ветра шатались деревья, упало несколько сухих сучьев, и крот, прокладывая свой туннель, покалебал земную поверхность и опрокинул цветочную банку. Кошки охотились за птицами, рогатого скота нет. В остальном благополучно.

Но одно сознание возможности землетрясений в центральной Франции приводит меня в паническое состояние, потому что страшнее улыбки земли нет ничего на свете. От всякого другого несчастья можно защититься или хотя бы защищаться; даже на артиллерийский обстрел можно ответить выстрелом из детского пробочного пистолета — и создать себе иллюзию обороны; когда же под ногами колеблется почва — защиты нет, и самоувереннейший человек перестает быть «царем природы».

Все было превосходно. Я жил в прекрасном городе прекрасной и свободнейшей страны, какой была когда-то Италия, на шестом этаже нового дома, выросшего на пустыре близ Ватиканской стены. Воздух, солнце и молодость. Позавтракав (паста э чече, фритто мисто, фрутта э формаджо), я снял башмаки и прилег отдохнуть, так как в жаркий час было невозможно ни писать, ни гулять: по улицам Рима ходят в знойные дни только собаки и англичане. Мой квартирный

хозяин, сор Карло, читал на кухне газету «Мессаджеро», хозяйка обсуждала дела с соседками на общей лестнице. Земля катилась в пространствах с установленной скоростью, не поспевая за моими мечтами, значительно ее опережавшими и не всегда согласованными с законами движения. В какой-то момент диван заколебался, закачались на стенах картины, огромный дом заскрипел зубами, и я, очнувшись, необычайными шагами пробежал две комнаты к выходной двери. На секунду меня задержал спокойный вид хозяина, взглянувшего на меня из кухни поверх очков и уверенно сказавшего: «фаньенте, сор адвокато, пока папа в Риме — бояться нечего». Сор Карло был ровно втрое старше меня и уже в отставке, но мне еще было о чем жалеть, и лестницу я одолел прыжками через четыре ступени.

У ворот на улице уже толпились люди, жестикулируя и говоря каждый свое и все одно и то же. Женщины ахали и зывали к Мадонне, мужчины солидничали успокоительными мнениями и пытались закурить папиросы. Ко мне подошел один из почтенных соседей и ласково заверил, что паника напрасна, что это даже не «терремото», а только «терремотино», и притом «сондульторио» (волнообразное), не стоящее внимания. Мы, римляне, таких пустыков не боимся, хотя, понятно, что синьор адвокато как иностранец выбежал на улицу в одних носках. Отрезвленный его спокойствием, я дружески заметил римлянину, что он сделает неплохо, застегнув пиджак, так как забыл, по-видимому, надеть рубашку. Затем мы, как были, зашли в кабачок полечиться аперитивом и побеседовать о разнице климатов наших стран, о гуляющих по улицам Москвы белых медведях и о величии Данте Алигьери, которого я слегка прихлопнул Львом Толстым. Однако в кабачке мы держались ближе к двери, у которой толпились и все остальные, предоставляя хозяину погибать за стойкой. Домой мы вернулись веселыми, подсмеиваясь над трусливыми женщинами; обидно, что я был в светлых носках, обращавших внимание.

Это было в первый день знаменитого мессинского землетрясения, завалившего 80 тысяч человек; в Риме никаких несчастий не было, только, как полагается, треснуло несколько стен, остановились стенные часы, хозяйкам падали кастрюли на голову, и все население играло в недельную государственную лотерею на цифры, предписанные на такой случай справочниками. «Налог на дураков» дал на этот раз казне немалую прибыль.

Ужас мессинского землетрясения много раз описан — и город гниющих трупов, и подвиги русских моряков, и образы выходцев с того света, сохранивших на всю жизнь испуг в глазах. Не знаю, могут ли даже ужасы войны сравниться с тем, что было в Мессине. Когда земля хочет, она может превзойти бессмысленной жестокостью даже людскую выдумку. Прошло тридцать лет, и Мессина, не раз в веках разрушенная до основания, опять отстроена с тою же и большей хрупкостью, — люди забывчивы!

Несколькими годами позже, с итальянским приятелем, я посетил провинцию Аbruццы — ряд маленьких городков, замечательных остатками стариннейшей архитектуры, как и остатками местных обычаев, типами населения, говорами, преданиями, красотой горных мест, оригинальностью природы. На пути в городок Кокулло, где был традиционный праздник св. Доменико, врачевателя от змеиных укусов и зубной боли, — мы переночевали в сельском домике знакомого учителя, предложившего нам свою обширную семейную постель. Со мной был фотографический аппарат, и я сейчас перелистываю альбом — горные края, живописные церковки, религиозные процессии со статуей святого, обвешенной живыми змеями, как и шеи участников процессий; у зеленых змеек вырывали ядовитый зуб, а после их убивали за городской чертой. Изумительны костюмы женщин-крестьянок, особенно пришедших из дальних коммун, населенных албанскими выходцами. Из ближних сел иные приползали, по данному обету, на коленях,

чтобы в местном храме ухватиться зубами за веревку колокола и позвонить — верное исцеление от разных недугов. Рынок вещей и вещиц местной работы, гадалки, сидящие на столах под огромными зонтами, съезд и сход нищих-уродцев со всей Италии. Поездка, полная очарований!

В Риме я жил только в небольшом домике новой части города, окруженном садом. Уют, уединенность, полное отсутствие шума и бессмысленно блуждающих туристов, этой римской чумы. Были великолепны ночи, и часто, при растворенных окнах, я занимался до света, так как дни были жаркими. И вот, однажды, крепко заснув после ночной работы, я оказался на палубе корабля, который мотало волнами. Налетел такой шквал, что меня сбросило с постели, а поднявшись с полу, я не мог устоять на ногах. Я уже знал, конечно, что это — землетрясение, но меня беспокоила судьба одной пропавшей туфли. Всего неприятнее был подземный гул; стены в маленьком доме не скрежетали так ужасно, как было на шестом этаже. Нашарив вторую туфлю, я пристроился в оконной амбразуре, — совершенно невольное движение, вызванное рассказами о том, как в полуразрушенных домах люди спасались под арками. С улицы неслись крики выбежавших из домов соседей.

Считается опасным только первый толчок; если он не разрушил дома, следующие, более слабые, уже не опасны. Может быть, это и не так, но хватаешься за каждое утешительное соображение. В эту ночь римское население спало, или, вернее, не спало под открытым небом, преимущественно на площадях. Наиболее напуганные проводили вне домов несколько ночей, днем с опаской забегая домой по делам хозяйственным. Превосходно торговали аптеки, прилавки которых были уставлены пузырьками с касторовым маслом. Слабительное вообще излюбленное средство итальянцев от всех болезней; но особенно оно в ходу при землетрясениях, — не пытаюсь объяснить причину.

На этот раз разрушение постигло ряд местечек в Аbruццaх, — колебания почвы в Риме были слабым отражением. Погибли старинные церковки, которыми мы недавно любовались; были совершенно разрушены городки, через которые мы проезжали. После, уже из письма, я узнал, что любезный итальянский учитель, предоставивший мне и моему спутнику свою обширную семейную кровать, был задавлен на этой кровати упавшей стеной.

В течение двух недель я не мог спать, хотя только в первые дни было несколько незначительных, едва ощутимых толчков. Но стоило закрыть глаза, чтобы постель немедленно начала колебаться. Заснув на минуту, я просыпался и вскакивал в ужасе. В своей жизни я испытал достаточно всяких передраг и много раз видел смерть лицом к лицу. Выработалось не то чтобы мужественное отношение к такого рода случаям, а известная привычка сохранять внешнее спокойствие. Но привыкнуть к землетрясению, по-моему, невозможно, — разве что верить во всемогущество римского папы и жить от него по соседству. Я уже не лежал больше в постели, а пробовал спать сидя, пристроив под спину гору подушек. Хуже всего было не то, что не спишь, а что боишься заснуть. И боялся я не гибели, а испуга, унижительного ощущения, с которым был бессилён бороться. В Мессине, при раскопках, был найден человек, ущемленный за ногу балками; он более недели провисел вниз головой над заваленной мусором комнатой нижнего этажа, где лежали трупы его убитых детей. Он остался жив, — и именно в этом величайший ужас. Другой человек несколько дней прожил полузадавленным в постели с задавленной насмерть женой. Это страшнее войны! Там какая-то, пусть ничтожная и презренная, тень смысла; здесь нет и этого.

Совершенно измученный, я решил уехать, чтобы отдохнуть на восточной Ривьере, в знакомом местечке, в крошечном домике, который я часто нанимал и для отдыха и для спокойной работы. Должен сказать, что никогда раньше я не испы-

тывал такого огромного удовольствия и такого безмятежного состояния, так не улыбалось действительно лазурное море, не были так кудрявы и благодушны оливы, так радушны и любезны мои давние знакомые — итальянские обыватели маленького местечка, — и синьора Рокка, владелица домика, и лавочница синьора Кармелла, и начальник станции, страдавший от толщины, и доктор-социалист, позже ставший фашистом, чтобы не потерять практики в соседнем городке. Я блаженствовал днем, прогулялся по течению горного ручья, полежал на пляже, перебирая цветные камушки, полакомился в кабачке превосходным блюдом, приправленным всеми запахами, с преобладанием чесночного, рано лег спать, немедленно заснул, выпался за две римских тревожных недели и открыл глаза, когда в окно заглянул первый солнечный луч. Это было ощущение полнейшего животного счастья. Над моей головой был потолок сводом, разрисованный красочными узорами: голубая рамка, зеленые виноградные листья и розовые цветы небывалой породы. И когда я лениво потянулся, не зная, вставать ли, или еще понежиться, — постель заколебалась и висячая лампа, прикрепленная в самый центр розового венчика, принялась раскачиваться.

Я сразу понял, что мне необычайно повезло и что это — легкое землетрясение, что случается на Ривьере исключительно редко. Но в человеческой природе есть немало странностей. Я понял, но продолжал лежать и даже улыбаться. Невозможно, чтобы розовые лепесточки осыпались на мою голову тяжелыми камнями! Кроме того, все это приключение показалось мне необычайно смешным: убежать от землетрясения — и угодить на другое. Домик был так приветлив, а за его стенами теснилось и звало выйти так много прекрасных картин, что ни о каких ужасах не вспоминалось, и улыбка земной коры теперь казалась лишь шуткой: «а ну, еще тебя попугаю!». Меня окружал большой сад, никаких криков не было слышно, — их и не было, так как крестьяне спят крепко и не



волнуются из-за пустяков, и стены здесь не скрежещут, а горы стоят прочно. Птиц на Ривьере почти нет, но уже начали кричать дневные цикады, приветствуя солнце. Висячая лампа скоро успокоилась, и я решил проспать еще часок, потому что спешить некуда и делать нечего: я приехал отдыхать, а не работать.

Не приснилось ли мне это новое землетрясение? Его почти никто в местечке не заметил, и только разыгравшееся внезапно море свидетельствовало, что земля не была спокойной; но и оно утихло к полудню. И только на другой день я прочитал в генуэзской газете, что в ранний утренний час на восточной Ривьере ощущались легкие отраженные колебания почвы, не имевшие последствий. Аптеки в нашем местечке не было — не было и лучшего показателя. Доктор уверял, что он также заметил толчок и даже проснулся, — но доктор, как я сказал, позже обнаружил свою нестойкость и способность к отклонениям. Впрочем, я вообще был далек от намерения производить расследование. Уже созревал виноград. Манил огромный и пустой пляж. Лавочница Кармелла получила из Генуи целый окорок великолепной копченой ветчины. Вообще — думать и беспокоиться не стоило, а главное — в то время стоило жить. И я прожил в знакомом местечке несколько прекрасных и легких дней, о которых радостно вспомнить.

## РИМЛЯНИН И ВАРВАР

Двадцать пять лет тому назад, живя в Риме эмигрантом, я писал письма в «Русские ведомости», газету тем замечательную, что ее сотрудники считались общественным достоянием и как бы дипломатическими представителями российской интеллигенции. К ним полагалось обращаться с любыми вопросами и просьбами, и ни один постоянный читатель газеты не сомневался, что получит обстоятельный ответ, и просьба его, по мере возможности, будет удовлетворена. Читатель был членом семьи «Русских ведомостей», и предполагалось, что подписчиком был его отец и будет его сын; газета называлась «профессорской» или «общественным университетом», звание ее постоянного сотрудника — почетным и обязывающим, и приезжий за границу читатель считал естественным в каждой стране сделать визит ее корреспонденту. В своем роде «Русские ведомости» были явлением единственным и неповторимым, и их история не в полной мере изображена известным юбилейным сборником и вышедшей в Праге книгой В. А. Розенберга, одного из старых редакторов.

И вот однажды я получил письмо от незнакомого инженера из глухой русской провинции, где он, занятый строительством, обязался прожить два-три года. Видно было по письму, что он — человек очень образованный, как тогда говорили — «европеец», не раз бывал за границей, любил искусство и, в част-

ности, отдавал дань увлечению тогдашней Италией. Он говорил и писал по-итальянски, но недостаточно хорошо; а так как он совершенно не стеснялся в средствах, то задумал выписать к себе в Россию какого-нибудь культурного итальянца, непременно римлянина (римский выговор очень красив), с которым он мог бы разговаривать и приятельствовать. Он обеспечивал ему проезд, квартиру, стол и порядочное содержание в течение, по крайней мере, года. Предполагалось, что я рекомендую ему студента, который хотел бы побывать в России без затрат, поучиться в свою очередь языку, может быть, поправить здоровье и вообще пожить не без пользы и в свое удовольствие, а кстати и подкопить денег, так как расходов ему никаких не предстояло. Если же они сойдутся характерами, и итальянец проживет два года, то после они вместе поедут и в Италию, где инженер предполагал отдохнуть от работы и от скуки русской провинции.

Задача была не из легких, — найти человека свободного, с достаточным образованием, хорошего характера, готового уехать в страну снегов и гуляющих по улицам белых медведей: так итальянцы представляли себе Россию. Я искал долго и напрасно, так как все немногочисленные смельчаки-кандидаты оказывались на проверку не совсем подходящими: или очень уж некультурными на русскую мерку, несмотря на свое университетское образование, или не чистыми римлянинами, что сразу выдавалось их произношением; а последнее условие было категорическим. Поэтому я ответил инженеру, что человека вполне по его вкусу указать не могу, нет такого среди готовых ехать в Россию. Есть у меня на примете один художник, человек вполне культурный, умница, отличный собеседник, свободный, как ветер, коренной римлянин с божественным выговором, знающий и римский диалект, наизусть читающий сонеты Чезаре Паскарелла и его «Открытие Америки», но невероятный чудак и, к сожалению, большой любитель выпить. Он называет себя анархистом, но политикой не занимается, хотя

раз с ним случилось в кафе Араньо, что он дал в ухо соседу по столику за слишком реакционные, по его мнению, речи. Вообще же человек мирный и уживчивый, если его не задевать, и если он трезв. Однако рекомендовать его я никак не могу и ответственности за него не принимаю.

В ответ на это письмо я получил денежный перевод и просьбу немедленно снарядить и прислать художника, который очень понравился инженеру по моему описанию. Что он иногда пьет — не большая беда: в провинциальной глуши все пьют, и пьют скотски, как ни один итальянец не способен. Притом сам он вина тут не найдет, купить негде, а не станет же он, привыкший к красному кьянти и белому римскому «треббьяно бьянко шептиссимо» — янтарно-солнечному напитку богов — хлестать русскую монопольку! А что он большой чудак — с чудачком веселее, лишь бы был компанейский человек и не тупица.

Я передал моему Леонардо (имя меняю) приглашение и половину присланных денег на экипировку, взяв с него обещание выехать через неделю, не позже. Ровно неделю спустя мы встретились в кафе Араньо, где он в прежнем, весьма потрепанном и легкомысленном костюме пил кофе со свирепым итальянским ликером «стрега» («ведьма»), зеленым раствором смолы. Он спокойно сообщил мне, что если до сих пор не уехал, то только потому, что случайно истратил деньги и не мог завести себе приличный костюм и купить чемодан. Когда человек расстается с родным городом и с лучшими друзьями, расходов всегда много!

Из кафе мы пошли по магазинам, и так как инженер был очень щедр, то оставшихся у меня денег хватило и на экипировку, и на дорогу от Рима до места назначения, а на карманные путевые расходы Леонардо я дал ему займы до счастливого возвращения. Разумеется, я сам купил ему железнодорожный билет у Кука, а деньги вручил только в вагоне. Мы распростились сердечно, и я поручил ему низко поклониться от меня стране, куда мне самому доступа не было. В конце концов он был славный парень, а маленькие недостатки бывают у всякого.

Первое письмо пришло от Леонардо из Петербурга. Город ему очень нравится, и люди неплохие. Но скверно то, что денег у него не осталось ни чентезима, потому что все тут чертовски дорого; поехал бы дальше, если бы не задолжал в отеле. Что касается водки, то сначала пил ее с отвращением: только истинные варвары могут пить такую дрянь не поперхнувшись! К концу недели, однако, привык. Билет потерял, адрес тоже. Начал писать картину: «Иль кавальеро ди бронзо», «Медный Всадник». То есть еще не приступил, а высмотрел в магазине отличное полотно и решил купить красок, да пока не на что. Хозяин отеля — истинный чарлатано и маскальцоне: обед дает, водку тоже, и с закуской, а денег не дает, как будто порядочный человек может обходиться без них в таком большом городе. Удалось занять только на табак. «В какую страну ты меня послал?»

Пришлось телеграфировать инженеру, который выкупил Леонардо и поручил петербургскому приятелю усадить его в поезд и доставить по назначению. Все устроилось благополучно, и скоро я получил от инженера благодарственное письмо. Он писал:

«Ваш Леонардо оказался очаровательным человеком, и мы сразу с ним сошлись. Как он говорит! Услыхать в таком захолустье настоящую, чудесную римскую речь, — вы понимаете, какой это для меня праздник! Здесь и по-русски-то говорят с вятским «цвякканьем», слушать тошно, а тут подлинный Рим! Вчера вечером он катал мне наизусть третью песню дантовского ада, — ну прямо мурашки по коже! — «Пер мэ си ва нелла читта доленте!» — А как начал из Паскарелла, — мне почудилось, что я брожу по затибрской стороне поблизости от табачной фабрики или сижу где-нибудь в кабачке порта Сан Паоло! Вы этого и не поймете, счастливый римский обыватель, вы эту музыку слышите ежедневно, а для меня — истинный праздник и наслаждение. Говорим мы с ним по целым дням, потому что он и на работу со мной ходит,

дома ему скучно. В полном восторге от наших лесов и от реки, через которую мы строим сейчас мост. И мои служащие, и все рабочие его очень полюбили и отлично понимают: он по-итальянски, они по-русски, а, главным образом, жеста-ми. Где он, там вокруг него кучка народу и хохот. А что до его основного недостатка, то думаю, что вы преувеличили его склонность. Водку пьет, но морщится и ругает русских варварами. Зато в полном восторге от рябчиков, которые тут у нас — самое обычное и дешевое блюдо. Очень оценил наш борщ, от крошки пришел в ужас и долго плевался. Но скучает по макаронам — здесь настоящих не найти — и особенно по пармезану и горгондзоле. Вообще же — искреннейше благодарю вас за то, что указали мне такого человека, о каком я и мечтал. Если он останется у меня дольше, я скоро буду говорить по-итальянски, как истинный «рромано дэ Ррома» и изучу все ругательные слов, употребительные в Вечном Городе».

Я был, конечно, очень рад, что угодил хорошему человеку, любителю Италии, а кстати помог Леонардо сытно пожить, побывать в нашей чудесной стране и надолго запастись впечатлениями, полезными художнику. Впрочем, давно его зная, я никогда не видал ни одной его картины и не вполне был убежден, что он обогатил красками хоть один холст. Он был художником, по преимуществу, в душе, анархистом в теории, а пьяницей реальным и последовательным. Это не мешало ему быть превосходным человеком.

Два летних месяца я провел в разъездах по Балканам, куда меня направили «Русские ведомости» посмотреть, поучиться и завязать нужные знакомства в предположении, что через год может вспыхнуть там война, и как это в действительности и случилось. Газета была мудрая и предусмотрительная, другой такой, повторяю, не было и не будет. Она ошиблась только в последний год существования, когда ошиблись все мудрые, а правыми оказались фантасты.

И вот опять навстречу поезду бежал Рим: полоса Тибра, акведуки, купол святого Петра, предместья, вокзал. Под высоким потолком кафе Араньо мелькали, как всегда, летучие мыши, перед входом толпились адвокаты без практики, мечтавшие стать депутатами, газетные мальчишки метались с пачками «Трибуны» и «Джорнале д-Италия», а на обычном месте, в углу большой залы, сидел в кругу приятелей и жестикулировал человек с нескладной бородой, отрощенной в лесах по течению реки Вятки, скандируя цветистую речь на великолепном римском языке. Увидав меня, он покинул свой столик и свою компанию, предоставив ей оплатить его кофе и его «стрегу».

— Когда, как и почему?

— Потому что я не рожден для Сибири!

— Разве ты был в Сибири?

— Это все равно. Вятка, Пьетробурго, Моска, — все одна Сибирь. Ты думаешь, что я могу зарыть мой талант в ваши снега?

— Какие же снега летом?

— Ты — варвар, и ты не можешь понять души латинской. Ты можешь жить в любой стране и чувствовать себя дома. Ты можешь пить пиво в Германии, пить пунш в Швеции и водку в России. Как они пьют, дио мио, как они там пьют! Мой инженер не пил, а мне, понимаешь, приходилось с утра пить этот варварский напиток. Я ему сказал: я больше не могу отравлять благородную римскую кровь такой гадостью! Отпустите меня домой, там меня ждет вино Фраскати! Он понял, хотя и варвар, и отправил меня первым классом. Я приехал в Москву. Ты понимаешь, что я художник и должен видеть многое. Я видел ваш Кремлино и возмущен его безобразием. Но мне пришлось ждать, пока он пришлет мне денег на дорогу до Рима. Потом я поехал кончать мою картину: «Иль кавальеро ди бронзо». На эту картину я истратил все деньги, и мне опять пришлось ему телеграфировать. В третий раз он прислал мне в Берлин, потому что не мог же я остаться у немцев

и питаться сосисками и пивом. Немцы — истинные варвары и ничего не понимают в искусстве. Когда я оказался, наконец, на итальянской границе, я сказал себе: довольно! Ты не можешь себе представить, что значит вернуться на родину; вы, варвары, этого не знаете. В Орвьетто я купил на вокзале три фьяски — и мне не хватило до Рима. А как я оказался дома на собственной кровати — этого я тебе сказать не могу, не помню. Одним словом — экко ми ква! Говорю тебе: я не создан для вашей Сибири! Должен все же сказать, что твой варвар-инженер очень порядочный человек! Я научил его всем ругательствам, но он мне сказал, что у русских в сто раз больше. Вот тогда-то, собственно, я обиделся и уехал.

Тогда же я получил письмо от инженера. Он писал:

«Еще раз благодарю вас за Леонардо, хотя мне пришлось отпустить его, так как он безмерно скучал по Риму. Первую неделю мы говорили с ним об искусстве. Вторую он читал мне Данте, Леопарди и Кардуччи. Дальше он только пил и нес вздор на волшебном римском языке, который я слушал, как лучшую музыку. Это именно то, чего я хотел и чего мне недоставало в здешней глуши. Я провожал его, как родного и близкого человека, с тем чувством, с каким, уезжая в последний раз из Рима, бросил сольдо в воду фонтана Треви. Передайте ему от меня самый сердечный привет!»

Я передал, и Леонардо принял привет из «Сибири» как должное и заслуженное.



## КАШТАНОВОЕ МОРЕ

Потому ли, что передо мной выгоревшее от бездорожья поле, потому ли, что нет горизонта, и долго еще не будет, — я вспоминаю каштановые леса Тосканы и ломаную линию апеннинских Альп.

Линия очертила на небе фигуру лежащего человека — голова на юге, ноги на севере, руки сложены на груди покойно. Человек занял весь горизонт, и эту горную цепь местные жители так и называют — Человеком. По утрам, когда воздух прозрачен, а солнце еще не вышло из-за гор, можно видеть и глаз Человека; говорят, что время и ветры просверлили большую гору, — но издали мы видим не гору, а только надбровную дугу в покое лежащего Человека.

Путь к Человеку многодневен и труден; но если бы и решиться пойти к нему на поклон — он раньше исчезнет, рассыпавшись горными вершинами, скатами, долинами и каштановыми лесами: не узнать, что было грудью, что казалось сложенными руками, что пологом, закрывшим ноги. Между бровью и подбородком — сколько часов пути по звериным тропам и высохшим руслам горных ручьев? Никто этого не знает.

Мы жили в небольшом горном селенье, как бы на сером острове среди каштанового моря. Дом припаялся к дому, улица сбегала лесенкой, и весь островок увенчивала прекрасная пло-

щадь, на которой уже не первый век высился ливанский кедр. Было в селенье все, что считается нужным для счастья людского: старый храм, замок, почта, трактир, муниципия и лавочка, где продавались туфли, копченая колбаса, керосин и открытки с видами.

Однажды на площади выстроили кафедру и украсили ее трехцветными флагами. В воскресенье, напившись кофе из больших чашек и прослушав мессу, все мы, местное население, высыпали толпой на площадь, и тогда, дважды оступившись на шаткой лесенке, взошел на кафедру толстый мужчина с большой окладистой бородой, в пиджаке, мягкой рубашке и большом рыжеватом галстуке, потому что он был кандидатом республиканской партии. Сам он был нездешний и приехал на автомобиле из Лукки.

Попробовав, прочны ли доски кафедры, он сразу замахал руками и стал говорить — а мы слушали. Он: знал, что наше селенье клерикальное и монархическое, а потому он доказывал нам, что республиканская партия не против монархии, а, скорее, напротив, за нее, раз монарх хороший. Таким образом, нет никаких препятствий выбрать его, тем более что это для нас очень выгодно; если же выбрать его противника, монархиста, человека хотя и богатого, но отвратительного по нравственным качествам, то это будет для нас прямо гибелью. Мы не знали ни его, ни его противника и потому внимательно слушали, покуривая и сплевывая на сторону. Он нас очень хвалил, называя лучшими гражданами Италии, и вытирал лоб и губы клетчатым платком.

Тут же на площади был кабачок, около которого шумела толпа. В кабачке два человека раздавали какие-то бумажки с обязательством выкупить их по пяти лир за каждую, если на выборах пройдет противник говорящего с кафедры. И вообще они говорили, что в наших интересах выбрать монархиста, потому что он родом из нашего селенья, хотя и жил долго в Америке, где составил капитал. Главное дело — никому не будет

отказа в мелком кредите, а мост через наш ручей он поправит на свой счет сейчас же после выборов.

Мы покуривали, совали в карман бумажки и слушали, что говорил адвокат из Лукки и что сулили агенты другого кандидата. Адвокат из Лукки, надорвав голос, указывал пальцем на кабачок и заклинал нас не поддаваться на жульничество и не верить ласкам и обещаниям. Республиканская партия такая мощная, что в два счета построит нам самый отличный мост и проведет воду в дома, что очень удобно. И вообще приятно будет увидеть, как вскоре после выборов селенье наше расцветет и начнет благоденствовать. И речь свою он закончил восклицанием: «Да здравствует Италия, да здравствует республика, да здравствует монархия». Спутники кандидата захлопали в ладоши, очень его одобряя, как человека лояльного и беспристрастного. Мы расступились и проводили его глазами до автомобиля; а агенты, выйдя из кабачка, кричали ему вслед: «имброльоне», т. е. жулик. Сами они, кроме бумажек, раздавали и наличными, когда видели, что избиратель почтенный, не обманет.

После мы читали, что республиканец провалился, а избрание монархиста было опротестовано за то, что слишком уж открыто раздавались деньги.

Все это происходило на площади, которая с одной стороны оканчивалась обрывом, а под обрывом шумело каштановое море вплоть до горизонта, где лежал Человек. Когда кафедру разобрали и унесли, площадь опять стала красивой, а ливанский кедр могучим. Им очень гордилось наше селенье.

И вот, по тропинке, мы спустились в самую гущу каштанового леса. Было позднее лето, круглые мохнатые коробочки лопались и выбрасывали нам на голову блестящий коричневый орех с белым пятном. Было очень прохладно и сразу — и тихо и шумно, потому что лес был полон говора листьев и щебета птиц.

Мы вышли рано утром, а к полудню дошли до горного монастыря. Другого такого монастыря, вероятно, нет на свете.

Он врезался в отвесную скалу, по самой середке. Внутри вместо одной из стен была гранитная скала, неровная и необтесанная. Кроме камня, в монастыре ничего не было, и камень не был шлифован. Издали монастырек был похож на каменю — вырезать его и вставить в оправу. Монахов было очень мало, и все они улыбались, точно жили тут так себе, ради красивой шутки, для декорации; может быть, так и было. Вода у них была: из скалы бежал ручей прямо через одну из комнат.

Был очень стар этот монастырь, — ведь сейчас таких красивых шуток не делают: и дорого, и не к чему, и охотников нет. Если бы еще близко от большого города или железной дороги; а то некому было и приехать сюда полюбоваться — места далекие и глухие.

Монахи ничем нас не угостили, кроме ключевой воды. Они не выделяли ни шоколаду, ни ликера, как в других монастырях, где есть эвкалиптовые рощи. И у них не было музея. У них вообще ничего не было, кроме каменных постелей и изумительных картин природы. Вот где легко стать святым, если только не сбежишь раньше, чем над головой начнет светиться венчик.

В другой раз, помню, мы посетили недалекую от нас коммуну, которая называлась Барга ди Каstellевеккио. Она замечательна тем, что жил близ нее в своем домике прекрасный итальянский поэт Джованни Пасколи, года два перед этим умерший. Поэт — профессор — учитель. Но, прежде всего и больше всего, поэт, настоящий, чистый, чуждый города, хотя был он, кажется, болонским профессором. В стихах своих он передавал пенье птиц и шум каштанов. Как жаль, что нет у меня под рукой его книжек: его стихи звучат мелодично даже для незнающих языка Тосканы.

Когда мог и сколько мог — он жил в своем маленьком имении, вдали от жилья, в стороне от селенья. Здесь, в домике, он и умер на руках сестры, которая делила с ним старость и одиночество. Когда он устал жить и сомкнул глаза, — она похоро-

нила его в той комнате, где он работал, и обратила комнату в домашнюю капеллу. Рядом, за стеклянной дверью, была ее комната, в которой она осталась жить навсегда.

Каждый день, на закате (но ведь нужно знать закаты горной Тосканы) она садилась за рояль и играла реквием и любимые пьесы покойного брата. В этот час и домик, и сад, и все места, куда доносились звуки рояля, наполнялись поэзией, миром и великой святостью: замолкали люди и даже птицы, которых он так любил.

В саду, на наружной стене комнаты, где покоился прах Джованни Пасколи, где покоится он и сейчас, сделана надпись на мраморной доске. Когда-то я списал ее, но сейчас помню только первые слова, обращенные к плющу, которым обвит весь домик. Это — слова самого поэта; он просит оставить плющ свободно расти и окутывать стену, потому что это — плющ покоя и забвенья.

Я никогда не видал гробницы более красивой и более трогательной. Создать ее могла только нежная и до гроба верная дружба. Ни один поэт не спит так мирно. Это не смерть — это сон.

В наших пеших странствиях по каштановому морю мы забредали в заброшенные часовни и маленькие церковки безлюдных приходов. В редкой из них не было нечаянных радостей — деревянной статуи с облупившейся краской, осыпавшейся фрески, а чаще всего — литого горельефа одного из братьев Делла-Роббиа или их учеников. Эти чудеса мало кому известны, так как покоятся они в глуши, далеко от торного пути иностранцев и художников; время и людское невниманье охраняют их от славы и разрушенья. Перед ними не теплятся вечные лампы, их не испещрили карандашные подписи путешественников варваров, из них никто не делает доходной статьи. Такие же заброшенные чудеса я встречал только в далеких местечках Аbruцци, и рад, что видел их до знаменитого землетрясения, разрушившего так много. Но в мрачных

и строгих Абруццах нет для них такой ласковой зеленой рамки, как в каштановых морях и озерах северной Тосканы. Да, потому и вспоминается так живо Тоскана (какое приятное слово для русского уха!) и ее удаленные от центра места, и горное селенье, и монастырь, похожий на камею, и увитый плющем домик, где осиротела муза, что сейчас за выгоревшим полем горизонт закрыт жалкими деревьями и домиками, построенными наспех, в расчете перепродать подороже купленный участок.

На свете прекрасного много. Если, закрыв глаза, мысленно проследить пути, когда-то пройденные, — делается грустно и тревожно, потому что все это не вернется и не увидится снова, а и увидится — уже не с прежним чувством. Есть одна страна, полная красот, о которой мы вспоминаем редко и неохотно, боясь надолго нарушить нужное для жизни спокойствие духа (одним для жизни, другим для доживанья). Но есть еще другие страны, на ласку щедрые и обиды не причинявшие. Одной из них долго была для меня Италия, — это было давно. Там велик выбор для отдыха мысли и сладких воспоминаний; и среди них одно из сладчайших — краса апеннинских Альп и безбрежное, покойное, бесшумное зеленое каштановое море Тосканы.

## СТАРЫЙ ПАРИЖ

*(Из воспоминаний)*

Однажды в туманный парижский день я проходил по набережной Сены в том месте, где Париж так углубляется в прошлое, что кажется вечным — Лувр, Нотр-Дам, островок святого Дениса, — где даже недругу городской жизни остается только снять шляпу и низко поклониться. И вот из тумана выплыла забавная картинка: двухэтажный паровичок, свистлявый и скрежещущий, который бегал по этой набережной ровно тридцать лет тому назад, и я сидел на имперале в сером бумажном, дважды мытом и сильно севшем костюме, в ярчайшем галстуке римского шелкового тканья, красно-сине-желтом, и в широкой соломенной шляпе; такой наряд был приобретен в Генуе для отъезда в Париж и стоил, в общей сложности, десять франков. Венера Милосская едва сдержала улыбку, когда этакий смотрел на нее критически и сравнивал ее с ее капитолийскими и ватиканскими тезками. Но на Бульмише никто и бровью не помывал, — таких было много, и они считались художниками, хотя занимались чем угодно. Не было еще ни прилизанных теленком волос, ни квадратных плеч, была толпа многоцветна, радушно суетлива, газетчики выкрикивали события, извозчики (они еще были) пили абсент, а женщину в современной маске проводжали бы улюлюканьем.

По вечерам Париж «горел огнями». Где-то читал я воспоминания о Париже, писанные иностранцем сто лет назад; в них вечерний Париж также горел огнями. И хоть тридцать лет тому назад световых вывесок, конечно, не было, но на иных улицах можно было читать газету под фонарями и у окон некоторых магазинов. Электричества было мало, но был газ, и керосин уже уходил на окраины. Однако в Латинском квартале он еще прочно держался в домах и двигал студенческую науку. Между прочим — что может быть ласковее и сердечнее керосиновой лампы? Вот о чем вспоминается всегда с дружественной приязнью, — как и о российской голландской печи! Были от такой лампы сразу и свет, и тепло, и кружок на потолке, а папиросный дым уходил под колпак, сутился там, как в юрте, и полз кверху, подчиняясь воздушной тяге. Коническим бумажным колпаком устраняя лишний мир, лампа согревала мысль и пишущую руку, а истощивши керосин, напоминала, что вредно просиживать ночь напролет, пора отдохнуть и светильне. О лампу закуривались папиросы, над ней, быстрым привычным движением, подсушивались чернила на листочках бумаги, стопочкой накапливавшихся по левую сторону, а не углядишь — получалось желтое обожженное местечко в нижнем правом углу страницы, где не сразу просыхала точка или подчеркнутое слово. Был тем дорог свет керосиновой лампы, что он — живой, трепещущий, а главное — теплый. Помянем добрым словом старую нашу подругу! И забудем ее шалости: нечаянный острый язычок пламени, струйка в воздух, — и вдруг начинает падать черный снежок, и черт знает что в носу.

На улице Клод-Бернар, в пятом этаже, была снята квартира в четыре комнаты со всеми неудобствами, присущими тому времени, и обставлена строго экономически — за сто франков. Помню и цены: железная кровать — шесть франков, тощий тюфяк — десять, столик — три, столько же стул, да еще за три франка лампа, вешалка, книжная полка на веревках,



гвозди и прочее. Белье в чемоданах, умыванье на кухне, там же и общий обед. Жило нас шестеро, а обедало восемь человек, все — молодые. Жили коммунально, в складчину, не безалаберно, а толково, так как все работали: истребляли бумагу, указывая пути спасения человечества вообще, а России в частности. Были возмутительно бедны и совсем не так счастливы, как будто бы полагается молодым идеалистам в таких обстоятельствах. Счастливым оказывается обыкновенно прошлое — в далеких о нем воспоминаниях, — а настоящее тяжеленько, а то и просто тяжело. Сначала установили дежурства — по уборке комнат, закупке провизии, приготовлению обеда, мытью посуды. Но сразу сказались таланты и склонности: один чудесно и скоро мыл, другой неплохо готовил. Так случилось, что я стал поваром, зато был избавлен ото всех других обязательств.

Наш бюджет не допускал тратить на обед больше двадцати восьми сантимов на человека; в те времена и сантим был монетой, а на су насыпали полный карман горячих каштанов, заменявших теплые перчатки. Я умел варить мясной суп без мяса, заправляя капустный отвар ложкой муки со сливочным маслом. Были прекрасны картофельные котлеты с луковой подливкой. Хуже удавалась мне гречневая каша, выходявшая размазней; крупу мы покупали в птичьих магазинах, — в человеческих не верили, что пернатые существа могут питаться гречей. Но по праздникам едали мы и мясо, а в очень уж большие праздники (например — 19 февраля) обедали в одном из бульмишских ресторанчиков, без салфеток, но с третьим блюдом, которое так остроумно называется «ле катр мандиан», четверо нищих: орехи, винные ягоды, изюм и миндаль; на восьмерых довольно было пяти порций, подававшихся в бумажных пакетиках. Вероятно, мы пили вино, потому что уж если кутить — так кутить. И потом, сделав запас каштанов, мы бродили по улицам Парижа в уверенности, что мы, прежде всего, — космополиты. Ночной Па-

риж, освещенный только газовыми рожками, ничем не прельщал; но Париж темнеющий, послезакатный, был всегда очарователен, и в те времена, пожалуй, прекраснее теперешнего, слишком сплющенного и приниженного ранними огнями. Он был высок и таинственен, его профили были отчетливы, силуэты строги, особенно по обоим берегам; Сена была мрачной, и редкими звездочками отражались в ее воде первые фонари.

Тут уместно психологическое отступление: бывают ли воспоминания, в которых картинам прошлого не отдавалось бы ласковое предпочтение перед нынешними? Выстроив прекраснейший замок, обставив его по своему вкусу, — как все же не вспомнить, что когда-то на этом месте было живописное болото, и на нем крикали утки? Способен ли автомобиль изничтожить поэзию диккенсовских дилижансов? Почему на бронзу накладывают искусственную патину? Какой роскошью переиздания можно превзойти прелесть старинной книги? Каким новым заменить старое, выдержанное годами вино? И когда говорят, что «Москву нельзя узнать», — кто тот москвич, у которого не щемит сердце? Живущий настоящим живет неполной жизнью, как и пытающийся жить только будущим; «было» глубже, чем «есть» и чем бездушное «будет». Ведь, в сущности, действительно «есть» только прошлое, настоящее лишь вершится, а будущего еще нет; прав философ, сказавший, что именно будущее «преходяще» и, лишь освещаясь светом прошлого, приобретает свой духовный смысл. Потому-то в Париже сегодняшнем лучшее — Париж вчерашний, сложившийся из многих дней и веков.

Обычно мы проводили вечера дома, скрипя перьями и стуча по очереди на единственной пишущей машинке, привезенной мною из России, — остаток былого, весьма среднего адвокатского благополучия. Каждый из нас писал книгу, четверо работали и в русских газетах. Не любопытно ли, что в то время огромное большинство корреспондентов рус-

ских газет состояло из эмигрантов — довольно ощутительное отличие от нынешнего времени! Сказывалось оно в том, что русский учитель был осведомлен о жизни Европы едва ли не лучше, чем о жизни российской, и не оказывался, как сейчас, слишком уж наивным простачком, считающим метро — великим достижением, а асфальт — образцовой мостовой. Постоянная работа спасла нас от эмигрантской болезни: бесконечных идеологических препирательств, принципиальных «историй» и товарищеских судов. Изредка все же выползали и мы послушать, как Ленин презрительно долбит цифрами эсеров и как эсеры отбиваются цитатами из третьего тома «Капитала», как товарищ Носарь, гуляя по эстраде, проводит параллель между политикой Витте и политикой Хрусталева, как вообще взаимно уничтожают словами друг друга меньшевики, большевики, народники правые, народники левые и максималисты и, уничтожив, возрождаются из пепла для новых встреч и жестоких сражений. В те времена нужна была немалая эрудиция, чтобы разобраться в непримиримых оттенках революционной мысли; и нужно же было случиться, что через какие-нибудь десять лет водораздел прошел не по линиям спора, а по живому месту бесспорного, не возбуждавшего сомнений! И не водораздел, а пропасть глубины необъятнейшей.

Только год прожив на Клод-Бернар, мы рассыпались, подарив свою «обстановку» консьержке; рассыпавшись — разбрелись по разным странам; я вернулся в Италию, свободнейшую из стран того времени, свободолюбивейшую, приятную, приветливую. Девятью годами позже я проезжал через Париж, кружным путем направляясь в Россию. Паровичка, пожалуй, уже не было, таксомоторы имели форму симпатичной коробочки, но большинство их переправилось на фронт. Париж того времени — 1916 год — незабвенен: озабоченный, грустный город, после заката весь темный. Не было толпы, пустовали кафе, редкая женщина не носила траура. В публич-

ных местах, в ресторанах, в метро, в трамваях висели плакаты: «Молчите, не доверяйте!». Ожидая разрешения выехать в Лондон, я бродил по несравненному Латинскому кварталу. В Люксембургском саду подогревались на солнце младенцы, сейчас отбывающие воинскую повинность, пускали кораблики мальчики, ставшие теперь отцами. У фонтана любились две мраморные фигурки, не зная, что за ними подглядывает бородастый мужичище, на голове которого чистит клюв воробей. Ослики не были мобилизованы, но, как всегда, грустны. Мне кажется, что цветы в то лето не были так пышны, и Париж не тратился на фонтаны. Был уставлен ларями парашютной набережной, но покупал ли кто-нибудь книги? Жизнь продолжалась, как в тревожном сне, чувства ходили на цыпочках, боясь оскорбить минуту. Такого Парижа не бывало ни раньше, ни позже. Я оставил его с облегченным чувством, но и с почтительной памятью, — без надежды увидеть скоро. Впрочем, и без особого желания: в те дни казалось, что, раз вернувшись в Россию — уже никогда с нею не расстанешься; не думалось, что новая разлука может оказаться недобровольной: ведь этого в прежней практике не было.

В Гавре всех прибывших с поездом погрузили в трамвайные вагоны и доставили в порт. Пароход отошел с потушенными огнями.

Спустя семь вечностей, протискиваясь с чемоданом сквозь какой-то деревянный коридорчик, разделяющий в Вентимилье латинские страны, я до странности ощущал обратное тому, что испытывал раньше на той же границе. Правда, никаких коридорчиков прежде не было и никаких штемпелей не ставилось, но воздух Италии был легче французского; теперь, наоборот, улыбка облегчения появлялась на французской стороне. Тем нетерпеливее я мысленно помогал машинисту толкать на север вагоны с буквами ПЛМ, пока мы не врезались в третьи этажи серых домов, и Париж не открывался в утренней суете людей, у каждого из которых есть и дом, и семья, и

ежедневная забота. Вплеснув в себя горсточку приехавших, он рассосал их в лабиринте улиц, — и вот опять страничка жития космополита. Расползлись и выросли окраины, прежние моторные шарабанчики удлинлись и перекрасились, обуржуазился и отрастил живот Латинский квартал, исчезла деревянная подпорка у дома на улице Сен-Жак, исчез и самый дом, — но в воды Сены, как всегда, свешиваются оптимистические удочки, книжные ларьки на парапетах манят счастливыми случайностями, цветет Люксембург, начинена мозгом ноздреватая каменная Сорбонна, веселит глаз натюрморт зеленых лавочек, красный омар ползет по рыбьему кладбищу, и за стеклом скользит по стеклянным подставкам целая толпа лакированных туфель.

И когда однажды вечером я согрешил любопытством и уплатил при входе столько-то на «покрытие расходов по найму зала», — голос на эстраде не был знаком, но за столиком нового человека маячила тень не то товарища Носаря, не то того самого, который долбил цифрами и отбивался от цитат третьего тома. И неудивительно: зал был только немного отремонтирован, газ заменен электричеством, да заново оплетено соломкой сиденье стульев. И не с грохотом провалился, а как-то смазался кусок вечности, по счету лет оказавшийся достаточным, чтобы посыпать снегом головы и проперчить сердца.

## ГЕРМАН ЛОПАТИН

Чудище с Нотр-Дам-де-Пари, в обычной позе, подперев голову локтями, смотрело на площадь и пролежавшие улочки, — до чего все это ему знакомо, и камни, и грязь набережной, и дилижанс, и даже отдельные людишки, жители и за-всегдаи квартала! Чудищу был знаком и молодой бородач в живописной широкополой шляпе, несший под мышкой книги и, как будто их недостаточно, косившийся на ларьки парапета. Сейчас этот бородач свернет за угол и забежит в кабачок, — и действительно, взметнув полой широкого сюртука, молодой человек завернул круто и, толкнув ногой дверь, исчез за пыльными стеклами. Войдя, он вывалил на столик книги, поздоровался с хозяином, гарсоном и ожидавшими приятелями и, когда обрушился, наконец, на диван, в кабачке стало светлее от его широчайшей русской улыбки. Мужчины были вида бедняцкого и прекрасной небрежности костюмов — пиджачки при косоворотках, — а женщины одеты прилично, но своеобразно: длинные пальто с двумя рядами пуговиц, юбки почти без фижм, но с воланами, на ногах полусапожки, на головах круглые шапочки, на носах очки, в зубах папироски. Это удивительно, как женщина, самая передовая и свободомыслящая, все-таки что-нибудь да оставит от легкомысленной сестры! И были все молоды на подбор, так что пришедший, в свои тридцать лет, был среди них как бы ветераном и патриархом, и называли его не по фамилии, как друг друга, а почти-

тельно — Герман Александрович. Книжки, которые он принес, разобрали по рукам, вернув ему прочитанные, такую же пачку, и он все отметил в тетради учебного формата. Еще не было тогда в Париже русской библиотеки, и подкопленные книжки приносились в кабачок для распределения. Были только надежды: писатель Тургенев обещал устроить концерт и раздобыть денег на помещение и первое обзаведение; с ним вел переговоры тот же бородач, Герман Лопатин, уже немалая революционная знаменитость.

Тогда жить начинали очень рано: в семнадцать лет — студент, и с того же возраста — политический деятель. Тогда за десять лет успевали оставлять за плечами биографию, достаточную для авантюрного романа, — а впереди лежала еще длинная дорога для всевозможных приключений; может быть, потому так быстро отрастала и борода, украшение здорового мужчины. Двадцатилетний Лопатин беспокоил Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. В двадцать один год он очень не нравился Муравьеву-Вешателю, познакомившему его с Петропавловской крепостью. В двадцать два года, оказавшись на свободе, Лопатин утром читал газету — события в Италии были в полном разгаре, Джузеппе Гарибальди бежал с о. Капреры; его было арестовали и вернули на остров, но он обманул бдительность итальянских крейсеров, проскользнув мимо них на утлой лодочке; вырвавшись на свободу — двинулся со своими добровольцами на папский Рим. Так как вырвался на свободу и Герман Лопатин, то ему было естественно оставить Петербург, где делать было нечего, и махнуть в Италию, где дела было много. И хотя выехал он, конечно, в тот же день, как прочитал газету, но в те времена сообщение было не столь быстрым, и он опоздал. Гарибальди, разбив папские войска при Монтеротондо, был сам разбит французами при Ментоне, как раз в то время, когда неизвестный молодой человек из Петербурга, приехавший ему на помощь, добрался до Фло-

ренции. Поэтому молодой человек повернул обратно и отправился в Ниццу знакомиться с проживавшим там стариком Герценом, — последние, уже ослабевшие звуки «Колокола», последние года жизни изумительного человека! Метеором пронесшись по загранице — метеором вернулся в Россию, в Москву, с серьезнейшими намерениями «уплатить долг народу»: кочующие народные учителя, собирание фактов, наблюдений и опытов, аскетизм, периодические взносы сочувствующих, «Рублевое общество», восемь месяцев Петропавловской крепости и ссылка в Ставрополь. Между Флоренцией и Ставрополем — один год, включая и тюремную бездельность, и уже в следующем году молодой человек, приехавший в место ссылки с жандармами, служа в губернской канцелярии (род наказания — как было с Герценом и Салтыковым), суетится, объединяет местную молодежь, преобразует и расширяет общественную библиотеку, вводит в губернии общинно-передельное крестьянское землевладение, собирает для этого сельские и волостные сходы, переписывается со столичными друзьями, у одного из которых находят при обыске его письмо, — и вот опять отрыв от мирной работы, арест и привлечение по нечаевскому делу. Пожалуй, даже так и лучше, потому что маленькая провинциальная деятельность томила его однообразием, а мысль о том, что со временем он станет правителем канцелярии, могла его заставить «повеситься от отчаяния и ужаса и, таким образом, очистить это место для следующего кандидата». И еще он писал: «Челюсти у меня трещат от зевоты» — и никак не соглашался «производить страшное кровопролитие между дамскими сердцами». Одним словом, арест — это уже путь к свободе для такого энергичного человека. И однажды, когда его выпустили на прогулку, он злоупотребил временем и, не вернувшись на военную гауптвахту, добрался по январскому снегу до Ростова, а оттуда в Петербург, чтобы дальше пробраться за границу с давно заготовленным паспортом. Впрочем, пока он по



этому паспорту сплавил за границу П.Л. Лаврова и лишь затем, получив паспорт почтой обратно, выехал сам. Какие были милые и приятные времена, какая простота, какое удобство! В Женеве дружба с Огаревым, в Лондоне с Марксом, избрание в Генеральный совет интернационала, — и неотвязчивая мысль — не съездить ли в Сибирь освободить Чернышевского? И в том же году, в котором он бежал из Ставрополя, он оказался под арестом в Иркутске.

При жандармском управлении для него отделана особая камера — знак особого почета! Но ненадолго. Не дорожа почетом, он попробовал исчезнуть, однако неудачно: по его следам пустились восемь жандармов, успевших вскочить на неоседланных лошадей и догнавших его по горячему следу. Из новой камеры, теперь уже в остроге, убежать трудно. К счастью, он временно выпущен под строжайший надзор, и поэтому, накануне предстоящего нового ареста, он уплыл на двухвесельной душегубке вниз по Ангаре, перебрался на ней через пороги, доплыл до Енисея и вышел в Усть-Тунгуске, проделав в одиночку 2000 старых екатерининских верст (по 700—800 сажень). Загем город Томск и арест на улице. По дальности сибирских расстояний и по длительности сидения в тюрьмах — на все это пришлось затратить целых два года, серьезный вычет из жизни! В 1873 году он опять в иркутском остроге. К счастью, его вызвали в окружной суд — возможность перемены судьбы. И действительно, в перерыве заседания, выведенный подчаском на крыльцо освежиться, он с молодой легкостью прыгает во двор, отвязывает чужую лошадь и скачет в лес. Дальше уже легче: месяц в лесу, немало разнообразных приключений, и бородатый мужичок добирается до Томска, откуда уже не так далеко в Париж.

Пять лет отдыха от слишком авантюрной жизни: мирная работа, переводы, возня с книгами, беседы с молодежью; впрочем, почти ежегодно поездки в Москву ненадолго по разным делам, — такие мелочи не идут в счет в сложной биографии эмигранта, видавшего виды. Главная квартира, все-таки, Париж,

левый берег, Латинский квартал. Лопатин — человек воспитанный, и даже мадам Виардо более или менее терпит его, когда он приходит к Тургеневу хлопотать по разным делам, — не в пример другим посетителям подозрительного вида, соотечественникам знаменитого писателя. Она готова выступить в концерте для основания фонда русской библиотеки в Париже. 15 (27) февраля она поет романс Чайковского: «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду, поймет, как я страдал и как я стражду». Она была уже старухой. И, однако, когда она произнесла: «стражду», — «меня мороз подирал по коже, мурашки бегали по спине», — говорит Лопатин.

Так родилась на свет нынешняя Тургеневская библиотека в Париже.

Так как пишутся эти строки не для подробного рассказа о жизни Германа Александровича, — какой же культурный русский человек не знает о ней хотя бы в общих чертах, — а только в память двадцати лет его смерти, то минуем этапы его взрослой жизни, вечной смены арестов кипучей деятельностью, пока на сороковом году жизни он не попал снова в Петропавловскую крепость. Спустя три года его присудили к смерти, заменив ее заточением в Шлиссельбурге, где он и провел 18 лет. Его освободила революция пятого года, — и из крепости он вышел с силами надломленными, но еще бодрым стариком и, хотя был назначен в ссылку, скоро оказался за границей.

Это уже на нашей памяти — появление на арене жизни заживо погребенных, людей прошлого. Исторический портрет, человек из легенды, весело смеется и рассказывает анекдот про самого себя. Большой лоб, широкая, окладистая борода, очки, без которых он однажды чуть не пропал при побеге, неизменная толстая часовая цепочка по жилету или фуфайке, презрение к слабости, даже собственной, старое молодечество. Таков был «воскресший Лазарь», как он себя называл.

Вижу его на морском пляже маленького итальянского местечка, где он жил долго, лишь наездами бывая в Париже — центре тогдашней политической эмиграции. Теперь уж подлинный патриарх, но неизменно скучающий по большой общественной работе. Несколько раз он хотел переселиться в Рим и жить самостоятельно, а не в почетной богадельне приютившего его амфитеатровского дома, — но у него была только крошечная партийная «пенсия», и он писал: «Лучше сказали бы прямо сейчас: 1) Сколько в месяц проживаете сами? 2) Можно ли в Риме устроиться сколько-нибудь по-человечески на 100 франков в месяц? 3) На что будет походить в общих чертах такая жизнь со стороны обстановки и пищи? Писать о моем поживании отказываюсь...» Жаловаться не любил. Много раз его убеждали писать воспоминания, но он отделялся несколькими страничками, это было не по вкусу ему, человеку действия, а не слов. Все, что мы о нем знаем, — знаем по записям других, а рассказчик он был замечательный. Его литературное наследство ничтожно, даже если включить его письменные показания при допросах; ничтожно, конечно, в сопоставлении с богатством его жизни. Самый большой его рассказ о самом себе — краткая биография, которую он писал шесть часов по просьбе С. Венгерова как материал для 3-го дополнительного тома словаря Брокгауза. В крепости писал стихи, очень плохие; кажется, все шлиссельбуржцы грешили стихами. Как литератор, он был образцом лаконизма. У меня есть его письмо, написанное в день отъезда его из Италии в Россию; вот оно все целиком: «Прощайте. Г.Л.».

Потом была Россия. Не могу назвать, к стыду моей памяти, кто жил рядом с Лопатиным в комнатках петербургской литературной богадельни перед революцией. Он уже был стар, слаб, нищенски беден. «Есть одна столовка, — говорил он, — где дают то же, что и в здешних, но на гривенничек берут дешевле!» — и плелся в эту столовку через весь город. Но к

нему еще приезжали на поклон, пока Россия не запылала. Когда из-за границы нахлынули эмигранты помоложе и принялись спасать отечество, — Лопатина забыли, потому что о прошлом было некогда думать — предстояло будущее. Так, например, я никак не мог узнать, кто, как и где хоронил его в смутные, холодные и голодные дни конца 18-го года? До Москвы донеслась весть о его смерти, — но в ряду тысячи таких же вестей; тогда на каждый траур полагалось не больше одной минуты. В последний год он еще бывал на собраниях и митингах, иногда даже выступал. Но это была только святая тень Лопатина, его образ старого письма. Материалы о его жизни собраны в книжку ужасной серой бумаги, от которой через полвека останется только труха. Дорогая бумага припасена для описания подвигов торжествующих победителей; в их списке нет места для имени Германа Александровича Лопатина, народовольца и шлиссельбуржца.

## АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ

Жизнь Александра Валентиновича Амфитеатрова — огромный кусок русской литературной истории. Предполагая, что остались в целости его довоенные архивы, я думаю, что ни один писатель за последние пятьдесят лет не оставил такого документального сокровища, как А.В. Не было, по-видимому, ни одного выдающегося современника, которого бы Амфитеатров не знал лично или не состоял с ним в переписке. В этом мог с ним соперничать только Горький, но круг общения последнего был, сравнительно, идейно ограниченным, тогда как Амфитеатров знал всех и вся, переменил много путей, был участником литературных предприятий всех оттенков политической мысли, от «Русских ведомостей» (80-е годы) до «Нового времени» (1891—1899), от изданий революционных до «Возрождения». Только в последние годы этот общительнейший человек стал анахоретом. Вот выдержка из его письма (май 1923):

«Вот уже год с днями, как я никуда не выезжал из Леванто. Предупреждаю только, что теперь мы живем не в самой Леванто, а минутах в сорока пешего хождения по горной тропинке, в урочище Лагоре. Любезностью одной итальянской приятельницы забрались в глушь одинокую, в коей пробую на старости лет из такого ненужного существа, как русский писатель, превратиться в итальянского контадино. Адреса моего, пожа-

луйста, соотечественникам не сообщайте, ибо, по правде сказать, встречаюсь с россиянами очень неохотно, а из встреч редко выношу что-либо, кроме удручающей жалости».

Это не мешало ему с интересом и живостью расспрашивать и о старых, и о новых, «народившихся» писателях и опасаться, не пропустил ли он какое-нибудь литературное явление не отмеченным в составленной им для итальянцев «Истории новейшей русской литературы». Не знаю, была ли эта «История» напечатана; никогда ее не видал.

Я никогда не встречал Амфитеатрова в России, но знаю, кажется, все его итальянские местожительства. Он жил баринном в местечке Кави-ди-Лаванья, на восточной Итальянской Ривьере, в большом доме, полном детей, гостей, переписчиков, прислуги. Он жил князем в другом местечке, Леванто, уже в огромном доме, богато обставленном, где в бесконечную вереницу друзей, живших и наезжавших, включились литературные итальянцы и где в день какой-то переписи семья А.В. оказалась состоявшей из 18 человек; в нее включились, между прочим, один бывший шлиссельбуржец, один будущий министр временного правительства, один беглый каторжанин (учитель его детей), впоследствии антропософ, еще позже — крупный чиновник наркоминдела, один «гениальный», но неудавшийся скульптор-самоучка и неопределенное количество наметившихся литературных звезд. Он жил помещиком в третьем местечке, Федзано, в заливе близ Специи, необыкновенно красивом уголке земного шара. Затем он жил в Риме в старинном дворце, где было так мрачно и так холодно, что жить было можно только ради необычности жилища. Всегда и везде он жил громоздко, шумно, открыто, в обстановке, которая, казалось бы, не давала возможности работать. И между тем такого работника, как А.В., трудно было себе представить: он писал сразу несколько работ на нескольких столах, говорил в диктофон, и несколько переписчиц не поспевали за ним. Не думаю, чтобы кто-нибудь из рус-

ских писателей, не исключая и знаменитого этим Потапенко, написал количественно так много, как Александр Амфитеатров! Изданные им книги составляют немалую библиотеку.

Человек изумительной породы! В его предках числятся киевский митрополит Филарет, казанский архиепископ Антоний, два профессора духовной академии, переводчик Тассо и Ариосто — Сем. Егор. Раич (брат Филарета); его отцом был известный московский протоиерей, проповедник и автор многих трудов по ветхозаветной истории. Потому с такой тонкостью Амфитеатров знал язык старинных духовных писаний (многие помнят его «акафист»).

Сложна его биография и, конечно, неисчерпаем его архив. Будущие историки русской литературы утонут в этом кладезе. Но был и еще архив, неизмеримо огромнейший, но исчезнувший навсегда: необычайная память Александра Валентиновича, служившая ему до глубокой его старости.

## П.Д. БОБОРЫКИН И В.М. СОБОЛЕВСКИЙ

Толстый слуга и друг, шестиподбородковый Серафино, доложил шепотом, что пришел и дожидается в кабинете пожилой и очень почтенный господин и что вообще пора вставать, потому что уже первый час. На русской визитной карточке — Василий Михайлович Соболевский.

Это, конечно, настоящий скандал! Я живу в рабоче-чиновничьем новом квартале, на шестом этаже, без всякого лифта. Еще счастье, что у меня две комнаты, а то бы высокий гость увидал меня в постели, — Серафино не знает светских обычаев. А Василий Михайлович для меня — самый высокий гость: редактор «Русских ведомостей», почтивших меня недавно званием постоянного корреспондента. Он приехал в Рим неожиданно и, по своему джентльменству, вместо того, чтобы попросту вызвать к себе в отдел юного сотрудника, первым сделал мне визит.

«Юными» считались в «Русских ведомостях» все, кто не достиг сорока лет и ординарного профессорства. Я же был к тому же непростительно моложав. Видя мое крайнее смущение, Серафино, помогавший поскорее одеться, шепотком ободрял меня, — что, может быть, все обойдется и старик не рассердится.

Смущала не «юность», а то, что В.М. поднялся на шестой этаж по нашей замечательной лестнице, служившей жильцам, особенно их женам, также и клубом. Я еще не был знаком с



Соболевским и не видал его, но знал, что он стар и особым здоровьем не отличается. Он мне представлялся высоким (редактор!), оказался низеньким. И когда я вышел, наконец, в кабинет, то застал его несколько хмурым, как будто недовольным, — да и понятно! Позже я узнал, что лицо его было всегда серьезным и выдержанным, не от суровости, а скорее от глухоты, развившейся в последние годы его жизни: ему приходилось напряженно вслушиваться.

Я рассыпался в извинениях и благодарностях, и он, недолго посидев, пригласил меня на завтрак к себе в отель. Завтрак втроем: третьим будет Петр Дмитриевич Боборыкин.

С Боборыкиным я был знаком раньше, — он часто жил в Риме, всегда на улице Людовизи, в тихом альберго Бель-Сито. Я познакомился с ним на лекции, которую он читал в русской библиотеке, — в бывшей студии Кановы; она и сейчас там помещается. Лекция была «О Толстом», 3 декабря 1910 года, тотчас после смерти Толстого. Трудно поверить, что, по тому времени, было некоторым гражданским подвигом почтить Толстого-писателя добрым и почтительным словом перед аудиторией, состоящей в большинстве из лиц, близких к тогдашнему русскому посольству, для которых имя Толстого было одиозным. Боборыкин не очень любил Толстого, вероятно, отчасти и за то, что тот... не очень любил Боборыкина; это было видно, между прочим, и из короткого письма Толстого, которое Боборыкин самоотверженно процитировал на лекции; а знакомы они были, кажется, тридцать лет. Но лекция Боборыкина была сдержанна и справедлива: он заявил о необходимости «бесстрашной правды» и был правдив. Передо мной лежат писанные рукой Боборыкина листочки тезисов, по которым он развил свой доклад. «Кого мы проводили в могилу, какой еще никогда вырыто не было в России, там, на холме Ясной Поляны, под соснами, без всякой государственной-церковной помпы?» — И дальше ответ: «Сознательного слугу своей родины, кончившего служением и всему челове-

честву, во исполнение воли Того, Кого он признал Источником правды и света; носителя, стало быть, общечеловеческой культуры, хотя он ее под конец жизни и отрицал». — Дальше набросано отрывочно: «Доблестный уход из жизни Толстого всех примиряет». — «Фальшь в похвалах писателю-художнику». — «Шовинистическое толкование «Войны и мира». — «Да будет стыдно тем, кто ничего ему не простил. Анафема!» — Так стоит в записке; однако не помню, чтобы Боборыкин произнес эту анафему половине своей аудитории; но кончил он записанной фразой: «Вечная слава нашему русскому писателю Льву Николаевичу Толстому».

После этой лекции я не раз бывал у Боборыкина, который, перевидав весь мир, подходя к пределу человеческого возраста, был, конечно, интереснейшим собеседником. Как многие старики, он не всегда учитывал возраст собеседника. Он меня спрашивал:

— А вы Виктора Гюго лично не знали?

— Мне, Петр Дмитриевич, не было десяти лет, когда он умер.

— Ах, да, вы правы. А вот я был у его постели, когда он умирал!

И рассказывал что-нибудь о своих встречах и с Виктором Гюго, и с Тургеневым, и со множеством знаменитостей всех наций. Ему, родившемуся при жизни Пушкина, ничего не стоило спросить «любезного собрата», как он называл меня в письмах:

— Вы, конечно, хорошо помните настроения конца семидесятих годов...

— Петр Дмитриевич...

— Да-да, действительно... Я все забываю, что я вас значительно старше!

Под этим «значительно» разумелась разница в сорок два года!

И было как-то странно слышать, когда жена Петра Дмитриевича говорила ему:

— Петенька, не забудь надеть шарф: простудишься,

— Ах, матушка, точно я старик!

— Ну, все-таки.

— И, однако, — говорил Петенька, — приходит иногда в голову мысль, что, действительно, — время готовиться. Мой добрый друг, Виктор Гюго, умер восьмидесяти трех. Лев Толстой умер восьмидесяти двух, и эта граница уже приближается.

Эту границу П.Д. переступил: он родился в 1836, умер в 1920, на 85-м году жизни. В последний раз я видел его, помнится, в год его восьмидесятилетия. Он рассказывал, что начал два новых романа, но отвлекся третьей темой. Кроме того, ему мешала работать нога, которую он тщетно лечил водами:

— Вы воды (называет курорт) знаете? Не знаете? Напрасно, оч-чень рекомендую! Был там два раза, пользовался, все из-за моей ноги. Должен, однако, сказать, не помогло, даже еще хуже теперь стало. Оч-чень рекомендую, и сравнительно недорого.

Боборыкин был давним сотрудником «Русских ведомостей» (с 1878 по 1912); в год моего рождения он уже заведовал театральным отделом газеты. И понятно, что приехавший в Рим редактор пригласил позавтракать нас обоих: самого старого и самого молодого сотрудников. Нам троим было сто восемьдесят пять лет; из них на мою долю приходилось только тридцать пять.

Этот завтрак, в малом салоне отеля «Виндзор» на виа Венето, я очень люблю вспоминать. Я чувствовал себя только что вынутым из пеленок, хотя был в рабочей бархатной куртке: в то время эмигранты не носили визиток и смокингов. Соболевский и Боборыкин были одеты, конечно, европейцами, как в этот час одетыми быть полагалось. Петр Дмитриевич был в прекраснейшем настроении духа и говорил без умолку; Василий Михайлович был глух и, подливая нам вина, усиливался слушать. Я, конечно, почтительно молчал, — да и не

было времени вставить что-нибудь в поток боборыкинской речи. Так мы просидели часа два или три, и я чувствовал, что изнемогаю. Соболевский и вида не подал, что он утомлен; как всегда, был серьезен, суховат, корректно-любезен. И хотя мы с ним условились после завтрака прокатиться по Риму и что-нибудь посмотреть, осуществить этого не удалось: Боборыкин окончательно нас заговорил.

Попрощавшись с Соболевским, который на другой день уезжал, мы вышли из отеля и пошли пешком. У Боборыкина была привычка старого человека: через каждый шаг останавливаться, поворачиваться к спутнику и продолжать беседу до точки; затем идти дальше до первой запятой, — и опять останавливаться для убедительности речи. Коротенькое расстояние между отелями мы продвигались не менее часа, да с четверть часа он меня задержал у своего подъезда, смущая вопросами, читал ли я его предпоследний роман и что могу о нем сказать. Романа я не читал, но доказал ему, что в свое время читал и «Китай-город», и «В путь-дорогу», и он этим удовлетворился. И домой я вернулся полумертвым от усталости, — вот каким молодцом и неутомимым говоруном был этот старый годами и бодрый телом и духом писатель, так основательно теперь забытый, впрочем, — полузабытый еще при жизни.

Сейчас имя Боборыкина — синоним старозаветного, смешного и скучного; оно произносится с извиняющейся улыбкой, причем извиняют его за несомненную литературную порядочность. Но, конечно, три четверти его презрительных критиков никогда его не читали. А между тем романы Боборыкина, в особенности вышеназванные, совсем не плохи и в свое время читались с увлечением. И забыто одно высокое качество Боборыкина-писателя, ныне не столь распространенное: его высокая культурность. Это был настоящий умница и европеец; умниц немало и сейчас, европейцев же в русской литературе было не так много.

Настоящим европейцем был и В.М. Соболевский, прозванный «джентльменом русской журналистики», законодатель и

хранитель литературной этики, вместе с К.К. Арсеньевым и В.Г. Короленком.

Несмотря на даль времени, еще не все можно использовать в воспоминаниях; в моем небольшом архиве, всегда сохранявшемся за границей, есть письма и документы, писанные рукою этих «хранителей чести», оглашению еще не подлежащие. Я счастлив, что они уцелели.

Но какова судьба архива В.М. Соболевского в России?

В восемнадцатом или девятнадцатом году ко мне однажды в Москве пришел красноармеец, молодой писатель, сейчас очень видный в советской литературе, и принес обгорелые странички, писанные моей рукою. Эти странички, узнав почерк, он успел вытащить из горевшего камина в доме Морозовой на Воздвиженке. В доме этом был размещен какой-то наряд красноармейцев, а так как была зима, то солдаты, не имея дров, топили печи и камины найденными в шкалах бумагами.

Это было мое письмо к Соболевскому, и печи топили его архивом. Сообразив это, мы попытались принять срочные меры, уведомив наркомпроса А. Луначарского о гибели, грозящей одному из замечательнейших архивов. Время было такое, что я даже не знаю, имело ли наше предупреждение какие-нибудь последствия и спасена ли хоть часть архива Соболевского.

Что в нем было? В нем могли быть письма сотрудников «Русских ведомостей», а их постоянными сотрудниками были, между прочим, Лев Толстой, М. Салтыков-Щедрин, Гл. Успенский, И. Тургенев, П. Боборыкин, П. Лавров, Н. Чернышевский, Вл. Соловьев, В. Ключевский, В. Короленко, М. Ковалевский, А.И. и А.А. Чупровы, Н. Чайковский, П. Кропоткин, П. Милуков, И. Мечников, К. Тимирязев, Н. Кареев, К. Кавелин, Б. Чичерин, П. Струве, К. Арсеньев, А. Кони, Г. Джаншиев, М. Стасюлевич, Н. Михайловский, — и это только незначительный список крупных имен, которые заносу по памяти без всякой системы. Из них Лев Толстой давал газете свои статьи с восьмидесятых годов до смер-

ти, Салтыков с того же времени и также до смерти, а впрочем, редкий из близких сотрудников, раз начав, не работал до смерти своей или смерти самой газеты. Можно добавить еще имена иностранцев — Георга Брандеса, Генрика Сенкевича, Т.Г. Масарика, Эдуарда Бернштейна, Артура Шницлера, Энрико Ферри; Ферри и Бернштейн были постоянными корреспондентами газеты.

Часть деловой переписки с этими людьми была, несомненно, в архиве Соболевского, наполовину или целиком погибшем. Правда, большая часть редакционной переписки разбрелась по архивам других редакторов, из которых остался в живых только один (А. Максимов). Но где теперь эти архивы?

История «Русских ведомостей» еще не написана: основа ей положена недавно умершим в Праге их редактором В.А. Розенбергом. В этой будущей истории много страниц будет отведено В.М. Соболевскому.

## В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ

В драке больших исчезло маленькое государство, в котором мало кто бывал, к существованию которого относились сентиментально или насмешливо, но в котором было все, что полагается государству: король, парламент, подданные, жандармерия и дипломатические представители. Государство имело столицу — Цетинье, порт — Антивари, торговый центр — Подгорицу, прессу — «Черногорский вестник», выходивший трижды в неделю, железную дорогу, построенную итальянцами, королевскую табачную лавку, королевский театр, королевскую парикмахерскую, королевский дворец и отель, в котором был материально заинтересован король.

Столица уютно расположилась среди серых безлесных гор; жителей в ней было немногим меньше, чем в одном американском небоскребе, но было две площади, большая улица и несколько переулков. Железная дорога вилась петлей по горам от порта до Вирпазара, дальше же, до столицы, приходилось ехать сначала паромом, затем на лошадях или в почтовом автомобиле. На автомобиле, единственном, было семь нумерованных мест, причем опытный человек старался занять место рядом с шофером, иначе в Цетинье он приезжал непременно в сером костюме и с таким же серым лицом. Высоким достоинством и счастьем этой благословенной страны было то, что по ней одновременно не могло пу-

тешествовать больше семи иностранцев, хотя бы они были англичанами. Зато, прибыв в столицу, каждый иностранец непременно снимался в королевской фотографии в национальном черногорском костюме. Особенно это шло немцам, с короткой шеей и пивным брюшком; неплохи были и англичанки с выдающейся челюстью. Но, повторяю, иностранцев в Черногории бывало очень мало, так как королевского казино с лошадками и баккара не было. Громадная ошибка. Будь казино, особенно с рулеткой, — Черногория могла бы сохранить самостоятельность.

Так как о Черногории я знал не больше Бонапарта, некогда вопросившего: «Черногорцы — что такое?», то было очень любопытно приблизиться к ее берегам на итальянском пароходе. Случилось же это в 1911 году, весенней порой, за три года до трагического решения — поколебать мир, принятого гимназистом Принципом, о смерти которого в тюрьме недавно сообщили газеты. Все в мире было еще покойно, европейский концерт звучал превосходно, а тройственное и двойственное соглашения служили отличной гарантией международного согласия. Изредка волновались только ничтожные народцы, самое существование которых представлялось недоразумением: македонцы, албанцы. Последние, со свойственной дикарям косностью, противились цивилизаторской деятельности турок, и это создало ряд мелких неприятностей.

Из-за поведения этих албанцев я и попал в Черногорию, на границе которой взаимно резались турки и албанцы. Предусмотрительные «Русские ведомости» командировали меня туда познакомиться с нравами балканских народов, а кстати объехать и весь Балканский полуостров. «Через год можно ожидать на Балканах больших событий», — писал мне ныне покойный Н.В. Сперанский, не раз удививший даром предсказания.

Чудесно было в те года жить за границей. Русские еще не считались низшей расой, визы им давали в день требования,



паспортом могла служить визитная карточка. Впрочем, за десять лет постоянных путешествий по Европе, я впервые вынул из кармана паспорт и познакомился с визами только уже в военное время, когда проезжал через шесть государств — в Россию, и паспорт этот был не «заграничным», а некогда выданный мне из московского полицейского участка бессрочной паспортной книжкой.

Поэтому, высадившись в порту Антивари, я вынул визитную карточку и вручил ее подошедшему жандарму. Подобные жесты величия всегда ценятся, и через минуту ко мне бежал черногорский офицер, сразу мне объявивший, что таможенного осмотра моих вещей не будет, что багаж на станцию донесет жандарм, что поезд может и подождать, что он сам — начальник портовой стражи, что порт — дрянь, и осматривать его не стоит, и что он, начальник, непременно поедет со мной в Вирпазар и позаботится обо всех удобствах.

Для читателя, несомненно, привыкшего к скверному обращению на всех границах, подобный рассказ может показаться сказкой: не только не бьют, не загоняют в бараки, не выстраивают для анализа с посудиною, не обыскивают, — но еще встречают с почетом. Притом все мое право на почет заключалось лишь в том, что я был русский и корреспондент большой газеты. Но мы, действительно, были некогда уважаемой нацией, а уж особенно на Балканах.

Отклонить любезность «начальника стражи» мне не удалось. Он доставил меня на затрапезную станцию, усадил в вагон, где мы оказались только вдвоем, и даже принес хлеба и две коробки консервов; поезд немножко подождал, а он сбегал домой сказать жене, что уезжает на три дня в Вирпазар. Поезд оказался вообще очень покладистым, и, когда в пути я восхитился одним бесподобным горным видом, поезд — по приказу офицера — немедленно остановился. Кочегар, кондуктора и мы вышли и минут двадцать любовались облаком, ползшим под вершиной горы, сиявшей на солнце.

— Это австрийская Спица, — объяснил мне спутник, — но повыше ее — наша территория, куда никто, кроме черногорцев, не способен взобраться.

Мой спутник оказался воспитанником петербургской военной академии, был женат на русской, участвовал в русско-японской войне, был племянником черногорского министра (как, впрочем, почти все жители Черногории, за исключением племянников короля) и носил превосходную фамилию. Ее я не назову — ввиду деталей дальнейшего рассказа; если я не ошибаюсь, этот офицер погиб позже в битве при Скутари.

Когда мы к вечеру приехали в Вирпазар, я понял, что без гакого спутника я мог бы оказаться в скверном положении, так как никаких отелей там нет, дальнейшего сообщения вечером также. Он же завел меня в знакомый дом, где мы заняли комнату, заставленную по стенам грузнейшими низкими диванами. С дороги полагалось спать.

Он так и поступил. Но я еще никогда в жизни — хоть и жила в русских деревнях — ни видал такого количества клопов, даже не допускал в мыслях. Поэтому я сел на стул среди комнаты, подобрал ноги, и то дремал, то писал на блокноте при свете тусклой керосиновой лампочки. Зато мой спутник спал за двоих.

На другой день мы пошли объединяться.

Объединялись в кабачке, где собралась вся вирпазарская знать: человек пятнадцать полуоборванцев, пресимпатичных и отлично пивших сливовицу. Объединялись долго. Мы, мужчины, сидели, а женщины, в том числе жены вирпазарских вельмож, нам прислуживали; с ними меня, конечно, не знакомили — слишком унижительно.

Черногория — удивительная страна. Там девушка свободна и самостоятельна и может пользоваться жизнью; но жена — рабыня, на которой лежит вся тяжелая работа. Мужчина — воин. Встав утром, он натягивает штаны и сапоги и затыкает

за пояс пистолет, а затем идет делать то, что он называет: умываться. Среди дня он рассуждает о политике, о короле и пьет кофе; остальное на обязанности женщин.

На берегу озера прекрасны старо-турецкие крепости. Одну из них, укрепленную черногорцами, мы отправились осматривать всей компанией, так как среди собутыльников оказался и ее комендант. На старой крепостной пушке мы снялись живописной группой, — с «кодаком» я не расставался.

Вечером мой спутник внезапно загрустил.

— Что с вами?

— Так. Маленькая неприятность.

— А в чем дело?

— Забыл совершенно, что у меня здесь платеж, и не захватил денег. Уж очень спешно собрался. Очень неприятно.

— Много?

Он назвал сумму, довольно крупную. Такое у него было жалкое лицо, что я растрогался.

— Я мог бы вам ссудить...

— О, не подумайте, что я для того сказал... Но действительно... Вы в Цетинье долго пробудете?

— Недели две.

— О, тогда... Через три дня, не позже, я бы мог доставить вам... Но мне так неловко...

Позже, спустя две недели, когда я ждал выписанные из России деньги, чтобы как-нибудь выехать из Черногории, мои цетиньские приятели — черногорцы говорили:

— Как же можно ему давать было. Кто же ему дает.

— Да почему я мог знать. Офицер, племянник министра...

— Никому у нас давать не нужно. Но ваши деньги не пропали. Пойдите к министру финансов и скажите ему; а он вычтет у него из жалованья. Так всегда у нас делают.

К министру я не пошел. В конце концов — я многим был обязан моему любезному спутнику. А за науку оплатят.

Очень была живописна труппа провожавших на пристани увозившего меня парходика; дальнейший путь лежал по скутарийскому озеру.

Все черногорцы одеваются одинаково в национальный костюм, различаясь лишь черной или золотой вышивкой джамагана. На головах — шапочки с черным верхом и вышитой буквой Н. Черный верх — траур по части утерянной территории, а буква Н. означает принадлежность к почетному званию подданных короля Николая. Вероятно, сейчас они носят какую-нибудь другую букву. Ту же шапочку носили и женщины.

Описать дорогу по озеру и дальше, экипажем, на Цетинье, очень трудно, хотя и соблазнительно. Дорога красоты изумительной. Возница несколько часов вез меня над пропастями, а раз на нас напозла туча, пролилась дождем и опустилась вниз; над нами уже сияло яркое солнце, а под нами была гроза, прямо под обрывом, где раньше на страшной глубине виднелись деревушки и яркая ниточка реки.

И вот я, наконец, в Цетинье, в двухэтажном домике, где отель открыл временное филиальное отделение.

Против окна, через маленькую площадь, крылечко Николая I. Сам он, по утреннему времени, вышел подышать и поболтать с подданными. Из прохожих он выбирает и подзывает к себе пальцем почтенных стариков с большими зонтами; здоровается с ними за руку, иных угощает папиросой. Когда подданных не видно, король любит своего сына, парнишкой в офицерской форме, лет восемнадцати, который бегает на площади с собаками. Одна из собак переживает романтическую пору, и поклонников собралось множество. Сцена эта интересует не только короля и королевича, но и подданных, сидящих в кафе наискосок: потягивают турецкий кофе и задумчиво наблюдают.

Ко мне пришел какой-то таинственный осведомитель, назвавшийся журналистом и сносно говоривший по-итальянски; он в

черногорской шапочке, но — один из немногих — в пиджаке. Пришел с предложением бескорыстной помощи и с советом:

— Непременно телеграфируйте своей газете, что королю Николе придется содержать тысячи беглых албанцев, а это стоит огромных денег. Ежедневный расход нашей казны...

Информатор сообщает цифры, преувеличенные раз в тысячу. Нам, корреспондентам, отлично известно, что на содержание этих беглых албанцев король уже выпросил денег и у Турции — как виноватой, и у Австрии — как замешанной, и у Италии — по родственным связям, и у России — из уважения к славянской державе; у каждой страны в сумме, далеко превышавшей расходы. Знаем и то, что информатор наш специально к нам приставлен и что ни единому слову его верить нельзя. Человек он маленький, жалкий, забитый и очень прилипчивый.

Однажды он пришел ко мне без информации, но с лестным приглашением:

— Очень прошу вас быть на свадьбе моей сестры. И король будет.

— Почему будет король?

— А как же. Он — родственник.

Я и забыл, что все черногорцы — родственники короля.

В указанный час закрылись в Цетинье все магазины: король и население отправились смотреть свадьбу.

Я использовал момент и потихоньку ускользнул в почтовом автомобиле в Подгорицу. Очень надоела бдительная предупредительность «информаторов». В Подгорице же, близ албанской границы, сведения точнее.

Губернатор Подгорицы оказался в том кафе, куда я зашел навести справку о его жительстве.

— А зачем вам меня?

— Хочется мне осмотреть ваши госпитали.

— Жандарм вас проводит. Эй!

Жандарм успел что-то шепнуть администрации больницы, и по приходе моем в палату все врачи, сидельцы и способные стоять на ногах раненые албанцы были выстроены между рядами постелей шпалерами. Никогда в жизни я не чувствовал себя в более глупом положении. Из расспроса врача я убедился, что албанцев в Черногории не тысячи, а лишь несколько сотен. Но гораздо любопытнее было то, что есть много раненых черногорцев; о том, что черногорцы любят «ходить пострелять» в турок, мы также были осведомлены. Впрочем, еще в Вирпазаре мне рассказывали об этом сами любители таких экскурсий.

Была еще у меня миссия: узнать, где находится сейчас таинственный предводитель албанских повстанцев, итальянский адвокат, албанец родом, Теренцио Точчи. В Цетинье информаторы нас уверили, что Точчи скрывается в каких-то пещерах в сердце Албании и что узнать о нем ничего невозможно. Я обратился к помощи жандарма-проводящего.

— Где сейчас Теренцио Точчи?

— Тука, — отвечал он спокойно.

— А где это... тука?

— А вот в том ресторане обедает.

Войдя, я увидел маленького заморенного человечка, симпатичного, обтрепанного. Это и был «вождь», которого газета «Матэн» называла неуловимым, почти мифическим, и притом почему-то «главой всех албанских церквей».

За вторым блюдом я его спросил:

— Скажите, сколько в рядах повстанцев приезжих итальянцев. Ричьотто Гарибальди заявил в печати, что, несмотря на меры, принятые итальянским правительством, он выслал вам свою тысячу.

— Тысячу, — разозлился Точчи. — Мы видели только одного, правда, славного малого.

Я посмеялся, вспомнив сенсационные статьи и телеграммы итальянских газет. Как много теряют события, когда к ним приблизишься.

С Теренцио Точчи мы условились, что когда-нибудь поедим в Милане макароны. Увы — не удалось. Я даже не знаю, как кончил или где сейчас подвизается этот герой восстания, имя которого произносилось с таким страхом и уважением.

При мне произошло в Цетинье знаменательное событие: впервые заехал кочующий кинематограф. До этого времени в театре давались изредка переводные немецкие водевили и была однажды оперетта. И вот мы получили от королевского театра торжественное приглашение: почтить своим корреспондентским присутствием сеанс кинемо.

Дирекция театра распределила местам;

1. Литерная ложа, у самого экрана — королю и его семье.
2. Первый ряд кресел — принцы и дипломатические особы.
3. Второй ряд кресел — иностранные корреспонденты.

Прочие ряды — прочие иностранцы и подданные.

Разумеется, мы догадались не воспользоваться честью и остаться позади. Дипломатам это было не так удобно, английский посланник не постеснялся перейти к нам, но русский, явившийся в полной чиновничьей форме, не решился. Только этот дипломат являлся к королю на утренний прием в сюртуке и фуражке с кокардой; остальные надевали домашний пиджачок при мягком воротнике и переходили через улицу без шляпы, так как дворец был рядом.

Но бедный король в его боковой ложе... Как хотелось ему перебежать к нашей группе. В первый антракт он исчез.

Это не воспоминания о Черногории, а так, случайные заметки. Для воспоминаний нужна книжка — а кому интересна книжка о несуществующем более королевстве?

Но вот что прочнее всего осталось у меня в памяти: неприступность Ловчена. С этой изумительной горы я спускался на автомобиле в Каторский залив — спускался не менее часа. Много покатавшись по Европе, познакомившись с пятнадцатью странами, — высшей красоты я никогда не видал.

Каким образом Ловчен мог быть взят, даже при современной артиллерии и при аэропланах, — ни один стратег не объяснит, кажется, десяток черногорцев мог бы отстоять его от целой армии. И, однако, Ловчен был если не взят, то сдан.

А вскоре после этого старый король Никола проехал через Рим в Европу. Он был тестем итальянского короля; и, однако, в Риме он был принят только на вокзале, в парадных комнатах. И газеты о проезде короля Николы отозвались только в хронике. А в военных кругах тогда говорили: «Взять Ловчен невозможно; можно только взять за Ловчен».

С момента падения Ловчена Черногории не стало. Вероятно, это очень хорошо — объединение всех балканских сербов; но все же Черногории больше нет.



## НА МАЛЕНЬКОЙ ВОЙНЕ

Ночью, от вокзала по шпалам на запасной путь, в предшествии носильщика, но и сам тяжело загруженный, все же добрался до заготовленных для нас вагонов: последний «нормальный» поезд от Белграда в Софию. Дальше будут только военные поезда. Война еще не объявлена, но корреспонденты больших газет уже летят на будущий фронт. Мое назначение — болгарская армия.

Это было тогда, когда аэропланы были только игрушками и не обслуживали войны. Это было за два года до Великой Бойни.

Вагон первого класса набит не хуже скотского: почтенные болгарские чины, дипломаты и корреспонденты; много дам. Но по тем временам русский на Балканах был персоной — и место немедленно нашлось. А главное — у спутников оказались съестные припасы, о которых я не успел подумать; на станциях не оказалось ничего, а ехать пришлось двое суток, пропуская вперед военные поезда.

В Нише на станции всякие строгости. Вместо буфета — склад хлебных ковриг, охраняемых часовым. Подбегает какой-то офицер и спрашивает: «Это вы — русский?» — «Я». — «Поезд простоят три часа, пойдите ко мне, я комендант». — Я подчиняюсь, и он приводит меня к себе домой, где за большим столом обедает семья. — «Будьте гостем!» — Не спрашиваю объяснений такой любезности, беру ложку супа и подношу ко рту. Небо

в молниях, и рот полон расплавленного металла; глаза вышли из орбит, в тумане плавают люди, спокойно хлебающие чорбу: я забыл про силу болгарского перца! Но я голоден и справляюсь с трудной задачей. Возвращаюсь сытый и по дороге спрашиваю любезного хозяина: «Почему вы меня позвали?» — «Но ведь вы русский, я сразу узнал! Я учился в России. От какой газеты?» — «От «Русских ведомостей». — Он трясет мне руку, умиленный: — «Боже мой, Боже мой, я всегда читал ее студентом!»

В Софии много ласки, почтительности — и никакого движения. Уже началась война, уже считают убитых — а мы, военные корреспонденты и военные атташе, сиднем сидим в болгарской столице. Американцам не терпится: ухитряются купить частный автомобиль и летят на фронт; через день оказывается, что они сидят где-то на пути под арестом, а машина отбрана. Но Василий Иванович уже впереди, уже на фронте, и только он; это, конечно, Немирович-Данченко, болгарский любимец и участник освободительной войны; с ним конкурировать невозможно.

Его настигаем в Старой Загоре. Здесь Фердинанд, главнокомандующий Савов и председатель народного собрания доктор Данев, которого называют душой событий. Разделились на два кабака: «Златен Лев» и «Звезда»; в одном обедают дипломаты и военные, в другом корреспонденты и юристы; Данев обедал с нами, беседуем дважды в день за чорбой и «прасенцем печеным». Умница, хитрый, разговорчивый и конспиратор; ничего не сказав, умеет поддерживать разговор интереснейший. Всегда в черной рабочей курточке и высоких сапогах, никаких знаков и значков, которыми любят украшать себя штатские в военной среде.

За мной прислал председник — старозагорский губернатор: — «Садитесь! Мальчик — кафу!» — К нему вереницей входят с бумагами, докладами, нет времени сказать двух слов: «Уж простите, подождите! Мальчик — кафу» На пятой чашке турецкого кофе начинает биться сердце. За окном лошадиный топот:

«Ну вот, теперь пойдём!» — Десятка два коней, плохих, крестьянских. Каждого проводят перед нами. — «Выбирайте!» Приглядевшись, выбираю коня повыше и побойчее. Председник одобряет выбор: «Лучший конь! Вот и позвольте его вам преподнести». — «Да почему же?» — «А вы как, на палочке поедете? Купить негде, все реквизированы». — «А как другие?» — «Нам не до других, а вы — русский».

Нанимаю денщиком старого болгарина; ему тот же председатель дает вторую лошадь поменьше и помирнее. И, конечно, два седла — где их достанешь? Я любитель казацкого — в нем усидчивее и чувствуешь себя джигитом в длинных брюках, крахмаленом воротничке и пенснэ. Никогда не видал всадников смешнее военных корреспондентов! Пожалуй, лучше других был итальянский футурист Маринетти, ныне — фашист и сенатор, а в те времена — просто болтун и неплохой парень. А как описывал бои под Адрианополем! Гром и молния! Короткими строчками, криком, звоном и тарабумом! А главное — ни разу боя не выдавши, потому что, кроме русских и одного англичанина, никого на позиции не пустили, даже военных атташе. Но у Маринетти безмерно развита сила воображения.

Скучно в захудалом городишке. Для развлечения ловлю на улице Фердинанда: как только увижу — нацеливаюсь в него «кодаком»; стараюсь поймать его вместе с сыновьями или с Савовым. И замечаю, что он позирует: делает бравое и веселое лицо. Ловлю профиль: у него замечательный нос, исторический!

Наконец, едем в Мустафа-Паша, взятую в первые дни войны турецкую деревушку. Приезжаем ночью, квартир нет. Возмущенных атташе и большинство иностранных корреспондентов, продержав ночь в вагонах, отправляют обратно в тыл. Нам шепнули, чтобы устраивались сами. Устроились: вышибли дверь заколоченного дома и поселились. Кормежку присылают из штаба, куда ходит мой опытный денщик. Потом встречаю штабного интенданта: улыбается:

— Пошлю вам хоть сардинок, а то чем закусываете рюмочку?

— Я не пью.

— А для кого же ваш денщик каждый день берет бутылку водки?

Осрамил меня, разбойник, а еще старик. Заявил: «Русский без этого не может! Ему и бутылки на день мало!» — Ну, русскому нельзя не отпустить.

На рассвете стук в окно. Вместо форточки дыра в стекле, которую я затыкаю фуфайкой; месяц ноябрь, снежно и холодно, а отопляемся все одним мангалом.

— Выходите тихонько, других не будите!

Солдат, он же военный цензор, он же социалистический депутат, Гр. Василев, позже — член «болгарской делегации», объехавшей Европу.

— Разрешили пустить вас на позиции, но чтобы никто не знал. Еще одного русского и одного англичанина.

Коня моего, в честь газеты, зовут Русвед. Три корреспондента, три цензора и мой старик. Пути тридцать километров. И будто бы сегодня «будет дело». А Василий Иванович, конечно, давно впереди, вместе с Радко-Дмитриевым, на пути к Чаталдже. Но он — вне всякого конкурса!

И вот, глубоко штатский человек, вижу войну. Пальба ближе. Какие-то холмы и холмики, на одном холмике толпа всадников. Это он, знаменитый профиль! Напрасно называли Фердинанда трусом — я видел его на очень опасных местах; в тот же вечер близ этого холмика мы с английским коллегой попали под жестокий обстрел — исключительно по неопытности, да еще потому, что заплутались. Но покрасоваться Фердинанд любил: иначе, зачем главе государства торчать на холме, позируя для батальной картины? Несомненно, его нам показывали.

Нечаянно показали и то, что следовало скрыть. Меня облюбовал один полковник, русский выученик. С ним проехали

по рядам хмурых солдат, он сказал им, что полагалось; на наших глазах, от холма к холму, вытянувшись в линию, они подобрались к неприятельским рядам, на наших же глазах, на склоне дня, их обстреляла собственная батарея, — и бедный полковник бросился к полевому телефону, который оказался не соединенным с батареей. Глубоко штатский человек, я внимательно присматривался и был уверен, что так все и полагается, что это и есть — стратегия. Пулям я не кланялся — потому что не подозревал, что стою под пулями. Когда, на пути к батарее, до которой так и не дозвонились, мы попали под обстрел шрапнелью, я был совершенным героем, не погонял коня и не прерывал разговора. По сторонам, в кустах, вырывались какие-то белые клубы, и с неба что-то сыпалось, а грохот не давал разговаривать — но этот грохот я приписывал соседству нашей батарее, а остального просто не понимал. В общем, это было ново и забавно, но я не знал, что такая забава опасна и не разделял нервности полковника, который подстегивал коня. Позже он одобрительно говорил:

— Сразу видно русского! Смелый народ! Но, конечно, — это не первое ваше сражение?

Что ж его разочаровывать! Я выпятил губу и сказал: «Д-да, бывало!»

Решил быть героем до конца. Переночевал где-то в полевом штабе, наутро выехал один на позиции. Другому нельзя — русскому все можно: скажешь «братушка» — и пропускают куда угодно. После ночного боя было тихо. Спешился и добрался до траншей. Война была маленькая и простенькая: в тылу формальности, на позициях милый быт. Офицеры рады видеть приезжего русского интеллигентного человека. Полежали на травке за леском, закусили, покурили.

— Хотите пройти в секрет? Оттуда турок видно.

Шли, потом ползли. На пути неубранный труп турка: смотрит в небо, блестит белыми зубами. И в головах у него качается красный полевой мак. Все театрально и совсем не страш-

но, ни на смерть, ни на подлинную жизнь не похоже. Однако до секрета не доползли — засвистели пули. «Вашей жизнью рисковать не можем!» Я думал, что они шутят, но нужно было слушаться. Турок после все-таки показали: с наблюдательного пункта в полевой бинокль. А вдали, в дымку, виднелся город.

— Это Адрианополь?

— Да, это Обрин!

На обратном пути встретил своих спутников — цензоров, Василева и Семена Радева. Василев, социалист, по своему солдатскому званию, подтягивался перед офицерами; стамбуловист Радев, талантливый и широко известный, тоже солдат, а впоследствии посол и видный дипломат, держался независимо. От них узнал, что моя вторая лошадь «пала в бою», и ординарец ушел пешком в нашу деревню. Это было очень удобно для будущих рассказов, но я был уверен, что мой старик попросту продал своего немудрого конягу.

Так, глубоко штатский, я «смотрел войну», — по-нынешнему маленькую и смешную, почти «безопасную», хотя и положившую начало мировым событиям.

Две-три поездки на передовые позиции — и несколько недель отчаянной скуки в турецкой деревне. Состязанье корреспондентов в измышлении сенсаций. Русские добровольцы — в большинстве авантюристы и пропащий народ, несколько юношей-энтузиастов. Статьи, телеграммы, хотя писать не о чем. Наконец, согласие газеты: «Можете вернуться в Софию».

Здесь сенсаций больше; главная — слухи о перемирии. У каждого из нас хороший платный информатор; мой обслуживал также и газету «Матэн». И вот оба мы с французским коллегой спешим на телеграф:

«Несмотря на утверждения, что мир будет подписан на этих днях, могу сообщить из бесспорных и верных источников, что перемирие подписано не будет».

Сенсация! И мы первыми ее сообщили! Сведения — непосредственно из военного министерства, и только нам!

Приятно исполнить долг корреспондента! На утро просыпаюсь, лениво беру газету и читаю:

— Вчера перемирие подписано сторонами...

Укладываю чемоданы и жду. Краткая телеграмма по-русски из редакции, всего в два слова:

— Эх, вы!

И смирененько еду на вокзал. Скучно на войне, тянет обратно в мою Италию. Собственно говоря, роль сенсационного корреспондента мне совсем не подходит. Исторические события, исторические фигуры — обо всем этом приятнее читать, чем писать.

Утешаю себя коробкой болгарских папирос с надписью на прозрачной обертке: «Насладата е плод и награда на труда». Затем вынимаю свой походный дневник и заносу в него предложение:

«Как противна подкладка всех великих событий, творимых великими людьми! Я знаю только одного великого, и имя ему народ. Личности ничтожны. Чем ближе подходишь к «великому человеку», тем яснее чувствуешь, что и он носит такие же кальсоны, как и его секретарь».

Это уж — явно от обиды! И вот сейчас я перелистываю ту же тетрадочку, где записано много встреч, бесед, интервью с людьми, попавшими в историю и энциклопедические словари, — и думаю, что, пожалуй, и в состоянии обиды человек может высказать довольно правильную мысль, хотя бы и с излишней резкостью...

## «ДЕСЯТЫЙ ДЕСЯТОК»

На днях я читал изданную в России переписку забытого литератора, писавшего в 50—60-х годах прошлого века, участника нечаевского процесса, И.Г. Прыжова. В его письме Н.И. Стороженку есть такая фраза: «Из газет, из журналов видно, что Немирович-Данченко путешествует по Уралу. Большое спасибо сказал бы я вам, если бы вам удалось через чье-нибудь посредство уведомить его: если он посетит Сибирь, то постарался бы заглянуть ко мне, пока я жив, — я награжу его такой массой материала, что он весь век будет молить за меня Бога».

Не знаю, побывал ли Василий Иванович у Прыжова, — потому что в этом письме нечаевца, написанном пятьдесят лет тому назад (1883 г.), речь идет, конечно, о сегодняшнем нашем юбиляре, Василии Ивановиче Немировиче-Данченко, в те дни — уже известном литераторе, за поездкой которого с интересом следили, приезда которого ждали местные интеллигентные люди и в России, и в Сибири. Не приходится говорить о молодежи, — для нее это древняя история, — но и для нас, вступающих в старость и даже в ней уже пребывающих, восьмидесятые годы — не вчерашний день.

Но дело тут не в возрасте, — хотя и пред годами нельзя не склоняться с почтительностью; дело в том, что для такого человека, как Василий Иванович, сама история — не писанная книга, а прожитая жизнь. Он был юношей при крепостном



праве, молодым человеком в эпоху великих реформ. Он был современником Тургенева, Достоевского, Щедрина, Гончарова, Толстого; Чехов, Горький — для него младшее поколение. Он видел четыре царствования и одну республику в России, застал вторую империю во Франции, присутствовал при рождении современной Италии, участвовал в освобождении балканских славян. При нем много раз перекраивалась Европа, и в дни мировой войны он мог вспоминать, как Франция потеряла Эльзас и Лотарингию.

Согласитесь, что такая жизнь сама по себе чудесна. Но еще чудеснее то, что Василий Иванович никогда не был стариком: на его долю выпала вечная молодость. Я пишу это не ради фразы, обычной в дни почтенных юбилеев; всякий, кто его знает — подтвердит мои слова без колебания. Путь от середины девятнадцатого до середины двадцатого века он прошел той бодрой и легкой походкой, какой должна завидовать современная молодежь. И этот путь был всегда трудовым, часто — тернистым. Разве можно сомневаться, что на своем десятидесятилетии Василий Иванович начнет новую книгу? Взгляните на его почерк, ровный и уверенный: ни одна буква не показывает усталости. И разве не счастье и не утешенье, что такие люди существуют?

Я сдерживаю в себе желание рассказать о личных встречах с Василием Ивановичем, — за четверть века скитаний по Европе, в дни мирные, и в дни военные. Лучше расскажу, как шел однажды по его следам. Мы были военными корреспондентами при болгарской армии в 1912 году; я — обычным, Вас<илий> Ив<анович> — «вне конкурса»; я — впервые, Вас<илий> Ив<анович> — вторично, так как в первый раз он выступал в той же роли и там же в год моего рождения. Туча военных корреспондентов крупнейших газет всего мира стремилась преодолеть военные строгости и поразить мир сенсациями; американцы бросали сумасшедшие деньги, покупали автомобили, чтобы прорвать запретную зону, платили золо-

том за ничтожнейшую информацию. И всех нас до единого бесшумно опередил Немирович-Данченко, всегда спокойный, любезный, не позволявший себе не только спешки и суеты, но и небрежности при завязывании галстука. Пока мы добрались до Мустафа-Паши, под Адрианополь, — он был уже на пути к Чаталдже с передовой армией. И вот, я помню, как однажды привилегированным корреспондентам показывали поле вчерашнего боя. Офицер, выехавший со мной, рассказывал подробности весьма удачного для болгар сражения. Он говорил:

— Наши отряды стояли здесь, турки были вот там, батарею мы выдвинули сюда... а вот с той сопки левее поля, наблюдал за боем Василий Иванович Немирович-Данченко.

Как будто и присутствие Вас<илия> Ив<ановича> входило в стратегический план главного штаба.

Помню еще, как накануне падения Адрианополя я решил вернуться в Софию, откуда было легче информировать газету. Ехал в почти пустом вагоне военного поезда, скучал и дремал. И вот на одной станции в вагон вошло человек пять штатских людей во главе с господином в цилиндре. Оказалось — представители города желают приветствовать корреспондента «Русских ведомостей», — почет по тем временам естественный. И первое, что сообщили мне посланцы города, было:

— Позвольте вас уведомить, что Василий Иванович Немирович-Данченко вчера с этим же поездом изволил проследовать в Софию.

Это было сказано тем тоном, каким говорят о проезде высочайших особ. И, действительно, Василий Иванович был для болгар высочайшей особой.

Это было двадцать два года тому назад, когда Вас<илий> Ив<анович> завершал седьмой десяток жизни. Но даже в голову не приходило спросить, как он справляется с тяготами походной жизни, в то время и в тех краях весьма нелегкой. На

войне он чувствовал и держал себя так же просто и бодро, как на курорте, как в его любимом Риме на вилле Боргезе. И таким же точно, лет пять тому назад, я видел его в Праге в воскресный день, — в день его приема. При мне у него перебивало человек двадцать, а за день, вероятно, вдвое; за два часа я устал от толпы и говора, — он каждого встречал и провожал мило, дружески, без признака усталости или скуки. Совершенно необыкновенный человек.

Железное здоровье? Счастливый характер? — Нет, это — особая порода людей, почти исчезнувшая, отличающаяся от нас страстной жадой жизни, простотой веры в нее и не одной физической, а и нравственной стойкостью. Я не смущаюсь того, что Вас<илий> Ив<анович> прочитает эти строки: в них не расшаркивание перед «юбиляром», а искреннее восхищение перед человеком, уже принадлежащим истории. Пусть он укажет нам рецепт: как прожить почти век, не утратив жизнерадостности и не приобретя ни одного врага. Как в долголетнем литературном пути не проявить признака усталости, — потому что во всем, что он писал и пишет до сих пор, видна жажда беседы с читателем и нет никакой вынужденности. Или и действительно жизнь «не напрасно, не случайно», а «на радость нам дана»? Но ведь этой сказке уже давно никто не верит, — или опять подвергнуть пересмотру предмет старого и утомительного спора?

Что пожелать человеку, взявшему от жизни все лучшее? Столетнего юбилея, — но в нем никто не сомневается. Не ему, а нам всем пожелаем подняться до той высоты жизненности, на которой застает Василия Ивановича Немировича-Данченко его десятый десяток.

## ПРО БАБУШКУ

Земский начальник остолбенел: навстречу ему шел живой портрет Николая Константиновича Михайловского, и даже пенсне на носу сидело слегка набок.

Земский начальник был страстным поклонником Михайловского и подписчиком «Русского Богатства». В этом не было ничего удивительного. Дело происходило в городе Перми, на Сибирской улице, которая сейчас, вероятно, переименована, в духе эпохи и к удивлению закамских медведей, в улицу Розы Люксембург или Беспощадной-Борьбы-со-Спекуляцией. Но тридцать лет тому назад на той самой Сибирской улице мирно спал в белом одноэтажном доме губернатор Арсеньев, человек почтенный, красивый, при седых усах — порядочный бабник и ровно настолько безвредный, насколько мог быть безвредным губернатор в отдаленной провинции. Немудрено, что при нем и земские начальники могли поклоняться идеолу революционного народничества и властителю дум тогдашней молодежи.

Тем временем, однако, портрет Н.К. Михайловского прошел мимо. Земский начальник пришел в себя и сообразил, что другого подобного случая ему в жизни не дожидаться. Поэтому он круто повернул, догнал портрет, вежливо снял форменную фуражку, крикнул и сказал в упор:

— Вы — Николай Константинович Михайловский?

По лицу портрета пробежала тень неудовольствия, но все же он ответил:

— Да.

Тут земский начальник, столь неожиданно выигравший двести тысяч, спешно и заикаясь от счастья, произнес ряд несвязных восторженных слов и восклицаний, которые, в общем, могли быть выражены тремя стихотворными строками, вроде:

Молясь твоей многострадальной тени,  
Учитель, перед образом твоим  
Дозволь смиренно преклонить колени...

С этого момента земский начальник ни на шаг не отставал от Н.К. Михайловского. Это ему не помешало мгновенно оповестить весь город о высоком посещении и о том, как почастливилось ему, земскому начальнику, установить личность высокого гостя на Сибирской улице, между колбасной Ковальского и музыкальным магазином Симановича.

Город, конечно, взволновался. О том, кто такой Н.К. Михайловский, знали очень немногие, и вряд ли даже единицам было известно, что Н.К. Михайловский некоторым образом совершает увеселительную прогулку по Волге и Каме, так как его выслали из Петербурга на время, пока изгладится нежелательное впечатление от одной из его публичных речей. Знали только, — да и то, доверяя на слово земскому начальнику, как лицу официальному, — что приезжий гость — знаменитый писатель и пробудет в городе несколько дней.

Больше и искреннее всех взволновался миллионер-промышленник и пароходчик Н. В. Мешков, с этого момента ставший убежденным эсером, от программы минимум до программы максимум. Он назначил день для торжественного катанья Н.К. Михайловского на одном из своих пароходов, причем был приглашен фотограф увековечить властителя дум и владельца миллионов, стоящих вдвоем на капитанском мостике, а внизу на пристани — толпа обыкновенных людей.

Но главный номер чествования устроила уездная земская управа: ужин на сорок персон в зале общественного собрания.

На этот ужин Н.К. Михайловский явился с почтенной дамой, о которой говорили шепотом, что эта дама тоже очень известная и знаменитая, но что имени ее произносить нельзя. С участников ужина брали в это слово, и они давали слово с тем большей торжественностью, что почти ни один из них ее имени и не знал.

Почти тридцать лет я, тоже участник ужина, держал это слово, — но больше не в силах. Спутницей Николая Константиновича Михайловского была та, которую и сейчас называют не по имени, а просто — Бабушкой.

Ужин был замечательный. Я думаю, что подавалась стерлядка кольчиком и, вероятно, глухарь с брусничным вареньем, а на десерт — пломбир. Пили мы много, и водку, и удельное ном<ер> 18 и 22. Николай Константинович умел и старался не отставать, — но от кондовых пермяков не отстать трудно. Бабушка (по тому времени, впрочем, еще не Бабушка) сидела рядом и посматривала на всех серьезными глазами.

И вот, сияющий и довольный, встал председатель управы, почтенный земец, только не из очень образованных и немного чиновник (при нем всегда умный и просвещенный секретарь, заботами которого был устроен ужин); слегка покачнувшись, но, быстро обретя равновесие, председатель заговорил — и провозгласил тост.

Тост, конечно, за почтенного нашего гостя, знаменитого писателя земли русской, перу которого и пожелаем дальнейшего процветания на славу нашей родины. Ныне же в прикамском губернском городе Перми приветствует его пермское земство, призванное волею Нашего Возлюбленного Монарха и по Его предначертаниям обслуживать нужды местного населения...

Нелегко было Н.К. отвечать на такой тост, но так как он был незаурядным оратором, то нашелся. Прежде всего он заявил, что тост в таком контексте он принять по совести не может (председатель немного смутился). Но для него, Михайловского, ясно, что председатель имел в виду сказать иное, — о самостоятельности земских учреждений (председатель кивает), о роли третьего элемента (председатель в восторге), о необходимости борьбы за народное право (председатель растроганно встает), за мелкую земскую единицу и против административного произвола (председатель в слезах бежит чокаться).

Все мы, участники ужина, были очень довольны, что великий писатель и наш председатель поняли друг друга до конца, и что все обошлось благополучно, хотя люди и выпивши. А то бывало у нас нередко, что кончались почетные ужины серьезной дракой.

Бабушка сидела смиренно, слушала речи, но сама не говорила. Мой сосед за ужином спросил меня:

— А это кто же? Жена ему или сестра?

— Не знаю.

— Должно быть, сестра. Ее тут один назвал Катериной Константиновной.

Я рассказываю об этих далеких временах, чтобы доставить удовольствие Бабушке, — верно, она тогда не менее посмеялась речи председателя управы.

И еще напомним, как после ужина, уже глубокой ночью, шли мы небольшой толпой по булыжной мостовой Сибирской улицы, провожая наших почетных гостей домой, в гостиницу Благородного собрания. Шла больше молодежь, а старички разбрелись по домам или остались допивать недопитое. И впервые в истории города, со времен просветителей пермяков и зырян — святых Кирилла и Мефодия, улицы Перми оглашались пеньем «Варшавянки» и «Интернационала»; эта последняя песня еще не была тогда официальной и пелась со свободным вдохновением.

Проходили мимо дома губернатора, который, конечно, спал и сон которого охранялся городовым.

Городовой сначала высунул из будки нос, потом появился в целом виде, со страшной шашкой, кожаные ножны которой были острее лезвия, с кобурой револьвера, в которой лежала краюшка хлеба, и в фуражке с огромной тульей. Увидав, что идут и поют не какие-нибудь жулики, а почтенные граждане и господа студенты, городовой приложил руку к козырьку, проводил компанию взглядом и стал туго обдумывать, надлежит ли докладывать о таком ночном происшествии околоточному. В инструкциях по полиции случаи подобного рода предусмотрены не были и ни подо что не подходили, так что можно было и за бездействие власти и за превышение власти получить по зубам не только от околотка, а и от самого полицеймейстера.

Так закончился наш парадный вечер. Кажется, никаких последствий местного значения эта маленькая провинциальная демонстрация не имела. Я тогда носил студенческую тужурку и был представителем прессы, так что предполагался осведомленным. И, однако, все, что могу припомнить в дальнейшем в связи с этим торжеством, ограничивается получением мною и другими от канцелярии земской управы повестки об уплате одного рубля за участие в ужине такого-то числа. Кто заплатил, а кто, пожалуй, и до сих пор остается должен.

О Бабушке во всем этом мало, — но ведь когда говорится речь о «борьбе за народное право» или когда слышится на улице бойкая песня — это все равно, что о Бабушке.

Так уж привыкли думать и говорить, что Бабушка — самый отчаянный на свете революционер.

С тех далеких дней я никогда не имел счастья видеть Катерины Константиновны; только почерк ее знаю. Может быть, при близком знакомстве Бабушка Русской Революции и поражает людей свирепостью и кровожадностью, хоть и не вяжется это как-то с портретом старой русской женщины в белом платке, с добрыми глазами и славной улыбкой уст, так



часто произносящих имя Божье. И вот я заочно, а потому беспристрастно, составил себе особое о Бабушке представление, на которое она пускай не обижается, и которым я охотно поделюсь.

От одного молодого человека, пившего в России молоко и за границей начавшего пить бордо, я услышал про Бабушку, что через Бабушку погибла Россия. Я ему на это сказал:

— Это вы, молодой человек, напрасно говорите, и довольно глупо. Потому что Россия, во-первых, не через Бабушку, а сама по себе, а во-вторых, не погибла и погибать не собирается.

Бабушка же это — вся наша чудесная история, наша изумительная, еще не написанная книга. Ее и не напишешь по-просту: она похожа на занимательную и нелепую сказку. Ни логики в ней нет, ни системы; но хороши слова и смысл их глубок.

Где это еще видано, чтобы молодые женщины, которым как раз время весело жить и молодо любить, надевали посконное платье и шли по деревням изучать народ? И чтобы потом, на этот путь вступив, так всю свою жизнь до глубокой старости и отдавали себя прекрасной мечте — служить этому народу по крайнему своему пониманию его блага? В мире происходят всякие события, меняются границы государств, кувырком летят правительства, тарантасы обзаводятся пропеллерами, вместо земской почты — радио, вместо лучины — динамо, вместо старой тюрьмы — новая, на смену Богу — разум, на смену разуму — Господь, а она, эта русская женщина, даже в шаге не сбилась; идет себе по дорогам своей жизни и несет свою прекрасную мечту, от этапа к этапу, через горе и радость, от холода к теплу, через тюремные дворы и светлые полянки. Идет, несет в руках полную чашу веры, — и хоть бы капельку пролила.

Может быть, рассуждая по-нынешнему, нужно бы давно и чашу выплеснуть и путеводную звезду свою заподозрить в обманчивом свете. За это время другие умные головы

столько напридумали, столько перепробовали, вдоль и поперек исполосовали человеческую душу, накроили и нашили новых людей, одарили их великим счастьем автоматических перьев и электрических кресел; уж устарели и заново изданы словари, прежние потомки стали предками, прошла мода на полных, прошла и на худых, заперся папа римский в Ватикане, снова вышел папа из Ватикана, лихорадка стала инфлюэнцией, инфлюэнца испанкой, испанка гриппом, — а эта непостижимая Бабушка только до одного и додумалась: раньше ходила в народ — теперь пошла в человечество. А и чаша та же и в чаше то же: неподкупная и внеразумная любовь.

И до чего мне неинтересно, с какой «партией» Бабушка «работала», в каких заседаниях она заседала, и одобряли ли ее пензенское временное правительство и сарапульская директория! И до чего смешно слышать, что села Бабушка не на той станции и приехала не туда. Как же так вертится земля вокруг оси, когда никакой у нее оси нет? Как бежит река без ног и без губ улыбается солнце? Есть еще такие люди, которые, выслушав чудесную сказку, непременно говорят:

— Этого не могло быть, потому что ковры по воздуху не летают, а рыба не говорит человеческим голосом.

И есть, значит, такие люди, которые никак не могут отделить бытие от газеты и человека от программы, для которых писаная история важнее живой жизни, а ботаника вкуснее цветущего поля. Крепкий народ, Бог с ним, и уж очень несчастный. Пьют они не воду, а аш-два-о, судят же не по совести, а принципно-ально. Таких в рай пускают просто, по паспорту, даже без личного опроса, и там сразу — в назначенное стойло за номером.

Биография старого человека вообще — чудо; жизнь Бабушки — чудо тройное, настоящая поэма. Это даже не биография, а сама живая Россия в красках и музыке. По ней можно учиться читать, смотреть и слушать. А понатужившись — и понимать.

Англия — тоже женского рода, но ее можно мыслить в мужском образе; Россия же мыслится только в женском. Немудрено, что так легко учуять Россию в жизни старой женщины, посвятившей всю свою жизнь состраданию и сорадости родного ей народа. А уж в чем не грешна и что угадала — судить пока не нам.

Вот теперь Бабушку чествуют по случаю дня юбилея. Ну что ж, в этом большой беды нет, а старого человека почтить хорошо. Выше я рассказал про речь председателя земской управы, не совсем складную и подходящую к случаю. Но я думаю, что он, председатель, хоть и напутал тогда, а искренне радовался, что довелось ему почтить знаменитого писателя, так сказать, — исполнить свой гражданский долг. Иной раз мало ли что скажется, всего не предусмотреть, — лишь бы с хорошим чувством и от чистого намерения.

Может на любую эпоху найдется свой председатель управы, догадливый и отходчивый. Бабушка же за долгую свою жизнь не гнушалась стольких речей, что ее теперь ничем не удивишь. Будет читать и слушать, по-своему проверять человека и оценивать — таково ее привычное занятие. А кто-нибудь запомнит, запишет, а по прошествии лет и расскажет — тоже по-своему.

## НАЧАЛО «ВЕЛИКИХ ДНЕЙ»

Июль 1914. Рим. Кабачок «Маленького человека». Под виноградным навесом, за длинными обеденными столами, сто экскурсантов — русские учителя и учительницы. В экстренном выпуске газет телеграммы об объявлении Австрией войны Сербии. По программе дня — осмотр экскурсантами Форума и Колизея.

Кроме двух экскурсантских групп в Риме, в моем ведении еще одна в Неаполе, одна во Флоренции и одна сегодня приезжает в Венецию, — всего двести пятьдесят русских граждан, которых мобилизация и война может задержать за границей. Надо им это объяснить, надо огорчить их вестью, что кровные деньги, скопленные ими на поездку за границу, наполовину пропали, так как необходимо немедленно собираться домой. Но как я их отправлю? Чеки и аккредитивы уже недействительны, в собственных их тощих карманах не наскребется и на выезд, а обычный путь возврата лежит через Берлин. Как я пошлю их в Германию, которая завтра может оказаться в войне с Россией?

Главное, — чтобы не было паники и чтобы последние дни и часы их пребывания в «стране сказки» не омрачились тревогой. С небольшой эстрады читаю им телеграммы и даю разъяснения: «пока ничего особенно страшного нет, Россия в войну не втянута». Сам уверен, что это случится не сегодня — завтра.

С руководителями условились: показать экскурсантам как можно больше, отвлечь их от беспокойных мыслей.

Днем позже — телеграфный приказ по частям: всех спешно направить в Венецию, откуда есть пароходы на Константинополь и Одессу. Мой помощник, студент, летит в Берлин — вывезти экскурсантов в Италию, которая в войну пока, конечно, не вяжется. Найти в Швейцарии и доставить сюда же тамошние группы, — они у нас по всей Европе.

Венеция. Два отеля набиты русскими. По памяти о прежних годах, — кредит имеем неограниченный; шесть лет русские учительские экскурсии разъезжают по Италии, к ним привыкли.

Вступаю на авантюрную дорогу, — нужно спасти соотечественников. Банки по аккредитивам не платят, в кармане ни копейки, — и все-таки иду в пароходное бюро, приодевшись получше, приняв вид самый независимый.

— Когда идет «Сардиния»?

— Через пять дней.

— Сколько пассажирских мест? Прекрасно, оставьте за мной все места второго и третьего класса.

Почтительное внимание!

— Нужен залог? Или вам достаточно консульского заверения?

Знаю, что плата золотом. С венецианским консулом договорились: в такой момент он не может отказать в гарантии, но, конечно, в долг, с тем, что экскурсанты заплатят по приезде на родину. Это отмечается в паспортах. Но половину платы за проезд я должен достать сам, то есть внести несколько тысяч рублей золотом.

Произношу горячие речи, убеждаю тех, у кого есть деньги, вносить в «фонд отъезда». Кто посостоятельнее, — дают, но много бедноты, не имеющей ничего. Собрав, что можно, объявляю, что поедут либо все, либо никто; нельзя оставлять в чужой земле товарищей по экскурсиям. Убеждаю двое суток, — и, наконец, вычерпаны все деньги из всех кошельков. Старо-

сты собирают, подсчитывают, записывают. С консульским обеспечением — хватает для уплаты за весь пароход. Теперь уже уверенно прошу оставить за мной и все места на следующий рейс — пароход «Сицилия».

В Венеции мы все заметны: иностранцы успели выехать, маячат на площади только русские. Ко мне подбегают какие-то дамы в туалетах, показывают аккредитивы и бриллианты, умоляют дать им место на палубе парохода. Но палуба и так будет занята нашими. С бриллиантами можно и подождать развития событий, — и приходится всем отказывать.

Помню отъезд — и страшный и трогательный. Слова, слезы и прощальные приветствия. «Граждане» возвращались на родину, мы, трое эмигрантов, не имели на это права даже в такой момент. Вернулись в пустой отель, — но скоро приедут запоздавшие группы, в том числе две из Швейцарии, куда вытолкнула их Германия. Кое-как их разыскали, и для них снят второй пароход.

В Риме у меня образуется своеобразное почтовое отделение: из России шлют письма застрявшим в Германии и Австрии. Нужно их разыскать, доставить письма, получить ответы и переслать в Россию. Застрявших во вражеских странах немало; среди них И.И. Янжул, оставшийся в Висбадене, где он лечился. Его жена крупным и ясным почерком, чтобы облегчить работу цензуры, пишет мне немецкие письма и получает от меня такие же переводы писем А.А. Чупрова и доклады о местопребывании М.М. Ковалевского, который успел вовремя выбраться из немецкого курорта. И.И. Янжул — мой московский профессор, и горько было получить последнее письмо от Екатерины Николаевны:

«Мой муж скончался, и сегодня я его похоронила... И вы погорюете о смерти вашего старого учителя».

Жену И<вана> И<вановича> выпустили из Германии через Стокгольм; из Петербурга, при первом письме по-русски, она прислала мне его фотографию.

В середине августа, в неизменном кафе Араньо, сидим с Ф.И. Родичевым, также застрявшим. К счастью, на последнем пароходе, с которым я отправляю экскурсантов, есть несколько мест в трюме, — и завтра Родичев едет в Бари, чтобы поймать пароход. С ним едет товарищ министра просвещения Георгиевский и киевский генерал-губернатор Трепов, оба также в паролодном трюме. Лучшая участь выпадает на долю С.Ю. Витте и члена Государственного совета С.С. Манухина: им посольство исхлопотало каюту первого класса.

Родичев — барин-радикал, и совсем не европеец по облику. Для него даже нет войны европейской: есть война, зря начатая русским правительством, вообще все делающим зря. В моем дневнике записаны его слова:

— Мы, конечно, не готовы. Министр военный и министр финансов ничего не знают сами о наших военных силах и финансах. А энтузиазма нет, и не может быть ни малейшего... Попробуйте объяснить русскому солдату, почему он должен биться за какой-токой престиж? Чем вы его вдохновите на эту войну? Как?

С Родичевым отправляю заготовленные для «Русских ведомостей» статьи по-русски. До сих пор приходилось пользоваться только телеграфом и писать только по-французски и по-итальянски; хотя мы и союзники, но русского языка цензура не признает; на этом языке говорит всего сто пятьдесят миллионов, или немногим больше!

Понемногу русские исчезают. С дороги экскурсанты написали, что на пути встретили германского «Гебена» и думали, что пришел конец. Как бы то ни было, теперь все дома; только в Германии задержали одного экскурсанта, оказавшегося германским подданным. Родился в России, ни слова не говорит по-немецки, отец все не удосуживался переменить подданство. Теперь сына забрали — и прямым путем на фронт.

В августе — сенсация: царь пожаловал автономию Польше. «Гарантии вероисповедания и польского языка». Италья-

янские корреспонденты спешат в русское посольство за информацией. В моем дневнике наклеена газетная вырезка об интервью с послом Крупенским:

«Г. Крупенский уверил нашего сотрудника, что дело идет не о внезапном решении, вызванном событиями, а о давно обдуманном проекте, над осуществлением которого русские власти работали долгое время в сотрудничестве с весьма авторитетными лицами русской Польши. Возникший конфликт, — прибавил г. Крупенский, — лишь позволил распространить давнюю мечту царя на все древнее польское королевство, так как то, что сейчас сказано о Польше русской, будет распространено на Познанию и Галицию».

Впервые услышав о «давней мечте» русского царя, итальянцы восклицают:

— О, bella!

Совершенно неожиданное разъяснение дает документу болгарский посол Ризов, с которым я беседовал об этом в ноябре; Болгария была еще нейтральной.

— Знаете, кто инициатор этого воззвания?

— Говорят, будто бы Николай Николаевич, великий князь.

— О, нет, гораздо сложнее. Неужели не догадываетесь? Густав Эрве! Я это знаю от Лорана, моего близкого друга. Густав Эрве чистосердечно пришел к убеждению, что наступил момент дать полякам свободу веры, речи и преподавания. Он поделился мыслью с одним из французских министров, тот — с Делькассэ. Мысль понравилась, привилась. Телеграмма Извольскому, обсуждение в Петрограде, — и появляется воззвание Николая Николаевича.

Вскоре о том же пришлось говорить с лицом, приехавшим из Парижа. Это лицо отрицало любопытную версию и отрицало по сведениям «из первоисточника»: первоисточником был сам Густав Эрве. Верным было только то, что инициатива осуществления «давней мечты царя» шла из Франции.



Римскому старожилу и корреспонденту «интеллигентской» газеты оказывают честь; из фамилий, попавших в дневник, здесь отмечу одну, по тому времени бывшую мне почти неизвестной. Знал, что есть профессор Грушевский, а кто он был такой, — знал плохо. И когда однажды вечером ко мне зашел познакомиться почтенный и словоохотливый человек, я вышел в другую комнату, заглянул в энциклопедический словарь Граната, увидел большой портрет, пробежал биографическую статейку и снова вышел к гостю во всеоружии знаний.

Грушевского война застала в Карпатах, и его попросили удалиться в Вену. Русский подданный, но, как львовский профессор, австрийский чиновник. Приехал по делам в Рим, чтобы вернуться в Вену, а оттуда, через Будапешт и Бухарест, отправиться с семьей в Россию. Месяца три спустя он выполнил этот план — и попал в русскую тюрьму. Я же очень радовался, что мои с ним пространные интервью (тогда был острый интерес к украинским вопросам) целиком зарезала русская телеграфная цензура.

М. Грушевский рекомендовался «не русофилом, не австрофилом, а чистым украинцем». Однако в украинском сепаратистском журнальчике, издававшемся в Швейцарии на австрийские деньги (что журнал сам мужественно признавал), на первой странице печатался портрет Грушевского. «В борьбе партий, — говорил мне Грушевский, — я держусь не посередине, а в одинаково хороших отношениях с тем и другим полюсами». Все это говорилось, конечно, не для меня, а «для прессы». Я согласился на обстоятельную телеграмму в газету, и мы вместе проредактировали ее текст. Он у меня обедал и просидел до ночи.

По европейским обычаям полагалось отдать ему визит, — но я забыл спросить у него адрес. Рим — городок маленький, отыскать человека нетрудно. Я вспомнил, что существует близ Тринита-де-Монти отельчик, который итальянцы считают подозрительным по австрофильству, — и направился прямо туда.

Грушевский был поражен, что я его сразу отыскал; притом я застал у него молодого журналиста, украинца, сотрудника сепаратистского журнала австрийской ориентации. Молодой человек спешно вышел, но с той поры я стал аккуратно получать этот журнал.

С Грушевским мы договорились до «федерации»; меньшее было для него неприемлемым; большее казалось мне смешным. Думаю, что он должен быть довольным: федерация осуществилась!

## НА ПУТИ В ОТЕЧЕСТВО

Свой дом, своя страна — это такие простые и несложные понятия, что только в последнее время не приходится объяснять (например, итальянцам и немцам), что бывают люди, не имеющие ни своего дома, ни своей страны. В 1916 году, который я описываю, исполнилось десятилетие моего бездомного состояния (ныне идет, с перерывом, двадцать первый год). Незаконным местом пребывания была Италия, законным предполагался Нарымский или Туруханский край; мне не успели объявить точно, так как я раньше удосужился использовать молодые силы для побега. Теперь «вернуться домой» — означало проехать прекрасный путь из Рима, через Францию, Англию и северные страны, через Петербург, Москву, через Урал — в далекую Восточную Сибирь. Привычного путешественника такой путь не мог не соблазнять!

К тому же — Вл. Бурцев уже в Петербурге, живет в гостинице против памятника Александру Третьему и упорно не желает никуда уезжать — и с ним ничего не могут поделать! Примеры заразительны, а брыкаться я умею не хуже другого. Наконец — Нарым так Нарым, только бы не этапным порядком. «Русские ведомости» (покойный Н.В. Сперанский) на мою телеграмму отвечают письмом: «Ничего с вами не поделаешь! Только не торопитесь: пытаемся устроить беспрепятственный проезд до Питера через В.А. Маклакова». Вон

еще когда хлопотал по эмигрантским делам Василий Алексеевич! «Вестник Европы» (покойный К.К. Арсеньев) успокоительно пишет: «А за рассказ и аванс высылаем». Вокзал, кучка друзей, букет красной гвоздики... В кармане русский бессрочный паспорт, выданный приставом Тверской части, где на мною вклеенном листочке бумаги ныне покойный Гирс, римский посол, великодушно подписал мною же написанный текст:

«Такой-то заявил посольству, что он добровольно возвращается в Россию».

Но лучше всякого паспорта, по тем временам, журналистский билет: с ним как-нибудь проберусь через воюющие и нейтральные государства!

За этот путь я видел восемь столиц, включая две русских: нервный, готовившийся Рим, траурный Париж, спортсменски бодрый Лондон, три северные столицы, объевшиеся жирным нейтралитетом, в малом изменившийся Петербург, разухабистую, глубоко тыловую Москву.

Париж был действительно неузнаваем: печальный, темный, тихий и тревожный. Ни яркого освещения, ни нарядов, ни беззаботных улыбок, — но не было видно и раненых, которых только в России беспечно выставляли напоказ повсюду, а в других союзных странах скрывали по маленьким городкам и местечкам. Париж без музыки, без шумов; Париж без громких фраз: их время уже миновало, у всякого было дело, и от этого дела зависела судьба и Парижа, и Франции. Париж без иностранцев, Париж почти без мужчин, и почти все женщины в трауре. И всюду вывески — «молчите, не доверяйте!».

Но Лондон, как всегда, удобный, прочный, уверенный, богатый; только к ночи он превращался в море, по которому были разбросаны прикрытые сверху красные фонари, чтобы могли по нему неслышными лодками плыть автомобили. В тот год война еще мало отражалась на жизни английского обывателя:

Англия воевала не людьми, а фунтами; и не было никого, кто бы сомневался в победе.

Чудовищной и нелепой казалась в те времена необходимость иметь какие-то документы и испрашивать разрешения на проезд из Парижа в Лондон и дальше. Нынче европейские люди, а уж особенно русские, привыкли ко всему: человек без паспорта не человек. До войны за десять прожитых в Европе лет, в постоянных путешествиях, я ни разу не вынул из стола паспорта; правда — он был русский, «внутренний», но иного у меня никогда не было, и в суррогатах я не встречал надобности, — их заменяла визитная карточка или — на почте — журналистский билет. И вдруг — разрешение на въезд в Англию, в Гавре какой-то специальный трамвай до пристани, причем из трамвая выходить нельзя, пароход с потушенными огнями, спасательные пояса, а в Лондоне — новое ожидание запечатанного конверта, с которым нужно сесть в запечатанный поезд и ехать неизвестно в какой порт — для отплытия в Норвегию. Это казалось любопытной игрой в прятки, украшающей путешествие, но с непривычки было и обидным.

Все это происходило не то вечность тому назад, не то — на днях. В вечность ушли события. В вечность ушли и многие из тех, с кем я встретился за месяц в пути в Россию. Но совсем недавно с «великим еврейским диктатором» В.Е. Жаботинским мы напевали в Париже любимые неаполитанские песни, как это было до войны в Риме и во время войны в тихом Челси, лондонском квартале, милом сердцу художников. Впрочем, в то время Жаботинский, сейчас гремящий на конгрессах, был более россиянином, чем евреем, и более одесситом, чем гражданином мира и будущим президентом Палестины, куда его пока, кажется, не пускают. Писал он отличные статьи в «Русских ведомостях». Жаботинский показывал мне Лондон: «Вот это — триумфальная арка!» И на обратном пути: «Не забудьте, что вот это — триумфальная арка». Вестминстерское аббатство я догадался отыскать по плану сам. Но замечательнее всего

были английские солдаты в превосходно сшитой форме, поглощавшие на улице шоколад, который они вынимали из специального карманчика. Затем мимо той же арки я проехал на вокзал, предъявил свой пакет и был, как и все, погружен в вагон с завешенными окнами.

В «неизвестном порту» проверка паспортов, в том числе и моей филькиной грамоты, вполне удовлетворившей чиновников. Будто бы за какой-то занавесочкой подозрительным лицам «проявляли» спины, — не написано ли что-нибудь химическими чернилами. Затем — спасательные пояса на случай вражеских подводных лодок. Я не надел, сообразив, что в случае катастрофы раньше схвачу насморк, чем доплыву до норвежских берегов. На темной палубе подсаживаются удивительно не остроумные сыщики и на всех языках заговаривают о том, что «у немцев дела идут не так плохо, сэр, месье, синьор, мейн гер, господин»? Держу себя образцовым «канниферштаном», памятуя о мудрости парижских плакатов: «Молчите, не доверяйте!».

Рано утром — майское сияние норвежских фиордов. В следующем, третьем, периоде бездомности я непременно изберу пристанищем одну из северных стран, предпочтительно Норвегию; там прекрасно дышится, там пахнет хвоей, а люди сияют здоровьем. Я ехал с развалкой, отдыхая в городах, не торопясь использовать куковский билет. На вокзале в Христиании, ныне для нашего уха неблагозвучно переименованной в Осло, увидел русского посланника К. Гулькевича, которого знал по Риму. Но, как эмигрант, не подошел, чтобы не смущать его знакомством. Спустя семь лет, когда он сам стал эмигрантом, а я высланным советским гражданином, ничто нам не воспрепятствовало, в компании с общим другом, опять же ныне покойным, проф. А.А. Чупровым, запить янтарным фраскати добрую тарелку макарон в римском кабачке. Земля очень маленькая — встретиться легко. С другим посланником, шведским, Неклюдовым — без труда вспомнили, что уже беседовали в Софии в дни болгаро-турецкой войны, —

теперь продолжили беседу в Стокгольме. Его сестра ведала там большим и нужным делом — организованным сношением наших пленных в Германии с их родными в России и помощью этим пленным. За несколько недель, проведенных в Стокгольме, я прочитал сотни писем, самых трогательных и самых лаконических, — я понял горе России раньше, чем вступил в ее пределы.

Здесь моим чичероне был, конечно, также корреспондент «Русских ведомостей», маленький человек с разбитой грудью (разбитой прикладами), с худенькими вывороченными руками и тонким детским голоском, отличный наш информатор по положению дел в Германии. Его статьи, написанные скучновато и очень деловито, составленные по великолепным источникам, читались с великим вниманием. Двумя годами позже он стал одним из соправителей большевистской России, — это был Лурье, он же Ларин, фигура довольно комическая и ужасно ученая, целиком марксистская. Злодея из него не получилось, и, кажется, незадолго до смерти он впал в немилость. Он мне показывал не триумфальную арку, как иронический Жаботинский, а «народные массы», стокгольмские народные массы очаровательно веселились на гуляньях — катались на каруселях, взлетали к небу на качелях, стреляли в кружочки и трубочки, визжали на колеблющихся мостах, бледными выходили из балаганов, где за мелкую монету показывали всякие страсти. Все это проделывали и мы с будущим народным комиссаром, по слабости здоровья воздержавшимся только от качелей и изумительного вращающегося диска, с которого люди вышвыривались комочками на периферию. Когда меня вышвыривало — он стоял в сторонке и любовался. Позже повторилось то же самое в Москве: меня вышвырнуло, а он стоял в сторонке. Затем иным, огромным и неумолимым диском его вышвырнуло из жизни, и вот я пишу о нем в ожидании своей очереди.

Ларин любезно проводил меня на вокзал. Поезд шел в Торнео. Был июнь, и в день моего приезда на русскую границу

солнце только на час опустилось за горизонт. В поезд меня посадил будущий народный комиссар, из поезда вывел жандармский унтер. Очень вежливый полковник, очень долго писавший протокол, несколько раз обеспокоился: «Не дует ли на вас из окна?» — «Нет, ничего». — «Не простудитесь! Ваш паспорт я оставлю при протоколе, а вы получите пропуск до Петрограда согласно полученной мною телеграмме». — «Отлично. А у вас чудесная собака!» — «Это английский сеттер. Эй, там, проводишь господина обратно в вагон!» — «Слушаю». — «А уж как будет с вами дальше, я не знаю».

И опять стучат колеса под вагоном. А вагон широкий, удобный, таких в Европе нет. До Белоострова земля своя лишь наполовину, дальше пойдет совсем своя. Уже чую дым отечества! И уже другой жандарм, моложе и параднее, входит в вагон на Белоостровской станции:

— Пожалуйте в комендантскую!



## ТОВАРИЩИ ПРОВОКАТОРЫ

Большой неудачей своей жизни я считаю, что никогда не видал Льва Николаевича Толстого. Правда, я совсем молодым должен был уехать за границу, где видел и слышал Жореса, а по моем возвращении Толстого уже не было в живых.

Совершенно равнодушно выслушаю упрек в том, что никогда не видал на сцене Сары Бернар. Зато в Риме я пожал руку Бриану, который, осведомившись, в какой газете я пишу, и, узнав, что в «Русских ведомостях», приподнял брови и сказал: «О-о!» Он никогда в жизни не слышал ее названия, но готов был сделать мне удовольствие.

Но если что-нибудь меня радует, то это то, что я никогда не был знаком с Азефом и только на фотографиях видел его поистине отвратительное лицо.

В итальянском местечке Сори, на берегу Средиземного моря, была вилла «Мария», которую сняли бежавшие из Финляндии русские эмигранты. За два года на ней перебивало человек сорок революционеров. Десяток жил постоянно, остальные приезжали по делам или отдохнуть. Здесь было издательство, статистический кабинет, место отдыха, центр деловых сношений, приют для бежавших из России. Иногда генуэзская газета «Лаворо» сообщала читателям, что виллу «Мария» посетил такой-то известный русский террорист, — сообщала с уважением и приязнью. Почтальоны приносили ежедневно тюки русских газет и книг, а письма доходили до

нас с простым обозначением: «Такому-то, близ Генуи». Раз марка русская — тащили к нам. В старом доме, отвратительно обставленном, было одиннадцать комнат, да еще был флигелек, где в верхних двух комнатах ютились люди, а внизу было пустое ослиное стойло. В саду, спускавшемся террасами к морю, без ухода и забот зрели апельсины, лимоны, фиги, персики, вишни, груши, высились кипарисы, красовались заросли роз и лилий, а по морю лежала матовая дорожка от нас в Африку.

Некоторое время в малом домике проживали две девушки, очень молодые и восторженные, бежавшие из российских тюрем. Хорошо отдохнув и покупавшись в море, они решили, что пора вернуться к живой деятельности. Пошептавшись с неделю, они уехали в Париж представиться великому «Ивану Николаевичу», то есть Азефу, и предложить ему свои жизни для надобностей революции — для террора. Нас они об этом, конечно, не осведомили, — не полагалось, — но простились со всеми так, как прощаются навсегда.

Через неделю они вернулись подавленные и грустные. Еще через неделю, не вынеся душевной тяжести, покаялись в своей слабости и мерзости перед теми, кому особенно доверяли. Рассказали, что были у Азефа и что он принял их отлично и удостоил разговора. Мало того, — он обещал им принять их в боевую организацию, на что они даже мало надеялись. И вот, когда мечты их осуществились, на них, по их слабости и малодушию, напал червь сомнения, которого они не могли себе простить, но бороться с которым оказались бессильными. Со слезами на глазах, браня себя за кощунство и за дерзость, они сказали, что «Иван Николаевич» так отвратителен по внешности, что они не могут побороть чувство недоверия и ужаса. Пусть товарищи покроют их презрением и выбросят из своей среды, они этого заслуживают, но никаких дел с ним они не могут иметь.

Эти бедные девушки очень страдали и считали себя потерянными и ни к чему негодными, потому что позволили себе

усомниться в великом и святом человеке, которого природа почему-то наградила толстыми губами, животом и неприятным взглядом свиных глазок. Годом позже они могли бы убедиться, что их невольное отвращение только доказало их естественную чуткость, — но что случилось с этими девушками годом позже, я не знаю, так как они нас покинули, так и не решившись пойти в боевую организацию. Не удивлюсь, если они ушли в монастырь замаливать свой смертный грех малодушия и кощунства.

Частым гостем нашей виллы был Всеволод Лебединцев, поэт, астроном и террорист, поборовший в себе чувство недоверия к тому же «великому» деятелю. Но, поборов его, он почувствовал свою близкую гибель. Он был арестован в Петербурге на улице под итальянским именем Кальвино. В другом месте я описал жизнь и смерть этого талантливого человека. С него написал Леонид Андреев неверный портрет Вернера в «Рассказе о семи повешенных».

После книги Николаевского об Азефе — вряд ли можно что-нибудь прибавить к характеристике этого героя нашего времени. Повторяю, я счастлив, что никогда не знал его лично.

Иное дело, когда человек приятен и симпатичен, — с ним с удовольствием проводишь время. Встречаемся в кафе, вместе обедаем в недорогой столовой «Скандинаво», на подъеме в богатую часть Рима. Не навязчив, политикой интересуется мало, лишь по прежней партийной привычке, проходит курс юридических наук в университете, со всеми знаком, со всеми хорош, одевается не без элегантности, что понятно, так как в России у него состоятельные родители. Иной раз и товарищу в нужде поможет. Немножко, пожалуй, беспринципен, слишком мягок и терпим, что революционеру не полагается. По каким-то делам часто ездит в Женеву, откуда привозит клоны.

В дни войны и итальянского нейтралитета говорю ему:

— Поеду я в Россию, будь что будет. Довольно с меня десяти лет эмигрантства.

— Но ведь вас сошлют в Нарым?

— Чем Нарым хуже Рима! А может быть, и не сошлют...

— Вы твердо решили?

— Твердо; уеду через месяц.

Он растроганно жмет руку:

— Ну, желаю вам всякой удачи! Поехал бы и я, да решил сначала окончить университет. Войны в наш век еще хватит...

На вокзале провожают друзья. Он приходит перед самым отходом поезда с букетом красной гвоздики. С другими за руку, — он обнимает и целует. Из окна уходящего поезда долго вижу его белый платок — прощальное приветствие. Близки не были, а славный человек.

Путь мой дальний, круговой, через Францию, Англию и северные нейтральные страны, с задержками, ожиданиями, разрешениями: не меньше месяца. Он мог бы и не торопиться посылать в Петербург телеграмму своему охранному начальству; но он был человеком деловым и аккуратным. После революции я читал его краткие и вполне литературные сообщения о римских, женевских и парижских друзьях. Материал средней ценности, лениво собранный. Обо мне довольно снисходительно.

Его имя найдено в списках заграничных «секретных сотрудников»; он неплохо зарабатывал. Он окончил курс, принят в итальянском обществе, принят и в обществе русском второй эмиграции, хотя его прошлая деятельность опубликована. Любезный человек, адвокат, хорошо одевается, — мало ли у кого что было в прошлом!

Букет красной гвоздики доехал со мной свежим до самого Парижа; было жалко выбрасывать — последний привет товарища!

В дни февральской революции я поддался любопытству и принял на себя разборку и отправку в музей документов мос-

ковского Охранного отделения. Вероятно, я доверчивее бы относился к людям, если бы не загубил трех месяцев на эту работу.

Когда я наконец ее бросил, — отвращение подступило к горлу, — ко мне не сразу перестали заходить странного вида люди. Робкий звонок, и на пороге кабинета фигура с заложенными за спину руками. Это — чтобы я не подал случайно руки, а потом не стал бы вытирать руку платком. Сразу угадываю: товарищ-провокактор.

— Чем могу служить?

— Я такой-то. Вам, может быть, знакома моя фамилия?

— Знакома.

— Она была опубликована в списках предателей. Я пришел вам сказать, что это — трагическая ошибка, так как я никогда не служил в полиции. Вероятно, мой адрес нашли у какого-нибудь жандарма и вывели такое заключение...

Объясняю, что я не следователь, а только занимался в архиве. Но могу точнее образом рассказать его карьеру: тогда-то был принят секретным сотрудником, такому-то делал доклады, таких-то оговорил, столько-то получал в месяц, такую-то носил охранную кличку. Довольно?

Он долго сидит молча, потом глухим голосом рассказывает, что теперь он — офицер, что вынужден скрываться от всех, даже от жены, и что не знает, что ему делать.

— Если вы — офицер, то должны бы знать.

— У меня мать, жена и дети.

— Тогда зачем же вы меня спрашиваете? Сами и решайте.

Рассказывает повесть о своем падении — штампованную, обычную, до мелочей известную мне по рассказам других. Знаю даже то, чего он не договаривает. Верю и искренности слез, — не слез раскаяния, а слез страха. Говорю ему:

— Вы мне напрасно рассказываете, я тут ни при чем, я вам не судья. И ничего посоветовать не могу.

Уходит, пятясь спиной, точно опасаясь, что я его догоню и ударю.

Еще приходили отцы и жены — узнать, правда ли, что их близкие попали или попадут в списки. Но подобных сцен рассказывать невозможно.

И только один раз ко мне явилась женщина, молодая, красивая и отлично одетая, также из «опубликованных», которая держала себя совсем иначе. Назвав свою фамилию и прибавив, что она «та самая», она мне заявила, что считает себя оскорбленной:

— Обо мне было написано, что я была «незначительным осведомителем». Это неверно! Я оказывала очень большие услуги и делала это не для Охранки, до которой мне не было никакого дела, а для человека, которого я очень любила и люблю. Но, разумеется, я делала это по убеждению, потому что разделяла и разделяю его взгляды. Во всяком случае, я была не пешкой, а настоящим и крупным агентом.

— Для чего вы это мне говорите?

— Для того, чтобы мои слова были проверены по документам, которые вы разбираете. Я не желаю, чтобы обо мне писали в пренебрежительном тоне! И это несправедливо! Вы можете спросить обо мне Мартынова (начальник Охранки), и он подтвердит.

Должен сказать, что это был единственный «товарищ-провокатор», к которому я почувствовал некоторое уважение. Правда, она ничем не рисковала, кроме «общественного порицания», но зато не проливала и крокодиловых слез. Я забыл ее фамилию, как постарался забыть все остальные. Годом позже подобная откровенность обошлась бы ей дорого, разве что она, по любви или по убеждению, вернулась к своей профессии, лишь переменив Гнездиновский переулок на Лубянку.

Что часть профессионалов вернулась к деятельности, — сомнению не подлежит. Специалисты всегда нужны, а «в большом хозяйстве пригодится всякая дрянь». Мне рассказывали, как при одном обыске болтливый чекист заявил:

— Кого другого, а меня не проведете! Тут обязательно должен быть в стене тайный шкаф! Меня глаз не обманет, я этим делом двадцатый год занимаюсь!

Товарищ его одернул:

— А ты хоть на людях язык-то держал бы!

Конечно, это — маленький чин сыскного дела; но где устраиваются маленькие, там и большим найдется место, и даже с легкостью и почетом.

И как-то невольно думается: не поторопился ли Азеф умереть? Может быть, могла бы продлиться и дальше карьера великого «товарища-провокатора»?

## ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Описывая свою поездку через воюющие и нейтральные страны в Россию, я добрался на шестом столбце фельетона до Белоострова. Мне хочется продолжить, и вот, на первом столбце сегодняшнем, я еду рано утром по улицам Петербурга, с Финляндского вокзала на Васильевский остров.

Не сомневаюсь, что многие из читателей увидят Петербург после долгой жизни в Европе; возможно, что некоторые из них испытают такое же чувство, какое испытал я: вместо патриотической растроганности — полное изумление. Мне показалось, что я попал в деревню или самый заштатный город: низкие здания, заборы, неопрятная мостовая, оборванные дворники. Извозчик врос в свои козлы, и казалось, что ноги его начинаются от шеи или лишь несколько ниже. За полтора месяца пути я проехал шесть столиц, — неужели и это тоже столица?

Должен признаться — к негодованию петербуржцев, — что я вообще не люблю их города и не способен им восхищаться: красивые куски — и скучнейшее общее. Пушкин согрешил, отдав столько ласки казарменному Петрову творенью. Только один раз Петербург меня умилил, — это было в 1922 году, когда площадь перед Казанским собором поросла травой, как и большинство улиц Петербурга, когда весь он был запущенным, грустным и страдающим. А видал я его и обычным, и



военным, и революционным, и пропадающим. Но не будем спорить и ссориться, — москвич ходатайствует о снисхождении.

Густо пахнул в лицо дым отечества. Помню, как в первый день пребывания на родине я слышал на улице разговор студента с извозчиком:

— Извозчик, туда-то.

— Рублик пожалуйте.

— Да ты с ума сошел!

Я даже остановился: что же это такое? Извозчика на «ты» и так ему грубить! И это — студент!

Однажды в Риме, в дурном настроении духа, я остановил извозчика, уселся и сказал: поезжайте!

— А куда поедем?

— Куда скажу, туда и поедете; а пока прямо.

Проехав пол-улицы, извозчик повернулся ко мне и сказал:

— Я спросил вас, синьор, для вашего же удобства. Я должен был спросить. Почему же вы ответили мне так резко?

Я извинился, потому что тон моего ответа был если не груб, то, во всяком случае, небрежен. И я долго помнил этот урок вежливости, данный мне римским веттурино.

Здесь, в Петербурге, кондукторша толкнула меня локтем в трамвае, а когда я хотел опуститься на свободное место, какая-то дама с такой ловкостью подсела под меня, что я оказался у нее на коленях. Я извинился, — она не повела носом. В магазине, куда я вошел с обычным в Европе приветствием, приказчик не только не ответил на мое «здравствуйте», но и не отозвался, когда я что-то попросил, — продолжал прибирать на прилавке коробки. И только выдержав меня минуты две, спросил, не глядя:

— Вам чего надо-то?

Позже я привык к российской грубости и, вероятно, сам говорил извозчику «ты», — да московский ванька как-то и обижался, когда с ним говорили неласково-вежливым тоном. Но в

начале пребывания в России я положительно страдал и терялся, наблюдая быт сородичей, ставший мне чуждым; впрочем, вероятно, два года войны огрубели нравы, как испортили и бытовой язык: ухо поражалось вторжением словечек западного жаргона, занесенных беженцами. Страдало оно и от всяких «земгоргов» и «начеваков», от множества сокращений, которые, введенные войной, лишь сохранились и развились в новом режиме. Как и новое правописание — их напрасно приписывают большевикам.

Зато приятно меня поразила явная расшатанность полицейского дела.

На границе, взамен отобранных документов, я получил бумажку с обязательством в день приезда до 12 час. утра явиться в градоначальство. Я явился в 11 часов и, пройдя все инстанции, к полудню добрался до самого высокого чина: никто не знал, что со мной делать. Высокий чин попросил садиться и вызвал секретаря:

— Дайте дело господина...

Секретарь вернулся смущенный: никакого дела господина... нет. Я со своей стороны прибавил, что и не может быть никакого моего «дела», так как я никогда в Петербурге не жил.

— Так что же вы хотите?

— Решительно ничего. Мне предписано явиться — я явился. И прошу вас пометить на моей бумажке, что я это выполнил.

Расписавшись, генерал прибавил:

— Так что, если хотите — живите.

— Спасибо. Буду жить.

Жизнь я начал с того, что навестил Аркадского, старого сотрудника и петербургского представителя «Русских ведомостей», с ним побывал в Государственной Думе, послушал там кудрявого Маркова II, познакомился с парламентскими звездами, — и очень заскучал по Москве. В отельчике на живой и шумной площади разыскал В.Л. Бурцева, от которого получил совет:

— Будут высылать — не соглашайтесь! Меня пробовали выставить, но я им сказал, что такой закачу скандал — на всю Европу. Больше не тревожат, только шпикив наставили, — вон, из окна видно...

По европейской простоте, позвонил Степанову, товарищу министра внутренних дел, по должности ведавшему департаментом полиции:

— Вот я, такой-то, приехал. Нельзя ли вас повидать?

Степанов принял меня несколько смущенно:

— Ведь вы приговорены к пятилетней ссылке?

— Возможно. Мне объявлено не было.

— Правда, с тех пор прошло десять лет. Но, во всяком случае, вы не можете жить в столицах и в местностях на военном положении. Где же вы думаете поселиться?

— Думаю — в Москве.

— В Москве нельзя.

— И в Петербурге нельзя, — а вот живу же, и даже не имею права выехать.

— Это правда. Но въезд в Москву вам не разрешит Мрозовский.

— Выдайте мне какую-нибудь бумажку — я поеду.

— Какую же я выдам?

Я продиктовал его переписчице: «Разрешается временно проживать в Москве, впредь до получения постоянного разрешения».

Степанов подумал:

— Ну, что же, я подпишу. Только поезжайте скорее, пока Мрозовский не воспретил, а там уж дело ваше...

С этой бумажкой я прожил до самой революции. На все попытки выслать меня из Москвы отвечал:

— Никуда не поеду. Мне разрешено временно жить.

— Но вам постоянное жительство не разрешено.

— Я и буду жить временно.

— До каких же пор?

— Пока не разрешат жить постоянно.

«Русские ведомости» предложили мне прокатиться по России. Поездка заняла месяца два. Всюду за мной следовала, — но очень медленно, — полицейская бумажка о выселении за пределы местностей на военном положении (а ими была чуть ли не вся Европейская Россия). Бумажка шла полгода, — я давно уже снял квартиру в Москве и писал в газете. Она пришла обратно за неделю до революции.

— Можем дать вам неделю на устройство личных дел, а затем извольте выехать.

— И не подумаю!

— А вот увидите!

Но увидеть пришлось совсем другое...

Редакция «Русских ведомостей». Теперь почти никого не осталось в живых. В приемной — Егоров, подписывавший газету и отвечавший по суду. В «святая святых», первая комната налево, — А. Мануйлов и В. Розенберг. Направо — маленькая комнатка для секретнейших разговоров. Комната Игнатова — литературный отдел. Хроникерская Н. Эфроса, — единственная «живая» комната, куда заходили все. Иностранный отдел Н.В. Сперанского, где работал из молодых В. Волгин, ставший при Ленине ректором университета, а теперь даже кем-то в академии наук. Бывал там молодой Якушкин, расстрелянный в Одессе; работал и Синегуб, убитый в Сибири. Кроме Волгина, жив еще Максимов, обозреватель провинции и фельетонист. Мануйлов, Игнатов, Сперанский, Эфрос, Егоров — умерли в Москве, Розенберг — недавно в Праге. Погиб и Белоруссов, бывший парижский корреспондент, пытавшийся в дни революции воссоздать подобие «Русских ведомостей» в Екатеринбурге, — попытка обидная и неудачная. Умер и Чернышевский переулок, став улицей Станкевича...

Мой первый день в редакции. Входя в иностранный отдел, ударился плечом об угол шкапа, неуклюже заслонявшего дверь. Оказалось — все ударяются, пока не привыкают.

— Почему же вы не отставите шкаф немного левее?

Шкап легонький, налег плечом — и сдвинул. Всеобщее изумление! Смотрят на меня, как на бунтаря и человека с другой планеты.

— Ведь так удобнее?

Все согласны, что так удобнее, но в «Русских ведомостях» все стоит так, как поставлено десятки лет назад, и только приезшему могла прийти сумасшедшая мысль переставить. Сперанский писал мне в Рим о том, что в газете — серьезная реформа: решили ввести черточки, отделяющие статью от статьи. «Но это не все. Поговариваем об оглавлении статей на первой странице!» Через какой-нибудь год и это осуществилось. Не газета, а старинный английский банк из романов Диккенса!

Но бывали реформы и грандиозные. Из письма того же Сперанского:

«У нас уходят три пайщика: Богданов, Анучин и Соболевский. Троице — 204 года. Их место займут четверо молодых: четверым тоже 204 года. Но на ближайший год все останется по-прежнему».

Однако до того, чтобы писать «среда» вместо «середица», — так и не дошли.

Еще и другим газета была похожа на старинное английское учреждение: это была газета джентльменов. Вспоминаю о ней с шуткой, — но и с большой любовью и великим уважением. Позже, перейдя в другую, более живую газету, по духу им близкую, я никогда не порывал отношений с «Русскими ведомостями», как не прекращал и сотрудничества, и, пережив с ними все тяжелые дни, присутствовал при их кончине. Из покойников этот — самый дорогой и близкий.

Еще много раз, конечно, придется о них вспомнить. Среди дыма отечества, который часто застилал глаза, «Русские ведомости» стояли передовой крепостью просвещенного европеизма, в которой было хорошо укрыться от натиска

азиатчины. Но наивны были те, которые думали, что «Русские ведомости» могут воскреснуть. Умерли люди, — люди новые нашлись бы; но умерла эпоха, — и она возродиться не может. Да разве это нужно?

Зачем мечтать вернуть к жизни то, что уже давно принадлежит истории?

## ПО ГОРОДАМ

Выражаясь витиевато — память человеческая подобна путям летчика: она преисполнена провалов; выражаясь проще — она дырява. Далее уподобим ее подержанному костюму: колени просвечивают, на локтях совсем светло. Когда пишешь воспоминания, не слишком много присочиняя и ужасно много пропуская, лучше всего ссылаться на эти недостатки памяти и пропускать некоторые имена. Может быть, эти люди еще живы, и им будет неприятно, или за них огорчатся их близкие. Потому что нельзя же описывать только встречи с ангелами — люди разнообразны.

Лионский мэр осмотрел, изучил и понял СССР в восемь дней. Человек огромного таланта! Мы так не умели. Когда в 1916 году я вернулся в Россию после десятилетней эмиграции, моя газета предложила мне прокатиться по России — куда захочется и приглянется — затратив на это два месяца:

— Вы стали иностранцем — проветритесь и поучитесь.

Я выбрал северо-восток и Поволжье: Ярославль, Вологду, Вятку, Пермь, Уфу, Самару, Казань — и что еще успеется. Знакомиться должен был преимущественно с земствами и кооперативами. В легких воспоминаниях нет места для такого тяжеловесного материала, и я ограничусь записями случайных встреч, не бывших целью, а лишь попутных.

Ясно, что я не мог стремиться к встречам с начальниками военных округов, прямой обязанностью которых было меня

арестовать и выслать. И между тем первый вечер в Ярославле я провел в семье генерала Качуры-Масальского, отличного старика, умершего в первые годы революции. Он был в числе первых, принявших февральскую революцию свободно и приветливо. Мне, собственно, памятна не эта встреча с ним, а более поздняя, через год, когда я приехал отдохнуть в деревушку на Волге под Ярославлем и прожил около месяца в его семье. Генерал, заваленный делами, наезжал в деревушку урывками. Мы гуляли, катались на лодках, ловили рыбу и по вечерам всей семьей неистово играли в «девятый вал». Однажды, приехав рано утром, генерал застал нас всех еще за картами: свою старуху-жену, дочерей, племянника и гостя. Лица наши были зелены и глаза воспалены. Был гром, и была молния: генерал кричал и бесновался, распекая нас за безобразный образ жизни. Это вместо того, чтобы пользоваться отдыхом в природе! Да и вообще безобразие! Мы разбрелись в смущении и спали до обеда.

Вечером чинно гуляли с генералом, стараясь выслужить прощение. После ужина сидели и говорили о разумных предметах. Но разговор плохо клеился.

Генерал говорил:

— Когда целый день работаешь, природа — истинное спасенье. Я не против карт, я и сам играю, но нужно знать меру, а то получается черт знает что.

Он был, конечно, прав — и мы смиренно молчали.

Генерал продолжал:

— Чудесный вечер сегодня, и такая теплынь! Жаль только, что луны нет, а то бы хорошо на лодке. Если вы хотите, то поиграйте немного, я, может быть, и сам присоединюсь, но только на часок, а затем — все спать.

Мы ответили, что как-то не хочется играть, лучше так посидим.

— Жертвы ради меня не приносите, а то выйдет, что я — семейный деспот. Поиграть часок даже хорошо, приятно. Я только против злоупотребления. А так — пожалуйста, сыграем.



Часов в восемь утра он волновался:

— Черт его знает! В два раза беру, в девять никогда не выходит! Да сдавай же скорей, чего зря тасуешь! В половине девятого пароход, а я и не умывался. Но главное, — какое систематическое невезенье! В два беру, в четыре бывает — в девять никогда!

На пристань он бежал впереди, мы за ним — провожать. С палубы пароходика кричал нам:

— Решительно требую — бросьте вы это безобразие! Деревня создана для отдыха. Хоть ты бы постыдилась — старая женщина! Черт знает что такое!

Тогда же мой летний покой был нарушен приездом курьера от ярославского прокурора:

— Просят вас приехать по делу.

Прокурор очень извинялся, что побеспокоил, но он получил телеграмму из Москвы от прокурора С.Ф. Стааля с предложением разыскать меня и передать мне приглашение немедленно ехать в Петербург для участия в судебной комиссии. Долго — и некстати — рассказывать, почему меня вызывали. Решительно отказавшись, я поинтересовался, каким образом ярославский прокурор нашел меня в деревне. Он очень смутился.

— Видите ли... В Ярославле вас не оказалось. Я позволил себе прибегнуть к старым жандармским справкам, и оказалось, что в первый приезд вы посещали дом генерала Качуры; за вами тогда следили. Семья генерала оказалась в деревне — и вот я попытался...

Я поздравил его с находчивостью: старые методы пригодились и в новом режиме.

В Вологде и Вятке встречи чисто деловые, преимущественно с «третьим элементом». Не знаю, где эти люди и каков новый порядок их мыслей; не назвать их — ничего не

выйдет, а называть не решаюсь. Пусть будет «провал в памяти», и перескакиваю на Пермь.

Н.В. Мешкова, миллионера и революционера, я знал давно, чуть ли не с детства. Имя знаменитое. Трудно богатому войти в Царствие Небесное, и революционность Мешкова меня всегда смущала. А вот прекрасные здания университета он действительно создал, и я осматривал их под его руководством. Как раз в дни моего проезда через Пермь состоялось открытие университета. Торжественную речь произнес ректор петербургского университета. При словах «волею нашего монарха» он повернулся на каблуках к портрету с такой грацией, что я тоже повернулся на каблуках и вышел, опасаясь неожиданно для себя грянуть «Боже, царя храни». Я ведь только знакомился с Россией, еще не привык. На почетном месте сидел революционер Мешков.

И вдруг мне вспомнилось, что в дни моего студенчества я участвовал в ужине в честь Н.К. Михайловского в той же Перми; кстати, присутствовал и Мешков. Михайловский был тогда временно удален из Петербурга и делал турне в обществе «бабушки» Е.К. Брешковской, имя которой, впрочем, не произносилось. Ужин дало ему пермское земство. И вот тогда председатель либеральнейшего из земств сделал маленькую ошибку: в приветственной речи Михайловскому ввернул зачем-то обожаемого монарха и его непрестанные заботы о детском воспитании. Михайловский, отвечая, сказал, что такого тоста он принять не может, но что, вероятно, почтенный оратор хотел сказать другое, а именно... Хотя Михайловский, действительно, сказал «совсем другое», но предыдущий оратор сочувственно и согласно кивал этой поправке: «вот именно!». А потом, несколько злоупотребив короткими и длинными напитками, мы все пели «Варшавянку» и что-то вроде «Марсельезы». На другой день Мешков на собственном пароходе катал двух почетных гостей и снимался с ними на палубе.

Вспомнил я это — и внес в свои новые российские впечатления точную отметку:

— Окрошка, наше любимое национальное блюдо, готовится из наиболее несовместимых и неудобоваримых продуктов. Расхлебывать ее одновременно и страшно и истинное наслаждение; но необходима привычка, которую нужно приобрести, иногда с риском для здоровья и умственных способностей.

Поездка дала мне в этом отношении немало.

Обычно с первым визитом я являлся в земскую управу, откуда возвращался нагруженным книгами и брошюрами; «Русские ведомости» не удовлетворялись «поэзией» и заставляли сотрудников интересоваться и цифрами.

В провинции «знатного иностранца» встречали приветливо и почетно, а «эмигрант» звучало княжеским титулом. Мои дни и вечера были, конечно, разобраны.

В Уфе председатель управы просил непременно зайти вечером, когда окончится заседание съезда. «Останется кое-кто из интересных людей, и мы потолкуем». — «С удовольствием».

У дверей его кабинета меня поджидал скромный человек секретарского вида, типичный «третий элемент».

— Позвольте познакомиться. Я муж Марьи Петровны.

Уфа — родной город моего отца, который там похоронен. Марья Петровна — одна из многочисленных кузин, которой я не видал много лет, но очень любил в детстве.

— Ее нет, она в отъезде. Прошу вас пообедать и посмотреть ваших племянников. Моя фамилия — Цюрупа.

Племянники очаровательны, и я засиделся до вечера. Будущий народный комиссар земледелия был очень любезным и хлебосольным хозяином. Позже, когда он жил в Кремле, а я в Чернышевском переулке, мы не встречались. Он умер — пусть земля будет ему легкой.

Я вовремя вспомнил, что обещал председателю управы зайти поболтать с ним и интересными людьми и поспешил отбыть эту повинность. Председатель встретил словами: «А мы уже ждем вас. Пожалуйста».

Отворил дверь — и ввел меня на эстраду в зал, полный народу: земское собрание осталось «поболтать» в полном составе.

— Господа, вам, конечно, будет интересно послушать сообщение приехавшего из Европы...

В жизни я, как и каждый человек, много раз был в глупом положении и много раз «докладывал» с эстрады. Но этот случай был, вероятно, рекордным. Передо мной сидело собрание почтеннейших старцев — земских гласных, не очень доверчивых и желавших услышать всю правду о Европе и войне. Я набрал воздуха в легкие, поднял руки над головой и бросился в омут. Я не думаю, чтобы это было позорным, но не желал бы, чтобы это когда-нибудь повторилось. Нырнул, вынырнул, поплавал саженками, полежал на спине, опять нырнул — и кое-как выкарабкался на берег. Грома аплодисментов, во всяком случае, не было. Уходя, я дал себе слово подробно осведомляться, в чем заключается в провинции «чашка чаю», а кроме того, посидеть вечеров и обстоятельно написать экспромт на все подобные случаи, чтобы впредь не позорить честь заезжего знатного иностранца. Уфа мне не понравилась, хотя раньше я очень любил этот город, его сиреневый дух, его Белую и особенно его Дёму.

Самый большой заряд земской литературы я получил в Самаре; секретарь, очаровательнейший человек, был любезен послать его мне в гостиницу, откуда я переправил все в Москву вместе с десятками кустарных изделий, накупленных в дороге. И, конечно, я принял приглашение провести вечер у секретаря.

Это был Клафтон, впоследствии расстрелянный; один из культурнейших людей в Самаре и в России, умница, европеец,

интереснейший собеседник. Мы провели вечер вдвоем в его удивительной холостой квартире, убранной по-восточному — целый музей экзотики. Пили изумительное вино и ели фрукты, каких я никогда больше не видал — из Ташкента и Самарканда. Третьим в нашей компании был Будда, статуэтка волшебного резца. Прислуживали нам многоцветные драконы и аисты, со стен смотрели на нас китайские палачи и незначительные боги. Клафтон был путешественником и коллекционером; но и в земстве он был самым деятельным и знающим. Книги мне не понадобились — разговор с ним дал больше. А так как я рассказал ему об уфимской «чашке чаю», то он избавил меня от подобного же случая и в Самаре.

Стараюсь представить себе, как погиб этот человек, — и не вижу его иначе, как с улыбкой «знающего» на лице, родственной улыбке великого Будды. Но как мог бы он жить в новой России — этого представить себе невозможно. Не потому, что он не мог бы «принять», а потому, что его не приняла бы всеобщая «уровниловка». Такого не пригнешь и не пришлифуешь. Но пуля берет и таких — и его убили.

Были и еще города и встречи после Самары. Со мной было самопишущее перо, умевшее пользоваться цифрами набранных земских сборников и кооперативных сводок; то, что пишу сейчас, оставалось в памяти неиспользованным, как личное и несерьезное. Таким оно, конечно, и осталось, но между нужным и ненужным стерлась прежняя грань, и иная мимолетная встреча кажется ценнее обстоятельно описанного события. События ушли — и в дымке воспоминаний остались только лица: лбы, бороды, носы, характеры, души. Право на некоторое внимание, несомненно, принадлежит и им.

## СМЕРТЬ ДЖЕНТЛЬМЕНА

*(Из воспоминаний)*

В 1916 году был я проездом в Самаре, по делам корреспондентским. Россию, после десятилетней эмиграции, смотрел и узнавал, как иностранец. И казалась она мне огромной деревней, — да такой она и была.

В Самаре, как и в других губернских городах, знакомился с разными общественными учреждениями и деятелями. С первым визитом был, конечно, в Земстве. И вот там подошел ко мне очень симпатичный и очень изящный человек, отрекомендовался, все мне показал, все, что меня интересовало, просто, толково и деловито: рассказал, снабдив меня книгами и справочниками, и в заключение, пригласил к себе вечером, — так, посидеть, поговорить. Я зашел к нему.

Думал: увижу кабинет земского деятеля, напьюсь чаю с лимоном и полагающимися сухариками, скажут несколько любезностей хозяйке, ответу на неизменные вопросы о настроении за границей — и домой. Все равно вечер пустой, делать нечего.

И неожиданно попал в изысканный уют холостого человека. Небольшая прекрасная квартира, обстановка восточная, подобранная с гурманским вкусом. Редко приходилось мне видеть такое уверенное изящество и такое отсутствие лишнего в ув-

лечении Востоком. Не было вещи не на своем месте, и не было предмета, говорившего лишь о коллекционной страсти. Оказался в Самаре уголок, где настоящий европеец ласкал свой глаз и украсил свой быт настоящим искусством Востока. Ни тени музея: каждая вещь нужна и служит быту, от японской ширмы до прекрасной старинной пепельницы.

Прислуга, очень красивая девушка, в чепчике, со столичной дрессировкой, внесла фрукты и вино. Таких фруктов — самаркандских — никогда я ни раньше, ни позже не видел: таких изумительных, ароматных, во рту тающих груш. И вино — такого вина я, десять лет живший среди виноградников, никогда не пил. И играло оно в удивительном хрустале при мягком, каком-то музыкальном освещении.

Мне не пришлось рассказывать о Европе: мой хозяин знал ее не хуже меня. И я с тем большей охотой слушал его рассказы о Востоке, ему близко и любовно знакомом.

Совсем неожиданно я провел прекрасный, незабываемый вечер с милым человеком и интереснейшим собеседником, чистой воды джентльменом.

Когда я вышел от него, я как-то не сразу понял, где я нахожусь: грязные улицы приволжского города, российская безалаберность на каждом шагу, от коптящего фонаря до облачного неба. Как может в таком городе быть такой уголок и как может среди бородатых земцев оказаться такой ценитель искусства и полный европеец?

И я его вспомнил потом отдельно от Самары; и в альбом своих впечатлений русской провинции включил оазисом, приятной случайностью, не относящейся к делу.

И не занес бы этой встречи на бумагу, если бы не узнал, что мой гостеприимный знакомый расстрелян. Когда и при каких обстоятельствах был взят и расстрелян самарский джентльмен — я не имею представления; не встречал никого, кто мог бы рассказать. Но когда я думаю об этом, мне рисуется ряд картин его предсмертного быта.

Зима. В Самаре — страшные дни, какие пережил почти каждый русский город. Джентльмен только что вернулся домой. Он отлично знает, что в любой вечер могут нагрянуть к нему люди в серых шинелях и кожаных куртках, не умеющие владеть винтовками и своими расхолодившимися инстинктами. Прислуги давно уже нет: в ней проснулось классовое сознание, и она покинула джентльмена, не зная, что скоро ей придется вернуться к прежней унижительной работе, но уже в иной, грубо спекулянтский дом. Джентльмен один.

Из салона, где по-прежнему красиво думает Восток, он идет в кухню. От обеда осталась каша. Разогреть ее и трудно и скучно. Нехотя холодной ложкой он выковыривает в кастрюле пшенную ямку, с отвращением жует. Много немытой посуды. Следы крыс. Яичная скорлупа валяется под столом.

Джентльмен берет щетку и подметает скорлупу в угол. На большее проявление энергии он сегодня не способен.

В кабинете, доверху заставленном книгами, джентльмен отодвигает ящик стола и вынимает японскую зубочистку. Он улыбается, вспомнив, что первый товар, привезенный немцами в голодную Россию, была партия зубочисток в черных футлярах с золоченым кончиком и надписью золотом по черни: Zahnstocher. Еще вспоминает, что в кладовой сохранилась последняя бутылка старого и выдержанного вина. Он предполагал распить ее в день падения большевизма. Сегодня он понял, что ему мечтать о таком дне наивно; жизнь его, конечно, помечена в списках, и бежать ему некуда и напрасно.

Он идет за бутылкой и приносит ее в свой нетопленный японский салон. Почти все здесь цело: проданы только дорогие ширмы и ваза с золотой ювелирной отделкой. Будда смотрит с кронштейна на валенки на ногах джентльмена; Фудзи-Яма кутается в снег при виде его теплой меховой куртки. Услужливо переливает цветами хрустальная стопка рядом с бутылкой.



Он пьет вино небольшими глотками, чувствуя, как оно действует на голодный желудок. Да, джентльмен голодает, не отставая от других и опережая новых пришедших гурманов жизни.

Голова его туманится. Будда вырастает в огромного идола. С шелкового панно уставился изумительный многоцветный аист, переставляет ноги и хлопает крыльями.

Аист уносит джентльмена в страну Будды и восходящего солнца, которое слепит глаза. Джентльмен знает, что это — не настоящее, а лишь минутное видение. Ну, а теперешняя жизнь — разве настоящее? — думает он. — Настоящее было прежде, и тогда жизнь была полна очарований. Однако молодость еще не изжита. Только этой зимой побелели виски джентльмена.

Видение исчезает. Джентльмен смотрит на свои руки. Он колот дрова и сломал ноготь. Если бы не удивительный покой и не музыкальная тишина, которой не хочется нарушать, он бы встал и принес свой японский маникюрный прибор. Руки давно запущены и мозолисты. Нужно ли?

Теперь он окончательно очнулся. Бутылка допита. Встает, подходит к Будде, оба они улыбаются друг другу одинаковой улыбкой иронии.

Но кто из них прав — покажет будущее.

Джентльмен проводит тонкими пальцами по продольной морщине лба и совершенно сознательно прощается с созданным уютом своей культурной жизни. Ему приходит в голову, что он мог бы бежать, как бежали другие. Но мешает усталость и стиль восточной лени.

Он резко поворачивается на каблуках и твердо идет в переднюю, где стучат в дверь. Не спрашивает — кто, просто снимает цепочку затвора.

.....  
Я делаю пропуск: я не могу ни ясно представить себе, ни изобразить, как глаза джентльмена встретились с глазами во-

шедшего голубоглазого зверя. Вероятно, на минуту взор замер во взоре.

Пришедшие велели джентльмену собираться; но он был готов: меховая шапка с ушами висела тут же.

Его увели или увезли. Выйдя на мороз, он все еще ощущал теплоту старого вина и ласку страны восходящего солнца. Судьба Будды беспокоила его так же мало, как Будду беспокоила его судьба.

Стреляли ему не в спину, а в грудь. В то время палачи еще не стыдились смотреть в лицо жертве. В то время палачи еще действительно верили в правоту своей работы.

Убитый в сердце, он упал на бок. Свалившаяся шапка приказала улыбку, которая в момент смерти украсила лицо самарского джентльмена.

## СОСНЫ

Нет театра красивее, забавнее и ярче театра марионеток. Молодой энтузиаст Витторио Подрекка (тридцать лет тому назад он решительно был молодым!) увлек меня за кулисы и показал новую куклу, наряд которой обошелся ему недешево — но какая прелесть! По этому поводу мы вспомнили, как первых деревянных и тряпичных лицедеев изготавливали для театра «преступные дети» из приюта «доброго судьи» Майетти — и как сияли лица преступников, когда их привели на первый спектакль и показали им оживших кукол их работы. «Знаешь ли ты, — сказал мне Подрекка, — что возможности театра марионеток неисчерпаемы, и нет той драматической фантазии, какую нельзя было бы осуществить с такими замечательными актерами?» И он позже это доказал, познакомив со своими малютками всю Европу.

В то время мы старательно измышляли фантазии для журнальчика «Весна», который Подрекка издавал в Риме. Но мы не знали, конечно, что жизнь может оказаться фантастичнее любого театра, в том числе и кукольного. Отдавшись целиком театру, он этого мог и не заметить. Своих кукол он зачаровал звуками, перейдя на оперные спектакли; их балет неподражаем. Во мне нет ни капли зависти, но я постарался создать свой, особый, совершенно интимный театр марионеток, призванный обслуживать воспоминания. В нем особое внимание обращено на декорации — по лучшим наброскам рус-

ской природы; вместо кукол со смешными рожицами — только тени. Но принцип тот же: снимаются с гвоздика фигурки с мотающимися руками и ногами, приводятся в движение системой ниточек, а автор, он же и механик, скрывшись за кулисами, говорит на разные голоса. В театре Подрекки это было сложнее, так как нужно было изображать действительность как можно правдоподобнее; здесь это совершенно излишне — и центр тяжести переносится на пышные декорации.

Я точно помню, что это было в 1918 году летом в деревне, и искренно забыл, в какой губернии. Декорации были пышны до исключительности, так как всякую ночь шел теплый дождь, всякое утро небо оказывалось безоблачным и солнце творило чудеса. Злаки, цветы, грибы, каких обычно никто не замечает по их малости и невзрачности, внезапно показали, чем они могут быть в благоустроенной теплице. Обращает ли кто-нибудь внимание на подорожник, шлепок плоских листьев с прочным цветущим столбиком? В это лето он мог соперничать с гималайским эремурусом. Сочная луговая трава скрывала идущего, хлеба стояли строевым лесом. Полевая клубника на склонах задыхалась от тучности, и были пригорки, заросшие зелеными волнами хмелюка, — душное, парное, пьяное ложе, с которого не встанешь здоровым. Иван-да-Марья и львиный зев, высотой в кустарник, разлились лилово-желтыми озерами, в лесных папоротниках мог бы спрятаться медведь, а мхи раскинулись десятипальными перинами, вспухшими, как воздушные пироги. На топтанных местах вырос клевер, как сеяный, дорожная колея зарастала в одну ночь, а на одной лесной опушке я встретил семью зонтичных грибов такого роста, что самый малый из них, сынишка, племянник или внук, был побольше обычного дамского зонтика, остальные — как парашюты. Кустарники, березники посходили с ума и пустили дугами молодые ветки, ивы купались в реке, разлившейся не по-летнему, но заросшей по берегам так, что нельзя было к ней пробраться — и неизвестно, где граница ее воды. Однаж-

ды я шел к попу за творогом, всего верстах в трех от нашего лесного домика; вышел рано; утром, еще по мокрому, а дошел только в полдень, наплававшись по всем травам, извалявшись по хмелям и по мхам, вареный, как рак, и радостный, как выкупавшаяся лягушка. Поп дал мне творогу прямо с погребушки и влил в меня бесплатно крынку холодного молока. На обратном пути я нарвал в его огороде огурцов и домой добрался только к вечеру, без всяких запасов, перемазанный в лесной ягоде — костяника торчала гранатовыми брошками, и вторично созрела лесная ароматная земляника. Так бы всю жизнь — и не умирать!

Мы жили в лесном домике — последнее, что осталось от большого имения с барским домом, службами, конюшнями, полями, покосами, рощами и большим сосновым лесом. Помещик бежал не от крестьян, которые его не трогали, а потому, что был членом Государственной Думы и «кадетом», — добра это ему не сулило. Он был архитектором, его жена известной художницей. В Москве у них был огромный дом, от которого осталась в распоряжении его жены чердачная квартира, как от имения ей же был предоставлен летний домик. С нею жила ее дочь с мужем, а я был случайным гостем. Здесь жить было не так голодно, как в городе, и гораздо покойнее. Домик был из соснового сруба, сосновыми досками отделанный и внутри, в три комнаты — еще совсем новый, духовитый смолой, сбитый любовно и умело. Раньше он обслуживал гостей, приезжавших на охоту, теперь в него снесли необходимое из усадьбы и обставили его без роскоши, но с удобством и вкусом, так что было даже небольшое пианино и был огромный диван для вечерних бесед. В то время думали, что скромные домики с лесным участком оставят помещичьим семьям, отобрав усадьбы, посевные площади и все излишки. Моя хозяйка, испытав многое, о потерях не плакала и на судьбу не жаловалась, и мы жили, как будто на свете не случилось ничего. И действительно, она лишилась только мужа и

состояния, но краски остались при ней; я же лишился литературной газеты, которую редактировал, — но перо осталось при мне. Ее дочь недавно вышла замуж за итальянца, и осенью они должны были уехать на его родину. Было приятно провести еще одно лето в деревне, в сосновом лесу, — а там будет видно, что еще выпадет на нашу долю.

Лес был старый, но чищенный и холеный, дерево к дереву, и подходил к самому домику, отделяя его от всего мира. Кому лесная глушь страшна, а для кого она — лучшая защита и от людей, и от дурных мыслей. Было в нем легко дыханье, крик ночной птицы не мешал ни бодрствованию, ни сну, а так как в те дни не было ни почты, ни телеграфа, ни проезжих, ни приезжих, то не могло быть повода для волнений, и мы жили, не думая ни о вчера, ни о завтра.

К явившимся марионеткам вышел я. Их было пятеро — очень стильно наряженных бородатых кукол, и моделью им служила кустарная игрушка: медведь и мужик молотят рожь. У них не было никаких вопросов и никаких намерений; просто пришли посмотреть и сказать, что вот — времена переменялись и вышло поравнение. Действительно, все мы курили махорку, очень плохую — никакого настоящего духу, только корешки. Кудряво объяснили, что обижать нас не хотят, и я ответил, что мы и не дадимся в обиду, потому что теперь — свобода. Самый молодой держался независимо и несколько горделиво, потому что он слышал про Марию Спиридонову, которая сейчас по всей стране за главную. Я похвастал, что Марию Спиридонову знаю очень хорошо, подумаешь, какая невидаль! И я сразу стал в их глазах значительным, а может быть, и опасным человеком, с которым лучше не тягаться. Они спросили, как же теперь насчет леса, рубить его или подождать Учредиловки? По-моему, было лучше подождать: как бы чего не вышло; и зачем его рубить? Они высказали предположение, что если теперь не порубишь, то после может повернуться вспять, и это было очень основательно. Мы

прошли по лесу и отмерили руками и ногами сто саженей во все стороны от домика, а почему сто саженей — мы не знали. Но я был уверен, что рубить все равно будут, потому что без этого невозможно, без этого ни свободы, ни поравнения и как бы большая обида; и о ста саженях сказал накрепко — лучше и не пытайтесь! Можно было сказать — двести, но сто было как-то внушительнее, а лес все равно свалят, не сейчас, так через месяц, когда мы уедем. Мы сделали зарубки на деревьях, и я кривил душой, отхлопатывая в заповедный круг стволы потолще, — а они сочувственно кивали головами, одобряя такую мою хозяйственность, иной раз даже сами накидывали деревце попригляднее. — А зачем вам лес? На срубы? — На дрова порубим и уложим. — Продавать-то некому? — Где его теперь продашь! — Зря погноите. — Это, конечно, да что сделаешь? Так ему стоять никак нельзя. — Против логики я не спорил, а от самогона отказался — голова слабая.

Лес проснулся в четыре утра, засвистала первая птичка, объявив, что совы и филины улеглись спать и что теперь — свобода. И тогда же донесся стук топора. Стоит высокая сосна, полная сил, — почему меня рубите? Удары топора: почему-потому, потому-почему. Натянул простыню на голову, но спать невозможно. Рубят в ста саженях и более, а словно бы рядом. И вдруг протяжный гул, тяжкий вздох дерева, — кто этого никогда не слышал, тому не расскажешь. Ломая свои сучья и валя соседнюю мелкую поросль, падает сосна с таким горестным, безнадежным, осуждающим уханьем, что сжимается сердце жалостью. Начали не с опушки, а в середине, с наших зарубок — горе-лесники! Все равно, конечно, раз уж Мария Спиридонова. И еще хорошо, что много на свете чепухи, а то было бы совсем тошно. Передышка недолгая, — рубили сучья, и опять топор стучит дятлом — по целому и живому стволу, и опять тяжкий вздох и протяжный стон падающего дерева. Наутро скажу итальянцу — возьмите меня с собой и увезите куда-нибудь подальше! Минутная слабость,

никуда я не хочу уезжать, мое место в очерченном круге, сто сажен в радиусе, и вот встану и пойду между двумя стенами курить с ними махорку, которая стала совсем никудышной — одни корешки без зеленого порошка. Я, однако, догадался подбавлять душистый колосок, полевую благодать, от которой пахнет луговое сено, и с ним трубка махорки вроде как гаванская сигара. Когда ухает дерево, совсем как при килевой качке на морском пароходе, — падаешь в пропасть, и весь свет не мил. Потом опять стучит дятел — и снова вздох из глубины древесной груди.

Так было две ли, три ли недели, и хотя звуки порубки должны были удаляться, но выходило наоборот: становились слышнее с расчищенного места. И мы жили теперь на лесном острове, окруженном сложенными поленищами, никому не нужными, ни им, ни нам, ни Марии Спиридоновой, которая, впрочем, кажется, сидела уже в тюрьме; все теперь путается в памяти, да и не важно. По счастью, дровосеки шли не кругом, не хватило охоты и времени, и с нашего острова осталась лесная дорога к реке и другая в сторону попа и кладбища; и опять я ходил за творогом, а донести его домой, на общее благо, не всегда мог, — душистые поля, перины зеленых мхов, заросли дикого хмеля, такое было совсем сумасшедшее лето. И мы жили лениво — хозяйка так и не могла закончить мой портрет, разве что потом, в Москве, о которой пока и не думалось. Поп показал мне кладбище — прямо против окон его хозяйственной мужицкой избы: тут сот двести он похоронил самолично, да сколько было до него; вот только плиты стали растаскивать, и было их мало, больше деревянные кресты, и которые сосновые, те держатся долго, а дубовых у нас мало ставили. Теперь на могилах румянилась брусника. И он говорил: «За кого мне выдать дочь, скажите, пожалуйста? А девушке существенно надо!» И бесплатно поил меня молоком. По литературе слышал он о Льве Толстом, но плохое. Помнил также Лажечникова. — «А у вас, слышь, поруб-



ка?» — «Ну что ж, рубят свое». — Он пугался, смиренно говорил: «Это конечно!» — и смотрел в сторону кладбища.

Мы ехали с чемоданами и узлами в крестьянской телеге, все четверо, верст за двадцать на станцию (может быть, еще есть железная дорога?), и нас вез тот самый, который верил в Марию Спиридонову. Ехали нашим леском, потом мимо сложенных погонными саженьями сосновых дров, немного берегом речки, в которой совсем утонули ивы, потом чужими полями и опушками лесов, — и все было так пышно, хотя уже расцвечено осенью. На станции обошлось хорошо — ждали только сутки и попали в вагон маловшивый, не туго набитый. Люди лежали вповалку или были нацеплены на гвоздиках в театральной кладовой у Витторио Подрекки, совсем как настоящие, не угадаешь, что куклы. И мы тоже, сначала ехали обвисшими, потом взделись на веревочки, задергались и вышли на обширном, только очень грязном московском вокзале. Была поставлена пьеса бытовая, и каждый из нас думал, что его роль главная. И в первое утро в Москве я проснулся как от толчка — показалось, что ухаает дерево. Ничего такого не было, где-нибудь хлопнула дверь. Но больше спать уже не мог — оглядывал книжные полки и уже различал при первом свете корешки наиболее приметных и чтимых за годы, за редкость и степенность, потому что они прожили и свое время, и живут наше, и будут жить после нас спокойно и невозмутимо, — невольно преклоняешься и успокаиваешься сам.

## ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ. КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Через месяц (1 декабря) исполнится шестьдесят лет со дня рождения поэта-символиста Валерия Яковлевича Брюсова. Любопытно, почитит ли кто-нибудь там или здесь его память. Недавно, перелистывая его напечатанный дневник, я вспомнил мимолетные с ним встречи в Москве, правда, — совершенно незначительные; живя за границей в период расцвета его литературной славы, я близко никогда его не знал и познакомился с ним только в 1917 году не как с поэтом, а как с... представителем цензурного ведомства.

В то время кооперативное объединение издавало газету «Власть народа», большую и богатую, в которую ушли писатели и публицисты «левее «Русских ведомостей». То ли было это во времена «керенские», то ли уже после октябрьского переворота (последнее вернее), но только нужно было обеспечить выход газеты на случай ее закрытия. Поэтому мы придумали еще два названия («Родина» и «Наша Родина») и решили их заявить, — тогда был «явочный порядок». Вела газету редакционная коллегия, и для каждого названия был намечен подписывающий газету редактор; «Родину» должен был подписывать я, — что и кончилось для меня позже судебным процессом, в котором меня обвинял Крыленко; но это — между прочим, а говорить будем о Брюсове.

Почему-то Брюсов был цензором, не переставая быть поэтом. А впрочем, в истории русской литературы это — не пер-

вый случай, в военное же время писателей-цензоров было много; знавал я таких еще в болгаро-турецкую войну (Семен Радев, Василев и др.). С заявлением о «новой» газете я отправился знакомиться со знаменитым символистом.

Принят был с исключительной любезностью и заметным смущением. О газете и говорить не пришлось («разумеется, разумеется»), а обоюдно выразили удивление, что до сих пор не встречались ни в России, ни за границей, перебрали общие знакомства; немножко потолковали о литературе. Я спросил Брюсова, почему он не показывается в литературных кружках, в частности, в нашем «Клубе писателей», и понял, что вопрос мой нетактичен: Брюсов очень стеснялся своего цензорства, дававшего ему кусок хлеба, а главное, того, что он не оставил своего поста и тогда, когда цензура перестала быть только военной и начала ощущаться осязательно и в прочих отношениях. Затем я забрал свою бумагу с соответствующей печатью и брюсовской подписью, — и мы простились. Запомнилось его приятное лицо, хотя и с нечистой кожей, и его несомненная нравственная усталость. Он принимал меня в отличном и очень обширном кабинете, и в ведомстве своем был, вероятно, почтенен и уважаем.

И еще была вторая и последняя встреча — уже совсем иного сорта. Я не раз упоминал, что память у меня достаточно дырявая, особенно на имена и названия, — заранее прошу простить возможные ошибки. Как назывался имажинистский кабачок на Тверской улице между Страстной площадью и площадью Советов (Генерал-губернаторской)? Мне кажется, что-то вроде «Стойла Пегаса». В этом самом «Стойле Пегаса» подвизались тогда Есенин, Шершеневич, Мариенгоф, Кусиков и еще у немало поэтов — имажинистов и ничевоков. Имажинисты были смелы и малопонятны, ничевоки окончательно храбры и совсем непонятны; это было причиной большой популярности тех и других, и кабачок был по вечерам полон публики, в которой преобладали не писатели, а нувориши голодного вре-

мени и средней власти «комиссары», которым ничего не стоило платить кучу бумажек за отвратительный кофе с настоящим сахаром и отчаянного вида сладкие пирожки.

В 9—10 часов вечера «Стойло» полно. На эстраду один за другим поднимаются поэты и читают отрывки своих произведений. Особенно эффектными строками расписаны стены кабачка. Ценителей поэзии мало, да и не в поэзии дело, а в возможности зычным голосом выкрикивать слова и выражения, которыми можно свалить с ног ломового извозчика и фельдфебеля царских времен. Вероятно, сначала это сильно действовало на посетителей пегасова стойла, но понемногу все привыкли и спокойно помешивали в чашках оловянными ложками. Особую пикантность придавало выступление поэтов с такими же непристойными словоизвержениями, — в ответ на которые публика подавала реплики. Иногда было обидно, что за дешевыми эффектами оставляются без внимания по-настоящему талантливые произведения и прекрасное их чтение, — нельзя, например, отнять у Есенина, что он некоторые свои вещи читал превосходно, особенно «Пугачева».

Кафе кормило поэтов, и им приходилось заботиться о репертуаре. Когда маленькая обычная кучка имажинистов публике поднадоела, стали приглашать гастролеров с именами. В качестве такового был приглашен и Валерий Брюсов, которому жилось тогда, вероятно, очень туго; его цензорство прекратилось с закрытием всех частных газет.

Брюсов не только силился «принять революцию», но и пытался не отставать от поэтической молодежи: «идти вперед». Удавалось это ему плохо, а молодежь признавать его своим не хотела. Его выступление в «Стойле Пегаса» было настоящим унижением. Небрежно анонсированный с эстрады, он читал плохо и неинтересно под презрительные улыбки имажинистов и под разговоры привычно-равнодушной публики. Когда после жидких аплодисментов он удалился в угол к своему столику, отдельному от кучки хозяев «Стойла», мне

стало искренно его жаль: все-таки крупный поэт, сыгравший в свое время значительную роль, бывший кумиром и учителем. Я встал и перешел к его столику, чтобы поздороваться, и увидел на его лице большую радость, — больше никто к нему не подходил. Точно нанятый музыкант, затычка в программе, третьестепенный артист кабаре. На этот раз он был смущен гораздо больше, чем когда я пришел к нему как к цензору.

Я постарался быть не просто вежливым, а почтительным к старому писателю и осведомился о том, как ему живется и что он делает. Он охотно, даже с жаром принялся рассказывать о своем тяжком быте, — в те дни тяжком для всех, — и вдруг я увидел Есенина, который пробирался между столиками, держа на отлете руку, в кулаке которой была небрежно зажата куча соответствующих тысяч и миллионов — гонорар Брюсову за выступление. Имажинисты любили делать все грубо и на виду у всех, а может быть, нарочно хотели подчеркнуть, что «этот» — сторонний для них человек, которому они хорошо платят. Заметил это и Брюсов, и у него дрогнуло лицо. Чтобы не присутствовать при сцене, я поспешил оборвать нашу беседу и отойти, пробормотав: «Ну, еще увидимся!» Видел потом, как Есенин подошел к Брюсову и высыпал перед ним на столик кучу бумажек, похожих на бутылочные этикетки, и как прославленный поэт, покраснев, сгреб их в карман.

Больше я Брюсова не встречал. Он не бывал ни в нашем «Клубе писателей», хотя, кажется, был его членом, ни в образовавшемся тогда «Всероссийском союзе писателей». Да как-то про него и слышно не было.

Вспомнился попутно московский «Клуб писателей». Два слова и о нем.

Он образовался в дни войны, но до революции; я вступил в него по возвращении из-за границы, кажется, в том же 1916 году. Клуб был тогда очень замкнутым — без жен, мужей и гостей. Прием в члены производился только единогласно. Никакого

президиума и правления, помнится, не было, а был секретарь (в то время один из младших — Вл. Лидин). Из членов помню Ив. Бунина, М.О. Гершензона, Б. Зайцева, Г. Чулкова, Ал. Толстого, Андрея Белого, Вяч. Иванова, П. Муратова, Вл.Ив. Немировича-Данченко, Н.А. Бердяева, Вл. Лидина, Бор. Грифцова, Ив. Новикова, Ал. Койранского, Нат. Крандиевскую (жену А. Толстого), ее мать — Ан.Ром. Крандиевскую, старую беллетристку. По обыкновению, — многих забываю. Кажется, были членами драматург Волькенштейн, по тому времени поэт — Илья Эренбург. Большинство — беллетристы, затем философы, историки и критики литературы, допускались и публицисты, но были, кажется, только двое: И.В. Жилкин и Е.Д. Кускова, в защиту кандидатуры которой было сообщено, что она в свое время согрешила беллетристическим произведением.

Клуб собирался на частных квартирах — раньше у Ан.Ром. Крандиевской, — и там необычайный туман пускали Вяч. Иванов и Андрей Белый, и вообще были заправские «прения», и пили чай с печеньем. Приятнее всего заседали у Ал. Толстого, — уже с пельменями и обильной «подливкой»; И.А. Бунин читал нам здесь свой рассказ «Петлистые уши». Под конец, уже в революционное время, стали собираться в Художественном театре у Вл.Ив. Немировича-Данченко в кабинете; к тому времени, состав клуба увеличился, и помню членов — старика В.А. Гиляровского, всем предлагавшего понюхать табачку с малинкой из табакерки, которой не побрезговал даже отрицатель табаку Лев Толстой. Членом была и его дочь Надежда Владимировна, молодая и неудачливая беллетристка. Еще, кажется. Ник. Эфрос, тогда попавший в художественные критики «Русских ведомостей». Но гости все-таки не допускались.

После «октября» ядро этого «Клуба» основало «Всероссийский союз писателей», который сохранял свою независимость до 1922 года, до высылки за границу писателей и профессоров. Был «Союз» и в Петербурге, но объединиться мы никак не могли, — не было имени, на котором можно было

сговориться, и различна была «целеустремленность»; петербургский союз искал покровительства, мы же этого покровительства так боялись, что даже не называли себя союзом «профессиональным». Одним из главных создателей союза и его первым председателем был М.О. Гершензон; вторым председателем был поэт Юргис Балтрушайтис, впоследствии литовский посол, а третьим Бор. Зайцев.

После высылки за границу целого ряда членов Союза и бывшего Клуба, — да еще часть (Белый, Зайцев, Муратов, Ходасевич, Эренбург) раньше уехала добровольно, — попробовали возродить наш клуб в Берлине. Это уже — новая история, и я только упомяну, что в то время (1922—1923 годы) между писателями «зарубежными» и «советскими» не было разрыва, и московские гости бывали у нас в Берлине, не смущаясь столь скандальной дружбой; и не только бывали, но и выступали на собраниях в ресторане на Ноллендорфплац. Это уже потом пошло отчуждение, в котором вряд ли виновата та или другая сторона: виноваты обстоятельства. Сейчас, — сами понимаете, — писатель, вырвавшийся проветриться за границу, земляков чувствует, — дело опасное! Разве что, если уж очень хочется повидать старого друга, придет к нему ночью с загадочным лицом и, завернувшись с головой в плащ, — и уж о таких случаях мы, конечно, никому не расскажем, а тем более не расскажет дома он.

И, наконец, последняя попытка восстановить былой московский клуб была испробована в Париже, когда сюда переселились стада русских кочевников. Она была так неудачна, что и вспоминать не стоит. А почему, — об этом говорить рано, тема не мемуарная. Может быть, впрочем, потому, что на чужой земле и люди постепенно становятся чужими друг другу, теряют духовную связь, делаются более склонными царапаться. Много всяких причин.

С тем большим удовольствием вспоминается ладная наша писательская жизнь в Москве, — и в лучшие, и в плохие, и в

совсем ужасные времена. Если у оставшихся и новых писателей сохранилось что-нибудь подобное, если живая связь между ними существует и не терпит ущерба от столь изменившихся условий духовного существования, — порадуемся за них и смиреннько пожалеем самих себя. Если нет, — будем в печали товарищами по несчастью. Все это вернется когда-нибудь, все это еще вернется, — будем надеяться, если не за себя, то за более молодых...



## КАК МЫ ТОРГОВАЛИ

Всегда с удовольствием и особой нежностью вспоминаю время, когда я стоял за прилавком Книжной лавки писателей в Москве. Пятнадцать лет истекло со дня ее основания; я писал о ней довольно подробно в библиофильском «Временнике», — здесь хочется вспомнить о нас самих, нечаянных хозяевах-приказчиках.

Мы открыли писательскую лавку, когда были закрыты все журналы и газеты, — открыли для заработка и чтобы не расставаться с книгой. А так как вскоре все книжное дело было национализировано и все магазины исчезли, то наша лавка, бывшая под покровительством Всероссийского союза писателей и как-то уцелевшая, оказалась «вне конкуренции» и обслуживала всю Москву и всю Россию; в Петербурге возникло и удержалось такое же предприятие (книжный кооператив «Петрополис»), несколько отличное от нашего по целям и характеру организации. На правах кооператива (а правильнее сказать — неизвестно почему) мы покупали и продавали книги безо всяких разрешений, обслуживая частных лиц, библиотеки и университеты. Так просуществовали мы пять лет, пока знаменитый нэп не задавил нас конкуренцией и налогами.

В девять часов утра лавку отпирала фигура в валенках и барашковой шапке, молодой историк литературы и популяр-

ный, особенно у слушательниц, лектор Борис Грифцов; иногда раньше успевала прийти наша кассирша Е. Дилевская, обладательница прекрасного сопрано, будущая артистка, едва не потерявшая голос за морозным прилавком. Чередуясь дежурствами, являлись Борис Зайцев и философ Ник .Ал. Бердяев. Неизменно весь день проводили в лавке нынешний хороший советский писатель Ал. Ст. Яковлев и я. Мотыльком залетал и на часы застревал проф. Ал. Карп. Дживелегов, один из лучших наших «приказчиков». Таков был наиболее постоянный состав пайщиков; еще трое из учредителей пробыли у нас недолго (отличный книговед М.В. Линд, искусствовед П.П. Муратов — ныне неблагополучно отбывший на Дальний Восток, и поэт В.Ф. Ходасевич).

Вели дела, главным образом, мы с Грифцовым, который жил у меня в Чернышевском переулке, почти рядом с лавкой (она была в Леонтьевском, потом на Большой Никитской): общий распорядок, закупка книг, расценка, касса, колка дров, растопка печурки, работа на складе. По части перевозки книг на санках вне упрека был милейший Яковлев. Обласкать покупателя и составить каталог фундаментальной университетской библиотеки никто не умел так, как «историк Возрождения» Дживелегов. Все качества деловой неосведомленности и купеческой бесталанности соединял в себе Борис Зайцев, ведавший отделом беллетристики; конкуренцию ему в этом отношении составлял Н. Бердяев, очень серьезно относившийся к делу, но ни разу не завязавший веревкой пакета правильно. Но зато по отделу книг философских было некому с ним сравняться!

— Есть у вас сочинения Ницше? — спрашивал покупатель.

— А вот, пожалуйста, обратитесь к профессору Бердяеву.

Момент кипучей торговой деятельности Николая Александровича!

— Вам Ницше? Вы хотите на немецком или на русском языке?

— Лучше по-русски.

— Русских изданий Ницше несколько. Хуже других издание Клюкина — и перевод плохой, и подбор материала.

— Я хотел бы издание хорошее.

— Есть и другие издания, но тоже с недостатками.

Следует подробное исследование русских изданий Ницше. Покупатель слушает с почтением, философ излагает с полным знанием дела и желанием помочь покупателю в выборе. Наконец, выбор сделан, и Николай Александрович говорит:

— К сожалению, этого издания у нас нет.

— Ну, тогда я возьму другое, ничего не поделаешь.

— Да, это очень обидно, но сейчас такое время...

— Вы можете мне показать?

— Что?

— Какое-нибудь издание Ницше.

— Но вы хотите непременно русское?

— Мне хотелось бы русское.

— Но у нас русских изданий сейчас нет.

— Совсем нет? И даже клюкинского?

— И его нет. Но это издание плохое!

— Ах, вон что, я не понял! Ну, тогда мне придется взять немецкое, хотя я не так свободно владею языком. Вы все-таки мне покажите.

— Немецкое издание? Это ведь очень редко попадается. У нас нет немецкого издания!

И Н.А. Бердяев с улыбкой доброты и искреннего сожаления смотрит на непонятливого покупателя. Его действительно огорчает, что он ничем не может помочь естественной любознательности этого человека.

Покупатель смущен, но разговор продолжается. Бердяев авторитетно и убежденно разъясняет что-то о книге Лихтенберге, которая дает известное представление о Ницше, но имеет, конечно, и свои недостатки. В общем, ему удается заинтересовать ищущего премудрости, который не прочь книгу купить и с осторожностью спрашивает:

— А у вас есть Лихтенберже?

— То есть у меня лично или в лавке? Вы хотели бы купить?

— Да.

— Но у нас нет Лихтенберже.

— А...

Покупатель уходит в некотором недоумении, а Николай Александрович огорченно говорит:

— Это очень обидно, что у нас нет Ницше! Вот человек интересуется, а достать ему негде. Так неприятно отказывать...

Борис Зайцев — по части классиков и современной русской литературы. Отношение к разным писателям у него определенное, но он не вполне понимает, почему иногда хорошее произведение стоит дешево, а плохое дорого. Кроме того, он путает тысячи и миллионы, не знает содержимого наших полок, а завернутый в бумагу и завязанный им пакет обычно развязывается и разваливается. И вообще он как будто удивляется, что вот мы торгуем — и ничего, не только не прогораем, а сегодня на доходы купили «партию масла», по фунту на человека.

Зато — какой талант у профессора Дживелегова, вечно молодого, никогда не унывающего! Мужчин он побеждает ученостью и уверенностью суждений, женщин, главным образом, тем, что всех их он зовет «милыми девушками», не исключая и почтеннейших и не скрывающих возраста:

— Слушайте, милая девушка, ну что за радость читать романы Жип, когда у нас чуть не все сочинения Бальзака! Пойдемте-ка к иностранной полке.

Или слышится уверенное:

— По истории? Не только исторический отдел, но можем в две-три недели подобрать образцовую фундаментальную библиотеку. Словари? Ну, конечно, все что угодно.

И, правда, — мы доставали все, и книги закупались у нас целыми возами и грузовиками. При ежедневном падении цены

денег такая торговля «на всю Россию» давала нам возможность питаться не только просом, но иногда и кониной и помогать нуждающимся писательским и профессорским семьям.

Ал. Степ. Яковлев специализировался на учебниках и покупке книг у обывательской бедноты. Часто приносили нам книги, которые ни к чему не были нужны. Александр Степанович удалялся с продавцом в дальний угол, шептался и смущенно передавал в кассу чек.

— Вот заплатите за книги, я купил.

А по уходе продавца хватался за голову руками:

— Куда мы этот хлам денем! Тут ничего нет дельного.

— Да зачем вы купили?

— Нельзя было не взять. Человек от голода шатается, принес последнее.

Мы называли его «эксплуататором вдов» — и он серьезно огорчался.

Он же чуть не рыдал, когда у нас самым наглым образом крали книги с полок — вход был свободный.

— Это же невыносимо! Я все время следил и видел, как она клала себе в мешок книжку за книжкой! И ведь ничего не понимает, без всякого разбора, только бы в переплете.

— Что же вы не уличили ее?

— Как же я могу? Ведь это какой стыд! Красть книги! И не в первый раз, я потому и следить стал. В следующий раз я ей прямо скажу: убирайтесь вон!

Но никогда сказать не решался, и при наших хозяйственных расчетах мы просто клали столько-то на покражи как на необходимое зло. Бывали у нас и кражи со взломом, — и тогда мы привешивали новый замок покрепче. Крали неизменно пять томов Грабаря, «Императрицу Елизавету Алексеевну», сомовскую «Маркизу» и еще несколько дорогих изданий, — так называемую «валютную книгу», на которую всегда был покупатель. Воры были умные и знающие.

В полушубке, отличных казанских валенках и двух парах вязаных перчаток я бегал из лавки на склад, который был устроен этажом выше, в номерах полузамерзшей гостиницы. Собственно, замерзла она целиком, но мы в одной из комнат поставили печурку, и было возможно, не совсем отмораживая пальцы, перелистывать страницы книг. Мой отдел был — старинная книга, самая драгоценная и меньше всего привлекавшая покупателя. Огромные кожаные Четьи-Минеи, издания петровские, как и чужеземные эльзевиры и альдини, шли за щепотку муки. Но какое наслаждение их разбирать, определять, расценивать! И какая радость, когда они попадали в руки любителя и знатока, а не случайного покупателя. В других комнатах склада подбирались разрозненные томы классиков, составлялись комплекты журналов и многотомных сочинений, выполнялись большие заказы. За пять лет через нашу лавку прошли великие книжные богатства и редкости, и каждый из нас, пользуясь нами же определенным книжным «пайком», составил себе избранную библиотеку; даже служивший у нас одно время рассыльным малограмотный солдат, получавший «паек» наравне со всеми, составил себе библиотеку классиков и вышел бы в люди, если бы, соблазнившись доходной спекуляцией и местом милиционера, не ушел от нас и вскоре не сделался налетчиком и бандитом.

Стоило бы назвать клиентов нашей лавки, среди которых было много людей известнейших и в ученом и в административном мире, — но можно ли поминать всуе имена советских граждан. К нам шли все, потому что достать что-нибудь в национализированных магазинах было почти невозможно: ими заведовали люди невежественные, и покупатель обязывался представлять мандаты и разрешения. Нас терпели, потому что в книге нуждались и те, кто способствовали ее гибели на новых казенных книжных кладбищах, где она гнила в затопленных подвалах и раскрадывалась заве-

дующими. Возникавшие при разных учреждениях и рабочих клубах сотни новых библиотек предпочитали обращаться туда, где все делалось просто и скоро, безо всяких формальностей, а нищавшая интеллигенция и коллекционеры несли к нам свои сокровища, чтобы обменять их на хлеб и избежать конфискации. Мы брали все, платя, сколько были в силах, — от подлинных писем Екатерины Второй до трепанных учебников. Быстрый оборот помогал благодетельствовать и продавцов, и самих себя.

В дни нэпа возникли другие книжные лавки (поэтов, «Задруги» — с С.П. Мельгуновым и А.А. Кизеветтером, лавка проф. Виппера и др.). Наша фирма, как «старинная», от конкуренции страдала не сильно, но когда нас обложили полугодовым налогом, далеко превосходившим наш валовой годовой приход, — пришлось сложить оружие и сдаться. Лавку мы продали, выручив в золоте ту самую ничтожную сумму, какую внесли в складчину при учреждении. Это было, конечно, блестящей операцией.

Как не вспоминать с любовью и радостью о живой работе, которая всем нам позволяла не служить и делать настоящее дело! Свой паек был слаще пайков казенных, да и питательней. Вспоминаю, как Н.А. Бердяев, получавший, по профессорскому званию, паек «академический», привез однажды в лавку целый мешок селедок. Все за него радовались, но он не знал, как расплатиться с извозчиком, которому обещал уплатить селедками. Запыхавшийся и взволнованный, он спросил меня:

— Да, но сколько дать ему селедок?

Я серьезно ответил:

— Конечно, пять.

— Вы думаете — пять?

— Непременно шесть.

— А почему именно шесть?

— Потому, что семь.

Он стал отсчитывать из мешка, но опять усумнился:

— Не следует ли выбрать ему самые большие и жирные?

— Ну, конечно, выберите лучшие восемь селедок!

Он выбрал девять, накинул еще одну — и был страшно счастлив, что извозчик был удовлетворен и долго, сняв шапку, его благодарил. Но, как в лавочных делах, всегда обстоятельный и философски точный, он не мог установить для себя окончательно, сколько селедок было правильной нормой оплаты труда извозчика.

— Вероятно, все-таки семь, потому он так благодарил. Но я, конечно, не жалею, и у меня осталось втрое больше. Это даже слишком...

— И понятно! Ведь вы же — профессор, а он только извозчик!..



## БЕЗ СОБЫТИЙ

Паспорта, визы, пути сообщения — все это совершенный пустяк, и когда человек хочет побывать в знакомых и любимых местах, ему достаточно памяти и фантазии, потому что для мысли границ пока еще нет, и в этом огромное утешение. Не ощупав собственного кармана, не подходя к билетной кассе, не ставя на лоб консульской печати, — мы отправляемся в путь со всеми угодными нам остановками. Я, например, очень давно не бывал в Звенигородском уезде Московской губернии. Звенигород, после Москвы, древнейший город, а уезд — едва ли не красивейший в центральной России. Реки там Истра и Москва. Почва серо-глинистая — иловатый суглинок. Люди жили раньше приятнейшие, спокойные, хозяйственные, не без хитрецы. Светлые, прозрачные леса на волнистой поверхности, обширные поля, отличный говор. Именно туда я сейчас отправляюсь провести месяц в деревне, в довольно глухом местечке, на берегу реки, притока Истры. Эпоха, по моему же выбору, год девятьсот двадцатый, смутный, конечно, но на лоне природы это не так заметно. Докуда-то мы из Москвы ухитрились доехать, а дальше идем пешком с котомками за плечами. На мне полувоенный костюм цвета хаки и сапоги, а Борис Александрович, эстет и городской человек, одет для деревни довольно забавно: в котелке, низких сапожках, в которые он заправил брюки в серую полосу (от визитки, вы-

шедшей из употребления), в галстук при ночной рубашке, а талия подвязана веревочкой. Но не я его веду, а именно он меня — в бывшее свое имение, вернее — на материнский хуторок, где он сам давно не бывал. Борис Александрович — молодой лектор, специалист по иностранной литературе, бритый (сейчас не очень чисто), серо-голубоглазый, небольшого роста, верит в прогресс, но выше всего ценит «Шагреновую кожу» Бальзака, немножко италофил, т.е. умеет наворачивать на вилку макароны и знает наизусть первые строки третьей песни «Ада». В этом последнем — наша точка соприкосновения, а в остальном мы люди совершенно несхожие; но нас столкнула судьба, временно заняла в Москве одним делом, поселив и в одной квартире. И когда ему захотелось побывать в деревне, чтобы немного откормиться (вы представляете себе, что такое Москва в 1920 году?), он пригласил в путники меня, человека хожалого (в смысле пензенском: «человек, хожалый, куда хошь — пожалуй!»). Он сказал:

— Не знаю, чем именно, но вы очень нравитесь моей матери, а она весьма строга в, своих вкусах и расположениях и видела вас только раз. Она — оригинальный человек, нелюдима и сейчас живет крестьянкой, огородничает, совершенно одинока. Наш дом стоит пустой, она живет в избе и пользуется уважением крестьян, считающих ее своей; впрочем, мы и раньше были захудалыми помещиками, почти безземельными, так что изменилось немного. Да вы сами увидите.

Мы отмахали верст пятнадцать, раз передохнув и закусив черным хлебом и малорусским салом, купленным у солдата, который носил его за пазухой, а нам продал в подворотне дома на Никитской. Сало приехало с юга, и было вкуснее вкусного — почти божественным. Наши котомки были полны селедок из академического пайка, я же, со своей стороны, взял запас повидла, сухих овощей, морковного чая, фунт настоящего сахара и охалку листьев привозного табаку, который крошится бритвой и, набитый в трубку, создает чарующее настроение.

Конечно, — рыболовные снасти, кроме громоздкого сачка; при нужде будем подсачивать рыбку котелком Бориса Александровича. Он в этом ничего не понимает, он — эстет и историк литературы. Он и говорит всегда литературно: вступление, изложение, заключение, не «да», а «д-да», и не «я думаю», а «я полагал бы».

По мере того как мы приближаемся к деревне, человек на моих глазах меняется: теплеют глаза, видно, он любит свою мать, и, надо думать, его потихоньку пронзает звенигородская природа: городское кривлячество сползает, а под ним простой и славный человек, несколько смущенный способностью легко дышать смоляным воздухом и радоваться пробежавшему зайцу. «Д-да, — говорит, — конечно, лес имеет свои преимущества, и мне припоминается, что в детстве я его любил». Мы идем через болотце, и его полусапожки приветственно хлюпают и чавкают. «Эта птица, которая вылетела, вероятно, утка. Любопытно, как понравится вам моя мать; она — образованная женщина, но старается опроститься и казаться всецело погруженной в сельское хозяйство; это, кажется, в вашем духе».

Его мать — не старая, сухая, выдержанная женщина; выражение глаз, несколько насмешливое и осторожное, Борис Александрович наследовал у нее. Опрощением она не рисуется, — просто иначе ей невозможно, пришлось приспособиться. Она принимает наши дары и угощает нас молоком, огурцами и отличными полусерыми лепешками, на нашу удачу — горячими. За ужином грибной суп и тыква на настоящем масле, блюда давно невиданные. Спать мы будем в пустующем большом доме, в единственной, не совсем распавшейся, комнате. Дом разрушен не враждебными руками, а временем, попросту — бедностью. Но в доме остатки деревянных колонн, и дряхлые кресла заняты — стиль какой-то неведомой эпохи. Плохо с оконными стеклами; их, действительно, порастащили соседи. И нет дверных замков — а зачем нам они?

И мы начинаем самую настоящую жизнь, именно такую, которая больше всего подходит человеку, всеядному животному, плохо защищенному шкурой, не умеющему приспособиваться. Нашлись старые косоворотки, вышитые в крестик, и какая-то курточка, может быть, гимназическая, в которой московский лектор помолодел на двадцать лет. Так как керосину, конечно, нет, то мы ложимся в разумное время и встаем к лучшим, самым живительным лучам солнца, к просыхающей росе и комариному сну. «Вам не кажется, — говорю я, — что Бальзак, по незнанию Звенигородского уезда, упустил из виду отличный выход для героя «Шагреновой кожи»: он мог поселить его здесь, где никаких желаний являться не может, так как все дано?» — «Я полагал бы, — отвечает профессор, пришивая пуговицу к рубашке, — я полагал бы, что это — преувеличение; так, например, я хотел бы, чтобы пуговицы или не отрывались, или пришивались сами. Но известная доля истины в вашем рассуждении чувствуется». — «Известная истина, — слишком снисходительно и решительно несправедливо! Пуговицу вы пришиваете с явным удовольствием, хотя, кажется, не совсем на месте. Но вот почему вы никогда не хотите принять положительное утверждение безоговорочно? Например: «мы в раю и мы счастливы». Вам же непременно нужно вставить между раем и адом еще и чистилище. Предлагаю вам взять корзины и удочки и пойти восторгаться природой, но только действительно восторгаться!» — «Не думаю, чтобы восторженность могла быть преднамеренной, но готов попробовать».

Корзины нужны для грибов. Когда грибы требуются спешно к обеду, один из нас просто идет на вырубленную полянку близ дома и набирает в несколько минут любое количество опенков, которыми поросли все пни; семейства опенков толпятся и теснятся в чистых, хотя и рваных рубашечках, благоухают и просятся на сковородку. Но так как мы стали гурманами, то стремимся к разнообразию — к грибам белым, крас-

ным и черным, притом отборным, маленьким и крепким, без признака червоточины. Удочки берутся для рыбной ловли, которой я обучаю московского лектора. Так, например, в солнечное утро, на первом припеке, я указываю ему на продолговатый предмет в воде, на мелком месте, лишенном всякой привлекательности: что это такое? Он утверждает, что это просто палка или водоросль; в действительности это — щука, притворяющаяся несуществующей. Мы швыряем камешки, и щука уходит только тогда, когда один из них попадает ей в нос, и Борис Александрович говорит: «Кажется, вы были правы». — «Не кажется, черт возьми, а окончательно прав!» — «Но почему она так глупо устроилась на видном месте?» — «Очевидно, в расчете на то, что мелкая рыбешка так же слепа, как и вы, и менее всего ожидает встретить ее здесь». Затем я указываю ему на стадо пескарей у самого берега и рекомендую в полчаса наловить не менее тридцати штук, а сам, по колону в воде, забираюсь в заросли камыша, где хороши окуни. Поглядывая на него искоса, вижу, как лысый мальчик в косоворотке неуклюже, но с лицом радостным и возбужденным, вытаскивает рыбешку, жалостливо ее снимает с крючка и торопится приладить нового червяка; наконец-то этот человек по-настоящему волнуется! А заметь он, что я наблюдаю, — сейчас же сделает равнодушно-ироническое лицо и пробурчит: «Д-да, это до известной степени увлекательно».

В часы жары мы отдыхаем дома, но не спим, потому что ночи очень длинны. Однажды забрались на чердак и обнаружили там связки старых журналов — «Современник» и «Отечественные записки», — за много лет. Сквозь щели чердака пробивалось солнце, и Борис Александрович немедленно провалился в страницы, посасывая трубочку, а я, с азартом старого книголюба, расшвыривал книги, ища неожиданного клада, например, календарей. Пушкину удалось найти в сорной чердачной корзине бесценное сокровище: непрерыв-

ную цепь годов от 1744 до 1799. Утверждаю, что такой календарной цепи никогда не было и не могло быть, это знает каждый библиограф; но, выдумав ее, Пушкин положил начало «Истории села Горюхина», своему лучшему, хоть и не оконченному, даже едва начатому произведению; что-нибудь подобное могло случиться и с нами. «Вы поймите, — кричу я на Бориса Александровича, — какие перед нами перспективы! В календарях могут быть записи, которые осветят целую эпоху! Например: “Тришка за грубость бит. 6-го — ко-рова бурая пала. Сенька за пьянство бит”. Бросьте журнал и примемся за поиски!». — Мы ползаем по пыльному чердаку до обеда и находим замечательные вещи: приходо-расходную книгу, старообрядческую лестовку, отделанный бисером длинный чубук и вычурные шахматы, — к сожалению, неполную игру. Затем, перемазанные, садимся на полу друг против друга и хохочем, как дети. Он говорит: «Несколько странно вспомнить, что мы переживаем эпоху военного коммунизма». Затем спускаемся по скрипучей и неверной лестнице, довольные и голодные. На обед окуни, грибы в сметане, в настоящей сметане, о какой в Москве не мечтают. Кусок шагреновой кожи может висеть спокойно: никакие несбыточные желания нас не могут волновать: удовлетворение полное! Я спрашиваю ядовито: «Ну, вы продолжаете мечтать о Флоренции? Хотелось бы вам быть сейчас во Фьезоле и слушать орган?» — Борис Александрович трет переносицу и вытягивает из себя слова: «В данную минуту я готов сопутствовать вам, если вы так уж хотите ловить ершей; но, вообще говоря...». — Я подмечаю, что его мать совсем не такая сухая и строгая женщина; она смеется и утверждает, что нам обоим вместе не более тридцати лет, из которых на мою долю приходится четырнадцать; я принимаю это, как знак особого ко мне расположения, и мы помогаем ей мыть тарелки.

С рыбной ловли мы возвращаемся по вечерней росе, слушая лягушачий концерт. Если бы произошло какое-нибудь

событие, концерт оборвался бы, а с ним и полнота совершенно несомненного нашего счастья. Оказывается, что в его основе именно отсутствие событий, чередование одинаковых часов и дней. К событиям, способным нарушить ясное течение жизни, не относится, конечно, поимка пятифунтовой щуки, которую гордо несет, закинув за спину, московский эстет, потому что она поймана на его удочку, хотя и с моей помощью: я едва не ударил его, когда он, не дав щуке погулять, стал сильно дергать лесу. Когда мы вытащили щуку, у него дрожали руки и срывался голос, силившийся произнести: «Мне кажется, что это — одна из крупнейших рыб, нами пойманных в этой маленькой реке». Щуку мы оба видели во сне, и на другой день он торопил меня пойти на то же место.

В какой-то день нам нужно возвращаться в Москву. Те же пятнадцать верст мы проходим, почти не обменявшись словом. На нем котелок, ночная рубашка с галстуком и подвязанный веревочкой пиджак. Загар мешает его лицу сделаться прежним, городским, но мне кажется, что он уже обдумывает лекцию. Впрочем, мы оба озабочены, так как существование поездов вообще сомнительно и ничем не доказано. Кроме того, мы вступаем в область, где не только возможны, но и неизбежны события и где есть что желать: куску шагреновой кожи грозит умаление. Нам обоим не меньше восьмидесяти лет, но в городе будет много больше. В наших карманах охранительные документы с синими печатями, может быть, еще действительные. Нам удастся устроиться на площадке вагона. Небо темнеет, и в Москве нас встречает дождь. Шагая по неопрятным улицам, мы думаем о том, что вчерашний день мог быть сновиденьем, но завтра, во всяком случае, вполне реально.

## Н.Н. КУТЛЕР

Я не записал бы слишком мимолетной встречи с покойным Николаем Николаевичем Кутлером, если бы не прочел в одной зарубежной газете слишком легких о нем строк: был прилежным чиновником, с кадетами спасал монархию, в конце жизни служил большевикам... Так о таком человеке, о таком настоящем труженике и умном финансисте-практике говорить нельзя.

Николай Николаевич был одним из тех, кто, мало занимаясь политикой, силы свои отдавал настоящему делу. Его житейская мудрость говорила: кто бы ни был правителем, какими бы страстями ни кипел политический котел, а жить нужно, поддерживать жизнь государства кто-то должен, работать нужно.

И он работал всю жизнь до последних дней; и сделал он — особенно в последние годы — так много, что издали нам и представить себе трудно. Вряд ли большим преувеличением будет сказать, что от конечной финансовой разрухи Россию спас именно он. За это его могут осуждать лишь те, для кого «чем в России хуже — тем лучше», Ну, а для тех, кто живет внутри России, такая формула неприемлема: им своей невидной работой этот умный финансист очень облегчил тяжкое бытие. И служил он не большевикам, а России; смешивать нельзя.

Моя же с ним встреча была коротка и случайна: в общей камере Особого отдела Всероссийской Чеки. Была камера полна членов разгромленного Комитета помощи голодающим; взя-



ли всех за политические намерения, которых у нас не было. Старшим по возрасту был Николай Николаевич. И — кажется мне — самым спокойным и стоическим был он же. Ел ядовитый суп из погибшей рыбы, без тарелки и без ложки, — из перепиленной надвое бутылки, закусывал сорным прелым хлебом, вытирал бумажкой седые усы. Не жаловался и не волновался. И очень приветствовал мысль сделать из хлеба шахматы.

Редко встречается в тюрьмах такой почтенный состав камеры, как был тогда. И вот, для сохранения бодрости и присутствия духа, мы решили организовать цикл лекций; особенно кооператорам из провинции (их было несколько) хотелось послушать столичных профессоров и деятелей. Были у нас лекции по экономике, по литературе, искусству, театру, по естествознанию, даже по холодильному делу; были и доклады с мест (о голоде; страшные доклады!). А Ник. Ник. прочел нам лекцию о положении финансов и единственно возможном пути реформы. Путь ему рисовался один, и в те дни даже намек на него не было. Но так как и действительно был лишь один путь спасения русских финансов от окончательной гибели и так как Ник. Ник. случайно не был расстрелян, а вернулся к деятельности, то этот путь он и избрал. То, что он сделал позже, было целиком им предначертано в грязной камере Особого отдела. Бывают в жизни и не такие курьезы!

Все вместе мы сидели недолго, всего двое суток; на третьи нас раскассировали по отдельным камерам внутренней тюрьмы. Н. Кутлера, как члена президиума, вызвали одним из первых. Когда его выпустили, я не знаю, так как надолго был отрезан от внешнего мира. Вышло счастливо, что он не попал даже в ссылку; в его годы это было бы тяжело. И приятно было позже узнать, что наш старейший соарестант снова работает, что он имеет возможность быть полезным своими большими знаниями и огромным опытом. Ни среди нас, ни вообще в России не было человека, которому пришла бы на

ум нелепая мысль осудить его за «службу большевикам»; мы Россию от большевиков всегда умели отличать, да и в людях разбираться привыкли. И раньше, и после, и всегда Ник. Ник. Кутлер пользовался общим уважением; тени на его памяти нет никакой — благодарностью же ему мы обязаны.

Он умер; уже это одно обеспечивает его памяти осторожность суждений о нем как деятеле и человеке. Живо много других ему подобных работников по возрождению России. Их часто не ценят, о них нередко судят слишком легко. В ненормальных политических условиях это естественно — политике чужда справедливость. Потому так странно приходится словно бы защищать память иных людей, могиле которых лучше было бы просто и почтительно поклониться.

## КАК НАС УЕХАЛИ

*(Юбилейное)*

На Москва-реке, под крутым берегом деревни Барвиха, под правым ее крылом, опытный рыболлов может проводить часы и дни не без пользы и с удовольствием. Деревню Барвиху открыл молодой сельскохозяйственный профессор, бывший в немалом уважении у правящих, а сейчас сидящий в узилище. В первое лето он с сманил в Барвиху своих приятелей писательского звания; из них один сейчас создает идеологию газеты «Возрождение», а другой выступает еретиком в «Последних новостях». Еще через год в Барвихе поселилось много дачников, часть которых и до сей поры не изменила деревушке, а часть предпочитает Пиренеи и Пари-пляж.

Десять лет — достаточный, по-моему, срок, чтобы о личном трагическом писать с улыбкой. И все-таки с некоторым беспокойством я приступаю к этой страничке юбилейных воспоминаний: вспомнишь что-нибудь забавное, что другие позабыли, — и выйдет недоразумение. Поэтому, вопреки добродушному обычаю, буду больше говорить о себе, чем о людях одной судьбы.

На берегу были густые заросли, в которых сидеть с удочкой покойно, а сверху не видно. Последнее было очень важно, потому что, по уговору, я не должен был сидеть на виду. Даже перекусить обещали принести мне сюда; а в случае каких-

нибудь полуожиданностей прибежит ко мне мальчик или помашут платком с видного места.

Как на грех, брал только ерш, а это скучно. Смотав удочки, я хотел переменить место — и увидел сигнальщика. Значит, — собирайся, приехали! В эту минуту решила для меня судьба предстоявшего десятилетия — а то и больше.

Дело в том, что почтенному философу, с которым мы тогда делили деревенский уют и который сейчас живет в Кламаре, пришло в голову побывать в Москве на своей городской квартире. Ждали его обратно вечером, но он не вернулся. Вместо него приехал знакомый и рассказал, что в Москве идут аресты писателей и профессоров, и в числе других взят и наш милый Николай Александрович.

При нашей привычке к тогдашним нелепостям арест Н.А. Бердяева — величайшая политическая чепуха — нас не удивил. Называли и других, столь же чуждых всякой активной политике, столь же далеких от того, чтобы быть «врагами революции» и «белогвардейцами». Значит — такая уж судьба, просто — пришел черед. Поэтому, ночь переспав на даче, с утра я засел в камышах — может быть, и за мной приедут. А так как только этой весной я вернулся из казанской ссылки (за участие в помощи голодающим), то очень не хотелось опять возвращаться на Лубянку, где перед ссылкой я прошел курс трехмесячного гниения в зацветшей плесенью камере.

Адресных столов в деревне не водится, а местный совдеп за рекой. Когда я с удочками проходил мимо перевоза, там слезали с автомобиля приметные фигуры с наганами и в суконных шлемах, созданных по рисунку художника Бертрама. Они торопились, а я не спешил, — и разошлись мы мирно. Не станет же враг отечества и пролетариата шляться с удочками по берегу Москва-реки! Потом, уже из прилеска, с высокого места, я видел, как они возвращались в лодке, заводили машину и, гудя мотором, подымались в нашу деревушку.

Люди были не простые, а хитрые; не ворвались с полицейской грубостью, а вежливо сообщили, что имеют передать мне письмо от товарища Луначарского, но непременно лично. Так как с тов. Луначарским я в переписке отродясь не состоял (кстати, — и зря трепали его имя, он был против нашей высылки!), то приехавшим заявили, что я в Москве. Уехали с недоверием, поставив крестьян сторожить ночью. Не знаю, взяли ли бы меня крестьяне, если бы я вернулся. Но сторожить — сторожили и между собой беседовали о событии:

— Того, патлатого, в городе забрали, а этот, видишь, убег.

В их представлении мы, вероятно, были ловкими бандитами. По признаку патлатости, несмотря на всегдашнее изящество летнего костюма (мне, как рыболову, несвойственное), Н. Бердяев мог легко сойти за атамана.

И вот иду, сначала полями, затем углубившись в лес. Как раз в эти дни повылезли из земли белые грибы — целыми выводками, крепкие, полные соблазна. И жалко их ломать — и невозможно не наклоняться! Удочки и рыболовный мешок я бросил в кустах, собирать грибы не во что. Очень было обидно. Через лес проложена дорога, от которой я держался в стороне; раз, услышав шум мотора, залег на минуту в густой чаще. А проходил через заповедный лес, где сосны стоят со дней царя Алексея Михайловича, и ствол в поперечнике в рост большого человека. Это была последняя красота, которую я видел в России.

Думаю, что путь я избрал правильный: в сторону летней резиденции многовластных людей: Троцкого, Дзержинского, Каменева. Было какое-то очень странное старое имение, окруженное высокой каменной стеной; туда они приехали отдыхать из Москвы, там жили их семьи. А в стороне, совсем рядом, три крестьянских домика, из которых один был мне дружествен; в нем я и решил провести несколько дней, пока выяснится, почему нас преследуют и что нас ждет. Здесь искать уж, конечно, не будут, — и, правда, не искали.

По малой своей осторожности, выходя гулять в лес, встречался с дачниками, и не совсем удачно: один раз — с сестрой Каменева, другой — с женой и сыном Троцкого; обе сановницы меня, кажется, знали, Каменева во всяком случае; она была раньше постоянной посетительницей нашей, лишь недавно ликвидированной Лавки писателей. Об арестах писателей и ученых говорила вся Москва, так что и здесь, конечно, знали: однако для меня обе встречи прошли благополучно.

Но не вечно же жить в лесу? Из Москвы сообщили, что некоторые из арестованных уже выпущены, и всех высылают за границу. Высылка применялась впервые, — все же это лучше тюрьмы. За что берут и высылают самых мирных людей — неизвестно; но в то время у нас гулял по Москве анекдот про анкету, которую должны были заполнять все граждане. В этой анкете был будто бы такой пункт:

«Были ли вы арестованы, и если нет, то почему?»

Коротко говоря — отправился и я на Москву, конечно — не домой, а в дружеский дом, в частную лечебницу, где меня записали больным. Делами арестованных и высылаемых ведал следователь ГПУ товарищ Решетов (тогда неизменно прибавляли к фамилиям слово «товарищ»). Рискнул ему телефонировать:

— Товарищ Решетов?

— Я. Кто спрашивает?

— Такой-то. Правда ли, что вы меня разыскиваете?

— Д-да...

— Что же, приехать к вам?

— Да, вы должны явиться.

— А скажите, товарищ Решетов, вы меня не того, не задержите?

Строгим голосом:

— Я не обязан, гражданин, отвечать на такие вопросы.

— Да нет, вы меня не поняли! Я просто хочу знать, брать ли мне подушку, папиросы и прочее?

Немного повременил и менее грозным голосом ответил:

— Можете не брать.

В Москве шел слух, что в командующих рядах нет полного согласия по части нашей высылки; называли тех, кто был «за» и кто был «против». Плохо, что «за» был Троцкий.

Вероятно, позже, когда высылали его самого, он был против этого!

Таким образом, полоса паники уже прошла, а многие нас даже поздравляли: «счастливые, за границу поедете!». И все же к зданию ГПУ, где я сидел дважды, и в «Корабле смерти» и в «Особом отделе», я подходил не без ощущения пустоты в груди. Но раньше меня туда привозили, теперь шел сам. И оказалось, что добровольно попасть в страшное здание не так просто!

— Куда вы, товарищ, нельзя сюда!

— Меня вызвали.

— Предъявите пропуск!

— Нет у меня пропуска, по телефону вызван.

— Нельзя без пропуска, заворачивай.

— Да мне к следователю.

Все-таки пропустили в канцелярию. Но и здесь полчаса отказывали.

— Вам зачем туда?

Скромно говорю:

— Мне бы нужно арестоваться.

— Без разрешения нельзя.

— Как же мне быть? Исхлопочите разрешение.

Долго куда-то телефонировали, наконец, выдали бумажку — и молодой солдатик пропустил.

Здание огромное, найти нужного человека трудно; раньше меня и здесь водили, больше по вечерам, темными коридорами. Наконец, добрался — столкнулся в большой комнате с десятком товарищей по несчастью, уже освобожденных и вызванных для писанья каких-то протоколов. Все люди почтен-

ные, на возрасте, неуместные в такой обстановке, не похожей на деловой кабинет.

Допрашивали нас в нескольких комнатах несколько следователей. За исключением умного Решетова, все эти следователи были малограмотны, самоуверенны и ни о ком из нас не имели никакого представления: какой-то там товарищ Бердяев, да товарищ Кизеветтер, да Новиков Михаил.... Вы чем занимались? — Был ректором университета. — Вы что же, писатель? А чего вы пишете? — А вы, говорите, философ? А чем же занимаетесь? — Самый допрос был образцом канцелярской простоты и логики.

Собственно допрашивать нас было не о чем — ни в чем мы не обвинялись. Я спросил Решетова: «Собственно, в чем мы обвиняемся? — Он ответил: «Оставьте, товарищ, это не важно! Не к чему задавать пустые вопросы». Другой следователь подвинул мне бумажку:

— Вот распишитесь тут, что вам объявлено о задержании.

— Нет! Этого я не подпишу. Мне сказал по телефону Решетов, что подушку можно не брать!

— Да вы только подпишите, а там увидите, я вам дам другой документ.

В другом документе просто сказано, что на основании моего допроса (которого еще не было) я присужден к высылке за границу на три года. И статья какая-то проставлена.

— Да какого допроса? Вы еще не допрашивали?

— Это, товарищ, потом, а то так мы не успеваем. Вам-то ведь все равно.

Затем третий «документ», в котором кратко сказано, что в случае согласия уехать на свой счет освобождается с обязательством покинуть пределы РСФСР в пятидневный срок; в противном случае содержится в Особом отделе до высылки этапным порядком.

— Вы как хотите уехать? Добровольно и на свой счет?

— Я вообще никак не хочу.



Он изумился:

— Ну как же это не хотеть за границу! А я вам советую добровольно, а то сидеть придется долго.

Спорить не приходилось: согласился «добровольно».

Писали что-то еще. Все-таки в одной бумажке оказалось изложение нашей вины: «нежелание примириться и работать с советской властью». Может быть, передаю не точно — но смысл таков.

Думаю, что по отношению к большинству это обвинение было неправильным и бессмысленным. Разве подчиниться не значит — примириться? Или разве кто-нибудь из этих людей науки и литературы думал тогда о заговоре против власти и о борьбе с ней? Думали о количестве селедок в академическом пайке! Непримирение внутреннее? Но тогда почему из ста миллионов высылали только пятьдесят человек? Нежелание работать? Работали все, кто как умел и что мог; но желать работать с властью — для меня лично было достаточно опыта Комитета помощи голодающим, призванного властью для срочной совместной работы; это случайно не кончилось расстрелом.

Одним словом, — ехать, так ехать, раз требуется немедленно сделать это добровольно. В общем, с нами поступили относительно вежливо; могло быть хуже. Лев Троцкий в интервью с иностранным корреспондентом выразился так: «Мы этих людей выслали, потому что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Опять — без речительства за точность фразы тогдашнего диктатора, позже высланного, хотя и были поводы его расстрелять.

Но легко сказать — ехать. А визы? А транспорт? А паспорт? А иностранная валюта?

Это тянулось больше месяца. Всесильное ГПУ оказалось бессильным помочь нашему «добровольному» выезду за пределы родины. Германия отказала в вынужденных визах — но обещала немедленно предоставить их по нашей личной просьбе. И вот нам, высылаемым, было предложено организовать в

деловую группу, с председателем, канцелярией, делегатами. Собирались, заседали, обсуждали, действовали. С предупредительностью (иначе — как вышлешь?) был предоставлен автомобиль нашему представителю, по его заявлению выдали бумаги и документы, меняли в банке рубли на иностранную валюту, заготавливали красные паспорта для высылаемых и сопровождающих их родных. Среди нас были люди со старыми связями в деловом мире; только они могли добиться отдельного вагона в Петербург, причем ГПУ просило нас прихватить его наблюдателя, для которого не оказалось проездного билета; наблюдателя устроили в соседнем вагоне. В Петербурге сняли отель, кое-как успели заарендовать все классные места на уходящем в Штеттин немецком пароходе. Все это было очень сложно, и советская машина по тем временам не была приспособлена к таким предприятиям. Боясь, что всю эту сложность заменят простой нашей «ликвидацией», мы торопились и ждали дня отъезда; а пока приходилось как-то жить, добывать съестные припасы, продавать свое имущество, чтобы было с чем приехать в Германию. Многие хлопотали, чтобы их оставили в РСФСР, но добились этого только единицы.

Я обязал себя описывать все это в «мягких тонах» — и исполняю. Но все же добавьте к этому, что люди разрушали свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, что долгие годы служило им для работы, без чего как-то и не мыслилось продолжение умственной деятельности, с кругом близких и единомышленников, с Россией. Для многих отъезд был настоящей трагедией, — никакая Европа их манить к себе не могла; вся их жизнь и работа были связаны с Россией связью единственной и нерушимой отдельно от цели существования. Все это в мягких тонах не выскажешь — и я пропускаю.

Но в менее «мягком тоне» я хочу вспомнить о последнем заседании правления Союза писателей за день-два до нашего отъезда. Значительная часть высылавшихся состояла в Союзе; четверо были членами правления. Конечно, наша высыл-

ка вызвала большое волнение и общее сочувствие; и, конечно, она вызвала также и малодушие — страх каждого за себя. Уезжавшие хлопотали по своим делам, и на очередное заседание из них явился только я, так как должен был председательствовать. Были мелкие дела — мы их скоро решили. На повестку ближайшего заседания поставили вопрос о замещении выбывших членов правления, в частности двух товарищей председателя (Н. Бердяева и меня; председатель, Б. Зайцев, был раньше отпущен за границу). Закрывая заседание правления, я думал: сейчас кто-нибудь встанет и предложит поблагодарить меня и поручить мне передать последний привет от правления отъезжающим! Пять лет общей работы, почти в не изменявшемся составе, всегда дружной и всегда независимой! Демонстраций не нужно, Союз должно беречь, — но так, на одну секунду, маленькая растроганность все-таки ужас, но нужна и мне и, я думаю, всем! Страшного ничего нет — одна семья!

Затем мы встали, отодвинули стулья. Помню, что я стряхнул с рукава пепел папиросы. Потом кто-то протянул «н-да!». Затем один или двое вышли, а за ними медленно вышел и я, ничего не услышав вдогонку. В передней я поспешил первым надеть пальто. Впрочем, мы раньше прощались — у меня, у других, даже с застольными речами. Да и можно ли сомневаться в добрых чувствах старых друзей?

Я и не сомневаюсь. Я только вспоминаю об очень больной минуте жизни. Теперь я улыбаюсь, потому что в связь с этим несостоявшимся прощальным приветствием ставлю несостоявшуюся встречу нас эмигрантами, о которой расскажу дальше.

Вокзал, толпа провожающих — близких людей и бестрепетных знакомых. Чины ГПУ стараются быть незаметными. Высылка положительно почетная. Годом раньше, ссылая в Казанскую губернию, меня ночью, совсем больного, втискивали с конвоирами в насквозь промерзший вагон, забитый людски-

ми теньями и вшами. Разница огромная! И правда — нашей судьбой интересуется Европа!

В Петербурге — гостиница «Интернационал», кажется, бывшая «Европейская», близ Казанского собора. На следующий день — пароходная пристань, тщательнейший обыск, — если возможно перешарить в огромном багаже семидесяти человек (считая членов семей); мы не вправе взять с собой ни единой записки и вообще ничего, не помеченного в утвержденном инвентаре. Здесь пришли проводить два петербургских писателя, также намеченные к высылке, но потом сумевшие остаться в России — честь им и хвала за смелость. Море не спокойно, а у бедного Ю.И. Айхенвальда, ныне покойного, морская болезнь началась еще на извозчичьей пролетке. До последней минуты ждем — не переменят ли власти решение, не увезут ли нас обратно? И, наконец, отплытие. До Кронштадта провожает агент — но мы его почти не видим. В нашем распоряжении весь первый класс и почти весь второй.

За шестнадцать лет перед этим, в 1906 году, я также отплывал в группе революционеров от берегов Финляндии. Отбытие парохода задержалось на шесть часов, и каждую минуту мы ждали, что нас задержат и высадят. Когда наконец за кормой зашумели волны, мы вышли на палубу и запели «Марсельезу». — Здесь мы отплыли в молчании, потому что петь было нечего: у нас не было своего гимна, и мы не были идейно сплоченной группой; просто — советские граждане, отправлявшиеся путешествовать с паспортами, в которых на трех языках было помечено: «высылается за пределы РСФСР». Взамен паспортов с нас взяли подписку: «В случае бегства с пути или возвращения подлежу высшей мере наказания». Нас высылали на три года (на больший срок «по закону» не полагалось); устно нам разъяснили: «т.е. навсегда».

Можно было немало рассказать о нашей поездке, особенно о разнице настроений. Одни уезжали не то чтобы с удовольствием, а с ощущением наконец наступившего, хоть и вы-

нужденного отдыха; другие увозили в душе отчаянье, предугадывая тяжкое будущее. Среди нас были люди старые, которые, при всем оптимизме, не могли рассчитывать на возвращенье; некоторые из них уже оказались правыми в своем опасении, как Ю.И. Айхенвальд, как недавно умерший в Праге редактор «Русских ведомостей» Вл.А. Розенберг.

С грошами в карманах мы ехали устраивать свою новую жизнь в Европе. Но еще больше нас беспокоило предстоявшее первое свиданье с русскими эмигрантами, которые, конечно, торжественно встретят нас в Штеттине или Берлине, среди которых есть много близких по прежним связям, но теперь далеких по переживаниям и, конечно, чуждых по взглядам.

Об эмигрантах мы знали только то, что сообщалось газетами: что все они интервентисты, озлобленные, мечтающие о возврате старого строя, ненавидящие новую Россию, не понимающие свершившегося. «Не примирившись с советскою властью», большинство из нас все же не только не были «контрреволюционерами», но и резко отрицали всякую «помощь Европы» и всякий возврат на ржавые рельсы. Я говорю «большинство», не производя подсчета, который сейчас уже совершенно невозможен; люди изменились! Но я напомним о том, как, подъезжая к Германии, мы обсуждали возможности встречи и готовили наш осторожный ответ эмигрантам. Было устроено несколько заседаний, был выработан план речи, которою, никого не обижая, мы отграничивали себя от чуждой нам эмигрантской психологии и излагали наше политическое кредо высланных, но все же граждан, членов живой, а не похороненной России, некоторым образом патриотов.

Я помню, кому было поручено произнести ответную: речь — но не назову имени; сейчас мне это кажется смешным и почти ужасным! Десять лет — достаточный срок, чтобы человек вывернулся наизнанку! Пусть рассказ мой до конца будет «мирным».

И вот — Штеттин. Уже подъезжая, — видим, что нас встречают. Оказалось, что встречают любезные и заботливые немцы, представители не помню сейчас какой организации. Значит, русские эмигранты готовят встречу в Берлине.

И вот Берлин. Произносить речи у вагона, в суতোлке, менее удобно, но мы, конечно, готовы. Нас встречают и здесь — и опять немцы, заботливо приготовившие нам комнаты, предлагающие оказать всякую помощь, милые, распорядительные. Но только немцы, точно узнавшие, когда придет наш поезд, сколько нас, в чем мы будем иметь первую нужду.

Русских не было. Русская газета в Берлине не знала о нашем приезде. Заготовленная речь, тонко задуманная и порученная отличному оратору, пропала даром! Мы уверяли себя, что очень рады, — но, может быть, скрыли от себя некоторую обиду. Впрочем, хлопот было столько, что и радость и обида скоро позабылись. Так же было со мной после памятного заседания правления Союза писателей.

Ну, а потом началось то, что приходится называть «жизнью». Сначала оставались сплоченной группой «высланных граждан», затем рассеялись. Сначала «знали больше других», теперь знаем так же мало. Сначала были «люди особой психологии», затем в большинстве разместились по обязательным эмигрантским делениям. Что-то общее все же, кажется, осталось, но не в реальности, а в воспоминаниях. Некоторые сохранили свое «гражданство», другие перешли в подданство Нансена. Никто из нашей группы не вернулся и не был возвращен в Россию. «Три года» протянулись пока в десятилетье.

Вот и все, что припомнилось в «мирных тонах» в дни юбилея.

## ТЕМ ЖЕ МОРЕМ

Тем же морем, от тех же, ставших неприятными, берегов России отплывали мы семнадцать лет назад; и также последним впечатлением были революция, реакция и тюрьма. Что изменилось? Ничто и многое!

В личной жизни просто — завершился круг. Не было отечества — не стало отечества. На это затрачена молодость. На смену наивным верованиям пришла мудрость житейская. Она учит... пожалуй... пожалуй, она ничему не учит. Она даже не отрицает полезности и приятности наивных верований, придающих жизни известный аромат, она добродушно узаконивает все *Salti mortali*, которые мы так охотно и порой самоотверженно выкидываем «во имя» и «для блага», она готова предупредительно одобрить наши самые сумасбродные проекты спасения себя самого и всего рода человеческого. Она и пылких, и ленивых, и скептиков, и оптимистов делает одинаково созерцателями. И возможно, что мудростью называется легкая, не болезненная, но и не молодая усталость от жизни.

В жизни внешней, в жизни России и Европы, — опять же случилось ничто и многое. Много смертей — об этом так тяжело говорить; но... годом раньше, годом позже... стоит ли на этом останавливаться? Убивает ли старость, болезнь, голод, палач, — различия так мелки, земля так равно ко всем гостеприимна. А в самой жизни — перетасовка классов, состояний,

обмен золота на бумажки, сумерки богов и заря новых идолов, великая катастрофа... Кто-то наступил ногой на муравейник, а лес стоит, лес шумит, и ни один листок не шелохнулся от всеединого вопля муравьиного. Допрашивали в России, в подлежащем учреждении, одного пожилого крестьянина: «Как вы к советской власти относитесь?» — «Ничего! Пятый десяток ей служим верой и правдой» — «Как? Да ведь пять лет назад никакой советской власти и не было!» — «Как не быть, была и ране, без этого никак невозможно». Умный, по-моему, мужичок и дурачком прикинулся. В Испании высокая валюта, в Германии плохая, а в России не валюта, а просто — типографское клише. Республика Сан-Марино признала, а республика Российская не признала. Сидит дипломат в своем кабинете и думает, что по все этим основаниям будущность Сан-Марино выше будущности России, а Испания сильнее Германии. На глазах пораженных и взволнованных народов летит вверх тормашками монарх великой державы, делает курбет в воздухе, возвращается на землю обыкновенным маленьким человеком и женится на молоденькой. После этого еще долго сотрясается земля от смятения и смущения, чего не случилось, когда падал с крыши красильщик и разбивался насмерть. Монархия, парламент, сонеты, охранка, чека, *rolireiamt'*ы... все это очень способствует развитию и обогащению языков, но... Превосходно сознаю, что ничего нового этим не скажу, — но ведь и нет ничего нового. Для истории все это, конечно, очень важно, если важна сама история. Для моей жизни это — возврат к прочитанной книге. А для вашей?

Такими небогатыми мыслями я провожаю отплывающий берег России. Куда так быстро уносит его морское течение? Эй, родина, куда уходишь и зачем? Одна из черточек моей неисправимой сентиментальности — любовь к акварельным краскам русской равнины.

К склонам крутобедрой речки, поросшей ивняком и ольхой. К золотой ниве, через которую протоптана узкая дорожка, а



колос — в рост человека. К белым, маслятам и рыжикам в мягких мхах. К стаду коров, кейфующему в воде по брюхо. К душистому мятному пару первого утреннего припека на лужке меж молодых сосен и берез. К липе цветущей, к лиловой и белой сирени, к грешной, но ласковой лени, только России присутствующей, к сумеркам длительным, к тени вечерней, скользкой неслышно и плавно, и ко всему, что в этой стране, — неимущей, хмельной, просящей и удивительной, — просто, не пышно, но акварельно, и мягко, и славно.

Все это было, есть. Все это осталось неизменным. Все это мое — все это уносится морским течением.

В эту минуту меня совершенно не интересует, что будет со мной, насильно брошенным во вторую долгую эмиграцию. Я на корме парохода. За кормой, быстро вращаясь, тянется по воде тонкий шнур измеряющего скорость аппарата. Это — обрывок нити, вчера нас связывающей. Позже я перейду на нос парохода и буду смотреть в будущее. Сейчас я думаю только о ней, о России. Она убегает вдаль, к горизонту, куда-то туда, в Азию, к опасностям. Удивительно странное чувство в душе! Слово бы, когда она тут, на глазах, — не так страшно за нее; а отпустишь ее мыкаться по свету — все может случиться, не углядишь. А я ей не няня, как и она мне не очень любящая мать. Очень грустно в эту минуту. По-настоящему грустно.

Все-таки перехожу на нос парохода. И стараюсь, думая только о себе и своих спутниках, изгнанных из России писателях и профессорах с семьями, настроить себя на мысли добрые. Вот открывается нам Европа, хоть и больная, потрепанная в боях и классовых распрях, но все же не распавшаяся в гангрене, как бедное тело России. Европа, в которой пока еще можно дышать и работать; главное — работать. По работе мы все стосковались; хотя бы по простой возможности высказать вслух и на бумаге свою подлинную, независимую, неприкрытую боязливым цветом слов мысль. Это много, колоссально много — иметь право и возможность написать искреннюю страницу и

без страха оставить ее на ночь на письменном столе! Для нас, пять лет молчавших, это — счастье. Даже если страницы этой никто не прочтет и не увидит в печати. А разыскать и перелистать любовно свой архив, оставленный за границей при возвращении в Россию — в дни перед близкой революцией! А вновь приобщиться настоящей культуре, выросшей веками, отложившейся в книжных хранилищах, в музейном величии, в том удобстве житейского обихода, о котором мы, мешочники, вьючные люди, голь российская, и думать забыли! Отдохнуть от царственной полицейской длани, давящей на темя, от тупого, идиотского глаза, заглядывающего под мозговую крышку, желающего читать мысли, еще не умея читать по-печатному! Разве не завидуют нам, насильно изгоняемым, все, кто не может выехать из России по собственной воле? Разве не справедливо подшучивают они над нашей «первой, после высшей» мерой наказания?

И, правда — смешно! Да здравствуют европейские родины мыслящего и образованного человека! Слышу звонок к обеду и спускаюсь в столовую с видом уверенным и мыслями бодрыми. Берега России исчезают. В столовой старики, молодежь, дети, все это — изгоняемые неизвестно за что и почему; все это — ненужные для страны элементы с общественными наклонностями и скверной привычкой к независимой мысли.

Мне очень хочется провозгласить тост за Европу, за остатки свободного духа, за предстоящий нам отдых и ждущую нас живую работу. Говорить хочется много и зло, весело, остро и иронически, чтобы создать хорошее общественное настроение и расплавить в нем свои недавние темные мысли. Я беру стакан, встаю и, увидев в окно последнюю уходящую в синеву полосу берега России, говорю внезапно и смущенно:

— Выпьем... за счастье России, которая... нас вышвырнула...

И в ответ мне — смущенное молчание и кивок тех, кто инстинктивно предугадывает свое будущее, быть может, близ-

кое чувство неразумной, несправедливой и неизбежной тоски по родине в вынужденном изгнание. Все они уезжают так впервые. Я же знал это неотвязное и глупое чувство десять лет. И с тех пор ничто не переменялось...

Волей-неволей, непременно нужно определить свое место во вселенной.

Живя в Москве, думалось: хорошо бы спрятаться в какую-нибудь папуасию, где бы совершенно не было политики и социальных экспериментов. Не малодушие, а, право, нельзя на одно поколение налагать так много испытаний. Среднему человеку их не выдержать.

Но никакой папуасии не осталось на свете, или они слишком трудно достижимы. Да нет, их просто нет. Нет на свете такого места, где бы отраженные волны войн и революций не набежали на обывательский берег. И приходится поэтому определять свою позицию в условиях, данных на случайно отведенном вам судьбой участке.

В самой России ничего определить нельзя. Там заблудилась и летает какая-то шальная пуля, выпущенная октябрьским пулеметчиком, и мешает вам думать. Нет способа так жить, чтобы пуля эта вам не грозила и вас не задевала. Вы можете быть чужды всякой политике, преисполняться полнейшим равнодушием к формам правления и властвования, отринуть всякую мысль о каком-нибудь личном и общественном влиянии, соблюдать все законы, постановления, распоряжения и правила, издаваемые бесчисленными учреждениями, — и это не страхует вас от обвинения в контрреволюции, ни от кары за не сделанные вами прегрешения. В любую минуту на вас может обрушиться потолок. В любую ночь корявые пальцы цепкой десницы стянут вас с постели, поставят на холодный пол и, впредь до выяснения причин их собственного к вам вторжения, таким же корявым пером начнут писать очередную анкету. Потому ли, что вы спите, потому ли, что вам не спится, еще почему-нибудь. Потому, наконец, что

корявым пальцам нужна работа, что десятки тысяч охранителей полицейского государства должны кормиться, и хорошо кормиться: грязное занятие требует материальных оправданий. Следователя, которому было поручено дело по высылке представителей интеллигенции, который всех нас допрашивал о всяком вздоре, кто-то спросил: «Какие мотивы нашей высылки?» Он откровенно и мило ответил: «А черт их знает, почему *они* вас высылают!» В такой чепухе жить невозможно. В такой чепухе мы жили пять лет. Те, кто остались в России — живут и посейчас.

Живя в России, мы не знали России. И никто ее не знает. И знать никто не может. Очень просто: ее нет.

России цельной нет. Раньше было хоть подобие России, собиранье России. Теперь есть Москва, Петербург, ближняя провинция, голодный край, железнодорожные станции и обширные, неведомые области.

Москва живет, делает политику, пишет декреты, печатает книги, высылает изо всей России хлеб и людей, в обмен скудно посылая бумажные деньги и обильно — карательные отряды. Жизнь Москвы не имеет ничего общего с жизнью остальной бывшей России. Оттого, что в Саратовской губернии вымирают начисто целые уезды, — московский ресторан торгует не меньше, музыка играет не печальнее. Оттого, что в Москве решат какой-нибудь вопрос «во всероссийском масштабе», нигде и ничто существенно не изменится. То, что докатывается до провинции, преломляется, искажается и отмирает (иногда — к счастью!) в своеобразном истолковании властей. Нет в России ни общей политики, ни общей хозяйственной жизни, ни тени общих устремлений, ни намека на сплоченность житейских интересов. Страна с неясными границами, с несчитанным населением, неизвестно чем живущая, неизвестно куда идущая. От прежнего осталось одно: Россия, как была, так и есть, — страна великих возможностей. Но знать ее нельзя и определить ее точнее — труд, ни для кого не посильный.

Можно в нее верить, можно не верить, можно ее любить или ненавидеть, — но все это по настроению, по склонности к оптимизму или пессимизму, по старым традициям, по добродушию, по злобе, по привычке, — но не по основным мотивам, не в результате изучения и знания. Для изучения России нет даже никаких реальных возможностей. Ее придется исследовать и открывать, как новую землю, как Северный полюс. Может быть, это и хорошо. Может быть, начав с азов, мы избежим в будущем ошибок и грубых заблуждений.

Но если нет России, то нет и не может быть и цельного мирозерцания у русского человека, нельзя говорить и об общественной идеологии. Нельзя нам определить и место наше во вселенной. Понятно теперь, почему так мечтается о какой-нибудь папуасии, где на досуге, вдали от политических мытарств можно начать сначала... строить на пустом месте.

Зиму 1921/22 года я провел в ссылке. Сослали нас просто и хорошо: в полночь взвалили с вещами на грузовик, доставили на вокзал, втолкнули нас троих с пятерыми конвоирами в неотапливаемый и неосвещенный вагон с разбитыми стеклами и, наконец, отделались от неприятных людей. Выслали нас (со мной были сосланы два известных кооператора) в голодный приволжский край. В выборе места ссылки была, пожалуй, своеобразная логика: мы сослались по делу Всероссийского Комитета Помощи голодающим.

Я был выслан совершенно больным: в жару, в припадке нервных болей, — результат длительного пребывания в знаменитой «внутренней тюрьме» чеки, в сырой, зацветшей зеленью камере с замазанными стеклами, без прогулок. По болезни я был оставлен в городе, а спутники мои пробежали по морозу восьмидневный путь на розвальнях, через леса, до одного из знаменитых медвежьих углов России. Ссылка оказалась бесполезной: мы познакомились с нынешней провинцией.

Многим ли она отличалась от прежней? Лозунгами, агитлисточками, новым названием охранных учреждений. Россия, ко-

нечно, всколыхнулась, но, всколыхнувшись, она на время замерла в прежнем молчании. Она думает, переваривает свои открытия и свои впечатления. Она вспахана революцией, засеяна — как всегда — сорным зерном, но всходов придется еще долго ждать; быстро всходят только плевелы.

Не то заштатный городок, не то — большое село. Судьба сделала его «столицей» одной из многочисленных наших национальных республик. Жители гонят — как гнали и раньше — смолу, деготь, пихтовое масло, гнут дуги, сколачивают телеги. Много пришлого элемента — комиссары, чекисты, красноармейцы. Есть интеллигенция: врач, учитель, кооператор.

Вечером собирается этот «культурный» обыватель в квартире одного счастливого, обладателя домашнего кинематографического аппарата и — всего одной ленты. Разные были и раньше, да реквизированы для нужд народного просвещения. Осталась одна, забракованная по содержанию, но случайно не реквизированная: «Встреча двух императоров».

И вот, под покровом сумерек, идут местные интеллигенты смотреть запретную ленту. Запираются накрепко двери болтами, окна — ставнями. Гостеприимный хозяин вертит ручку. На простыне, снятой с кровати и растянутой на стене, появляются дрожащие и мигающие фигурки. Быстро семеня ногами, козыряя на ходу, император навстречу императору, осматривают броненосец, приветствуют толпу, закладывают первый кирпич, появляются, исчезают в сопровождении быстро бегающей свиты, поблескивают пробелы затрепанной фильмы. Что это за императоры — совершенно безразлично; важно, что это — запретный плод и единственное в городе «разумное развлечение». Каждый видел эту ленту двадцать раз; и все же она сладострастно смотрится прежде, чем приступить к преферансу со скачками и азиатским счетом и к самогонке в складчину.

Контрреволюционеры? Ну, какие могут быть контрреволюционеры в этой лесной дыре отечества нашего! Все на службе, в разных совнархозах, наркомпродах, наркомюстах. И в глухой

провинции вообще нет резкой политической нетерпимости, характерной для центра. Просто — провинциальные обыватели. Играл раньше доктор с исправником в карты, играет и теперь батюшка с чекистом. По директиве же из центра партнер посадит партнера. Революция кончилась, наступил быт. Ведь, в сущности — только названия переменялись!

Но есть и культурные одиночки! Если им не удастся выбраться из глуши и уехать куда-нибудь к центру поближе, тогда им ничего не остается лучше, как пить «с тараканом». Берется таракан, привязывается за заднюю ножку тонкой ниточкой, а другой конец нитки — к воткнутой в стол булавке. На расстоянии длины нитки ставится рюмка водки, точнее, разбавленного наполовину спирта, или чистого, или самогонки, или денатурата — какая разница? Можно и эфира; был одеколон, пахнувший мылом, — и его пили. Не в напитке дело.

И вот ползает таракан, человек же сидит за столом. Подполз таракан к рюмке:

— С приездом!

Рюмка выпивается, новая наливается. Уполз таракан:

— С отъездом!

Снова выпивается и снова наливается.

Разумное развлечение для одинокого.

Зимние вечера проходят. Весна, разлив реки. Строят плоты, сплавляют в Волгу. Получают приказы от центрального начальства: «Ускорить отправку леса сплавом от Казани на Нижний». (Истинный факт! Был такой приказ плыть против течения!) Лето проходит. Горят леса днями, неделями, месяцами. Тушить некому. Лысеют леса на сотни квадратных верст. Все, как и раньше было! Кто живет на Волге и Каме — помнит. Электрификация — хорошая кормежка для инженеров и придворных поэтов. Пока пьем с тараканом да смотрим на запретное свиданье, черт его знает каких и почему — двух императоров. В России *chemin de fer* процветает, но с железными дорогами плоховато.

И вообще, право же, ничего особенного не случилось!

Вспомнить есть что, только не хочется приводить воспоминания в систему, да и трудно пока. Потому и пишу отрывками. Невозможно начинать мемуары, не отдохнув душой и не уравновесив мысли. А до этого еще далеко.

Жил в голодном краю, в столице татарской республики. В свое время она очень пострадала и до сей поры не может оправиться от потери в людях. Трудно, впрочем, и отправиться ей, когда до последних дней продолжается в ней псовая охота на интеллигенцию. Лишь на днях, здесь, в Берлине, видел только что приехавшего, высланного за границу профессора Казанского университета.

В свое же время — в дни чехословацкого ухода — интеллигенция казанская ушла целиком. Много профессоров и сейчас остаются в Сибири, учат, издают.

Об остатках культурной жизни в Казани (или, все равно, в другом городе) писать трудно, правильнее сказать — нельзя. Ни имени нельзя назвать, ни даже охарактеризовать жизнь определенных общественных кругов. Ко всему этому у нас, на родине, присматривается недремлющее око, ко всему охранное ухо прислушивается. И можно оказать медвежью услугу, отметив какой-нибудь этап неумершей или родившейся общности. И вот приходится говорить о делах обывательских.

Нэпа в Казани при мне не было; вряд ли и теперь он расцвел. Нэп — явление столичное, главным образом московское. А вот голод был; есть, вероятно, и сейчас.

Зима была, зима холодная. Казань, на горе среди низин, по климату город отвратительнейший, в году в среднем 72 дня с атмосферными осадками. Сквозные ветры, мразь и грязь. Воющий Кабан, да и Казанка-река тоже хороша. Неопрятный город. Университет есть, старый, выдавший замечательных ученых (Лобачевский!) и знаменитых студентов (Толстой!). Но канализация есть.

И вот холодной зимой бродили по улицам города пришельцы из деревень. Страшные пришельцы из мертвых деревень. И всех



страшнее были дети. Их привозили на телегах, а на пункте сортировали на твердых и мягоньких. Из твердых трупиков складывали нечто вроде поленицы (два — так, да — эдак), а еще мягких старались оживить до конца. На них вшивые тряпочки и обмоточки, и торчат из-под лохмотьев синие палочки: руки, ноги. Ничего ужаснее и жалче этих синих ребят с большими глазами не видал я и не увижу никогда — а видал многое! Ведут их в баню, прячут синих скелетиков. Ну а дальше?

Американцы имели в Казани несколько столовых детских. Многим они помогли пережить тяжелейшие дни, но никак не мирится русское чувство с американской системой. Они правы, конечно: всем помочь невозможно, нужен выбор. И они помогают — жизнеспособным. Свидетельствует детей врач; если ребенок жизнеспособен — его будут подкармливать (насытить его чашкой какао, белой булкой и тарелкой манной каши невозможно!) А если нежизнеспособен — зачем зря отдавать ему порцию, которая может подкормить живучего ребенка. Правильно это и логично, но непонятно нам, чуждо, — не умеем мы кормить здорового ребенка за счет синего, умирающего мальчика! Непрактичны мы в вопросах милосердия и... мне вот как-то особенно дорога и мила в русском человеке эта непрактичность. Логики в ней нет, а есть какая-то высшая правда. Но это — между прочим.

И вот ходят по улицам в зимнюю стужу синие мальчики. Заходят в столовые (к тому времени открылось уже несколько ресторанчиков), стоят у дверей — провожают глазами кусок мяса на вилке в чужой рот. А потом бочком-бочком, у стенки, да ползком-ползком, под стол — собирать крошки. Как бездомные собаки. А люди за столами ничего, едят: всем не подашь.

Не подашь всем! Я как-то считал, сколько нищих подойдет ко мне на ходу, на пролете одного квартала на бойкой (Большой Проломной) улице Казани. Подошло пятнадцать. Всем не подашь!

И мало подают, хоть не дороги советские бумажки. В одном только случае дают охотнее. Стоит полуголый человек у стены дома, стучит зубами, уж и просить словами не может. Потом, мало-помалу, сползает, скользит и падает, синий и спокойный, загоразивая прохожим дорогу. Тогда находится добрый человек, который кладет на спавшую с замерзшего шапку дешевую советскую кредитку. И все прохожие его примеру подражают. Мертвого жалеют больше, чем живого. И лежит он, богач неожиданный, долго, так как убраться некому и некогда. Что ни день — наблюдал я эти картины минувшей зимой.

Спрашивали: неужели и правда были случаи людоедства в голодающих местностях? Не случаи, а быт, простой быт. Я выслушал много рассказов от приезжих инструкторов-кооператоров о деревенском людоедстве. Сначала страшно, а потом начинаешь понимать: все это очень просто! Трудно начало; а раз переступив роковую черту «предрассудка» — свободно ест человек человека. Сначала едят трупы. Потом приканчивают и тех, кто все равно умрет. Едят детей, едят и бабушек. Не просто едят, а варят суп, ошпаривают и варят отдельно голову, жарят бок. Едят, главным образом, родственников, но при нужде — и посторонних. И убивают. И воруют друг у друга запасы человеческого мяса. Объективно, издали, это — неопишущий ужас; иной скажет: варварство. А на месте, это — быт, естественное и мудрое разрешение продовольственное вопроса. Нужно уметь близко жизни в глаза смотреть; тогда многое поймется и примется, от чего раньше ум холодел, и мурашки по спине бегали.

Вы, может быть, не знаете, что мы в России пропитаны духом стремления к законченности. И вот обсуждался вопрос: нужно ли отдавать таких людоедов под суд? Обсуждали это советские юристы, впрочем, обыкновенные адвокаты, спецы, совсем не коммунисты. Решили — не судить; не решение важно, а то, что этот вопрос обсуждали. Да, мы замечательные законники!

Из области голодно-судебной вспоминаю протокол следователя, производившего расследование ряда случаев каннибальства в ныне начисто вымершей деревне. В протоколе следователь (тоже законник!) писал:

«Крестьянин такой-то съел свою жену такую-то, начав с головы. Из различных частей он делал суп, который ел, не заправляя его ни крупой, ни капустой». Этот протокол был напечатан в советской газете, и отрывок я запомнил точно.

Какая аккуратность следствия! «Ни крупой, ни капустой!» Почему не прибавлено, что после супа из жены крестьянин-людоед не выпивал чашки шоколада с бисквитом и не выкуривал гавайской сигары!

Некоторых из нас, ныне невольных эмигрантов, выгнали из России, именно памятуя о нашем, на деле проявленном, желании оказать помощь голодающим. Я не буду писать здесь об отныне историческом «Всер<оссийском> Ком<итете> Пом<ощи> голодающим», так как о нем писалось много. Но лишний раз все же скажу, что никто из нас, членов комитета, не задавался политическими заданиями. Совесть не позволяла нам оставаться зрителями в такой страшный момент народного бедствия. Нам было противно общественное пораженчество («чем хуже — тем лучше!» — сам народ виноват!). Мы себе душу ломали, соглашаясь заседать рядом с представителями власти, которым ни на минуту не верили. Нас за это поносили, и не поплатись мы тюрьмой и ссылкой — и сейчас не оставили бы в покое «принципиальные люди». Толстокожий русский умник в своей принципиальности! Но и после всего, что случилось, нет в душе ни малейшего сожаления о том, что мы не послушались «принципиальных» пораженцев. Одно жалко: что мы не продержались дольше и не смогли спасти хотя бы тысячу, хоть сотню лишнюю людей от смерти и людоедства. А для нас конец все равно был бы тем же — тюрьмой и ссылкой; на это и шли те из нас, которые ясно понимали создавшееся положение.

И история, если она беспристрастна, многое простит большевикам, а этого не простит. Недаром они и по сей час (я пишу в начале ноября; см. речь Калинина от 30 октября!) считают долгом, оправдываясь, обвинять давно забытый многими комитет в «желании использовать политический момент» и прочее. Ложь! Но не стоит об этом.

О чем сказать в заключение этих разбитых страничек? Может быть, о том, как рисуется будущее? Но это значит — говорить только за себя. За себя и говорю.

Настоящее России мне рисуется пустым местом, отправной точкой. Россия в развале, а не в созидании. Все в развале — и жизнь, и мысль. Но в развале неизбежном, даже необходимым. Жалеть об этом — смешно. Мы обязаны были знать, что это случится. Плохо мы знали народ наш, да и вообще плохо понимали, что такое психология массы.

В Киеве, в начале революции, вышла книжка Журавленко «Народ на войне». По-моему, самая замечательная книжка по меньшей мере за десятилетие. Если бы мы ее прочли внимательно, много раз, до революции — мы бы поняли очень многое и очень многого устрашились. Жаль, что и сейчас она многим незнакома или непонятна. Но говорю я это не потому, что о чем-то жалею. Нет, жалеть не о чем. Случилось то, что неизбежно должно было случиться. И случилось это бесповоротно в тот момент, когда загорелась европейская война. Дальнейшее все последовательно и неизбежно, как последовательно и неизбежно многое, нам впереди предстоящее и в России, и здесь, за границей.

Мы, люди старшего поколения, России возрожденной, восстановленной и свободной не увидим. В эту уверенность я не вкладываю заряда пессимизма. Мое счастье не в том, чтобы я, чтобы мы увидели Россию возрожденной и свободной, а в том, чтобы таково было ее будущее. Моя надежда в том, чтобы и я увидел ее вступившей на этот долгий и сложный очиститель-

тельный путь. Но опыт прожитого должен был научить нас, что рай не создается ни политическими переворотами, ни властными декретами, не только рай, а и плохонькая «электрификация». Если мы сейчас, как все мы любим признавать, отброшены в XVI век, то каким шнельцугом мы вернемся оттуда в десятилетие?

Таково первое положение, рожденное в сознании опытом жизни.

Есть и второе, тоже внешне окрашенное пессимизмом. Мне менее всего любезно столь модное во всех сферах поругание интеллигенции и бичевание ее за слякотность и беспочвенность. Думаю даже, что пора бы выступить и на защиту ее не только исторической, но и сегодняшней роли в истории культуры русской. Но все же народ в обетованную землю поведем не мы, не пришлые вожди. Большевики — тоже интеллигенты, и типичные, и их песенка в этом отношении тоже спета. Но подпочва духа российского так глубоко вспахана революционными бурями и народ наш так научился думать и понимать, что нам со старыми нашими букварями к нему подходу больше нет. Умен он стал, народ наш, и не охоч до фребелевских печенок! Вожди у него будут, но новые, совсем новые, из его почвы выросшие. Мы ведь этого и хотели, не правда ли? Значит, жалеть не о чем. Радоваться надо.

Что они скажут, эти новые вожди, куда поведут — еще неизвестно. Одно можно и сейчас сказать, что растопчут они самым безжалостным образом много наших «святых идеалов», много карточных домиков и бисерных кошельков нашей идеологии. И разделит нас с ними не обычный овраг «отцов и детей», а глубокая пропасть «дедушек и внуков». Ибо действительно Россия строится совсем заново, совсем новая. Большевики только в том не правы, что причисляют себя к «новым». Родившаяся жизнь сметет их без остатка.

Теперь третье. Что же делать нам? Сдаться? Уныло опустить руки? Или омолодиться по методу Штейнаха и, мышины-

ми жеребчиками, вторить старческими голосами весенней песне молодости?

Из столкновения миров вырастает новая культура. В молодости все увлекательно, но не все право. Если мы хотим в будущем России иметь и наши наследственные черты, мы должны идти не путем приспособления, а путем борьбы. Переоценка ценностей не означает их уничтоженья; она лишь беспощадно отбрасывает хлам, ценность утративший, как бы ни был он нам дорог по воспоминаниям. Но старый, испытанный, не рассыпавшийся кирпич идет на новое здание. Значит, нужен полный пересмотр, но и защита того, чего разум наш и опыт наш не отвергнут. Если сейчас, в период страшной реакции духа, может казаться, что от прежних ценностей вообще ничего не осталось, — то иное увидим мы позже, когда дух взыскующий и неудовлетворенный вернется с последней надеждой к обломкам прошлого. И тогда выявится вечное в отринутых временем истинах. Мы — посредники двух культур.

Теперь еще одно, уже совсем интимное, совсем личное. Хочется еще дальше взглянуть в будущее.

Вернемся мы или не вернемся в Россию — не важно. Могут за нас вернуться наши дети. Извечный спор прошлого с будущим не прекратится. Важно не то, что социальный рай не осуществится на наших глазах, а то, что мы к нему ни на пядь не подвинулись. Мировая война явилась единственным прямым и недвусмысленным ответом на проповедь пацифизма; кровавая деспотия — естественным завершением единокорных и искренних порывов к свободе. Палачами свободы стали сами ее проповедники. Значит, есть что-то сильнее и прямолинейнее самой возвышенной идеологии. Это что-то — зверь в человеке.

Мы, протестанты, вернемся. Но на смену нам новая революция и новая реакция выбросят новую волну протестантов. Могут измениться формы борьбы, может сама борьба стать человечнее (хотя нет для этого шансов). Повешенье смени-

лось расстрелом, расстрел сменится электрическим стулом. На одно только нет в мире прямого намека: на то, чтобы независимый дух где-нибудь обрел терпимую к нему родину и неприкосновенный очаг.

И пока этого нет, и нигде не предвидится, пока не открыта эта Атлантида или эта папуасия, до тех пор, мы ли, другие ли, добровольно ли или в силу остракизма, — будем время от времени покидать любимые и неприятные берега, отправляясь в напрасное и нерадостное плавание... тем же морем...

## О БОРИСЕ ЗАЙЦЕВЕ

Без малого лет двадцать тому назад прислали мне из Москвы в Рим какой-то «Сборник рассказов и стихотворений», и в нем я прочел рассказ «Волки» Бориса Зайцева, автора, совершенно мне неизвестного.

Оторванный от России, с которой связывала только литература, я ревниво относился к каждой печатной строке и к каждому новому имени. Рассказ «Волки» поразил меня своим особым языком, и простым, и изящным, и очень русским. И природа в нем была русская, неподдельная, настоящая, наша. Имя Зайцева я тогда же отметил в своей памяти и стал ждать.

Спустя год-два, думается, в 1908 году, мы познакомились в Риме, у меня, на шестом этаже, где из окна виден был Ватикан, купол Петра и пустыри Прати-ди-Кастелло, теперь сплошь застроенные высоченными доходными домами. Борис Константинович был тогда уже видным молодым писателем. Италию он смотрел впервые и, конечно, был в нее влюблен. Любовь оказалась такой крепкой и прочной, что он, который в римской аптеке вместо «пургативо» (очистительное) просил дать ему «пургаторио» (чистилище), тремя годами позже уже переводил Дантов «Ад» прекрасными строками, по странной случайности до сих пор не напечатанными.

С той поры пути наши так часто скрещивались — в Италии, в Москве, снова за границей, вплоть до сегодняшнего



рабства под игом одной консьержки, — что трудно мне, даже и в юбилейный день, говорить о Борисе Зайцеве как об объекте литературной критики и об общественном достоянии. На потолке комнаты моей стучат сейчас его каблуки, на столике прерванная партия в шахматы, а в ушах басок его сдержанного и заразительного смеха. Но и другому уступить честь печатного приветствия не хочется: хочется самому найти слово.

Учтут и оценят его книги, определяют характер его таланта, наметят ему, уже «маститому», место в русской литературе. Одни вознесут, другие укоротят его славное писательское имя, для одних он окажется недостаточно пряным, других заласкает чистотой образов и убежденностью своего последнего, примирено религиозного уклона. За один день юбилея сколько будет высказано о творческой личности Зайцева мнений, восхищенных, сдержанных, любезных, казенных. Все это — дело других; над моей головой стучат его каблуки, и мое перо просит строк более интимных.

Я вижу Бориса Зайцева в обстановке, представить которую могут немногие из его читателей, — а ведь не мешает им знать, как и в каких условиях пишутся и волнующие и умиротворяющие строки «Голубой звезды», «Дальнего края», «Улицы св. Николая». Я вижу Бориса Зайцева, русского писателя и недавнего маленького помещика, за прилавком нашей замороженной насквозь «Книжной лавки писателей», где он отвратительно упаковывал книги (всегда забывал перевернуть снизу веревочку) и очаровательно беседовал с покупателями и откуда бережно уносил заработанный фунт масла и выданную в паек редкую и приятную книжицу. Дни прошлые и потому счастливые; дни холода и голода; дни тесной деловой дружбы за прилавком ставших приказчиками и хозяйчиками философов, критиков, беллетристов, профессоров.

Пайковая селедка, дымящая печурка, валенки, очередь за молоком для дочурки, стоянье за прилавком, работа на нашем маленьком книжном складе — и вдруг счастливо укра-

денное время для заседания в италофильском нашем кружке «Студио Италиано», где холод не мешал возрождать любимые образы и делиться тем, что дала нам близость общей любовницы — Италии. Все в сборе — Муратов, Грифцов, Дживелегов, покойный ныне Миша Хусид, а в публике — толпа итальянских воздыхателей. Дорогим визитером приехал А. Блок прочесть свои итальянские стихи, — лишь за несколько месяцев до смерти. Так в дни холода и голода мы грелись солнцем воспоминаний о стране солнца.

Я вижу Бориса Зайцева в его дрянных комнатешках, в перелуке Арбата, «улицы святого Николая», в постели, в смертельной схватке с сыпняком, в то время косившим Москву. Помню наш общий страх, наши напряженные ожидания кризиса и нашу радость, когда жизненность ли нашего друга, или бесконечная любовная самоотверженность его жены, или Бог, которому оба они верят и вверяются, — победили страшную болезнь. В какое время! В каких неописуемо тяжких условиях жизни!

Я помню и еще дни, стократ более тяжелые дни семьи Зайцевых, о которых не могу и не смею писать здесь. Дни, нашедшие позже в творчестве Зайцева, в отрывках «Улицы св. Николая» и в «Золотом узоре», изумительное по кристальности и по высоте чувства отражение. И по высокой примиренности, свойственной лишь высоким душам.

Я вижу Бориса Зайцева в нашем московском писательском кругу, на посту председателя Всероссийского союза. На его имени легко объединились, — как ни разнороден был уже и тогда состав Союза. Лишь болезнь и отъезд за границу для лечения заставили нас освободить его от почетного звания. В те дни Союз еще сохранял свою независимость и отстаивал свои автономные права. По отъезде Зайцева мы не выбрали нового председателя вплоть до того времени, когда почти весь президиум подвергся высылке за границу.

Я вижу Бориса Зайцева среди немцев, среди итальянцев, среди французов. Нынешним летом сто поклонов просила меня

передать ему и семье его синьора Луиза, толстая хозяйка дома в маленьком приморском местечке средней Италии. Где-нибудь в его писаниях или уже отразилась или готовится отразиться фигура этой честной и добрейшей женщины, которая посылала в Россию, в тягчайшие дни, нансеновские посылки детям своих былых русских жильцов — эмигрантов царского времени. Борис Зайцев не проходит мимо людей, не запомнив их черт, другому незаметных и непамятных. Перечитывая его книги, я неизменно вижу и косоного синьора Ладзаро Гуэрра, падроне флорентийской гостиницы, и шарообразного Анджело, под кличкой Пикколь-Омо, из закрытого ныне римского кабачка «Рома Спарита», и кавийскую прачку Орманду, и многих, кто и мне случайно попадался в долгих итальянских блужданиях, — нередко шли мы одними тропинками.

Отступив памятью назад, вижу Бориса Константиновича в «Конторе Аванесова». В Москве знают, что это за контора, и дрожат при ее имени: предварительная камера Особого отдела при ГПУ, тогда еще — Всероссийской Чека. Туда он попал вместе со многими членами арестованного Комитета помощи голодающим. Вот неподходящая к тюрьме фигура! Человек, всегда чуждавшийся политики и менее всего боевик. Все койки заняты были людьми отборными — профессорами, писателями, инженерами, врачами, экс-министрами, — цветом полувоскресшей ненадолго московской общественности. Решили, ради отвлечения от тревожных мыслей, читать лекции — каждый по своей специальности: по финансам, по экономике, по иностранной политике, по естествознанию, даже по холодильному делу. Борису Зайцеву досталась, конечно, современная литература.

Ему не удалось окончить первой своей лекции, так как явился солдат и вызвал его на выпуск: «Который Зайцев, собирай вещи на волю». Никогда и никто, ни раньше, ни после, не поражал солдата-чекиста, как сделал это Борис Зайцев, вежливо и деловито попросивший разрешения подождать с выпуском

на волю и дать ему возможность закончить лекцию. И ничьему освобождению не радовались мы так, как освобождению этого совершенно ненужного тюрьме человека, слишком уж не от мира борьбы политической.

Эта прекрасная аполитичность Бориса Зайцева, столь ценная в писателе-художнике, объединит в эти дни в чувствовании его людей самых различных лагерей и политических окрасок. Аполитичность не означает отсутствия определенных политических взглядов или равнодушия к судьбе своей страны; менее всего можно сказать это о Борисе Зайцеве. Она означает лишь то, что перо этого писателя не служит временному и не приносит живого образа в жертву публицистике. Пусть не согласны с этим покойный Андрей Соболев и здравствующий Антон Крайний, — но у художника не только свои пути и средства, но и свои задания. Можно резко лично расходиться с Зайцевым в оценке политических событий, — но никогда ни одна строка его творений не оскорбляет наших мнений и оценок, не вступает с нами в спор, лишающий силы и убедительности произведение искусства. И точно так же, неверующий, я всецело могу принять и воспринять религиозный пафос, которым проникнуты последние писания Зайцева, — настолько он далек от того, чтобы навязывать мне свою веру или ханжески требовать от меня молитвы его Богу. Я не знаю большего достоинства в писателе-художнике и, говоря откровенно, не знаю среди современников другого писателя, о котором твердо мог бы сказать то же.

Уже одна эта писательская чистота, эта неспособность говорить языком профанов, эта свобода от тенденциозности и от злобы дня ставит Бориса Зайцева на большие высоты современной литературы. Лишь эту несравненную по ценности черту я хочу отметить особо здесь, предоставляя другим быть судьями его таланта и счетчиками его достижений.

Мне остается просить юбиляра не поставить мне в вину этих случайных, беглых и, быть может, слишком интимных строк.

## ТРАГЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ

Три года с лишним тому назад в Москве покончил с собой Юлий Михайлович Соболев, которого знали под его писательским именем — Андрей Соболев. Он никогда не был модным или очень известным писателем, хотя в кругах литературных был популярен. Больше всего читался его роман «Пыль», много оставил он рассказов. Его стиль неровен, невыдержан, иногда страстен гораздо больше, чем подобает художественному письму. Соболева скоро забудут, а может быть, уже забыли, хотя он был лучше и оригинальнее многих, и жизнь его была сложным и путаным романом, — только в России встречаются такие биографии. Сам он был невысокого роста, большеголовый, смуглый, кудрявый, с очень крупными чертами лица, очень красивыми карими глазами, нервный, добрый, легкомысленный, смелый, любящий, по-еврейски нетерпимый, по-русски непутевый, из тех с двух концов горящих людей, которых люди солидные не без основания называют неврастениками.

В ранней молодости Соболев был близок к террористам; за это он поплатился каторгой, откуда убежал в Италию. Там, на Восточной Ривьере я встретил его впервые. Совсем недавно, перебирая бумаги своего римского архива, я нашел рукопись неискusstного рассказа, подписанную Андреем Неждановым. Не без труда я вспомнил, что получил ее от Соболева с просьбой пристроить в «Русских ведомостях» и что мне это

не удалось — редакция рукопись вернула. Позже Андрей Нежданов что-то где-то напечатал, а затем появился в литературе Андрей Соболев. К этому времени он успел вернуться в Россию, конечно, нелегально, но под своей фамилией, переименовав только имя. Это было очень смело — но Соболев вообще был очень смелым человеком. Позже, в Москве, мы встречались часто; он был непременным членом всех литературных объединений.

Когда все газеты и журналы были закрыты и началось бегство, Соболев оказался в Одессе. Из этого периода его жизни мне известно только, что он, с другими литераторами, изготавливал мешочки с нафталином для ношения на груди против сыпного тифа; мешочки имели успех, и этой работой многие жили. Еще знаю, что Соболев, пользуясь своей прежней революционной близостью к кому-то из высоких большевистских начальников в Одессе, помогал многим арестованным и спас нескольких от «высшей меры наказания». Сначала этот начальник относился к Соболеву с чрезвычайной внимательностью, затем Соболев ему надоел, а в конце концов сам Соболев попал за решетку, и так прочно, что спасти его было почти невозможно. В Москве, где Соболева очень любили, были пущены в ход все средства и все влияния; о нем хлопотал Союз писателей и близкие друзья, в судьбе его удалось заинтересовать лиц, в Москве всемогущих (Каменева, Менжинского), но в то время полицейская власть еще не была централизована, и одесская Чека освободить Соболева не желала. Наконец, удалось применить хитрость: Соболев был вытребован в Москву под конвоем, якобы по московскому о нем делу, и здесь его, наконец, освободили. Это было для нас большой удачей и радостью.

С этим периодом борьбы за Соболева соединено у меня не очень приятное, но любопытное воспоминание. Я был тогда в составе правления Всероссийского писательского союза. Мне передали адрес какого-то влиятельного лица, подпись которо-

го была необходима для истребования Соболя в Москву или в качестве третьего поручителя из коммунистов — точно не помню (первых поручителей я выше назвал). Влиятельное лицо это носило титул «рабоче-крестьянского инспектора», но имело, конечно, ближайшее отношение к Чека.

Оно пожелало повидаться со мной лично, и притом не в учреждении, а у себя на дому, поздно вечером и как бы конспиративно. Было очень неприятно, но я, конечно, явился. В полупустых реквизированных комнатах меня встретил приземистый человек в офицерском френче поверх розовой рубашки, и я увидел, что посещение мое доставило ему особое удовольствие. За неимением стульев он усадил меня на свою неприбранную кровать, подвинул к ней стол, поставил закуски и бутылку водки, сел рядом и начал разговор о литературе. Зная, что от него зависит судьба Соболя, я не смел отказаться ни от разговора, ни от угощения. Собеседник мой был на вид простоват, говорил на «о», не задавал мне никаких «наводящих» вопросов и явно сиял невинной радостью беседовать с писателем о литературе, притом «запросто», у себя дома. Прислуживала нам его жена, совсем простая женщина, которая в разговор не вмешивалась. Он не отпускал меня часа два, и только поздно ночью я ушел от него, унося в кармане подписанное им поручительство. И действительно, эта бумажка Соболя спасла.

Затем были недолгие и трагические годы наших «хождений по мукам»; прежняя предупредительность власти к писателям исчезла. Как все мы, Соболю нуждался, голодал, одновременно успевая переживать личные и семейные драмы. Когда за решеткой оказался я, — Соболю, забыв о личном риске, помогал мне так, как помогают только родные: наводил нужные справки, хлопотал, носил передачи. Затем была ссылка в Казань, высылка за границу, — и пути наши разошлись. Он остался в Москве, и мы не переписывались. Прочтя однажды его статью в коммунистической «Правде», — ста-

тью искреннюю и пылкую, за которую его за границей немедленно предали анафеме и смешали с грязью, — я на этих страницах напечатал открытое письмо Соболю, в котором старался защитить его честь от грязной клеветы и одновременно укорял его за выступление в казенной большевистской печати.

В начале 1925 года появилось в газетах сообщение о том, что Андрей Соболев покушался на самоубийство, но был спасен. Ранней весной он приехал за границу и некоторое время прожил в Сорренто. В конце мая он вернулся в Москву, а 7 июня 1926 года покончил с собой.

Передо мной большая пачка писем Соболя. Он писал мне из Риги, едва переехав границу, писал из Берлина, из Сорренто и из Москвы — по возвращении.

В одном из его последних писем есть такие, обязывающие меня строки:

«...Если добежит, донесется до Вас невеселая весточка обо мне и начнут про меня говорить и писать глупости, небывлицы и будут мою боль, мою тяжесть переводить на дензнаки, — Вы, старый друг, вновь найденный мной, заступитесь за мою бедную память, прикрикните на ослов и оборвите подлецов. Конечно, милый, «по ту сторону добра и зла» мне уже тогда все будет безразлично. Но не безразлично будет тем, кому я дорог и кого я люблю. И ради этих людей я хочу правды о себе, даже когда на мне будет уже трава расти... Если такой «фокус-покус» будет, и засну я, а заснуть, милый, милый М.А., я хочу до чертиков, — заснуть до пришествия, до труб архангелов, — Вы не позволяйте клеветать на меня, ибо перед сном писать я никому не буду, объяснять ничего не буду, ибо перед сном надо только чистенько умыться, переодеться во все чистое и сказать миру-солнцу, моей Собачьей Площадке, Москве моей, близким моим, — про себя, только про себя: прощайте и не сердитесь».

Я не посвятил Соболю некролога — не мог; да и не нужно было. Теперь, выждав три с лишним года, я хочу опубли-



ковать, что возможно из строк нашей с ним общей переписки. Пускай Соболев теперь уже забыт, но живы в России другие писатели, во многом и основном — одинаковой с ним судьбы и одинаковых переживаний. Именно сейчас, в связи с наметившейся «чисткой» их рядов, загробный голос Соболева может несколько помочь понять их далекую нам психологию. И тогда мы не повторим по их адресу того, что говорилось и писалось о Соболе и что сейчас также основательно забыто, — мне же придется напомнить.

Когда Соболев после покушения на самоубийство приехал за границу, в газете «За свободу» Арцыбашев приветствовал его статьей, из которой можно было почерпнуть сведение, что Соболев — бывший мелкий карманный воришка и что в качестве такового, пройдя все тюрьмы и этапы, он взобрался «на вершину литературной славы» только при большевиках; а на самоубийство он покушался по той причине, что большевики его надули: купили, сперва деньги давали, а потом плюнули и давать перестали. Несколько раньше в берлинской газете писалось, что «перемены в воззрениях Соболева надо искать в папках ГПУ» и что Соболев «бутербродник».

Когда Соболев покончил с собой, в «Днях», вслед за телеграммой из Москвы, было напечатано:

«Такова судьба заблудившихся... Сначала борьба упорная, борьба идейная против насильников, поправших все и, прежде всего, свободное слово... Затем колебания, слабость под натиском большевистского миража и сменевеховство. За сменевеховством у честных наступает раскаяние и уход из жизни... Соболев, тот самый Соболев, что громил пером царскую каторгу и что после одесского периода борьбы воскурил фимиам Чека... Фимиам еле заметный, но все же фимиам... Первая попытка покончить с собой не удалась, и Луначарский, иже с ним все подлые, кричали: он наш, он наш... Они узнали его слабым... Он был отпущен ими в Италию, там

пытался говорить свободно, но вернулся... А совесть мучила... Понадобилась вторая Голгофа, и он пошел и ушел от большевиков, от всего мира...»

Это — далеко не все то дрянное, что писалось о Соболе. Человек с известным именем — покончил с собой: великолепный случай использовать печальный факт в политических целях, попутно и одновременно назвав пострадавшего и Христом, и чекистом. «Революционная Россия» тогда же писала, что поводом к покушению Соболя на самоубийство была свирепая московская цензура. «Какой, ну, мягко скажем, маленький подход», — писал мне по этому поводу Соболю.

Я не хочу выражаться резче Соболя: действительно, какой маленький подход к человеческой драме! Какое пренебрежение к человеческой личности, за которой не признается права на собственную жизнь, независимую от «свирепостей цензуры» или политических сомнений. Какая легкость и беззаботность суждений и высказываний о человеке, который лишен возможности ответа на тех же страницах, потому ли, что слишком велик риск, или потому, что человек уже мертв. Какое лаунтенисное изящество швырянья словами «сменовеховство», «фимиам Чека», «бутербродник».

Я не унижу памяти Соболя защитой против таких нелепых и гадких обвинений, и не в том цель моей о нем статьи.

Андрей Соболю погиб, запутавшись в сомнениях и противоречиях всей многообразной жизни, — но не в противоречиях чести и совести. Он и жил и умер чистым и честным, каким знали его все, знавшие близко. В сумме этих жизненных сомнений и противоречий большая доля приходилась на сомнения творческие, писательские и на противоречия жизни личной, семейной. После первого покушения на свою жизнь он был уже, в сущности, мертв, он был неизлечимо болен и на пути в Россию страшно страдал физически. В результате отравления у него образовалась язва желудка, а врачи в Венеции подозрева-

ли и туберкулезный процесс. О своих физических страданиях он писал мне в апреле из Берлина и в мае из Москвы.

О своих нравственных страданиях писал, как всегда, — путано и неясно, в каждом письме. Свою поездку за границу он считал большой ошибкой. «Знаю, — писал он, — вернусь в Россию, и мне будет там очень тяжело, тяжелее еще, чем до приезда сюда. Ибо не надо было мне уезжать. Ибо уже в Европе я понял, что еще больше я забил душу свою и голову свою глупую тяжкими противоречиями и невеселыми выводами. И вот — вернусь и будет мне невероятно трудно, потому что серединки проклятой я не люблю, лгать самому себе не могу, не хочу, да еще потому, что буду я вдвойне усталым. Ибо не забудьте: я не только русский, я еще и еврей, а мы, евреи, не боимся, хотя бы наедине с собой, все и вся разложить на первоначальные элементы и тотчас же сделать соответствующий вывод».

«Запутался в противоречиях» — не значит, что он не знал, с кем ему быть, со старой или с новой Россией, за революцию или против нее, за «Советы» или за «Учредительное собрание». Этих вопросов не было, как нет их у большинства российских писателей. «Мы, бедные Соболи, — пишет он мне, — приняли страшную, жуткую, дикую, но свою, свою, новую Россию. И — не усмехайтесь иронически — приняли на свои плечи, конечно, — опять каждый по-своему, огромную тяжесть и огромную боль, как каждый по-своему, но в общем одну, принял Россию: один с меньшим надрывом, другой с большим, один как искупление, другой, быть может, как наказание по заслугам, третий, как новую весть, четвертый, как любовь к женщине: и мука, и радость одновременно, но все приняли честно и прямо, не потому только, что от этого признания пахнет «бутербродами». Что же касается меня, — да, я принимаю революцию со всеми ее последствиями и говорю открыто: да, я принимаю на себя и ответственность за нее, всю ответственность... Но неужели Вы думаете, что, приняв на себя большую

тяжесть, мы в то же время ослепли и оглохли?» — «Да, — пишет он дальше, — я измучился, измотался, все что угодно, но не растерялся. Растерянность есть одно из проявлений трусости, а трусом я никогда не был. Мы не растерялись. Мы надрываемся, быть может, даже надорвались уже, но это только потому, что не хотим быть бесчестными и каждое маленькое право на честность покупаем огромной болью». — «Вы опять скажете: бедный Соболев; вот в этом-то и вся ваша трагедия. — А разве я когда-нибудь думал, говорил или писал, что нам, не прихвостням, вроде Родова, или «умникам», вроде Когана, или таким, в сущности, жеманфишистам, как Алексей Толстой, легко жить, легко работать и легко нападать на других?» — «Конечно, есть трагедия и есть раздвоение. А разве вы не знаете, что в России всегда нелегко давалось быть честным? И разве вы не слышали про такую особь человеческой породы, как русский интеллигент, и вам разве не ведомо, как эта особь тяжело и мучительно по сей день бьется в противоречиях? И за эти противоречия расплачивается сторицей? А разве вы, лучшие из эмигрантов, уж так до конца знаете, как надо жить и как надо говорить, и «аристократизм молчания» ведом вам и присущ вам? И вы не спотыкаетесь? И среди вас нет собственных Родовых и собственных Демьянов Бедных?» — «В моем приятии советской России вы можете усмотреть трагедию «бедных Соболев», — что ж, если угодно, то в этой трагедии таится мое нравственное право жить и работать только в России, — но над этими трагедиями многих «Соболев» у вас за границей издеваются, и в той же газете издевка идет рядом с пониманием». — «Вы скажете: а разве у вас в России не идут бок о бок мерзости с правдой? — Да, но зато мы из-за мерзостей от России не отшатываемся и за мерзостями все же видим, хотим видеть новую Россию, а по ту сторону кордона каждую маленькую мерзость-сегодняшнего российского обихода отождествляют со всей страной».

Не думаю, чтобы я должен был комментировать несколько сумбурные строки писем Соболя; они говорят сами за себя, а толковать их все равно будет каждый по-своему. Поэтому я предпочитаю привести здесь еще несколько выдержек, характеризующих «раздвоение» Соболя.

Из Сорренто он писал мне о своих беседах с Максимом Горьким. Годом позже о тех же беседах я слышал от Горького, который Соболя осуждал за его нелепость, истеричность и отсутствие твердых взглядов, но слов, ему Сободем сказанных, не опровергал. Вот эти слова в изложении самого Соболя:

— Алексей Максимович, когда я, так называемый советский писатель, с глупой и дурацкой кличкой «попутчик», а по-заграничному — «бутербродник» — в лучшем смысле — и агент ГПУ — в худшем, в Москве попадаю в буржуазную компанию или в общество с антисоветским душком, — я защищаю горячо, до хрипоты и самые нелепые шаги партии, правительства, маленьких и больших самодуров, ибо органически не могу иначе, ибо меня тошнит от глупости и невежества этих господ, которые, отбарабанив положенное число в Совнархозах или театрах или комиссиях разных, гаденько плетут ветхозаветную прогнившую сеть, чтобы сладострастно накинуть ее в будущем, если повезет, на всю страну. А когда я попадаю к коммунистам или в близкую к коммунистам среду, я до изнеможения нападаю даже на толковые, дельные попытки коммунистов. И вот, Алексей Максимович, по этой бытовой иллюстрации поймите нас, московских писателей. Сейчас я пришел к вам, к писателю Горькому — и я вам должен, я обязан рассказать все. И я расскажу. Но если сейчас откроется дверь и войдет писатель Зинаида Гиппиус или поэт Бальмонт — я немедленно замолчу или горячо начну защищать даже... Демьяна Бедного. Вот я рассказал вам немало о наших порядках, вот привел я вам немало иллюстраций, от некоторых тянет тебя скорее к первому попавшемуся гвоздю,

рассказал я вам, какими ухабами идет наша жизнь и как часто от этих ухабов ноют не только ноги, но и душе, и сердцу больно. Но все же, но все же за все европейские блага я не отдам ни одного кусочка сегодняшней России, даже ни одного ухаба.

И он старается объяснить в письме:

«Это не отрыжка квасного патриотизма, это не «кислые щи» советского производства, и это не русский наскок, с налету, с нахрапу на «Европы», — мы, мол, ваши сумерки видим, нам, мол, из нашего окошечка светлого видать, какая ночь у вас, и мы, мол, шапками закидаем, — поверьте, мы видим, чему нам еще надо учиться и где и к каким источникам, будто уже похороненным, нам еще не раз и не два придется прильнуть, — мы тяжкими годами научились одному нелегкому делу: по-настоящему любить Россию и понимать, что возврата к прежнему не должно быть и что через все глупости (и подлости даже) советская Россия, да, советская, а не иная, выйдет на свою дорогу. И если этой дороге суждено быть украшенной деревьями для отдыха, то рядом там будут стоять деревья, посаженные руками и Ленина, и Желябова, и Троцкого, и Чернышевского, и Горького, и Толстого, и безымянных солдат декабрьского московского восстания и безвестных красноармейцев, бравших в стужу Перекоп».

Я перебираю письма Андрея Соболя, написанные на машинке или его мелким почерком тесно на больших листах бумаги, — целую тетрадь исповеди в ответ на мои вопросы и упреки, — я делаю выписки и заранее знаю, с какой скептической улыбкой прочтут это люди положительные, не знающие «раздвоений» и содержащие картотеку своих убеждений в образцовом порядке. Им, вероятно, покажется странной и такая фраза Соболя про сынишку Шурку: «Шурочка со мной. Если бы Вы знали, какой это очаровательный мальчуган и как я его люблю. Значит, есть у меня кусочек живой души. Вот потеряй я Шурку — не перенести бы!» И еще им покажется

странным, что строки Соболя, на которые в письмах к нему я яростно нападал, теперь я привожу в защиту его чести и его искренности.

Трудно нам, зарубежным, вполне понять человека по ту сторону. Вот что говорит об этом Соболя: «Нынче пропасти роятся с быстротой молнии, нынче лучшие человеческие отношения обращаются в грязные тряпки от самой маленькой пылинки. Непонимание существует не только между русскими из Парижа и русскими из Москвы, — мы у себя на Собачьей Площадке так часто друг друга не понимаем и так нередко друг друга бьем, правда, потом казня себя жестоко, но это уж от нашей милой самобытности».

Большинство писем Соболя помечены «Сорренто», где он вместо отдыха нервничал, много пил, пытался творить, кричал, что он пишет нечто гениальное, и отлично знал, что написать он уже ничего не может.

Годом позже я провел в Сорренто несколько дней в той же комнате, где жил он. Из окна комнаты был такой волшебный вид на залив и окрестности, что даже я, привычный, чувствовал, что жить здесь невозможно, неприлично, преступно. Что должен был ощущать он, приехавший из Москвы, где он с семьей, как и все другие, ютился в забитой людьми и примусами душной и грязной квартире! Какая почва для расцвета «противоречий»! Я понимаю, почему он проклинал свою поездку. Когда-то, бежав с каторги, он нашел в Италии новую жизнь и новое свое писательское призвание. Теперь, предчувствуя конец, он хотел спасти себя тем же итальянским очарованием, — но было уже поздно. Было поздно, потому что запас жизненности кончился.

В письме с пути в Россию, намекая о том, что «скоро добежит, донесется невеселая весточка о Соболе», — он прибавил строчку:

«Я жег себя с двух концов. И вот кончается фитиль. Точка. Все в порядке».

## ПАМЯТИ ИВ. БОЛДЫРЕВА

Пишу не некролог, а просто потому, что нужно, чтобы некоторое число людей прочитало о судьбе умершего Ивана Андреевича Шкотта и запомнило его имя. Трудно мириться с тем, что вот ушел из жизни молодой и талантливый человек, — и никому до этого нет дела, кроме очень малого числа его друзей.

Пять лет тому назад Иван Андреевич под псевдонимом Ив. Болдырев выпустил свою книгу «Мальчики и девочки», род небольшой повести. Это была его первая и единственная книга, очень естественная для начинающего писателя, который освобождается от первых накоплений автобиографического материала. Быт подростков советской «единой трудовой школы», поколения нового, во многом отличного от прежних, еще в большем их повторяющего, потому что юность всегда юность, и запросов ее никакими воспитательными системами не изменишь. Одновременно с повестью И.А. пытал силы в иных литературных жанрах, но напечатал только несколько отрывков, далеких от совершенства, но показавших его усердные и серьезные искания в области стиля, сближавшие его из современников с Ремизовым, из стариков — с Лесковым. Кстати сказать, с Лесковым он был в отдаленном родстве; в нескольких рассказах Лескова упоминается прадед И.А., под настоящей фамилией (Шкотт). Прадед его был англичанином, — но правнук унаследовал от него только выдержанность и, пожалуй, некоторую скрытность характера.



Продолжать литературную деятельность И. А. не пришлось. Несомненно, писал, но свои опыты держал про себя и не любил о них говорить. Жизнь заставила его все время отдавать борьбе за скромнейшее существование, на прочее не оставляя времени. Жаловаться не любил, но было ему очень тяжело.

Я не знаю подробностей его биографии; этот замкнутый человек мало и неохотно о себе рассказывал, и только по более или менее случайным упоминаниям о событиях его жизни можно было составить себе представление о том, что он пережил за свой недолгий век (умер он тридцати лет). Он был московским студентом на химическом отделении физико-математического факультета. В 1923 году в университете образовалась группа характера чисто академического, для противодействия разложению, которое вносила студенческая коммунистическая ячейка. В этой группе Иван Андреевич принимал ближайшее участие. Хотя никакой «политикой» группа не занималась (как раз обратное — не хотела политики в учебном деле), но кончилось это для участников группы плохо, в том числе и для Шкотта, который был арестован, восемь месяцев продержан в тюрьме и выслан в Нарымский край. Ему было тогда двадцать лет.

Человек здоровый, сильный и свободолюбивый, он решил бежать и выполнил свой план побега при условиях настолько же фантастических, насколько и обычных для политических ссыльных и прежнего, и нынешнего режимов: сотни верст в лодке и пешком, прячась от людей и доверяясь только сибирским просторам. Его спутником в побеге был деливший с ним ссылку еврей-контрабандист, который в дальнейшем помог ему перейти польскую границу.

В Польше, конечно, арест, потом освобождение, и — начало знакомой сейчас столь многим сказки про белого бычка. Молодость помогла не погибнуть на первых же шагах, и в 1925 году он очутился в восточной Франции на заводе. Оттуда перебрался в Париж, рассчитывая продолжать образова-

ние, но успел только устроиться рабочим на кабестане (в железнодорожном депо, кажется, в Иври). Как он совмещал это с литературными занятиями — его секрет. Затем одно время занимался инкрустацией — делал декоративные пластинки из кости и металлов, украшения на дамские сумочки и мужские портсигары. В его отдельной комнатке шумел небольшой мотор, свистела пилка, а в определенные часы искусный кустарь разносил свои изделия, очень художественные, по магазинам модных безделушек. Питало это его очень плохо, притом, — сезонами, и время от времени от тонкой рукодельной работы он возвращался к своему кабестану, к поворачиванию вагонов на широком круге.

Я познакомился с ним в литературном отделе «Дней», куда он принес рассказ или отрывок из повести. Вполне литературно грамотных новичков мало, и они запоминаются сразу. Ив. Болдырев был «трудным» автором, самолюбивым, отстаивавшим каждое слово и каждое выражение, — да и как же иначе, все это выношено и выстрадано, и трудно молодому таланту примириться с тем, что, по техническим газетным условиям или иным подобным причинам, приходится что-то сокращать, что-то выбрасывать или изменять. Писал он с некоторой художественной вычурой, во всяком случае, спорной, требующей, кроме дарования, еще и большого опыта, знания меры, применения всегда у места. Видно, — работал над слогом много, хотя еще «по образцам», не вполне самостоятельно. И было очень приятно, когда инициатива одной книжной фирмы, предпринявшей издания романов молодых авторов, сделала возможным появление на свет его повести «Мальчики и девочки». Критика эту книгу заметила и приняла хорошо. Но к тому времени, когда книга вышла, в ее авторе достаточно вырос будущий писатель, чтобы понять, что эта книга — лишь маленький юношеский труд, что для «настоящей» работы нужно много времени, удач и разочарований, выжидания и лихорадочной деятельности, взлетов и падений, и еще того, что неплохо назы-

вается «учебой». Все это Иван Андреевич отлично понимал, и на малом ему мириться не хотелось. А вот создать бы для себя условия хотя бы минимальной сытости, — но с остатком времени от труда физического, — для труда литературного. Пробовал иногда «подкапливать» (на чем экономил?) — и освобождал себе неделю для работы желанной. Но удавалось редко, — а жертвовалось для этого слишком многим.

В кругу молодых литераторов хорошо знали И.А., в частности, по кружку «Кочевье». Но не помню, чтобы он там выступал с чтением своих работ; кажется, больше слушал других. Те, кто знали его ближе, ценили в нем, помимо хорошего литературного вкуса, также большую культурность. Он принадлежал к тому поколению рубежа, которое, не чуждаясь нового, отдавая ему много внимания, корнями держится в старом, связи с ним не порывая. Учителями для него и были, и остались русские классики.

Много раз И.А. пытался повернуть свою жизнь под крутым углом; чаще всего мечтал уехать в Африку, не ради экзотики, а чтобы уклониться от общей судьбы — медленного и безнадежного прозябания. Свои планы, иногда достаточно фантастические, он обдумывал и рассчитывал с присущей ему математической рассудительностью: вычислял года, сроки, цифры и возможности. Решив что-нибудь, приступал к выполнению, то есть к детальному изучению вопроса, к крайней экономии своих скудных средств, наводил справки, с кем-то списывался. Неизменно и фатально все это проваливалось, и иначе не могло быть при его ничтожных заработках и необходимости иногда посылать что-нибудь матери, оставшейся в России. Сильная воля наталкивалась на «железную необходимость».

От планов практических переходил к роду мечтаний, но, всегда подводя основу того, что он считал точным математическим расчетом. Так, в самое последнее время он долго «работал» над системой беспроигрышной игры на скачках.

Система, может быть, и действительно была непогрешимой, но для применения ее на деле требовались запасы средств, которых он собрать никак не мог. Риск и расчет на неожиданную удачу его не привлекали: только применение строжайшей выдержки и математических законов; первой он обладал вполне, но теория вероятности не мирилась с малыми цифрами.

Трудно — да и напрасно — строить предположения. Но мне всегда казалось, что Иван Андреевич, с его прямоотой, его упрямством и серьезностью даже в мелочах, должен добиться своего, то есть избежать «общей судьбы», преодолеть ее, создать себе особую жизнь. Он был слишком не похож на большинство, не был «типом», был своеобразной личностью. Но, конечно, ни он, никто другой не могли учесть вмешательства исключительного несчастья, которое его подстерегало и которое его окончательно сразило.

В последнее время жизнь его как будто наладилась, по крайней мере, он мог избавиться от своего «кабестана». Сделав большое усилие, он поступил на курсы технического института, рассчитывая впоследствии если не на инженерную работу, то хотя бы на работу чертежника, которая была ему знакома. Курс он проходил без труда и, при хорошей прежней математической подготовке, мог давать уроки своим же сверстникам и соученикам. Это было очень кстати, потому что свой обычный заработок рабочего он, в связи с кризисом, потерял. Хотя и в отдаленном будущем, но все-таки жизнь его как-то начала устраиваться. У него по-прежнему, если не больше прежнего, не хватало времени «на себя», но все же открылась линия более нормальная для человека культурного и с большими духовными запросами. И когда это случилось, тогда же пришло и то, что ни в какие планы и расчеты входить не могло: тяжкая болезнь, лишившая его мира звуков. Тем самым, и теперь окончательно, непоправимо и независимо от каких-либо усилий воли и выдержки, — опять разбивались все

его жизненные расчеты. Он не расстался со своей сдержанностью и скрытностью, не жаловался и не плакался. Но в минуту откровенности признался, что жизнь для него теряет прежний смысл, что он приходит к этому выводу путем строгого и логического рассуждения и что ни на какое чудо исцеления он не рассчитывает. Говорил это с обычным спокойствием и с отличавшей его обстоятельностью, — и, может быть, эти всегда ему свойственные качества затушевывали уже назревавшее его решение от тех, кого он дарил доверием. Было видно, что он переживает огромную личную трагедию, но казалось, что он и ее преодолеет, как умел преодолевать многое.

Я не знаю, вполне ли правильно толкую его переживания последних месяцев и недель. Видал его часто, — но ведь все мы ежедневно присутствуем при начинающихся и завершающихся личных драмах, и немногие из нас могут похвалиться чуткостью и верной догадкой. Иван Андреевич был одиноким человеком, очень углубленным в себя, и свое одиночество охранял ревниво: именно — одиноким, но не нелюдимым; общительным, но не склонным к излияниям. Слушал других, но думал и решал сам и свое. Таких людей знать до конца трудно.

Он принял большую дозу веронала и в оставленном письме просил не делать попыток к его спасению. Прошло тридцать шесть часов, прежде чем об этом узнали. Доза яда была не сильной, но было слишком поздно, чтобы, не исполнив его воли, вернуть его к жизни, которая потеряла для него смысл и значение. Он умер в пятницу 19 мая, весной, молодым.

## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

### 1

Газеты существуют для того, чтобы утром, проснувшись, знал человек, кто из его спутников и близких уже не проснется в этот день. В регистраторе памяти выдвигается ящичек, и впереди имени ставится крестик и дата: сего числа перестал быть. Ящик вдвинут обратно — минута молчания. Затем — свисток, и собственный нашего величества поезд дребезжит дальше, — к неизвестной станции, но в направлении, хорошо ведомом.

Умер Андрей Белый — Борис Николаевич Бугаев... Слишком, слишком рано, не надо бы так пугать людей своего поколения! Но он горел, как никто другой, ярко и нерасчетливо: большие поэты не злоупотребляют возрастом. Его учитель и любимый поэт, Гете, был все-таки государственным советником и министром, что придает; смысл долголетию и отчасти ему способствует. У Андрея Белого не было больших соблазнов длить земное существование в холоде и голоде московской окраины; он даже поторопился, год тому назад, сдать в пушкинский музей свой личный архив — письма, рукописи, рисунки. Предусмотрительность для него необычная, может быть вызванная предчувствием, а то — сознанием, что архив уже полон, больше собирать и хранить нечего:

Куда мне теперь идти?  
Куда свой потухший пламень —  
Потухший пламень... — нести?

Будет поток воспоминаний об Андрее Белом; близость с ним и даже простое знакомство, даже случайная встреча ни для кого не могли пройти бесследно: обаятельный человек, необыкновенный ум, врожденная способность очаровывать. В любом окружении он был первым, — остальные бледнели. И не потому, что он подавлял других или старался выделиться, а именно потому, что сам он проявлял внимание и интерес к каждому, и никто не был для него маленьким и нелюбопытным, всякого хотел понять и духовно использовать, всякое слово слушал и взвешивал, жадный до людей и соборного общения. Среди людей, им завоеванных раз и навсегда, ценивших близость с ним, много единиц и еще больше нулей: в знакомствах и связях он не был разборчивым. Но и врагов у Андрея Белого всегда было много: иногда он срывался и был резким до непозволительности, до внезапного скандала.

Ценны и полны содержания будут воспоминания тех, для кого Андрей Белый был соратником в литературных боях, когда перестраивалась поэзия и литература на символистский лад, рождались и умирали журналы и кружки, ахали и негодовали старики, — радовалось молодое поколение. Не меньше расскажут о нем и те, для кого он был антропософским пророком и, — как он сам о себе сказал, — «белым Христианом Моргенштерном» («От Ницше — ты, от Соловьева — я: мы в Штейнере перекрестились оба...»). Мне обо всем этом рассказать нечего, нас связывала лишь простая, «безыдейная» приязнь, при встречах крепившаяся в дружбу, в разлуке падавшая до степени добрых воспоминаний. Но об Андрее Белом каждая памятная запись должна быть нужной: его значение не переоценишь — он был личностью высокого дарования и посвященного творчества.

Печатью исключительности он был отмечен даже внешне: и юношей, и в преклонных годах. Я его помню в университете, тихим и застенчивым, в хорошем форменном сюртучке; внимание всех останавливали его глаза, очень светлые и в туманном сиянии, уже и тогда — нездешние, — глаза поэта. Я не был с ним тогда знаком и не знал его фамилии, — но спустя лет пятнадцать, когда с ним познакомился, сразу узнал в нем студента, которого встречал в коридорах и аудиториях, и которого нельзя было не заметить даже в толпе других. Образ «позднего Белого» помнят все, хотя бы по портретам: ушедший к затылку лоб, неподражаемая, чрезмерная улыбка нервного бритого лица, обезьянья гибкость и длиннорукость, всегдашняя нелепость одежды, мягкий голос с отличным московским выговором, суетливая доброта и вежливость, внезапность переходов от серьезности к смешку, — но не опишешь словами его оригинальной фигуры. То ли он был красив, то ли безобразен, всегда необычаен и отличен от всех, всегда обаятелен в дружеской беседе и удивителен в любимом проповедничестве.

Он прекрасно говорил — и любил говорить. Появлялся перед аудиторией в длинном старомодном сюртучке, с нелепым черным атласным бантом под отложным воротником, смотрел на всех и никуда, в речи своей делал долгие паузы — искал слова — и находил лучшие, то был приторно популярен, то улетал в такие выси и неопределенности, что едва можно было за ним туда следовать, и время от времени поражал слушателей совсем особенной красотой образа или оригинальностью мысли, — и сам радостно улыбался, как своему новому и неожиданному открытию. Он был совершенно неспособен сказать что-нибудь банальное, только ради слова и впечатления, — черта редкая в людях, привыкших часто выступать. Но очень часто путался в обилии мыслей, попутно в нем рождавшихся, в музыке словесных сочетаний, его поражавших; может быть, и готовил свои речи, — но, говоря их, всегда



творил заново, сам себя слушая и спрашивая, и сам себе отвечая. Были ораторы лучше Белого, — но в своем роде он был единственным.

Его ранних, боевых эстрадных выступлений я не знаю, только слышал о них; сам жил тогда за границей. Познакомился с Белым, лишь когда его литературный талант был признан всеми, и сторонниками, и прежними врагами. Настолько признан, что даже упрямые и очень осторожные, в этом смысле консервативнейшие «Русские ведомости» решились впервые его напечатать. Помню, что его свел с газетой Абрам Эфрос, бывший тогда художественным обозревателем «Русских ведомостей» и позволявший себе в профессорской газете употреблять совсем ей чуждые «модернистские» выражения: «красочное задание», «юоновски вписанный образ». Газете хотелось быть современной (конечно, — в строгих рамках!), — но что скажет многолетний подписчик, когда в числе сотрудников его газеты, печатавшей годами Толстого, Щедрина, Короленко, Тургенева, Боборыкина, окажется автор, прославившийся строками:

Вот ко мне на утес  
Притащился горбун седовласый.  
Мне в подарок принес  
Из подземных теплиц ананасы.  
.....  
Голосил  
Низким басом.  
В небеса запустил  
Ананасом.

Сейчас все это читается и слушается спокойно — привыкли, но в те времена можно ли было в почтеннейшем литературном «университете» слышать строки:

Дьякон —  
Крякнул;

Кадилом —

Звякнул:

«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего!»

Долго думали и, наконец, решили попробовать отвести несколько фельетонов под начало «Котика Летаева», благо там идет рассказ о профессорской Москве, хоть и написано все странными, неподобающими словами и словечками и, благо, автор — сын почтенного профессора-математика Николая Васильевича Бугаева, и сам — воспитанник двух факультетов.

Опыт был сделан. Многолетние подписчики читали хмуро и удивленно, зря печатать не станут. Целый переворот в умах, насильственная эволюция! И Белый стал кандидатом в академики...

Это было, думается, в 1916 году, в дни военные и предреволюционные, когда стало возможным многое, о чем раньше и не снилось. Белый только что вернулся из-за границы и из антропософа превращался в «скифа» (с Ивановым-Разумником, Блоком и другими).

В том же году первым изданием вышел его большой роман «Петербург». Теперь он был уже не озорным поэтом-символистом, а большим и признанным писателем.

Дни революции путают хронику мелких воспоминаний. Думаю, что наш московский Клуб писателей, замкнутый кружок, без «жен и гостей», чаще и усерднее всего собирался в 1917 году. И особенно памятно одно собрание на квартире у стариков Крандиевских, когда происходила долгая и невразумительная для профанов словесная дуэль между Андреем Белым и Вячеславом Ивановым. Вероятно, это было замечательно, но, должен признаться, что в моей памяти ничего не осталось, кроме картины превосходного боя петухов: двух замечательных людей с длинными распущенными волосами, забывших об аудитории и перекликавшихся уже не связными словами, а какими-то символами, только им до конца понят-

ными. Я не уверен, что они друг друга слушали, — но понимали друг друга, наверное, и это не могло не казаться удивительным.

Что тогда говорил Белый? Как говорил? — Я думаю, что могу дать об этом понятие, приведя строчки из лежащей передо мной его рукописи, никакого отношения к тому вечеру не имевшей:

«Не события мира летят мимо нас, мы летаем в событиях мира; Событие — Со-событие, т.е. связность бытийств; бытие вне сознания — мертвая неподвижность природы; Со-сознание — действие связи: действительность, действительность, подвижность, обегание «точек зрения», — движение по кругу мирозерцания живого прозревшего «я»; первый сдвиг неподвижности с точек лежания (лога, лжи) нам являет картину падения мира на нас: это — кризис сознания: Со-о-со-знание — градация состояний, сознания, Само-сознание — кризис сознания: кризисом мира глядится на нас». — «Говорят, что несчастья посылаются Богом; тут промысел Божий. Но промысел — промысел, т.е. введение мысли в предмет; провести мысль сквозь руку — промыслить; умение произвольно менять ритм движений, повертываться, перепрыгивать через ямы есть промысел мускулов; а для тех, кто движения свои не сознал, их прыжок через яму есть чудо, подобное промыслу Божию; этот прыжок, вероятно, они изживают, как если бы Божья рука, взявши тело, таинственно перенесла нас по воздуху... Кризис культуры, падение мира на нас, — наша мысль о нас, научающая нас по-новому двигаться: двинемся, сдвинемся!»

Когда это читаешь, — видишь Белого, его жесты, его остановки, поиски слов, подчеркивания, двойные подчеркивания — и широкую светлую улыбку: нашел! И снова — двойное, тройное углубление, потеря линии и воздуха, всплеск — и опять выплыл на поверхность с новой добычей и последним выводом: «двинемся, сдвинемся!» И не знаешь, что важно и что пустяк, придаток: мысль, музыка слов или ритм, — мыс-

лью, музыкой, ритмом он был пронизан насквозь и без них не существовал.

Но вот — простота занятнейшего рассказа. В дни московской голодухи Белый бывал у меня в Чернышевском; если пили чай, то, вероятно, — морковный и, наверное, — с сахарином. А затем он рассказывал о поездке в Италию или о своем участии в постройке антропософского храма — Гетеанума. Этот храм был его чистой любовью, и он часами рассказывал о пятигранных колоннах с шестигранным цоколем, о небывалой градации асимметрий, об угластых, ни на что не похожих чашах, цветах и змеях, о движении неподвижных частей, об оттенках цвета разных пород деревьев — бело-зеленоватого твердевшего бука, медово-солнечного желтоватого ясеня, бронзового дуба, перламутровонежной березы, о деревянных кристаллах, сливавшихся в пентаграмму, об архитравах, изображавших состояние космоса. И о том, как работали там поляки, британцы, французы, швейцарцы, голландцы, германцы, русские, в бархатных перемазанных куртках, в заплатанных панталонах и подоткнутых пропыленных юбочках, — забираясь под потолок и купол, свисая оттуда гроздьями, высекая стамеской и пятифунтовым молотком куски, стружки, пыль дерева.

— Бывало, сидим мы на Юпитере и работаем над его архитравом, надо там что-то подчистить, выпрямить линию плоскости; а по шатким мосткам подымается к нам фигура в пенсне: доктор Штейнер. Оглянет летающим взором, возьмет уголь, прочертит две линии: «Вот тут сантиметра два снять!»

Белый верил, что Гетеанум — новый храм Любви, совершенного мира и братства народов. Он очень страдал, когда этот храм сгорел.

Рассказывая, Белый любил садиться на пол, на ковер, жестикулировал, принимал какие-то индусские позы, — и шли часы, и невозможно было наслушаться: каждое свое слово он изображал, каждый образ окрылял словесными сочетаниями, каждую мысль пояснял мимикой подвижного и вдох-

новенного лица. Лучшего рассказчика я никогда в своей жизни не встречал.

Так проведя полдня, он оставался ночевать, — и ночи не было, потому что, раз увлекшись, он уже не мог остановиться. Мы говорили до рассвета — и не было утомления, а главное — забывалось все, что было за стенами и в стенах: радость и ужас революции, тревога, голод, неопределенность не только будущего, но и завтрашнего дня. Этот человек имел власть вычеркивать действительность и заменять ее мечтой и поэзией — и нельзя было ему не подчиниться.

Иным я знал Белого позже, за границей, в Берлине, — Белого, пытавшегося изменить колоколам Парсифаля для музыки фокстрота. Хотелось бы — как умею — рассказать и об этих, не лучших днях.

## 2

В некрологе Андрея Белого, напечатанном его учениками и друзьями в «Известиях», говорится, что за годы жизни в Берлине (1921—23) Белый провел резкую грань между русской литературой, советской и зарубежной. Не понимаю, зачем это написано и что это должно означать. Во всяком случае, за указанные три года в зарубежных издательствах вышло десять книг Белого, в том числе заново переработанный им роман «Петербург». Под собственным именем Белый сотрудничал в газете «Дни», где среди других статей им напечатаны в литературном отделе «Гетеанум» и «Мысли о Петьке». Это не значит, конечно, что он думал перейти на эмигрантское положение, — такой мысли у него никогда не было. Это только значит, что он никакой грани не полагал между «двумя» литературами, а писал там, где хотел и где было ближе и удобнее работать.

И вообще нужно сказать, что деление русских художников слова на два лагеря возникло гораздо позже. В 1921—23 го-

дах приезжавшие из России писатели не чуждались своих зарубежных товарищей по перу и жили в Берлине довольно дружной семьей. Был общий клуб, собрания которого были публичны и в котором все равно выступали, в том числе и Белый; тем и ценен был этот клуб, что в нем никакой «политики» не проводилось и не существовало никакого деления на «советских» и несветских; и самое слово такое к писателям не прилагалось. Одни думали вернуться в Россию, другие не собирались или не могли, но общению это нисколько не мешало. Несколько особняком стояла только группа сотрудников сменовеховской газеты «Накануне», — но это были уже не писатели, а служащие люди, к которым соответственно и относились с весьма малым уважением, как к утратившим независимый писательский облик, отщепенцам и несвободным.

Первое время в Берлине Андрей Белый работал, по-видимому, много. Помимо изданий новых и переиздания старых книг, он занят был разработкой плана своей обширнейшей «Эпопеи», так целиком и не осуществленной, рассчитанной на много томов; он говорил о 150 печатных листах, якобы уже сложившихся в его писательском представлении, малая часть которых написана и обработана. Он боялся, что в условиях жизни российской ему такой огромной задачи не выполнить; и в то же время его тянуло в Россию, оторванность от которой он переживал очень тяжело.

Именно здесь, в Берлине, он пытался определить ясно этапы своего творчества или, как он выражался, развитие «поэмы души», пути «искания правды». В двадцать втором году он издал большой сборник стихов, разделенный на отделы, соответствующие этим творчески жизненным этапам. Не место здесь заниматься их разбором — предоставим это историкам литературы; отмечу только, что маленькое предисловие к этапу берлинскому, в сборнике заключительному, может дать некоторое представление о том, как чувствовал себя Белый за границей и отчего он, в конце концов, бежал обрат-

но в «роковую страну, ледяную, проклятую железной судьбой»:

«Стихотворения этого периода заключают книгу: они написаны недавно, и я ничего не сумею сказать о них: знаю лишь, что они — не “Звезда” и что они после “Звезды”. Меня влечет теперь к иным темам: музыка “пути посвящения” сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джаз-банд предпочитаю я колоколам Парсифаля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи».

Его последнее стихотворение называется «Маленький балаган на маленькой планете “Земля”»; по авторской реплике — оно «выкрикивается в форточку». И действительно оно — мучительные выкрики, сумбурные и несвязные, с лейтмотивом: «Все — иное: не то...»; оно кончается повторным «Бум, Бум», после чего «форточка захлопывается, комната наполняется звуками веселого джимми»...

Когда очень большой человек опускается и делает глупости, окружающим кажется, что он с ними сравнялся; они могут похлопывать его по плечу, жалеть, поощрять, покровительствовать. За Андреем Белым, провозгласившим культ фокстрота и джимми, бродила по дансингам толпа друзей. «Все танцует?» — «Танцует! И как!» — Рассказывались анекдоты, высказывали предположения, что «Борис Николаевич окончательно рехнулся», и все это с тем оживлением, с которым в среде богемной говорят о самоубийствах.

Но в любом падении Белый был выше рядовых людей. То, что он «выкрикивал в форточку», оставалось в его душе, и он не просто танцевал — он и в недостойном кошмаре продолжал искать религию.

Я видел его в дансингах, в обществе преимущественно немецком, буржуазном и бесцветном. Русские над ним подсмеивались, немцы и немки относились к нему искренне — верили в веселость этого русского чудака. Он выделял «па»

прилежно, заботливо ведя и кружа своих толстоногих дам, занимая их разговором, танцуя со всеми по очереди, чтобы ни одной не обидеть. Ни фокусов, ни экстравагантностей, ни болезненного ломанья, — усердная работа кавалера, души общества, сияющее приветливостью лицо, пот градом. По тому, как к нему относились немцы, можно было думать, что каким-то чутьем они догадывались, что этот милый и вежливый забавник — все-таки не простой, а какой-то особенный человек, гер доктор исключительной породы. Танцевал он плохо, немного смешно, — и все-таки был первым и центром уважительного внимания, — как был им всегда в любом обществе: ученом, философском, литературном, во всепьянейшей компании. Второго плана для Белого не существовало, в статисты он не годился.

Хуже танцев было то, что Белый очень много пил, что было для него убийственным. Никто его не удерживал, скорее — его поощряли. Пил всегда в компании — русских, немцев, старых приятелей, сегодняшних знакомых, — для него каждый человек был любопытен, и с каждым было о чем говорить. Он всегда кем-нибудь восхищался, — приписывая ему собственные черты и духовные интересы. И думал или хотел себя убедить, что в пьяном тумане и звуках джаз-банда постигнет «буревую стихию в столбах громового огня», узрит «потoki космических дней» и «спирали планет». Утром, отрезвев, сомневался и грустил, ругал себя за слабость, мечтал вырваться и уехать — или запереться в четырех стенах и неотрывно работать над своей «Эпопеей».

Мы жили вместе в маленьком пансионе — в смежных комнатах. Узаконился обычай, что каждую ночь, часа в два, Белый, возвращаясь из кабачков и дансингов, приходил ко мне и садился в кресло у моей постели — поговорить. Если он был сильно пьян и бормотал что-нибудь несвязное и маловразумительное, я продолжал читать лежа; слушать его было тяжело, а выговориться ему всегда было нужно, без этого он не



засыпал. Понемногу он переставал бормотать, успокаивался и уходил, неизменно извиняясь, что вот пришел, пьяный, нарушать чужой покой. Но иногда он был только в легком возбуждении — и тогда говорить с ним было приятно и интересно, потому что связная речь Белого редко могла быть незначительной: светлый и блестящий ум никогда его не покидал.

Всем была известна придуманная им влюбленность во «фрейлейн Марихен», дочь хозяина кабачка, где он проводил много вечеров и наливался пивом. Вероятно, эта фрейлейн Марихен думала и рассчитывала, что гер доктор, не сводящий с нее глаз, в конце концов на ней женится. Пока он был полезен как постоянный и нерасчетливый клиент, охотно плативший и за других, всегда собиравший вокруг себя компанию постоянных и случайных посетителей.

К фрейлейн Марихен он относился с величайшей почтительностью и, конечно, никогда себе не позволял, по доброму обычаю немцев, не только сажать ее на колени, но и заигрывать с ней походя. Я видал эту немецкую девуцу, ничем не отличную от сотен других, смазливую и сообразительную; в присутствии Белого она держала себя со всеми очень строго; возможно, что он ей нравился.

И вот, в ночных наших беседах, — причем говорил почти исключительно он, а мне оставалось только слушать, — он втолковывал мне, что фрейлейн Марихен — явление исключительное и неповторимое, истинное чудо, что он относится к ней чисто платонически и не позволяет себе ни единой вольной мысли, что фрейлейн Марихен есть, в сущности, воплощение высокой творческой идеи вечно созидающего духа, который избрал ее своим сосудом, что этого не понимают и что ему самому приходится бороться с собой и побеждать в себе земное чувство, слишком оскорбительное для фрейлейн Марихен.

Иногда я вставлял слово, спрашивал его, какой приблизительно доход он доставляет кабачку, и правда ли, что

фрейлейн Марихен просила его купить пальто для брата или какого-то родственника? Пальто он не отрицал, но бескорыстие фрейлейн Марихен утверждал без колебаний: его подарки ей ничтожны, чаще всего цветы, иногда духи, которые она, девушка бедная и с тонким вкусом, искренно, по-детски любит. Дарить ей что-нибудь ценное значило бы — оскорблять ее! Ее отец настолько бессребреник, что постоянно скидывает с его счета мелочь, округляя цифру. Много раз оказывал ему кредит и даже обижался, когда он на другой же день расплачивался за потребленное пиво, между прочим, — отличного качества.

— Надеюсь, все-таки, что вы на ней не женитесь?

— Я — на фрейлейн Марихен! Я, потрепанный, ничтожный, несвежий человек? Если бы даже она захотела этого, — а это немыслимо! — я никогда не посмел бы мечтать! Я бы убежал, исчез, растворился!

Фрейлейн Марихен, забавлявшая русских берлинцев, была такой же больной выдумкой Белого, как и фокстрот, джимми, пиво, — его попыткой опрокинуть в себе идею «путей посвящения», — своего рода богоборчеством. Той же породы было его приятельство с немцами последнего разбора, какими-то курортными спекулянтами, крашеными женщинами, юными дурачками, в которых он открывал невероятные таланты. Внешне погружаясь с головой в последнюю пошлость, — он немедленно всплывал на поверхность внутренне незапятнанным и ничего не мог с собой поделать. Он был слишком большим человеком, чтобы смешиваться с толпой людей маленьких и с ней по-настоящему слиться и сродниться. Мало того, — он так все собой освещал, что пошлость вокруг него таяла, а люди словно бы становились лучше и выше. Звучащие в нем колокола Парсифаля неизменно заглушали джаз-банд! Не нужно забывать, что Андрей Белый был не просто поэтом, способным стать ничтожным среди детей ничтожных мира, — он обладал еще необыкновенным умственным багажом. Никакой камень,

умышленно прихваченный, не помогал ему погрузиться на дно и утонуть.

Он мог бы, конечно, спиться и расслабить мозг и душу. Так бы, вероятно, и случилось, если бы он остался за границей. Здоровое чувство подсказало ему, что пора бежать — и он почти внезапно уехал в Россию, отдав Берлину последнюю дань: его погрузили в поезд совершенно пьяным.

Как и чем он жил в России в последние годы — мы знаем только по отрывочным рассказам приезжавших сюда писателей. Нет смысла передавать слухи, это уже не область «воспоминаний». Его литературные работы этого периода немногочисленны и мало прибавили к прежнему его литературному наследству. Нельзя не пожалеть, что его роман «Москва» остался незаконченным. Несомненно его возврат к антропософии, — за что он расплатился отчуждением и, по-видимому, опалой.

Пишут, что Белый умер от артериосклероза; спросите медиков — они пожмут плечами: это не определение причины смерти. Не проще ли сказать: он физически истратился и устал жить. Истратился ли он и духовно — мы не знаем.

Его творчество изучают и будут изучать. Он — кусок истории русской литературы и сам — история. Умер один из замечательнейших людей нашего поколения.

Золотому блеску верил,  
 А умер от солнечных стрел.  
 Думой века измерил,  
 А жизнь прожить не сумел;  
 Не смейтесь над мертвым поэтом,  
 Снесите ему венок.

.....

Пожалейте, придите;  
 Навстречу венкам метнусь.  
 О, любите меня, полюбите —  
 Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —  
 Вернусь...

## ДОЖДИ

Это пишется в день дождливый, так что зелень за окном разлинована и по стеклам катятся неудержимые слезы; и если читаться будет в день солнечный, то многого не понять. Потому что дождь — это не только падающие с неба капли воды, но и наше настроение духа, пришибленное или приподнятое, смотря по тому — каков дождь. Сейчас идет дождь так себе, никакой, но теплый, из породы необходимых для сельского хозяйства; в деревне он создает настроение деловое и озабоченное. А то бывают дожди невыносимые, даже подлые. И бывают величественные и прекрасные. Каков дождь, таким делается и человек: деловым, невыносимым, нюней, тусклым, веселым, поэтом.

Среди моих маленьких драгоценностей есть тонкая папка гравюр сухой иглой «Дожди», работы Фалилеева. Он хороший художник и лучший, по-моему, из современных русских гравюров. Эти гравюры, помнится, переизданы обычным типографским массовым способом; не видал и не интересуюсь. Мои оттиски сделаны самим художником в один из дождливейших годов недавней истории, когда не было ни бумаги, ни красок, ни душевного спокойствия. На листах неравноценной и плохой бумаги художник лично оттиснул и подписал десять альбомов — и передал доски в музей. Один из десяти — мой. Это было в 1919 году в Москве. Прекрас-

ную работу я ценю и за год, и за редкость, и за невечность; листы уже желтеют, хотя краска не тухнет. Ценю ее за то, что наши души ходили на цыпочках, души тогдашних художников слова, кисти и сухой иглы — притягивались, отталкивались, сливались, расставались навсегда. Цеплялись за жизнь, — только рассказать об этом почти невозможно. От тех дней остались рукописные издания с любовно расписанными титульными листами или наклепными картинками, остались оттиски гравюр, сделанные без станка, «собственным прессом», музыкальные этюды без нотной бумаги, — и много бродивших тогда мыслей и задуманных слов, много наметившихся образов пропало для хранилищ — осталось только в черновиках нашей памяти. Жалеть не стоит — было хорошо и честно.

Среди прекрасных фалилеевских гравюр особенно удачна одна, где тучи, начерканные бурно разгулявшейся иглой, пролились над Волгой, по которой плывут плоты. И не тучи, а просто — небо льется на землю. Тут не только нужно быть русским, знать Волгу, а и родиться в стихии воды или в ней перевоплотиться. Художник взял стихию не вширь, а ввысь: плоты плывут по нижнему краю гравюры, остальное — поток низвергнувшихся вод. Когда он рисовал, он был не на земле, а где-то в тучах, с ними рушился на землю, взлетал и снова падал, насквозь пронизанной водой и молниями, восторженный художник.

Были такие плоты, была широкая река, и была лодочка-душегубка, на которой я, Робинзон Крузо, плыл против течения, от городских пристаней, до песчаного необитаемого острова, полузаросшего кустарником, близ которого я будто бы нечаянно вываливался из лодки, по счастью на мелком месте, вплавь и вброд достигал берега и оказывался отрезанным от всего цивилизованного мира; правда, лодку удавалось спасти. Вытанув ее на отлогий берег, я шел осматривать остров, который знал, как свою комнату. Затем, наско-

ро сделав лук и стрелы, ждал нападения зверей и людоедов. И вот на этом острове меня, мальчика, застала та самая гроза, которая изображена на гравюре Фалилеева; небо вылилось на землю. Не было ни острова, ни его берегов, ни берега дальнего, ни неба, ни земли — был водопад, хлеставший мечтательного мальчика тысячами холодных плетей. Я дрожал, лязгал зубами и думал о том, как расскажу об этом дома и товарищам: настоящее приключение! А когда гроза прошла, и, раздетый, я прогревался на ярком солнце, лежа в плившей обратно по теченью лодочке, — счастье падало с неба золотыми охапками и проникало в тело и в душу сквозь веки закрытых глаз.

Я помню другую грозу, уже в Москве, — точно год не помню, в самом начале века. Она застала меня в саду, и я успел укрыться, захватив одну градину, ударившую меня в плечо; я зарисовал ее — она была величиной в мужской кулак и похожа на медузу: круглая и гладкая сверху, а внизу снежная с ледяными щупальцами. Этим градом убивало людей и лошадей. Ураганным ветром хлестнуло по дубовой роще — и выхлестнуло аллею на полверсты. Столетние деревья, вырванные с корнями, взмывали на воздух легкими ласточками и рушились на дома. Падали фабричные трубы, а железные крыши свертывались в трубочку. Перышком занесло на другую улицу извозчичью пролетку с лошадьёю, в пути опрокинуло подходивший к Москве дачный поезд. В тот день исковеркало сокольничий парк и почти целиком снесло одну дачную местность. Да, это была хорошая гроза!

В те же года — немногим раньше — я жил в калужской деревне, верстах в десяти от уездного городишки, в местности равнинной, ласковой: лиственный лес и бесконечные поля. По молодости лет притворялся бесстрашным и любителем трагического. И когда в горячий день набегала черная туча, я уходил в луга и, в ответ на первый гром, кричал нелепости темному небу, которое отвечало мне молниями. Очень занят-

но, будучи букашкой, вызывать на бой стихию: я казался себе не последним героем. Когда начинался ливень, так что не видно было, где запад, где восток, где мой дом и к нему дорога, — я бегал по скошенным лугам, запинаясь за кочки, падая и не переставая кричать, мокрый и избитый потоками воды, слепой и глупый. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь меня увидел — но таким мог быть только случайный путник в нескольких шагах. Дело в том, что я был тогда влюблен, я думал — в женщину, но в действительности — в природу; а влюбленным стыдно быть нормальными и не чудить. Когда я возвращался домой, меня жалели и отпаивали чаем, что очень приятно. А всего приятнее вспоминать, что я видал, как огненной полосой раскалывается небо надвое, и затем каждая половина разлетается в осколки, зубчатые по краям, слышал, как грохочет колесница Ильи-пророка по небесной булыжной мостовой и раскатисто ржут его кони. Я видал шаровидную молнию — страшный клубок с медленным, нерешительным движением: а хочешь, я поползу на тебя? — И он или уплывал, или рвался с грохотом, который казался донесшимся издали. Все это бывало, как во сне.

И еще дожди. Теплый дождь с утра до вечера, то сильный, то ленивый, с редкими получасовыми просветами. Под непромокаемым плащом все давно уже насквозь промокло, воздух густ и тяжел, на поверхности реки вскакивают пузыри и палочки. Нужно быть рыболовом, чтобы уметь надеяться. Иногда капля дождя падает прямо на поплавок и окунает его, будто бы клюнула серьезная рыба. Говорок падающих в воду капель — настоящая музыка, — нужно уметь и любить ее слушать. Под рябой поверхностью идет своим порядком рыба жизнь, и не знаешь, кто под тобой проходит и с какими намерениями. Иная рыба в дождик, особенно в теплый, берет лучше и охотнее. На узкой речке, в заросли камышей, жду щуку, судака, хоть бы большого окуня. Мир отделен дождевой решеточкой и пребывает в тумане, —

бедный и неинтересный мир сидящих дома и сушащих свои тряпки. Шорох капель останавливается, наступает тишина, в облаках светлеет пятно, где должно быть солнце, — и гладь реки прокалывается тупорылыми мордочками, хватающими муху, мотыля, стрекозу. И вдруг — шашь! — туча стрелок во все стороны: идет хищник, идет, негодяй, не в мою сторону. И пока я слежу глазами его незаконный путь, — гудит катушка у рукоятки удилища, тянет ее неведомая сила: не зевай, рыбак! Удача ли, или неудача, — снова вода рябая, пузыри, палочки, шепот дождя, великая речная музыка, глубочайшая симфония, понятная только настоящим, природным чудакам. Ноги затекли, спина давно не разгибается, в глазах и ночью во сне будут мигать струйки и дергаться поплавок, голова приятно пуста, совесть чиста, а чувства любви такой избыток, что, кажется, готов отпустить и пойманную долгожданную щуку. В кармане фляжка. Табачок для трубки под брезентом. Все остальное — нуль и не имеет значения.

И были нудные и нескончаемые дожди в стране, куда ездят любоваться цветом неба и яркостью солнца. Италия до удивительности не приспособлена к плохой погоде, это ей не к стилю. У меня был большой друг, московский врач, поклонник красоты и всяких сентиментов. Однажды летом он, наконец, собрался в Италию — насладиться по-настоящему летним отдыхом; раньше никогда не бывал. Было решено, что я встречу его в Венеции и покажу ему всю божественную страну, с севера до юга. В день его приезда пошел, к сожалению, дождь; вместо гондолы мы отправились в отель узкими улицами. От каналов пахло водорослями и кислятиной. Дождь шел и на другой день, и на третий. Святой Марк стоял мокрый и покашливал, мост вздохов сумрачно вздыхал, лагуна была серой, на площади хлюпала вода, люди мрачно слонялись по прокурациям, в соборе было темно, во дворце дождей тошнехонько, в отеле нас живьем ели москиты. — «Такая неудача! Ну, отыграемся на Флоренции!». — Вода текла по



белым и черным мраморным плитам, на Арно вскакивали пузыри, нельзя было поднять головы, чтобы посмотреть на палаццо Веккио, в галереях Уффици и Питти полиняли картины, на мосту не торговали лавочки за отсутствием покупателей, и когда мы под зонтиками хотели взглянуть на чудный вид с холма во Фьезоле, — оказалось, что ничего, кроме дождя, не видно. Давид на пьядца Синьориа был так мокр, что казался только что вышедшим из соседнего фонтана, где он полоскал прашу. Под мокрым навесом кафе мы ели мороженое, и мой друг меланхолически говорил: «красивый городок, Бог с ним, но не особенно уютный». — И мы поехали в Рим. Колизей был, к сожалению, без крыши, по Форуму кое-как пробежали, но идти на Палатин не решились. В катакомбах было хорошо и, как всегда, прохладно. У св. Петра крытая колоннада, в Сикстинской капелле темно, от одного вида на римские фонтаны в такую погоду пробегал по спине настоящий мороз. Уютнее всего оказалось в кафе Араньо, где мы и проводили время. Пришлось сделать кое-какие покупки, но когда мой друг захотел купить калоши, я обиделся за Рим. — «Таких предметов в Риме не водится, не по климату!». — Подумали — и не поехали в Тиволи смотреть знаменитые каскады. Тибр напоминал канаву с жидкой глиной. Прожив неделю в Риме — поехали в Неаполь: вот где оно, настоящее лазурное небо! Но временно небо было и тут мутным, хотя проливного дождя не было: так себе, моросило. В сухое время Неаполь бывает и чистым. Музеями мой друг успел пресытиться. Было сумасшествием подниматься на Везувий, края которого скользки. В Помпеях мы не знали, где укрыться, — город решительно неблагоустроенный. Из Сорренто я показал рукой: «А вон там остров Капри», — но сетка дождя не давала достаточной, как теперь говорят, видимости. В Неаполь мы вернулись в длительном молчании, и только по приезде я сказал: «ну, и не повезло же тебе на погоду!». — Он посмотрел хитро и сердито: — «А у вас и лучше бывает?». — «Такой погоды летом

решительно не запомню!» — «Это и у нас в Москве так говорят; но такой мерзости не бывает. Скажи-ка лучше, когда прямой поезд на Местре и дальше?» — «Неужели же не остановишься еще посмотреть Рим?» — «Нет, брат, я тороплюсь под Москву, в Кунцево, хочется просушиться».

Когда мы прощались на римском вокзале и я, чувствуя себя безмерно виноватым, объяснял моему другу, какие иногда бывают на свете случайности, вдруг сквозь закоптелую стеклянную крышу проглянуло что-то вроде солнышка. Мы обнялись, расцеловались, поезд тронулся, — и при выходе меня встретил блеск омытых камней бывших диоклетиановых бань: солнце их озолотило, и римское небо опять было прекрасным, каким я его всегда знал, но не мог показать приезжему земляку. Ну, хоть римское Поле он увидит настоящим, хоть полюбуется на остатки акведуков! — Но возможно, что от досады он отвернулся от окна и углубился в изучение расписания железных дорог.

В тот год, поздним летом, я ехал в дрянной повозке по узкой горной дороге в черногорскую столицу Цетинье. Внезапно налетела проливнем — и так же внезапно оборвалась гроза, и засияло ослепительное солнце. Но гром продолжал грохотать ниже дороги, где расстилалось целое море облаков. Гроза провалилась вниз, в горную долину, где раньше были видны игрушечные домики и крепостцы. Удивительнее и красивее ничего не бывает, — разве только летчики видали картины чудеснее. На дороге мы увидели и подобрали до нитки промокшую черногорскую девочку лет десяти, — как только ее не смыло дождем в пропасть! Когда мы доехали до какой-то придорожной хибарки, девочка козой спрыгнула с повозки и на бегу крикнула:

— Хвала вам!

Мы ей ответили: — С Богом!

## КАНУНЫ

Что бы ни предстояло в дальнейшем, но за прошлое, за его достаточное разнообразие приношу вам, судьба моя, душевнейшую благодарность!

Верстовые столбы Нового года мелькают с досадной поспешностью; раньше они проплывали более отчетливо и лучше запоминались; иные запоминались навсегда.

В детстве они были светлой окраски — на фоне снежном и приветливом. Не думаю, чтобы стоило описывать их новогоднюю прелесть. Мы их подгоняли кнутиком нетерпения: «бегите скорее, подталкивайте будущее!» Они на бегу улыбались: «смотри, не пожалей!» С каждым годом мы подрастали на вершок, и вот — в зеркале подобие усов. Прощай, страна родная, отправляюсь накачивать разум положительными знаниями, да будет собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать!

Сдав зимние зачеты («Русская правда», биметаллизм, пандекты, прибавочная стоимость), водрузив чемодан прямо на колени ваньке, потому что в санках места нет, мы спешили на вокзал, а оттуда в третьеклассном вагоне, на верхней полке, скорым путем в свою провинцию. В этом вагоне я трясся ежегодно на рубеже двух лет пять суток туда и пять обратно, так как дорога от Москвы была еще кружная, с двумя перевалами через Уральский хребет, из Европы — в Азию, из Азии —

в Европу. Никакого города Свердловска не было, Свердлов был еще сам студентом, а был Екатеринбург, откуда, рассказавшись, скатывались по сю сторону, на крепкий лед реки Камы.

Здесь под Новый год мы танцевали па-де-катр и миньон на студенческом балу. Вся грудь в золотых бумажных орденках, в кармане ее платочек, в волосах конфетти. Для лихости пили что-нибудь покрепче, но и без этого было весело. Уральские промышленники-меценаты обеспечивали сбор, накачивались шампанским, сыпали на поднос золото и прямо с бала умыкали в чрезвычайном поезде неказистых актрис драмы и оперы во внутренние губернии; а почему — неизвестно; можно бы и не умыкая; но требовался размах — страна наша огромная! Потом они возвращались одиноко и благообразно, потрепанными и довольными, на свои заводы копать соль, золото, уголь и хризолиты.

Но, конечно, в каждой порядочной русской биографии должны быть таганки и бутылки. Ими кончался университет и началась общественная деятельность. Из камеры номер 349, что в пятом этаже, были слышны последние пушечные выстрелы на Пресне: блестящая победа, силы над мечтаниями. Потом все смолкло, и наступил быт. Тридцать первого декабря буйного года вечером я играл в шахматы по стуку с партнером, сидевшим тремя этажами ниже; никогда его не видал, так до сих пор и не знаю, кто он был. Он стуком вызвал — я стуком принял вызов. Приходилось выстукивать ходы во внешнюю стену медной кружкой; осыпалась штукатурка и негодовали соседи. Играли отказанный ферзевый гамбит, и был я разбит вдребезги. А ровно в двенадцать часов донесся задавленный стенами возглас неизвестно откуда и чей: «С Новым годом!» Пролетело по длинному коридору и застряло в щелях дубовой двери. В ответ ясно, спокойно и деловито послышалось: «Молчи там!» И затем немедленно наступил год первой Государственной Думы, ничего в нашей судьбе не изменивший.

Но меньше всего можно было ожидать, что следующий канун года будет встречен под пальмами: жандармские гадалки и судебный прорицатель обещали совсем иное!

И, однако, перед самыми святками закружившееся колесо жизни зацепило за фалды и поволокло с финляндского севера на самый европейский юг. Покачало в море, кубарем прокатило по неведомым городам и усадило перед средиземноморским горизонтом, надвое разрезанным высоким кипарисом. И не жарко, и не холодно — итальянский декабрь. Перед носом болтаются оранжевые апельсины: протяни руку и ешь. Большой сад спускается к морю террасами, одна из них обрывается аркой, а из арки выскакивает поезд и улепетывает в Геную. Во всяком случае, на действительность нимало не похоже.

Нас пятеро: две пары и один человек. Проезжая через Женеву, прихватили еще одного с дочкой, руссейшего русака, доктора, толстовца, в кавказской бурке. На эту бурку итальянцы все глаза высмотрели: дело невиданное! По дешевке сняли в местечке Сори огромную старую виллу «Мария», в десять комнат, да еще ослиный домик, который к лету заселился новыми приезжими людьми.

К концу декабря уже знали, что существует Асти Спуманте, шипучка не хуже французских и много слаще. Пробка в расписной потолок: «С Новым годом!». Закусывали, конечно, апельсинами и «дольче пане дженовезе» — сладкой генуэзской булкой. И, разумеется, тосковали. Тоска — хроническое состояние доброго русского человека; не будь этой тоски — жить бы стало невозможно, а с тоской — ничего, живем.

Так — два новогодних кануна, а третий — в Париже. Должен сказать, что за двадцать пять лет Париж не очень изменился, хотя, конечно, на паровичках уже не ездят. Писательских новогодних балов не было: не было писателей. Но новогодних канунов, как и теперь, было два; тогда в этом был большой смысл, сейчас — только скверная привычка.

Но Париж — случайный этап, а нужно устраиваться прочно. Устраиваться прочно нужно потому, что из России приходят странные письма. Роюсь в своем архиве и нахожу одно, помеченное девятьсот восьмым годом:

«Время так сильно изменилось, и люди стали другими. Со всем другие настроения. Болезненное страдание из-за вопроса «что делать?» и «как быть?» сменилось ухарской улыбкой на беззаботном лице; решимость пострадать и радость участия в делах родной страны — грустным молчаливым созерцанием наступившего пасмурного затишья. Это грустное созерцание освещается, правда, иногда улыбкой, связанной с воспоминанием бывшего, потому что в этом воспоминании блестит вера в воскресение, во второе пришествие».

Что за «второе пришествие»? И вот тут, одновременно с улыбкой, по лицу пробегает судорога тяжкого предчувствия. Странное пророчество читаю я в том же письме:

«Тогда будет еще хуже, ибо тогда наступит истинная деморализация: это второе пришествие не будет звучать трубным гласом с небес, это не будет победное восстание, это будет ужасный бунт, смутное время, это будет страшный поток крови, это будут ужасы, каких еще не видывал мир! Голодные люди, как волчьи стаи, будут рыскать по дорогам. Дым, огонь кровавым туманом подымутся над землей, и среди этого дыма и крови будут веселиться немногие легкомысленные, пока, как коршун, не налетит на них смерть. Это продлится не год, не два, а может быть, много лет, и потом люди, усталые и измученные, будут хвататься за старое, за гнилое, будут устраивать тихие болотца, только потому, что они тихие. Но ведь из всего этого человек выйдет победителем!»

Вот какие письма тогда приходили из России; и вот какие раздавались пророчества.

И потому новые кануны я проводил в Риме, столь не похожем на Рим нынешний. Под первое января мирный обыватель палил из окна из ружей и револьверов и бросал порожни

бутылки и фьяски. Холостые выстрелы никого не убивали, а стекла ничему не мешали: автомобилей еще почти не было. С сорой Эрнестой и сором Карло мы сидели за новогодним столом и оживленно беседовали о преимуществах английской соли перед касторкой и о различиях между занесенной снегом Москвой и залитым солнцем Римом. По ту сторону площади, в Ватикане, папа Пий X, старый и добродушный человек, может быть, тоже встречал Новый год, а вернее мирно спал по причине преклонного возраста. Молодой неаполитанский адвокат, приглашенный с нами поужинать, которого я видел в первый раз в жизни, царапал мне на своей фотографической карточке: «На память моему лучшему русскому другу». Чудесно было в римском «тихом болотце»! Мы ели, конечно, индюка (галлиначчо), а пили марсалу и асти.

Шли года, и зачем-то я оказался под стенами осажденного Адрианополя. Это было не весело и не забавно. Когда же Адрианополь пал, мы потолкались и поликовали в Софии, куда вернулись с поля побед Фердинанд и Немирович-Данченко. Затем, посидев еще несколько дней в Белграде и поиграв в шахматы с корреспондентом киевской буржуазной газеты Львом Давыдовичем Троцким, я взял курс на север — и в самый канун Нового года пересек австрийскую границу, сразу попав из первого января в тринадцатое. Не было великой Сербии, Загреб был Аграмом, во Фьюме еще не предполагались скандалы итальянского поэта-диктатора. В Венеции наш пароход встретило обычное зимнее ясное утро, и дворец дождей казался в воде настоящим, а на земле перевернутым вверх ногами — Сильвестр Щедрин прав в своей оценке этого замечательного образчика архитектуры.

Когда в полдень выпалила пушка и голуби на пьядца Сан-Марко сделали три обычных круга, — я мог бы, конечно, сказать, что балканские выстрелы предшествуют пальбе по всей Европе. Но так как я этого не сказал и даже не подумал, то канун четырнадцатого года вместе со всеми непророками,

встретил по обычаю тихих лет и без всяких содроганий. Дальше нет ясных воспоминаний до самой Казани, то есть, есть, пожалуй, но они перепутаны в клубок городов, морей, потушенных пароходных огней, спасательных кругов, северных стран, полночного солнца в Торнео, жандармов на русских станциях, министров в Петербурге, десяти губернских городов, западного фронта, Нового года без встречи и без вина, Корабля смерти на Лубянке, Голодного комитета и арестантского грузовика: все мелочи, испытанные каждым добрым гражданином.

А вот в Казани мы встречали Новый год пельменями и самогоном.

Сначала, помнится, была мелодрама в городском театре. По привилегии почетного ссыльного, я сидел в первом ряду кресел в завидном костюме: при не совсем потертой заграничной визитке — расписные казанские валенки; ноги приходилось подбирать из опасения насекомых.

А по окончании спектакля пошли (ехать было не на чем) на квартиру к комику. Примадонна и благородный отец кипятили на буржуйке воду для пельменей, заранее приготовленных и защищенных; режиссер обращал воду в вино, остальные накрывали на стол. Поевши и попивши, мы пели и плакали — и по-русски, и по-цыгански, а под утро разошлись по домам в полном спокойствии, потому что совдеп опубликовал, что в ночь под Новый год на улицах в прохожих стрелять не будут, — и действительно не стреляли. На другой день, едва я затопил дома печку, пришли с новым обыском и девятым приглашением явиться в чека, только что переименованное в ГПУ. Но все это — мирно и не в связи с Новым годом.

Годом позже, встречая тот же праздник под звуки румынского оркестра в ресторане на Прагер-плац, в Берлине, я все думал: «а как поживает тот черемис, председатель кооператива, который, прожив всю жизнь без особых дум и национальных устремлений, внезапно превратился в яростного и щепетильно-



го гражданина республики народов Мари? Он подарил мне в Казани бутылку пихтовой эссенции — гораздо лучше германских, да и французских духов. И вообще — зачем судьба так швыряет людей?»

Вот и еще прошло десятилетие. В нынешнем году, пока вы будете красоваться на балу Красного Креста, я встречу Новый год дома. И когда часы на доме умалишенных пробьют полночь, я искуплю неуместную веселость и беззаботность этих воспоминаний чтением ужасающих стихов Николая Огарева, нашего предшественника по эмиграции:

Скачи, скачи, дребезжащая телега,  
Недолго нам доплестися до ночлега,  
Недолго нам до ночлега векового,  
Ночлега темного, гробового.

А сколько дней протрещали мы по свету,  
Успеха в том, оказалось, нам нету,  
Начала добрые поспотыкались,  
Стремленья все праздны остались.

Скачи, скачи, дребезжащая телега:  
Пора, пора добираться до ночлега...

## ПУШКИН — КНИГОЛЮБ

Всеобъемлющего Пушкина каждый любит по-своему: стихотворец ценит в нем стихотворца, прозаик — прозаика, и есть такие, которым важно видеть в Пушкине Дон-Жуана и заниматься его семейными делами. Для книголюбов Пушкин, прежде всего, — книголюб, самый настоящий и едва ли не единственный настоящий из всех больших русских писателей. В «Статьях и заметках» В.Е. Якушкина так рассказывается о последних минутах поэта: «Не желаете ли видеть кого из ваших близких? — спросили после дуэли 27 января 1837 г. терявшего силы Пушкина. — «Прощайте, друзья», — сказал он, обратив глаза на свою библиотеку... 29-го, после двух часов пополудни, наступил момент некоторого прояснения, после которого уже потухающим взором обвел он шкафы своей библиотеки и чуть внятно прошептал: «Прощайте, прощайте».

Библиотеку Пушкина спас от гибели и описал покойный Б.Л. Модзалевский, назвавший его «библиофилом в лучшем смысле этого слова». По принятой терминологии, библиофильство есть осмысленное собрание книг, лучших, важных по содержанию, прекрасно изданных, нужных для работы. Все остальное — библиомания, библиотафия, библиофагия и т.д. Эти определения и условны, и неправильны: напрасная попытка логически расклассифицировать проявления книголюбия. Но страсть к книгам так же иррациональна, как и все человеческие

страсти, вызываемые духовным одиночеством. Пушкин был и библиофил, и библиоман, и страстный библиофаг. Об этом свидетельствует состав его библиотеки — как и много строчек его писем. Таковым он был с детства и до смерти.

Спасено и охранено свыше 4-х тысяч его книжного собрания; было больше. Все книги перелистаны, и ни одна пометка Пушкина на полях и на вклеенных листах не укрылась от исследователей. Для нас, библиоманов, ценнее всего автограф Пушкина, сделанный им 26 мая 1830 года для двух калужских букинистов на Полотняном заводе Гончаровых и самым стилем своим свидетельствующий о понимании Пушкина святости братства книголюбов: «Александр Пушкин с чувством живейшей благодарности принимает знак лестного внимания почтенных своих соотечественников Ивана Фомича Антипина и Фаддея Ивановича Аббакумова». Он и сам ценил и берег автографы и пометки чужой руки на книгах. Поразительны по обстоятельности и точности заготовки его библиографических заметок: полное название, издательская фирма, дата, цена, счет страниц текста, нумерованных и нумерованных. Такой педантичности не было даже у Сопикова, «Опыт» которого стоял у него на полках.

Нечего прибавить к описаниям пушкинской библиотеки, сделанным Б.Л. Модзалевским и отлично разработанным М. Куфаевым (Альманах Библиофила, Лен. О-во Библ., 1929) и другими исследователями. Но в сочинениях Пушкина часто упоминаются книги, которых в его библиотеке не найдено и заглавия которых он приводит, очевидно, по памяти. Таких упоминаний очень много, и беглых и более обстоятельных. «Жан-Жака ли читаешь, Жанлис ли пред тобой», «Друзья, почто же с Кантом Сенека, Тацит на столе», «На полке за Вольтером, Вергилий, Тасс с Гомером все вместе предстоят», «Мудрец простосердечный Ванюша Лафонтен», «Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита», «Хотя заглядывал я встарь в Академический словарь», — все это не говорит библиофилу ни об изда-

ниях, ни об определенном сочинении, за исключением «Академического словаря», где даже сделано всем известное примечание (о необходимости его для «всякого, кто желает предлагать мысли с ясностью») и где речь идет, конечно, о «Словаре Академии Российской, производным порядком расположенном», изданном (ч. 1—3) в 1806—12 гг. в Петербурге in quarto. Но вот в «Истории села Горюхина» например, упоминается «Новейший Письмовник» Курганова, драма «Ненависть к людям и раскаяние», «Благонамеренный», «Соревнователь просвещения» и «Собрание старинных календарей» за 1744—1799 гг. Тут есть чем заинтересоваться книголюбу и даже есть о чем с Пушкиным поспорить. «Новейший письменник» существовал, и было их даже несколько, но это не кургановские издания, хотя и того же времени. Кургановский письменник носил в первом издании (1769) длинное название (в остальных изданиях несколько сокращенное): «Российская универсальная грамматика или всеобщее Письмословие» и т.д. По расчету дат «Истории села Горюхина» мальчику купили родители, очевидно, восьмое издание Курганова (1809 г.). «Ненависть к людям и раскаяние» не драма, а комедия Коцебу, вышедшая в переводе А. Малиновского в 1796 г. Что касается календарей за 55 лет, «в зеленом и синем бумажном переплете» — то тут библиоман не может не прийти в немой восторг! За такой короткий срок не издавался непрерывно ни один календарь, и вряд ли где-нибудь имеется такой подбор хотя бы разного наименования изданий, месяцесловов и столичных или провинциальных календарей, которых до 19 века вообще было не много. Иными словами, в руках пушкинского героя было невиданное сокровище, библиографии неизвестное.

Старинные книги упоминаются Пушкиным и в повестях. В «Барышне-крестьянке» на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью боярскую дочь». Это или повесть Карамзина, или драма С. Глинки в четырех (а не в пяти, как у Сопикова) действиях, вышедшая в 1806 году в Москве. В «Дуб-

ровском» у Кириллы Петровича Троекурова «была огромная библиотека, но сам он никогда не читал ничего, кроме «Совершенной поварихи». Опять загадка для книголюбца! Такой книги не существовало.

Был «Новейший полный и совершенный повар и приспешник», был «Совершенный Российский повар и кондитер», был «Совершенный французский кондитер», была, наконец, «Постная Повариха или приготовление разных постных кушаньев», редчайшее костромское издание, но зачем бы стал Кирилла Петрович читать такие книги? Вероятно, дело идет о весьма знакомой библиографам, также сейчас очень редкой повести «Пригожая повариха или похождение развратной женщины», первая часть которой написана М. Чулковым (на книге автор не значится), а вторая часть не вышла. Книгу эту зачитывали в свое время до полной ветхости; ее героиню зовут Матроной, а героев — Светоном, Ахалем и Свидалем; они дерутся на дуэлях, травятся, умирают, снова оживают, и естественно, что Троекуров дополнил такой книгой свою наследственную библиотеку из французских писателей 18 века.

Книголюбам интересны упоминания Пушкиным ходивших в рукописях «Критики на Московский Бульвар» и на «Пресненские пруды», несколько списков этих злободневных стишков, развлекавших Москву, найдены и опубликованы. Все эти беглые упоминания бесконечно ценны для любителей старой книги, чувствующих в Пушкине единомышленника, члена всесветного братства страстных поклонников и разумного и неразумного коллекционерства, обожания редкостей, переплетов, надписей, экслибрисов, самого запаха книжного тления. А доказательством того, что Пушкин ценил книги и за их редкость, может служить томик «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, имеющийся у него в двух экземплярах: один из них был «цензурным», с соответствующими пометками, и на внутренней стороне листа после переплетной красного сафьяна крышки, поэт-библиофил сделал собственноручно надпись:

«Экземпляр бывший в Тайной Канцелярии. Заплачено двести рублей». В этой надписи, столь характерной для книголюба, лишь один порок: не указано у кого и когда приобретена книга. В примечании к цитате из одной редкой французской книги (в гл. VIII «Истории Пугачевского бунта») Пушкин пишет: «книга сия весьма редка; я видел один экземпляр оной в библиотеке А.С. Норова ныне принадлежащей князю Н.И. Трубецкому». Позже он приобрел несколько дефектный экземпляр этого издания, год которого, кстати, помечает неправильно (нужно — 1672).

Один из биографов Пушкина назвал коллекционерскую страсть Пушкина *слабостью* его времени. Но это не слабость, а подлинная *страсть*, и знакома она всем временам. Среди страстей благородных — благороднейшая! Нужно только удивляться, что на эту упорнейшую и самую прочную страсть прекрасного нашего писателя его биографы и те, кто жизнь его берут материалом для биографических романов, до сих пор обращали так мало внимания, придавая чрезмерно большое значение его «любовным приключениям», нашему суду не подлежащим.

## СУДЬБА СТАРОЙ КНИГИ

Из России уходит за границу старая книга. Много писали о бриллиантах, о художественных сокровищах, о музейной живописи, и мало кто интересуется книгой. Между тем, все чаще начинают попадаться исключительные редкости в каталогах «Международной книги», всесоюзного объединения, ведающего продажей за границу русских книг.

«Международная книга» продает товар только на валюту, хотя цены обозначаются в рублях; но на рубли книги не продаются, так что гражданам они недоступны совершенно. Это и понятно. Если на черной бирже в Москве доллар стоит 33 рубля (как недавно писали), то это значит, что отпустить книгу за границу для «Объединения» в 17 раз выгоднее, чем продавать дома. Известно, что не только старая антикварная книга, но и новая, наиболее ценная (как, например, некоторые издания «Академии»), на рубли не продается. Ее можно купить в любом эмигрантском книжном магазине, но нельзя купить в Москве и Ленинграде иначе как у тайных букинистов за очень возвышенную цену. Для примера: «Русская сказка», изд. «Academia» в Париже стоит 5 рублей (для исчисления во франках — помножить на 18), а в Москве с трудом достается за 100 рублей. Третий том «Тысячи и одной ночи», недавно вышедший, так и не поступил в свободную продажу в России (часть разошлась по подписке), здесь же достается без труда.

Но любопытны не цены, а качество антикварного товара. До последнего времени в каталогах часто помечались большие редкости из разряда тех, которые все же имеются в публичных библиотеках; таковы мистические издания конца восемнадцатого века, некоторые многотомные областные издания, книги по искусству с малым тиражом. Но вот в последнем каталоге московского отделения «Международной книги» помечены, по ценам, правда, исключительно высоким, книги первопечатные (русские инкунабулы) и совершенные уникамы. Таковы (в каталоге ном. 280) львовские, виленские и Острожские издания 16 века («Апостол» Ивана Федорова 1574 г., «Четвероевангелие» Мстислава 1574 г., «Триодь постная» Андроника Невежи 1589 г., «Василия Великого Книга о постничестве»; виленское «Евангелие толковое», виленская же перепечатка Острожского «Псалтиря»). Еще более редки и ценны некоторые из опубликованных для продажи изданий 17 века, и среди них несомненный уникам — книга «Кормчая», напечатанная при патриархе Иосифе в Москве 1650 года в лист. Неизвестно даже, было ли это издание выпущено в свет, так как время напечатания совпало с началом раскола в русской церкви; позже она была выпущена в издании исправленном, уже при Никоне. Другого такого же экземпляра (старого издания с добавленными страницами из нового) нет ни в одной публичной библиотеке. Цена в каталоге обозначена 3.000 рублей (во франках, при непосредственной выписке, ок. 40.000). Эта «Кормчая» («Номоканон»), конечно, величайшая музейная драгоценность и стоит больше всяких «бриллиантов короны»! Хотя дешевле помечены, но не меньшей ценности и другие книги каталога (иосифовские «Минеи служебные», уже упомянутые «Триодь» и «Книга о постничестве» и др.). В некоторых имеются рукописные добавления и изображения или старообрядческие пометки (стерто имя Никона и поставлено Иосифа). Целый ряд оригиналов вносит существенные поправки в библиографическую литературу сла-



вяно-русского книгопечатания, и уже одно это делает их ценнейшими.

Любопытно, куда уйдет редкая русская книга? Покупательская способность эмиграции ничтожна, хотя несомненно, что единицы составляют себе небольшие библиотеки редкостей (покойный Дягилев много приобрел через «Международную книгу»). Невелика и покупательская способность разных заграничных «институтов изучения славянства». Не очень верится, чтобы много покупал американец-коллекционер, — прибежище впавших в нищету собирателей. Судя по каталогам германских антикваров, немало книг переходит к ним. В любом Парижском магазине русских книг найдутся «загулявшие» книжки, попавшие сюда через тот же источник. Некоторые из них гуляют подолгу, меняя хозяина и возвращаясь к продавцам. Иные попадают и на аукционы в зале Друо и идут порой за бесценок. Но раз «Международная книга» находит выгоду в распродаже редкостей, значит, книга все же широкой волной утекает с родины на чужбину!

Свои каталоги «Международная книга» высылает охотно любому желающему, — достаточно послать адрес. Так же проста, конечно, и выписка.

Во всяком случае, было бы приятно, если бы старая книга попадала в русские руки. Приятно, но трудноосуществимо!

## ЖАЛОБА КНИГИ

Книгу точит червь. Можно сказать с уверенностью, что из десяти читателей девять никогда не видали таких повреждений и вряд ли двое на тысячу видали этого «червя». С точки зрения книголюба, червоточина — украшение старой книги; но есть у книги более очевидные враги: читатель и переплетчик.

Библиографы давно составили перечень преступлений против книги ее читателя: преступник тот, кто разрезывает новую книгу пальцем, карандашом, шпилькой; кто перегибает при чтении корешок; кто перелистывает страницы намоченным слюной пальцем; кто опрокидывает раскрытую книгу навзничь и так оставляет ее лежать; кто втискивает книгу на полку в слишком тесный ряд других; кто, вместо закладки, загибает уголок страницы, вкладывает спичку или даже карандаш; кто сушит между страницами цветы и листья; кто делает на полях и в тексте пометки ногтем и заметки чернилами (относительно карандаша мнения расходятся, некоторые считают, что вообще читательская пометка может даже сообщать книге особую ценность); кто вырывает в начале и в конце книги чистые страницы или пишет на них счет своих расходов и список сданного прачке белья. Излишне особо говорить о швыряющих книгу, вырывающих страницы текста и иллюстрации, «зачитывающих» том из собрания сочинений, треплющих, пачкающих и проч. Это — чистые варвары и разбойники!

Преступные переплетчики «зарезывают» книгу (непропорционально и низко срезают поля), путают листы, сшивают гнилой ниткой, не вплетают выходной обложки, небрежничают в разгипе, недосушивают и проч.

В начале XIV века ученый прелат Ричард де Бери написал трактат о книге («Филобиблон» — «Любокнижие»), недавно в отрывках переведенный на русский язык А. Малениным («Альманах Библиофила», Ленингр. О-ва Библиофил.). Четвертая глава трактата красноречиво излагает жалобы книг на скверное с ними обращение.

Книги жалуются: «Страдают от разных болезней спины и бока наши, и лежим мы с членами расслабленными в параличе. Некоторые из нас страдают от подагры, на что ясно указывают скрюченные конечности. Дым и пыль, которые постоянно нас преследуют, притупили остроту нашего зрения и воспаляют уже гноящиеся глаза. Жестокие раны зверски наносятся нам, безвинным! В лохмотьях мы брошены в темные углы.... Нас продают, как рабов и служанок!»

Автор трактата предписывает студентам не только не облокачиваться на книгу локтями, но и вытирать нос прежде, чем садиться за чтение, чтобы не окропить книгу «позорной росой», а также не употреблять для отчеркивания нравящихся мест «черный как смоль ноготь, наполненный вонючим навозом».

Учитывая, что в наше время и носовой платок, и маникюр в достаточном уважении — можем ли мы, все же, утверждать, что и книга в большом почете?

«Книга требует более тщательного присмотра, чем башмак», — пишет аббат-книголюб. Взгляните в Тургеневской библиотеке на книги, возвращаемые читателями: таких башмаков не носят даже безработные!

Стало быть, и сейчас не вредно поразмыслить над страницами писателя 14-го века!

Ибо «истина, таящаяся в мысли, есть скрытая мудрость и утаенное сокровище, истина же, написанная в книге, не преем-

ственна, но постоянна, ясно представляется взору и, пробираясь через пропускающее ее глазное яблоко, преддверие здравого смысла и приемную воображения, вступает в чертог разума, прячась на ложе памяти, где она порождает вечную истину мысли».

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ

В минувшее воскресенье у нас была перепечатка из «Вечерней Москвы» о библиографической сенсации: «из полузабытых музейных складов извлечено редкостное издание басен Крылова», оказавшееся «самой маленькой книгой». Счастливая находка сделана по случаю предстоящего открытия конгресса по иранскому искусству.

В СССР, к сожалению, не выходит сейчас ни одного сколько-нибудь сносного библиофильского издания. Несколько случайных сборников, выпущенных в Петербурге кружком библиофилов, засвидетельствовали скудостью содержания падение интереса к старой книге, любовь к изучению которой поддерживалась рвением собирателей-одиночек. Только этим можно объяснить, что для отыскания «самой маленькой книги» потребовалось тревожить «полузабытые склады» в интересах... иранского искусства.

Миниатюрное издание басен Крылова давно известно всем любителям книги и подробнейшим образом описано Геннадии, А. Бурцевым и другими собирателями и описателями. Особой редкости оно не представляет (известно до 35 экземпляров). Издано было не для продажи, но в продаже всегда было и есть до настоящего времени. Если не ошибаюсь, в Париже имеются три или четыре экземпляра; из них один в бывшем дягилевском собрании, другой продавался в зале Друо (и был при мне

приобретен), третий предлагался еще недавно частным лицом через книжные магазины.

Эта книжка — не самая маленькая; она лишь самая маленькая из напечатанных ручным набором. Есть книжка рукописная меньше — помещается в скорлупе ореха. Есть книжка русская гравированная (Месяцеслов), размером немного больше, но ценностью гораздо значительнее басен Крылова, действительно редчайшая и «ненаходимая». Есть итальянское издание Данте, равное по величине басням (но строк в странице меньше). Есть еще макулатурное издание Пушкина (кажется, варшавское, не имею под рукой справочников), размером в почтовую марку, дешевое и плохое фотографическое с уменьшением издание, которое часто показывают неопытным собирателям как великую библиографическую редкость (цена ему несколько франков).

## СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

Можно человека не любить, но сочувствовать ему в страданиях, соболезновать в несчастьях и горестно поклониться его могиле. То же — с предметами быта и культа. Как глубокий, убежденный провинциал, усыновленный Москвой, я всегда кисло и пренебрежительно относился к Петербургу — Петрограду — Ленинграду, к его основателю, и его истории, к его литературе, его плохому русскому говору, сомнительной чиновной аристократии и невеселому демосу. Но, все-таки, Петербург есть Петербург, и Достоевский есть все же Достоевский. (Пушкин, конечно, не Петербуржец). И когда умирает кусок Петербурга, то это так же грустно, если даже и не так значительно, как смерть уголка Москвы; позвольте так выразиться, без желания обидеть чьи-нибудь чувства.

И вот в газетах заметочка: «предполагается ликвидировать рынок на Сенной площади Петербурга, торговые помещения приказано перенести в другие районы Петербурга. Все здания вокруг Сенной площади подвергаются надстройке (?)».

Все это правильно и естественно; жить людям становится тесно, быт меняется, старое стареет, молодое растет. Нет и в Москве Охотного ряда, нет ни сухаревской толчеи, ни даже самой Сухаревой башни (последнее — истинное горе!). Вместо старого воздвигается новое, которое в свое время устареет и будет заменено новейшим — и так далее. Вместо Сенного

рынка будет установлена «массивная скульптурная группа» — сразу три иностранных слова, а что значит — не сказано. Все это законно, как законна и печаль любителей старины.

Сенной рынок в Петербурге имеет свою историю и, вероятно, хороших историков. Но вряд ли кто-нибудь знал и помнит поэта Сенной площади и Сенного рынка; а такой был и даже выпустил книжку, также вряд ли кому ведомую. Мне она попала на днях в Париже, и, конечно, не мог старый книгоед упустить такую добычу. Книжка небольшая, в 88 страниц, на рыхлой тряпичной бумаге, в синеватой рубашке, с печатным титулом в восемь разных шрифтов, с огромными полями, окружающими текст, — среднего качества работа сороковых годов, когда так умели и любили с малыми типографскими средствами достигать нерасказуемого изящества. Она называется «Начатки, собрание разнородных статей в прозе» с эпиграфом «Vite dulci» и кокетливым авторским предисловием, кончающимся словами: «Желательно, чтобы предлагаемая книжка доставила читателям, в досужий час, приятно-полезное чтение, а со стороны критиков, остаюсь в том кротком убеждении, что они не удостоят снисходительным вниманием посильные мои труды». Издана книжка в Санкт-Петербурге, в типографии Эдуарда Праца, в 1842 году, — близок ее столетний юбилей.

Автор скрылся под литерами А.Т. — Не без труда я установил, что фамилия А. Томилин, если только и она не была псевдонимом, и что он был сотрудником болгаринской газетки «Северная Пчела». Стиль его несколько напоминает болгаринский, но номером пониже: Булгарин, при всей его гибельной репутации, был неплохим беллетристом, хотя несколько сладким и сентиментальным, как и полагается людям сомнительной нравственности. И вот этот А. Томилин оказался не только историком, но и вдохновенным поэтом Сенной площади, которой целиком и посвящена его книга, за исключением очерка «Роза», посвященного новому способу отведения роз черенками, написанному «в приятной уверенности, что, быть может, в предсто-



ящее лето, не одна прелестная, беленькая, по изречению современных поэтов, “благоухающая, как роза”, ручка северной красавицы будет ухаживать, с материнской попечительностью, около юной царицы цветов».

«Петербург, прекраснейшая наша столица, — предмет описания завлекательно изящный!» В авторское время в Петербурге было полмиллиона жителей, пищевые потребности которых и удовлетворял преимущественно Сенной рынок, на площади, которую пересекает Большая Садовая улица. По словам автора («старожилы помнят»), в дни Екатерины здесь продавалось исключительно сено, возы которого и в его время занимали и площадь, и окрестные улицы, но теперь уже продавались здесь и овощи, и цветы, и деревья, и рыба, и другие продукты. «Ежедневно утром собираются на площадь бережливые хозяйки и целые легионы поваров и кухарок, вооруженных кулками и корзинами всевозможных видов и размеров.... Тут видите расчетливого повара, который, покупая зелень, вступает за что-то в состязание с продавцом; там замечаете опрятную кухарочку, разговаривающую с жеманной горничной, соседкой; они встретились так неожиданно, и нашли весьма удобный случай побеседовать о своих делах. В другом месте вам бросается в глаза запачканный мальчишка, скорчившийся под бременем куля, из которого он с особенной легкостью пользуется огурцами!.. Подобные картины здесь бесчисленны; не достаёт только кисти Русского Гогарта». Что касается ягод, то автор очень советует являться за ними рано утром, иначе их перекупят мелкие торговцы. Вообще же тут можно найти все, потребное «и для скудного стола человека с неприхотливым вкусом, и для пышной трапезы гастронома с эпикурейской притязательностью на пресыщение избалованного желудка». В Рождественский пост — рыба из невских, ладожских, белозерских, онежских и других вод, изобилующих осетрами, стерлядями, форелями, лещами, сигадами, окунями, ершами, до снетков включительно; в пост Великий, сверх того, вывозятся на пло-

щадь «сушеные грибы и ягоды, в также мед разных цветов и качества, и другие постные снадобья, потребляемые благочестивыми почитателями Четырехдесятницы». В последние дни поста «всюду поражает и преследует вас бездна припасов из царства животных. Мясо: говядина, телятина, баранина, поросята и дичь: рябчики, тетерки, куропатки, зайцы, индейки, пулярдки, утки, гуси — все навалено горой. Наконец, огромнейшие быки, бараны и туши, расставленные стоймя около возов, служат вывеской товаров, к числу которых принадлежит еще масло, вздымающееся в золотистых пирамидах».

Ранней весной Сенная площадь «представляет из себя эмблему времени года», — здесь начинается торг дивными цветами, кустарниками и деревьями, не только фруктовыми, привозимыми из крестьянских садов слобод Пулково и Кузьмина. Эти цветы «весело приветствуют благодатные лучи солнца: легкая тень юных, зеленеющих почек покрывает их прелестно. Любители садоводства и цветов, с чувством эстетического удовольствия, посещают привозной сад Сенной и прогуливаются по случайно образовавшимся аллеям, покупая деревья и цветы для украшения своих дач, садов и балконов. К Троицыну дню деревья распродаются, и — фантастический сад исчезает». Этим «садам на Сенной площади» автор посвящает особый очерк, высочайшего поэтического взлета, хотя и готов признать, что это — «не те великолепные сады, которыми гордился вдревле Вавилон, которые магически вознесла Семирамида между небом и землею и в которых утопала царица во всей вавилонской роскоши и неге, среди благоухающих роз и мирты, — нет! Это не те знаменитые сады: это просто привозные деревья. Они несколько дней назад тому жили на родной земле, в кругу своих родных, отцов, детей, — и вот, не какою-то сверхъестественною силой, а мужичками нашими привезены из сел и деревень в столицу для продажи. Они еще не слыхали на ветвях своих первого привета крылатой пташки, не облеклись еще в блестящую ароматную одежду. Исторгнутые безжалостной

рукой вандала из земли, которая красовалась ими, эти прелестные деревья — теперь на торжище!»

Собственно истории Сенной площади автор посвящает немного строк, упоминая лишь о том, что «начало Сенной современно основанию Санкт-Петербурга» и что тогда она занимала пространство на правом берегу Фонтанки, между Обуховым и Семеновским мостами, находясь на рубеже тогдашнего города; позже часть площади по берегу реки застроилась. Более любопытны его нехитрые изыскания по истории находящегося на площади храма Успения Богоматери, заложенного Саввой Яковлевичем Яковлевым на месте прежней, деревянной церковки во имя образа Спаса Нерукотворного (почему долго говорили: «Иду ко Спасу на Сенную»). С большим сожалением упоминает об иконостасах в приделах Трех Святителей и Саввы Освященного, снятых за ветхостью и замененных другими «в новейшем вкусе». Кроме храма Савва Яковлев построил на площади каменный дом о двух этажах с мезонином, отделанный внутри со всем великолепием эпохи; автору еще удалось видеть следы прежнего убранства: «в аванзале стены обтянуты обоями, писанными масляными красками. По золотому полю разбросаны букеты цветов редкой красоты». Было несколько картин: усекновение главы Иоанна Предтечи, «философ Архимед» и др. А. Томилин приводит и рассказ о том, как Яковлев, содержащий откупа, попал в немилость Екатерины Второй, но сумел поправить дело, отстроив в короткое время отличную церковь на месте ветхой церковки в одном селе на пути следования императрицы на коронацию в Москву, об этой жалкой церковке Екатерина просила напомнить ей, желая оказать помощь, а на обратном пути с коронации уже увидела ее в новом блеске. Екатерина предала забвению финансовые грешки знаменитого богача, некогда мальчиком пришедшего в столицу «с полтиной в кармане».

Очень любопытен очерк А. Т. о «Сенновских еврейх», населявших раньше ряд домов на Сенной площади и занимавшихся

торговлей и отдачей денег в рост; позже, когда было издано Положение об евреях, большая их часть оттуда выселилась. По мнению автора, сенновские евреи были «циниками», и выражалось это в том, что они «не иначе отступали от обычаев своих отцов, как по принятии Христианской Веры; но, к сожалению, число сподвижников просвещения было не велико». Он также свидетельствует, что «евреи пользовались вниманием обывателей столицы, которые не могли без уважения смотреть на строгое соблюдение евреями постановлений своей религии», и подробно описывает праздник Куш во временных шалашах при домах на Сенной площади. «Снаружи шалаш походил на четырехсторонние башни, примкнутые к дому с нижнего этажа до крыши. Одна сторона шалаша сообщалась со внутренними покоем, а три, сплоченные из стеклянных рам, выходили на двор. Вечером, при освещении шалаша множеством свечей, жиды, с величайшим волнением, шумно располагались на лавках, лицом к той стороне стены, которая присоединилась к дому. Памятно, что на этой стене они привешивали небольшую дощечку, обложенную жостью или серебром, с изображением молитвы. Еврейки обносили мужей своих разными яствами и вином, и сами угощались в кругу почтенных своих супругов... К довершению картины вообразите себе тысячи зрителей, толпящихся посреди дворов: один из них изумляются странностью празднества Евреев; другие, окружая по любопытству самые шалашы, не нарадуются такой диковинке. В этом состояло празднование Куши... В нынешнее время, хотя на Сенной и проживает несколько жидовских семейств, однако же, они не заслуживают нашего внимания».

На той же Сенной площади происходили и народные гуляния и увеселения, на Масленице и на Святой неделе. Устраивались балаганы и качели. «Сани с быстротою вихря скользили по зеркальному льду; паяцы завлекали публику посмотреть на их представления; качели перекидывали молодежь при звуках веселых песен и свирели; и карнавал этот опоясывался верени-

цей экипажей с нарядными зрителями». Однако понемногу публику перетянули отсюда особые «главные золотые горы», которые стали строиться на Охте, и на Сенной остались только «шарлатаны», дававшие представления в лавках и обывательских домах; увеселительная роль Сенной окончилась.

Все это рассказано А. Томилиным преизящным стилем эпохи, во вкусе просвещенного обывателя. Автор сообщает, что занятиям литературой, из любви к русскому слову, он отдает лишь «свободные минуты от времени, посвященного государственной службе», и что в его портфеле накопилось немало статей подобного рода, «одни из которых помещены в здешних периодических изданиях, другие остаются еще не отпечатанными». В угождение некоторых своих почтенных друзей, он и выдал эти статьи в свет под именем «Начатков».

Однако продолжение, по-видимому, не воспоследовало; по крайней мере оно неизвестно библиографам, впрочем, не отдавшим внимания и этой книжке, совершенно случайно оказавшейся в одной старой библиотеке, недавно распроданной в Париже.

# Примечания





## «ЗАМЕТКИ СТАРОГО КНИГОЕДА»

«Заметки старого книгоеда» Михаила Андреевича Осоргина печатаются по текстам первых публикаций в русской парижской газете «Последние новости». Сделанные в настоящем издании некоторые купюры продиктованы необходимостью снять пассажи, утратившие свою злободневность. Они обозначены отточиями в угловых скобках.

В «Последних новостях» напечатано множество эссе М.А. Осоргина (см.: *Бармаи Н.В., Фини Д.М., Осоргина Т.А.* Михаил Андреевич Осоргин: Библиография. Париж, 1973. 211 с.), в том числе на темы книговедения и библиофильства. Здесь собраны только те из них, которые были объединены самим автором в серию «Заметки старого книгоеда». Цитаты из книг XVIII в. даются в современном нам написании, за исключением тех случаев, когда необходимо подчеркнуть стилистическое своеобразие подлинника.

Примечания носят в основном книговедческий характер и не претендуют на исчерпывающую полноту сведений. Следует особо отметить, что М.А. Осоргин при работе над очерками пользовался большим массивом источников, не всегда авторитетных, допускал неточности. Выявленные неточности оговорены.

Книга «Заметки старого книгоеда» (сост., вступ. статья и примеч. О.Г. Ласунского) издавалась в Москве, в издательстве «Книга», в 1989 г. Это была первая книга М.А. Осоргина, опубликованная на родине после семидесятилетнего перерыва.

В настоящем издании использованы примечания О.Г. Ласунского с его любезного разрешения.



**Возлюбленной (Похвальное слово)**

Впервые: Последние новости. 1930. № 3305. 10 апр.

С. 8. «*Нива*» — еженедельный иллюстрированный журнал «для семейного чтения», выходивший в Петербурге (1870—1918).

С. 10. *М.О. Гершензон* — Михаил Осипович Гершензон (1869—1925) — историк литературы и общественной мысли. Его книга «Мудрость Пушкина» вышла в Москве в 1919 г.

С. 11. *Сакулин* Павел Никитич (1868—1930) — литературовед, академик АН СССР (1929).

*Шпет* Густав Густавович (1879—1940) — философ, эстетик, литературовед и переводчик.

**I Представление читателю...**

Впервые: Последние новости. 1928. № 2772. 24 окт.

С. 18. *Шибанов* Павел Петрович (1864—1935) — один из крупнейших московских букинистов-антикваров.

С. 19. «*Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник*». — О мистификации с этой книгой (М., 1794) — см.: *Смирнов-Сокольский Н.П.* Рассказы о книгах. М., 1978. С. 130—134.

...*продать известному Юдину*... — Геннадий Васильевич Юдин (1840—1912) — промышленник, библиофил. В Красноярске собрал огромную библиотеку, которую в 1907 г. продал библиотеке Конгресса США (Вашингтон).

С. 20 ...*рисунками известного В. Тимма*... — Василий Федорович Тимм (1820—1895) — график и живописец.

...*бароном Клодтом*... — Речь идет о гравере и рисовальщике Константине Карловиче Клодте фон Юргенсбурге (1807—1879).

С. 25. ...*занимательная и редкая книжка*. — Н.П. Смирнов-Сокольский предполагает, что автором «Райской птички» был А. Н. Греч (см.: Указ. соч. С. 363—364).

...*роман «Ключ» М. Алданова*... — Марк Алданов (наст. фам. Марк Александрович Ландау; 1889—1957) — писатель, литературовед. Во

Францию эмигрировал в 1919 г. Написал предисловие к книге Осоргина «Письма о незначительном. 1940—1942» (Нью-Йорк, 1952).

## II. Читателям ответ по необходимости

Впервые: Последние новости. 1928. № 2785. 6 нояб.

С. 27. ...«Басни Крылова», издания 1855 года, в 86 страниц... — Более подробно об этой «самой маленькой русской книге» — см.: *Немировский Е.Л., Виноградова О.М.* Миниатюрные книги вчера, сегодня, завтра. М., 1977. С. 60—63.

...по желанию г. Рейхеля... — Речь идет о Якобе Рейхеле (1778—1856), медальере и нумизмате, с 1818 г. директоре технического отдела одной из лучших русских типографий — Экспедиции заготовления государственных бумаг (СПб.).

С. 28. ...под названием «Месяцеслов на 1774 год», в 62 страницы... — См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725—1800. Дополнения. Разыскиваемые издания. Уточнения. М., 1975. С. 49. № 279. См. также 29-ю «заметку старого книгоеда».

*Сопиков Василий Степанович* (1765—1818) — один из основоположников русской библиографии, автор «Опыта российской библиографии» (ч. 1—5, 1813—1821).

...в библиотеке Сулакадзева... — Имеется в виду Александр Иванович Сулакадзев (1771—1830) — библиофил, любитель старины, известен мистификациями и подделками древних письменных памятников.

...книголюб А.Е. Бурцев. — Александр Евгеньевич Бурцев (1863—1937), библиофил, библиограф, составитель многотомных печатных описаний своего собрания.

*Смирдин Александр Филиппович* (1795—1857) — издатель и книгопродавец

С. 29. «Щеголеватая аптека, или Туалетные препараты» — полное название отпечатанной в костромской типографии Н. Н. Сумарокова книги см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725—1800. М., 1966. Т. 3. С. 417. № 8524.

С. 33. *Ремизов Алексей Михайлович* (1877—1957) — писатель. С 1921 г. жил за границей.

### III. О степени интереса

Впервые: Последние новости. 1928. № 2813. 4 дек.

С. 34. ...«История блохи»... — Книга Бертолотто (перевод с французского) вышла в Москве в 1839 г.

С. 35. *Каржавин* Федор Васильевич (1745—1812) — литератор, переводчик, ученый.

С. 36. ...*самим Сопиковым названа «прередкой»*... — Полное название книги см.: *Б[ерезин] Н.[И.] Русские книжные редкости: Опыт библиографического описания редких книг с указанием их ценности.* М., 1902. [Ч. 1]. С. 103. № 408.

С. 38. ...*других особ четвертого класса*... — Имеется в виду дореволюционная иерархическая «Табель о рангах», в которой чины разделялись на 14 классов.

*Книжка сия редка*... — Эпизод с приобретением в книжной лавке «Описания курицы» Осоргин включил в свой роман «Сивцев Вражек» (Париж, 1929. 2-е изд. С. 206—209).

С. 39. *Волчков* Сергей Саввич (1707—1773) — один из самых плодовитых переводчиков в XVIII в. См. о нем рассказ Осоргина «Переводчику» (*Осоргин Мих.* Собр. соч. Т. 2. М.: Моск. рабочий; НПК «Интелвак», 1999).

...«*Грациан придворный человек*»... — Осоргин упоминает здесь переведенные С.С. Волчковым книги (приводим данные о первых изданиях): *Грасиан-и-Моралес Б.* Грациан придворный человек (СПб., 1741), «Флоринова экономия» (СПб., 1738), «Житие и дела Марка Аврелия Антонина, цесаря римского...» (СПб., 1740).

### IV. Ныне и тогда

Впервые: Последние новости. 1929. № 2860. 20 янв.

С. 41. «*Современные записки*» (1920—1940) — ежемесячный журнал, выходил в Париже. Осоргин был его постоянным автором.

*Ровинский* Дмитрий Александрович (1824—1895) — юрист, историк искусства. Имеется в виду составленный им «Подробный словарь русских гравированных портретов» (т. 1—4, СПб., 1886—1889).

С. 42. ...записи, названные «Отрывками»... — «Отрывки» Александры Петровны Хвостовой были переизданы на русском языке в 1802, 1833, 1844 гг., а также переведены на французский, немецкий языки (а по некоторым данным — и на английский).

С. 43. *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, критик. С 1922 г. жил за границей.

С. 44. *Поэма В. С. Филимонова*. — Поэма Владимира Сергеевича Филимонова (1787—1858) под названием «Обед» вышла в 1837 г.

С. 45. ...соч. П. Тихонова... — Книга П.Н. Тихонова «Криптогlossарий...» вышла в 1891 г. Об авторе вспоминает Ф.Г. Шилов в своих «Записках старого книжника» (М., 1959. С. 26—27).

## V. Книжки, приводимые за полезность

Впервые: Последние новости. 1929. № 2881. 10 февр.

С. 50. ...галлиполийских и прочих благотворительных балах... — Имеются в виду благотворительные мероприятия, доход от которых передавался в фонд помощи русским эмигрантам, находящимся на Галлипольском полуострове в Турции.

С. 51. ... пакт Келлога... — Пакт Келлога-Бриана (Парижский пакт) был заключен в 1928 г.

## VI. Доля писателя в разные времена

Впервые: Последние новости. 1929. № 2948. 18 апр.

С. 55. ...журнала «Трутень»... — Еженедельный журнал «Трутень» выходил в Петербурге в 1769—1770 гг.

«И то и сию». — Еженедельный журнал «И то и сию» издавался в Петербурге в 1769 г.

...журнал «Пустомеля». — Сатирический журнал «Пустомеля» издавал Н.И. Новиков (СПб., 1770).

С. 56. ...в последней книжке «Трудолюбивой Пчелы»... — Сумароковская «Трудолюбивая пчела» (СПб., 1759) была одним из первых в России частных журналов.

**VII. «Танцевальный учитель»...**

Впервые: Последние новости. 1929. № 3149. 5 нояб.

С. 61. *«Танцевальный учитель»...* — Автором «Танцевального учителя» был Иван Кусков.

*«Танцевальный словарь»...* — См.: *Компан Ш.* Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцевального искусства, с критическими размышлениями и любопытными анекдотами, относящимися к древним и новым танцам (М., 1790).

С. 63. *«Свободные часы»* ... — Ежемесячный журнал М.М. Хераскова «Свободные часы» выходил в течение января-декабря 1763 г. в Москве.

С. 64. *«Олинька...»* — См.: *Белосельский-Белозерский А.М.* Олинька, или Первоначальная любовь (с. Ясное, 1796). На самом деле книга издана в Москве (см.: *Смирнов-Сокольский Н.П.* Рассказы о книгах. М., 1978. С. 135—138).

**VIII. Сколь много ныне издается!**

Впервые: Последние новости. 1930. № 3267. 3 марта.

С. 67. *...глазуновский Тургенев.* — Имеются в виду посмертные издания собрания сочинений И.С. Тургенева, предпринятые в Петербурге И.И. Глазуновым (начиная с 1883 г.).

*...Грабаря пять томов, а один сгорел...* — Изданная И.Н. Кнебелем «История русского искусства» (М., 1910—1916) вышла под редакцией И.Э. Грабаря.

С. 68. *...молодой авторши Галины Кузнецовой...* — Галина Николаевна Кузнецова (1900—1976) — писательница. С 1920 г. в эмиграции.

*...ни мало ни много — семь книг...* — Более точные и полные сведения об этих и других изданиях того времени см.: *Ундольский В.М.* Очерк славяно-русской библиографии с дополнениями А.Ф. Бычкова и А.Е. Викторова (М., 1871); *Каратаев И.П.* Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами с 1491 по 1652 г. (Т. 1. СПб., 1883).

С. 69. *...только два экземпляра его имеются на свете.* — В настоящее время известно значительно больше экземпляров «Апостола» (см.: Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятель-

ность Франциска Скорины: Описание изданий и указатель литературы / Сост. Е.Л. Немировский. М., 1978. С. 19—20).

С. 70. ...приятная тогдашним вольным каменщикам книга... — «Химическая псалтырь» Филиппа Ауреола Феофраста Бомбаста фон Парацельса (1493—1541) вышла в Москве в 1784 г.

С. 72. «Три повести» Николая Филипповича Павлова (М., 1835) были не сожжены, а запрещены к переизданию.

«Черная курица, или Подземные жители». — Речь идет о «волшебной повести для детей» Антония Погорельского (А.А. Перовского), изданной в 1829 г.

### IX. Желая отдать должное

Впервые: Последние новости. 1930. № 3285. 21 марта.

С. 74. «Опыт о просвещении»... — О судьбе книги Ивана Петровича Пнина «Опыт о просвещении относительно к России» (СПб., 1804) см.: Смирнов-Сокольский Н.П. Моя библиотека: Библиогр. описание. М., 1969. Т. 1. С. 389—390. № 964.

С. 76. ...от постыдного звания «червя», каковое было дано человеку поэтом Державиным. — И.П. Пнин полемизирует с державинской одой «Бог», в частности, имеет в виду ее строку: «Я царь — я раб, я червь — я бог!»

С. 77. «Русская старина» (1870—1918) — ежемесячный исторический журнал, выходил в Петербурге.

### X. Поздравляю!

Впервые: Последние новости. 1930. № 3321. 26 апр.

С. 82. Адодуров Василий Евдокимович (1709—1780) — один из крупнейших переводчиков в XVIII в.

С. 84. «Двенадцать спящих будочников»... — Книга «Двенадцать спящих бутушников» вышла в 1832 г. Автором ее был племянник поэта В.А. Жуковского — В.А. Проташинский. О цензурной истории издания — см.: Добровольский Л.М. Запрещенная книга в России. М., 1962. С. 30—31. № 3.

**XI. Оцениваю человека**

Впервые: Последние новости. 1930. № 3328. 3 мая.

С. 86. *Дон-Аминадо* (псевд., наст. имя и фам.: Аминодав Пейсахович (Аминад Петрович) Шполянский; 1885—1957) — писатель. С 1920 г. в эмиграции.

*Березин-Ширяев* Яков Федулович (1824—1898) — библиофил, библиограф.

*Геннади* Григорий Николаевич (1826—1880) — библиограф. Его крупнейший труд: «Справочный словарь о русских писателях и ученых...» в трех томах (1876—1908). Третий том вышел тиражом 300 экз. Четвертый том словаря остался в рукописи.

*Губерти* Николай Васильевич (1818—1896) — библиограф.

*Обольянинов* Николай Александрович (1868—1916) — библиограф.

С. 87. ...*грамматика издания Академии...* — Возможно, имеется в виду кн.: «Грамматика французская и русская нынешнего языка, сообщена с малым лексиконом ради удобства сообщества» (СПб., 1730).

*Уткин* Николай Иванович (1780—1863) — гравер, рисовальщик.

...*снегиревское писанье о лубочных картинках...* — Речь идет о книге историка-археолога и этнографа Ивана Михайловича Снегирева (1793—1868) «Лубочные картинки русского народа в московском мире» (М., 1861).

С. 88. «*Библиофил*». — Полное название журнала: «Русский библиофил» (СПб., 1911—1916).

«*Фелица*». — Вероятно, имеется в виду державинская «Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная некоторым татарским мурзою» (СПб., б.г.).

С. 90. ...*меньше пятнадцати...* — По свидетельству книговеда А.П. Толстякова (Москва), в настоящее время известно о существовании 16 экземпляров первопечатного радищевского «Путешествия...». Однако специалисты-литературоведы полагают, что прижизненные издания Радищева недостаточно учтены и плохо изучены (см.: *Старцев А.* О прижизненных изданиях Радищева // Вопросы литературы. 1984. № 1. С. 191).

*Остроглазов* Иван Михайлович (1838—1892) — библиофил, юрист.

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — театральный и художественный деятель, библиофил.

...в библиотеке <...>, каковая, <...> скоро пойдет с молотка. — О драматической судьбе дягилевских собраний, в частности, см.: *Лифарь С.* Моя зарубежная пушкиниана (Париж, 1966); *The Diaghilev — Lifar Library* (London, 1975); *Зильберштейн И.С.* Книжный аукцион в Монте-Карло // *Литературная газета* // 1976. № 6. 11 февр. С. 6; *Балашова С.* Выставка «Жизнь, отданная танцу», или Печальная история одной пушкинской коллекции // *Сов. культура*. 1986, 27 дек. № 155. С. 3.

С. 91. ...едва ль не мартинист... — Мартинистами тогда называли масонов.

## ХII. Со всяким случается

Впервые: Последние новости. 1930. № 3336. 11 мая.

С. 94. *Мало-помалу.* — См. 26-ю «заметку старого книгоеда».

С. 95. ...не так жалко давать для забавы детям. — Подробнее об этом см.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. М., 1981. Т. 6. С. 420—421.

С. 96. Журнал «*Покоящийся трудолюбец*» выходил в Москве в 1784—1785 гг.

Еженедельник «*Зеркало света*» выходил в Петербурге в 1786—1787 гг.

С. 97. Автором книг «*Лолотта и Фанфан*» (М., 1791) и «*Алексис, или Домик в лесу*» (М., 1800) был Франсуа Гийом Дюкре-Дюминиль.

С. 98. ...в рассказе «*Несчастливая*» — <...> «*О вреде страстей*»... — У Тургенева говорится не о книге «*О вреде страстей*», а о главе из некоего сочинения. Комментаторы полагают, что речь идет о работе французского философа Мари Жозефа Дежерандо «*О моральном совершенствовании, или О самовоспитании*» (1824).

## ХIII. «Пригожая повариха»

Впервые: Последние новости. 1930. № 3346. 21 мая.



С. 102. *Эти строки Пушкина относятся к 1810—1820-м годам.* — Осоргин имеет в виду время действия повести Пушкина.

С. 103. *...одно из первых восьми изданий...* — Последнее, 11-е по счету, издание «Письмовника» Н. Г. Курганова относится к 1837 г.

С. 106. *Брюсово предсказание.* — Осоргин с некоторыми неточностями и неуказанными сокращениями в тексте цитирует цельногравированную «Книгу, именуемую Брюсовский календарь» (без места и года). См. также 29-ю «заметку старого книгоеда».

#### XIV. <Модный журнал>

Впервые: Последние новости. 1930. № 3360. 4 июня.

С. 108. *...книжка «Пестрые сказки...»* — Книжка Владимира Федоровича Одоевского «Петрые сказки» вышла в Петербурге в 1833 г.

С. 110. *«Магазин аглинских, французских и немецких новых мод»* — первый русский журнал мод.

#### XV. Юбилейные издания

Впервые: Последние новости. 1932. № 4028. 2 апр.

С. 117. Михаил Александрович *Зичи* (1827—1906) — гравер. *...летучий листок «Муха»...* — Автором-издателем «Мухи» (1858) был А. Ф. Балашевич.

*Поль Шарль де Кок* (1793—1871) — французский писатель, автор «фривольных» романов.

*Барков* Иван Семенович (ок. 1732—1768) — поэт, переводчик, известен скабрёзными стихами, расходившимися в списках.

#### XVI. Наводнение 1824 года

Впервые: Последние новости. 1932. № 4041. 15 апр.

С. 123. *...Мицкевич также не был личным свидетелем...* — В стихотворении «Олешкевич» (1832) А. Мицкевич, описывая наводнение

1824 г., допустил некоторые неточности, о чем Пушкин и говорит в примечаниях к «Медному всаднику».

С. 126. *...и сейчас не сладко!* — Здесь Осоргин, всегда неравнодушный к итальянским проблемам, намекает на фашистский режим Муссолини.

*Кристалл* (устар.) — хрусталь.

### XVII. «Настоящий ревизор»

Впервые: Последние новости. 1932. № 4060. 4 мая.

С. 128. *Девяносто шесть лет спустя...* — Осоргин ведет отсчет времени от года издания гоголевской комедии «Ревизор» (1836).

*...в Тургеневской библиотеке...* — Об этой библиотеке см.: Русская общественная библиотека имени И.С. Тургенева. Сотрудники, друзья, почитатели: Сб. статей (Париж, 1987). Кстати сказать, в этой любовно изданной книге (редакторы Т.Л. Гладкова и Т.А. Осоргина) перепечатано несколько статей Осоргина.

С. 129. *...имени своего не выставив...* — Автором «Настоящего ревизора» (СПб., 1836) был Д.А. Цицианов (см.: *Тихонравов Н.С.* Первое представление «Ревизора» на московской сцене // Русская мысль. 1886, май. Отд. XII. С. 97).

С. 130. *...в Бессарабию (она ведь тогда была нашей)...* — В 1918—1940 гг. Бессарабия входила в состав Румынии.

С. 131. *Брешко-Брешковский* Николай Николаевич (1874—1943) — писатель, представитель бульварной литературы, журналист. В эмиграции с 1921 г.

С. 132. *...по выражению славного Шишкова.* — Осоргин иронически упоминает здесь писателя и филолога Александра Сменовича Шишкова (1754—1841), известного своими нападками на «новый» и защитой «старого» слога русского языка.

### XVIII. О великом любителе книги

Впервые: Последние новости. 1932. № 4069. 13 мая.

С. 135. Осоргин вновь иронически упоминает *Н.Н. Брешко-Брешковского*.

С. 136. ...журнал «Северную пчелу»... — Осоргин допустил здесь оплошность: в «Детстве» Л.Н. Толстой говорит не о журнале «Северная пчела», а просто о «Северной пчеле», имея в виду небезызвестную газету, которую с 1825 г. издавал в Петербурге Ф.В. Булгарин (позднее — совместно с Н.И. Гречем).

С. 137. *То кратким словом...* — Строки из седьмой главы пушкинского «Евгения Онегина».

С. 138. «Еней...» — Издание в трех книгах 1781—1786 гг.

*Люблю с моим Мароном...* — Из стихотворения А.С. Пушкина «Городок» (1815).

*«Ложный Петр III...»* — Книга издана в Москве в 1809 г.

*«История»* отпечатана в Москве в 1709 г.

*«В час утренний досуга...»* — Из стихотворения А.С. Пушкина «Городок».

С. 139. *Об этой книжке...* — Книга Н.И. Страхова издана в Москве в 1791 г.

С. 140. ...скромно подписывает эти строки. — Осоргин в этой «заметке старого книгоеда» использовал материал из статьи М.Н. Куфаева «А.С. Пушкин — библиофил» в «Альманахе библиофила» (Л., 1929).

## ХІХ. «Мопс без ошейника»

Впервые: Последние новости. 1932. № 4124. 7 июля.

С. 141. ...дату расцвета в России масонских обществ, <...> позже привлечших гнев богоподобной Фелицы. — Масонство (франкмасонство) (от фр. franc maçon — вольный каменщик) — религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII в. в Западной Европе. В основе раннего масонства лежала утопическая идея об объединении людей в религиозном братском союзе. В России Екатерина II («богоподобная Фелица») преследовала масонство. См.: Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. Вольные каменщики. М.: Интербук, 1991.

С. 142. ...автором ее был аббат Ларюдан. — Осоргин, вслед за библиографами Н.В. Губерти и В.Н. Рогожиным, ошибочно приписывает авторство «Мопса без ошейника» аббату Ларюдану. В действительности автором был Габриэль Луи Перо (1700—1767).

С. 146. ...на личные средства кормивших хлебом голодные деревни и целые округа. — Осоргин высоко ставил общественные заслуги русских масонов XVIII в., образы которых часто появлялись в его произведениях (см., например, повесть «Вольный каменщик». Париж, 1937).

## XX. «Жизнь Ваньки Каина»

Впервые: Последние новости. 1932. № 4217. 8 окт.

С. 148. *Плотин* (205—270) — древнегреческий философ, последователь неоплатонического учения.

*Бартенева* Петр Иванович (1829—1912) — историк, библиограф, издатель журнала «Русский архив».

*Мордовцев* Даниил Лукич (1830—1905) — писатель, историк.

*Есипов* Григорий Васильевич (1812—1898) — историк.

С. 149. *Автор* — Иван Осипович Каин... — Правильнее сказать: Иван Осипов, по прозвищу Каин.

С. 153. *Для историка* — клад... — Подробнее об истории изданий «Ваньки Каина» см.: *Смирнов-Сокольский Н.П.* Моя библиотека: Библиогр. описание. М., 1969. Т. 1. С. 83—87. Книга о Ваньке Каине послужила источником для еще более известного в свое время произведения Матвея Комарова (XVIII в.).

*Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879) — историк.

## XXI. <О лошади в очках>

Впервые: Последние новости. 1932. № 4236. 27 окт.

С. 155. «*Русский архив*» (1863—1917) — ежемесячный исторический журнал, выходил в Москве.

С. 157. *Шаликов* Петр Иванович (1768—1852) — поэт-сентименталист, издатель «Дамского журнала».

С. 158. *Гнедич* Николай Иванович (1784—1833) — поэт, переводчик «Илиады» Гомера.

## XXII. Судьба редкостей

Впервые: Последние новости. 1932. № 4290. 20 дек.

С. 161. *Синодик погибших славных библиотек...* — Имеется в виду работа писателя и библиофила С.Р. Минцлова (1870—1933) «Синодик библиотек, архивов и коллекций, погибших во время великой войны и революции». Она опубликована во «Временнике общества друзей русской книги» (Париж, 1925. Вып. 1. С. 43—51) и издана тогда же отдельным оттиском (тир. 100 экз.). Указатель грешит неточностью.

*...продолженный Ленинградским обществом библиофилов...* — В «Альманхе библиофила» (Л., 1929. С. 165—200) помещен труд Ф.Г. Шилова (1879—1962) «Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет (опыт обзора)».

С. 162. *...ни разу этой книги я не видал...* — Книга издана в Москве в 1784 г.

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — историк, библиограф.

*Менее редка книга «Апология»...* — «Апология, или Защищение Ордена вольных каменщиков...» (М., 1784).

*«Братские увещания» Седдага...* — Книга Станислава Эли («Брат Седдаг» — его псевдоним) «Братские увещания к некоторым братьям свободным каменщикам» вышла в Москве в 1784 г.

*«Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного, весьма важного содержания»* (М., 1783).

С. 163. *«Масон без маски»...* — Автором книги «Масон без маски» является Томас Уилсон; правильное имя переводчика — Иван Васильевич Соц.

С. 164. *...для прозелитов* — т.е. для новых горячих приверженцев чего-либо.

### XXIII. Юбилей поэта

Впервые: Последние новости. 1933. № 4314. 13 янв.

С. 167. *«География генеральная»* вышла в Москве в 1718 г.

С. 168. Журнал *«Полезное увеселение»* издавался в Москве в 1760—1762 гт.

### XXIV. «Картинки русских нравов»

Впервые: Последние новости. 1933. № 4338. 6 февр.

С. 171. *«Картинки русских нравов»* вышли в Петербурге в 1842—1843 гг.

С. 172. *Клодт* Константин Карлович фон Юргенсбург (1807—1879), *Неттельгорст* Отто Петрович фон — граверы.

С. 175. *Гаварни* Поль (наст. имя и фам.: Скульпис Гийом Шевалье; 1804—1866) — французский рисовальщик.

С. 176. *«Волшебный фонарь»* факсимильно переиздан издательством «Книга» (М., 1988).

## XXV. «Нищие на святой Руси»

Впервые: Последние новости. 1933. № 4419. 28 апр.

С. 178. ...*«Нищие на святой Руси»*. — Речь идет о кн.: *Прыжов И. Г.* Нищие на святой Руси: Материалы для истории общественного и народного быта в России (М., 1862).

С. 180. ...*по отличной книги Пыляева...* — См.: *Пыляев М. И.* Старое житье: Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной жизни (СПб., 1892).

С. 184. *Шамиль* (1799—1871) — руководитель освободительной борьбы кавказских горцев против царских колонизаторов и местных феодалов.

## XXVI. Встреча с желанной

Впервые: Последние новости. 1933. № 4480. 28 июня.

С. 185. *«Старые годы»* — ежемесячный иллюстрированный журнал для любителей искусства и старины (1907—1916), выходил в Петербурге.

...*свиток толстовских иллюстраций...* — Имеются в виду рисунки Федора Петровича Толстого (1783—1873) к поэме Ипполита Федоровича Богдановича *«Душенька»* (1820—1833).

...*Гнедичева перевода «Илиада»*. — Первое издание *«Илиады»* Гомера в переводе Н.И. Гнедича относится к 1829 г. (СПб.).

С. 186. ...*достаточно писано*. — См. 12-ю «заметку старого книгоеда».

С. 190. *Клейноды* — войсковые регалии, символы власти.

## XXVII. <Слон>

Впервые: Последние новости. 1933. № 4537. 24 авг.

С. 191. *...день русской культуры...* — Осоргин подразумевает современные ему эмигрантские книги. Дни русской культуры проходили тогда в центрах эмиграции, в частности в Прибалтике.

*Ковно* — ныне литовский город Каунас.

*Добужинский* Мстислав Валерианович (1875—1957) — график, театральный художник. В 1924 г. уехал в Литву.

*«Зрелище природы и художеств...»* в 10 частях вышло в 1784—1790 гг. В двух последних частях имеется по 46 листов иллюстраций.

С. 194. Книга Яна Амоса Коменского *«Зрелище вселенная»* издана на латинском, русском и немецком языках в Петербурге в 1788 г. Предназначалась для преподавания иностранных языков в народных училищах.

## XXVIII. Полтора века

Впервые: Последние новости. 1933. № 4626. 21 нояб.

С. 199. *...задумано было семь томов по три части в каждом.* — Вышло только две части первого тома.

*...сжигаются книги на площади в Берлине.* — Имеется в виду разгул вандализма, связанный с приходом в Германии к власти Гитлера.

*...не знаем, кто автор одного из замечательнейших <...> произведений.* — Кроме речей Семена Ивановича Гамалеи и А.М. Кутузова в «Магазине свободно-каменщическом» опубликованы также речи Федора Петровича Ключарева и Николая Ивановича Новикова.

С. 201. *Мессалина* — развратная женщина, по имени жены древнеримского императора Клавдия.

С. 202. *«Карманная книжка для в[ольных] к [аменищиков] и для тех, которые и не принадлежат к числу оных...»* (М., 1783).

*«Крата репоа»...* — См.: Кёппен К. Ф. Crata Repoa, или Каким образом в древние времена происходило в таинственном обществе посвящение египетских жрецов (М., 1779).

С. 202. *...мой книгоедов знак...* — Книжный знак (экслибрис) Осоргина с изображением античных развалин был создан гравером Иваном Николаевичем Павловым в начале 1920-х гг.

*...на книжке «О девстве» Иоанна Златоустого.* — Иоанн Златоуст (ок. 350—407) — богослов и церковный деятель.

С. 203. *...на распродаже в зале Друо...* — В парижском зале Друо происходили аукционы.

## XXIX. Старые календари

Впервые: Последние новости. 1934. № 4678. 12 янв.

С. 204. *Яков Вилимович Брюс (1670—1735), граф* — государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, ведал Московской гражданской типографией.

С. 205. *...целы они сейчас или погибли.* — В настоящее время экземпляр «Месяцеслова на 1774 год» (Спб., 1773) хранится в Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (СПб., см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725—1800. Дополнения. Разыскиваемые издания. Уточнения. М., 1975, С. 49. № 279). См. также 2-ю «заметку старого книгоеда» (с. 45)

*Минерва* — в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусств, а также богиня войны и государственной мудрости.

С. 208. *«Все врут календари»* — реплика в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

С. 209. *Пушкин и года указывает...* — См. также 13-ю «заметку старого книгоеда».

*...из старинного месяцеслова на 1730 год.* — «Календарь, или Месяцеслов на лето от рожества Господа нашего Иисуса Христа 1730...» (Спб., 1729) был составлен Фридрихом Христофором Майером.

## ВОСПОМИНАНИЯ

Мемуарные произведения М.А. Осоргина печатаются по текстам, впервые опубликованным на страницах русских газет, которые издавались за границей — в Париже, Берлине и Праге. В России мемуарные очерки Осоргина выходили в книгах, изданных О.Г. Ласунским (он —



составитель, автор вступительных статей и примечаний): *Осоргин Мих.* Воспоминания. Повесть о сестре. — Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1992. — 416 с.; *Осоргин Мих.* Мемуарная проза. Пермь: Пермская книга, 1992. — 282 с. — (Литературные памятники Прикамья).

Материалы в настоящем издании расположены не по хронологии их написания, а в соответствии с хронологией жизни мемуариста: так, чтобы были освещены основные этапы его жизни. Тексты публикуются с сохранением некоторых особенностей авторской орфографии и пунктуации.

### План предисловия

Впервые: Последние новости. 1932. № 4165. 17 авг. .

С. 213. *...начать большую книгу воспоминаний.* — Мемуарная трилогия М.А. Осоргина «Времена» («Детство», «Юность», «Молодость») полностью опубликована после смерти автора (Париж, 1955). См. кн.: *Осоргин Мих.* Времена. Происшествия зеленого мира. М.: НПК «Интелвак», 2005.

С. 216. *...в годы разъездного газетного корреспондентства...* — Осоргин имеет в виду, прежде всего, сотрудничество (1908—1917) в ежедневной московской газете «Русские ведомости» (1863—1918). *«taisez — vous, méfiez — vous»* — молчите, не доверяйте (*фр.*).

### Реки

Впервые: Последние новости. 1936. № 5715. 16 нояб.

С. 224. *Поют же современники славу каналам и искусственным водным системам!* — Осоргин имеет в виду официальную книгу «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина: История строительства» (М., 1934) под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. В ее подготовке принимали участие более 30 советских писателей.

### Кама

Впервые: Последние новости. 1927. № 2386. 4 окт.

Поэт и критик Г. Адамович называл очерк «Кама» лучшим произведением Осоргина. См.: *Современные записки*. 1929. № 38.

С. 227. ...на берегах Камы. — Осоргин много писал о своем «водном патриотизме», о любви к Каме. См.: *Осоргин М. Письма о незначительном*. 1940—1942. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1952; *Осоргин Мих. Времена*. Париж: Imprimerie ALON, 1955.

Примечательно, что поэт Василий Каменский, тоже пермяк, поставил на своем стихотворении, адресованном земляку, посвящение: Осоргину — будем помнить сердцем Каму» (*Каменский В. Звучаль веснянки*. М.: Китоврас, 1918. С. 68).

С. 230. ...выдержать на открытом месте шальной шрапнельный обстрел с турецких батарей (на Балканах, в 12-м году, под Адрианополем)... — См. мемуарный очерк Осоргина «На маленькой войне».

С. 231. «Робинзон в русском лесу». — Речь идет о книге: *Качулкова О. Робинзон в русском лесу: Рассказ для детей*. СПб.: Невская кн. торговля, 1881. 295 с., с илл. Книга неоднократно переиздавалась. Осоргин вспоминал о ней не раз, в том числе и в мемуарной книге «Времена», и в «Повести о сестре».

### **Егошиха**

#### *Рассказ*

Впервые: *Последние новости*. 1927. № 2391. 9 окт.

В основу сюжета рассказа положено реальное событие, произошедшее с Осоргиным в детстве. Воспоминания о Егошихе см.: *Времена*.

С. 238. ...живут Пилы и Сысойки... — Речь идет о героях повести Ф.М. Решетникова «Подлиповцы» (1864), в которой изображалась жизнь Пермской губернии.

### **Сестра**

Впервые: *Последние новости*. 1928. № 2824. 15 дек.; № 2825. 16 дек.

Осоргин рассказывает в воспоминаниях о своей старшей сестре — Ольге Андреевне Ильиной (в замуж. Разевиг). Она стала и прототипом героини его книги «Повесть о сестре» (1931).

С. 243. Они жили в небольшом двухэтажном особняке, рядом с фабрикой, <...> для дальних прогулок был к услугам Сокольничий парк. — Сестра Осоргина жила в Сокольниках, на Стромынке (д. 12), в доме мужа — В.А. Разевига, члена Русского горного общества, владельца торгового дома «М. Франке и Компания» (лаки, краски).

С. 245. ...у меня, как у Счастливецова в «Лесе», появлялась неотвязная мысль: «А не повеситься ли?» — Речь идет о рассказе Счастливецова о жизни у родственников (Островский А.Н. Лес. Действ. 2. Явл. 2).

...переселялся в Гирши, в Палаши, в Романовку... — В конце XIX—начале XX в. так называли московский «Латинский квартал», «центр обитания интеллигентной бедноты», где жили в основном студенты. Он находился в районе Бронных улиц и переулков (Палашевский, Козихинский до Садового кольца). Название произошло от имени владельца одного из домов на Бронной (№ 15) Гирша. Осоргин и сам квартировал в студенческие годы на Бронной улице (в деревянном флигеле во дворе одного из домов). См. о Гиршах в ранних статьях Осоргина (тогда еще Ильина), опубликованных в «Пермских губернских ведомостях» — «Квартирный вопрос», «Латинский квартал» (в его кн.: Осоргин М. Московские письма. Пермь: 2003). «Наш мир, наш квартал, наша жизнь», — вспоминал писатель об этом районе Москвы (Осоргин Мих. Благословенные дни // Русская земля. Париж: 1928). См. также: Осоргин Мих. Посолонь // Памяти русского студенчества. Сборник воспоминаний. Париж: Свеча, 1934).

С. 259. ...потерял <...> незадолго перед тем брата... — Сергей Андреевич Ильин умер в Перми в 1914 г.

## Кузины

Впервые: Последние новости. 1933. №4352. 20 февр.; № 4353. 21 февр.

С. 261. ...мой отец... — отец Осоргина — Андрей Федорович Ильин (1830—1892) — по профессии юрист. См. о нем: *Времена*, рассказ Осоргина «Дневник отца» (1927).

С. 262. После первой книжки, «Робинзона в русском лесу»... — См. примеч. к мемуарному очерку «Кама».

...моей второй любимой и затрепанной были «Детские годы Багрова-внука» и того же автора «Записки об ужении рыбы». — Речь

идет о книгах С.Т. Аксакова, с которым писатель находился в родстве по отцу.

С. 264. ...считалось праздником 19-ое февраля, конечно потому, что отец в молодости много работал над проведением крестьянской реформы... — Отмена крепостного права проведена царским правительством на основании «Положений 19 февраля 1861 года» (опубл. 5 марта).

...я с увлечением читал Надсона... — Семен Яковлевич Надсон (1862—1887), поэт.

С. 266. Я недавно выпущен из чекистского тюремного приюта... — В июне 1919 г. Осоргин провел пять дней на Лубянке, в так называемом «Корабле смерти». Освобожден по ходатайству Московского союза писателей.

...она постоянно живет в Кремле, — жена высокого сановника. — Имеется в виду Александр Дмитриевич Цюрупа (1870—1928), который с 1918 г. был Наркомом продовольствия. Цюрупа приехал в Уфу в 1897 г. Жил там до 1901 г. Вернувшись из ссылки в Олонецкой губернии, он вновь поселяется в Уфе, где его и застаёт революция 1917 г. В Уфе в 1916 г. с ним и с племянниками встречался Осоргин. См. очерк Осоргина «По городам».

С. 267. ...едем <...> в мой милый Чернышевский. — Чернышевский пер., д. 11 — последний московский адрес Осоргина. «Окна в нижнем этаже направо от крыльца», — вспоминала Т.А. Бакунина-Осоргина (письмо от 26 января 1991 г.)

• Величавая, полноводная Дёма... — строки из книги С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (из главы «Дорога до Парашина»).

С. 269. «История цивилизации в Англии» Бокля. — «История цивилизации в Англии» (1857—1861; рус. пер. — 1861 г.) — основной труд Генри Томаса Бокля (1821—1862), английского историка и социолога.

С. 270. ...Ваш рассказ напечатан в майской книжке... — В петербургском «Журнале для всех» был напечатан (под псевдонимом М. Пермяк) рассказ будущего писателя «Отец» (1896. № 5).

## Пятёрка

Впервые: Последние новости. 1937. № 5771. 11 янв.

С. 273. ...*tabula rasa* (лат.) — буквально «выскобленная доска», т.е. чистая доска, на которой еще ничего не написано. Расширительно — пустое место.

Володя Шаров, сын жандармского генерала... — В книге «Времена» Осоргин говорит о Володе Ширяеве. Судя по «Адрес-календарю Пермской губернии на 1899 год» начальником Пермского губернского жандармского управления был тогда полковник К.И. Широков.

С. 274. ...земский начальник опознал приехавшего Николая Константиновича Михайловского... — Н.К. Михайловский (1842—1904) — русский социалист, публицист, литературный критик. Подробнее о его приезде в Пермь см. в очерке Осоргина «Про Бабушку».

...докопались даже до только что вышедших «Пестрых рассказов» Чехова. — Эта книга А.П. Чехова была издана в 1886 г.

### Катенька

Впервые: Последние новости. 1928. № 2580. 15 апр. См. также книгу «Времена».

### Проходящие мимо

Впервые: Последние новости. 1929. № 3154. 10 нояб.

С. 288. «Украшают тебя добродэт-тели...» — Строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Современная ода» (1845).

«Но не лучше ли, прежде чем брос-сим...» — Неточная цитата из стихотворения Некрасова «Убогая и нарядная» (1857). Во 2-й строке у Некрасова: «Мы в нее приговор роковой...».

С. 290. В нашей газете... — Речь идет о «Пермских губернских ведомостях».

С. 291. ...земский статистик... — По сведениям О.Г. Ласунского, в очерке речь шла о статистике Пермского земства Дмитрие Михайловиче Бобылеве (1869—1930-е гг.), постоянном авторе статистических сборников Пермского края, признанных образцовыми в России.

### «Известные по качеству»

Впервые: Последние новости. 1934. № 4673. 7 янв. (из цикла «Встречи»).

С. 294. ...роль толстовской Марьи Дмитриевны Ахросимовой. — Речь идет о героине романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

С. 295. ...мало кто мог слышать о Корнеле... — Имеется в виду Пьер Корнель (1606—1684), знаменитый французский драматург.

С. 297. ...фельетонист, по фамилии Кричевский, по псевдониму Кри-Кри. — Владимир Яковлевич Кричевский (1863—1915) переехал в Пермь в 1895 г. Стал секретарем, автором и редактором «Пермских губернских ведомостей. При нем газета приобрела большую популярность. Н.К. Михайловский назвал ее лучшей провинциальной газетой. В 1903 г. Кричевский уехал в Петербург, где сотрудничал в «Новом времени».

*Писатели рождаются <...> в городе Лебедяни (Замятин, Ляшко)...* — Шутка Осоргина. В городе Лебедянь Тамбовской губернии родился Е.И. Замятин. Писатель же Н.Н. Ляшко родился не в городе Лебедянь, в городе Лебединь Харьковской губернии.

*...поэт, <...> учитель чистописания Михаил Афанасьевич...* — Подробнее см. мемуарный очерк «Поэт».

С. 298. ...популярный Павленков... — Имя книгоиздателя Флорентия Федоровича Павленкова (1839—1900) прославилась популярная серия книг «Жизнь замечательных людей», в которой было опубликовано 200 биографий.

*...словарь русских писателей Венгерова...* — Историк литературы, библиограф Семен Афанасьевич Венгеров (1855—1920) был составителем нескольких многотомных био- и библиографических словарей русских писателей.

## Поэт

Впервые: Дни. 1927. № 1201. 9 окт.

Е.Г. Власова, опубликовавшая ранние статьи Осоргина, которые подписаны его собственным именем — М. Ильин, — сравнила некролог «Михаил Афанасьевич Афанасьев» (Пермские губернские ведомости. 1899. 5 февр.) и мемуарный очерк зрелого Осоргина 1927 г. «Сопоставление этих текстов, — отмечает исследовательница, — проявляет особенности мемуарной прозы Осоргина, построенной на значительной художественной трансформации реальных событий и фак-

тов». Заметим, что, не искажая факты, Осоргин, действительно, со временем часто пересматривал свое отношение к людям и историческим событиям.

С. 299. *...из кантонистских детей...* — (от нем.: *kantonist* — военнообязанный). В России в 1805—1856 гг. кантонистами называли солдатских сыновей, которые со дня рождения числились за военным ведомством.

С. 304. *...по случаю юбилея Михал Афанасьича. Какого юбилея — точно я не помню.* — 50-летний юбилей учительской деятельности М.А. Афанасьева отмечался в мае 1894 г.

С. 306. *Умер поэт совершенно неожиданно...* — Сообщение о смерти М.А. Афанасьева 21 января 1899 г. опубликовано в «Пермских губернских новостях» на следующий день.

### Профессора

Впервые: Последние новости. 1933. № 4470. 18 июня (из цикла «Встречи»).

С. 309. *Профессор Мрочек-Дроздовский...* — Имеется в виду историк права Петр Николаевич Мрочек-Дроздовский (1848—1919).

*Самоквасов* — археолог и историк права Дмитрий Яковлевич Самоквасов (1843—1911).

С. 310. *Хвостов* Вениамин Михайлович (1868—1920) — русский юрист.

С. 311. *Кассо* Лев Аристидович (1865—1914) — юрист, министр народного просвещения (1910—1914), был известен своими реакционными взглядами.

*Ушел в министры и другой наш профессор — Зверев...* — Николай Андреевич Зверев (1850—1917), историк и философ права, с 1898 г. товарищ министра народного просвещения и ректор Московского университета.

*...к графу Комаровскому...* — Леонид Алексеевич Комаровский (Комаровский; 1846—1912), юрист.

С. 312. *...лекция Александра Ивановича Чупрова...* — А.И. Чупров (1842—1908) — экономист, статистик, публицист, общественный деятель, автор фундаментальных, многократно переиздававшихся трудов «История политической экономии» и «Курс политической эконо-

мии». «Мы слушали и своих, и “чужих” профессоров, — вспоминал Осоргин, — и медик так же неизменно являлся на вступительную лекцию А. Чупрова по политической экономии, как юрист не упускал случая послушать ботаника Тимирязева, орнитолога Мензбира, венеролога Поспелова. Искали общих знаний, а не практической тренировки» (*Осоргин Мих.* Посолонь // Памяти русского студенчества: Сб. воспоминаний. Париж: Свеча, 1934). О Чупрове см. статью молодого Осоргина (тогда М. Ильина) в «Пермских губернских ведомостях», которая называлась «Юридический факультет» (1899). — В кн.: *Осоргин М.* Московские письма. 1897—1903. Пермь: 2003.

**С. 312** ...с его сыном, проф<ессором> Александром Александровичем... — А.А. Чупров (1874—1926) — экономист, теоретик статистики. С 1917 г. — за границей.

**С. 313.** Янжул Иван Иванович (1845—1914), экономист, специалист в области финансового права. См. также очерк Осоргина «Начало «великих дней».

*Новгородцев* Павел Иванович (1861—1922) — юрист и философ. С 1920 г. — за границей.

*Его сменил Озеров...* — Иван Христофорович Озеров (1869—1911) — экономист, профессор Московского университета, либерал, общественный деятель.

*...еще прозектор — Минаков...* — Петр Андреевич Минаков (1865—1931) — антрополог, профессор судебной медицины.

*...студенческой столовой отличной дамы Троицкой...* — О студенческой столовой Ю.А. Троицкой, находившейся у Никитских ворот (д. 28), см. статью Осоргина в газете «Власть народа» (1917. № 160. 14 нояб.).

**С. 314** ...знаменитый Поспелов... — Алексей Иванович Поспелов (1846—1916) — ученый-дерматолог.

*Мензбир* Михаил Александрович (1855—1935) — зоолог, автор известного труда «Птицы России» (т. 1—2, 1893—1895). Мензбир стал прототипом героя романа Осоргина «Сивцев Вражек» (1928) — старого профессора, орнитолога Ивана Александровича.

## Та жизнь

Впервые: Последние новости. 1933. № 4584. 10 окт.



**Юлия Михайловна Астрова**

Впервые: Последние новости. 1934. № 4758. 3 апр. (из цикла «Встречи»).

С. 323. ...*в последний раз перешагнул и порог университета...* — Осоргин окончил Московский университет в 1902 г.

С. 327. *Обоих героев я видал позже много раз, в Москве, на Капри, в Берлине, совсем иными...* — Об отношениях Осоргина с М. Горьким и М.Ф. Андреевой см. публикацию: М. Горький и М.А. Осоргин. Переписка / Вступ. статья, публ. и примеч. И.А. Бочаровой // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М.: ИМЛИ РАН, 2002.

...*знакомство с покойным Артемом...* — Александр Родионович Артем (наст. фам. Артемьев; 1842—1914), актер. С 1898 г. — в Московском Художественном театре.

**А.К. Маликов и В.Г. Короленко**

Впервые: Последние новости. 1933. № 4365. 5 марта (из цикла «Встречи»).

Александр Капитонович Маликов (1839—1904) — революционер, народник, писатель. Тесть Осоргина, отец его первой жены Екатерины Александровна Маликовой. Она была революционеркой, участницей боевой дружины эсеров. Вместе с ней Осоргин эмигрировал в Италию, где в 1910 г. они разошлись. См. о Е.А. Маликовой: *Поликовская Л.В.* Трудное строительство собственного храма, или О мужестве скепсиса (Михаил Осоргин) // Персональная история. Исповедь судьбы. М., 2001).

С. 330. *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель. См. о нем очерк Осоргина «П.Д. Боборыкин и В.М. Соболевский».

...*обедал в Париже с Газдановым...* — Гайто Иванович Газданов (1903—1971) — русский писатель. С 1920 г. — за границей. М.А. Осоргин помогал Газданову как молодому автору.

...*даже с Н. Н. Златовратским...* — Николай Николаевич Златовратский (1845—1911), прозаик, публицист, мемуарист. О встречах со Златовратским см. очерки Осоргина «Лубочники» и «Самоучки».

**С. 330.** ...умерли В. Соболевский, А. Мануйлов, В. Розенберг, И. Игнатов, Н. Сперанский, Н. Эфрос. — Речь идет о публицистах, редакторах газеты «Русские ведомости» Василии Михайловиче Соболевском (1846—1913), см. о нем также очерк Осоргина «П.Д. Боборыкин и В.М. Соболевский»; Александре Аполлоновиче Мануйлове (Мануйлове; 1861—1929); Владимире Александровиче Розенберге (1860—1932); Илье Николаевиче Игнатове (1858—1921); Николае Васильевиче Сперанском (1861—1921), который заведовал иностранным отделом «Русских ведомостей»; Николае Ефимовиче Эфросе (1867—1923), который, будучи видным театральным и литературным критиком, заведовал в «Русских ведомостях» московским отделом. См. очерк Осоргина «Дым отечества».

...читал третий и четвертый тома «Истории моего современника» В. Короленка в новом издании «Академии». — Воспоминания В.Г. Короленко «История моего современника» вышли в издательстве «Academia» (М.; Л., 1930—1931) в трех книгах (четырёх томах).

**С. 331.** ...участнику процессов «каракозовского» и «193». — Дмитрий Владимирович Каракозов (1840—1866) — революционер, неудачно стрелявший в Александра II, был казнен. «Процесс 193-х» — (еще его называли «Большим процессом») проходил над революционерами-народниками в Петербурге (1877—1878).

*Н. Чайковский.* — Речь идет о Николае Васильевиче Чайковском (1850/51—1926), революционере-народнике, позднее — эсере. В 1879 г. переехал из Америки во Францию, потом в Англию. В 1907 г. вернулся в Россию, где был арестован. В 1910 г. его судили и оправдали. Октябрьскую революцию не принял. В августе 1918 г. возглавлял архангельское белогвардейское правительство. Эмигрант.

...книга Фаресова... — Имеется в виду писатель, публицист Анатолий Иванович Фаресов (1852—1928).

...ряд отрывочных воспоминаний <...> Пругавина. — Речь идет о публицисте, историке и этнографе Александре Степановиче Пругавине (1850—1921).

...имения А.П. Чарушникова (издателя). — Александр Петрович Чарушников (1852—1913) — руководитель издательства «С. Дороватовский и А. Чарушников», основанного в Москве (1898), участник народнического движения.

**С. 331.** ...за свою книгу *«На задворках фабрики»*. — Речь идет о книге: *Маликов А.К.* На задворках фабрики. Край без будущего: По волжским степям. Очерк. М.: изд-во С. Дороватского и А. Чарушникова, 1891. 243 с.

...в Америке с Чайковским он устраивал *«Прогрессивную коммуну»* в Канзасе. — В 1874 г. Н.В. Чайковский эмигрировал в Америку, где примкнул к А.К. Маликову, пытавшемуся создать там секту «богочеловечества».

**С. 332.** ...в оживленной переписке с К. Победоносцевым... — Речь идет о Константине Петровиче Победоносцеве (1827—1907), русском государственном деятеле, юристе, обер-прокуроре Синода (1880 — 1905).

**С. 333.** ...в доме своего друга Лопатина, брата Германа Александровича. — См. очерк Осоргина *«Герман Лопатин»*.

...оставил книгу *«Бытовое явление»*... — Статья В.Г. Короленко *«Бытовое явление»* (1910) была направлена против смертной казни и с письмом Л. Н. Толстого в качестве предисловия тогда же была издана в переводах на многие языки. Для итальянского издания (Рим, 1910) М.А. Осоргин написал специальное введение, а также опубликовал в газете *«Русские ведомости»* статью: *«Бытовое явление» в итальянском переводе»* (1910. № 195. 25 авг.).

**С. 334.** *При разгроме комитета...* — Члены Общественного комитета помощи голодающим были арестованы. См. об этом книгу Осоргина *«Времена»* и его очерки *«Н.Н. Кутлер»*, *«О Борисе Зайцеве»* и др.

...были уже сочтены дни Владимира Галактионовича. — «Для русской общественной среды... утрата его равносильна утрате непреложного критерия профессиональной писательской чести... Тем более тяжка для нас утрата полтавского старца в дни всеобщей растерянности и магнитных бурь в сферах писательской этики», — писал Осоргин о смерти Короленко в дни ссылки (*Литературная газета*. Казань. 1922. 20 февр.).

## Лубочки

Впервые: Последние новости. 1938. № 6339. 4 авг.

С. 337. ...сытинские, творчества славной памяти Ивана Дмитриевича. — И. Д. Сытин (1851—1934) был самым известным издателем лубочных книжек и картин, торговлю которыми вел через офеней. Выпускал и серии народных книжек, энциклопедий, календарей.

...доктор Андрей Степанович Б. — Речь идет об Андрее Степановиче Буткевиче (1865—1948), популяризаторе науки, педагоге.

...в дни войны... — Имеется в виду Русско-японская война 1904—1905 гг.

С. 338 ...отец Яков Шестаков. — См. о нем: воспоминания Осоргина «Отец Яков».

...писателя Казимира Ковальского... — Прозаик, драматург, театровед, журналист Казимир Адольфович Ковальский (1878—1933?) создавал романы вместе с женой, Ольгой Нестеровной, и подписывал их коллективным псевдонимом: К. и О. К-ие.

С. 339. ...мы положили основание издательству дешевой лубочной книжки под титулом «Жизнь и правда». — Две брошюры М. А. Осоргина в издательстве «Жизнь и правда» в 1904 г. вышли без его подписи («Япония», «Русские военачальники на Дальнем Востоке») и одна под его подлинной фамилией: М. А. Ильин. («Вознаграждение рабочих за несчастные случаи»).

С. 340. ...на картине «Макаров под водой»... — Сюжет картины, вероятно, связан с судьбой Степана Осиповича Макарова (1848—1904), русского флотоводца, руководившего действиями кораблей при обороне Порт-Артура. Вскоре погиб на броненосце «Петропавловск», который подорвался на mine.

...его книжки отмечены самим Гольцевым в «Русской мысли». — Речь идет о Викторе Александровиче Гольцеве (1850—1906), русском публицисте и общественном деятеле, редакторе журнала «Русская мысль». См. также очерк «Самоучки».

С. 341. ...назову ныне покойных В. Немировича-Данченко и Е. Чирикова; из полупокойных вспомню Льва Троцкого... — О писателе Василии Ивановиче Немировиче-Данченко (1844/45—1936) см. также очерк Осоргина «Десятый десяток» — русский писатель. С 1921 г. Немирович-Данченко жил за границей. Писатель Евгений Николаевич Чириков (1864—1932) за границей жил с 1920 г. Лев Давидович Троцкий (наст. фам. Бронштейн; 1879—1940) во время Балканской

войны ездил корреспондентом сперва в Сербию и Болгарию, а затем в Румынию.

### Самоучки

Впервые: Последние новости. 1933. № 4379. 19 марта (из цикла «Встречи»).

С. 344. ...со старыми народниками, как Н.Н. Златовратский... — См. примеч. к очерку «А.К. Маликов и В.Г. Короленко».

...с московскими литературными чудаками, как В.Е. Ермилов... — Владимир Евграфович Ермилов (ок. 1861—1918) — писатель, журналист, педагог, литературный и театральный критик.

...немного сотрудничая в «Русской мысли»... — Осоргин писал: «При Гольцеве работал в “Русской мысли” по отделу библиографии» (Bibliographie. Michel Ossorguine. Paris, 1973. С. 36).

С. 345. ...Дрожжин был мужиком. — Спиридон Дмитриевич Дрожжин (1848—1930) — русский поэт, бытописатель деревни.

...Белоусов московским портным... — Иван Алексеевич Белоусов (1863—1930) — русский поэт, переводчик, мемуарист.

...я работал с приват-доцентом Я. над большим исследованием о русских самоучках... — Речь идет об Александре Ивановиче Яцимирском (1873—1925), историке, филологе, славяноведе. См.: Яцимирский Александр Иванович. Библиографический справочник / Сост. Александрина Матковски. Кишинев, 1979.

...не опубликованы превосходные наброски некоего Ивина о Л. Толстом <...>. Про Ивина Л. Толстой говаривал: «Вот Ивина читают в России гораздо больше, чем меня!» — Иван Семенович Ивин (1868—1918 или 1919) — поэт-самоучка, автор лубочных книг. Весной 1887 г. познакомился с Л.Н. Толстым, который считал, что Ивин «самый популярный и распространенный современный писатель в России» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1960. С. 329). Воспоминания Ивана о Толстом публиковались. См.: Ивин И.С. Мое знакомство с гр. Л. Толстом // Московские церковные ведомости. 1908. № 7; 1909. № 7; Семенов С. Воспоминания о Л.Н. Толстом // Вестник Европы. 1908. № 9. Позднее Ивин стал священником.

С. 346. ...мало кто и мог знать — писателя Мони́на, иначе Мони́на-Сибиряка... — Книга В.А. Мони́на «Сибирские мотивы» (М., 1903) вышла с предисловием Осоргина (под его настоящей фамилией — М.А. Ильин).

С. 347. ...стихотворения М. Леонова, поэта-самоучки из крестьян». — См.: Леонов М.Л. Стихотворения и рассказы. Изд. 3-е. доп. М., 1905. Предисловие Мих. Ильина.

...В.Е. Ермилов задумал использовать их любовь к славе <...>, основав журнал... — Речь идет о недолго издававшемся журнале «Народное благо». См.: Телешов Н. Записки писателя. М., 1980. С. 16.

С. 348. Суриков Иван Захарович (1841—1880) — поэт.

...Самоучкой был и Трефилов, автор знаменитого стихотворения о Касьяне, мужике камаринском». — Опечатка. Речь идет о поэте Леониде Николаевиче Трефолеве (1839—1905).

«Милорд глупый». — Имеется в виду популярная в народе книга «Милорд глупый. Повесть о приключении аглинского милорда Георга...» в литературной обработке писателя-самоучки XVIII в. Матвея Комарова.

Салаев. — Речь идет об издательской фирме братьев Салаевых, основанную в Москве в 1828 г. Позже она перешла к их сыновьям и племянникам.

С. 349. ...опыт собирателя А.Е. Бурцева. — Александр Евгеньевич Бурцев (1863—1937) — русский библиофил, библиограф.

## Отец Яков

Впервые: На чужой стороне. Берлин; Прага. 1923. Кн. 2.

Яков Васильевич Шестаков (1870—1919) — провинциальный публицист, библиограф, историк, этнограф, издатель (см. о нем очерк «Лубочники»). Он послужил для Осоргина прототипом образа отца Якова в романной дилогии «Свидетель истории» (Париж, 1932) и «Книга о концах» (Париж, 1932). Я.В. Шестаков окончил Пермскую духовную семинарию, но впоследствии был лишен прихода. В печати выступал под псевдонимами: Я. Камасинский, Странник-Пермяк и др. Активно сотрудничал в газетах «Пермские губернские ведомости», «Уральская жизнь», «Уральские ведомости» и др. Выпустил множество брошюр. Организовал несколько мелких издательств, в частности издательство

«Кама» в Сарапуле. Убит красными в Перми (сообщено Д.А. Красноперовым, Пермь).

С. 351. *Познакомились мы в редакции провинциальной газеты...* — Речь идет о «Пермских губернских ведомостях».

...*зырянские песни...* — Зыряне — народ финского происхождения, проживающий в восточных частях Вологодской и Архангельской губерний. Входил в пермскую группу народов. Зыряне и пермяки называли себя «коми».

...*составлял азбуку для «вотяков»...* — Вотяки — старинное название удмуртов.

...*любовался новооткрытыми серебряными персидскими блюдами времен династии Сасанидов...* — Династия Сасанидов возглавляла государство, существовавшее в III—VII вв. на Ближнем и Среднем Востоке.

С. 353. ...*издавали листовки для народа...* — См. очерк «Самоучки». ...*до сих пор бесконечно переиздается (К. Суздальцев. «Копейка рубль бережет»)*. — Речь идет о кн.: Суздальцев К. Копейка рубль бережет. М.: Моск. союз потребительских обществ, 1917 (6-е изд.). В 1919 г. вышли еще два издания этой книги — в Омске и Харькове.

С. 355. *Плеве* Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов (1902—1904). Убит эсером Е.С. Сазоновым.

*Гапон* Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник. Организовал шествие к царю 9 января 1905 г., которое закончилось расстрелом его участников. С помощью эсеров бежал за границу, там разоблачен эсером П.М. Рутенбергом как тайный агент охранки. Повешен по приговору товарищеского суда эсеров.

*Студенты-петровцы...* — студенты подмосковной Петровской земледельческой академии.

С. 356. ...*один крупный террорист...* — Имеется в виду П.А. Куликовский (см. очерк «Николай Иваныч»).

### Николай Иваныч

Впервые: На чужой стороне. 1923. Кн. 3.

О Петре Александровиче Куликовском см. также заметку Осоргина «Страничка из жизни Куликовского» (без подписи) в эсеровской газете

«Революционная Россия» (Париж. 1905. № 71. 15 июля). П.А. Куликовский — прототип террориста Николая Ивановича в романе Осоргина «Свидетель истории».

С. 361. *Написал книжку о «вознаграждении рабочих за несчастные случаи...»* — Речь идет о кн.: *Ильин М.А.* Вознаграждение рабочих за несчастные случаи. М.: изд-во «Жизнь и правда», 1904. 32 с.

С. 362. *...заместо Плеваки.* — Федор Никифорович Плевако (1842—1908/1909) — известный адвокат, часто выступавший защитником на крупных процессах по делам рабочих и крестьян. Его слава в широких кругах столиц и провинции была необычайной. Писатель В.В. Вересаев вспоминал: «Главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой, прямо колдовской заразительности чувства, которым он умел зажечь слушателя» (*Вересаев В.В.* Соч. Т. 4. М., 1948. С. 446).

*...номер «Права»...* — Еженедельная юридическая газета «Право» издавалась в Петербурге с 1899 г.

С. 363. *...номера зачавшейся тогда «Революционной России».* — Нелегальная газета (1900—1905), центральный орган партии социалистов-революционеров, выходила в Женеве, Лондоне, Париже.

С. 364. *Герман Лопатин.* — См. очерк «Герман Лопатин».

*Н. Чайковский.* — См. очерк «А.К. Маликов и В.Г. Короленко».

*...от Александра Капитоновича Маликова.* — См. там же.

*...написал Фаресов.* — См. там же.

*Издатель А.П. Чарушников...* — См. там же.

С. 365. *«Непобедимый» (И.И.Ф.).* — Илья Исидорович Бунаков-Фондаминский (1879 или 1881? — 1942), один из лидеров партии эсеров, публицист, литератор, один из издателей парижского журнала «Современные записки» (1920—1940). Погиб в гитлеровском концентрационном лагере.

*«Жорес» (Н.Д.А.).* — Николай Дмитриевич Авксентьев, член ЦК партии эсеров.

*...эсдеки и эсдечки...* — Речь идет о членах Российской социал-демократической рабочей партии, возникшей в 1901 г. в результате объединения нескольких революционно-народнических групп.

*...моей квартире на Садовой улице...* — См. воспоминания «Венок памяти малых».



**С. 366.** *Великого князя Сергея разорвало.* — Сергей Александрович (1857—1905), сын императора Александра II. Московский генерал-губернатор в 1891—1905 гг.

*Каляев Иван Платонович* (1877—1905) — эсер, член «боевой организации» партии социалистов-революционеров. Участвовал в 1904 г. в покушении на Плеве, а 4 февраля 1905 г. убил великого князя Сергея Александровича. Был повешен 10 мая 1905 г. в Шлиссельбургской крепости.

*Савинков Борис Викторович* (1879—1925) — эсер, руководитель и участник многих террористических актов. Писатель, мемуарист. С молодых лет принимал участие в революционном движении. С 1903 г. — эсер, один из руководителей боевой организации. Возглавлял многие террористические акты. Участник убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича. В 1906 г. приговорен к смертной казни, бежал. Активный борец с советской властью. В 1925 г. погиб, выбросившись (или его выбросили) из окна советской тюрьмы. Савинков — прототип Шварца в романах Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах».

**С. 376.** ...*А. Г., человек судьбы тяжелой, революционер непримиримый, и ныне — смертник большевистской тюрьмы.* — Вероятно, речь идет об Абраме Рафаиловиче Гоце (1882—1940), видном деятеле партии эсеров, члене ее ЦК. В 1906 г. он вошел в боевую организацию эсеров. В 1920 г. Гоц был арестован, в 1922 г. приговорен к расстрелу (позже амнистирован).

**С. 383.** ...*защитил Гершуни...* — Григорий Андреевич Гершуни (1870—1908), один из основателей партии эсеров, глава «боевой организации», автор воспоминаний «Из недавнего прошлого» (1907). Организатор убийства министра внутренних дел Сипягина, уфимского губернатора Богдановича, участник покушения на харьковского губернатора Оболенского. В мае 1903 г. Гершуни был арестован в Киеве, приговорен к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой. Из Шлиссельбурга переведен в Сибирь (Акатуй). Отсюда бежал в ноябре 1906 г. в Японию, а оттуда в Америку. Впоследствии работал в Париже.

*В. Мазурин.* — См. воспоминания «Венок памяти малых».

...*1-я московская группа П.С.Р.* — партия социалистов-революционеров.

...*максимализм.* — В 1906 г. из состава эсеров выделилась партия максималистов, выступавшая за индивидуальный террор и практику

экспроприаций. См.: Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в первой русской революции. М., 1989.

С. 385. «Дым отечества». — Эта статья Осоргина была напечатана в московской газете «Русские ведомости» (1916. № 195. 24 авг. ).

...сибирский журнал... — Заметка Осоргина «Ответ на письмо (Москва, 5 декабря)» была опубликована в красноярском журнале «Сибирские записки» (1917. № 1. С. 86—88).

### Венок памяти малых

Впервые: На чужой стороне. 1924. Кн. 6. С. 101—118.

С. 387. *Post factum* (лат.) — «после факта», т.е. после того, как событие свершилось, задним числом.

С. 388. ...только он один поминается в прессе тех дней и в списках революции. — Владимир Владимирович Мазурин родился в 1882 г. в Москве в купеческой семье, учился в Московском университете. Стал лидером максималистов, одним из руководителей восстания в Москве, возглавлял дружину на Пресне. Арестован 29 августа 1906 г., 31 августа состоялся военно-полевой суд, в ночь на 1 сентября Мазурина казнили во дворе Таганской тюрьмы. См. о нем также: Андреев Л.Н. Памяти Владимира Мазурина. Спб., 1906; Володя Мазурин // Максималист. 1921. № 20; Таг-ин. Владимир Мазурин // Максималист. 1921. № 24—25. О его обязанности, о том, что революционер до конца сохранял «полное присутствие духа», вспоминали и охранники. См. донесение начальника Московской охраны в сентябре 1906 г.: ЦГАОР. Ф. 10200. 1906. Д. 20. Ч. 22. Л. 221.

Мазурин расходился во взглядах с эсеровской партийной верхушкой. В. Зензинов, входивший в боевую организацию эсеров, называл Мазурина «прирожденным бунтарем», «головорезом», который объединил таких же головорезов, как и он сам (Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 120).

С. 391. ...Володя устроил «экс» Кредитного общества... — 1 марта 1906 г. произошла экспроприация в Московском обществе взаимного кредита на Ильинке, где было похищено 875 тыс. руб.

С. 392. Изобретен динамический жилет с электрическим зажигателем в кармане: «человек-бомба». — Жилеты, обложенные динамитом, были изобретены в 1906 г. Против них боролся Азеф, который

был тогда руководителем боевой организации эсеров и одновременно многолетним агентом охраны. Азеф изобразил дело так, что хочет быть первым среди самовзрывающихся, но пожертвовать главой организации революционеры не согласились (Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1953. С. 297—298).

С. 394. ...стихами графини Ростопчиной. — Речь идет о графине Евдокии Петровне Ростопчиной (1812—1858), поэтессе.

...квартира на Покровке, близ Земляного Вала, во флигеле большого дома. — В дни вооруженного восстания 1905 г. Осоргин жил на Покровке в доме Щекина. Окна его квартиры, где в это время происходили заседания эсеров, выходили в сторону училища Фидлера, так что Осоргин своими глазами наблюдал за происходящим.

...в сторону дома Фидлера, где было училище, — первый дом в Москве, подвергшийся обстрелу из орудий... — Училище И.И. Фидлера, где собралось около 200 дружинников, принадлежавших в основном к партии эсеров, было разгромлено правительственными войсками вечером 9 декабря 1905 г. В ответ на это в ночь на 10 декабря началось строительство первых баррикад в Москве. «Началом... массовой гибели была фидлеровская бойня», — свидетельствовал Осоргин (Современные записки. 1930. № 44. С. 291).

С. 400. ...душа... белокурого зверя. — Миф о сверхчеловеке, «белокуром звере», создал Фридрих Ницше в книге «Так говорил Заратустра» (1883—1884).

С. 401. От охраны, из Гнездиновского. — См. еще воспоминания Осоргина (Современные записки. 1930. № 44. С. 293); Осоргин Мих. Охранное отделение и его секреты. М.: Студенческое изд-во «Грядущее», 1917; Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1953. С. 233).

С. 403. Письмо жандармского офицера <...> опубликовано в «Голосе минувшего»... — Имеется в виду статья «Декабрьское восстание 1905 года в Москве в описании жандармов» (Голос минувшего. 1917. № 7/8. С. 351—360).

С. 406. ...с отрядом семеновцев... — Переброшенный из Петербурга лейб-гвардии Семеновский полк во главе с генерал-майором Г.А. Мином вел артиллерийский обстрел Пресни. В ходе баррикадных боев было убито более тысячи человек. 13 августа 1906 г. в Петергофе эсерка З.В. Коноплянникова убила генерала Мина.

С. 408. ...юноша Полторацкий, осужденный за покушение на Трепова». — Д.Ф. Трепов (1855—1906) — московский оберполицеймейстер, потом петербургский генерал-губернатор.

С. 409. ...рабочий-прохоровец... — Рабочий текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура» (Москва), основанной в 1799 г. В.И. Прохоровым. Располагалась на Пресне. В 1905 г. в лаборатории фабрики было налажено производство бомб и фугасов для дружинников. Арест Осоргина в декабре 1905 г. связан с этим событием: «Был... привлечен к суду... “за расстрел полицейских чинов на дворе прохоровской фабрики”. Но я и до сих пор не знаю, где эта фабрика, — никогда на ней не был» (*Осоргин Мих.* Девятьсот пятый год // *Современные записки.* 1930. № 44. С. 292).

С. 410. *В Италии, после мессинского землетрясения...* — См. очерк Осоргина «Улыбки земли».

### «Неизвестный, по прозвищу Вернер»

Впервые: На чужой стороне. 1924. Кн. 4.

Всеволод Владимирович Лебединцев-Кальвино (1870—1908) — эсер, участник, а затем руководитель северного летучего боевого отряда (1909). Его мать была итальянкой. В России Лебединцев жил под именем Марио Кальвино. Планировал взорвать правую фракцию Государственного Совета, принимал участие в подготовке неудавшихся покушений на великого князя Николая Николаевича и министра юстиции И.Г. Щегловитова. Арестован 6 февраля 1908 г. Вместе с другими участниками отряда (7 человек, среди них 3 женщины) был предан военно-полевому суду и повешен в феврале 1908 г. в местечке Лисий Нос.

О В.В. Лебединцеве, сразу же после его казни, Осоргин напечатал статью «Памяти Всеволода Владимировича Лебединцева» (без подписи) в эсеровском журнале «Революционная мысль» (Лондон; Париж. 1908. № 2. С. 7—8).

Лебединцев стал прототипом Ринальдо, героя романа Осоргина «Книга о концах».

С. 412. *В трагическом своем «Рассказе о семи повешенных» Леонид Андреев...* — Этот рассказ Л.Н. Андреев впервые опубликовал в

альманахе «Шиповник» (СПб., 1908. Кн. 5). По образованию математик и астроном, Лебединцев работал в Пулковской обсерватории, там и познакомился с Леонидом Андреевым.

С. 412. *Евно Азеф*. — Речь идет о крупнейшем провокаторе Евно Фишелевиче Азефе (1868—1918). Был одним из лидеров партии эсеров, в 1903—1908 гг. руководил ее боевой организацией, организовал ряд террористических актов. Еще студентом в 1893 г. стал секретным сотрудником департамента полиции, выдал многих революционеров. В 1908 г. его разоблачил В.Л. Бурцев. ЦК партии эсеров приговорил Азефа к смерти. В ночь на 6 сентября 1909 г. Азеф бежал из своей парижской квартиры. Он много странствовал, потом обосновался в Берлине. В 1915 г. арестован как русский шпион. Находился в тюрьме до декабря 1917 г., освобожден после подписания Брест-Литовского мира. Умер в Берлине в 1918 г. См. очерк Осоргина «Товарищи провокаторы», а также: *Осоргин Мих.* Двойная жизнь Азефа // Последние новости. 1936. № 5432. 6 февр.; *Бурцев Вл.* В погоне за провокаторами. М.; Л., 1928; *Николаевский Б.* История одного предательства. М., 1991 и др.

...за подготовку покушения на министра Щегловитова. — Иван Григорьевич Щегловитов (1861—1918) — министр юстиции в 1906—1915 гг., покровитель черносотенства. В 1917 г. председатель Государственного совета. После Февральской революции арестован и расстрелян.

...кажется, в «Былом» были его портреты. — См.: *Семенова М. В.В.* Лебединцев // Былое (Париж). 1909. № 11—12. С. 3—17, портр.

С. 413. ...старая вилла в местечке Сори близ Генуи. — См. очерк «Местечко на Ривьере».

С. 415. *Лавров* Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог, публицист, один из идеологов народников. Член «Земли и воли», участник Парижской коммуны.

С. 416. ...новый русский поселок — *Кави ди Лаванья*... — См. «Местечко на Ривьере».

С. 418. «*Vide ut mare quant i bellu...*» (ит.) — «Как прекрасна даль морская...», начальные строки песни «Вернись в Сорренто» Дж. и Е. де Куртисов.

С. 427. ...прочтите книгу С. Мельгунова «Красный террор»... — С.П. Мельгунов (1879/1880—1956) — историк, публицист. О книге

С.П. Мельгунова «Красный террор в России» см. статью Осоргина в «Последних новостях» (1924. № 1163. 7 февр.).

С. 427. *«Руль»* — еженедельная газета «Руль» выходила в Берлине в 1920—1931 гг.

С. 428. *...ни у Каляева...* — См. воспоминания Осоргина «Николай Иваныч».

*...ни у Владимира Мазурина...* — См. воспоминания Осоргина «Венок памяти малых».

*Мария «Спиридоновна»*. — Речь идет о Марии Александровне Спиридоновой (1884—1941), видном деятеле партии эсеров, участнице террористических актов. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстреляна. Реабилитирована в 1990—1992 гг. См. также очерк «Сосны».

С. 429. *...самым гнусным предателем...* — Имеется в виду провокатор Евно Азеф.

## Итальянцы

Впервые: Последние новости. 1933. № 4512. 30 июля (из цикла «Встречи»).

С. 431. *...«баббо» и «мамма» (ит.)* — папаша и мамаша.

С. 432. *Джолитти, Джованни* (1842—1928) — лидер итальянской Либеральной партии, в ту пору премьер-министр Италии.

С. 433. *Габриэле д'Аннунцио* — Габриэле Д'Аннунцио (1863—1938), итальянский писатель и политический деятель.

*Пиранделло* — итальянский писатель, драматург Луиджи Пиранделло (1867—1936).

С. 434. *...повсюду ставили его «Шесть персонажей», но на советскую сцену он не попал...* — Осоргин в начале 1920-х гг. перевел две пьесы Л. Пиранделло, в том числе и «Шесть персонажей».

С. 435. *Грациа Деледда* (1871—1936) — итальянская писательница.

*«Эффэ-Ти-Маринетти»* — Филиппо Томмазо Маринетти (1876—1944) — итальянский писатель, глава и теоретик футуризма. Осоргин неоднократно писал о Маринетти и итальянских футуристах в газете «Русские ведомости» (1910—1916).

**Марионетки**

Впервые: Последние новости. 1933. № 4449. 28 мая.

С. 436. *Судья Майетти <...> ввел в своем приюте детское самоуправление, которое, таким образом, было изобретено отнюдь не советской школой.* — См. письмо Осоргина «старому другу в Москве» (А.С. Буткевичу) от 8 августа 1936 г.: «Почти двадцать лет вы живете за китайской стеной, не имея представления о том, что произошло в Европе в пореволюционный период. Я читаю все советские газеты с их процеженными сквозь цензурное сито сведениями, как стыдно, что вы — малолетние! <...> Я просматриваю академические издания, отчеты о лекциях, восторги “достижений” и поражаюсь их малости и их наивности. Вот маленький пример из твоего письма — о “новой” системе воспитания коллективом беспризорных и “преступников”. О том же мне писал Горький. 28 лет назад в Риме я принимал участие в работе знаменитого по тому времени “судьи Майетти”, воспитывавшего беспризорных и преступных детей тем же самым методом пробуждения в них гражданского сознания участием в жизни коллектива, — с изумительными результатами. Я писал об этом в “Вестнике воспитания”. Но в той системе было все, кроме принудительности: двери приюта были настежь отворены днем и ночью, — уходи, куда хочешь. Вряд ли то же на Беломорском канале...» (Cahier du Monde Russe et Sovietique. Vol. XXI (2—3). April — Septembre 1984. Paris). См. статью Осоргина о Майетти в журнале «Вестник воспитания» (Москва). 1912. № 2, 5, а также в газете «Русские ведомости» (1912. № 41. 19 фев.).

С. 437. *Витторิโอ Подрекка...* — См. о В. Подрекка ст. Осоргина в «Русских ведомостях» (1914. № 49. 28 февр.) и в «Последних ведомостях» (1929. № 3188. 14 дек.; № 6348. 13 авг.).

С. 438. *Чентезимы...* — Чентезимо — разменная монета итальянской лиры (в обращении до 2000 г.).

... я предпочитаю вспомнить нескольких неизвестнейших... — См. об этих же персонажах очерк Осоргина «Проходящие мимо».

**Местечко на Ривьере**

Впервые: Последние новости. 1936. № 5694. 26 окт.

С. 443. ...могила молодого человека, убежавшего из Акатуйской каторги и утонувшего вскоре по приезде в Кави. — См. очерк Осоргина «Голубой конь».

С. 444. А.В. Амфитеатров. — См. очерк Осоргина «Александр Амфитеатров».

Где-то в СССР мается <...> Евгений Евгеньевич, фамилии не назову... — Речь идет о Евгении Евгеньевиче Колосове (1879—1966), историке литературы и освободительного движения, публицисте, которого в Кави-ди-Лаванья местные жители называли князем Коляри.

В Белград шлю поклон кавийскому старожилу, славному экономисту К.Р. Качоровскому... — Карл Романович Качоровский (1870—?) — экономист, статистик. Участвовал в революционном движении. В 1890-х гг. в ссылке изучал сельское хозяйство и общину. В 1900 г. вышел в свет первый том его труда «Русская община» (в 1906 г. — второй том). См. о нем в рассказе Осоргина «Террорист».

В.И. Немирович-Данченко. — См. очерк Осоргина «Десятый десяток».

...старым публицистом В. Е. Поповым (Владимировым)... — Речь идет о Владимире Евграфовиче Попове (псевдоним: В. Владимиров), писателе, журналисте.

...в компании Германа Лопатина и Григория Петрова... — О первом — см. очерк Осоргина «Герман Лопатин». Григорий Спиридонович Петров (1868—1925) — публицист.

Н.С. Тютчев. — Николай Сергеевич Тютчев (1856—1924), участник и историк освободительного движения, публицист. Арестован в 1877 г. и сослан в Восточную Сибирь на 10 лет. В 1905 г. по возвращении из ссылки входил в ЦК партии эсеров. Впоследствии занимался литературной работой и историей революционного движения. Прототип Данилова в романе Осоргина «Книга о концах».

С. 445. Андрей Соболев — (его наст. имя Юлий Михайлович; 1888—1926). См. о нем очерк Осоргина «Трагедия писателя».

Борис Зайцев... избрал местечко на Ривьере фоном повести, в которой некоторые из нас себя угадывали. — О писателе Б.К. Зайцеве (1881—1972) см. статью Осоргина.

...в домике философа Б.В. Яковенко... — Имеется в виду Борис Валентинович Яковенко (1884—1949), философ, сотрудник «Русских ведомостей», позднее — зарубежных изданий.



С. 446. ...читал нескончаемые свои романы украинец В. Винниченко... — Речь идет об украинском писателе Владимире Кирилловиче Винниченко (1880—1951). Он был мемуаристом, публицистом, политическим деятелем. С 1920 г. — за границей.

С. 448. Он вертел в руках советский паспорт... — До 1937 г. Осоргин ежегодно продлевал действие своего советского паспорта. ...лето, проведенное в семье друзей... — в семье Бакуниных. Осоргин женился на Татьяне Алексеевне Бакуниной (1904—1995), которая стала его душеприказчицей, издала четыре последние его книги, составила обстоятельную библиографию произведений Осоргина (см.: *Bibliographie des oeuvres de Michel Ossorguine*. Paris, 1973).

### Голубой конь

Впервые: Последние новости. 1930. № 3385. 29 июня.

### Голубой грот

Впервые: Последние новости. 1937. № 5952. 12 июля.

С. 464. ...страничка из Бедекера... — Популярными путеводителя по разным странам называли «Бедекерами» по имени немецкого издателя Карла Бедекера (1801—1859).

...меня посылала московская газета на албанское восстание (еще до всяких Зогу и других фабрикованных королей. — Ахмед Зогу (1895—1961) — албанский государственный деятель. В 1828—1939 — король.

### Улыбки земли

Впервые: Последние новости. 1938. № 6299. 25 июня.

С. 470. ...«паста э чече, фритто мисто, фрутта э формаджо»... — итальянские блюда.

С. 472. ...в первый день знаменитого мессинского землетрясения... — Землетрясение в г. Мессина на острове Сицилия произошло в 1908 г. См. также рассказ Осоргина «Мессина» в его книге «Там, где был счастлив» (Париж, 1928).

С. 472. ...праздник св. Доменико... — См. статью Осоргина «Поездка в Аbruццы» (Русские ведомости. 1913. № 93. 23 апр.).

### Римлянин и варвар

Впервые: Последние новости. 1936. № 5736. 7 дек.

С. 477. ...их история не в полной мере изображена известным юбилейным сборником и вышедшей в Праге книгой В.А. Розенберга, одного из старых редакторов. — Имеются в виду юбилейное издание: «Русские ведомости». 1863—1913. Сборник статей. М., 1913 и кн.: *Розенберг Вл.* Из истории русской печати. Организация общественного мнения в России и независимая беспартийная газета «Русские ведомости» (1863—1918 гг.). Прага, 1924.

С. 478. ...сонеты Чезаре Паскарелла и его «Открытие Америки»... — Речь идет об итальянском поэте Чезаре Паскарелла (1858—1940), авторе поэмы «Открытие Америки» (1893).

С. 479. ...железнодорожный билет у Кука... — Имеется в виду железнодорожная фирма «Кук и К°».

С. 483. *Леопарди и Кардуччи.* — Речь идет об итальянском поэте-романтике Джакомо Леопарди (1798—1837), а также поэте и историке литературы Джозуэ Кардуччи (1835—1907).

### Каштановое море

Впервые: Последние новости. 1928. № 2729. 11 сент.

С. 488. *Джованни Пасколи* (1855—1912) — итальянский поэт. ...литого горельефа одного из братьев Делла-Роббиа... — Делла Роббиа — семья итальянских скульпторов эпохи Возрождения (в нее входили представители трех поколений).

### Старый Париж. (Из воспоминаний)

Впервые: Последние новости. 1937. № 5945. 5 июля.

С. 494. ...товарищ Носарь, гуляя по эстраде, проводит параллель между политикой Витте и политикой Хрусталева... — Шутка:

настоящее имя и фамилия Петра Алексеевича Хрусталева — Георгий Степанович Носарь (1877—1918). В 1905 г. он был первым председателем Петербургского Совета рабочих депутатов. По делу Совета выслан в Тобольскую губернию, откуда бежал за границу. Расстрелян в 1918 г. как контрреволюционер. *Vitte* Сергей Юльевич (1849—1915), граф, русский государственный деятель, министр кабинетов Александра III и Николая II. Инициатор введения винной монополии, строительства Сибирской железной дороги и др. В 1905 г. предлагал провести ряд реформ, чтобы успокоить революционную волну. Автор Манифеста 17 октября 1905 г. После поражения революции отправлен в отставку. Автор «Воспоминаний» (т. 1—3; 1960)

### Герман Лопатин

Впервые: Последние новости. 1939. № 6517. 30 янв. Этюд Осоргина о Г.А. Лопатине вызвал несколько содержательных читательских отзвук. См.: *Осоргин М.* Отклики // Последние новости. 1939. № 6538. 20 февр.

С. 497. *Герман Александрович Лопатин* (1845—1918) — профессиональный революционер.

С. 498. ...не было тогда в Париже русской библиотеки... — Русская общественная библиотека имени И.С. Тургенева была создана русскими эмигрантами в 1875 г. Одним из главных инициаторов ее создания был знаменитый революционер, народник Г.А. Лопатин. См.: Русская общественная библиотека имени И.С. Тургенева: Сотрудники — друзья — почитатели: Сб. статей / Ред. Т.Л. Гладкова, Т.А. Осоргина. — (Рус. б-ка института славистики. Т. LXXVII 1). Париж, 1987. Осоргин в свое время входил в Правление библиотеки. См.: *Осоргин Мих.* Детище Тургенева // Последние новости. 1937. № 5849. 30 марта; *Осоргин Мих.* Редкости Тургеневской библиотеки // Последние новости. 1937. № 6082. 19 нояб.

...не нравился Муравьеву-Вешателю, познакомившему его с Петропавловской крепостью. — Речь идет о графе Михаиле Николаевиче Муравьеве (1796—1866), государственном деятеле, генерале от инфантерии. За жестокость при подавлении Польского восстания 1863 г. был прозван «вешателем».

С. 498. *Джузеппе Гарибальди бежал с о. Капреры...* — Джузеп-по Гарибальди (1807—1882), народный герой Италии, борец за независимость страны от австрийского господства, поселился на острове Капрере (у северного побережья Сардинии) в 1854 г. Часть острова он купил и занимался там сельским хозяйством, пока его не убедили принять участие в войне против Австрии. В 1867 г. Герман Лопатин уехал за границу с намерением вступить в ряды волонтеров Гарибальди.

*Гарибальди, разбив папские войска при Монтеротондо, был сам разбит французами при Ментоне...* — В 1867 г. Гарибальди совершил поход на Рим, разгромил папские войска, но потом был разбит французскими бригадами при Ментане, ранен, взят в плен, посажен в крепость. Отпущен в 1868 г.

С. 499. *...отправился в Ниццу знакомиться с проживавшим там стариком Герценом...* — На обратном пути из Италии в Россию Лопатин встретился с А.И. Герценом в Женеве.

*«Рублевое общество»* — было создано Ф.В. Волховским и Г.А. Лопатиным. Эта революционная организация (1867—1868) называлась так по величине членского взноса. Лопатин, вернувшийся в Россию в 1868 г., был вновь арестован по делу «Рублевого общества», имевшего целью распространение грамотности в народе.

*...привлечение по нечаевскому делу.* — Политический «процесс нечаевцев» проходил в 1871 г.

С. 500. *...дружба <...> с Марксом...* — Лопатин был одним из переводчиков «Капитала» Маркса (1872).

С. 501. *...мадам Виардо <...> готова выступить в концерте для основания фонда русской библиотеки в Париже, 15 (27) февраля...* — Это произошло в 1875 г.

С. 502. *...жить самостоятельно, а не в почетной богадельне приютившего его амфитеатровского дома...* — о писателе Александре Валентиновиче Амфитеатрове (1862—1938) см. очерк Осоргина. После 1920 г. Амфитеатров жил за границей.

*...по просьбе С. Венгерова...* — Речь идет о библиографе и историке литературы Семене Афанасьевиче Венгерове (1855—1920).

С. 503. *Материалы о его жизни собраны в книжку ужасной серой бумаги, от которой через полвека останется только труха.* — Речь идет о кн.: Герман Александрович Лопатин: Автобиография. Пока-

зания и письма. Статьи и стихотворения. Библиография / Подгот. к печати А. А. Шилов. Пг., 1922.

### Александр Амфитеатров

Впервые: Последние новости. 1938. № 6202. 19 марта (из цикла «Литературные размышления»).

С. 504. ...до «Нового времени»... — Издаваемая А.С. Сувориным газета «Новое время» (СПб.) отличалась консервативностью своей программы.

...до «Возрождения». — Газета «Возрождение» (редактор П.Б. Струве) выходила в Париже (1925—1940) и считалась антагонистом «Последних новостей» (редактор П.Н. Милюков).

*Контадино* — крестьянин (*ит.*).

С. 505. ...один бывший шлиссельбуржец... — Герман Лопатин.

С. 506. *Потапенко* — писатель Игнатий Николаевич Потапенко (1856—1929) отличался исключительной литературной плодовитостью.

*В его предках числятся <...> переводчик Тассо и Ариосто...* — Семен Егорович Раич (1792—1855) — поэт, журналист, педагог и переводчик.

### П.Д. Боборыкин и В.М. Соболевский

Впервые: Последние новости. 1933. № 4369. 9 марта (из цикла «Встречи»).

С. 507. *Василий Михайлович Соболевский* (1846—1913) — публицист, редактор газеты «Русские ведомости». См. очерк Осоргина «А.К. Маликов и В.Г. Короленко». См. также раннюю (1900 г.) статью Осоргина (тогда — М. Ильина): «Привычка к юбилеям, или чествование П. Боборыкина» в кн.: *Осоргин М.* Московские письма. 1897—1903. Пермь. 2003. С.117—119.

С. 510. ...он родился в 1836, умер в 1920... — П. Д. Боборыкин умер 12 августа 1921 г.

**С. 511.** ...читал и «Китай-город», и «В путь-дорогу»... — Роман Боборыкина «Китай-город» публиковался в 1882 г., роман «В путь-дорогу» — в 1862—1864 гг.

**С. 512.** ...вместе с К.К. Арсеньевым... — Речь идет о критике, публицисте, земском деятеле Константине Константиновиче Арсеньеве (1837—1919).

**С. 513.** ...добавить еще имена иностранцев — Георга Брандеса, Генрика Сенкевича, Т.Г. Масарика, Эдуарда Бернштейна, Артура Шницлера, Энрико Ферри... — Речь идет о датском литературном критике Георге Брандесе (1842—1927); польском писателе Генрике Сенкевиче (1846—1916); президенте Чехословакии Томаше Масарике (1850—1937); германском политике Эдуарде Бернштейне (1850—1932); австрийском писателе Артуре Шницлере (1862—1931); итальянском криминалисте Энрико Ферри (1856—1929).

**А. Максимов.** — Имеется в виду постоянный сотрудник «Русских ведомостей» (с 1902 г.) Александр Николаевич Максимов (1872 — после 1945).

*История «Русских ведомостей» еще не написана: основа ей положена недавно умершим в Праге их редактором В.А. Розенбергом.* — См. примеч. к очерку Осоргина «Римлянин и варвар».

## В некотором царстве

Впервые: Последние новости. 1926. № 1866. 2 мая.

**С. 514.** ...исчезло маленькое государство... — Речь идет о Черногории, получившей независимость в результате Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С 1910 г. стала королевством. Участвовала в Балканских войнах 1912—1913 гг. и Первой мировой войне.

*Цетинье* — древняя столица Черногории.

**С. 515.** ...до трагического решения — поколебать мир, принятого гимназистом Принципом... — Гаврило Принцип (1894—1918), член организации «Молодая Босния», убил 28 июня 1914 г. в Сараеве наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его жену, что послужило поводом для начала Первой мировой войны 1914—1918 гг. Умер в тюрьме.

С. 515. *Н.В. Сперанский*. — Николай Васильевич Сперанский (1861—1921) заведовал иностранным отделом «Русских ведомостей».

С. 521. *Ричьотто Гарибальди*. — Речь идет о Риччотти Гарибальди (1847—1924), итальянском генерале, сыне Джузеппе Гарибальди, участнике Итало-турецкой войны 1911—1912 гг.

С. 523. *С момента падения Ловчена Черногории не стало. Вероятно, это очень хорошо — объединение всех балканских сербов; но все же Черногории больше нет.* — Ловчен — гора в Черногории (1660 м.), которую черногорцы называют «символом силы духа своего народа». С 1918 г. Черногория вошла в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Югославия, была в ее составе до распада в 2005 г.).

### На маленькой войне

Впервые: Последние новости. 1933. № 4386. 26 марта (из цикла «Встречи»).

С. 524. *Война еще не объявлена...* — 1-я Балканская война (1912—1913) между Балканским союзом (Болгарией, Сербией, Грецией, Черногорией) и Турцией завершилась поражением Турции. Во 2-й Балканской войне (июнь-август 1913 г.) между Болгарией и союзом Греции, Сербии и Черногории потерпела поражение Болгария. Эти войны привели к обострению международных противоречий, ускорив начало Первой мировой войны.

С. 525. *...Немирович-Данченко, болгарский любимец и участник освободительной войны...* — См. о нем очерк Осоргина «Десятый десяток». Немирович-Данченко был одним из первых русских военных корреспондентов (его даже называли «королем» военных корреспондентов). В этом качестве он принимал участие в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., в результате которой Турция потерпела поражение, а Болгария была освобождена от турецкого владычества. Получил ранение на русско-турецком фронте. Был награжден двумя солдатскими Георгиевскими крестами и орденом св. Анны (с мечами). Написал талантливую хронику военных действий: «Год войны. Дневник военного корреспондента» (т. 1—3. СПб., 1878—1879).

В 1912—1913 гг. он находился в военных соединениях славян на фронтах 1-й Балканской войны (кн. очерков «С вооруженным наро-

дом», т. 1—2, СПб., 1913). Ездил на фронты Русско-японской и Первой мировой войн.

**С. 525.** *Здесь Фердинанд...* — Речь идет о Фердинанде I Кобургском (1861—1948), князе Болгарии, с 1908 по 1918 г. — царе Болгарии (он принял вместо княжеского титула царский). Претендовал на господство Болгарии на Балканах.

*...главнокомандующий Саввов...* — Речь идет о Саве Панайотове Саввове (1864—1940), болгарском генерале. Принимал участие в 1-й Балканской войне. Во 2-й Балканской войне командовал бригадой пехоты.

*...председатель народного собрания доктор Данев, которого называют душой событий.* — Стоян Данев (р. 1858) — болгарский государственный деятель. Летом 1913 г. Данев занял непримиримую позицию по отношению к Сербии. В результате дело дошло до 2-й Балканской войны, но уже через месяц, в связи с военными неудачами Болгарии, был вынужден уйти в отставку.

**С. 526.** *...футурист Маринетти...* — См. очерк Осоргина «Итальянцы».

*...«бои под Адрианополем!»* — Греческое название города Эдирне (Турция).

**С. 527.** *Радко-Дмитриев.* — Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев (1854—1918) — болгарский генерал, получивший известность в Балканскую войну 1912—1913 гг. Некоторое время был болгарским посланником в России.

### «Десятый десяток»

Впервые: Последние новости. 1935. № 5036. 6 янв.

Василий Иванович Немирович-Данченко родился 24 декабря 1844 г. (по новому стилю — 5 января 1845 г.). Скончался 18 сентября 1936 г. в Праге. Немирович-Данченко — автор художественно-этнографических очерков, рассказов, романов, мемуаров. В 1908—1909 г. жил в Италии (Кави, Капри). О его деятельности в качестве военного корреспондента см. очерк Осоргина «На маленькой войне» и примеч. к нему. В 1922 г. Немирович-Данченко эмигрировал. М. А. Осоргин опубликовал о нем еще одну заметку — «Василий Иванович. (К юбилею)» в берлинской газете «Дни» (1925. № 659. 8 янв. ).



С. 531. ...участника нечаевского процесса, *И. Г. Прыжова*. — Иван Гаврилович Прыжов (1827—1885), русский историк и этнограф, участник революционного движения.

*В его письме Н. И. Стороженку...* — Николай Ильич Стороженко (1836—1906), историк литературы, председатель Общества любителей российской словесности.

*...речь идет, конечно, о сегодняшнем нашем юбиляре...* — Немировичу-Данченко исполнилось 90 лет.

### Про Бабушку

Впервые: Последние новости. 1929. № 2888. 17 февр.

С. 535. ...шел живой портрет *Николая Константиновича Михайловского...* — Н.К. Михайловский (1842—1904) — русский социалист, публицист, социолог, литературный критик. Крупный теоретик народничества конца 1880—1890 гг., имевший большое влияние на интеллигенцию. Вел борьбу с марксистами. Эсеры считали его основоположником своей партии. Осоргин упоминает о нем в очерках «Пятерка», «Неизвестный, по прозвищу Вернер» и др.

*«Русское Богатство»*. — Осенью 1892 г. друзьям Михайловского удалось на паях приобрести журнал «Русское богатство», в котором Михайловский стал неофициальным главным редактором (его имя появилось на обложке журнала лишь в 1900 г.). В 1893—1903 гг. Михайловский вел в журнале ежемесячный раздел «Литература и жизнь». Издательство при журнале выпускало его книги.

*...губернатор Арсеньев...* — Губернатором Перми с 1897 г. был генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Арсеньев.

С. 536. *«Молясь твоей многострадальной тени...»* — Неточная цитата из стихотворения Н.А. Некрасова, посвященного В.Г. Белинскому («Сцены из лирической комедии «Медвежья охота», 1866—1867). У Некрасова:

Учитель! перед именем твоим  
Позволь смиренно преклонить колени!

С. 536. ...его выслали из Петербурга на время, пока изгладится нежелательное впечатление от одной из его публичных речей. — Среди причин высылки Михайловского — его речь в Технологическом институте 27 ноября 1882 г. «о чести и совести».

Н.В. Мешков. — Речь идет о Николае Васильевиче Мешкове (1851—1933), пермском промышленнике, парходчике и меценате. Жертвовал большие средства на местное просвещение, а также на революционную деятельность. После Октября 1917 г. был консультантом Наркомата путей сообщения. См. о нем статью Осоргина в «Русских ведомостях» (1916. № 237, 239. 14 и 16 окт. ). Осоргин упоминает о нем в очерке «По городам», в книге воспоминаний «Времена». См. также кн.: Рабинович Р. И. Опальный миллионер. Пермь. 1990.

С. 537. ...ужин на сорок персон в зале общественного собрания. — Ужин был дан в дни приезда Михайловского в Пермь 21—23 июня 1900 г.

...имени ее произносить нельзя. — Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844—1934), публицист, автор мемуаров. В начале XX в. ее прозвали «бабушкой русской революции». Летом 1874 г. «ушла в народ». Была арестована осенью того же года и осуждена по «процессу 193-х» на сибирскую каторгу. После освобождения по амнистии в 1896 г. за несколько лет нелегально объездила 29 губерний, собирая силы для партии эсеров. В 1907 г. выдана Азефом, арестована и сослана в Сибирь. Вернулась в 1917 г. В общей сложности была лишена свободы 22 года. Октябрьскую революцию не приняла. С 1920 г. жила в Чехословакии.

С. 542. Бабушку чествуют по случаю дня юбилея. — В 1929 г. Е.К. Брешко-Брешковской исполнилось 85 лет.

### Начало «великих дней»

Впервые: Последние новости. 1933. № 4401. 10 апр. (из цикла «Встречи»).

С. 543. ...сто экскурсантов — русские учителя и учительницы. — Об экскурсиях русских народных учителей в Италию Осоргин писал

неоднократно: в газете «Русские ведомости» (1909—1913), журнале «Вестник воспитания» (М., 1912) и в выпусках специального издания «Русские учителя за границей» (М., 1910—1915).

С. 545. ...*И.И. Янжул, оставшийся в Висбадене...* — См. очерк Осоргина «Профессора». См. также: *Осоргин М.* К кончине И.И. Янжула // Русские ведомости. 1914. № 247. 26 окт.

...*переводы писем А.А. Чупрова и доклады о местопребывании М.М. Ковалевского...* — О Чупрове см. очерк «Профессора». Максим Максимович Ковалевский (1851—1916) — историк, юрист, социолог, академик Петербургской Академии наук (1914).

...*последнее письмо от Екатерины Николаевны...* — Екатерина Николаевна Янжул, литератор, жена профессора И.И. Янжула.

С. 546. ...*сидим с Ф. И. Родичевым.* — Федор Измаилович Родичев (1856—1932) — юрист, общественный деятель, участник земских съездов. Один из лидеров партии кадетов. В 1917 г. — министр Временного правительства по делам Финляндии. Эмигрант.

...*киевский генерал-губернатор Трепов...* — Речь идет о Федоре Федоровиче Трепове (1854—1938). В 1908—1914 гг. он был киевским, волынским и подольским генерал-губернатором.

С.Ю. *Витте.* — см. примеч. к очерку «Старый Париж».

...*член Государственного совета С.С. Манухин...* — Сергей Сергеевич Манухин (1856—1921) — действительный тайный советник, сенатор, министр юстиции, с 1906 г. — член Государственного совета.

С. 547. *Николай Николаевич* — великий князь Николай Николаевич (Младший; 1856—1929), внук Николая I, генерал от кавалерии. В Первую мировую войну — верховный главнокомандующий (1914—1915) и главнокомандующий войсками Кавказского фронта (1915—1917). Эмигрант.

*Густав Эрве* (1871—1944) — один из лидеров французских социалистов.

*Делькассэ.* — Речь идет о Теофиле Делькассе (1852—1923), который в 1914 г. был французским министром иностранных дел.

*Телеграмма Извольскому...* — Александр Петрович Извольский (1856—1919) был в 1914 г. русским послом во Франции.

С. 548. ...*профессор Грушевский...* — Михаил Сергеевич Грушевский (1866—1934) — украинский историк, государственный деятель.

## На пути в отечество

Впервые: Последние новости. 1933. №4540. 27 авг. (из цикла «Встречи»).

С. 550. ...*Вл. Бурцев уже в Петербурге...* — Владимир Львович Бурцев (1862—1942), русский публицист, историк освободительного движения, выпускал историко-революционные сборники «Былое» (Париж, 1908—1913).

«Русские ведомости» (покойный Н. В. Сперанский)... — См. очерки Осоргина «А.К. Маликов и В.Г. Короленко» и «В некотором царстве».

...*пытаемся устроить беспрепятственный проезд до Питера через В.А. Маклакова.* — Василий Алексеевич Маклаков (1869—1957) — один из лидеров кадетской партии, адвокат, историк русской общественной мысли. Позднее жил за границей.

С. 551. ...*покойный К.К. Арсеньев...* — Константин Константинович Арсеньев — один из руководителей партии демократических реформ (1906—1907). Сотрудник, а с 1909 г. — редактор журнала «Вестник Европы». См. о нем также примеч. к с. 512.

С. 552. ...*с «великим еврейским диктатором» В.Е. Жаботинским...* — Владимир Евгеньевич Жаботинский (1880—1940), поэт, публицист, общественный деятель. См.: Осоргин М. Жаботинский // Новое русское слово. Нью-Йорк. 1940. № 10124. 27 окт.

Осоргин сетовал, что «национальные еврейские дела украли Жаботинского у русской литературы». Из-за радикальных настроений Жаботинского его политические противники обвиняли его в «фашизме», дали ему прозвище «дуче» и «Владимир Гитлер». Но Жаботинский отвергал упреки в фашизме. Он писал, что фашизм «выходит за всякие рамки допустимой романтики», повторял, что его взгляды основываются на «демократических ценностях XX века».

С. 553. ...*русского посланника К. Гулькевича...* — Константин Николаевич Гулькевич (р. 1865) — русский посланник в Норвегии, потом в Швеции. В 1919 г. — посланник правительства Колчака в Швеции. См.: Чему свидетелями мы были.... Переписка бывших царских дипломатов. Сборник документов: В 2 кн. М.: 1998.

**С. 554.** *Двумя годами позже он стал одним из соправителей большевистской России. — это был Лурье, он же Ларин...* — Ю. Ларин (наст. имя и фам. Михаил Залманович Лурье; 1882—1932) — советский государственный деятель, экономист, литератор. В 1913 г. Лурье, признанного умирающим, выслали за границу. Он в это время начал активно сотрудничать в легальных русских периодических изданиях, в том числе и в «Русских ведомостях». Вернулся в Петербург в феврале 1917 г. При советской власти занимал ряд руководящих постов, был членом Президиума ВСНХ, членом ВЦИК, членом ЦИК СССР. Являлся одним из инициаторов перехода к нэпу. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

### Товарищи-провокаторы

Впервые: Последние новости. 1933. № 4496. 14 июля (из цикла «Встречи»).

**С. 556.** *Жорес* — Жан Жорес (1859—1914), политик, оратор, основатель газеты «Юманите», руководитель Французской социалистической партии, историк Великой французской революции. Убит националистами за несколько дней до объявления Первой мировой войны.

*...не видал на сцене Сары Бернар.* — Сара Бернар — французская актриса (1844—1923).

*...я пожал руку Бриану...* — Имеется в виду Аристид Бриан (1862—1932), видный политический деятель Франции.

*...не был знаком с Азефом...* — См. воспоминания Осоргина «Неизвестный, по прозвищу Вернер».

**С. 557.** *...он обещал им принять их в боевую организацию...* — Речь идет о Наталье Сергеевне Климовой, которая послужила прототипом для создания образа Натальи Калымовой в романной дилогии Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах». Н.С. Климова была арестована за участие в покушении на П.А. Столыпина, бежала из Новинской тюрьмы в Москве. В Париже встречалась с Савинковым и Азефом, но в боевую группу не вошла.

**С. 558.** *В другом месте я описал жизнь и смерть этого талантливого человека.* — См. очерк «Неизвестный, по прозвищу Вернер».

С. 558. *С него написал Леонид Андреев неверный портрет Вернера...* — См. примеч. к очерку «Неизвестный, по прозвищу Вернер».

*После книги Николаевского об Азефе...* — Борис Иванович Николаевский (1887—1966), участник революционного движения. С конца 1921 г. жил за границей, где собрал богатейшую коллекцию материалов по истории освободительного движения. Его самая известная книга — об Азефе: «История одного предателя. Террористы и политическая полиция» (Берлин, 1932).

С. 559. *...принял на себя разборку и отправку в музей документов московского Охранного отделения.* — См.: Осоргин М. Охранное отделение и его секреты. М., 1917.

С. 561. *Гнездниковский переулок ...* — В этом переулке размещалось Московское охранное отделение.

## Дым отечества

Впервые: Последние новости. 1933. № 4561. 17 сент. (из цикла «Встречи»).

С. 563. *...я добрался на шестом столбце фельетона...* — В газете «Последние новости» материалы («фельетоны») М.А. Осоргина публиковались, как правило, шестистолбцовыми «подвалами».

С. 565. *Страдало оно и от всяких «земгор»...* — Земгор — объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный 17 июля 1915 г. для помощи правительству в снабжении русской армии.

*...послушал там кудрявого Маркова II...* — Николай Евгеньевич Марков 2-й (1866 — 1945), один из основателей Союза русского народа и лидеров крайне правых в III и IV Государственных думах. В 1918—1920 гг. участвовал в Белом движении, затем жил в эмиграции. Автор воспоминаний.

*...разыскал В.Л. Бурцева...* — См. очерк «На пути в отечество».

С. 566. *...позвонил Степанову, товарищу министра внутренних дел...* — Василий Александрович Степанов (1871 или 1873—1920) — политический деятель, депутат Государственной думы III и IV созывов. В марте-июле 1917 г. — товарищ (заместитель) министра торговли и промышленности Временного правительства.

С. 566. ...въезд в Москву вам не разрешит Мрозовский. — Генерал Иосиф Иванович Мрозовский (1857—1934) в октябре 1915 г., когда Москва была объявлена на военном положении, был назначен главным начальником Москвы (его еще называли московским главноначальствующим). Решал вопросы поддержания правопорядка в Москве. После октябрьской революции эмигрировал во Францию. См.: *Балязин В.Н.* Императорские наместники в Первопрестольной. 1709—1917. М.: «Тверская, 13», 2000.

С. 567. Редакция «Русских ведомостей». — См. очерк «А.К. Маликов и В.Г. Короленко».

...Егоров, подписывавший газету и отвечавший по суду. — В последний раз на скамье подсудимых редактору П.В. Егорову пришлось оказаться весной 1918 г., когда по решению суда «Русские ведомости» были закрыты. См.: *Солженицын А.* Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного исследования. М., 1989. Т. 1. С. 306—307.

...В. Волгин, ставший при Ленине ректором университета... — Вячеслав Петрович Волгин (1879—1962), советский историк и общественный деятель, академик АН СССР (1930). «С 1911 г. мои статьи и заметки по внутренней жизни Европы и Америки печатались в “Русских ведомостях”», — писал Волгин в автобиографии для энциклопедического словаря Гранат.

...жив еще Максимов, обозреватель провинции и фельетонист. — См. очерк Осоргина «П.Д. Боборыкин и В.М. Соболевский».

Погиб и Белоруссов, бывший парижский корреспондент, пытавшийся в дни революции воссоздать подобие «Русских ведомостей» в Екатеринбурге... — Алексей Станиславович Белорусов (наст. фам. Белевский; 1859—1919), публицист, журналист-народник, сотрудник «Русских ведомостей», редактор екатеринбургской газеты «Отечественные ведомости». Поддерживал Колчака.

С. 568. У нас уходят три пайщика: Богданов, Анучин и Соболевский. — Речь идет о трех членах товарищества по изданию «Русских ведомостей»: Михаиле Егоровиче Богданове (1842—1920), экономисте; Дмитрие Николаевиче Анучине (1843—1923), антропологе, географе, этнографе, археологе, и В. М. Соболевском (см. очерк «П.Д. Боборыкин и В. М. Соболевский»).

...перейдя в другую, более живую газету, по духу им близкую. — Осоргин имеет в виду московскую кооперативную газету «Власть народа» (1917—1918).

## По городам

Впервые: Последние новости. 1933. № 4568. 24 сент. (из цикла «Встречи»).

С. 573. *Н.В. Мешков*. — См. очерки Осоргина «Про Бабушку». ...я участвовал в ужине... — См. очерки «Пятерка» и «Про Бабушку».

С. 574. *Моя фамилия — Цюрупа*. — См. очерк Осоргина «Кузины».

С. 575. *Это был Клафтон...* — Александр Константинович Клафтон (1871—1920) — земский деятель, публицист. Расстрелян в Омске по приговору Ревтрибунала. См. также очерк «Смерть джентльмена». Прототип профессора Белова в романе Осоргина «Книга о концах».

## Смерть джентльмена. (Из воспоминаний)

Впервые: Последние новости. 1924. № 1245. 15 мая. См. очерк «По городам».

## Сосны

Впервые: Последние новости. 1938. № 6348. 13 авг.

С. 582. *Молодой энтузиаст Витторио Подрекка...* — См. о нем очерк «Марионетки» и примеч. к нему.

С. 583. *Эремурус* — род трав семейства лилейных. Существует более 60 видов. Растут от Алтая до Гималаев.

С. 585. *...я же лишился литературной газеты, которую редактировал...* — имеется в виду московская «политико-литературная газета» «Понедельник» (февраль-июль 1918 г.), являвшаяся приложением к газете «Власть народа».

*...слыхал про Марию Спиридонову...* — М.А. Спиридонова в 1906 г. убила усмирителя крестьянских восстаний в Тамбовской губернии Г.Н. Луженовского. Приговорена к вечной каторге на Акатуе. В 1917 г. она была одним из лидеров партии левых эсеров. См. о ней также примеч. к с. 428.



С. 587. ...*Марии Спиридоновой, которая, впрочем, кажется, сидела уже в тюрьме...* — М.А. Спиридонова была противником Брестского мира и идейным руководителем левозсеровского мятежа 1918 г. в Москве, после подавления которого была арестована.

*Помнил также Лажечникова...* — Иван Иванович Лажечников (1792—1869), писатель, автор исторических романов.

### Валерий Брюсов. Клуб писателей

Впервые: Последние новости. 1933. № 4603. 29 окт. (из цикла «Встречи»).

С. 589. *Через месяц (1 декабря) исполнится шестьдесят лет со дня рождения поэта-символиста Валерия Яковлевича Брюсова.* — В.Я. Брюсов родился 1 (13) января 1873 г. Умер в 1924 г.

*...перелистывая его напечатанный дневник...* — См. кн. Брюсова «Дневники. 1891—1910» (М., 1927).

*...познакомился с ним только в 1917 году не как с поэтом, а как с... представителем цензурного ведомства.* — В 1917—1919 гг. Брюсов возглавлял Комитет по регистрации печати (с января 1918 г. — Московское отделение Российской книжной палаты).

*...кооперативное объединение издавало газету «Власть народа»...* — Газета издавалась в Москве с 28 апреля 1917 по 2 апреля 1918 г. Вышло 248 номеров газеты. В ней Осоргин опубликовал 75 статей и 2 рассказа. Выходило и литературное приложение к ней — «Понедельник Власть народа» (февраль-июль 1918 г.; 19 номеров). В ней увидели свет 19 статей Осоргина.

*...мы придумали еще два названия («Родина» и «Наша Родина»)* — Ежедневная газета «Родина», редактором которой был Осоргин, выходила в Москве в марте-мае 1918 г. (24 номера; 22 статьи Осоргина), и «Наша Родина» — в мае-июле того же года (41 номер; 29 статей Осоргина).

*...кончилось для меня позже судебным процессом, в котором меня обвинял Крыленко...* — Николай Васильевич Крыленко (1885—1938) — советский партийный и государственный деятель. С 1918 г. он был председателем Верховного трибунала, прокурором РСФСР. Газета «Родина» была закрыта решением Революционного трибунала

печати. См. «Свобода России», 12 мая; «Наша родина», 8 июня; «Известия», 9 июня.

**С. 590.** ... что-то вроде «Стойла Пегаса. — Осоргин не ошибся, именно так называлось литературное кафе имажинистов.

*Шершеневич, Мариенгоф, Кусиков...* — Речь идет о поэтах-имажинистах Владиме Габриэлевиче Шершеневиче (1893—1942), Анатолии Борисовиче Мариенгофе (1897—1962), Александре Борисовиче Кусикове (1896—1977)

**С. 592.** ... не бывал ни в нашем «Клубе писателей», хотя, кажется, был его членом, ни в образовавшемся тогда «Всероссийском союзе писателей». — Идея создания Клуба московских писателей (позднее — Всероссийского союза писателей) возникла в марте 1917 г. (см. примеч. М.З. Долинского, И.О. Шайтанова к публикации «Парижского альбома» В.Ф. Ходасевича // Октябрь. 1991. № 4. С. 195). Первые собрания клуба происходили в декабре 1917 г. Клуб московских писателей издал однодневную газету «Слову — свобода!» (10 дек. 1917), в ней принял участие и Осоргин. Всероссийский союз писателей просуществовал до 1932 г.

**С. 593.** ... секретарь (в то время один из младших — Вл. Лидин). — Владимир Германович Лидин (1894—1979) — писатель, мемуарист. Судя по документам организационного собрания Московского союза писателей (16 сентября 1918 г.) Лидин был выбран не секретарем, а кандидатом в члены правления. Впоследствии он первым из советских писателей (после многолетнего перерыва) благожелательно упомянул в воспоминаниях имя М.А. Осоргина (Люди и встречи. 1957, 1961, 1965).

*М.О. Гершензон* — Михаил Осипович Гершензон (1869—1925) — историк литературы и общественной мысли, философ, публицист, переводчик. Организационное собрание Московского союза писателей состоялось 16 сентября 1918 г. Тогда было избрано и правление союза: М. Гершензон (председатель), Ю. Балтрушайтис (товарищ председателя). Осоргин был избран членом правления.

*Г. Чулков* — Георгий Иванович Чулков (1879—1939), прозаик, поэт, критик был избран казначеем Московского союза писателей.

*Ив. Новиков* — поэт, прозаик, публицист, эссеист Иван Алексеевич Новиков (1877—1959). В 1917 г. переехал в Москву, где сблизился с Б.К. Зайцевым.

С. 593. *Ал. Койранский*. — Александр Арнольдович Койранский (1884—1968) — поэт, художник, литературный, художественный и театральный критик.

*Нат. Крандиевская (жена А. Толстого)*... — Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая (1888—1963), поэтесса.

...ее мать — *Ан. Ром. Крандиевскую, старую беллетристку*. — Речь идет о писательнице Анастасии Романовне Крандиевской (1865—1938).

... *драматург Волькенштейн*... — речь идет о Владимире Михайловиче Волькенштейне (1883—1974), поэте, драматурге, теоретике театра.

... *по тому времени поэт — Илья Эренбург*. — Илья Григорьевич Эренбург (1891—1867) в 1908 г. эмигрировал в Париж, где и вышли его первые поэтические сборники. Вернулся в Россию в 1917 г., где издал несколько поэтических сборников («Молитва о России», 1918; «Огонь», 1919; «Кануны», 1921; «Раздумья», 1921; «Зарубежные раздумья», «Опустошающая любовь» (оба — в 1922 г.).

... *допускались и публицисты, но были, кажется, только двое: И. В. Жилкин и Е. Д. Кускова*... — Речь идет о журналисте и публицисте Иване Васильевиче Жилкине (1874—1958) и Екатерине Дмитриевне Кусковой (1869—1958), публицистке, идеологе «экономизма». С 1922 г. — за границей.

*И. А. Бунин читал нам здесь свой рассказ «Петлистые уши»*. — Рассказ Бунина написан в ноябре 1916 г. и опубликован в 1917 г. (в сборнике «Слово»).

...его дочь *Надежда Владимировна*... — О Н. В. Гиляровской-Лобановой см.: *Лобанов В. Столешники дяди Гиляя*. М.: Моск. рабочий, 1972.

... *Ник. Эфрос, тогда попавший в художественные критики «Русских ведомостей»*. — Николай Ефимович Эфрос (1867—1923), будучи видным театральным и литературным критиком, заведовал в «Русских ведомостях» московским отделом.

С. 594. ... *вторым председателем был поэт Юргис Балтрушайтис, впоследствии литовский посол*... — Поэт, переводчик, театральный деятель, дипломат Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873—1944) стал в 1921 г. чрезвычайным посланником и полномочным представителем Литовской республики.

На Учредительном собрании Всероссийского союза писателей (февраль 1920 г.) во временное правление избираются Ю. Балтрушайтис, Н. Бердяев, М. Гершензон, И. Жилкин, В. Лидин, И. Новиков, А. Эфрос и др. В числе членов-учредителей находились Ю. Айхенвальд, Б. Гривфцов, М. Осоргин и др. Этот «союз получил «дар» от правительства — дом, в котором жил Герцен...» (из статьи О. Волжанина).

**С. 594.** ...*третьим Бор. Зайцев.* — См. очерк Осоргин «О Борисе Зайцеве». Зайцев был избран председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей в марте 1921 г. Бердяев стал товарищем председателя, А. Эфрос — секретарем, А. Дживелегов, В. Лидин, И. Новиков, И. Жилкин, Ю. Айхенвальд, М. Осоргин и др. избираются в члены правления. Летом 1922 г. Осоргин был избран товарищем председателя союза. В июне 1922 г. Зайцев уехал за границу. В Доме Герцена был устроен прощальный вечер, на котором выступал и Осоргин.

**С. 595.** *С тем большим удовольствием вспоминается ладная наша писательская жизнь в Москве...* — Е. Лундберг писал в дневнике: «В Союзе писателей. Никогда мы не жили так дружно... Вероятно, не все члены правления друг другу одинаково приятны. Но само собой стало так, что антипатия отступила перед союзным духом <...>. Дела много: защита квартир, библиотек, рукописей; хлопоты у Каменева о продовольствии; кого-то откуда-то надо извлекать, кто-то попал не туда, куда следует» (*Лундберг Е. Записки писателя.* Берлин, 1922. С. 211, 214).

### Как мы торговали

Впервые: Последние новости. 1934. № 4652. 17 дек. (из цикла «Встречи»).

«Книжная лавка писателей» (Леонтьевский пер., д. 4) открылась в сентябре 1918 г. Ее пайщиками были Б. Грифцов, М. Линд, Н. Минаев, П. Муратов, М. Осоргин, В. Ходасевич, А. Яковлев; позднее к ним присоединились — Н. Бердяев, А. Дживелегов, Е. Дилевская, Б. Зайцев. О Книжной лавке писателей Осоргин писал не раз, в том числе и в романе «Сивцев Вражек». См. также: *Богомолов Н.А., Шумихин С.В.* Книжная лавка писателей и автографические издания 1919—1922 годов // Ново-Басманная, 19. М.: Худож. литература. 1990. С. 84—130.

С. 596. ...писал о ней довольно подробно в библиофильском «Временнике... — См.: Осоргин М. Рукописные издания // Среди коллекционеров. 1921. № 3; Осоргин М. Книжная лавка писателей // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1928. Кн. 2. С. 19—32.

С. 597. Борис Грифцов. — Речь идет о Борисе Александровиче Грифцове (1885—1950), критике, литературоведе, искусствоведе, переводчике. См. очерк Осоргина «Без событий».

Борис Зайцев. — См. очерки Осоргина «Валерий Брюсов. Клуб писателей» и «О Борисе Зайцеве».

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ и публицист, был выслан из России в 1922 г.

...хороший советский писатель Ал. Ст. Яковлев... — Речь идет об Александре Степановиче Яковлеве (наст. фам.: Трифонов-Яковлев; 1886—1953). Был эсером, дважды подвергался арестам. Участник Первой мировой войны. В 1923 г. написал повесть «Октябрь» о революции. К его наиболее известным произведениям принадлежит повесть «Повольники» (1922). Позже много путешествовал, участвовал в спасении экспедиции У. Нобиле и поисках Р. Адмундсена.

Дживелегов Алексей Карпович (1875—1952) — литературовед, театровед; автор трудов по искусству и литературе эпохи Возрождения.

...Муратов — ныне неблагоприятно отбывший на Дальний Восток... — Павел Павлович Муратов (1881—1950) — искусствовед, историк, прозаик, литературный и художественный критик, драматург, публицист, переводчик. См. очерк «О Борисе Зайцеве». С 1927 г. Муратов жил в Париже. В 1934 г. отправился в Японию, где оказался без средств, с трудом добрался до Америки (написал об этом циклы очерков «Навстречу солнцу» и «Дни в Америке» (Возрождение. 1934).

...поэт В. Ф. Ходасевич. — Об отношениях Осоргина и Ходасевича см. статью: Осоргина Т. Как это было // Cahiers du Monde russe et sovietique. XXXI (1), janvier-mars 1990; ее же статья: Минувшее. Альманах. Нью-Йорк. № 6; М. Горький и М. А. Осоргин. Переписка / Вступ. статья, публ. и примеч. И. А. Бочаровой // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 424; Авдеева О. Свидетель истории / Осоргин Мих. Времена. М.: НПК «Интелвак», 2005. С. 368.

С. 598. ...о книге Лихтенберже... — Речь идет о книге французского профессора Анри Лихтенберже «Философия Ницше». СПб., 1901. За несколько лет выдержала более десяти изданий в России.

С. 599. ...романы Жип... — (псевд., наст. имя: Сибиль Габриэль Мари Антуанет де Рикери де Мирабо, графиня де Мартель де Жанвиль; 1849—1932) — французская писательница, автор популярных «женских» романов.

С. 600. *Крали неизменно пять томов Грабаря...* — Изданная И.Н. Кнебелем под редакцией И. Э. Грабаря «История русского искусства» (М., 1910—1916) вышла в 23 выпусках, составивших тома I, II, III, V, VI. Успел также выйти лишь один выпуск IV тома.

...*Императрицу Елизавету Алексеевну*... — Осоргин упростил в этом очерке, рассчитанном на широкого читателя, название книги. Речь идет о кн.: «Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествия в царствующий град Москву и священнейшего коронования... императрицы Елисавет Петровны...» (СПб., 1744).

...*сомовскую «Маркизу»*... — «Книга маркизы» (СПб., 1918) представляет собой сборник фривольных французских сочинений XVIII в., иллюстрированный художником К.А. Сомовым.

С. 601. *Огромные кожаные Четьи-Минеи...* — книги, описывающие годовой круг богослужения. Минея месячная содержит молитвы святым на каждый день года. Минея общая включает в себя песнопения целому лику святых. Минея праздничная содержит службы великих праздников.

...*чужеземные эльзевиры и альдины...* — Эльзевиры — название книг, возникшее от фамилии голландских типографов и издателей (1581—1712), издавших более двух тысяч книг. Альдины — издания венецианских типографов XV—XVI вв. (свыше тысячи книг).

С. 602. ...*другие книжные лавки (поэтов...)*... — Имеются в виду «Лавка поэтов», открытая имажинистами. Заметим, что поэты-имажинисты вспоминали о соперниках (Книжной лавке писателей) иронически. Например, Мариенгоф писал: «Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой умиления — точь-в-точь как стародревние салопницы от чудотворной Иверской» (*Мариенгоф А.* Роман без вранья. Л.: Прибой, 1927. С. 94).

...«*Задруга*» — с С.П. Мельгуновым и А.А. Кизеветтером... — Сергей Петрович Мельгунов (1879/80—1956) — историк, публицист.

После 1917 г. — за границей. Александр Александрович Кизеветтер (1866—1933)— историк, общественный деятель, член ЦК кадетской партии. С 1922 г. — за границей. С.П. Мельгунов и А.А. Кизеветтер и др. активно участвовали в работе кооперативного издательского товарищества «Задруга» (М., 1911—1921). В этом издательстве сотрудничал и Осоргин. В день десятилетнего юбилея «Задруги» Осоргин, находившийся в ссылке в Казани, прислал приветствие. См.: *Мельгунов С. Десять лет «Задруге» // Задруга. № 1; Сивков К. «Задруга» // Вестник артельного труда. № 3/4. Н. Уншлихт в «Обзоре деятельности книгоиздательства “Задруга”», подготовленном для ОГПУ (от 6 декабря 1922 г.), подчеркивал: «Это собрание ярко показало настоящее лицо “Задруги” <...>. На это собрание сошлись все элементы московской общественности <...>, основательно потрепанные советской властью, но не пригнутые к земле, не отступившие от своих принципов» (АП РФ. 3. 34. 25).*

С. 602. *...лавка проф. Виппера...* — Борис Робертович Виппер (1888—1967), историк искусства, музейный деятель.

### Без событий

Впервые: Последние новости. 1938. № 6371. 5 сент.

С. 604. *Борис Александрович...* — Речь идет о Б.А. Грифцове. См. очерк Осоргина «Как мы торговали».

С. 608. *...связки старых журналов — «Современник» и «Отечественные записки»...* — «Современник» — журнал, основанный А.С. Пушкиным в 1836 г. Среди его руководителей были В.А. Жуковский, П.А. Плетнев, Н.А. Некрасов, В.Г. Белинский (1837—1866). «Отечественные записки» — журнал, издаваемый в 1839—1884 гг. А.А. Краевским, Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, Г.З. Елисеевым. Под руководством Некрасова продолжал традиции «Современника». После смерти Некрасова в редакцию вошел Н. К. Михайловский.

*Пушкину удалось найти в сорной чердачной корзине бесценное сокровище: непрерывную цепь годов от 1744 до 1799.* — См. «Записки старого книгоеда». Глава «Старые календари».

С. 609. *«Тришка за грубость бит...»* — Цитата из «Истории села Горюхина» А.С. Пушкина.

*...старообрядческую лестовку...* — Лестовка — кожаные четки у старообрядцев.

**Н.Н. Кутлер**

Впервые: Последние новости. 1924. № 1249. 20 мая.

**С. 611.** ...встречи с покойным Николаем Николаевичем Кутлером... — Речь идет о Н.Н. Кутлере (1859—1924) — политическом деятеле, юристе; в 1906—1917 гг. он был один из лидеров кадетов. После Октябрьской революции занимался хозяйственной работой.

*Была камера полна членов разгромленного Комитета помощи голодающим...* — Комитет помощи голодающим был утвержден ВЦИК 21 июля 1921 г. Ленин в письме к Н. Семашко (от 12 июля) предложил использовать имена организаторов Комитета и добавил категорично: «Больше ни-че-го!» (Ленин В.И. ПСС. Т. 53. С. 24—25). Осоргин редактировал № 1—2 газеты Всерпомгола «Помощь». 28 августа в «Известиях» опубликовали постановление ВЦИК о ликвидации Комитета. 27 и 28 августа 1921 г. члены Комитета помощи голодающим были арестованы по прямому приказу Ленина. Среди арестованных находились Е. Кафьева, Н. Кишкин (обвиненный в «подготовке государственного переворота»), Д. Коробов, Е. Кускова, М. Осоргин («по делу Кишкина»), С. Прокопович, И. Черкасов, М. Щепкин, Б. Зайцев, П. Муратов, М. Сабашников и др.

**Как нас уехали**

*(Юбилейное)*

Впервые: Последние новости. 1932. № 4176. 28 авг.

**С. 614.** *Десять лет...* — Осоргин был выслан из России в августе 1922 г.

**С. 615.** ...почтенному философу, с которым мы тогда делили деревенский уют и который сейчас живет в Кламаре... — Речь идет о философе Н.А. Бердяеве, в 1922 г. высланном за границу. См. о нем воспоминания Осоргина «Как мы торговали».

*...в Москве идут аресты писателей и профессоров...* — Аресты производились в ночь с 16 на 17 августа 1922 г.

**С. 617.** ...в сторону летней резиденции многовластных людей... — Речь идет об Архангельском.



С. 617. ...*всех высылают за границу*. — 10 августа 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) утвердило списки «антисоветской интеллигенции» для высылки за границу (по сообщению И. Уншлихта). В списках значились: Ю. Айхенвальд, Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Волковысский, Е. Замятин, Н. Лосский, И. Матусевич, М. Новиков, М. Осоргин, А. Петрищев, В. Розенберг, Ф. Степун, П. Сорокин, С. Трубецкой, С. Франк, Б. Харитон и др. Осоргин в этих материалах характеризовался следующим образом: «Правый кадет несомненно антисоветского направления. Сотрудник «Русских ведомостей». Редактор газеты «Прокукиша». Его книги издаются в Латвии и Эстонии. Есть основание думать, что поддерживает связь с заграницей...» (РГАСПИ. 17. 3. 307).

...*в дружеский дом, в частную лечебницу*... — в лечебницу А.М. и Э.Н. Бакуниных на Остоженке.

С. 618. ...*к зданию ГПУ, где я сидел дважды*. — Впервые Осоргин (тогда — сотрудник газеты «Кооперация») был арестован в июне 1919 г. Освобожден 21 июня благодаря хлопотам Ю. Балтрушайтиса и Л. Каменева (см. — «Кооперация», 21 и 25 июня). О втором аресте в августе 1921 г. см. ниже.

С. 619. *Новиков* Михаил Михайлович (1876—1965) — ректор Московского университета. В 1919—1920 гг. — член Государственной думы. Выслан в 1922 г.

С. 620. ...*изложение нашей вины: нежелание примириться и работать с советской властью*». — Из протокола допроса М.А. Осоргина (от 17 августа): «...не только не признаю себя виновным, но совершенно не понимаю, чем вызвано данное обвинение и почему могло бы обо мне, литераторе, давно уже политической деятельностью не занимавшемся, составиться такое мнение. <...> Считал, что интеллигенция может и должна работать во имя культуры народа, каждый на своем поприще» (*Поликовская Л.* М.А. Осоргин в собственных рассказах и документах ГПУ / Минувшее. Исторический альманах. Вып. 19. М.; СПб., 1996. С. 203—207).

*Может быть, передаю не точно — но смысл таков*. — Л.В. Поликовская, проанализировав архивные материалы ГПУ, пришла к выводу: «Теперь можно сказать, что неточности минимальны. <...> Не документы заставляют нас по-иному посмотреть на мемуары Осоргина, а наоборот, тексты Осоргина — ключ к его «делу», без которого

в нем было бы труднее разобраться и восстановить истину. <...> Документы только укрепляют доверие к Осоргину-мемуаристу» (Там же. С. 206—207).

**С. 620.** ...достаточно опыта Комитета помощи голодающим, призванного властью для срочной совместной работы: это случайно не кончилось расстрелом. — После ареста в августе 1921 г. членов Комитета помощи голодающим, среди которых находился и Осоргин, его приговорили постановлением президиума ВЧК от 1 и 8 ноября 1921 г. к высылке в Краснококшайск (Йошкар-Ола), но по болезни он остался в Казани. После ходатайства Политического Красного Креста в апреле 1922 г. получил разрешение вернуться в Москву.

*Лев Троцкий в интервью с иностранным корреспондентом...* — Троцкий говорил Луизе Брайант, корреспондентке американской газеты «Интернейшнл Ньюс Сервис»: «Те элементы, которые мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. В случае новых военных осложнений, — а они, несмотря на все наше миролюбие, не исключены, — все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. Мы вынуждены будем расстрелять их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас в спокойный период выслать их заблаговременно». Он называл эти действия власти «предусмотрительной гуманностью» (Цит. по статье М.С. Геллера «Первое предостережение...» // Вопросы философии. 1990. № 9. С. 59).

**С. 621.** ...успели заарендовать все классные места на уходящем в Штеттин немецком пароходе. — Высланные отправлялись в Штеттин (ныне Щецин в Польше) на пароходе «Oberburgermeister Haken». Вместе с Осоргиным плыли Ю. Айхенвальд, Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, И. Ильин, А. Кизеветтер, В. Кудрявцев, М. Новиков, В. Озерецковский, В. Розенберг, С. Трубецкой, С. Франк и др.

*Многие хлопотали, чтобы их оставили в РСФСР, но добились этого только единицы.* — Имеется в виду Е. Замятин.

**С. 623.** Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — литературный критик, переводчик. Выслан за границу в 1922 г. В материалах для высылки он характеризовался так: «Литератор, типичный идеолог кадетизма в искусстве. Не скрывает своего недоверия и антипатии к Октябрьской революции, презирает творчество революционно настроенной молодежи... В 1918 г. писал статьи на политические темы... Харак-

теристика Троцкого более или менее приемлемая, а потом восславил Гумилева...» (РГАСПИ. 17. 3. 307).

С. 624. ...недавно умерший в Праге редактор «Русских ведомостей» Вл.А. Розенберг. — См. очерк «Римлянин и варвар» и «П.Д. Боборыкин и В.М. Соболевский».

Я помню, кому было поручено произнести ответную речь — но не назову имени... — Речь идет о Н.А. Бердяеве.

С. 625. Русская газета в Берлине не знала о нашем приезде. — Газета «Руль» (Берлин) вскоре сообщила список всех высланных из Москвы и опубликовала (в номере за 30 сентября 1922 г.) беседу с одним из них, историком В. А. Мякотиним.

Некоторые сохранили свое «гражданство», другие перешли в подданство Нансена. — Фритьоф Нансен (1861—1930) в 1922 г. стал верховным комиссаром Лиги наций по делам беженцев и учредил Нансеновское паспортное бюро, которое и обеспечивало русских эмигрантов паспортами. Осоргин сохранял советское гражданство. См. примеч. к очерку «Местечко на Ривьере».

### Тем же морем

Впервые: Современные записки. Париж. 1922. № 13. С. 214—227.

С. 626. *Salti mortali (um.)* — смертельный прыжок.

С. 627. Республика Сан-Марино — государство на Апеннинском полуострове, находящееся в окружении территории Италии.

С. 639. ...книжка Журавленко «Народ на войне» — ошибка Осоргина. Речь идет о книге Софьи Федорченко «Народ на войне» (Киев, 1917). См. о ней: Литературное наследство. Т. 93. 1983.

С. 640. ...омолодиться по методу Штейнаха... — Эйген Штейнер (1861—1944; австрийский физиолог. Автор трудов по перевязке семенного протока у млекопитающих с целью омоложения.

### О Борисе Зайцеве

Впервые: Последние новости. 1926. № 2087. 9 дек. . См. также статью М. Осоргина: «Б.К. Зайцев» (Новая русская книга. Берлин. 1923. № 3/4).

С. 643. ...я прочел рассказ «Волки» Бориса Зайцева... — Впервые рассказ был опубликован в 1902 г.

...думается, в 1908 году, мы познакомились в Риме... — Борис Константинович Зайцев (1881—1972) утвердительно называет 1908 г. как время их знакомства. См.: Зайцев Б. Мои современники / Сост. Н.Б. Зайцева-Соллогуб; вступит. статья Б. Филиппова. Лондон, 1988, С. 129. Зайцев писал об Италии: «С ней впервые я встретился в 1904 г. — а потом не раз жил там <в 1907—1911 г.> — и на всю жизнь она вошла в меня...» (О себе // Возрождение. Париж. 1957. № 70. С. 26).

...три годами позже уже переводил Дантов «Ад» прекрасными строками, по странной случайности до сих пор не напечатанными. — Перевод на русский язык «Божественной комедии» (ее первой части «Ад») Данте, осуществленный Б.К. Зайцевым ритмической прозой, впервые был издан в Париже в 1961 г.

...вплоть до сегодняшнего рабства под игом одной консьержки... — Осоргин и Зайцев жили в Париже в одном доме.

С. 644. ...день юбилея... — 29 января (10 февраля) 1926 г. Б.К. Зайцеву исполнилось 45 лет.

...строки «Голубой звезды», «Дальнего края», «Улицы св. Николая». — Повесть Зайцева «Голубая звезда», которую он считал «самой полной и выразительной», была опубликована в 1918 г., сборник рассказов «Улица св. Николая» — в 1923 г.

С. 645. ... для заседания в италофильском нашем кружке «Студио Италиано»... — «Lo Studio Italiano» — общество итальянской культуры в Москве было создано в апреле 1918 г. «А вот наше Studio Italiano. В Лавке Писателей вывешивается плакат: “Цикл Рафаэля”, “Венеция”, “Данте”. Председатель этого вольного учреждения — П. Муратов. Члены — Грифцов, я, Дживелегов, Осоргин и др.», — вспоминал Зайцев в мемуарной книге «Москва» (Зайцев Б. Мои современники / Собр. соч. М.: Русская книга, 1999. С. 118).

Муратов. — См. очерк Осоргина «Как мы торговали». Автор неоднократно переводившейся книги «Образы Италии».

Дживелегов. — См. воспоминания «Как мы торговали».

...покойный ныне Миша Хусид... — Речь идет о Михаиле Михайловиче Хусиде (ум. 1923), историке искусства, критике.

Дорогим визитером приехал А. Блок прочесть свои итальянские стихи... — На вечере в «Студио Италиано» 6 мая 1921 г. читал свои

итальянские стихи А. Блок и в этот же день с докладом выступал Осоргин. П.П. Муратов вспоминал о «Студии» и Лавке писателей, как о последних из «вольностей российских» (*Муратов П.П. Воспоминания о Блоке // Возрождение. 1927. 8 сент.*).

С. 645. ...в смертельной схватке с сыпняком... — Зайцев заболел брюшным тифом в 1922 г.

Я помню и еще дни, стократ более тяжелые дни семьи Зайцевых... — Племянник писателя, офицер, был убит толпой в феврале 1917 г.

...в «Золотом узоре»... — Речь идет о романе Зайцева «Золотой узор» (Прага, 1926).

...отъезд за границу... — Зайцев уехал в 1922 г. Жил сначала в Германии, потом в Италии, с 1924 г. обосновался в Париже.

С. 646. ...в «Конторе Аванесова». — Варлаам Александрович Аванесов (1884—1930), советский государственный деятель, с 1920 г. — один из руководителей Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

С. 647. Антон Крайний — псевдоним русской писательницы и критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869—1945).

### Трагедия писателя

Впервые: Последние новости. 1929. № 3100. 17 сент.

Осоргин и Соболев (1888—1926) вместе сотрудничали в газетах «Луч» (конец 1917 — начало 1918 г.), «Власть народа» (апрель 1917 — март 1918), «Понедельник “Власти народа”» (февраль — июль 1918), «Родина» (редактор М. Осоргин; апрель — май 1918), «Наша родина» (май — июль 1918 г.), «Вечер Москвы» (май — декабрь 1918 г.); участвовали в однодневной газете «Слову — свобода!» (декабрь 1917 г.) и в газете «Щит», приуроченной к открытию Учредительного собрания (январь 1918 г.), встречались на собраниях Клуба московских писателей, собраниях Московского союза писателей. В сентябре 1918 г. Соболев уехал в Киев.

Осоргин, хорошо знавший Соболева, оставил о нем (кроме «Трагедии писателя») еще несколько статей, напечатанных в «Последних новостях»: Андрею Соболю (1923. № 1061. 7 окт. ); «Об единстве русской литературы. Письмо друго-врагам» (1925. 19 июня. № 1580. № 1); «Из Италии» (1926. № 1971. 15 авг. ).

С. 648. *Больше всего читался его роман «Пыль»...* — Роман Соболя «Пыль» был издан в 1916 г.

С. 649. *...успел вернуться в Россию, конечно, нелегально, но под своей фамилией, переменив только имя.* — Ю.М. Соболев принимал участие в революционном движении с 1904—1905 г. В 1906 г. осужден на четыре года каторги. В 1909 г. бежал за границу. В 1915 г. вернулся в Россию (под именем Андрея Соболя) и добровольно пошел на фронт.

*...Соболев попал за решетку...* — В апреле 1921 г. Правление всероссийского союза писателей ходатайствовало об освобождении А. Соболя (арестован в феврале — марте 1921 г. в Одессе). В автобиографии Соболев писал, что был обвинен в принадлежности к партии эсеров и «литературной деятельности». Благодаря хлопотам друзей в конце августа 1921 г. Соболев был освобожден.

С. 650. *Когда за решеткой оказался я...* — Об Осоргине, арестованном в августе 1921 г. по делу Комитета помощи голодающим, ходатайствовало Московское отделение Всероссийского союза писателей. Об освобождении Осоргина просили Б. Зайцев, М. Гершензон, Н. Бердяев, В. Фигнер. Бердяев и Зайцев ходатайствовали перед Каменивым.

*Прочтя однажды его статью в коммунистической «Правде»...* — См.: Осоргин М. Андрею Соболю / Последние новости. 1923. № 1061. 7 окт.

С. 652. *Когда Соболев после покушения на самоубийство приехал за границу, в газете «За свободу» Арцыбашев приветствовал его статьей, из которой можно было почерпнуть сведение, что Соболев — бывший мелкий карманный воришка...* — Михаил Петрович Арцыбашев (1878—1927), русский писатель, после 1917 г. — за границей. Газета «За свободу» выходила в Варшаве (1921—1932).

23 февраля 1925 г. Осоргин писал Горькому: «У Вас в Сорренто Андрей Соболев. Я всегда любил его за честность, пылкость и за то, что он отличный товарищ. Но он, конечно, путаник и немножко истерик. Мне очень хотелось бы использовать его здесь пребывание, чтобы перекинуть хоть зыбкий мост между “здесь” и “там”. <...> Восстановить напрасно порванную связь многих из нас с многими “там” и можно, и нужно». «Сейчас получил от Соболева письмо, что он вернулся в Сорренто. <...> Вот только жалею, что не увижу его. Я ему пишу очень много» (письмо от 23 февраля 1925 г.). «Смерть Соболева не удивила

меня; да он и сам писал мне, что иначе кончить не может. Но страшно и тяжело. У меня осталась большая с ним переписка, и интересная. Не хочется трогать ее, — как-то рано. Но через год, может быть, опубликую что-нибудь, имеющее интерес общий» (письмо от 21 июня 1926 г.). (См. в кн.: С двух берегов. М.: ИМЛИ РАН, 2002).

С. 652. *Когда Соболев покончил с собой, в «Днях»....* — А. Соболев застрелился 7 июня 1926 г. Газета «Дни» (под редакцией А.Ф. Керенского) выходила в Берлине, потом в Париже в течение 1922—1933 гг. Осоргин активно в ней печатался.

С. 653. *«Революционная Россия»* — эсеровская газета, которая выходила в Юрьеве, потом Берлине и Праге в течение 1920—1931 гг.

С. 655. *...не прихвостням, вроде Родова...* — Речь идет о поэте и рапповском критике Семене Абрамовиче Родове (1893—1968).

*...«умникам», вроде Когана...* — Петр Семенович Коган (1872—1932), историк литературы, критик.

*...жеманфишистам, как Алексей Толстой...* — от французского слова «*jem'enfichisnie*» («наплевательское отношение»).

С. 657. *Желябов.* — Речь идет о революционере-народнике Андрее Ивановиче Желябове (1851—1881). Организовал покушение на Александра II. 3 апреля 1881 г. повешен в Петербурге.

### Памяти Ив. Болдырева

Впервые: Последние новости. 1933. № 4446. 25 мая.

С. 659. *Иван Андреевич Болдырев* (Шкотт; 1903—1933) опубликовал отрывки из повести «Мальчики и девочки» в пражском журнале «Воля России» (1928). Отдельным изданием повесть вышла под редакцией М.А. Осоргина (Париж; Берлин, 1929). Осоргин знакомил Горького с парижскими литературными новинками. Он писал, в частности: «Еще любопытен Болдырев (“Мальчики и девочки” в “Воле России”), тоже недавно приехавший из СССР...» (письмо от 18 января 1929 г.). 8 ноября он повторил: «Не без способностей юноша Ив. Болдырев; на днях выйдет его первая книжка “Мальчики и девочки” (из жизни советской школы), я Вам вышлю; он сравнительно недавно из России...» (письмо от 8 ноября 1929 г.). «...сегодня мой молодой пи-

сатель, Ив. Болдырев, посылает Вам сегодня же вышедшую первую его книгу “Мальчики и девочки”; не удалось издать ее в серии “Новые писатели”, которую мне предложено редактировать. Ив. Болдырев — недавний москвич, один из студентов, “вычищенных” и посланных в Нарым, откуда он бежал. “Мальчики и девочки” — повесть из жизни воспитанников советской средней школы. Автор немного “под Ремизова”, и не к своей выгоде; но это с него сойдет скоро; он кажется мне способным...» (письмо от 1 декабря 1929 г.). «Болдырев грамотный и культурный человек, но я вполне с Вами согласен, что пишет он “от ума” и “ради формы”. Думаю, что он выправится. Ему сейчас очень трудно жить — не до литературы» (письмо от 9 февраля 1930 г.) См. кн.: С двух берегов. Болдырев покончил собой в возрасте 30 лет.

С. 662. ...по кружку «Кочевье» — кружок молодых писателей (Париж), возникший в 1928 г. Активное участие в нем принимал критик Марк Слоним.

### Андрей Белый

Впервые: Последние новости. 1934. № 4684. 18 янв. 1. «Андрей Белый»; 1934. № 4691. 25 янв. 2. «Белый в Берлине» (из цикла «Встречи»).

С. 665. Умер Андрей Белый... — настоящее имя и фамилия: Борис Николаевич Бугаев (1880—1834). А. Белый умер 8 января 1934 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

С. 666. «...мы в Штейнере перекрестились оба...» — Рудольф Штейнер (1861—1925) — немецкий философ, основатель антропософского религиозно-мистического учения. А. Белый познакомился с ним весной 1912 г. В 1913 г. Белый слушал его лекции в Германии, Норвегии и Дании. В 1912—1916 гг. Белый прослушал более 400 лекций Штейнера.

С. 668. Эфрос Абрам Маркович (1888—1954) — искусствовед, театровед, литературный критик, переводчик.

...«юоновски вписанный образ». — Речь идет о художнике Константине Федоровиче Юоне (1875—1958).

Вот ко мне на утес... — два четверостишия из стихотворения А. Белого «На горах» (1903).



С. 669. ...несколько фельетонов под начало «Котика Летаева»... — Главы повести Белого «Котик Летаев» были напечатаны в «Русских ведомостях» (в ноябре-декабре 1916 г.).

...сын почтенного профессора-математика Николая Васильевича Бугаева. — Отец Белого Н.В. Бугаев (1837—1903) был деканом физико-математического факультета Московского университета.

...сам — воспитанник двух факультетов. — В 1899—1903 гг. Белый учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета.

...из антропософа превращался в «скифа» (с Ивановым-Разумником, Блоком и другими). — Имеется в виду принадлежность к литературной группе «Скифы» (1917—1918), куда входили кроме А. Белого Р. Иванов-Разумник, А. Блок, А. Ремизов, Е. Замятин, Н. Клюев и др.

...вышел его большой роман «Петербург». — Опубликован в 1913—1914 гг. в альманахе «Сирин»; отдельное издание — Пг., 1916.

С. 671. ...о своем участии в постройке антропософского храма — Гетеанума. — В строительстве антропософского центра — «храма-театра» Гетеанума (Швейцария) Белый принимал участие в 1914—1916 гг.

С. 672. «Звезда» — сборник стихов Белого 1914—1918 гг.

С. 674. «Маленький балаган на маленькой планете “Земля”»... — Стихотворение из книги Белого «После разлуки» (написано в июне 1922 г.).

С. 678. ...роман «Москва» остался незаконченным. — Речь идет об эпическом цикле А. Белого «Москва». Кроме «Московского чудака» и «Москвы под ударом» к нему относится роман «Маски» (1932).

Золотому блеску верил... — строки из стихотворения А. Белого «Друзьям» (1907). Осоргин цитирует стихотворение с ошибкой. Вместо: «Снесите ему венок» — надо: «Снесите ему цветок...».

## Дожди

Впервые: Последние новости. 1937. № 5966. 26 июля.

С. 679. ...папка гравюр сухой иглой «Дожди», работы Фалилеева. — Вадим Дмитриевич Фалилеев (1879—1950), график. С 1924 г. — за границей. Серия офортов «Дожди» (1918—1919) издана в виде альбома.

С. 680. *От тех дней остались рукописные издания с любовно-расписанными титульными листами или наклепными картинками...* — См. статью: Богомолов Н.А., Шумихин С.В. Книжная лавка писателей и автографические издания 1919—1922 годов // Ново-Басманная, 19. М.: Худож. литература, 1990. С. 84—130. В библиографическом списке автографических изданий значится 33 книги Мих. Осоргина (С. 119—123).

## Кануны

Впервые: Последние новости. 1933. № 4302. 1 янв.

С. 686. *...да будет собственных Платонов...* — строки из оды М.В. Ломоносова «На день восшествия на престол Императрицы Елисаветы Петровны (1747 г.). Первые слова цитируемой строки Осоргин изменил, применяя их к своей мысли.

С. 687. *...Свердлов был еще сам студентом...* — Советский партийный и государственный деятель Яков Михайлович Свердлов (1855—1919) закончил пять классов гимназии. Студентом не был. Екатеринбург переименован в Свердловск в 1924 г.

*...год первой Государственной Думы...* — учреждена Манифестом 17 октября 1905 г. Государственная дума первого созыва существовала с 27 апреля по 8 июля 1906 г.

С. 690. *...вернулись с поля побед Фердинанд и Немирович-Данченко.* — Имеются в виду болгарский царь Фердинанд I Кобургский (1861—1948) и писатель Вас.И. Немирович-Данченко (см. очерк, ему посвященный).

*Сильвестр Щедрин.* — Речь идет о Сильвестре Феодосьевиче Щедрине (1791—1830), русском художнике, который с 1818 г. работал в Италии.

С. 691. *Черемис* — до 1918 г. так называли марийцев.

С. 692. *...республики народов Мари?* — Марийская автономная область в составе РСФСР была образована в ноябре 1920 г.

## Пушкин — книголюб

Впервые: Пушкин, 1837—1937. Однодневная газета, изданная к 100-летию со дня смерти поэта. Париж. 1937.

С. 693. В «Статьях и заметках» В.Е. Якушкина так рассказывается о последних минутах поэта ... — Речь идет о кн.: Якушкин В.Е. О Пушкине: Статьи и заметки. 1899. Изд. М. и С. Сабашниковых.

Вячеслав Евгеньевич Якушкин (1856—1912) — историк, публицист, общественный деятель. Внук декабриста И.Д. Якушкина. Описал рукописное наследие Пушкина, был редактором академического издания его сочинений.

*Библиотеку Пушкина спас от гибели и описал покойный Б.Л. Модзалевский...* — Борис Львович Модзалевский (1874—1928), литературовед, библиограф, архивист. В сентябре 1900 г. он вывез из с. Ивановское Бронницкого уезда Московской губернии (имения А.А. Пушкина, внука поэта) и перевез в Академию наук библиотеку А.С. Пушкина (в 1906 г. она была приобретена Академией) и в 1910 г. издал ее подробное описание.

*...библиофагия, библиофагия.* — Библиофагия — чувственное влечение к бумажному телу книги, толкающее к накоплению книжных богатств без их использования (см.: *Кржижановский С.* Словарь литературных терминов. Т. 2. 1925). Е.И. Аркадьев в «Словаре библиофила» объясняет, что библиофаг — это человек, который никому не позволяет пользоваться своей библиотекой, хотя бы и с научными целями. Библиофаг, по определению Аркадьева, — человек, который глотает, пожирает книги («книжный безумец»). В XVII в. некоторых авторов приговаривали к съедению написанных ими памфлетов: в этом случае, «поглощение книг» не было добровольным.

С. 694. ...у Сопикова, «Опыт» которого стоял у него на полках. — В 1813—1821 гг. был издан «Опыт российской библиографии» (в пяти частях), подготовленный книготорговцем, издателем и библиографом Василием Степановичем Сопиковым (1765—1818).

С. 695. ...комедия Коцебу, вышедшая в переводе А. Малиновского... — Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу (1761—1819) — немецкий драматург и романист. Алексей Федорович Малиновский (1762—1840) — историк, сотрудник Московского архива Коллегии иностранных дел, переводчик.

*...драма С. Глинки...* — Речь идет о Сергее Николаевиче Глинке (1775—1847), русском писателе, журналисте.

С. 697. «...в библиотеке А.С. Норова ныне принадлежащей князю Н.И. Трубецкому». — Авраам Сергеевич Норов (1795—1869) — государ-

ственный деятель (министр народного просвещения), путешественник, ученый, библиофил. У него было две библиотеки, в которых находились редкие старопечатные издания. Одну из них он продал князю Н.И. Трубецкому, вторую — Румянцевскому музею (более 14 тысяч томов).

### Судьба старой книги

Впервые: Последние новости. 1932. № 4145. 22 июля.

Статья опубликована под псевд.: Ст. книг. (Старый книгоед).

С. 698. *«Международная книга»* — российская внешнеторговая организация, образованная 11 апреля 1923 г. Известны 78 каталогов антикварных книг (1924—1938), которые вышли под маркой магазина «Международная книга» (Москва, Кузнецкий мост).

...издания *«Академии»*. — «Academia» — книжное издательство, образованное в Ленинграде. Существовало в 1921—1937 гг., в 1929 г. перенесено в Москву. Известно качественными изданиями.

С. 699. ...*«Четвероевангелие» Мстислава 1574 г.*, *«Триодъ постная» Андроника Невежи 1589 г.*, *«Василия Великого Книга о постничестве»*; виленское *«Евангелие толковое»*, виленская же перепечатка *Острожского «Псалтиря»*. — В 1569 г. Петр Тимофеевич Мстиславец, соратник русского первопечатника Ивана Федорова, приехал в Вильно и основал там типографию. Там он и напечатал, в частности, *«Четвероевангелие»* (1574—1575), в котором помещены четыре страничные гравюры с изображением евангелистов, и *«Псалтирь»* (1576). В этом же году он перебрался в имение князей Острожских. Андроник Тимофеевич Невежа (ум. 1603) — русский типограф, ученик Ивана Федорова. Известны 13 выпущенных им изданий. Среди них — *«Триодъ постная»* (1589). См. также: Василий Великий. Книга о постничестве. 1594 (издана в Остроге).

...книга *«Кормчая»*, напечатанная при патриархе Иосифе в Москве 1650 года в лист. — В 1642 г. патриархом был избран архимандрит Иосиф. Вскоре патриарх оказался в оппозиции к придворному кружку царя Алексея Михайловича, и его оттеснили от церковной власти. При Иосифе активно развивалось книжное дело: при нем было напечатано 36 изданий. В 1650 г. была подготовлена *«Кормчая»* («Но-

моканон»), но в свет эта книга не вышла. Ее издали лишь при Никоне в 1652 г.

**С. 700.** ...покойный Дягилев много приобрел... — В последние годы жизни Сергей Павлович Дягилев (1872—1929) посвятил себя коллекционированию. С. Лифарь вспоминал: «Редких изданий, иногда уникамов, в библиотеке Дягилева было много. Здесь невозможно не только перечислить их, но и дать о них общее представление; укажу только, что одних книг первопечатника Ивана Федорова было у Сергея Павловича три (Апостол, Часовник и первая грамматика)...».

...аукционы в зале Друо... — Первый аукцион в зале Друо состоялся в 1852 г. До сих пор этот аукционный дом остается одним из самых авторитетных в мире.

### Жалоба книги

Впервые: Последние новости. № 4152. 1932. 4 авг.

Статья опубликована под псевдонимом: Ст. книг.

**С. 702.** В начале XIV века ученый прелат Ричард де Бери написал трактат о книге («Филобиблон» — «Любокнижие»)... — Ричард де Бери (1287—1345) — английский государственный и церковный деятель, воспитатель будущего короля Англии Эдуарда III, собрал лучшую в стране частную библиотеку. Книгу «Philobiblon» («Любокнижие»), которая является старейшим библиофильским памятником Средневековья, он передал, вместе со всей своей библиотекой (1500 томов), в библиотеку Оксфордского университета.

...переведенный на русский язык А. Малениным... — Речь идет об Александре Иустиновиче Маленине (1869—1938), библиографе и книговеде, филологе, президенте Русского библиографического общества.

### Библиографическая сенсация

Впервые: Последние новости. 1935. № 5292. 19 сент.

Статья подписана: Мих. Ос.

**С. 704.** ...описано Геннади, А. Бурцевым... — Речь идет об известных библиографах Григории Николаевиче Геннади (1826—1880) и Александре Евгеньевиче Бурцеве (1863—1938).

**Сенная площадь**

Впервые: Последние новости. 1939. № 6622. 15 мая.

**С. 706.** ...ликвидировать рынок на Сенной площади Петербурга... — Первые дома с лавками были построены на Сенной в 1740-х гг. В 1753—1765 гг. по проекту А.В. Квасова и на средства купца Саввы Яковлева на площади была возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы (известная как «Спас-на-Сенной»). Площадь реконструировали в 1930-х гг. Снесли рынок, надстроили дома вокруг площади. Церковь тогда устояла (ее снесли в 1961 г.). В 1991 г. площади было возвращено ее историческое название: в советские годы она была переименована в площадь Мира.

*Нет и в Москве Охотного ряда... ни даже самой Сухаревой башни...* — Перестройка Охотного ряда началась в 1924 г. В 1930 г. снесли церковь Параскевы. Сухарева башня, возведенная в 1692—1695 гг., несмотря на протесты известных историков и архитекторов, была снесена в 1934 г. по распоряжению Сталина. Он писал Кагановичу в сентябре 1933 г.: «Архитекторы, возражающие против сноса, слепы и бесперспективны».

**С. 707.** ...он был сотрудником болгаринской газетки «Северная Пчела». — Газета издавалась в 1825—1857 гг. Фаддеем Венедиктовичем Булгариным (1789—1859), известным журналистом, беллетристом и критиком.

**С. 708.** «...кисти Русского Гогарта». — Речь идет об английском художнике и графике Уильяме Хогардте (1697—1764).

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЗАМЕТКИ СТАРОГО КНИГОЕДА

ВОЗЛЮБЛЕННОЙ (Похвальное слово) .....	7	716
I. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ .....	18	716
Образец сравнения с прошлым .....	20	—
«Райская птичка. Мечтание» .....	21	—
Выводы личного мнения .....	25	—
II. ЧИТАТЕЛЯМ ОТВЕТ ПО НЕОБХОДИМОСТИ .....	27	717
«Щеголеватая аптека» .....	29	—
Чувствительность в титуле .....	32	—
III. О СТЕПЕНИ ИНТЕРЕСА .....	34	718
История блохи .....	35	—
Описание вши .....	35	—
Описание курицы .....	36	—
О приличествующем слоге .....	38	—
V. НЫНЕ И ТОГДА .....	41	718
Из статеечки «Камин» .....	42	—
Из статеечки «Ручеек» .....	43	—
Любопытная поэма про обед .....	43	—
Необходимое пособие .....	45	—
Об английской мастерице .....	47	—
V. КНИЖКИ, ПРИВОДИМЫЕ ЗА ПОЛЕЗНОСТЬ .....	48	719
Как себя вести .....	49	—
Гораздо лучше, чем в Ницце! .....	51	—

VI. ДОЛЯ ПИСАТЕЛЯ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА .....	54	719
О Париже .....	57	—
«Отрада в скуке» .....	58	—
VII. <<Танцевальной учитель»> .....	60	—
«Танцевальной учитель» .....	61	—
О стихотворце .....	63	—
Сорный язык .....	65	—
VIII. СКОЛЬ МНОГО НЫНЕ ИЗДАЕТСЯ! .....	67	720
Четыреста и триста лет назад .....	68	—
Двести лет назад .....	69	—
Полтора ста лет назад .....	71	—
Поближе к нам — сто лет .....	72	—
IX. ЖЕЛАЯ ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ .....	74	721
Против предрассудков .....	76	—
Тут взволнуется и старый книгоед .....	77	—
Как нужно нюхать? .....	78	—
X. ПОЗДРАВЛЯЮ! .....	80	721
Когда это завелось? .....	80	—
Доброхотному читателю .....	82	—
Нам-то хорошо! .....	84	—
XI. ОЦЕНИВАЮ ЧЕЛОВЕКА .....	86	722
Опечаточка .....	87	—
«Радищевская» .....	89	—
Устрицы .....	91	—
XII. СО ВСЯКИМ СЛУЧАЕТСЯ .....	93	723
«Символы и эмблематика» .....	94	—
Еще книжки Ивана Сергеевича .....	95	—
XIII. «ПРИГОЖАЯ ПОВАРИХА» .....	100	723
Письмовник Курганова .....	102	—
Что за календари? .....	105	—
XIV. <МОДНЫЙ ЖУРНАЛ> .....	107	724
Модный журнал .....	110	—
Письмо Кутузова .....	112	—
XV. ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ .....	113	724
XVI. НАВОДНЕНИЕ 1824 ГОДА .....	122	724
XVII. «НАСТОЯЩИЙ РЕВИЗОР» .....	128	725
По части розог .....	131	—



XVIII. О ВЕЛИКОМ ЛЮБИТЕЛЕ КНИГИ .....	135	725
XIX. «МОПС БЕЗ ОШЕЙНИКА» .....	141	726
XX. ЖИЗНЬ ВАНЬКИ КАИНА .....	148	727
XXI. <О ЛОШАДИ В ОЧКАХ> .....	154	727
О лошади в очках .....	155	—
Об изяществе нравов .....	156	—
Ошибки всегда возможны .....	158	—
XXII. СУДЬБА РЕДКОСТЕЙ .....	160	727
«Масон без маски» .....	163	—
XXIII. ЮБИЛЕЙ ПОЭТА .....	167	728
О читателе .....	168	—
XXIV. «КАРТИНКИ РУССКИХ НРАВОВ» .....	171	728
От издания .....	172	—
«Корнет» .....	173	—
XXV. «НИЩИЕ НА СВЯТОЙ РУСИ» .....	178	729
XXVI. ВСТРЕЧА С ЖЕЛАННОЙ .....	185	729
XXVII. <СЛОН> .....	191	730
XXVIII. ПОЛТОРА ВЕКА .....	197	730
XXIX. СТАРЫЕ КАЛЕНДАРИ .....	204	731

### ВОСПОМИНАНИЯ

ПЛАН ПРЕДИСЛОВИЯ .....	213	732
РЕКИ .....	219	732
КАМА .....	226	732
ЕГОШИХА. <i>Рассказ</i> .....	234	733
СЕСТРА .....	239	733
КУЗИНЫ .....	261	734
ПЯТЕРКА .....	273	735
КАТЕНЬКА .....	279	736
ПРОХОДЯЩИЕ МИМО .....	287	736
«ИЗВЕСТНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ» .....	293	736
ПОЭТ .....	299	737
ПРОФЕССОРА .....	309	738
ТА ЖИЗНЬ .....	316	739
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА АСТРОВА .....	323	740
А.К. МАЛИКОВ и В.Г. КОРОЛЕНКО .....	330	—

ЛУБОЧНИКИ .....	336	742
САМОУЧКИ .....	343	744
ОТЕЦ ЯКОВ .....	350	745
НИКОЛАЙ ИВАНЫЧ .....	361	746
ВЕНОК ПАМЯТИ МАЛЫХ .....	387	749
Володя .....	388	—
Две Нины .....	393	—
Товарищ Павел .....	398	—
Оскар с товарищем .....	400	—
Гриша-череподробитель .....	404	—
И другие... ..	407	—
«НЕИЗВЕСТНЫЙ, ПО ПРОЗВИЩУ ВЕРНЕР» .....	412	751
ИТАЛЬЯНЦЫ .....	430	753
МАРИОНЕТКИ .....	436	754
МЕСТЕЧКО НА РИВЬЕРЕ .....	443	754
ГОЛУБОЙ КОНЬ .....	450	756
ГОЛУБОЙ ГРОТ .....	463	756
УЛЫБКИ ЗЕМЛИ .....	470	756
РИМЛЯНИН И ВАРВАР .....	477	757
КАШТАНОВОЕ МОРЕ .....	484	757
СТАРЫЙ ПАРИЖ. <i>(Из воспоминаний)</i> .....	490	757
ГЕРМАН ЛОПАТИН .....	497	758
АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ .....	504	760
П.Д. БОБОРЫКИН И В.М. СОБОЛЕВСКИЙ .....	507	760
В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ .....	514	761
НА МАЛЕНЬКОЙ ВОЙНЕ .....	524	762
«ДЕСЯТЫЙ ДЕСЯТОК» .....	531	763
ПРО БАБУШКУ .....	535	764
НАЧАЛО «ВЕЛИКИХ ДНЕЙ» .....	543	765
НА ПУТИ В ОТЕЧЕСТВО .....	550	767
ТОВАРИЩИ ПРОВОКАТОРЫ .....	556	768
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА .....	563	769
ПО ГОРОДАМ .....	570	771
СМЕРТЬ ДЖЕНТЛЬМЕНА <i>(Из воспоминаний)</i> .....	577	771
СОСНЫ .....	582	771
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ. КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ .....	589	772
КАК МЫ ТОРГОВАЛИ .....	596	775

---

БЕЗ СОБЫТИЙ .....	604	778
Н.Н. КУТЛЕР .....	611	779
КАК НАС УЕХАЛИ. (Юбилейное) .....	614	779
ТЕМ ЖЕ МОРЕМ .....	626	782
О БОРИСЕ ЗАЙЦЕВЕ .....	643	782
ТРАГЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ .....	648	784
ПАМЯТИ ИВ. БОЛДЫРЕВА .....	659	786
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ .....	665	787
ДОЖДИ .....	679	788
КАНУНЫ .....	686	789
ПУШКИН — КНИГОЛЮБ .....	693	789
СУДЬБА СТАРОЙ КНИГИ .....	698	791
ЖАЛОБА КНИГИ .....	701	792
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ .....	704	793
СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ .....	706	793
ПРИМЕЧАНИЯ .....	713	—

**Осоргин М.**

**О-75** Заметки старого книгоеда. Воспоминания / Сост., примеч. О.Ю. Авдеевой. М.: НПК «Интелвак», 2007. — 800 с.

**ISBN 978-5-93264-056-2**

Страстный библиофил, тонкий знаток книги, М.А. Осоргин печатал свои заметки на протяжении многих лет (с 1928 по 1939 г.) в парижской газете «Последние новости», подписываясь псевдонимом «Старый книгоед». Автор вводит читателя в мир старой русской книги и сообщает немало интересных и в то же время весьма поучительных сведений.

Включенные в настоящее издание воспоминания разных лет повествуют как о жизни самого Михаила Осоргина, так и о судьбах людей, с которыми он дружил или встречался.

Сюжетная занимательность, удивительное чувство родного языка, изумительная стилистика характеризует все, что написал мастер, в частности и представленное в этой книге.

**УДК 821.161.3**  
**ББК 84 (2Рос–Рус) 6**

**Михаил Осоргин**  
**ЗАМЕТКИ СТАРОГО КНИГОЕДА**  
**ВОСПОМИНАНИЯ**

Корректор *Е.И. Кортаева*

Подписано в печать 15.10.07. Формат 84х108/32.  
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.  
Уч.-изд. л. 25,8. Печ. л. 50. Тираж 1000 экз. Заказ № 2378.

Издательство НПК «Интелвак»

109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер, 3/12, стр. 8

*Для писем:* 115054, Москва, М. Пионерская ул., 12  
Тел. / Факс (495) 633 2627, 8 916 242 86 93 (моб.).  
E-mail [mtvo.vk@mail.ru](mailto:mtvo.vk@mail.ru)

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного оригинал-макета в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»  
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

ISBN 5-93264-056-1



9 785932 640562 >